



Артур
Шницлер

ЖЕНА
МУДРЕЦА

Артур
Шницлер

ЖЕНА
МУДРЕЦА

НОВЕЛЛЫ
И
ПОВЕСТИ

Перевод с немецкого



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1967

И(Нем)
Шни 77

Вступительная статья
Р. Самарина

Составление и примечания
Т. Путинцевой

Художник
Б. Свешников

7-3-4
198-66

АРТУР ШНИЦЛЕР

Артур Шницлер (1862—1931), автор новелл и повестей, вошедших в эту книгу, известный австрийский драматург, прозаик и поэт, не относится к числу великих писателей своего времени. Если вспомнить, что он был современником Томаса Манна и Генриха Манна, Франса, Роллана, Шоу, Чехова, то сразу станут ясны несравненно более скромные масштабы его творчества, ограниченность его места в литературе его времени. И все же он достоин пристального и дружелюбного внимания людей нашего века, старшее поколение которых еще помнит, быть может, первые издания Шницлера на русском языке, появившиеся на рубеже столетий — как раз тогда, когда писатель был в апогее своей лестной известности у себя дома и в других странах немецкого языка.

Пожалуй, обильное и богатое психологическими мотивами творчество Шницлера стоит у начала той поры, которая отмечена восхождением австрийской литературы к ее вершинам XX века.— к Йозефу Роту, Роберту Музилю, Герману Броху и их омраченному тяжелой душевной болезнью современнику, Кафке. Где-то поблизости, на сложной периферии, никогда не сближаясь с ними по-настоящему, но постоянно перехватывая у них образы и проблемы, чтобы представить их затем в своем, искаженном виде, кружил и Хаймиго фон Додерер, этот венский подражатель Достоевского, собиравший материал для своих «Демонов», мрачного видения Вены, Австрии, Европы, одержимой «демонами» революции. Конечно, праздничная Вена Шницлера с ее салонами и шантанами 90-х годов и трагическая Вена Додерера — это два различных мира, но в самом различии есть и свой смысл — эволюции, пройденной страной и ее писателями; здесь сказывается пафос дистанции от конца прошлого века до середины века нашего, пафос тем более ощутимый, что действие произведений Музиля, Броха, Додерера и Шницлера

развертывается в одной и той же стране, а они, при всех своих различиях — писатели, сложившиеся в этой стране, «Какании». Так беспощадно обозвал ее Музиль, используя для этого свифтовского наименования официальное сокращенное название старой Австро-Венгерской двуединой монархии — «Ка-унд-ка», кайзеровской и королевской. Выдающиеся австрийские писатели изобразили предсмертные муки этого чудовищного политического образования, в которое были насильно втиснуты десятки народов и народностей от Галиции до Тироля, от Кракова до Боснии, — смертный час Какании. Зато именно Шницлер сумел показать двуединую монархию в ее мишурном блеске, в ее карнавальном пестроте, в которой последние парижские моды соседствовали со старинными традиционными мундирами и плюмажами, а оперетка — с придворным церемониалом; но за этой маскарадной шумихой и веселой суматохой Шницлер уже почувствовал — и дал нам это понять — приближение тех новых суровых времен, когда старая гнилая империя рухнет, как картонный домик, оставив по себе недобрую память и расстроенные человеческие судьбы, безумных героев Кафки и разведаемых ностальгией «людей без качеств» Музиля.

У нас за последние годы уже укрепилось представление об австрийской литературе как о самостоятельном богатом национальном явлении, которое хотя и было тесно связано с литературой Германии, но все же имело и свою собственную дорогу, свои исторические особенности, свои качества. Конечно, Ленау — великое имя не только в австрийской, но и в немецкой поэзии, в той же мере как и Гете оказал воздействие не только на немецкую литературу, но и на того же Ленау. И все-таки Ленау, с его венгерскими и славянскими мотивами, с его свободой от юнкерских предрассудков, с его неповторимым душевным складом, мог родиться только в условиях австрийской литературы, в которой немецкие, венгерские и славянские веяния переплетались особенно прихотливо и своеобразно. Явно ощущаемое уже в первой половине XIX века, в творчестве Ленау и Грильпарцера, своеобразие австрийской литературы делалось все более заметным накануне событий 1848 года и еще очевиднее — во второй половине столетия, когда литературное развитие Австро-Венгрии стало более интенсивным в целом. В пределах империи, бок о бок, в сложном взаимодействии развивалось несколько сильных молодых литератур со своими могучими языковыми средствами — украинская в Галиции, где выступил Франко и за ним целая плеяда западноукраинских писателей; мадьярская в Венгрии, как раз к концу века выдвинувшая

больших художников слова; румынская в Трансильвании, писатели которой принимали самое деятельное участие в литературной жизни Румынии; чешская и словацкая, представленные классическими именами своих больших писателей XIX века; польская, с центрами в Кракове и Львове. Все эти литературы — включая литературу на немецком языке, к которому обращались нередко и писатели не немецкого происхождения, — в конце века переживают бурный подъем, обусловленный развитием национально-освободительного движения, направленного против старой Габсбургской империи. В любой из этих литератур действуют и охранительные силы, связанные с кругами, стоящими на страже интересов империи. Именно в австрийской, немецкоязычной литературе эти охранительные силы особенно значительны и активны, а вместе с ними именно в ней заметно с особой ясностью и действие начинающихся процессов разложения буржуазной культуры Средней Европы, вступающей в период империализма. Ярко выражены они в жизни ее крупнейшего центра — Вены, этого Парижа Средней Европы, как называли ее в те далекие годы. Вена, административный и культурный центр империи, ненавидимая за это народами, еще томящимися под ее игом, восхваляемая официальными пиитами Габсбургов и обожаемая самими венцами, вмещала в себе к исходу века противоречия распадавшейся империи — и ее застойную власть, воплощенную в дряхлевшем императоре Франце-Иосифе, и бурную артистическую жизнь, кипевшую в литературных кафе, театрах, художнических ателье. Развиваясь в тесной связи с немецкой литературой конца XIX века, в Вене на рубеже 80-х и 90-х годов выступает группа писателей, охотно называющих себя представителями «современной» литературы («*moderne*» *Literatur*). В русской критике начала века, использовавшей этот термин, эти венские писатели, как и многие другие европейские их современники, стали называться «модернистами». Среди венских модернистов быстро заняли наиболее заметное место критик и романист Герман Бар, много писавший о модернистском искусстве, поэт-эстет Гуго фон Гофмансталь, Петер Альтенберг — тонкий эссеист и мастер малого жанра, автор книг, проникнутых очарованием Вены, и молодой венский врач Артур Шницлер, выступивший в 1893 году с книгой одноактных пьес «Анатоль». Книге Шницлера было предпослано изящное стихотворение Гофмансталя, в котором искусство Шницлера прославлялось как искусство изображать «комедию жизни», будто некий театр марионеток. На первый взгляд столь близкое соседство эстета Гофмансталя, с его претензией на аристократизм, с

гораздо более обыденным и демократичным Шницлером кажется несколько странным. Но на деле венские модернисты были довольно тесно связаны общим двойственным отношением к буржуазному обществу — они делали вид, что свободны от него, но были в действительности его художниками, его поэтами; общим отношением к искусству, которое воспринималось ими как их высокое призвание, поднимавшее их над бюргером, и как тонкая духовная забава, прекрасная игра, увлекшись которой можно забыть о житейской прозе; связывало их и смутное ощущение тревоги за весь этот старый мир, детьми которого были и они сами. Печать обреченности, лежавшая на всей австрийской действительности в конце XIX века, уже падала и на их творческие пути.

Хотя и связанные на первых порах своей деятельностью, венские модернисты были все же различны как художники, и пути их разошлись. Бар быстро утерял свою роль их наставника, которую он играл в 90-х годах, и углубился в деятельность литературного критика. Альтенберг замкнулся в работе над своими немногословными миниатюрами, шлифуя и доводя до высокого совершенства свой лаконический, полный намеков и недоговорок стиль, примечательный музыкальностью и искусством пауз, — в своем роде шедевр модернистской прозы 90—900-х годов. Гофмансталь, не без влияния эстетского кружка, возглавленного немецким поэтом Стефаном Георге, вырабатывал особый, «аристократический» стиль, представленный в его стихотворных символических драмах, в которых он проявил в большей мере, чем другие венцы, склонность к символизму, к мистике. Шницлер, с самого начала чуждый и формальных исканий Альтенберга, и аристократических претензий Гофмансталя, в основном остался верен той манере, которая наметилась в его первых книгах и была близка к исканиям немецких натуралистов — А. Гольца, Шлафа, Зудермана, Гауптмана. Этому в значительной мере способствовала постоянная работа Шницлера для венской сцены, требовавшая от автора текста, в доступной для зрителя форме воспроизводящего те эпизоды повседневной австрийской жизни, которые были в центре внимания Шницлера-драматурга, и не пригодного для трагического театра марионеток или для символистской драматургии, излюбленной Гофмансталем.

Здесь уместно оговорить то обстоятельство, что в противоположность деятельности мюнхенской группы натуралистов, добросовестно и бездарно копировавших Золя, натуралисты берлинской группы, и прежде всего Г. Гауптман, сыграли в немец-

кой литературе конца XIX века роль положительную. По существу, под названием натурализма в те годы в немецкой литературе прокладывала себе путь группа писателей реалистического склада, в дальнейшем отказавшаяся от своих натуралистических взглядов (Гауптман, Зудерман); Шницлер был близок именно к этой группе. Нельзя не признать и нельзя не заметить того значения, которое он имел в развитии реалистических тенденций австрийской литературы на рубеже веков. Вскоре Шницлера поддержал Якоб Вассерман — другой австрийский писатель начала века. Намеченную ими линию без труда можно увидеть в новеллах и повестях С. Цвейга при всем том, что этот писатель был тоньше и своеобразнее как мастер слова, обладал несравненно большим кругозором.

Таким образом, представляется возможным говорить о Шницлере как о писателе, входящем в орбиту критического реализма того времени, хотя во многих его произведениях весьма сильна и модернистская тенденция, постоянно ограничивающая кругозор художника душным мирком бюргерской интеллигенции, и дурные влияния общенемецкой развлекательной литературы, сказывающиеся в сентиментальном мешанском духе, иногда заметном в повестях и пьесах Шницлера.

Однако, как мы это увидим, в ряде произведений Шницлер поднимался до создания образов обобщенных, до тем довольно острых, до заключений довольно резких, до мастерства, заслуживающего наше признание.

Итак, первая книга Шницлера, снискавшая ему известность, — книга одноактных пьес или, вернее, диалогов «Анатоль», которую немецкие исследователи возводят к французским прототипам такого рода и прежде всего — к диалогам Жип¹, второстепенной французской писательницы, модной в Берлине и особенно в Вене в конце века. Именно Жип ввела в моду небольшие, быстрые сценические этюды, в которых билась схваченная бойким пером жизнь парижской богемы: диалогам Жип была присуща характерная пряная атмосфера блестящего легкомыслия, изящной эротики, скользящей по краю пошлости, но не переходящей эту грань, претензия на некую поверхностную философичность, отражавшую увлечение модными в конце века идеалистическими этическими и философскими концепциями. Действительно, это и атмосфера «Анатоля» с поправкой на венские реалии: вместо Гранд-Опера для его мирка Олимпом оказывается венский Бургтеатр, вместо гризеток и мидинеток —

¹ Псевдоним графини Мортель.

венские девицы. Анатолий и его друг восхищаются человеческими и специально женскими достоинствами храбрых «венских девушек», «девушек из предместья» — в представлении Анатолия и его наперсника это и есть народ, — выделяющихся на фоне венского полусвета, в котором матрону не отличишь от кокетки, а офицер может оказаться шулером. Но сила «Анатолия» в самом образе этого молодого человека.

Шницлеру удалось создать тип венского декадента, одновременно претенциозного и провинциального, невольно раскрывающего мертвечину и пошлость декадентского взгляда на жизнь и человеческие отношения. Надо полагать, самому Шницлеру его герой в те годы еще казался изящным и импозантным, но, независимо от писателя, улики, собранные наблюдательностью Шницлера, были убийственны для Анатолия и его друга. Этот венский вариант Дориана Грея, отличавшийся от своего английского собрата настолько же, насколько Вена отличалась от суровой и мрачной столицы островной империи, а сам Шницлер — от О. Уайльда, объективно оказывался жалок и смешон.

Одноактные пьесы Шницлера были насыщены живым внутренним психологическим действием; они и сейчас читаются легко, содержат в себе богатый психологический игровой материал. Талант писателя, стремящегося проникнуть в глубины человеческого сознания, понять и изобразить сложные душевные движения, сказался уже в «Анатоле» вместе с даром тонкого сатирика, заявившим о себе, может быть, еще и без воли автора.

В других пьесах, которые последовали за «Анатодем», конфликты австрийской жизни проступили острее и глубже. В пьесе «Игра в любовь» (1896) юный прожигатель жизни Фриц — нечто очень близкое к Анатолю — гибнет на дуэли от руки обманутого мужа, смерть его, в свою очередь, становится источником неизлечимого горя для скромной девушки Кристины, обольщенной Фрицем: декадентская игра в жизнь приводит к сдвоенному несчастью, душевная пустота Фрица оказывается качеством, опасным для других людей. Еще определеннее критическая линия намечена в пьесе «Дичь» (1897), где Шницлер рискнул выступить против нравов австрийского офицерства, не щадящего ради своих предрассудков чувства и жизнь «штатских людей». Образ обер-лейтенанта Каринского, нагло преследующего своими ухаживаниями молодую актрису Анну Ридель и убивающего ее заступника, который задел офицерскую честь Каринского, — сильный обличительный портрет жестокого и заносчивого солдафона, терроризирующего окружающих и гордого своими сословными привилегиями. В усло-

виях усиливающегося культа военщины в Австро-Венгрии 90-х годов эта сатира на военщину, начавшая целую важную линию в творчестве Шницлера, была и смелой и своевременной. Шницлер подвергся преследованиям и оскорблениям со стороны обиженных военных кругов. Он проявил, однако, достаточно мужества, чтоб сохранить свою позицию, и этим заслужил уважение в демократических кругах австрийской интеллигенции.

В 90-х годах полностью развернулось и искусство Шницлера-новеллиста. В 1892 году напечатана его новелла «Смерть». За ней последовали «Прощание» (1895), «Жена мудреца» (1896), «Мертвые молчат» (1897) и ряд других, не вошедших в настоящую книгу. В новеллах 90-х годов сложился в целом уже мало изменявшийся круг тем Шницлера-прозаика, особенности его прозы.

Говоря о малых формах прозы Шницлера, надо иметь в виду их разнообразие. В настоящем сборнике оно представлено достаточно широко. Тут и собственно новеллистика Шницлера — именно к этому жанру могут быть отнесены «Прощание» или «Мертвые молчат»; здесь и поэтическая легенда «Пастушья свирель»; наконец, тут и более значительные по охвату действительности полотна вроде «Берты Гарлан» или «Доктора Греслера». Их можно, на наш взгляд, назвать повестями Шницлера. Его романы не вошли в эту книгу. Неутомимое разнообразие Шницлера-прозаика, богатство художественных средств, в которых проявился его талант, должны быть оценены как выражение постоянных творческих исканий писателя.

Проблематику своих новелл Шницлер черпает прежде всего из окружающей его жизни, предпочтительно описывая Вену, которую он так любит. Образы Вены, зарождаясь в его новелле 90-х годов, проходят затем через все его творчество — это и великолепная Вена дворцовых кварталов, воплощение той «Аустриа Феликс», той золотой эры империи, которая застроила город праздничными барочными зданиями; это и Вена богатых буржуазных кварталов с бидермайеровскими бюргерскими квартирами, где обстановка отталкивает своей безвкусной роскошью; это и Вена мансард и мастерских, где живет любимая Шницлером венская богема — музыканты, художники, литераторы; это, наконец, и Вена предместий, где обитают не только веселые и милые «венские девушки», музы шницлеровских героев, но и страшные, погибшие существа, сброшенные на самое дно большого города. Шницлер стал подлинным и проникновенным поэтом Вены во всех оттенках ее жизни, ее архитектуры, ее природы. Он создал образ Вены как образ высокохудожественный,

напоминающий о Париже Бальзака и Золя (влияние последнего чувствуется у Шницлера нередко), о Лондоне Диккенса; Вена не просто фон произведений Шницлера: это самый любимый герой, прекрасный и полный жизни, когда уже мертвы или готовятся к смерти люди, о горькой участи которых рассказывает Шницлер. В этом сложном многоярусном мире разыгрываются душевные драмы героев Шницлера, нервных, легко возбудимых, жадно любящих жизнь людей. Самое интересное в них для Шницлера — это сложная смена их чувств и переживаний, оттенки эмоций, которые он умеет передать мастерски, что видно, например, по новелле «Прощание». В ней ожидание любовника, томимого жаждой свидания с любимой женщиной, становится предметом самого внимательного и искусного описания, прослеживается минута за минутой, становится почти манией, навязчивым, которое гонит молодого человека прочь из дому, прокладывает ему путь туда, где умирает любимая. Он ждал любовного свидания, а встретился лицом к лицу со смертью. Эта тема смерти, подстерегающей человека в самую неожиданную минуту, смерти, которая всегда крадется бок о бок с человеком, оказывается его невидимой тенью, пока эта тень не восторгается над живым телом, отбрасывающим ее, — характерная шницлеровская тема.

Мы не можем не видеть в ней отражение декадентского культа смерти, который прорвался в творчестве Шницлера и остался в нем как мрачная печать безвременья, иногда отмечающая собою самые светлые произведения писателя. Нюанс, связывающий тему жизни — тему ожидания любви — с властной темой смерти в рассказе «Прощание», почти неуловим, и Шницлер мастерски растушевал все переходы от близости любовного экстаза, к которому готов любовник, ждущий свидания, к страху смерти, сковывающему его. Еще сильнее тема умирания, стремление вжиться в психику человека, находящегося на пороге смерти, раскрывается в новелле «Смерть»; ее можно рассматривать как сложный психологический этюд, задача которого — коснуться потаенных глубин человеческой души, познать и описать то, о чем не смели говорить другие художники. Смерть врывается и в новеллу о двух влюбленных «Мертвые молчат» — уже как преступление, совершаемое из самых низких побуждений. Но Шницлер нашел нужным наказать его, проведя Эмму не только через преступление, которое она совершает, но и через признание в содеянном. В этой новелле писатель описывает тройной пароксизм страстей, разрывающих душу Эммы, — любовь к Францу, припадок животного страха, толкнувший ее

на бегство от погибающего возлюбленного, и неизбывный ужас перед самой собой, перед тем, что она сделала.

В новелле «Мертвые молчат» усиливается, чтобы звучать в дальнейшем постоянно, тема нераскрываемой и непостижимой тайны человеческой души. Как могла безумно влюбленная женщина бросить без всякой помощи того, в чьих объятиях она была только что счастлива? Что она почувствует, когда увидит свою семью за мирным семейным ужином, когда она должна будет сказать «спокойной ночи» своему ребенку и мужу и услышать от них то же пожелание? Если она все же признается мужу в своем преступлении, почему она не смогла задушить в себе страх, когда Франца, быть может, удалось бы еще спасти? Что движет человеком в переживаемые им роковые мгновения, когда ломается вся его жизнь, так как некие темные силы побеждают в нем рассудок и воспитание? На все эти вопросы Шницлер не умеет дать ответа, да, пожалуй, и не ищет его. Он только с почти врачебной точностью — недаром он был врачом по образованию — изображает эти роковые порывы страстей, показывает бездну, готовую раскрыться, как он думает, в любом человеке. Именно отсюда в дальнейшем возник интерес Шницлера к учению З. Фрейда.

Несколько особняком стоит новелла «Пастушья свирель». Однако ее условный исторический колорит не должен никого вводить в заблуждение — это все та же современность с ее коллизиями смерти и страсти, с ее необъяснимыми и загадочными законами жизни человеческой души, разгадать которые не может и самый мудрый и добрый человек, ставший причиной стольких бед и несчастий женщины, которую он искренне любил. Если, при чтении новелл 90-х годов, на одном полюсе накапливаются впечатления от картин австрийской жизни и запоминается мысль Шницлера о лживости и фальши, царящих в этой жизни, то на другом полюсе впечатлений очерчивается отчетливая мысль о непознаваемости и неизведанности темного мира страстей, якобы управляющего человеком и действующего по своим неведомым и страшным законам, о тайнах мира, где властвуют инстинкты, а не разум.

Так спорили в Шницлере художник-реалист, эпикурец, неутомимый наблюдатель австрийской жизни, влюбленный в Вену, в хорошую музыку, в красивых женщин, в добрых и благородных людей, — и Шницлер, подвластный зовам и веяниям декадентского искусства. На рубеже XIX и XX веков и в начале нового столетия социальная направленность, а с нею и реализм, казалось, заметно усилились в его творчестве. В 1899 году

Шницлер печатает одну из самых талантливых своих драм — «Зеленого Какаду», в которой в острой гротескной манере изображено французское аристократическое общество, бурно и болезненно веселящееся в час приближения своей гибели. Действие пьесы, в которой светские дамы и господа разыгрывают роль персонажей парижского дна, происходит в день взятия Бастилии, и горсть экзальтированных, взволнованных своей заботой аристократов выглядит особенно драматически перед лицом победоносного народа, готового раздавить своих жалких, хотя и надменных противников. Вслед за этим он пишет новеллу «Лейтенант Густль» (1900), в которой создает четкие сатирические зарисовки жизни австрийской военщины, той самой, которая так любила блистать на плац-парадах старой Вены и задирать «штафирок», а вместе с тем торговала мобилизационными планами империи и обкрадывала солдатские пайки и полковые кассы. «Лейтенант Густль», несомненно, один из шедевров Шницлера и одно из блестящих произведений мирового новеллистического искусства на рубеже веков, обращенное всем своим пониманием задачи изображения человека в будущее — в литературу XX века.

Если в «Анатоле» и других одноактных пьесах Шницлер создал образец пьесы-диалога, то «Лейтенант Густль» — образец новеллы-монолога. Вся история злосчастливого лейтенанта, переходящего от самого безоблачного настроения к мысли о необходимости убить себя, а затем вновь возвращающегося к прелестям столичной службы с пирожками и кофе, с певичками и товарищескими попойками, развернута как один огромный монолог, вмещающий не только чувства лейтенанта, но и его впечатления от театра, от ночной Вены, от нежного утра, приходящего на смену ночи, которую Густль готов был считать последней в своем бытии.

Множество зрительных образов, различные гаммы настроений, сложнейшие переходы от одного психического состояния к другому представлены в этом монологе с блеском подлинного литературного мастерства, с огромной жизненной правдой. Картины жизни и душевные состояния переданы в рассказе Шницлера словами, свойственными светскому шалопаю, каким был его лейтенант Густль; это придает монологу Густля особую остроту и достоверность. Знакомясь с офицерами Шницлера и вспоминая их облики в его пьесах, читатель не может отделаться от мысли о том, что у этих же господ отбывает свою действительную службу незадачливый бессмертный Швейк.

Критическое изображение австрийского общества, затхлой провинции, лицемерия, господствующего в бюргерской среде,

заметно усиливается в большой повести «Фрау Берта Гарлан» (1900), переделанной впоследствии в пьесу, и в новелле «Смерть холостяка» (1907), насмешливо разоблачающей тайны австрийских бюргерских семейств, внешне столь респектабельных. В повести «Фрау Берта Гарлан» углубляется и мастерство Шницлера-психолога: история женской судьбы, рассказанная в этом произведении, заставляет вспомнить о «Госпоже Бовари» Флобера и особенно о психологических новеллах Мопассана. Ньюансировка психологических оттенков, импрессионистическая живопись — зарисовки природы и сцен городской жизни — связывают «Берту Гарлан» с другой повестью зрелого Шницлера — «Доктор Греслер, курортный врач» (1917), примечательной ваконченным образом эгоиста, самодовольного обывателя, напоминающего персонажи Музиля и Броха. Однако и в нем, полагающем, что он властен над собой, торжествуют сложные законы инстинкта, даже самому ему — врачу — неясные. И у Греслера и у Берты Гарлан, у этих обыкновенных современников Шницлера, есть свои душевные тайны, острые, делающие их жизни значительными.

В 1908 году выходит в свет роман «Путь на волю», интересный широким ироническим изображением космополитического венского полусвета с его сомнительными вельможами и несомненными авантюристами, с его легко доступными дамами и интеллигентными девицами, тоскующими по настоящему чувству, которое так и не приходит. Шницлер смело выступает в этом романе против традиционного венского антисемитизма, зовет к подлинному свободомыслию, для него не существует националистических предрассудков — ни антисемитских, ни сионистских, насаждением которых занимались в австрийской литературе тех лет такие писатели, как М. Нордау и М. Брод. Шницлер, еврей по национальности, но австриец по своему мироощущению, писатель, страстно влюбленный в свою Вену и со все большей тревогой думавший о будущем австрийского народа, занял в этом романе позиции обличителя реакционных теорий и нетерпимости, специфической для венской знати и для тянувшегося за нею полусвета. Обличительная линия в творчестве Шницлера, постепенно наметившаяся в первые годы XX века, особенно остро сказала в рассказе «Убийца» (1910), повествующем о некоем юном негодяе, «докторе прав», хладнокровно и подло устраняющем свою возлюбленную, поскольку она мешала его женитьбе на богатой наследнице. Всесильная власть гульдена, о которой все чаще и все настойчивее говорил писатель, оказывается здесь единственной ценностью, призна-

ваемой преступником-юристом, защитником интересов и прав общества, его воспитавшего.

И вместе с тем все отчетливее и настойчивее в новеллах и пьесах Шницлера звучит тема всемогущей темной власти инстинкта, страсти, перед которой смолкает голос рассудка, все определеннее, наряду с трагическими эпизодами подлинной жизни, слышится проповедь обращения к искусству, как утешительному обману. В пьесе «Покрывало Беатрисы» (1900) мы вновь оказываемся в некоем условном ренессансном прошлом, в котором движутся, по существу, те же австрийские буржуазки, знакомые нам по новеллам и повестям писателя, но загримированные в духе того представления о Ренессансе, как об эпохе сверхлюдей, которое создал швейцарский историк Я. Буркхардт, весьма популярный в австрийской литературной среде. В серии шаловливых сценок «Хоровод» (1900) человеческие чувства, находившие в Шницлере порою такого внимательного и умного исследователя, оборачиваются похотью, которая подчиняет себе весь мир от солдата и горничной до магната и светской дамы — все они жрецы и жрицы культа чувственности, участники хоровода страстей, воспетых в этих изящных и чуть-чуть отдающих пошлостью сценках.

Начиная с 10-х годов чувствуется, как все больше увлекается Шницлер Фрейдом. Учение венского психиатра о психоанализе, методика исследования душевной жизни человека, предложенная Фрейдом, его объяснение сложных переживаний, значение инстинкта в жизни человека — все это не могло не увлечь Шницлера с его страстью к исследованию психологии, с его интересом к патологии, усилившимся у позднего Шницлера. Однако, как и многих других писателей XX века, встреча с Фрейдом не обогатила художника. В его последней новелле «Сон» навязчиво звучат фрейдистские мотивы, затемняя и огрубляя обычный для Шницлера тонкий анализ движений человеческой души.

В повести «Фрау Беата и ее сын» (1913) трагический инцест изображен так, что, несмотря на внешний драматизм, чувствуется погоня за сенсационно эротическим сюжетом, как и в повести «Возвращение Казановы» (1918), представляющей в нашем сборнике позднего Шницлера. Целая вечность отделяет эту изящную повесть от ранних новелл Шницлера, и имя этой вечности — первая мировая война. Шницлер перенес ее тяжело; ему довелось увидеть поражение и развал старой Австрии, к которой он — при всем своем критическом отношении к ней — привык. Шницлер стал свидетелем того, как его любими-

ца Вена превращалась в запущенное обиталище голодных и больных людей, а затем, после периода глубокого упадка, возвысилась едва до положения провинциальной столицы, из которой бежали актеры, знаменитые врачи, модные куртизанки и светские снобы — общество, так часто фигурирующее в новеллах и пьесах молодого Шницлера. Старая Вена, блистательная столица дунайской монархии, породившая Шницлера и им так любовно описанная, канула в вечность, по существу столь же отдаленную от Шницлера, как и тот поздний восемнадцатый век, к изображению которого он обратился в «Возвращении Казановы». Выписывая итальянские пейзажи и картины венецианской жизни, тщательно и изящно воспроизводя своим безупречным немецким языком, уже чуть старомодным для 1918 года, все, что он мог собрать о жизни и внешности очаровательного шеваля де Сенгаль, Шницлер отдыхал душой на жеманных и прелестных образах минувшего века, столь неуместных и странных в голодной и разгромленной Австрии 1918 года. Это придает его рассказу об одном из последних любовных приключений доблестного кавалера особую терпкость. Властно и порою навязчиво, с трагической откровенностью возникает в этой повести тема беспощадной старости, изуродовавшей черты Казановы и превратившей его в карикатуру на того полного сил авантюриста и неутомимого любовника, которому не приходилось прибегать к хитростям, чтобы добиться взаимности. Отметим, что и С. Цвейг проявил вскоре интерес к фигуре Казановы, сделав его героем одного из своих портретных эссе. Впрочем, Казанова Шницлера обдуман глубже и описан эффектнее, чем Казанова Цвейга. Шницлер искусно передал аромат эпохи, ввел интересный мотив острого поединка мысли между Казановой и ученой красавицей, которая стала его невольной добычей. Да, «Возвращение Казановы» повесть, пронизанная жгучей тоской по молодости, по ушедшей жизни, это горестное признание в старости, в банкротстве, в душевной гибели. Поздний Казанова, выпрашивающий местечко у Венецианской республики и готовый на подлость ради горсти золотых, — это жалкая пародия на былого всесильного, блистательного Казанову, у которого даже подлые поступки выглядели как элегантные эскапады.

Послевоенные произведения стареющего Шницлера — повести «Фрейлейн Эльза» (1924) и «Тереза» (1928), с нескрываемой жалостью и любовью рассказывающая об участии обедневшей и соблазненной офицерской дочери, девушки из хорошей венской семьи, раздавленной жизнью, так же как и новелла «Сон» (1926), уже не представляют интереса в сравнении с по-

рою его расцвета. Шницлер пережил падение старой Австро-Венгрии, но как писатель он завершил свой путь, по существу, рассказом о Казанове, полным пылких воспоминаний и сожалений о невозвратно канувшей молодости.

Завершая краткий очерк творчества Артура Шницлера, надо представить себе общее направление эволюции австрийской литературы от 90-х годов, когда выступил Шницлер, и до 1931 года, когда умолк его уже заметно ослабевший голос. За эти сорок лет австрийская литература, включая писателей, живших не на немецких территориях империи, но писавших по-немецки, прошла большой и значительный путь. В конце века — накануне прихода Шницлера и его современников — это была одна из периферийных литератур Европы, после недолгого романтического взлета ничем себя не проявившая. Тихая прелесть новелл А. Штифтера, сочные бытовые зарисовки Анценгрубера, поучительные сельские истории Розеггера, при всем том, что это произведения весьма различного художественного достоинства, все же составляли некий провинциальный уровень (за исключением Штифтера). Вот этот провинциализм и был преодолен в 90-х и 900-х годах группой писателей, тоже очень различных по идейным и художественным тенденциям, но в целом поднявших литературу Австрии до общеевропейского уровня «конца века». Здесь видна и нарастающая реалистическая тенденция, в которой именно Шницлер как драматург и новеллист играет, бесспорно, заметную роль. Уже надвигаются грозные сроки краха дунайской империи, а вместе с ними и долгие годы раздумий о том, что же, собственно, произошло и где место австрийского писателя в той новой Европе, которая медленно поправляется после кровавой години первой мировой войны и ищет революционных путей, потрясенная событиями Октябрьской революции. Как ни старомоден Шницлер в ряду с художниками так называемой пражской школы — блестящими австрийскими экспрессионистами — Верфелем, Мейринком, как ни далек он от потрясающей искренности и мудрости Рильке и Рота и от точности, с которой анатомировали душу и мозг современника Музиль и Брех, все же в общем движении австрийской литературы в русло литературы мировой, в которую она вновь входит своими большими писателями XX века, есть и вклад доброго, иронического, любившего жизнь и свою Австрию доктора Артура Шницлера.

Р. Самарин

НОВЕЛЛЫ

И

ПОВЕСТИ



Ц В Е Т Ы

Весь день до вечера я бродил по улицам, и надо мной кружились легкие снежные хлопья, медленно опускаясь на землю. Теперь я дома, на столе горит лампа и лежат книги, дымится сигара, и я мог бы чувствовать себя так хорошо и уютно... Но нет, я неотступно думаю об одном и том же.

Разве она не умерла для меня уже давно?.. Больше того, разве не стала для меня, как думал я с детской злостью обманутого, «хуже мертвой»? Но теперь, ко-

гда я знаю, что она не «хуже мертвой», а просто умерла, как многие другие люди, что лежат глубоко под землей, лежат всегда... — и весной, и когда приходит знойное лето, и когда идет снег, как сегодня... без надежды на возвращение, — теперь я знаю, что и для меня она умерла в тот же час, что и для всех, — ни на минуту раньше... Скорбь? Нет... Только обычный ужас, охватывающий нас, когда в могилу опускают того, кто прежде был так близок нам и все еще стоит перед нашим взором. Мы видим еще свет его глаз, слышим его голос.

Конечно, мне было очень грустно, когда я обнаружил ее измену... но сколько всего примешалось к этому чувству! Ярость, внезапная ненависть, отвращение к жизни — и, о да, конечно, оскорбленное самолюбие. Страдание пришло лишь позже. И вот тогда-то появилось утешение, ставшее для меня благодеянием: я понял, что и сама она тоже страдает. Они все еще у меня, я могу в любую минуту перечесть их, эти письма. Письма, которые молили о прощении, плакали, заклинали! И я все еще вижу ее на углу улицы в темном английском платье и маленькой соломенной шляпе. Когда я вышел в сумерках из ворот дома... она смотрела мне вслед... Я помню и о том последнем свидании, когда она стояла передо мной и удивленно смотрела на меня большими глазами, ее круглое детское лицо было в эту минуту таким бледным и печальным... Я не подал ей руки, когда она уходила, уходила в последний раз. Я провожал ее взглядом до самого угла. Потом она исчезла... навсегда. Теперь она уже не может вернуться...

Я узнал об этом совершенно случайно. В неведении я мог провести еще недели, месяцы. Утром я встретил ее дядю, которого не видел, вероятно, уже целый год — он лишь изредка бывал в Вене. Раньше я встречался с ним всего раза два. Впервые — три года назад на собрании любителей игры в кегли, куда пришла и она со своей матерью. И потом летом, когда я был с друзьями в Пратере, в кафе «Чарда». За столом возле нас сидел в компании двух или трех приятелей ее дядя, слегка навеселе, и пил за мое здоровье. А прежде чем уйти из сада, он подошел ко мне и сообщил под большим секретом, что его племянница влюблена в меня.

И в полуопьянении это показалось мне таким странным и забавным, почти необычайным: старик рассказал

здесь под звуки цимбал и певучих скрипок о том, что я так хорошо знал, рассказал мне, еще ощущавшему на губах аромат ее последнего поцелуя!..

И вот, сегодня утром!

Я едва не прошел мимо него. Я спросил о племяннице скорее из вежливости, нежели из любопытства... Я ничего больше не знал о ней. Давно уже не было писем, только цветы она посылала регулярно — в память об одном из наших счастливейших дней. Они приходили аккуратно раз в месяц. Никакой записки, ни строчки, безмолвные, скромные цветы... А когда я спросил о ней старика, тот очень удивился. «Разве вы не знаете, что бедная девочка неделю назад умерла?» Я застыл на месте. Тогда он рассказал более подробно. Оказывается, она давно уже чувствовала себя плохо, но слегла всего за несколько дней до смерти... «Чем же она была больна?» — «Душевная болезнь... Малокровие... Врачи никогда не могут определить точно...» Обессиленный, словно после тяжкого труда, я долго еще стоял там, где меня оставил старик. И сейчас у меня такое ощущение, будто сегодняшний день закончил какую-то главу моей жизни. Но почему? Почему? Ведь это меня нисколько не касается. Я ничего больше не чувствовал к ней, едва помнил.

Оттого, что я все это записал, мне стало легче, я успокоился!.. Я начинаю ощущать уют своего дома. Бесплезно и мучительно думать об этом... Наверное, есть на свете человек, у которого сейчас больше оснований горевать, чем у меня.

Я отправился на прогулку. Ясный зимний день. Небо такое бледное, такое холодное, такое далекое... А я очень спокоен. Старик, которого я встретил вчера... Мне кажется, это было много недель тому назад. Думая о ней, я рисую себе ее облик в резких, отчетливых очертаниях. Не хватает только одного — злобы, которая до самого последнего времени примешивалась к моим воспоминаниям. Отчетливо представить себе, что она ушла из жизни навсегда, что она лежит в гробу, что ее похоронили, я просто не могу... Никакой боли. Окружающий мир словно стал сегодня более тихим. В какой-то момент я познал, что нет вообще ни радости, ни страданий; существуют лишь гримасы веселья

и печали; мы смеемся и плачем, привлекая к участию в этом свое сердце. Я мог бы сейчас засесть за очень серьезные книги и читать, постигая всю их мудрость. Или мог бы подойти к старым картинам, которые раньше не производили на меня никакого впечатления, и теперь мне открылась бы их таинственная красота... И когда я думаю о некоторых дорогих мне людях, которые умерли, сердце не сжимается, как обычно, — смерть стала чем-то дружелюбным, она среди нас и не намерена причинить нам никакого зла.

На улицах снег, глубокий, чистый снег. Ко мне пришла крошка Гретель и заявила, что нужно же наконец покататься на санках. И вот мы уже за городом и под звон бубенцов все быстрее и быстрее мчимся по блестящей укатанной дороге среди белых, сверкающих холмов, а высоко над нами — бледно-серое небо. Прислонясь к моему плечу, Гретель счастливыми глазами смотрела на расстилавшуюся перед нами дорогу. Мы зашли в маленький ресторанчик, знакомый нам еще с лета, когда он утопал в густой зелени. Теперь он казался совсем другим — одиноким и таким оторванным от всего остального мира, точно мы набрали на него впервые. И топившаяся в зале печь пылала так сильно, что стол пришлось далеко отодвинуть, потому что левая щека и ухо малютки Гретель стали совсем красными. Я должен был поцеловать другую, бледную щечку.

А потом обратный путь уже в сумерках. Как тесно прижалась ко мне Гретель! Она взяла мои руки в свои и сказала: сегодня ты наконец снова мой. Так, не мудрствуя, она нашла верное слово, и это меня очень обрадовало. Быть может, и терпкий морозный воздух расковал мои чувства, потому что мне стало свободнее и легче, чем во все последние дни.

Недавно, когда я лежал после обеда на диване, в полусне, мне снова пришла в голову странная мысль. Я показался себе холодным и жестоким. Человеком, который без слез, без каких бы то ни было чувств стоит у могилы, куда опустили любимое существо. Человеком, который стал так жесток, что даже ужас перед смертью юного существа не может его смягчить... Да, непримиримость — вот что это такое...

Прошло, совсем прошло! Жизнь, удовольствия и немножко любви гонят прочь нелепые мысли. Я снова часто бываю на людях. Я люблю их, они безобидны, болтают о разных веселых вещах. А Гретель милое, нежное дитя, красивее всего она бывает, когда стоит у меня в комнате в часы пополудни в оконной нише и солнечные лучи золотят ее белокурую головку.

Сегодня случилось нечто странное... Сегодня день, когда она неизменно посылала мне цветы... И цветы пришли опять, словно... словно ничего не изменилось. Их доставила утром почта в белой длинной, узкой картонке. Было совсем еще рано, и я не успел стряхнуть с себя сон. И только собираясь уже открыть коробку, совершенно пришел в себя... Я даже испугался... Красиво перевязанные тонкой золотой ниткой, лежали гвоздики и фиалки... Лежали как в гробу. А когда я взял цветы в руки, дрожь пронизала сердце — я знаю, почему получил их и сегодня. Когда здоровье ее ухудшилось и она почувствовала уже, вероятно, приближение смерти, то все-таки сделала обычный заказ в цветочной лавке, чтобы я и впредь ощущал ее нежность. Конечно, только так и можно объяснить эту посылку — как нечто совершенно естественное, даже трогательное, быть может... И все же, когда я держал эти цветы, которые, казалось, дрожат и склоняют головки, они снова, вопреки рассудку и воле, показались мне чем-то призрачным, словно пришли от нее, словно это ее привет... точно и теперь, уже мертвая, она все еще хотела сказать мне о своей любви, своей запоздалой верности. Ах, смерть непостижима, нам никогда ее не понять, и каждый человек действительно мертв лишь тогда, когда умерли все те, кто его знал... Я взял сегодня цветы бережнее, чем обычно, словно мог причинить им боль грубым прикосновением... словно нежные их души могли тихо застонать. И теперь, когда они передо мной на письменном столе в узком зеленоватом бокале, мне кажется, они склоняют лепестки с печальной благодарностью. В их аромате вся боль бесполезной тоски, и я думаю, они могли бы мне о чем-то рассказать, если бы мы понимали язык всего живого, а не только всего говорящего.

Я не позволю обманывать себя. Это цветы, только цветы. Привет из потустороннего мира. Не призыв, нет, не призыв из могилы. Это цветы, и какая-нибудь продавщица совершенно механически связала их вместе и, подстелив немного ваты, положила в белую коробку, а потом сдала на почту. И вот они здесь — почему же я думаю об этом?

Я много бываю на свежем воздухе, совершаю дальние одинокие прогулки. Находясь среди людей, я не чувствую подлинной связи с ними. Все нити обрываются. Я замечаю это и тогда, когда в комнате у меня сидит милая белокурая девушка и болтает о том о сем... в сущности, даже не знаю о чем. Потому что когда она уходит, то становится сразу, в первую же минуту, такой далекой, словно людской поток мгновенно унес ее с собой навсегда, словно она исчезла бесследно. Если бы она больше не пришла, я, наверное, не удивился бы.

Цветы стоят в узком, отсвечивающем зелеными огоньками бокале, их стебли покоятся в воде, и комната полна их ароматом. Они все еще благоухают, хотя уже целую неделю здесь, у меня, и медленно увядают.

И я начинаю верить всякому вздору, который высмеивал прежде; верю в способность человека говорить с глазу на глаз с природой... верю, что можно ждать ответа, обращаясь к облаку, родникам, потому что я неотступно смотрю на эти цветы и жду, что они заговорят... Ах, нет, ведь я же знаю, они говорят всегда... и сейчас тоже... они непрестанно говорят и стонут, и я почти уже понимаю их...

Как хорошо, что суровая зима идет к концу. В воздухе уже чувствуется приближение весны. Дни проходят как-то странно. Я живу своей обычной жизнью, и все же иногда у меня такое чувство, будто все вокруг окутано неясной дымкой. Все, происходившее еще вчера, расплывается в тумане, а то, что было несколько дней назад, представляется каким-то странным сном.

Когда Гретель уходит, особенно, когда я не вижу ее несколько дней, мне кажется, что это полузабытая история. Гретель всегда приходит словно из бесконечного далека! Правда, потом, когда она начинает болтать, все

быстро становится на свое место и я опять обретаю ясное ощущение действительности. И слова тогда кажутся слишком громкими, а краски слишком яркими, и подобно тому, как эта милая девочка, едва оставив меня, вдруг отодвигается куда-то вдаль, так же внезапно я ощущаю вдруг ее жаркую близость. Если прежде во мне оставались отзвук и отражение светлых минут, то теперь все затихает и гаснет сразу, как в темном гроте. А потом я остаюсь один с моими цветами. Они уже увяли, совсем увяли. И нет больше аромата.

До сих пор Гретель не замечала их. Сегодня впервые она посмотрела на них долгим взглядом. Казалось, она хочет о чем-то спросить меня. И вдруг ее словно удержал тайный страх. Не сказав больше ни слова, она быстро попрощалась со мной и ушла.

Они медленно облетают. Я никогда не трогаю их; да они и превратились бы в пыль от прикосновения. Мне невыразимо больно, что они завяли. Не знаю, почему у меня нет сил покончить с нелепым наваждением. Они сводят меня с ума, эти мертвые цветы. Временами я не могу больше выдержать и убегаю из дому. Но меня сразу же тянет назад, я чувствую, что должен вернуться, должен увидеть их. И вот они опять передо мной — в том же зеленом бокале, как я их оставил, усталые и печальные. Вчера вечером я плакал над ними, как плачут на могиле, и совсем не думал о той, что их прислала.

Может быть, я ошибаюсь, но, кажется, и Гретель тоже чувствует присутствие в моей комнате чего-то призрачного. Она больше не смеется, говорит тише, не тем звонким, веселым голосом, к которому я привык. Правда, я и встречаю ее не так, как прежде. Кроме того, меня мучает постоянный страх, что она все-таки может однажды спросить; а я знаю, что любой вопрос был бы для меня невыносим.

Она часто берет с собой рукоделье и, пока я занят книгами, тихо сидит за столом, вяжет или вышивает, терпеливо ожидая, когда я отложу в сторону книги, встану и подойду к ней, чтобы взять работу у нее из рук. Потом я снимаю зеленый абажур с лампы, у которой она сидит, и комнату заливают мягкий нежный свет. Я не люблю, когда углы тонут в темноте.

Весна! Распахнуто окно. Поздно вечером мы с Гретель смотрели из окна на темную улицу. Воздух был мягкий и теплый. Вдруг на углу, там, в тусклом свете фонаря, появилась тень. Я видел ее и не видел... Я знаю, что не видел ее... Я закрыл глаза и сквозь сомкнутые веки вдруг обрел способность видеть: несчастная стояла там в блеклом свете фонаря, и я с жуткой ясностью увидел ее лицо, словно оно было освещено золотым лучом солнца, увидел большие удивленные глаза на печальном бледном лице... Медленно отошел я от окна и сел за письменный стол. Порыв ветра, ворвавшегося в комнату, колебал пламя свечи.

Я сидел неподвижно, потому что знал, что бедняжка стоит на углу улицы и ждет; и если бы только я осмелился прикоснуться к мертвым цветам, то вынул бы их из бокала и принес ей... Я думал об этом совершенно серьезно, хотя и понимал, что это нелепо. Гретель тоже отошла от окна, постояла минуту за моим креслом, коснулась губами волос. Потом я остался один...

Я смотрел на цветы. Их нет больше, остались одни голые стебли, сухие и жалкие... Они сводят меня с ума, лишают покоя. Вероятно, это заметно, иначе Гретель все же спросила бы когда-нибудь о них. Но и Гретель чувствует то же, что и я, — иногда она убегает, словно в комнате призраки.

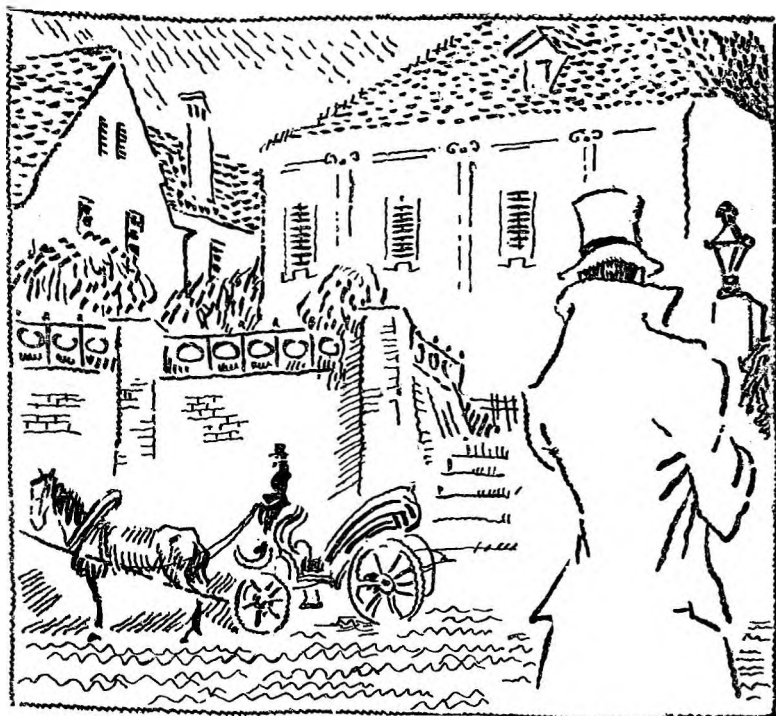
Призраки! Да, это они, они! Мертвые притворяются живыми. И если вянущие цветы пахнут тлением, это лишь воспоминание о том времени, когда они цвели и благоухали. Мертвые приходят снова и снова, до тех пор, пока мы о них не забудем. Какое значение имеет то, что она не может больше говорить, — ведь я могу еще слышать ее! Она не появляется больше, но я могу еще видеть ее! А разве весна за окном, и солнце, заливающее ярким светом ковер, и благоухание свежей сирени, доносящееся из ближнего парка, люди, которые проходят внизу и до которых мне нет дела, разве все это и есть жизнь? Я могу спустить шторы — и солнце мертво. Я не хочу ничего больше знать обо всех этих людях — и они мертвы. Я закрываю окно, аромат сирени не доносится больше ко мне — и весна мертва. Я могущественнее, чем солнце, и люди, и весна. Но могущественнее меня воспоминание, которое приходит,

когда хочет, и от которого никуда не убежишь. И эти сухие стебельки в вазе сильнее, чем аромат сирени, сильнее весны.

Я сидел над лепестками, когда вошла Гретель. Никогда еще она не приходила так рано, она редко появлялась здесь до наступления сумерек. Я очень удивился, даже испугался. Несколько секунд она стояла на пороге, и я смотрел на нее, не здороваясь с ней. Потом улыбнулась и подошла ближе. В руке у нее был букет свежих цветов. Не говоря ни слова, Гретель подошла к письменному столу и положила передо мной цветы. И вот она уже потянулась за теми, увядшими, в зеленом бокале. Мне показалось, что меня ударили в сердце, но я не мог ничего сказать... И когда я хочу встать и схватить девушку за руку, она, смеясь, смотрит на меня. В ее высоко поднятой руке увядшие цветы. Она подходит к окну и просто выбрасывает их вниз на улицу. У меня такое чувство, точно я должен последовать за ними, но здесь, прислонясь к подоконнику, лицом ко мне стоит девушка. Ее белокурая головка залита солнцем, теплым, живым... И сирень благоухает. И я смотрю на пустой зеленый бокал на письменном столе. Я не знаю, что со мной. Думаю, мне легче, много легче, чем раньше. Но вот Гретель подходит, берет свой маленький букет и подносит к моему лицу прохладную белую сирень... Какой живительный аромат, мягкий, освежающий! Я хотел бы совсем зарыться лицом в букет. Смеющиеся, белые целующие цветы. И вот призрак исчез. Стоя позади меня, Гретель шаловливо взъерошила мне волосы. «Милый мой дурачок», — сказала она. Знала ли она, что сделала?.. Я взял руки Гретель и поцеловал их.

А вечером мы поехали за город, в весну и только что вернулись домой. Я зажег свечу. Мы много бродили, и Гретель так устала, что задремала в кресле возле печки. Она очень красива, когда улыбается сейчас во сне.

Передо мной в узком зеленом бокале — сирень. Там внизу на улице... нет, нет, их давно уже там нет. Ветер развеял их вместе с пылью.



ПРОЩАНИЕ

Альберт ждал уже час. Сердце билось так сильно, что порой казалось, он забывает дышать. Тогда он глубоко втягивал в себя воздух, но не чувствовал облегчения. В сущности, пора бы уже привыкнуть, ведь каждый раз повторялось одно и то же. Ждать приходилось всегда — час, два, три... и как часто — напрасно. И он даже не мог ее упрекнуть, потому что Анна не смела оглучиться, если ее муж задерживался дома. Только когда тот уходил, она стремительно, в полном отчая-

нии, вбегала к Альберту, быстро целовала в губы и сразу же исчезала, снова оставляя его одного. После ее ухода он ложился на диван, вконец измученный ужасными часами ожидания, которые делали его совершенно неработоспособным, медленно подтачивали силы.

Так продолжалось уже три месяца, с конца весны. Каждый день с трех часов он сидел у себя в комнате со спущенными шторами и не мог ни за что взяться. Он был не в состоянии читать не только книгу, но даже газету, написать письмо. Только курил папиросы, одну за другой, так что всю комнату окутывал голубовато-серый дым.

Дверь в переднюю всегда оставалась открытой. Он был совершенно один в доме, потому что слугу он всякий раз отсылал, когда ждал ее. И когда наконец раздавался звонок, Альберт испуганно вздрагивал. Но если только это была она, если действительно она, — все остальное уже не имело значения. Казалось, он освобождался от злых чар, снова становился человеком. Иногда он просто плакал от счастья, что наконец она здесь и больше не нужно ждать. Потом быстро вел ее в комнату, запирали дверь, и они были очень счастливы.

Альберт и Анна условились, что ежедневно он ждет ее ровно до семи часов вечера. Позже он уже не разрешал ей бывать у него. Он сказал ей совершенно твердо, что в семь будет уходить, так как ожидание действует ему на нервы. И все-таки всегда оставался дольше и выходил на улицу лишь в восемь часов.

Потом он с ужасом думал о потерянном времени. С грустью вспоминал он прошлое лето, когда целиком располагал своим досугом, в хорошую погоду часто отправлялся после обеда за город, а в августе уезжал уже на озера, был здоров и счастлив. Альберт тосковал теперь по свободе, путешествиям, по далям, по одиночеству. Но он не мог расстаться с Анной, потому что обожал ее.

Сегодняшний день казался ему, как никогда, мучительным. Вчера она не пришла совсем и он не получил от нее никакой весточки. Скоро семь, но сегодня он не находил покоя. Что делать? Самое ужасное, что к ней никак не проникнуть. Единственное, что он может, это пройтись несколько раз под окнами ее дома, но он не смеет войти туда, не смеет никого послать, не имеет

права спрашивать. Потому что ни одна душа не подозревает, что они знают друг друга. Они жили в атмосфере тревожной и пылкой нежности, в постоянном страхе, что могут нечаянно выдать себя. Ему нравилось, что их отношения окружены глубочайшей тайной, но тем мучительнее были такие дни, как сегодняшний.

Восемь. Не пришла. Последний час он непрерывно стоял у двери и смотрел на лестницу сквозь глазок. На лестнице только что зажгли газовые лампы. Он вернулся в комнату и, смертельно усталый, бросился на диван. В комнате было совсем темно, Альберт задремал. Через полчаса он встал и решил уйти. Болела голова, а ноги ныли так, словно он бродил целыми часами.

Альберт направился к ее дому. Увидя, что шторы спущены на всех окнах, он немного успокоился. Из окон столовой и спальни брезжил луч света. В течение получаса он прогуливался по противоположному тротуару, не отрывая взгляда от ее окон. На улице было мало прохожих. Только когда у ворот показались несколько служанок и привратница, он удалился, чтобы не привлекать к себе внимания. В эту ночь он спокойно и крепко спал.

На следующее утро Альберт долго оставался в постели. В прихожей он оставил записку, чтобы его не будили. В десять часов позвонил. Слуга принес завтрак, на подносе лежала свежая почта. От нее письма не было. Однако он сразу же внушил себе, что тем вернее она придет после обеда, и потому время до трех часов провел довольно спокойно.

Ровно в три, и ни минутой раньше, он вернулся домой, и уселся в кресле в прихожей, чтобы не бегать взад и вперед при первом же шорохе на лестнице. Он радовался, едва заслышав шаги в подъезде; все-таки каждый раз появлялась новая надежда. И каждый раз напрасно. Четыре часа. Пять. Шесть. Семь. Не пришла. Теперь он уже бегал по комнате и тихо стонал, а когда закружилась голова, бросился на кровать. Им овладело отчаяние; продолжать так дальше — невыносимо. Лучше всего — уехать, за это счастье придется платить слишком дорого!.. Или, может быть, придумать что-нибудь другое: например, ждать только час или два... Но дальше так продолжаться не может. Вся его жизнь —

работоспособность, здоровье, да, наконец, и любовь — обречены на гибель.

Он заметил, что вообще больше не думает о ней, мысли неслись вихрем, точно в кошмаре. Он вскочил с постели. Распахнул окно, посмотрел вниз на улицу, в сумерки... Да... там на углу... в каждой женщине он, казалось, узнает ее. Он снова отошел от окна — она уже не могла прийти: время истекло. И вдруг ему представилось невероятно глупым, что он установил только эти немногие часы ожидания. Быть может, именно сейчас она нашла бы возможность... быть может, она пришла бы к нему сегодня утром — и он готов был уже произнести слова, которые скоро скажет ей, и шептал их про себя: «Отныне я целый день буду сидеть дома и ждать тебя. С утра до ночи». Но, произнеся эти слова, он начал смеяться. «Да ведь я схожу с ума, схожу с ума!»

Он опять бросился к ее дому. Все было, как вчера, — сквозь спущенные шторы мерцал свет. Снова в течение получаса прогуливался он по противоположному тротуару, снова удалился, когда из ворот вышли привратница и служанки. Сегодня ему показалось, что они смотрят на него; он даже был уверен, что они говорят: вот тот господин, который вчера прохаживался здесь в то же самое время. Он бродил по соседним улицам, но как только на башне пробило десять и заперли ворота, вернулся к ее дому и стал пристально всматриваться в окна. Только сквозь окно спальни проникал слабый луч света. Альберт смотрел, не отрываясь, как зачарованный. Вот он стоит здесь беспомощный и ничего не может сделать, не может даже спросить. С отчаянием он думал о предстоящих часах. Ночь, утро, день до трех... Да, до трех — а потом... вдруг она опять не придет?.. С ним поравнялся пустой экипаж, он кивнул кучеру и велел медленно ехать по ночным улицам... Он вспомнил их последнее свидание... нет, нет, она никогда не переставала его любить! Может быть, дома у нее что-нибудь заподозрили? Нет, это невероятно... до сих пор все было скрыто, и она ведь так осторожна. Значит, причина только одна: Анна больна и лежит в постели. Поэтому у нее и не было возможности послать весточку... А завтра она встанет и прежде всего напишет несколько строк, чтобы успокоить его.

Да, но если она сможет встать с постели только через два дня или позже... если она больна серьезно... боже мой... вдруг она тяжело больна... Нет, нет... почему же непременно тяжело!

Вдруг ему пришла в голову мысль, показавшаяся спасительной. Так как она, несомненно, больна, он мог бы завтра послать к ней и справиться о ее состоянии. Посыльному не обязательно знать, кто дал ему поручение — он мог не разобрать имени... Да, да, так и нужно сделать! Он был совершенно счастлив, что придумал это.

Ночь и следующий день он провел более спокойно, несмотря на то что не получил никакого известия, даже после обеда волновался меньше обычного: он знал, что уже сегодня вечером кончится мучительная неизвестность. Его тоска по ней стала еще более преодолимой, чем в последние дни.

В восемь часов вечера Альберт вышел из дому. На углу одной из отдаленных улиц он нанял посыльного и велел ему следовать за собой. Недалеко от ее квартиры Альберт остановился и отослал его с точным и ясным поручением.

Взглянув при свете уличного фонаря на часы, он начал ходить взад и вперед, но тревожное чувство сразу же овладело им: а что, если муж все-таки заподозрит, если он учинит допрос посыльному, прикажет проводить себя сюда? Он быстро пошел за посыльным, затем замедлил шаг и остановился на некотором расстоянии позади него. Наконец тот исчез в доме. Альберт стоял очень далеко, и нужно было напрячь зрение, чтобы не потерять из виду ворота... Уже через три минуты он увидел посыльного... Альберт подождал несколько секунд, чтобы проверить, не следит ли кто-нибудь, и поспешил к нему.

— Ну, — спросил он, — что слышно?

— Барин сердечно благодарит, а барыне пока еще не стало лучше, она сможет встать только через несколько дней.

— С кем вы говорили?

— Со служанкой. Она пошла в комнату и сразу же вернулась. Кажется, там как раз был доктор...

— Что она сказала?

Он заставил посыльного несколько раз повторить все сначала и убедился, что вряд ли знает теперь больше, чем знал до сих пор. Наверно, она серьезно больна, и многие справляются о ее здоровье — потому-то его посыльный не обратил на себя внимания... Значит, тем более он может рискнуть. Альберт велел посыльному явиться завтра в то же время.

«Она сможет встать только через несколько дней — больше ничего не известно». Но думает ли она о нем, представляет ли себе, как он страдает? Может быть, Анна догадается, что последний, кто справлялся о ней, был именно он?... Барин сердечно благодарит, не она, он: может быть, Анне даже не скажут... Да, но что с ней? Названия сотни болезней одновременно пронесли в сознании.

Через несколько дней встанет, значит, не может быть ничего серьезного... Но ведь так говорят всегда. Когда его отец был при смерти, людям говорили то же самое...

Он заметил, что бежит, потому что снова очутился на людной улице, где надо было пробиваться сквозь толпу прохожих. Он знал, что время до завтрашнего вечера покажется ему вечностью.

Проходили часы, и он порой сам удивлялся, что никак не может поверить в серьезную болезнь возлюбленной. Потом ему снова показалось грехом то, что он так спокоен... А после обеда — как давно уже этого не было! — он несколько часов читал книгу, словно ему нечего бояться и нечего желать.

Когда Альберт очутился вечером на углу улицы, посыльный был уже там. Сегодня он еще получил поручение по возможности вступить в разговор со служанкой и выяснить, чем же больна ее барыня.

Прошло больше времени, чем вчера, и человек мог бы уже вернуться. Альберт начал волноваться. Посыльный вышел из дома почти через четверть часа. Альберт бросился к нему.

- Барыне очень плохо...
- Что? — вскрикнул Альберт.
- Сказали, что барыне очень плохо.
- С кем вы говорили? Что вам сказали?
- Служанка сказала, что болезнь очень опасна...

Сегодня были уже три врача, и барин в полном отчаянии.

— Дальше... дальше... что с ней? Вы не спросили? Ведь я же вам...

— Конечно!.. Говорят, что это тифозная горячка, и больная уже два дня без сознания.

Альберт остановился и посмотрел на него отсутствующим взглядом... Потом спросил:

— Больше вы ничего не знаете?

Посыльный начал рассказ сначала, и Альберт слушал, словно каждое слово открывало ему что-то новое. Потом заплакал и вернулся к дому возлюбленной. Да, теперь, конечно, никто не помешает ему стоять здесь; кому до него дело там, наверху? И он, не отрываясь, смотрел вверх, на окна спальни, словно хотел проникнуть взглядом сквозь стекла и шторы.

Комната, где лежит больная... Да! Так естественно, что там, за этими мрачными окнами тяжело больная! Как мог он не понять этого в первый же вечер? Сейчас ему совершенно ясно, что иначе и быть не могло. К дому подъехал экипаж. Альберт быстро подошел к подъезду и увидел, как из экипажа вышел человек — это был несомненно врач — и исчез в дверях. Альберт остался ждать его возвращения в смутной надежде прочесть что-нибудь по выражению его лица...

Несколько минут он стоял совершенно неподвижно, а потом земля вместе с ним начала то медленно подниматься, то опускаться. Вдруг он почувствовал, что глаза его закрыты, а когда открыл их, ему показалось, что он уже много часов стоит здесь в полузабытьи и теперь очнулся освеженный.

Поверить в то, что она тяжело больна, он еще мог, но в то, что болезнь опасна, — нет... Так молода, так красива и так любима... И вдруг в мозгу промелькнули слова «тифозная горячка»... Он толком не знал, что это такое. Ему пришло на ум, что он не раз встречал это название в траурных объявлениях, где оно приводилось как причина смерти. И вот Альберт представил себе напечатанными ее имя, возраст и тут же слова: «Скончалась двадцатого августа от тифозной горячки...» Нет, это немыслимо... Теперь, когда он все так отчетливо себе представил, это казалось совершенно невозможным... было бы просто дико, если бы через несколько

дней он действительно прочел такое объявление. Он надеялся, что перехитрил судьбу.

Из ворот вышел доктор. Альберт почти забыл о нем — сейчас у него перехватило дыхание. Лицо врача было совершенно бесстрастно и серьезно. Он назвал кучеру адрес, сел в экипаж и уехал.

«Почему же я не спросил?» — подумал Альберт. Но он был рад, что не сделал этого. Ведь, скорее всего, ему пришлось бы услышать что-нибудь очень плохое. А так он мог еще надеяться... Он медленно отошел от дома и решил вернуться сюда не раньше, чем через час... И вдруг ему представилось, как она придет к нему впервые после выздоровления... Картина была настолько ясной, что он изумился. Он знал даже, что в этот день будет моросить унылый дождь. На ней плащ, который она сбрасывает в прихожей... и бросается в его объятия. Только плакать может она, только плакать. «Вот я опять с тобой...» — шепчет она наконец. Но вдруг Альберт содрогнулся... Он знал, что этого не будет — никогда, никогда... Теперь судьба перехитрила его!.. Анна никогда больше не придет сюда — пять дней назад она была у него в последний раз. Он позволил ей уйти навсегда и не знал этого...

Альберт снова бежал по улицам, мысли вихрем проносились в мозгу. Он страстно желал вдруг потерять сознание. Опять он очутился возле ее дома... Ворота были еще открыты, наверху, в столовой и спальне, горел свет... Альберт кинулся прочь. Он знал: еще мгновение, и он бросится наверх, к ней, к возлюбленной. И как было ему свойственно, он и эту картину представил себе со всей ясностью.

Он видит, как муж, сразу все поняв, подбегает к неподвижно лежащей больной, трясет ее и кричит: «Твой любовник пришел, твой любовник...» Но она уже мертва...

...В тяжелых кошмарах прошла ночь, в тупой усталости день. Уже в одиннадцать часов утра он снова отправил посыльного. Теперь это было безопасно: кто обратит внимание на людей, которые приходят справляться? Ответ гласил: без изменений...

Все время до обеда он пролежал дома на диване в забытии. Полное равнодушие ко всему. Он думал: «Как хорошо быть таким усталым!»

...Альберт спал очень долго. Но когда стемнело, вдруг вскочил в каком-то изумлении, словно сейчас, впервые за все это тревожное время, наступило прозрение. Непреодолимое желание узнать правду овладело им — сегодня он должен сам поговорить с доктором. Он поспешил к ее дому. Возле него стояла привратница. Он подошел и, сам изумляясь своему спокойствию, спросил просто:

— Как чувствует себя госпожа...?

— О, очень плохо, она уже никогда не встанет...

— А! — ответил Альберт очень вежливо и добавил: — Как печально!

— Конечно, — сказала привратница, — очень печально — такая молодая, красивая женщина. — И сразу же исчезла в воротах.

Альберт посмотрел ей вслед... Она, безусловно, ничего не заметила, подумал он, и тут же у него мелькнула мысль, не отважиться ли проникнуть в квартиру, поскольку он такой мастер представляться...

Подъехал экипаж доктора. Альберт поклонился, и тот приветливо кивнул ему. Это было приятно — теперь он, в известной степени, знаком с врачом, и будет легче обратиться к нему с вопросом, когда он выйдет из дома... Альберт стоял неподвижно, испытывая облегчение от мысли, что врач у нее. Он долго не выходил. Значит, какая-то возможность спасти ее еще есть, иначе ни к чему оставаться там столько времени. Или, быть может, уже агония... Или... О, прочь, прочь, прочь! Ему хотелось отогнать все мысли, от них мало толку — ведь все возможно. Вдруг ему показалось, что он слышит голос доктора. Он различил даже слово: кризис. Альберт невольно взглянул на закрытое окно, размышляя о том, возможно ли при известных обстоятельствах, например, во взволнованном состоянии и при обостренных чувствах, расслышать слово человека даже сквозь закрытое окно. Да, конечно, он же слышал, слышал не в воображении, а как слово, действительно произнесенное.

...В этот момент врач вышел из дома. Альберт подошел к нему. Тот принял его, очевидно, за родственника и, прочитав в глазах невысказанный вопрос, покачал головой. Но Альберт не хотел понимать.

— Разрешите спросить, господин профессор, как...

Поставив уже ногу на ступеньку, врач снова показал головой.

— Очень плохо,— сказал он, подняв глаза на Альберта.— Вы брат, не правда ли?..

— Да...— сказал Альберт.

Взглянув с сочувствием на молодого человека, доктор сел в экипаж, кивнул ему и уехал.

С тяжелым сердцем смотрел Альберт вслед экипажу, словно с ним исчезла последняя надежда. Потом пошел прочь. Он тихо разговаривал сам с собой, бормотал почти бессвязные слова, стуча зубами от озноба. Что же мы будем сегодня делать?.. За город уже поздно, за город уже поздно. Уже поздно, уже поздно... Да, я печален! Разве я печален? Убит горем? Нет, я прогуливаюсь и не чувствую ничего, совершенно ничего. Я мог бы сейчас пойти в театр или поехать за город... О нет, мне только так кажется... я просто схожу с ума от тревоги! Да... встревожен, потрясен! Это момент наивысшего напряжения, необходимо его запомнить. Совершенно ясно понимать что-то и ничего не ощущать... ничего... ничего. Его бил озноб. Домой, домой! Когда-то я, кажется, уже пережил нечто подобное... но когда, когда это было?..

Может быть, во сне?.. Или я теперь вижу сон?.. Да, сейчас, как каждый вечер, я пойду домой, точно ничего не случилось, решительно ничего не случилось. Но что я внушаю себе! Ведь я не усужу дома, убегу среди ночи туда, к дому возлюбленной, умирающей возлюбленной... Его бил озноб.

Вдруг Альберт очутился в своей комнате и не мог вспомнить, как он туда попал. Он зажег свет и сел на диван. Я знаю, как это происходит, сказал он себе: горе стучится ко мне, а я не впускаю его. Но знаю, что оно там, за дверью, я вижу его сквозь дверной глазок. Ах, как нелепо, как глупо... Итак, моя любимая умрет... да, она умрет! Или, может быть, я еще надеюсь и потому так спокоен? Нет, я знаю совершенно твердо. А профессор принял меня за брата! Что, если бы я ему ответил: «Нет, я возлюбленный», или: «Я любовник. Я убитый горем любовник...»

— Боже милосердный, — вдруг громко закричал он, вскочил и забегал по комнате. — Я впустил его! Оно здесь, горе!.. Анна, Анна, дорогая, единственная, любимая Анна!.. И я не могу быть с тобой! Именно я, тот, кто должен быть с тобой... Может быть, она вовсе не в беспамятстве? Что мы вообще знаем об этом? И она тоскует по мне, а я не могу, не смею прийти к ней. Или, быть может, в последнюю минуту, уже свободная от всех земных условностей, она скажет, шепнет: «Позовите его, я хочу еще раз его увидеть...» И что же сделает он?

Через минуту Альберт уже ясно видел, как все произойдет. Вот он бежит по лестнице вверх, муж встречает его, сам ведет к постели умирающей, которая улыбается ему угасшими глазами. Альберт подходит, она обнимает его и испускает последний вздох. А потом муж говорит: «Теперь ступайте, милостивый государь, очевидно, скоро мы кое о чем поговорим...»

Но жизнь не такова, нет... Было бы прекрасно еще раз увидеть ее, почувствовать, что он действительно любим ею! Он должен еще раз увидеть ее — так или иначе... неужели, о, боже всемогущий, он даст ей умереть, не увидев ее еще раз. Это было бы так ужасно! Он даже не может себе ясно представить. Да, но что делать? Скоро полночь! Под каким предлогом мог бы я сейчас пройти туда, спрашивал он себя. Неужели сейчас еще нужен предлог, сейчас, когда смерть... Но даже если она... умрет, разве имею я право выдать ее тайну, запятнать ее память в глазах мужа, семьи? Но... я мог бы представиться умалишенным. Ведь я так хорошо умею притворяться... о, боже, что опять за комедиантская затея!.. Однако, если хорошо сыграть такую роль и сразу и сразу же угодить на всю жизнь в дом умалишенных... Вот если бы она выздоровела и сама объявила меня сумасшедшим, которого никогда не знала, никогда не видела!.. О, моя голова! Он бросился на постель. Только сейчас до сознания его дошло, что уже ночь и вокруг полная тишина. Итак, я должен спокойно поразмыслить. Я хочу еще раз увидеть ее... да, увидеть, чего бы это ни стоило! И снова вихрем закружились мысли, в сотнях разных обличей видел он себя поднимающимся по лестнице ее дома: ассистентом профессора, помощником аптекаря, лакеем, человеком из

похоронного бюро, нищим. В конце концов он представил себя служителем, сидящим возле покойницы, которую не мог знать. Он одевает ее в белый саван и кладет в гроб...

В предрассветных сумерках Альберт проснулся. Окно было открыто, и, хотя он лежал на постели одетый, его знобило, потому что начался небольшой дождь и ветер принес в комнату несколько дождевых капель.

«Вот и осень пришла», — подумал Альберт. Потом встал и посмотрел на часы. Значит, я пять часов крепко спал. За это время могло... многое произойти. Он содрогнулся. Странно, я знаю вдруг совершенно точно, что должен делать. Я пойду прямо в квартиру, подниму воротник и... спрошу... сам...

Он налил рюмку коньяку и быстро выпил. Потом подошел к окну. Фу, какая грязь на улице. Еще очень рано.

...Все это люди, которые заняты уже с семи часов утра. Да, сегодня я тоже человек, занятый с семи часов утра. «Очень плохо», — сказал вчера доктор. Но от этого еще никто не умер... И ведь вчера у меня все время было ощущение, как будто она уже... Вперед, вперед... Он надел плащ, взял зонт и вышел в прихожую. Слуга был удивлен.

— Я скоро вернусь, — сказал Альберт.

Он шел медленно. В сущности, мучительно идти туда самому. Что же сказать?

Он подходил все ближе: вот и улица, издали показался дом, Альберт словно видел его впервые: ведь он никогда не был здесь в такое время. Как странен тусклый свет, которым окутало город дождливое утро. Да, в такие дни умирают.

Если бы в тот день, когда Анна последний раз была у него, она просто рассталась бы с ним совсем, он, может быть, сегодня уже забыл бы ее. Да, несомненно, ему казалось, что он видел ее в последний раз очень давно. Какие неверные представления о времени создает такое дождливое утро... ах, боже мой... Альберт чувствовал себя очень усталым и рассеянным... Он едва не прошел мимо дома.

Ворота были открыты; навстречу ему вышел парень с молочным бидоном в руке. Альберт очень спокойно вошел во двор, но, собираясь подняться на ступени

лестницы, вздрогнул, поняв все до конца, — то, что уже произошло, что происходит сейчас, что ему еще предстоит узнать. Казалось, что весь путь сюда он прошел в полузабытыи и внезапно проснулся. Он постоял с минуту, держась обеими руками за сердце, потом двинулся дальше. Вот лестница... он никогда раньше не видел ее. Сейчас она еще в полутьме: маленькие газовые рожки горят на стене... квартира здесь, во втором этаже. Что это? Все открыто настежь... Передняя, но там ни души. Он открыл маленькую дверь, ведущую в кухню. И здесь никого. Вдруг дверь в жилые комнаты распахнулась, и оттуда, не замечая его, тихо вышла служанка. Альберт подошел к ней.

— Как чувствует себя барыня? — спросил он.

Девушка посмотрела на него отсутствующим взглядом.

— Полчаса тому назад скончалась, — сказала она. Потом повернулась и пошла в кухню.

У Альберта было такое чувство, словно весь окружающий мир погрузился в мертвую тишину; он знал совершенно точно: в эту минуту перестали биться все сердца, остановились все прохожие, все экипажи, все часы. Он ясно чувствовал, что весь живущий, движущийся мир перестал жить и двигаться. «Так вот она, смерть, — подумал он. — Вчера я все-таки еще не понимал...»

— Извините, пожалуйста, — произнес голос подле него.

Господин в черном костюме хотел войти с лестницы в прихожую, но стоявший в дверях Альберт мешал ему. Альберт прошел немного вперед и пропустил его. Тот, не обращая на него больше внимания, быстро вошел в квартиру, оставив дверь полуоткрытой. Теперь Альберт мог заглянуть в первую комнату, полутемную из-за спущенных штор. Несколько человек сидели вокруг стола. Они поднялись, чтобы приветствовать вошедшего. Альберт услышал, как они шепчутся... Потом они скрылись в соседней комнате. Альберт стоял у дверей и думал: там лежит она... Не прошло еще недели, как я держал ее в своих объятиях... А я не смею войти.

На лестнице слышались голоса. Снизу поднялись и прошли мимо него две дамы. У одной из них, млад-

шей, были заплаканные глаза. Она была похожа на его возлюбленную. Наверное, ее сестра, о которой Анна рассказывала. Навстречу им вышла пожилая дама и обняла обеих с тихим рыданием. «Полчаса тому назад, и совсем неожиданно...» Слезы мешали ей говорить; женщины прошли через полутемную комнату в соседнюю. Никто не обращал внимания на Альберта.

«Не могу же я здесь стоять, — думал Альберт. — Спускаюсь вниз и вернусь через час». Он вышел на улицу. Уже началась утренняя суета; множество людей поспешно проходило мимо него, мчались экипажи. Как же все-таки успокаивает сознание, что все кончено.

Через час наверху соберется больше людей, и будет нетрудно смешаться с толпой. Мне легче, чем вчера, хотя она умерла... Полчаса назад... Через тысячу лет она будет не дальше от жизни, чем сейчас... и все же сознание, что час тому назад она еще дышала, заставляет меня думать, что она должна еще что-то знать о земной жизни; нечто неведомое человеку, пока он дышит... быть может, тот непостижимый миг, когда мы переходим от жизни к смерти, и есть пресловутая вечность...

Да, вот и покончено с ожиданием... Больше не придется стоять часами у дверного глазка — никогда, никогда... Эти часы ожили перед ним в своей неизъяснимой прелести. Еще несколько дней назад он был так счастлив — да, счастлив. То было тревожное, глубокое счастье. Ах, когда ее торопливые шаги раздавались уже на последних ступенях... когда она бросалась в его объятия... и когда в полумраке комнаты, благоухавшей цветами и папиросами, они безмолвно и неподвижно покоились на белых подушках... Кончено, кончено... Уехать... это единственное, что я могу сделать. Найду ли я силы вообще переступить еще порог своей комнаты? Я буду плакать, целые дни, всегда, всегда.

Проходя мимо кафе, Альберт вспомнил, что со вчерашнего обеда ничего не ел, и зашел позавтракать. Когда он вышел, был уже десятый час.

«Теперь можно опять пойти туда. Я должен увидеть ее еще раз. Но что же я буду там делать? Смогу ли я ее увидеть?..

Я должен ее увидеть... да, я должен в последний раз увидеть мою, мою, мою любимую мертвую Анну. Пус-

тят ли меня в комнату покойной?.. Конечно! Народу будет больше, и все двери откроют...»

Он поспешил к дому. У ворот стояла привратница, она поздоровалась с ним. На лестнице он обогнал двух мужчин, тоже поднимавшихся наверх. Уже в передней стояли несколько человек. Двери были раскрыты настежь. Альберт вошел. Штора одного из окон была отдернута, и в комнату проникало немного света. Здесь было человек двенадцать, они очень тихо разговаривали. Старая дама, которую он видел уже раньше, сидела совершенно подавленная в углу темно-красного дивана. Когда Альберт проходил мимо, она посмотрела на него; он остановился и протянул ей руку. Она кивнула головой и снова заплакала. Альберт огляделся вокруг. Вторая дверь, ведущая в соседнюю комнату, была закрыта. Он обратился к господину, стоявшему у окна и, казалось, совершенно бездумно смотревшему сквозь щель гардины...

— Где она лежит? — спросил он.

Господин указал рукой вправо. Альберт тихо открыл двери. Он был ослеплен ярким светом, хлынувшим навстречу. Он очутился в очень светлой маленькой комнате, оклеенной белыми с золотом обоями и обставленной светло-голубой мебелью. Ни души. Дверь в соседнюю комнату была едва прикрыта. Он вошел. Спальня.

Ставни на окнах были закрыты; теплилась лампада. На кровати лежала покойница. Одеяло покрывало ее до самого рта. У изголовья на ночном столике горела свеча, ярко освещавшая пепельно-серое лицо... Он никогда не узнал бы ее. Лишь постепенно проступали знакомые черты, лишь постепенно та, что лежала здесь, превращалась в Анну, его любимую Анну, и впервые за все эти страшные дни он почувствовал на глазах слезы. Острая, жгучая боль сдавила грудь, он готов был закричать, упасть перед ней на колени, целовать руки... Только теперь Альберт заметил, что он не один. Кто-то стоял на коленях у изножья кровати, зарывшись головой в одеяло, и крепко держал в обеих руках руку покойной. В момент, когда Альберт сделал попытку подойти ближе, тот, другой, поднял голову. «Что я ему скажу?» Но вот он почувствовал, как человек, стоявший на коленях, схватил его правую руку и сжал ее,

услышал, как тот прошептал задыхающимся от слез голосом: «Спасибо, спасибо». Потом снова отвернулся, поник головой и, тихо всхлипывая, припал к одеялу. Альберт постоял еще немного, всматриваясь в лицо покойной с каким-то холодным вниманием. Слезы на его глазах высохли. Боль стала вдруг совсем глухой и какой-то тусклой. Он знал, что эта встреча когда-нибудь представится ему одновременно жуткой и нелепой. Он показался бы себе очень смешным, если бы плакал здесь вместе с этим человеком.

Альберт направился к выходу. У двери он остановился еще раз и оглянулся. В колеблющемся пламени свечи ему почудилась улыбка на губах Анны. Он кивнул ей, словно прощаясь с нею и словно она могла это видеть. Теперь Альберту хотелось уйти, но вдруг ему показалось, что она удерживает его этой улыбкой. И улыбка стала вдруг презрительной, отчужденной, красноречивой — он понял ее. Эта улыбка говорила: «Я любила тебя, а ты стоишь, как чужой, и отрекаешься от меня. Скажи же ему, что я была твоей, что тебе принадлежит право преклонить колени перед этим ложем и целовать мои руки. Скажи ему! Почему же ты ничего не говоришь?»

Но он не осмелился это сделать. Он прикрыл рукой глаза, чтобы не видеть больше ее улыбки... Потом повернулся и вышел на цыпочках из комнаты, закрыв за собой дверь. Весь дрожа, шел он через светлый салон, пробирался в полутемной комнате мимо шептавшихся друг с другом людей, людей, среди которых не имел права оставаться; потом, торопливо миновав переднюю, спустился по лестнице и, выйдя за ворота, проскользнул вдоль стены дома. Шаг Альберта становился все быстрее, точно неудержимая сила влекла его прочь, и, глубоко пристыженный, он почти бежал по улицам, ибо сознавал, что не смеет оплакивать ее, как другие, что мертвая возлюбленная прогнала его, потому что он отрекся от нее.



ЖЕНА МУДРЕЦА

Я пробуду здесь долго. Над курортным городком, раскинувшимся между морем и лесом, нависла глубокая, благотворная для меня скука. Все тихо и неподвижно. Лишь белые облака медленно плывут по небу; но ветер гуляет так высоко над волнами и макушками деревьев, что море и лес не шелохнутся. На этом курорте все время чувствуешь себя в глубоком одиночестве, даже на людях — в отеле, на променаде. Оркестр играет большей частью грустные шведские и датские песни,

но и веселые пьесы звучат у него вяло и приглушенно. Закончив, музыканты молча спускаются по ступенькам с эстрады и медленно и печально исчезают со своими инструментами в аллеях.

Этот листок я пишу, плывя в лодке вдоль берега.

Берег отлогий и зеленый. Незатейливые дачи с садами; в садах, у самой воды, — скамейки; за домами — узкая белая дорога, за дорогой — лес. Поднимаясь по отлогому склону, он уходит вдаль, и там, где кончается лес, стоит солнце. Его закатные лучи озаряют узкий желтый остров, вытянувшийся вдали. Лодочник говорит, что туда можно добраться за два часа. Надо бы как-нибудь побывать там. Но здесь становишься удивительно тяжелым на подъем; я почти никуда не отхожу от этого маленького курорта и чаще всего бываю на берегу или у себя на террасе.

Я лежу под буками. Никнут отяжелевшие от полуденного зноя ветви деревьев; по временам я слышу шаги на лесной тропинке, но людей не вижу — я замер, устремив взор в небо. Я слышу и звонкий смех детей, но безмолвная тишина, разлитая вокруг, тут же поглощает все звуки, и едва они умолкнут, как уже кажутся чем-то давним и далеким. Стоит мне закрыть на миг глаза, и я просыпаюсь, как после долгой ночи. Так я ускользаю от самого себя и растворяюсь как частица природы в этом великом покое.

Прощай мой бесценный покой! Не найти мне его теперь ни в лодке, ни под буками. Все вдруг словно бы стало иным. Мелодии оркестра звучат задорно и весело, прохожие оживленно разговаривают, дети кричат и смеются. Даже милое море, казавшееся таким безмолвным, ночью с шумом плещется о берег. Жизнь снова зазвучала для меня. Впервые я уезжал из дому с таким легким сердцем; я не оставил там ничего незавершенного. Я получил звание доктора; окончательно похоронил иллюзию о своем артистическом призвании, спутницу всей моей юности, а фрейлейн Дженни стала супругой часовщика. Так мне выпало редкое счастье отправиться в путь без иллюзий и не покидая любимой.

Сознание того, что эта глава моей жизни осталась позади, придавало мне уверенность и спокойствие. И вот — прощай покой: приехала фрау Фридерика.

Поздним вечером у меня на террасе: я поставил на стол свечу и пишу. Пора наконец разобраться во всем этом. Вот мой разговор с нею, первый через семь лет — первый после того часа...

Это было на взморье, в полдень. Я сидел на скамейке. Иногда мимо проходили какие-то люди. На пристани стояла женщина с маленьким мальчиком; так далеко, что я даже не мог разглядеть черты ее лица. Впрочем, я не обратил на нее никакого внимания; она простояла там довольно долго — вот все, что я знал, когда она покинула наконец пристань и направилась в мою сторону. Мальчика она вела за руку. Теперь я увидел, что она молода и стройна. Ее лицо показалось мне знакомым. Когда между нами оставалось шагов десять, я быстро встал и пошел ей навстречу. Она улыбнулась, и я узнал ее.

— Да, это я, — сказала она, протягивая мне руку.

— Я сразу узнал вас, — сказал я.

— Надеюсь, это было не слишком трудно? — сказала она. — А сами вы, пожалуй, тоже ничуть не изменились.

— Семь лет... — промолвил я.

Она кивнула:

— Семь лет...

Наступило молчание. Она была очень хороша. Вот по ее лицу скользнула улыбка; она обернулась к мальчику, которого продолжала держать за руку, и сказала ему:

— Подай господину руку.

Мальш протянул мне ее, но даже не посмотрел на меня.

— Мой сын, — сказала она.

Это был красивый смуглый мальчик со светлыми глазами.

— Как все же приятно, что можно вот так встретиться, — начала она. — Никогда бы не подумала...

— И как странно, — сказал я.

— Почему? — спросила она с улыбкой, первый раз

спокойно встречаясь со мной взглядом.— Лето... Все ведь путешествуют?

На языке у меня вертелся вопрос, где ее муж, но задать его я не решился и только спросил:

— Вы долго пробудете здесь?

— Две недели. Потом я встречу в Копенгагене с мужем.

Я быстро посмотрел ей в глаза, и они простодушно ответили: «Может быть, это тебя удивляет?»

Мне стало неловко и даже как-то не по себе. Моя забывчивость казалась мне непостижимой. Я только теперь заметил, что в последние годы уже почти не вспоминал о том давнем часе,— прошло семь лет! — словно его и вовсе не было.

— Вы должны будете многое рассказать мне,— продолжала она,— очень, очень многое. Вы, разумеется, давно уже доктор?

— Не так уж давно — месяц.

— Но лицо у вас все такое же детское,— сказала она.— Ваши усы как приклеенные.

Со стороны отеля назойливо зазвонил колокол, приглашая к обеду.

— До свидания,— сказала она, словно только и ждала этого сигнала.

— Разве нам нельзя идти вместе? — спросил я.

— Мы обедаем у себя, в моей комнате; я не люблю большого общества.

— Когда же мы увидимся?

Она, улыбаясь, показала глазами на аллею вдоль набережной.

— Здесь, кажется, трудно не встретиться,— сказала она и, заметив, что я задет ее словами, добавила: — Особенно при желании... До свидания.

Она протянула мне руку и, не оглядываясь, ушла. Малыш, однако, еще раз обернулся и посмотрел на меня.

После обеда я до самого вечера слонялся по набережной, но она так и не пришла. Неужели она уехала?.. Впрочем, в этом, пожалуй, не было бы ничего удивительного.

Прошел день,— я не видел ее. До обеда все время лил дождь, и, кроме меня, на берегу почти никого не было. Я несколько раз прошел мимо дома, в кото-

ром она живет, но я не знаю, где ее окна. После обеда дождь перестал, и я совершил длинную прогулку по прибрежной аллее до соседнего городка. Было пасмурно и душно.

По дороге я ни о чем, кроме тех дней, не мог думать. Все возникло вновь перед моим мысленным взором. Радушный дом, в котором я жил, и садик с зелеными лакированными стульями и столами. Маленький город с его тихими чистыми улицами, и далекие, тающие в тумане холмы. А наверху — бледно-голубое небо, которое так гармонировало со всем остальным, что казалось, будто оно только там и могло быть таким бледным и таким голубым. Ожили перед моими глазами и люди: школьные товарищи, учителя, муж Фридерики. Я видел его не таким, как в тот последний миг, — вот он с добрым, немного усталым лицом идет после школы по улице и приветливо кивает нам, мальчишкам, вот он сидит — чаще всего молча — за столом между мною и Фридерикой; там я часто видел его из окна своей комнаты; вот в саду за зеленым столом проверяет наши тетради. И я вспомнил, как в сад приходила Фридерика, приносила ему после обеда кофе и, улыбаясь, смотрела на мое окно — взглядом, совершенно для меня загадочным... до того последнего часа. Теперь я знаю, что часто вспоминал все это. Но не как что-то живое, а как картину, которая тихо и мирно висит дома на стене.

Мы сидели сегодня на берегу и разговаривали — как чужие. Мальчик играл у наших ног песком и камешками. Ничто, казалось, не тяготило нас: мы болтали, как два человека, которые встретились на курорте случайно, ненадолго и которые друг для друга ровно ничего не значат, — о погоде, местности, людях, потом о музыке и новых книгах. Настроение у меня, пока я сидел с нею, было самое радужное; но когда она поднялась и ушла, мне сразу стало невыносимо тяжело. Хотелось крикнуть ей вслед: «Оставь же мне что-нибудь», но она бы даже не поняла меня. А впрочем, разве я мог ожидать от нее чего-либо иного? То, что она была так приветлива со мною при первой встрече, объясняется, видимо, лишь неожиданностью; она, наверное, просто обрадовалась, что в чужой стороне нашелся

старый знакомый. А теперь у нас было время припомнить все; и то, что ей казалось давно и навсегда забытым, всколыхнулось вдруг с новой силой. Кто знает, сколько ей пришлось вынести из-за меня и как она страдает, может быть, даже еще сегодня. Что она осталась с ним, это мне ясно, а что они помирились — тому живое свидетельство четырехлетний сын; но можно ведь помириться, не простив, и простить, не забывая... Мне кажется, я должен уехать, это будет лучше для нас обоих.

Весь тот год возникает предо мною в странной, грустной прелести, и я все переживаю вновь. В памяти всплывает одна подробность за другой. Я вспоминаю осеннее утро, когда, в сопровождении отца, приехал в маленький город, где мне предстояло закончить последний класс гимназии. Мне ясно видится школьное здание посреди парка с высокими деревьями. Я вспоминаю уютную просторную комнату, в которой безмятежно готовил уроки; дружеские беседы с профессором о моей будущности, которые с улыбкой слушала за столом Фридерика; загородные прогулки с товарищами в ближайшую деревню; и эти мелочи трогают меня так глубоко, словно в них вся моя юность. Все эти дни, вероятно, давно покоились бы во мраке забвения, если бы на них не падал таинственный отблеск того последнего часа. И удивительнее всего то, что, с тех пор как Фридерика здесь, со мной, те дни кажутся мне ближе, чем нынешний май, когда я любил Фрейлейн Дженни, ставшую в июне женой часовщика.

Подойдя сегодня утром к окну и глянув вниз, на большую террасу, я увидел за одним из столиков Фридерика и ее мальчика; было рано, и, кроме них, никто еще не завтракал. Ее стол находился как раз под моим окном, и я громко пожелал ей доброго утра. Она посмотрела вверх.

— Вы уже проснулись? Так рано? — сказала она. — Может быть, сойдете к нам?

Через минуту я сидел за ее столом. Утро было удивительное — прохладное, солнечное. Мы болтали о таких же пустяках, что и в прошлый раз, но все теперь звучало по-иному. За нашими словами тлело воспоминание. Мы отправились в лес. Она начала рассказывать о себе, о доме.

— У нас все по-прежнему, — говорила она, — только сад стал красивее: муж очень следит за ним, с тех пор как родился сын. В будущем году у нас будет даже своя оранжерея.

Она разговорилась.

— Вот уже два года, как в городе появился театр; играют всю зиму, до вербного воскресенья. Я бываю там два-три раза в неделю, чаще всего с матерью; это доставляет ей огромное удовольствие.

Малыш, которого Фридерика вела за руку, воскликнул:

— Я тоже в театр!

— Конечно, ты тоже. По воскресеньям, — объяснила она мне, — днем иногда дают детские спектакли, и тогда я хожу с ним. Для меня это тоже праздник.

Пришлось кое-что рассказать и мне. Про мои занятия и прочие серьезные дела она почти не спрашивала, она больше интересовалась моим досугом и с удовольствием слушала рассказ о столичных развлечениях.

Нам было весело; о том общем воспоминании мы не обмолвились ни единым словом, хотя оно, конечно, ни у нее, ни у меня не выходило из головы. Гуляли мы долго, несколько часов, и я чувствовал себя почти счастливым. Иногда мальчик шел между нами, и тогда наши руки встречались на его кудрях. Но мы делали вид, что не замечаем этого, и продолжали непринужденно разговаривать.

Когда я остался один, мое хорошее настроение сразу улетучилось. Я вдруг опять почувствовал, что ничего не знаю о Фридерике. Мне было непонятно, почему эта неизвестность совершенно не мешала мне во время нашего разговора, и казалось странным, что сама Фридерика не чувствует потребности объясниться. Ведь даже если допустить, что в последние годы они с мужем молчали о том часе, не могла же она сама забыть о нем. После моего внезапного отъезда произошло, конечно, что-то очень серьезное — как она могла не говорить об этом? Может быть, она надеялась, что я сам начну этот разговор? Что удерживало меня? Та же робость, которая заставила удержаться от расспросов и ее? Неужели мы боимся коснуться этого? Пожалуй,

да. Но рано или поздно нам придется это сделать; до тех пор нас все время будет что-то разделять. И сознание, что нас что-то разделяет, мучает меня больше всего.

После обеда я бродил по лесу — теми же тропами, что утром с нею. Я тосковал, как можно тосковать только по горячо любимой. Поздно вечером, уже отчаявшись найти ее где-нибудь, я шел мимо ее дома. Она стояла у окна. Я окликнул ее, как и она меня утром:

— Может быть, сойдете вниз?

Она холодно, как мне показалось, ответила:

— Я устала. Спокойной ночи, — и закрыла окно.

Когда я думаю о Фридерике, предо мной возникают два совершенно различных образа. Большей частью я вижу бледную, кроткую женщину в белом капоте, которая сидит в саду, обращается со мною, как мать, и иногда треплет меня по щеке. Если бы я нашел здесь только эту Фридерiku, мой покой, конечно, не был бы нарушен, и я после обеда лежал бы под тенистыми буками так же, как в первые дни.

Но она является мне и совершенно иной. Такой я видел ее только однажды — в последний час, проведенный мною в том маленьком городе.

В тот день я получил аттестат зрелости. Я пообедал, как обычно, вместе с профессором и его женой, и так как я не хотел, чтобы они провожали меня на вокзал, то, встав из-за стола, тут же попрощался с ними. Расставание нисколько не тронуло меня. Лишь потом, когда я сел в опустевшей комнате на кровать и увидел у своих ног упакованный чемодан, а за распахнутым окном нежную зелень сада и белые облака, застывшие над холмами, моей души легко коснулась печаль разлуки. Вдруг открылась дверь. Вошла Фридерика. Я сразу встал. Она прислонилась к столу, заведя руки за спину, оперлась о него и, откинувшись назад, устремила на меня серьезный, внимательный взгляд. Еле слышно спросила:

— Значит, сегодня?

Я кивнул головой и в первый раз от души пожалел, что мне надо уезжать отсюда. Она стояла, потупив глаза, и молчала. Потом вскинула голову, подошла ко мне и мягко опустила обе руки на мои волосы, как

делала часто и раньше. Но я знал, что сейчас это было совсем другое. Я чувствовал на себе ее бесконечно нежный взгляд. Она ласково гладила меня по щекам и со страдальческим выражением качала головой, словно никак не могла понять чего-то.

— Неужели ты сегодня уедешь? — тихо спросила она.

— Да, — ответил я.

Она вскрикнула.

— Навсегда?

— Нет, — ответил я.

— О, я знаю: это навсегда, — горько улыбнулась она. — Если ты и приедешь к нам когда-нибудь... года через два или три — сегодня ты уезжаешь от нас навсегда.

Она сказала это с нежностью, в которой не было уже ничего материнского. Дрожь проняла меня. И вдруг она начала меня целовать. Сначала я только подумал: «Она же никогда этого не делала». Но когда она чуть не задушила меня своим поцелуем, я все понял. Смущенный и счастливый, я едва не заплакал. Она обвила мою шею руками, и я, словно повинувшись ей, бессильно опустился в угол дивана; Фридерика — теперь на коленях у моих ног — опять прильнула к моим губам. Потом взяла мои руки и уткнулась в них лицом. Я шептал ее имя и удивлялся, какое оно красивое. Аромат ее волос пьянил меня... Вдруг — я чуть не остоленел от ужаса — тихо открывается дверь, которая была лишь прикрыта, и на пороге стоит муж Фридерики. Я хочу крикнуть, но звуки застревают в горле. Я впиваюсь глазами в его лицо, но не знаю, дрогнул ли на нем хоть один мускул, — дверь закрылась, и он исчез. Я пытаюсь встать, освободить руки, на которых все еще лежит голова Фридерики, хочу что-то сказать, с трудом заставляю себя еще раз произнести ее имя, но тут она вскакивает — бледная как смерть, — властно шепчет: «Молчи!» — поворачивается к двери и замирает, прислушиваясь. Потом чуть приоткрывает дверь и смотрит в щель. Я стою ни жив ни мертв. Она широко открывает дверь, берет меня за руку и шепчет: «Иди! Иди быстрее!» Она выталкивает меня, я торопливо крадусь по недлинному коридору, у лестницы еще раз оглядываюсь и вижу: в дверях стоит перепуганная на-

смерть Фридерика и нетерпеливо машет: «Уходи! Уходи!» Я пулей вылетаю из дома.

То, что было дальше, мне вспоминается, как кошмарный сон. Гонимый смертельным страхом, я примчался на вокзал. Я ехал всю ночь, но так и не уснул в купе. Приехав домой, я был уверен, что родителям уже все известно; теплая, радостная встреча почти удивила меня. Много дней я провел в мучительном волнении, ожидая чего-то страшного; меня бросало в дрожь от каждого звонка у двери, от каждого письма. Наконец пришла весточка, которая меня успокоила, — это была открытка с безобидными новостями и сердечными приветами от одноклассника, жившего в том маленьком городе. Следовательно, ничего ужасного не произошло; по крайней мере, скандал не получил огласки. Я мог думать, что объяснение между супругами происходило с глаза на глаз, что он простил ее, а она раскаялась.

Тем не менее это первое любовное приключение продолжало жить в моей памяти как что-то печальное, почти мрачное; я казался себе человеком, безвинно нарушившим покой семьи. Постепенно это чувство угасло, и только позднее, когда новые переживания научили меня лучше и глубже понимать тот короткий час, на меня иногда находила странная тоска по Фридерике, похожая на печаль о несбывшемся чуде. В конце концов тоска тоже прошла, и я почти забыл молодую женщину. Но вот опять воскресло все, что сделало этот простой эпизод событием, и теперь оно сильнее, чем тогда, ибо я люблю Фридерiku.

Сегодня мне стало ясно все, что еще в последние дни казалось таким загадочным. Поздно вечером мы сидели у моря, вдвоем; мальчик был уже в постели. Утром я попросил ее прийти сюда самым неприятным образом; я говорил только о ночной красоте моря и о том, какое наслаждение всматриваться с уснувшего берега в непроглядную тьму. Она ничего не ответила, но я знал, что она придет. И вот мы сидим у моря, почти молча, руки наши сплелись, и я чувствую, что стоит мне захотеть — и Фридерика будет моей. Зачем говорить о прошлом, думал я: теперь я понял, что она думала так же со дня нашей встречи. Разве мы остались

такими же, как тогда? Мы чувствуем себя так легко, так свободно; воспоминания далеки от нас, как птицы, парящие в высоком летнем небе. Может быть, за эти семь лет и у нее были другие увлечения — что мне до этого? Сегодня мы живем настоящим, и нас влечет друг к другу. Может быть, вчера она была несчастной, легкомысленной — сегодня она молча сидит со мною у моря, держит мою руку и жаждет моих объятий.

Я не спеша проводил ее домой, надо было пройти всего несколько шагов. Деревья вдоль дороги отбрасывали длинные черные тени.

— Может быть, покатаемся утром на парусной лодке? — сказал я.

— Хорошо, — согласилась она.

— Я буду ждать на пристани, в семь.

— Куда мы поедем? — спросила она.

— На остров... вон туда, где маяк. Видите его?

— О да, красный свет. Это далеко?

— Час езды, мы скоро вернемся.

— Спокойной ночи, — сказала она и вошла в дом.

Я ушел. Через несколько дней ты, может быть, опять забудешь меня, думал я, но завтра будет прекрасный день.

На пристань я пришел раньше, чем она. Маленькая лодка уже ждала нас; старый Янсен поставил паруса и, сидя у руля, покуривал свою трубку. Я прыгнул к нему в лодку. Покачиваясь на волнах, я упивался минутами ожидания, как утренним нектаром. Дорога, на которую я пристально смотрел, была еще совершенно безлюдна. Минут через пятнадцать появилась Фридерика. Я увидел ее издали; мне показалось, что она идет гораздо быстрее, чем обычно; когда она взшла на пристань, я поднялся; только теперь она увидела меня и приветливо улыбнулась. Наконец, она подошла к краю пристани, я подал ей руку и помог сесть в лодку. Янсен отвязал канат, и наше суденышко отчалило. Мы сидели, тесно прижавшись друг к другу; Фридерика взяла меня под руку. Она была вся в белом, и ей можно было дать восемнадцать лет.

— Что интересного на этом острове? — спросила она.

Я невольно улыбнулся.

Она покраснела и сказала:

— По крайней мере, маяк?

— Может быть, еще церковь,— добавил я.

— А вы спросите лодочника...

Она показала на Янсена. Я спросил его:

— Когда построена церковь на острове?

Но он не понимал по-немецки, так что после этой попытки мы еще вернее могли чувствовать себя наедине, чем раньше.

— А на той стороне,— спросила она, показывая туда глазами,— тоже остров?

— Нет,— ответил я,— это уже Швеция, материк.

— Лучше бы поехать туда,— сказала она.

— Да,— ответил я,— и остаться там надолго... навсегда...

Если бы она сейчас сказала мне: «Давай уедем в другую страну и навсегда останемся там», я бы согласился. Пока мы плыли на этой лодке, овеваемые прозрачным воздухом — над нами ясное небо, кругом сверкающая зыбь,— мне почудилось, что мы королевская чета и совершаем увеселительную прогулку, а все, что прежде определяло нашу жизнь, перестало существовать.

Скоро мы стали различать на острове маленькие домики; все яснее вырисовывалась белая церковь на холме, который, постепенно поднимаясь, тянулся через весь остров. Наша лодка летела прямо к берегу. Иногда нам попадались рыбацкие челны; на некоторых были убраны весла, и они лениво покачивались на волнах. Глаза Фридерики почти все время были устремлены на остров, но она не смотрела на него. Не прошло и часа, как мы вошли в гавань, которая была окружена со всех сторон деревянной пристанью и напоминала небольшой пруд.

На пристани стояли дети. Мы вышли из лодки и не спеша направились к берегу; дети за нами, но скоро они отстали. Перед нами лежала вся деревня — не более двадцати беспорядочно разбросанных домов. Мы буквально тонули в рыхлом буром песке, намытом здесь водою. На солнечном пустыре, спускавшемся к самому морю, висели растянутые для сушки сети. Кое-где у дверей сидели женщины и чинили сети. Через

сто шагов мы остались совсем одни. Мы вышли на узкую дорогу, которая вела на другой край острова, к маяку. Налево от нас, за жалкой, все сужавшейся пашней, лежало море; справа поднимался холм, по гребню которого вилась дорога к церкви, оставшейся у нас за спиной. Над всем этим нависло солнце и тишина. Мы с Фридерикой все время молчали. Мне и не хотелось разговаривать; было так приятно идти с нею среди этого безмолвия.

Но она заговорила.

— Неделю тому назад... — начала было она.

— Что?

— Я еще ничего не знала... даже куда я поеду.

Я ничего не ответил.

— Ах, как здесь хорошо! — воскликнула она, взяв меня за руку.

Она была прелестна; мне так хотелось обнять ее и поцеловать в глаза.

— Да? — сказал я тихо.

Она промолчала, но сделалась вдруг серьезной.

Мы подошли к домику, пристроенному к башне маяка; здесь дорога кончалась; надо было возвращаться. На холм вела узкая, довольно крутая тропинка. Я колебался.

— Идемте, — сказала она.

Мы вступили на тропинку, и теперь церковь возвышалась прямо перед нами. Мы направились к ней. Было очень тепло. Я обнял Фридерiku за шею. Ей не оставалось ничего другого, как покорно идти рядом, иначе она скатилась бы вниз. Рукою я чувствовал, как горят ее щеки.

— Почему вы все-таки ни разу не написали нам за все это время? — спросила она вдруг. — Мне хотя бы? — добавила она, подняв на меня глаза.

— Почему? — повторил я отчужденно.

— Да!

— Как же я мог?

— Ах, поэтому... — сказала она. — Неужели вы тогда обиделись?

Я был так поражен, что ничего не мог ответить.

— Что вы, собственно, подумали тогда?

— Что я...

— Да. Или вы уже ничего не помните?

— Конечно, помню. Но почему вы заговорили об этом сейчас?

— Я давно хотела спросить вас, — сказала она.

— Так говорите же, — взволнованно попросил я.

— Вы, должны быть, сочли это за каприз... О, конечно, — с чувством добавила она, заметив, что я собираюсь что-то возразить. — Но поверьте, это был не каприз. Сколько я выстрадала в тот год — и представить себе нельзя.

— В какой год?

— Ну... когда вы у нас... Почему вы спрашиваете? Сначала я себе сама... Впрочем, зачем я вам это рассказываю?

Я пылко схватил ее за руку.

— Нет, рассказывайте... Пожалуйста... Я же люблю вас.

— А я тебя! — воскликнула она, взяла мои руки и начала их целовать. — Всегда любила, всегда.

— Продолжай, пожалуйста, — попросил я. — И расскажи мне все-все...

Мы медленно шагали по залитой солнцем тропинке, и она рассказывала:

— Сначала я говорила себе: он еще ребенок... я люблю его, как мать. Но чем ближе подходил час вашего отъезда...

Она остановилась на полуслове. Потом продолжала:

— И вот этот час наступил... Я не хотела к тебе идти; что привело меня наверх, сама не знаю. А когда я уже была у тебя, я совсем не хотела тебя целовать, но...

— Дальше, дальше, — говорил я.

— И вдруг я велела тебе уйти. Ты, конечно, решил, что все это была комедия, не правда ли?

— Я тебя не понимаю.

— Так я и думала. Я даже хотела написать тебе... А для чего?.. Так вот... Отослала я тебя потому... Я вдруг испугалась.

— Я это знаю.

— Знаешь? Почему же ты тогда не писал мне? — взволнованно воскликнула она.

— Чего ты испугалась? — спросил я, начиная догадываться.

— Мне померещилось, что кто-то идет.

— Померещилось? Но почему?

— Мне показалось, что я слышала в коридоре шаги. Да. Шаги! И подумала, что это он... Тогда на меня напал страх — было бы ужасно, если бы он... О, я даже думать не хочу об этом. Но там никого не было. Никого. Он пришел домой только поздно вечером. Ты давным-давно уехал...

Она рассказывала это, и я чувствовал, как что-то холодеет у меня в груди. А когда она кончила, я взглянул на нее так, словно собирался спросить: «Кто ты?» Я невольно обернулся к гавани, где белели паруса нашей лодки, и подумал: как давно, как бесконечно давно мы приехали на этот остров. Я сошел на берег с женщиной, которую любил, а теперь со мной стоит чужая. Я слова не мог вымолвить. Едва ли она заметила это; она взяла меня под руку; мое молчание она, вероятно, сочла за немую нежность. Я думал о нем. Значит, он ничего не сказал ей! Она не знает и никогда не знала, что он видел ее у моих ног. Он неслышно ушел тогда и вернулся лишь через несколько... через много часов и ничего не сказал ей! И все эти годы он прожил рядом с нею, не выдав себя ни единым словом. Он простил ей, а она не знала этого!

Мы подошли к церкви; до нее оставалось каких-нибудь десять шагов. Я заметил крутую дорожку, которая через несколько минут должна была привести нас в деревню, и свернул на нее. Фридерика последовала за мной.

— Подожди, — сказала она, — а то я упаду.

Я, не оглядываясь, протянул ей руку.

— Что с тобой? — спросила она.

Я ничего не мог ответить и только крепко пожал ей руку. Это, кажется, успокоило ее. Затем, лишь бы сказать что-нибудь, я заметил:

— Жаль, можно было осмотреть церковь.

Она засмеялась:

— Мы прошли мимо, даже не обратив на нее внимания.

— Может быть, вы хотите вернуться? — спросил я.

— Нет, нет. Я хочу поскорей обратно в лодку. Давайте как-нибудь покатаемся на парусной лодке вдвоем, без этого старика.

— Я не умею управлять парусами.

— А,— сказала она и замолчала, как будто ее внезапно поразила мысль, которую она хотела скрыть.

Распрашивать ее я не стал. Вскоре мы очутились на пристани. Лодка была готова. Возле нее опять стояли дети, которые встретили нас, когда мы приехали. Они смотрели на нас большими голубыми глазами. Мы отчалили. Море успокоилось. Закрыв глаза, трудно было заметить, что находишься в движении.

— Я хочу, чтобы вы легли у моих ног,— сказала Фридерика, и я устроился на дне лодки и положил голову Фридерике на колени.

Я был доволен, что мне не приходится смотреть ей в лицо. Она говорила, а мне казалось, что ее слова звучат где-то далеко-далеко. Я все понимал и в то же время мог спокойно предаться своим мыслям.

Она внушала мне ужас.

— Вечером покатаемся по морю вдвоем,— сказала она.

Что-то призрачное, казалось мне, витало вокруг нее.

— Сегодня вечером,— медленно повторила она,— на весельной лодке. Грести ты, надеюсь, умеешь?

— Да,— сказал я.

Глубокое прощание окружало ничего не подозревавшую Фридерiku, словно непроницаемой оболочкой, и приводило меня в трепет.

Она все говорила.

— Нас унесет в море, и мы будем вдвоем... Почему ты молчишь? — спросила она.

— Я счастлив,— сказал я.

Я с ужасом думал о безмолвном жребии, который она, сама того не зная, влачила уже столько лет.

Лодка неслась вперед.

У меня мелькнула мысль: «Скажи ей. Сними с нее этот ужас; тогда она опять станет для тебя просто женщиной, такую, как все, и ты возжелаешь ее». Но какое я имел право на это? Мы причалили.

Я выпрыгнул из лодки и помог сойти ей.

— Мальчик, наверно, уже скучает. Мне надо спешить. Не провожайте меня.

На взморье было оченьлюдно; я заметил, что на нас смотрят.

— А вечером,— промолвила она,— в девять... да что с тобой?

— Я очень счастлив,— сказал я.

— Вечером,— продолжала она,— в девять часов, я приду сюда на взморье, приду к тебе. До свидания! — И она убежала.

— До свидания! — повторил я, не двигаясь с места.

Но виделись мы в последний раз.

Теперь, когда я пишу эти строки, я уже далеко, и с каждой секундой уношусь все дальше; я пишу в купе поезда, который час тому назад вышел из Копенгагена. Уже девять. Она пришла на взморье и ждет меня. Стоит мне закрыть глаза, как предо мною возникает этот образ. Но не женщина бродит там в сумерках по берегу — там витает тень.



МЕРТВЫЕ МОЛЧАТ

Спокойно сидеть в коляске больше не было сил; он вышел и стал прохаживаться недалеко. Уже стемнело; огни редких в этом глухом переулке фонарей трепетали под ветром. Дождь перестал; тротуары почти высохли; но немощные улицы были еще влажны, и кое-где стояли небольшие лужи.

«Странно, — подумал Франц, — до Пратерштрассе каких-нибудь сто шагов, но так и кажется, что ты попал в захолустный венгерский городок... Ну и пусть —

здесь мы хоть можем чувствовать себя в безопасности; тут ей нечего бояться встречи со знакомыми».

Он посмотрел на часы... Семь, а уже ночь ночью. Рано в этом году началась осень. И эти проклятые ветры.

Он поднял воротник и стал еще быстрее шагать взад и вперед. Стекла фонарей дребезжали. «Еще полчаса, — сказал он себе, — и можно будет уйти. А! Я, кажется, не возражал бы, чтобы они уже миновали». На углу он остановился. Отсюда ему открывался вид на обе улицы, по которым она могла прийти.

«Да, сегодня она придет, — подумал он, придерживая шляпу, готовую улететь. — Пятница — заседание профессорской коллегии, сегодня она рискнет отлучиться и может даже пробыть со мной подольше...» Он услышал, как прозвонила конка; потом где-то рядом загудел колокол церкви святого Непомука. Улица немного ожила. Чаше стали появляться прохожие — главным образом, как ему показалось, приказчики из магазинов, закрывавшихся в семь часов. Все шло быстро и были поглощены борьбой с ветром, который мешал идти. На него никто не обратил внимания, кроме двух-трех продавщиц — в их взглядах мелькнуло легкое любопытство.

Вдруг он увидел быстро приближавшуюся знакомую фигуру. Он поспешил ей навстречу. Потом подумал: «Пешком? Она ли это?»

То была она; заметив его, она ускорила шаг.

— Ты пешком? — спросил он.

— Я отпустила фиакр еще у Карлтеатра. Я, кажется, уже один раз ехала с тем же кучером.

Какой-то господин, поравнявшись с ними, мельком взглянул на даму; встретив строгий, почти угрожающий взгляд молодого человека, он быстро удалился. Дама проводила его глазами.

— Кто это был? — спросила она боязливо.

— Не знаю. Можешь быть спокойна: знакомых здесь нет... А теперь быстро — вон фиакр,

— Это твой?

— Да.

— Открытый?

— Час тому назад была прекрасная погода.

Они поспешили к фиакру; молодая женщина села в него.

- Извозчик! — позвал молодой человек.
- Где же он? — спросила молодая женщина.
- Даже не верится, — воскликнул он, — этот тип куда-то провалился!
- Господи! — тихо вскрикнула она.
- Подожди-ка минутку, дорогая, он, должно быть, тут.

Молодой человек отворил дверь маленького трактира; за одним из столов, занятых посетителями, сидел извозчик; он проворно поднялся.

— Сию минуту, сударь, — проговорил он и стоя допил свой стакан вина.

— Что вы себе позволяете?

— Пожалуйста, ваша милость; я тут как тут.

Пошатываясь, он поспешил к лошадям.

— Куда прикажете, ваша милость?

— В Пратер, к Лютхаузу.

Молодой человек сел в коляску, верх ее был поднят, и его спутница уже сидела там, забившись в угол.

Франц взял ее руки в свои. Она не шелохнулась.

— Может быть, ты хоть пожелаешь мне доброго вечера?

— Прошу тебя — подожди немного; я все еще не могу отдышаться.

Молодой человек откинулся в другой угол. Некоторое время оба молчали. Фиакр свернул на Пратерштрассе, миновал монумент адмирала Тегетгофа и через несколько секунд покатылся по широкой темной аллее Пратера. Тут Эмма порывисто обняла любимого. Он молча откинул разделявшую их губы вуаль и поцеловал ее.

— Наконец-то мы вместе! — сказала она.

— Знаешь, когда мы виделись в последний раз? — воскликнул он.

— В воскресенье.

— Да, и то лишь издали.

— Как? Ты же был у нас.

— Да-да... у вас. Ах, больше так продолжаться не может. К вам я вообще больше не приду. Что с тобой?

— Мимо нас проехал чей-то экипаж.

— Милая, тем, кто сегодня катается по Пратеру, право же, не до нас.

— Да, конечно. Но вдруг кто-нибудь случайно заглянет в нашу коляску.

- Сейчас все равно никого не узнаешь.
- Прошу тебя, поедем куда-нибудь в другое место.
- Как хочешь.

Он окликнул извозчика, но тот, видимо, не услышал. Тогда Франц наклонился и тронул его за плечо. Извозчик обернулся.

— Поворачивайте обратно. И зачем вы так нахлестываете лошадей? Мы не спешим. Поедем на... знаете, аллея, которая ведет к Имперскому мосту.

— На шоссе?

— Да. Но не гоните так, в этом нет никакой надобности.

— Пожалуйста, сударь; это все буря, из-за нее кони так бесятся.

— Что и говорить, буря.

Франц сел на свое место.

Извозчик завернул лошадей. Они поехали обратно.

— Почему я тебя вчера не видела?

— Где бы ты могла меня видеть?

— Я думала, что моя сестра тебя тоже пригласила.

— Ах, так!

— Почему ты не пришел?

— Потому, что я не в силах встречаться с тобою на людях. И больше этого не будет. Никогда.

Она пожала плечами.

— Где мы сейчас? — спросила она немного спустя.

Они проехали под железнодорожным мостом и свернули на шоссе.

— Скоро Большой Дунай, — сказал Франц, — мы едем к Имперскому мосту. Знакомых ты здесь не встретишь, — добавил он насмешливо.

— Экипаж ужасно трясет.

— Да, мы опять едем по мостовой.

— Почему он едет такими зигзагами?

— Это тебе кажется.

Он, однако, и сам считал, что качало их гораздо сильнее, чем следовало. Но говорить он об этом не хотел, чтобы не напугать ее еще больше.

— Сегодня нам нужно о многом серьезно поговорить, Эмма.

— Тогда начинай, в девять я должна быть дома.

— Все можно решить двумя словами.

— Господи, что же это такое?.. — вскрикнула она.

Коляска каким-то образом оказалась между рельсами конки и теперь, когда извозчик попытался выехать, накренилась так, что едва не опрокинулась. Франц схватил извозчика за шиворот.

— Остановитесь, — закричал он. — Вы же пьяны.

Извозчик с трудом остановил лошадей.

— Но, сударь...

— Давай сойдем, Эмма.

— Где мы?

— Уже у моста. Буря теперь приутихла. Пройдемся немного пешком. Когда едешь, все равно толком не поговоришь.

Эмма опустила вуаль и последовала за ним.

— Приутихла, говоришь? — воскликнула Эмма; не успела она выйти из коляски, как ветер едва не сбил ее с ног.

Он взял ее под руку.

— Следуйте за нами, — крикнул он извозчику.

Они, не спеша, двинулись вперед. Поднимаясь на мост, оба хранили молчание; потом они услышали внизу шум воды и остановились. Густая мгла обступала их. Под ними катила свои воды река — серая и безбрежная; вдали виднелись красные огоньки, которые отражались в воде и, казалось, парили над нею. С берега, только что покинутого ими, в воду падали дрожащие полосы света; на другом берегу река как бы терялась в черных лугах. Вдруг послышался далекий, все нарастающий гул, — оба невольно взглянули туда, где мелькали огни; между железными арками, неожиданно выхваченными из ночного мрака и тут же, казалось, опять потонувшими в нем, проносился поезд с ярко освещенными окнами. Мало-помалу гул стих, наступила тишина, нарушаемая лишь неожиданными порывами ветра.

После долгого молчания Франц промолвил:

— Надо уехать отсюда.

— Конечно, — откликнулась тихо Эмма.

— Надо уехать; я имею в виду: уехать совсем, — живо сказал Франц.

— Это невозможно.

— Потому что мы трусы, Эмма; только поэтому.

— А ребенок?

— Он бы оставил его тебе, я совершенно уверен в этом.

— И как? — спросила она тихо. — Убежать ночью, тайком?

— Зачем? Ты просто скажешь ему, что жить с ним больше не можешь, потому что принадлежишь другому.

— Ты в своем уме, Франц?

— Если хочешь, я избавлю тебя и от этого, — я сам поговорю с ним.

— Ты не сделаешь этого, Франц.

Он попытался разглядеть ее лицо, но в темноте ничего не увидел, кроме того, что она вскинула голову и повернула ее к нему. Он помолчал немного. Потом спокойно сказал:

— Не бойся, не сделаю.

Они приближались к другому берегу.

— Ты ничего не слышишь? — спросила она. — Что это?

— Это с той стороны, — сказал он.

В темноте тарахтела какая-то повозка; навстречу им плыл красный огонек; скоро они увидели, что это свет небольшого фонаря, укрепленного на переднем конце оглобли; была ли на повозке кладь и ехал ли на ней кто, они не видели. Следом проехали еще две повозки. На последней они заметили человека в крестьянской одежде, он раскуривал трубку. Повозки проехали. Опять слышался лишь глухой шум фиакра, следовавшего за ними в двадцати шагах. Мост теперь отлого спускался к противоположному берегу. Они видели, как теряется во мраке между деревьями дорога. Внизу справа и слева от них расстилались луга; они глядели туда, как в пропасть.

После долгого молчания Франц вдруг сказал:

— Значит, это последний раз...

— Что? — озабоченно спросила Эмма.

— Что мы вместе. Оставайся с ним. Я уйду.

— Ты серьезно?

— Совершенно.

— Вот видишь, все-таки не я, а ты каждый раз отравляешь нам те немногие часы, когда мы можем быть вместе.

— Да, да, ты права, — сказал Франц. — Давай вернемся.

Она крепче прижалась к его плечу.

— Нет,— сказала она нежно,— теперь я не хочу. Так легко ты от меня не отделаешься.

Она привлекла его к себе и долго целовала.

— Куда бы мы попали,— спросила она затем,— если бы поехали по этой дороге?

— Прямо в Прагу, милая.

— Нет, это далеко,— сказала она с улыбкой,— но немножко, если хочешь, можно еще проехать в ту сторону.

Она показала в темноту.

— Эй, извозчик! — позвал Франц.

Тот не услышал.

Франц закричал:

— Да остановитесь вы!

Фиакр все удалялся. Франц побежал догонять его. Теперь он увидел, что извозчик спит. Ему пришлось громко крикнуть, чтобы разбудить его.

— Мы проедем еще немного, прямо по этой дороге, поняли?

— Ладно, сударь...

Эмма села в фиакр; за нею Франц. Свистнул кнут; лошади вихрем понеслись по размокшей дороге. Крепко обнявшуюся пару бросало из одного угла в другой.

— Разве в этом нет своей прелести? — шептала Эмма, почти касаясь его губ.

В это мгновение ей вдруг почудилось, будто коляска летит вверх,— она почувствовала, как ее подкинуло, хотела за что-нибудь ухватиться, но вокруг была пустота; ей показалось, что ее закружил какой-то бешеный вихрь; она невольно зажмурилась — и вдруг ощутила, что лежит на земле; наступила жуткая, тягостная тишина, словно весь мир куда-то исчез и она осталась совершенно одна. Потом она услышала какие-то звуки: стук лошадиных копыт, бивших землю рядом с нею, чей-то тихий стон; но она ничего не видела. Теперь ей стало страшно, она закричала — и испугалась еще больше, потому что не услышала собственного крика. Она вдруг совершенно ясно представила себе, что произошло: фиакр налетел на что-то, скорее всего на верстовой столб, опрокинулся, и они вьвалились. «Где Франц?» — было ее следующей мыслью. Она позвала его по имени. И услышала свой голос; совсем тихий, правда, но она услышала его. Никто не откликнулся.

Она попыталась подняться, с трудом села. Пошарив руками, наткнулась на чье-то тело. Теперь глаза ее освоились с потемками. Рядом с нею совершенно неподвижно лежал Франц. Она протянула руку и коснулась его лица; по нему текло что-то влажное, теплое. У нее перехватило дыхание. Кровь?.. Что случилось? Франц ранен и без сознания. А извозчик — где он? Она позвала его. Никто не откликнулся. Она все еще сидела на земле. «Я жива и невредима, — подумала она, хотя чувствовала боль во всем теле. — Что же мне делать... что же мне делать... не может быть, чтобы я ничего себе не повредила».

— Франц! — позвала она.

Голос раздался совсем рядом:

— Где вы тут, фрейлейн? Где господин? Ничего поди не случилось?.. Погодите, сейчас, фрейлейн, — я только засвечу фонарь, а то ничего ведь не видеть; и чего это мои дьяволы сегодня... ума не приложу. А я, ей-богу, не виноват... на кучу щебня понесло их, окаянных.

Несмотря на боль во всем теле, Эмма поднялась на ноги; то, что извозчик был цел и невредим, немного успокоило ее. Она слышала, как он открыл дверцу фонаря и зачиркал спичками. Со страхом ждала она света. Еще раз притронуться к лежавшему перед нею на земле Францу она не решалась; она думала: когда не видишь, все кажется страшнее; глаза у него, конечно, открыты... должно быть, все обошлось.

Сбоку упал слабый луч света. Она вдруг увидела фиакр, который, к ее удивлению, не лежал на земле, а лишь съехал в канаву, как если бы у него сломалось колесо. Лошади стояли как вкопанные. Свет приближался; она видела, как желтый кружок, медленно скользнув по верстовому столбу, по куче щебня, исчез в канаве; потом он заполз Францу на ноги, скользнул по телу, осветил его лицо и тут замер. Извозчик поставил фонарь на землю, у самой головы лежащего. Когда Эмма опустила на колени и увидела его лицо, у нее замерло сердце. Лицо было бледное, глаза — полузакрыты, виднелись одни белки. Из правого виска по щеке медленно сочилась струйка крови, которая терялась под воротником на шее. Зубы впились в нижнюю губу.

— Не может быть! — твердила Эмма.

Опустившийся на колени извозчик тоже остолбенело глядел на лицо Франца. Потом он взял обеими руками его голову и приподнял ее.

— Что вы делаете? — сдавленным голосом крикнула перепуганная Эмма, которой показалось, будто голова поднимается сама собой.

— Фрейлейн, сдается мне, беда тут стряслась.

— Неправда, — сказала Эмма. — Этого не может быть. Разве вам что-нибудь сделалось? А мне?..

Извозчик медленно опустил голову Франца на колени дрожавшей Эммы.

— Хотя бы кто подошел... не могли эти крестьяне проехать на четверть часа позже...

— Что же нам делать? — дрожащими губами спросила Эмма.

— Да, фрейлейн, кабы фиакр не поломался... а в таком виде... Ничего не поделаешь, придется ждать, пока кто подойдет.

Он еще что-то говорил, но Эмма не слушала его. Она между тем как бы очнулась и теперь знала, что делать.

— Далеко до ближайших домов? — спросила она.

— Нет, уже не далеко, фрейлейн, до Франц-Иозефс-ланда отсюда рукой подать... Будь сейчас светло, его, может, даже видно было б; пешком тут минут пять, не больше.

— Сходите туда. Я останусь, а вы позовите людей.

— Ладно, фрейлейн, но, по-моему, лучше бы мне все-таки остаться тут, при вас — особо долго-то ждать не придется, тут скоро кто-нибудь подойдет — это как-никак шоссе, и...

— Тогда будет поздно, тогда может оказаться слишком поздно. Нам нужен доктор.

Извозчик посмотрел сначала на безжизненное лицо Франца, потом, качая головою, на Эмму.

— Вы этого не можете знать, — вскричала Эмма, — и я тоже.

— Ладно, фрейлейн... но где же я во Франц-Иозефс-ланде найду доктора?

— Пусть тогда кто-нибудь отправится в город и...

— Знаете что, фрейлейн? Я думаю, может, у них

там есть телефон. Тогда можно бы позвонить в общество Скорой помощи.

— Да, это будет самое лучшее! Только идите; бегите, ради бога! И приведите людей... И... прошу вас: идите же. Что вы там копаетесь?

Извозчик уставился на бледное лицо, лежавшее у нее на коленях.

— Что там общество Скорой помощи, доктор — теперь уж они не помогут.

— Идите, ради бога! Идите!

— Иду, иду — чтоб вы только не испугались тут в потемках, фрейлейн.

Он быстро и торопливо зашагал по дороге.

— Я тут, ей-ей, ни при чем, — бормотал он. — Выдумали тоже: среди ночи на шоссе...

Эмма осталась на темной дороге одна с безжизненным телом. «Что теперь будет? — задумалась она. — Этого же не может быть... — твердила она себе. — Не может быть...» Вдруг ей послышался рядом вздох. Она наклонилась к побледневшим губам Франца. Нет, не дышит. Кровь на виске и на щеке, казалось, засохла. Она внимательно заглянула ему в глаза, в погасшие глаза — и содрогнулась. Да, почему же я не верю — это же так... это смерть! Она вся затрепетала. Единственное, что она ощущала: мертв. «Я и мертвец, у меня на коленях мертвец». Она дрожащими руками отодвинула голову, так что та опять оказалась на земле. Только теперь она почувствовала весь ужас своего одиночества. Зачем она отослала извозчика? Какая глупость! Что ей тут делать на шоссе одной с мертвецом? Если кто-нибудь подойдет... Да, что же ей делать, если кто-нибудь подойдет? Сколько придется здесь ждать? Она еще раз посмотрела на мертвого. «С ним я не одна», — подумала она. И свет — вот он. В этом огоньке ей мерещилось что-то нежное и ласковое, невольно вызвавшее у нее прилив благодарности. В маленьком пламени было больше жизни, чем во всей бескрайней ночи вокруг; ей даже казалось, будто этот огонек защищает ее от страшного мертвенно-бледного человека, распростертого у ее ног... Она так долго смотрела на этот огонек, что он заплясал у нее перед глазами. И вдруг она словно проснулась и тут же вскочила на ноги! «Нельзя же так, ведь это ужасно, не могу же я

допустить, чтобы меня застали тут с ним...» Она мысленно представила себе, как стоит сейчас на дороге, а у ног ее — мертвец и фонарь; какой огромной, должно быть, кажется в темноте ее фигура. «Чего я жду? — мелькнуло у нее; мысли лихорадочно сменяли одна другую. — Чего я жду? Людей? Зачем я им? Они придут и спросят... а я... почему я здесь? Все будут спрашивать, кто я такая. Что я им отвечу? Ничего. Ни слова не скажу, если кто-нибудь придет, буду молчать. Ни слова... не могут же они заставить меня говорить».

Вдали послышались голоса.

«Уже?» — подумала она. Испуганно прислушалась. Голоса доносились со стороны моста. Значит, это не те люди, за которыми пошел извозчик. Но кто бы они ни были, они могут заметить свет, а этого допустить нельзя, не то ее обнаружат.

Ударом ноги она опрокинула фонарь, и он погас. Все погрузилось в глубокий мрак. Она ничего не видела вокруг. Даже его. Только тускло белел щебень. Голоса приближались. Она задрожала всем телом. Лишь бы ее не заметили. Господи, только это ведь и важно, только это — все остальное не имеет никакого значения, она же погибла, если кто-нибудь узнает, что она любовница... Эмма судорожно стискивает ладони. Она молит бога, чтобы люди прошли той стороной дороги и не заметили ее. Она прислушивается. Да, они на той стороне... Что они говорят? Это две женщины; может быть, три. Фиакр они заметили, потому что разговор идет о нем, кое-что можно разобрать. «Опрокинулась какая-то коляска...» Что они еще говорят? Она не может понять. Они проходят... ушли... Слава богу! А теперь, что теперь? Ах, почему она не лежит сейчас мертвая, как он? Ему можно позавидовать: для него все кончено... для него не существует теперь ни опасности, ни страха. А она боится всего. Боится, что ее застанут здесь и спросят: кто вы?.. Что ей придется пойти в полицию, и все об этом узнают... Что ее муж... что ее ребенок...

И зачем она стоит здесь столько времени как вкопанная? Она ведь может уйти, она здесь никому не поможет, только на себя накличет беду. Она делает шаг вперед... Осторожно, канава... заносит ногу, — нет, неглубоко! — еще два шага, и она на середине шоссе... она

замирает, всматривается в даль, видит теряющуюся во мраке серую дорогу. Там — город. Его не видно... но ей ясно, куда идти. Она еще раз оглядывается. Не так уж и темно. Она хорошо видит фиакр; вон лошади... присмотревшись, она начинает различать и очертания распростертого на земле человеческого тела. Глаза у нее расширены от ужаса, и она не может отделаться от ощущения, будто что-то удерживает ее здесь... Это мертвый — он не отпускает ее отсюда. Его власть над нею приводит ее в трепет. Но она усилием воли стряхивает с себя оцепенение и тогда замечает, какая кругом сырость; дорога скользкая, и ноги словно прилипли к ней. Но вот она идет... идет быстрее... бежит... прочь отсюда... назад... к свету, к шуму, к людям! Подобрал подол, чтобы не упасть, она устремляется вперед. Ветер ей в спину; можно подумать, что он подгоняет ее. От чего она бежит, она уже и сама толком не знает. То ей кажется, что от бледного человека, который лежит там, далеко позади, у канавы... потом ей приходит в голову: она же хочет скрыться от живых, которые вот-вот придут и начнут искать ее. Что они подумают? Не пустятся ли в погоню? Но теперь ее не догнать, она уже почти у моста, у нее большое преимущество, и скоро она будет вне опасности. Откуда им знать, кто она; ни одна душа не подозревает, кто та женщина, что проезжала с молодым человеком по шоссе. Извозчик был незнакомый, если он даже когда-нибудь и увидит ее, то все равно не узнает. Да никто и не станет доискиваться. Кому это нужно? Она умница, что не осталась там; и ничего в этом нет плохого. Даже Франц сказал бы, что она поступила правильно. Ей ведь нужно домой, у нее ребенок, у нее муж; она бы погибла, если бы ее нашли там, возле мертвого любовника. Вот и мост; дорога, кажется стала светлее... она даже слышит опять шум реки; по этому мосту они шли с ним рука об руку — когда — когда? Сколько часов тому назад? Конечно, недавно. Недавно? А может быть, давно! Может быть, она долго была без сознания, может быть, давно уже пробило полночь, может быть, скоро утро и ее уже хватились дома. Нет, нет, это исключено; она хорошо знает, что не теряла сознания; она сейчас еще отчетливее, чем в первый момент, вспоминает, как вылетела из коляски и сразу поняла, что

произошло. Не оглядываясь, бежит она по мосту и слышит свои гулкие шаги. Вот она замечает, что навстречу ей движется какая-то фигура и замедляет шаг. Кто бы это мог быть? Этот человек в мундире. Эмма идет совсем медленно. Она не должна обращать на себя внимания. А он, кажется, не спускает с нее глаз. Что, если он начнет ее расспрашивать? Они поравнялись, она разглядела мундир: это полицейский. Она проходит мимо, слышит, что он остановился. С трудом заставляет она себя не бежать; это было бы подозрительно. И она продолжает идти тем же размеренным шагом. Слышится звон конки. Значит, до полуночи еще далеко. Она опять идет быстрее; она спешит в город, и вот она уже видит его огни под виадуком железной дороги в конце улицы и как будто слышит его приглушенный гул. Еще эта пустынная улица, и она спасена. Она слышит далекие резкие свистки; они все пронзительнее, все ближе; мимо нее проносится карета. Эмма невольно останавливается и смотрит ей вслед. Это карета Скорой помощи. Эмма знает, куда она едет. «Как быстро!» — думает она. Как по волшебству. Одно мгновение ей кажется, что она должна окликнуть этих людей, должна поехать с ними, должна опять вернуться туда, откуда она пришла, — на мгновение ее охватывает жгучий стыд, какого она никогда еще не испытывала; она знает, что поступила малодушно и скверно. Но когда она слышит, что грохот и свистки замирают вдали, ее охватывает дикая радость; она чувствует, что спасена, и устремляется вперед. Навстречу ей попадают люди; она уже не боится их — самое тяжелое позади. Явственно слышится шум города, впереди становится все светлее; уже виднеется ряд домов на Пратерштрассе, и ей кажется, что улица непременно будет запружена огромной толпой, в которой она сможет бесследно затеряться. Она уже настолько овладела собой, что, проходя мимо уличного фонаря, может взглянуть на часы. Без десяти девять. Она подносит часы к уху; нет, они не остановились. У нее мелькает мысль: я жива, невредима... даже часы мои идут... а он... он... мертв... Судьба... Ей кажется, что ей все простилось... что вообще за ней не было никакой вины. Теперь в этом уже нельзя сомневаться; да, нельзя. Она слышит, как произносит эти слова вслух. А если бы судьба решила

иначе? Если бы она сейчас лежала там, в канаве, а он остался бы жив? Он никогда бы не убежал... никогда. Да, но он мужчина. А она женщина — у нее муж и ребенок. Она права, это ее долг, — да, ее долг. Она прекрасно сознает, что действовала так не из чувства долга... И все-таки она поступила правильно. Бессознательно... как... все хорошие люди. Теперь ее бы уже нашли. Врачи теперь спрашивали бы ее. А ваш супруг, сударыня? Господи!.. А завтрашние газеты, — ее семья — она была бы уничтожена навеки, а его все равно не вернула бы к жизни. И это главное; она погибла бы ни за что ни про что. Она под железнодорожным мостом. Дальше... дальше... Вот колонна Тегетгофа, к которой сходится так много улиц. Сегодня, в этот дождливый и ветреный осенний вечер, они малолюдны, но для нее жизнь в городе бьет ключом, после той жуткой тишины, которая была там, откуда она идет. У нее еще много времени. Она знает, что муж вернется сегодня около десяти, — она даже успеет переодеться. Ей приходит в голову осмотреть свое платье. Она с испугом замечает, что оно все в грязи. Что она скажет горничной? Ведь завтра, мелькает у нее в голове, о несчастном случае можно будет прочитать во всех газетах; можно будет прочитать и о том, что в фиакре была еще женщина, которую так и не удалось найти. При этой мысли ее опять бросает в дрожь — одна неосторожность, и вся ее трусость окажется напрасной. Но у нее же с собой ключ от квартиры; она может сама отпереть и войти неслышно. Она быстро садится в фиакр, уже хочет дать свой адрес, но спохватывается, что это, вероятно, глупо, и называет первую пришедшую на ум улицу. Она едет по Пратерштрассе и очень хочет, чтобы в душе шевельнулось какое-нибудь чувство, но тщетно; там только одно желание — поскорее очутиться дома, вне опасности. Все остальное ей безразлично. В тот момент, когда она решила покинуть мертвого на шоссе, в ней поневоле должны были умолкнуть все сожаления и вся скорбь о нем. Теперь она была целиком занята собою. Она отнюдь не бессердечна... о нет... она прекрасно знает, что настанут дни, когда она будет близка к отчаянию; она, может быть, даже не переживет этого; но сейчас в ее душе нет ничего, кроме страстного желания

спокойно и с сухими глазами сесть дома за один стол с мужем и с ребенком. Она выглядывает в окно. Фиакр едет по ярко освещенному Внутреннему городу; здесь много прохожих. Ей вдруг кажется, будто того, что она пережила за последние часы, на самом деле не могло быть. Все это представляется ей страшным сном... в реальность и непоправимость которого невозможно поверить. В одном из переулков за Рингом она приказывает остановиться, выходит, быстро сворачивает за угол и берет другого извозчика, которому дает свой настоящий адрес. Она чувствует, что никак не может собраться с мыслями. «А где теперь он?» — мелькает у нее вопрос. Она закрывает глаза и представляет себе, как он лежит на носилках в санитарной карете, — и вдруг ей начинает казаться, будто она сидит около него и едет вместе с ним. Карету качает; она боится, что ее выбросит, как тогда, и вскрикивает. Фиакр останавливается. Она вздрагивает и видит ворота своего дома. Она поспешно выходит, бесшумно ступая, — швейцар за своим окошком даже не поднимает головы, — быстро проскальзывает в подъезд, поднимается по лестнице, тихо, чтобы ее не услышали, отпирает дверь... через прихожую — в свою комнату. Удалось! Она зажигает свет, торопливо сбрасывает с себя платье и прячет его подальше в шкаф. Пусть за ночь подсохнет — завтра она возьмет щетку и сама все вычистит. Потом она умывает лицо, руки и надевает пеньюар.

Раздается звонок. Она слышит, как горничная подходит к двери и открывает, слышит голос мужа; слышит, как он ставит трость. Она чувствует, что должна быть теперь сильной, не то все может оказаться напрасным. Она спешит в столовую, так что входит одновременно с супругом.

— А-а, ты уже дома? — говорит он.

— Конечно, — отвечает она, — уже давно.

— Они, очевидно, не заметили, когда ты пришла.

Она непринужденно улыбается. Только улыбаться ей очень трудно. Он целует ее в лоб.

Малыш уже за столом; ему долго пришлось ждать. На тарелке перед ним лежит раскрытая книга, и он спит, уткнувшись в нее лицом. Она садится рядом с ним, супруг усаживается напротив, берет газету и просматривает ее. Отложив ее, он говорит:

— Остальные еще сидят и совещаются.

— О чем? — спрашивает она.

И он начинает рассказывать о сегодняшнем заседании; очень долго, очень подробно. Эмма притворяется, что слушает; иногда кивает головой.

Но она ничего не слышит, даже не знает, о чем он говорит; у нее самочувствие человека, чудом избежавшего страшной опасности... На уме у нее только одно: я спасена, я дома... Муж рассказывает, а она подсаживается к мальчику, берет его голову и прижимает к своей груди. Невыразимая усталость наваливается на нее — она ничего не может с собою поделать, чувствует, что сон одолевает ее, и закрывает глаза.

И вот в сознании ее всплывает возможность, о которой она ни разу ни задумывалась с той минуты, как выбралась из канавы. Что, если он не умер? Если он... Ах, нет, сомневаться нельзя было... Эти глаза... этот рот — а потом... никакого дыхания. Но бывает же летаргия. Бывают случаи, когда даже опытный глаз ошибается. А у нее-то глаз совсем не опытный. Что, если он жив, если он уже очнулся и вдруг обнаружил, что он среди ночи совершенно один на шоссе... если он зовет ее... окликает по имени... если он, наконец, боится, что она ранена... если он рассказывает врачам, что с ним была женщина, ее, должно быть, отбросило дальше. И... да, что тогда? Ее будут искать. Из Франц-Иозефсланда вернется с людьми извозчик... он расскажет: когда я уходил, дама была тут — и Франц догадается... Франц поймет... он ведь так хорошо ее знает... он поймет, что она убежала, и будет вне себя от ярости; и чтобы отомстить, он назовет ее имя. Ему ведь уже все равно... он будет так потрясен тем, что она покинула его в последний час, что, не задумываясь, скажет: «Это была фрау Эмма, моя любовница... трусливая и к тому же глупая, потому что, не правда ли, господа доктора, если бы вас попросили сохранить все это в тайне, вы не стали бы спрашивать ее имени. Вы спокойно отпустили бы ее, и я тоже — да, да; но она должна была остаться здесь, пока вы не приедете. А раз она такая, я вам скажу, кто она. Это...» Ах!

— Что с тобою? — озабоченно спрашивает, поднимаясь, профессор.

— Что?.. Как?.. Что случилось?

— Да что с тобою?

— Ничего.

Она еще крепче прижимает к себе мальчика.

Профессор смотрит на нее долгим взглядом.

— Ты знаешь, что начала засыпать и...

— И?

— Потом ты вдруг вскрикнула...

— ...неужели?

— Как кричат во сне, когда душат кошмары. Тебе что-нибудь снилось?

— Не знаю. Я ничего не знаю.

Из стенного зеркала напротив ей улыбается страшное, перекошенное лицо. Эмма видит его и, хотя знает, что лицо это ее собственное, содрогается от ужаса... Она чувствует, что оно словно застыло, и ничего не может сделать со своим ртом; она знает: эта улыбка будет играть вокруг ее губ, пока она жива. Она пытается кричать. Вдруг она чувствует, что ей на плечи опускаются две руки, и видит, как между ее лицом и тем, что в зеркале, появляется голова супруга, который вопросительно и строго заглядывает ей в глаза. Она знает: если она не выдержит этого последнего испытания, все будет потеряно. И она чувствует, как опять становится сильной, как овладевает своим лицом, своими членами; сейчас она может делать с ними что угодно; но нельзя же упускать этот миг, потом его не вернешь, и она протягивает руки к рукам супруга, которые по-прежнему лежат у нее на плечах, и привлекает его к себе; в глазах ее веселье и нежность.

Чувствуя у себя на лбу губы мужа, она думает: «Конечно... страшный сон. Он никому не скажет... и никогда не будет мстить, никогда... он мертв... конечно, мертв... а мертвые молчат».

— Почему ты это говоришь? — вдруг доносится до нее голос мужа.

Она пугается.

— Что я сказала?

У нее такое чувство, будто она во всем открылась... будто она вслух рассказала тут за столом всю историю сегодняшнего вечера... Не в силах вынести его взгляда, она переспрашивает:

— Что я сказала?

— Мертвые молчат, — отдельно повторяет ее муж.

— Да... — говорит она. — Да...

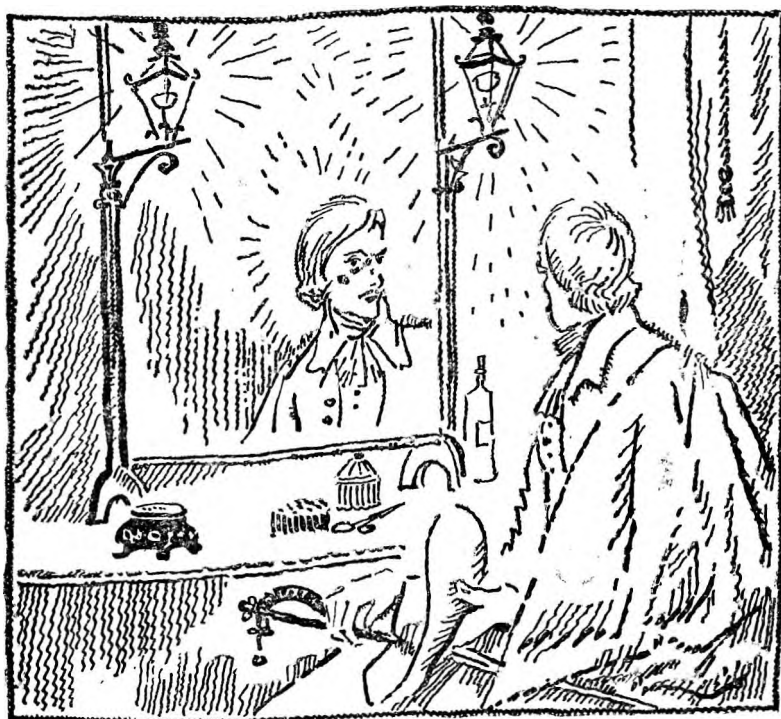
В его глазах она читает, что теперь ей уже ничего не утаить, и они долго смотрят друг на друга. Потом он говорит ей:

— Уложи мальчика... тебе, кажется, нужно еще чем-то поделиться со мною...

— Да, — сказала она.

И она знает, что в следующую минуту расскажет этому человеку, которого обманывала долгие годы, всю правду.

И когда она, все время ощущая на себе глаза супруга, медленно проходит с мальчиком через дверь, у нее делается удивительно спокойно на душе, словно теперь многое могло бы опять стать на свое место.



БНЕФИС

I

Август Вите сидел в кафе уже с полчаса и даже не смотрел на ворох газет, лежавший перед ним, когда вбежал запыхавшийся Эмерих Бергер.

— А, наконец-то! — воскликнул Август, увидев его. — Вовремя, ничего не скажешь... Мне все приходится делать одному.

— Пардон, — сказал Эмерих, опускаясь на стул, — я должен был нанести еще один визит, насилу выбрался оттуда. Надеюсь, я ничего не упустил? Все улажено?

— Конечно, — слегка хмурясь, ответил Август. — К счастью, я тут.

— Значит, пока делать больше нечего, остается ждать начала?

— Да, пока нечего. Я велел только еще прийти Добрдалу, чтобы дать ему последние распоряжения.

— Ты велел Добрдалу прийти сюда?

— Почему бы и нет? Вид у него вполне приличный. А потом — все ведь знают, что он нам не компания.

Эмерих кивнул в знак согласия и спросил:

— А как с лавровыми венками?

— Уже в театре.

— Ну, тогда все в порядке. И, кроме нас, ведь никто об этом не знает?

— Никто. Но Фреду мы, конечно, расскажем: он будет в нашей ложе.

Эмерих покачал головой.

— А ты не думаешь, что Фреда нам лучше... не предупреждать?

— Это почему?

— Да так, знаешь... чудит он иногда, этот Фред. Чего доброго, еще не согласится.

— Ну, это дело его. Пошутить нам нельзя, что ли? Отвечаем-то за все мы одни.

— Разумеется. Один ты.

— Да, один я. Без меня вы такой оригинальной шутки никогда бы не выдумали.

— Разумеется, — улыбнулся Эмерих. — Но я готов держать пари, что здесь замешана и Бландини... Мне кажется, что...

Он встретил строгий взгляд Августа и, вместо того чтобы продолжать, смущенно закрутил головой, бросил в кофе кусок сахара и начал потихоньку насвистывать.

В кафе вошел Фред.

— Здравствуйте, — сказал он, подавая руку приятелям. — Большое спасибо за билет в ложу, — обратился он к Августу. — Но почему, позволь тебя спросить, мы опять идем на эту нелепую оперетку?

— Сейчас услышишь, — ответил Август. — Впрочем, вот и господин Добрдал.

— Кто? — спросил Фред.

— Эй, маркёр, — позвал Август, — видите, там у бильярда стоит господин и спрашивает о чем-то Франца? Позовите-ка его сюда.

— Добрдал? — недоуменно обратился Фред к Эмериху. — Что это значит? Что за Добрдал?

Эмерих показал глазами на человека, который, узнав от кельнера, где сидят молодые люди, подошел к их столу и поклонился.

Это был маленький человек в коричневом пальто а-ля Меншиков и в меховой шапке. Спереди на тесемке болталось пенсне.

Август снисходительно кивнул ему:

— Добрый вечер, господин Добрдал. Может быть, закажете что-нибудь?

— О нет, не нужно.

— Тогда садитесь.

— С вашего позволения.

— Я пригласил вас в кафе, чтобы в последний раз... Но вы, может быть, все-таки что-нибудь закажете? Вот как раз кельнер.

— Принесите мне кофе с молоком, — сказал господин Добрдал, снимая меховую шапку и кладя ее на стол.

Эмерих осторожно взял ее и переложил на стул.

— Благодарю вас, — сказал господин Добрдал.

— Итак, — снова начал Август, — сколько у вас человек?

— Сорок. И как рассажены!

— В партере тоже?

— А как же, с одной галеркой мы ничего не делаем. Самое главное — это партер.

— Вы их еще увидите до спектакля?

— А как же, все билеты у меня в кармане.

— Прекрасно. Итак, слушайте, господин Добрдал. Повторим еще раз. В первом акте — ничего. Мне даже хотелось бы, чтобы после первого акта аплодировали меньше, чем обычно.

— Это невозможно, господин фон Витте. Директор требует, чтобы было три вызова.

— Вот досада!

— Впрочем, знаете что, господин фон Витте? Я прикажу партеру после первого акта не хлопать.

— Ладно. Теперь второй акт — насчет этого нужно договориться. Сначала поет хор.

— Мне ли не знать, господин фон Витте!

— Вы слушайте, пожалуйста. После хора на сцене, как вы знаете, остается одна Бландини, страшно печальная; она бросается на диван, и в эту минуту выходит господин Роланд.

— Вот тут и пойдет потеха! — не выдержал Добрдал.

— Роланд? — удивился Фред.

— В этом-то и заключается вся наша шутка, — тихо объяснил Эмерих.

— Как только появится господин Роланд, — продолжал Август, — гром аплодисментов.

— Понятно, — сказал Добрдал.

— Сквозь аплодисменты, — сказал Август, — уже слышатся крики «браво»; аплодисменты продолжают, а из оркестра подают венки. Теперь Роланд должен сказать: «Прекрасная дама...», или как там: «Прекрасная госпожа... это ожерелье вам господин мой посылает». Потом идет ария Бландини, во время которой Роланд стоит у двери. Потом Бландини подходит к Роланду и возвращает ему ожерелье.

— Это похоже на Бландини, — заметил Эмерих.

Август бросил на него мрачный взгляд. Эмерих покраснел, и Август продолжал:

— Роланд берет ожерелье и спрашивает: «Что я должен передать своему господину?..» — или что-то вроде этого. Бландини на это: «Ничего». Роланд кланяется и уходит. И тут: бурные аплодисменты.

— Овация, — подхватил Добрдал.

— Правильно: овация, шум, крики «бис»... И прикажите своим не прекращать до тех пор, пока мы не заставим Роланда выйти и поклониться. Надеюсь, вы меня поняли, господин Добрдал?

— Господин фон Витте! На меня вы можете положиться!

— Значит, — закончил Август, — пока все.

Добрдал понял, поспешно допил свой кофе, встал, откланялся и ушел.

— Теперь я хотел бы, наконец, узнать, что все это значит, — сказал Фред.

— Могу объяснить, — ответил Август.

— Любопытно, — заметил Фред.

Эмерих насторожился.

— Во-первых, — продолжал Август, — я просто не понимаю, почему все должно обязательно что-нибудь значить.

Эмерих был разочарован, Фред засмеялся.

— А во-вторых, — быстро добавил раздраженным тоном Август, — если бы вы двое были способны вдуматься как следует в это дело, то вы не задавали бы таких вопросов. Не спорю, сначала у меня была на уме только веселая шутка; но получается нечто большее, нечто хорошее, нечто, я бы сказал, разумное: мы доставим радость бедняге, о котором обычно никто даже не вспоминает. Великих артистов чествуют, на мой взгляд, достаточно; но для спектакля нужны и малые.

— Это верно, — согласился Эмерих.

— Поэтому моя шутка имеет более глубокий смысл, и если публика нас поддержит сегодня вечером — в чем невозможно сомневаться — и будет аплодировать вместе с нами, то она, может быть, сама того не подозревая, будет чествовать в лице господина Роланда всех тех маленьких людей, о которых обычно забывает.

— Вот именно: сама того не подозревая, — сказал Фред. — Потому что пять минут назад ты и сам еще не подозревал, что ты такой благородный человек.

— Да, Эмерих был прав... — бросил Август.

Эмерих, приняв важный вид, спросил себя, в чем же это он был прав.

— ...что тебе лучше ничего не говорить, — продолжал Август.

Эмерих пришел в ужас и посмотрел на Фреда с сочувственной нежностью.

— Ты отбиваешь всякую охоту что-либо делать, — сказал Август.

— Право, я тебя не понимаю, — рассмеялся Фред. — Ты так волнуешься, словно чувствуешь за собой какую-то вину. Все благородные поступки совершаются бессознательно, иначе они бы не были благородными. Придумает простой смертный какую-нибудь шутку, и она, естественно, становится подлостью; придумываешь эту шутку ты, и она, естественно, становится добрым делом.

Август сердито посмотрел на него.

— Ты что же, собираешься лишить нас удовольствия быть на спектакле в твоём обществе?

— Отнюдь нет, — с невинной миной ответил Фред. —

А кроме того, ты ведь пригласил меня ещё отужинать после спектакля с тобою, Эмерихом и Бландини.

— Совсем забыл.

— А я нет.

— Пора идти, — сказал Август.

Они расплатились, вышли из кафе и поехали в театр. Дорогой Эмерих смотрел то на одного, то на другого и чувствовал, что эти два человека расходятся во мнениях по какому-то важному вопросу. Когда они, выйдя из экипажа, поднимались по лестнице, ведущей к ложам, он собрался с духом и сказал:

— Дети, будьте же благоразумны!..

Август ничего не ответил, а Фред пожал Эмериху руку и сказал:

— Постараюсь.

Дверь в ложу открылась, и навстречу трем друзьям полились первые веселые звуки увертюры.

II

Первый акт окончился.

Фридрих Роланд сидел в своей уборной, один. Он был одет в фантастический костюм: черно-красный бархатный камзол и темно-голубое трико; на голове — великолепный парик из вьющихся каштановых волос и берет. Положив на колени шпагу, он задумчиво глядел в зеркало, откуда на него смотрело нарумяненное помолодевшее лицо с накладными усами. В таком оцепенении он сидел с начала спектакля. Вот он услышал за дверью шаги и голоса хористов, спешивших со сцены в свои уборные, затем опять все стихло. Роланд был рад, что он один: ему приходилось делить уборную с двумя другими коллегами, но они не были заняты в новой оперетте, и Роланд даже любил ее за это. Дело в том, что они не понимали друг друга, Роланд и эти довольные жизнью люди, которые с самого начала занимались своим нехитрым искусством как честные ремесленники и требовали только одного — чтобы оно их кормило. Ро-

ланд знал, конечно, что и его теперь считают таким же ремесленником; но сам он чувствовал в то же время, что его настоящее место отнюдь не среди них. Если бы счастье улыбнулось ему, он стал бы совершенно другим человеком. Об этом он и думал теперь, сидя в гриме перед зеркалом, как думал изо дня в день. Даже сегодня, после десятилетнего ангажемента в этом театре, он не мог войти в него без глухого чувства раздражения и стыда, и ему никогда не удавалось это скрыть. Поэтому его коллеги со свойственным низким людям безошибочным нюхом скоро обнаружили, где его можно более всего уязвить, и каждое проявление его характера: его речь — тихая и усталая, его медленная и, казалось бы, гордая поступь, даже его привычка, сощурив глаза, склонять набок голову, воспринимались как комические признаки его недовольства. Был у него когда-нибудь талант или нет — никто не знал; да об этом и не заходила речь: уже много лет он играл роли пажей, слуг, рабов, заговорщиков, исполнители которых на афишах не указывались, — чаще всего он был даже вторым рабом или третьим заговорщиком. Почему у него было больше причин жаловаться на свою судьбу, чем у других артистов, взятых на те же роли? У них было такое же прошлое, как у Роланда, они тоже много лет назад играли на маленьких сценах первых героев, любовников, интриганов. И среди них, может быть, не один с горечью вспоминал о том времени и, может быть, тоже не мог этого скрыть. Но все шутки, все колкости сыпались на одного Роланда, так как все видели, что он страдает от них больше других. Вначале он пробовал защищаться; пытался отвечать на остроты, но делал это весьма неловко; пытался грубить, но ему не хватало духу. Так он стал терпеливо сносить все обиды, замкнулся в себе и часто по целым дням не произносил ни слова. Все это как нельзя лучше вязалось со сложившимся о нем представлением; это тоже была комическая гордость «непризнанного гения». Мало-помалу слава о нем вышла за пределы узкого круга, в котором он вращался; каждый, кто в городе интересовался театральной жизнью, знал его имя, с которым было связано столько шуток; репортеры в блистающих остроумием заметках, зрители в разговорах друг с другом пользовались именем «Ро-

ланд» для того, чтобы кратко обозначить тип ничтожного, но тщеславного мима. Так это имя стало по-своему популярным, и — пусть иначе, чем это представлял себе когда-то Роланд, — его мечта о славе, казалось, все же сбылась. Теперь он был готов завидовать неизвестным. Они могли надеяться, что в их судьбе еще произойдет поворот к лучшему; они могли когда-нибудь выступить из тени и предстать в достойном свете. Для него эта возможность утрачена навсегда. Два года тому назад он в последний раз отважился попросить у директора приличную роль. Тот с улыбкой отказал ему, и Роланд даже не мог на него обижаться. Потом он сделал еще одну, последнюю попытку покинуть этот город и вернуться в провинцию, где скитался первые десять лет своей артистической карьеры; но агенты в один голос заявили, что уже поздно, а опыт, который он накопил в свое время, играя героев в маленьких богемских и моравских городках, тоже не был настолько обнадеживающим, чтобы пробудить в нем решимость действовать на свой страх и риск. Итак, самое лучшее, что он мог сделать, — это смириться и, подобно другим бессловесным труженикам, тянуть свою лямку, чтобы как-то жить. Он был теперь совсем одинок, не хотел знать ни с большими, ни с малыми. Прежде он после театра регулярно заходил в трактир, где собиралась веселая компания служащих театра и мелких бюргеров, которые гордились знакомством с людьми, причастными к сцене. Но когда появлялся Роланд, здесь на шутки тоже не скупились; становясь все недоверчивее, он нередко принимал за насмешку самое сердечное приветствие, и поэтому уже давно чувствовал себя чужим среди своих. Теперь он заходил туда, лишь выпив где-нибудь стакан-другой в одиночестве; после этого ему легче было верить дружеским словам, а на маленькие колкости он уже не обращал внимания. Да, в этом состоянии у него бывали даже минуты, когда в нем пробуждались странные надежды на какую-то блистательную перемену; он начинал верить, что счастливый случай вдруг вознесет его на более достойное место, и поэтому отвечал презрением на все насмешки, которыми явно и тайно осыпали его... Но так как даже вино редко приводило его в такое настроение, то он ходил обычно с видом человека, которому нанесена

тяжкая обида и не суждено получить удовлетворения. Прежде у него бывали мимолетные увлечения женщинами, озарявшие его жизнь последними отблесками молодости; но вот уже несколько лет, как все это кончилось, и теперь он больше не верил нежным и вопросительным взглядам, которые порой еще останавливались на нем. Последние недели ему иногда случалось находить на столике своей уборной фиалки; он даже не узнавал, откуда они; это была, разумеется, очередная шутка; такая же шутка, как и нежные записки, которыми его заманивали на свидания, куда либо вовсе никто не являлся, либо приходили суфлер или несколько дам из хора, которые весело потешались над его озадаченным видом.

Сегодня фиалки опять стояли на столике. Но он не притронулся к ним. Даже если это не шутка, то что ему от этого? У него было так тяжело на душе, что уже ничто не могло ему доставить радости. Им владело одно чувство: он одинок и смешон. Иногда он спрашивал себя: «Чем это кончится?» И в голове мелькали странные мысли, которые он все время гнал от себя. Только раз у него появилась мысль, занимавшая его сравнительно долго: он хотел написать в газету, как его мучают, и обратиться к публике с воззванием, которое должно было начинаться словами: «О благородные люди». Однажды он даже начал писать его, здесь, в уборной, так как дома стол у него всегда качался. Но письмо у него никак не получалось, казалось ему каким-то нищенским прошением. Над ним бы только посмеялись. Позднее ему пришла в голову другая мысль. Он хотел серьезно поговорить с Бландини, примадонной театра, — она иногда приветливо заговаривала с ним на репетиции, хотел объяснить ей, что он, в сущности, совсем не такой смешной, как о нем думают, но... не отважился. А когда он однажды ночью навеселе возвращался из трактира, ему пришло в голову нечто совершенно дикое: он хотел при первом удобном случае упасть на колени посреди сцены и обратиться с мольбою к публике: «О благородные люди», и поведать ей все свое горе, все свои страдания; и он знал, что нашел бы тогда удивительные оттенки голоса, они покорили бы всех; всем пришлось бы признать, что он действительно великий артист, и многие плакали бы,

а может быть, и он вместе с ними. Эта мысль возвращалась к нему не раз, но не как серьезный замысел, а как воспоминание о ярком и прекрасном сне.

Раздался звонок — его вызывали на сцену. Роланд поднялся, вышел в коридор и медленно спустился по деревянным ступенькам. Вот он за кулисами. Какие-то хористы поздоровались с ним. Роланд сделал еще несколько шагов и остановился у самой двери, через которую должен был выйти на сцену. Он слушал, как поет Бландини, и ждал своей реплики... Так... Вот она; стоявший возле него помощник режиссера подал знак, двое рабочих открыли двери, и Роланд вышел на сцену. Оказалось, слишком рано. Помощник режиссера раньше времени дал знак открыть двери. Потому что раздалось громкие аплодисменты, которые относились, конечно, к Бландини. «Ее любят все больше и больше, — подумал он. — Всего несколько тактов — и такие аплодисменты!..» Когда же они утихнут? Роланд невольно взглянул на Бландини, которая сначала смотрела в публику, а теперь обернулась к нему. Он услышал ее шепот:

— Вы понимаете, что это?..

Между тем аплодисменты все усиливались. Роланд посмотрел на галерею... Вдруг ему показалось, что он ясно слышит сквозь крики «браво» свое имя... Ах, он, конечно, ослышался.

Бландини спросила:

— Вы слышите?

Роланд ответил:

— Да.

— *Ваше* имя, — сказала Бландини.

Аплодисменты продолжались с прежней силой. И крики: «Роланд» — становились все громче. — «Что это? — подумал Роланд. — Я сошел с ума? Или это сон?»

— Говорите, — шепнула Бландини.

— Что? — спросил растерянно Роланд.

— Ну, свои слова... про ожерелье.

И Роланд начал:

— Прекрасная дама... это ожерелье...

Но слова утонули в шуме. Аплодисменты продолжались; в нескольких местах зашикали было, но от этого они стали еще более бурными.

— Венки, — сказала Бландини.

И Роланд, в полном убеждении, что они предназначены Бландини, поспешил к рампе, наклонился и принял огромный лавровый венок, который хотел тут же передать певице. Но она шепнула:

— Это вам.

Он не понял ее, но, взглянув на ленты, увидел свое имя. Секунду в душе его происходило что-то ему самому непонятное; он думал: «Я великий артист. Это видят все, хотя роль у меня совсем пустяковая», — он машинально взял в левую руку одну из лент и прочитал: «Гениальному миму Роланду благодарные современники». И вдруг он услышал в зале громкий хохот; он выронил ленту и посмотрел в публику; он увидел тысячи высоко поднятых, аплодирующих рук; лица сияли от удовольствия... Он ничего не понимал. Смех становился все громче и громче. И вдруг он понял. Ему хотелось упасть и спрятать лицо: над ним же смеются... шута из него сделали... Публика пришла в неистовое веселье от этой выдумки — чествовать *его*, господина Фридриха Роланда. Он чувствовал: вот он и достиг вершины славы... он чувствовал это так глубоко, что ничего не видел и не слышал, и смотрел в беснующуюся толпу, как в пустоту и безмолвие. И вдруг, словно покоренный его взглядом, зал в самом деле затих. Он вспомнил, что еще не подал своей реплики; а может, это Бландини шепнула ему. Твердым голосом и спокойно глядя в лицо певице, он произнес:

— Прекрасная дама, это ожерелье вам господин мой посылает.

Бландини взяла ожерелье и долго-долго смотрела на него; он невольно подумал: «В прежних спектаклях у нее этого нюанса не было», — и спросил себя: «Почему?» Вдруг она сказала:

— Не обращайтесь внимания.

Теперь он заметил, что опять заиграл оркестр; кончились вступительные такты арии; Бландини надо было начинать, она запела. Ария была бесконечно длинная. Роланд стоял у двери и слушал хорошо знакомую мелодию, а Бландини все пела и пела; казалось, она поет уже целую вечность. Роланд не чувствовал ничего, кроме плавного покачивания сцены и бессмысленного жуужания тысячи тонких голосов; но ария Бландини

лилась звонко, словно хотела вырваться за эти стены — туда, на волю, и Роланду казалось, что ее можно услышать сейчас во всем мире, надо только прислушаться.

Как хорошо, что она поет так долго... Он боялся окончания арии; он помнил гром аплодисментов и этот хохот тогда, до начала арии. Это, наверное, опять повторится... Он чувствовал, что должен быть сильным, чтобы еще раз вынести это... Какой ужас! Ария окончилась. Бландини возвратила ему украшение. И Роланд спросил:

— Что я должен передать своему господину?

— Ничего, — ответила Бландини.

Голос ее дрожал, чего раньше никогда не было. Она смотрела на него умоляющим взглядом, как бы желая удержать его на сцене, а ему ведь нужно было идти. Он поклонился, дверь раскрылась, он сделал шаг назад — и опять, как в первый раз, началось:

— Bravo!

— Роланд!

— Роланд!

— Bravo!

Он стоял уже за сценой, около него теснились помощник режиссера и хористы. Молодой комик тоже был здесь.

— Верх искусства! — сказал он Роланду.

Подошел директор.

— Что это такое? Они, что, с ума сошли? Роланд, вы-то хоть понимаете, что это значит?

Роланд отрицательно покачал головой.

— Как же нам быть? — волновался директор. — Они всё хлопают. Ничего не поделаешь, придется вам выйти поклониться.

— Да, — сказал Роланд.

Он заметил, что все еще держит в руке венок, и хотел бросить его.

— Нет, возьмите, это производит эффект, — сказал директор. — На выход!

Двери распахнулись, и Роланд вышел на сцену. Крики « bravo » усилились; к ним примешивался звонкий смех. Комик сказал директору:

— По-моему, это какое-то пари.

— Возможно, — ответил директор. — Так или иначе, у каждого когда-нибудь бывает бенефис.

Роланд вернулся за кулисы, двери закрылись. Он уронил венок и медленно направился в уборную. Несколько девиц из хора хотели шутки ради пожать ему руку, но он не заметил их и шел, бессильно опустив плечи. Вдруг кто-то остановил его сзади.

— Вам придется еще раз выйти, публика никак не успокаивается.

Роланд повернул обратно, вышел на сцену и низко поклонился. Казалось, он с таким юмором выдерживал роль, которую ему навязали, что смех в публике звучал все веселее и искреннее; в эту минуту он многим нравился. Вдруг в его сознании ожил тот сон, и он спросил себя, не пора ли наконец упасть на колени и воскликнуть: «О благородные люди, пощады! Пощады!» Но он знал: там, внизу, не знают пощады. И среди ликования и смеха, которые бушевали вокруг, он почувствовал себя в таком страшном одиночестве, что сердце у него замерло. Уходя, он бросил взгляд на Бландини. У нее стояли слезы в глазах, она смотрела куда-то мимо него. Наконец зал успокоился: директор похлопал Роланда по плечу и смеясь сказал:

— Бенефис.

За кулисами стояли наготове актеры, хористы, рабочие; им не терпелось продолжить здесь шутку, начатую зрительным залом; но Роланд прошел мимо, опустив голову, не видя и не слыша ничего. Медленно поднявшись по ступенькам, он прокрался по коридору, вошел в свою уборную и запер дверь. Щелкнул замок; внизу продолжался спектакль.

III

Молодые люди уже час сидели в *Cabinet particulier*¹ и ждали. Бландини все не было.

— Не придет она, — сказал Фред.

— Это исключено, — ответил Август, — мы вчера условились встретиться, а сегодня после обеда я написал ей еще раз.

— Знаешь, что я думаю? — заметил Эмерих.

— Ну? — спросил Август.

¹ Отдельный кабинет (*франц.*).

— Нам следовало бы Роланду...

— Перестань об этом говорить; шутка кончилась, зрители посмеялись, получили что-то новое, а теперь... все, хватит.

— Ладно, — сказал Эмерих. — Но мне кажется, нам не мешало бы завтра послать что-нибудь Роланду.

— Денег? — спросил Фред.

— Конечно, денег, так даже полагается. Ты не находишь, Густль?

— Это можно, — коротко ответил Август.

Фред смотрел в пространство. Все молчали. Вдруг Август встал.

— Я поеду.

— В театр? — спросил Эмерих.

— Нет, к ней. В театре ее сейчас, конечно, уже нет.

— Значит, по-твоему, все же не исключено, что она забыла о твоём приглашении?

— И что ты вечно пристаешь, — с досадой сказал Август, надевая зимнее пальто.

— Ты обязательно вернешься? — спросил Эмерих.

— Обязательно, и с *нею*. До свиданья.

Он быстро удалился. Ему пришлось идти мимо двери, которая вела к другим кабинетам; оттуда вслед ему несся вальс, скверно исполняемый на глухом фортепьяно каким-то совершенно немзыкальным человеком. Август вышел из ресторана. Было тихо, но не темно. От снега, покрывавшего улицу, исходило ровное матовое свечение. И снег продолжал падать — крупными, редкими хлопьями. Август Витте решил пройти пешком; он чувствовал, что нервничает, и надеялся, что мягкая, светлая ночь успокоит его. За свое плохое настроение он склонен был возложить вину на Фреда, который своим неодобрительным, почти насмешливым видом с самого начала испортил ему вечер.

Но при всем желании он не мог, конечно, поставить Фреду в упрек то, что не приехала Бландини, — для этого должна была существовать какая-то другая причина. Она, видимо, рассердилась на него; ну и ладно. Впрочем, разве не этого он хотел? Ему бы никогда не пришло в голову выкинуть сегодняшнюю шутку, если бы на это не вызвала его сама Бландини, которая с некоторого времени принялась уверять, что у этого жалкого статиста самое интересное лицо, какое она видела

на своем веку, и что у него, несомненно, больше таланта, чем у всех остальных актеров. Сначала она говорила это, вероятно, только в шутку; но когда Август неосторожно начал ей противоречить, она стала упрямо настаивать на своем, пока в конце концов не заявила, что в Августе просто говорит ревность. Это привело его в ярость. Он ревнует к господину Роланду! О, он отлично знал, к кому ее ревновать. С самого начала ему приходилось терпеть в качестве соперника молодого комика; тут уж ничего нельзя было поделать... но из-за этого Роланда он, право же, не собирался портить себе кровь. Август каждый раз давал себе слово больше не говорить о нем с Бландини — но стоило им встретиться, как через пять минут опять начиналась ссора. Он чувствовал, что это не умно; он сам толкал Бландини на то, чего давно боялся. Торопливо шагая теперь по улицам, он понял, чего боялся. Он знал, что придумал сегодняшнюю шалость не ради смеха и не ради того, чтобы доставить какую-то особую радость господину Роланду, хотя был твердо убежден, что тот обрадуется; нет, он втайне надеялся, что сделает этого актеришку смешным и уничтожит его в глазах Бландини, что она посмеется над забавной выдумкой Августа и они станут еще лучшими друзьями, чем раньше; он думал, что после этой шутки Роланд в глазах Бландини займет наконец подобающее ему место. До начала спектакля он воображал, что она в присутствии его друзей бросится ему на шею и, как в былые, счастливые времена, скажет: «Какая у меня все-таки милая, умная обезьянка!» Но уже в театре он заметил, что дело, кажется, начинает принимать совсем другой оборот, чем он предполагал. Когда после выхода Роланда раздался взрыв аплодисментов, Бландини метнула сердитый взгляд в ложу, где он сидел со своими друзьями; а когда Роланд ушел последний раз, она так растерянно посмотрела на дверь, через которую он вышел, что Август почувствовал, как в сердце его закипает гнев. И чем ближе он подходил теперь к дому, где жила Бландини, тем меньше скрывал от себя, что трепещет от страха... застать их вместе. Он ускорил шаг, — еще свернуть за угол — и вот он у ее подъезда. Это была одна из широких улиц за Рингом; кругом не было ни души. Он прислушался и услышал приглушенный снегом шум приближавшегося

экипажа; рука, собиравшаяся нажать звонок, замерла, и он стал ждать.

Экипаж завернул за угол и остановился у подъезда. Август хорошо знал эту карету: он сам нанимал ее для Бландини. Он быстро отошел в сторону; все его возбуждение, казалось ему, улеглось. Он был твердо убежден, что она сейчас выйдет из кареты вместе с Роландом — и это решит все, это будет конец. Карета открылась, вышла дама и захлопнула за собою дверцу. Это была Бландини. Август подбежал и быстро заглянул в окно. Карета была пуста. Август облегченно вздохнул. Потом крикнул:

— Альбина!

Она быстро обернулась и, узнав его, сделала шаг вперед:

— Ты смеешь сюда являться?

— Ах, вот это мило! — воскликнул Август, который вдруг снова вспомнил о своих правах. — Смею ли я? Где ты пропадаешь? Что ты делаешь? Я жду тебя уже два часа! Что это значит?

— Тебе долго придется ждать, мой милый, — сказала Бландини. — Между нами все кончено.

— Почему?

— И ты еще спрашиваешь?

— Во-первых, не кричи: кучеру это не обязательно знать; а во-вторых...

В этот момент открыли дверь подъезда; Бландини вбежала и захлопнула ее за собою. Август дрожал от гнева. Не желая, однако, срамиться перед кучером и швейцаром, он как ни в чем не бывало продолжал стоять у двери. Он размышлял: что делать? Ждать? Броситься за нею следом? Подвергнуть себя риску не быть принятым? Ходить здесь до утра? Утром устроить ей на улице скандал? Он был так взбешен, что слышал свое шумное, сопящее дыхание. Через две минуты дверь открылась, появилась Альбертина. Она торопливо подошла к дверце кареты и что-то крикнула кучеру. Август бросился к ней и схватил ее за руку.

— Ты куда?

— А тебе какое дело?

Она вырвала руку и вскочила в карету; он за ней.

— В *моей* карете я, наверно, все же имею право поехать с тобой, — процедил он сквозь зубы.

— Пожалуйста.
Карета тронулась.

— Может быть, ты все же объяснишь? — спросил Август.

Она не ответила.
— Откуда ты приехала?

Она молчала.

— Ты была с ним?

— Нет, — сказала она, — но я ишу его.

— Что?

— Да.

— Ты его любовница?

— Нет. Но будь спокоен, сегодня я стану ею.

Август протянул руку к сигнальному свистку для кучера, но Альбертина с силой отвела ее.

Август выглянул в окно: они ехали по Рингу. Альбертина искоса посмотрела на него.

— Тебя интересует, куда мы едем?

Август вздрогнул и ничего не ответил. Она продолжала, жестоко и со злорадством:

— Я ждала его после театра; но он ушел раньше... я поехала к нему на квартиру, но его не было дома. Тогда я поехала в трактир, куда он иногда заходит; там его тоже не оказалось. И знаешь, почему я сейчас заехала домой? Потому, что я всюду, и у него дома, и в трактире, велела немедленно, как только он появится, послать его ко мне. А теперь мы опять едем в театр; я не успокоюсь, пока не найду его, понятно?

Август не проронил ни слова; он готов был задуть ее.

Карета проехала по мосту через Дунай и спустя несколько минут остановилась в узком переулке у здания театра, напротив небольшой двери, которая вела на сцену. Бландини выскочила из кареты; Август за ней. Дверь была давно заперта. Проходивший мимо сторож с любопытством посмотрел на молодую даму, в полночь дергающую звонок у театра. Через несколько секунд дверь открылась, с фонарем в руке показался швейцар...

— Господи, фрейлейн Бландини, да что же это? Что случилось? Вы что-нибудь забыли?

— Ах, посветите мне.

Август стоял позади нее.

— Этому господину здесь делать нечего, — сказала Бландини, — заприте.

Она оттолкнула Августа, сама захлопнула дверь, и швейцар запер ее. Спеша в сопровождении швейцара по узкому, низкому коридору, который вел на сцену, она спросила его:

— Вы видели, как уходил Роланд?

Швейцар задумался.

— Сейчас, фрейлейн, в уборных, конечно, никого уже нет. Я запер еще два часа назад.

— Вы видели, как он уходил? — повторила она умоляющим голосом.

Они стояли теперь на большой, темной сцене. От фонаря, который держал швейцар, падал сноп света на белую суфлерскую будку. Кулисы с обеих сторон, в темноте, казались непомерно огромными. Исполинской стеной стоял железный занавес.

— Да... видел... — сказал швейцар, — ...право, не могу припомнить. Вы уж простите меня, фрейлейн, но мимо меня проходит столько народу. Всех ведь не усмотришь, правда?

Бландини постояла еще секунду, подумала, затем быстро направилась за кулисы и начала подниматься по маленькой лесенке. Швейцар, спешивший за нею с фонарем в руке, крикнул ей:

— Но, фрейлейн, это же уборные господ актеров.

Она не ответила, быстро взбежала наверх и неожиданно очутилась в темноте. Пришлось дожидаться ковылявшего сзади с фонарем швейцара. Она тяжело перевела дыхание. Когда швейцар догнал ее и в коридоре замерцал слабый свет фонаря, она спросила:

— Где уборная Роланда?

— Да я, фрейлейн, и сам не знаю, я ведь здесь никогда не бываю. Но вот тут наверху имена написаны.

Она взяла у него фонарь и толкнула первую попавшуюся дверь.

— Что вы, фрейлейн, заперто ведь. Господа, когда уходят, почти всегда запирают за собой. А потом, эта уборная ведь вовсе не господина Роланда.

Фрейлейн Бландини поспешила дальше; у каждой двери она поднимала фонарь и читала имена. Наконец,

она нашла то, что искала. К двери был приклеен белый листок бумаги, и на нем стояли три имени: Энгельберт Брунн, Освальд Фридеман, Фридрих Роланд. Она нажала ручку, но эта дверь тоже была заперта.

Швейцар покачал головой.

— Знаете, фрейлейн, если вы там что забыли, так оно же не пропадет, завтра возьмете.

— Вы... Роланд... — обратилась к нему Бландини. — Роланд ведь освобождается после второго акта; он ушел, наверно, раньше других, и вы не могли его не заметить.

— Да, фрейлейн, очень может быть, что я его видел. Как не видеть... Но вот убейте — не помню.

Несколько секунд Бландини стояла, не зная, что предпринять. Вдруг ее словно осенило. Она пошарила в кармане и облегченно вздохнула.

— Может быть, подойдет, — прошептала она, держа в руке ключ от своей уборной. Она вернула фонарь швейцару и, суетясь, стала пробовать ключ. Он подошел. Она повернула его в замке раз, другой, нажала на ручку — дверь открылась. Прямо перед нею у окна вытянулась какая-то невероятно высокая тень. «Это костюм», — подумала в первую минуту Бландини. Она вырвала у швейцара фонарь и, подняв его, громко вскрикнула.

— Господи, что это? — воскликнул швейцар и бросился к окну.

Было такое впечатление, что там стоит живой Фридрих Роланд; руки его бессильно повисли, голова упала низко на грудь. Он был в том же фантастическом костюме, даже накладные усы остались на месте; не было лишь парика, и его жидкие, прямые, седые волосы торчали во все стороны.

— Он повесился, — простонал швейцар, — ...повесился.

Он поставил фонарь на столик рядом с баночками румян и париком. Потом нащупал пальцы покойника и провел по рукам вверх, до самой шеи...

— На шейном платке, — сказал он. — И что же мы теперь будем делать, фрейлейн?

Оцепеневшая Бландини не сводила глаз с покойника.

— Знаете, фрейлейн,— сказал швейцар,— я, наверно, пришлю вам снизу того господина, а сам тем временем схожу в полицию, сообщу.

При этих словах Бландини вздрогнула, потом тихо сказала:

— Да, сходите в полицию, я останусь здесь... А этому господину там, внизу, скажите, чтобы он ушел, немедленно ушел, чтобы я его больше никогда не видела, передайте ему это; и если я еще застаю его внизу, скажите, я плюну ему в лицо!

Последние слова она выкрикнула так громко, что швейцару стало страшно, и они звенели у него в ушах, даже когда он бежал в темноте через пустую сцену.



ЛЕЙТЕНАНТ ГУСТАВЪ

Сколько это еще будет продолжаться? Надо посмотреть на часы... да, наверно, не полагается на таком серьезном концерте. А кто увидит? Если увидит, стало быть, так же плохо слушает, как я, и мне перед ним ни к чему стесняться... Всего только четверть десятого?.. У меня такое чувство, будто я уже целых три часа торчу здесь. Правду сказать, я к этому непривычен... А что, собственно, исполняют? Надо заглянуть в программу... Оратория — вот оно что! А я-то думал — мес-

са. Таким вещам место только в церкви. Церковь уже тем хороша, что оттуда в любую минуту можно улизнуть. Хоть бы я сидел с краю! И так — терпение, терпение! Оратории ведь тоже когда-нибудь кончаются! Может быть, все это замечательно, и я просто не в настроении. Да и откуда ему взяться, настроению-то? Как подумаю, что пришел сюда развлечься... Лучше бы я отдал билет Бенедекку, ему такие штуки доставляют удовольствие, он ведь и сам играет на скрипке. Но тогда Копецкий обиделся бы. Он ведь оказал мне этим большую любезность, — во всяком случае, побуждения у него были самые лучшие. Славный парень этот Копецкий! Единственный, на кого можно положиться... Его сестра ведь тоже участвует, поет в хоре, там наверху. Этих девиц по меньшей мере сотня, все в черном — как ее найти среди них? Потому-то Копецкий и получил билет, что она поет... А почему он не пошел сам? Впрочем, они отлично поют. Все это очень возвышенно, разумеется! Bravo, bravo... Что ж, надо и мне поаплодировать. Этот тип, рядом со мной, аплодирует как бешеный. Любопытно — ему в самом деле так нравится? Девушка в ложе напротив очень мила. На кого она смотрит — на меня или на господина с пышной белокурой бородой?.. Ага — соло! Кто поет? Альт — фрейлейн Валькер, сопрано — фрейлейн Михалек. Вот это, должно быть, сопрано... Давненько я не был в опере. Когда идет опера, мне всегда интересно, даже если она скучна. Послезавтра я, в сущности, тоже мог бы сходить в оперу, на «Травиату». Эх, послезавтра я, возможно, буду бесчувственным трупом. Чепуха, я сам этому не верю! Погодите, господин доктор прав, я вас отучу делать такие замечания! Отхвачу вам кончик носа...

Если б я мог как следует разглядеть ту девушку в ложе! Хорошо бы попросить у соседа бинокль, но ведь он меня съест живьем, если я нарушу его благоговейный экстаз... С какой стороны искать сестру Копецкого? Да узнаю ли я ее? Ведь я видел ее каких-нибудь два-три раза, последний раз — в офицерском собрании... Любопытно — неужели все те, что поют здесь, порядочные девушки — все сто? Как бы не так!.. «При участии Общества любителей пения». «Общество любителей пения»... странно! Я всегда представлял себе под этим названием нечто вроде венских ансамблей тан-

цовщиц-певичек, — то есть, собственно говоря, я знал, что это нечто иное... Чудесные воспоминания! Тогда, у «Зеленых ворот»... Как ее звали? Никак не припомню. Потом она как-то прислала мне открытку с видом Белграда... тоже красивая местность! Копецкий — тому хорошо, он давным-давно уже сидит в ресторане и знает себе дымит сигарой!

Чего этот тип уставился на меня? Похоже, он приметил, что я отчаянно скучаю и мне здесь совсем не место... Советую вам не корчить такую дерзкую рожу, — иначе я потом в фойе поговорю с вами по-свойски! Сразу отвел глаза!.. До чего все пугаются моего взгляда!.. «У тебя самые красивые глаза, какие я только видала на своем веку», — так мне на днях сказала Стеффи... Ах, Стеффи, Стеффи, Стеффи! В сущности, это она, Стеффи, виновата в том, что я торчу здесь и час за часом слушаю эти заунывные песнопения. Ее манера всякий раз отменять свидание уже сильно действует мне на нервы! Как хорошо можно было провести сегодняшний вечер! Мне охота еще раз прочесть ее записку — но если я выну бумажник, сосед меня растерзает! Да я ведь и без того знаю, что там сказано... так и так, она не может прийти, потому что должна ужинать с «ним»... Вот была потеха на прошлой неделе, когда она пошла с ним в Общество любителей садоводства, а я сидел с Копецким в аккурат напротив, и она все время глазками делала мне многообещающие знаки. Он ровно ничего не заметил — невероятно! Впрочем, он, наверно, еврей! Ну, разумеется, служит в банке, усы черные... И к тому же, говорят, еще и лейтенант запаса! Ну, если б он попал на учебный сбор в мой полк, ему бы не поздоровилось! Вообще, если по-прежнему такое множество евреев производят в офицеры — значит, антисемитизму грош цена! Недавно на вечере, где у меня произошла эта история с доктором прав, у Мангеймеров... Впрочем, Мангеймеры, по слухам, тоже евреи, разумеется, крещенные... но они совершенно не похожи на евреев... особенно она... светлая блондинка, очаровательная фигурка... В общем, было очень весело... отличный ужин, прекрасные сигары... Известно, кто нынче при деньгах!

Браво, браво! Ну, теперь-то уж, можно надеяться, скоро конец? Ого! Вся команда там наверху встала!..

Очень красивое зрелище... величественное! Как — еще и орган в придачу?.. Орган я люблю слушать... Вот это мне по вкусу — превосходно! В самом деле, нужно было бы почаще ходить на концерты... Скажу Копецкому, что было чудесно... Увижу ли я его сегодня в кафе? Ах, мне совсем не хочется идти туда; вчера я так разозлился! За один присест проиграл сто шестьдесят гульденов — до чего глупо! И кто все заграбастал? Баллерт — тот, кому это совсем ни к чему... Если разобраться, именно Баллерт виноват в том, что я пошел на этот дурацкий концерт... Ну да, иначе я сегодня сел бы опять играть, пожалуй, хоть сколько-нибудь отыгрался бы. А все-таки неплохо, что я дал себе слово целый месяц не притрагиваться к картам... Воображаю, какая физиономия будет у мамы, когда она получит мое письмо. Э, пусть сходит к дяде, у него денег видимо-невидимо; пара сот гульденов для него — сущая безделица. Если б только я мог добиться, чтобы он назначил мне ежемесячное содержание... так нет же, каждый крейцер приходится выклянчивать. Опять пустит в ход отговорку: в прошлом году был плохой урожай... Съездить, что ли, нынче летом опять к дяде недельки на две? Правду сказать, у него скука смертная... Если б еще там оказалась та... как только ее звали?.. Удивительное дело, я не способен запоминать имена... Ах да: Этелька!.. Ни слова не понимала по-немецки, но это и не требовалось — без разговоров обошлись!.. Да, это будет недурно, четырнадцать дней на чистом воздухе, — и четырнадцать ночей с Этелькой... или с другой... Однако хоть недельку следовало бы провести у папы и мамы... плохо она выглядела нынче на рождество... Ну, теперь она, наверно, оправилась от тогдашних огорчений. Я на ее месте был бы рад, что папа вышел в отставку. И Клара, наверно, все-таки еще выйдет замуж... Уж тут дядя может раскошелиться... Двадцать восемь лет не так уж много... Стеффи, наверно, не моложе ее... Но вот что удивительно — эти особы дольше остаются молодыми. Как подумаешь — на днях я видел Маретти в «Мадам Сан-Жен», ей никак не меньше тридцати семи, а выглядит... Словом, я был бы не прочь... Жаль, что она мне не предложила...

Душно становится! И до конца, видно, еще далеко! Так уж хочется подышать свежим воздухом! Прогу-

ляюсь немного по Рингу... Сегодня надо лечь пораньше, чтобы завтра днем быть бодрым! Странно — как мало я думаю об этом, до чего мне это безразлично! В первый раз я все-таки немного волновался. Я не боялся, о нет; но в ночь перед тем у меня разгулялись нервы... Правда, старший лейтенант Бизанц был серьезный противник. И однако — ничего со мной не случилось!.. Ровно ничего. Уже полтора года прошло с тех пор. Как время бежит! И если Бизанц меня не угробил, то этот доктор прав уж наверно не угробит! Хотя такие необученные фехтовальщики иногда оказываются самыми опасными! Дошицкий говорил мне, что его чуть не отправил на тот свет человек, который впервые держал в руках саблю; а ведь сейчас Дошицкий учитель фехтования в пехотном полку. Правда, неизвестно, был ли он уже тогда таким мастером... Главное — сохранять хладнокровие. Сейчас я даже не очень зол, а ведь это была неслыханная дерзость! Несомненно, он не позволил бы себе ничего подобного, если б не выпил шампанского... Такая дерзость! Наверно, социалист! Сейчас ведь все крючкотворы — социалисты! Да, теплая компания... Шайка негодяев... будь на то их воля, они прежде всего начисто упразднили бы армию; а кто будет их защищать, если вторгнутся китайцы, об этом они не думают. Идиоты! Нужно при случае примерно с ними расправляться. Я был совершенно прав. Я рад, что не спустил ему его выходку. Как вспомню о ней, меня в жар бросает! Но я вел себя безукоризненно; полковник тоже говорит, что я поступил совершенно правильно. Вообще эта история пойдет мне на пользу. Я знаю многих, которые не стали бы связываться с таким субъектом. Мюллер — тот уж наверно, по своему обыкновению, «проявил бы объективность» или что-нибудь в этом роде. Объективностью этой самой только рискуешь осрамиться. «Господин лейтенант!..» Одно то, как он произнес эти слова, было оскорбительно! «Господин лейтенант, должны же вы согласиться с тем...» Как же так случилось, что мы затронули этот вопрос? Почему я пустился в разговоры с социалистом? С чего все началось?.. Кажется, жгучая брюнетка, которую я вел к буфету, тоже в нем участвовала. И еще молодой человек, который рисует охотничьи сценки, — как его звать?.. Видит бог, он-то и

виноват во всей этой заварухе! Это он заговорил о маневрах, и тогда уже подошел этот доктор прав и сказал что-то такое, что мне совсем не понравилось, об игре в войну или что-то похожее — но тут я еще не нашелся, что ответить... Да, а потом заговорили о кадетских корпусах... ну да, именно так было дело... и я рассказал о патриотическом празднестве... а тогда этот доктор прав заявил — не сразу, а немного погодя, но поводом был мой рассказ о празднестве: «Господин лейтенант, должны же вы согласиться с тем, что не все ваши товарищи избрали военную службу только с целью защищать отечество!» Неслыханная наглость! Вот что такая штафирка смеет сказать в лицо офицеру! Если б только я мог припомнить, что именно я ему ответил!.. Ах да, что-то насчет людей, которые суются в дела, для них совершенно непонятные... Верно, верно... И еще там был человек, который попытался уладить дело, пожилой мужчина с хроническим насморком... Но я был вне себя! Доктор прав сказал это таким тоном, словно имел в виду лично меня. Только еще не хватало сказать, что я был исключен из гимназии и поэтому родители сунули меня в кадетский корпус... Эти люди ведь не способны понять нашего брата, они слишком глупы для этого... Как вспомню, что я почувствовал, когда впервые надел мундир, — такое не каждому дано пережить... В прошлом году, на маневрах — все отдал бы за то, чтобы вдруг дело завязалось всерьез... И Мирович мне сказал, что он испытывал то же самое. А потом, когда его высочество герцог кончил объезжать фронт и полковник обратился к нам с речью, — у кого в такие минуты сердце не бьется сильнее, тот самый настоящий прохвост... И вот является эдакая чернильная каракатица, ничтожество, всю жизнь только и знавшее, что корпеть над книгами, и позволяет себе дерзкое замечание... Ну, погоди, милейший, ты у меня будешь драться до полной потери боеспособности... да, уж я тебя расколошмачу...

Это что еще? Теперь ведь, казалось бы, уже скоро должно кончиться?.. «Славьте господа, славьте, ангелы в небесах...» Ну, разумеется, это заключительный хор... Великолепно, ничего не скажешь! Великолепно... Я даже начисто забыл про ту, в ложе, а ведь она кокетничала со мной. Куда она девалась?.. Уже ушла... А вон

та, сбоку, тоже как будто недурна собой... Как глупо, что я не захватил бинокль! Брунталер — тот умница, свой бинокль всегда держит в кафе, у кассирши, и он всегда под рукой... Если б та, которая сидит передо мной, обернулась хоть разок! Нет — сидит чинно, не шелохнется. Рядом с ней, наверно, мамаша. А не подумать ли мне наконец всерьез о женитьбе? Вилли был не старше меня, когда решился на это. А ведь совсем неплохо, когда дома всегда в запасе хорошенькая бабенка... Как досадно, что Стеффи занята именно сегодня! Если б, по крайней мере, я знал, где она, я бы опять сел в аккурат против нее. Веселая была бы история, если б ее покровитель догадался, в чем тут дело, тогда она навязалась бы *мне* на шею... Как подумаю, во что влетает Флиссу его связь с Винтерфельд!! И при этом она ему изменяет направо и налево, это еще кончится трагически... Bravo, bravo! Ф-фу, все!.. Какое блаженство встать... распрямиться... Ну вот! Долго еще этот тип будет копаться — никак не может вложить бинокль в футляр! «Пардон, пардон, разрешите пройти!»

Ну и давка! Лучше подожду, пока толпа схлынет... Изящная женщина... интересно, брильянты у нее настоящие?.. Вон та очень мила... А как она на меня уставилась!.. Да, да, фрейлейн, я совсем не прочь... Ай-ай-ай, какой нос! Еврейка... еще одна... Прямо-таки невероятно, и здесь — половина евреи... даже ораторией нельзя уже спокойно насладиться... Так, теперь пойду и я... Почему этот болван так напирает? Я его живо отучу... Э, он староват... Кто это со мной раскланивается?.. Честь имею, честь имею! Понятия не имею, кто это такой... Самое простое было бы сразу пойти к Лейдингеру поужинать... или махнуть в Общество любителей садоводства? Может, Стеффи именно там! Почему, собственно, она мне не написала, куда пойдет с «ним»? Наверно, сама еще не знала. В сущности, это ужасно, такая полная зависимость... Бедняжка! Вот наконец выход... Ах, эта девочка обворожительна! И совсем одна? Как мило она мне улыбается! Блестящая идея — пойду-ка за ней следом!.. Айда вниз. Э, майор девяносто пятого... Очень любезно козырнул в ответ... Значит, я здесь все-таки был не единственный офицер... Куда же девалась эта штучка? А, вот она... стоит у перил... Так, теперь скорей к вешалке... Только не упустить ее. Вот тебе

раз! Подлая девчонка! Оказывается, ее подждал какой-то мужчина, а сейчас она еще и посмеивается, глядя на меня! Все они ни черта не стоят... Боже милостивый, ну и толчая у вешалки!.. Подождем лучше еще малость... Ну вот — пробился! Когда же наконец этот идиот возьмет у меня номерок?

— Эй, вы! Мне двести двадцать четвертый! Да вот же шинель висит! Что у вас, глаз нет? Вот, смотрите! Слава богу, наконец-то!.. Скорее!.. — Этот толстяк загородил весь проход. — Попрошу вас...

— Терпение, терпение!

Что этот грубиян сказал?

— Немножко терпения.

Я должен поставить его на место...

— Пропустите меня...

— Ну-ну, спешить незачем... Поспеете...

Что он сказал? Это он осмелился сказать мне? Ну, это уж слишком! Такого я не потерплю!

— Тихо!

— Как вы сказали?

Один тон чего стоит! Это уж переходит все границы!

— Не толкайтесь!

— Молчать! — Этому мне не следовало говорить, я зарвался... Ну, да уж теперь не воротишь...

— Как вы сказали?

Оборачивается... Да ведь я его знаю! Черт возьми, это владелец булочной, завсегдатай кафе... Как он сюда попал? Наверно, у него тоже дочь или еще кто-нибудь в консерватории... Что такое? Что он вытворяет? Мне кажется... Клянусь богом, он крепко держит эфес моей сабли. Неужто спятил?

— Что вы...

— Вы, господин лейтенант, ведите себя совсем смирно!

Что он сказал? Не дай бог, если кто-нибудь услышал. Нет, он это сказал очень тихо... почему же он не выпускает мою саблю?.. Боже милостивый... Нужно действовать решительно!.. Никак не могу оторвать его руку от эфеса... Только чтобы не было скандала... уж не стоит ли позади меня тот майор?.. Только бы никто не заметил, что он держит эфес моей сабли! Опять он заговорил со мной! Что он говорит?

— Господин лейтенант, если вы подымете малейший шум, я выхвачу вашу саблю из ножен, разломаю ее и pošлю обломки вашему полковому начальству. Вы меня поняли, глупый вы мальчишка?

Что он сказал? Уж не сон ли все это? Неужели он действительно обращается ко мне? Следовало бы что-нибудь ответить... грубиян не шутит, — он в самом деле выхватит саблю. Боже мой — он сейчас это сделает!.. Я чувствую — он уже тащит ее! Что он говорит?.. Бога ради, только чтобы не было скандала. Он все еще говорит...

— Но я не хочу испортить вам карьеру... Значит, будьте пайнкой!.. Вот и хорошо! Не бойтесь, никто ничего не слышал... все обошлось... так! А чтобы никто не подумал, что мы повздорили, я сейчас буду очень любезен с вами! Честь имею кланяться, господин лейтенант, очень был рад, честь имею кланяться.

Господи боже, — приснилось мне это, что ли?.. Он в самом деле так сказал?.. Да где же он?.. Вон там, шагает себе... По-настоящему я должен был бы выхватить саблю и зарубить его. Боже милостивый, никто ведь не слышал этой перепалки?.. Нет, он говорил совсем тихо, шептал мне... Почему же я не бегу раскроить ему череп?.. Нет — теперь уже нельзя... нельзя... нужно было действовать сразу... Почему же я не сделал этого сразу?.. Да ведь не было возможности... он не отпустил эфес, и он в десять раз сильнее меня... Скажи я еще одно слово, он в самом деле разломал бы саблю... Я должен быть счастлив, что он не говорил громко! Если б это услышал хоть один человек, мне пришлось бы *stante pede*¹ застрелиться... А может, это все-таки был только сон... Почему этот господин там, у колонны, глазеет на меня? Возможно, он что-то расслышал?.. Пойду-ка спрошу его... Спросить? Да я, наверно, с ума сошел! Любопытно, какой у меня вид? Заметно ли по мне, что... Наверно, я бледен как смерть. Где этот подлый хам?.. Я должен его убить!.. Удрал... И вообще, здесь уже совсем пусто... Где моя шинель? Да она уже на мне... Я и не заметил... Кто же мне помог?.. А, вот этот... надо дать ему шесть крэйцеров... Нател!.. Но что же случилось? Неужели так все и было? В самом деле

¹ Тут же (лат.).

кто-то так со мной разговаривал? В самом деле назвал меня «глупым мальчишкой»? И я его не зарубил на месте?.. Но я ведь не мог... у него кулак железный... я стоял словно вкопанный... Нет, наверно, я лишился рассудка, иначе бы я другой рукой... Но тогда он хватил бы из ножен мою саблю и разломал бы ее, а это был бы конец — конец всему! А потом, когда он ушел, уже было поздно... Не мог же я вонзить ему саблю сзади.

Как — я уже на улице? Каким образом я сюда попал? Свежо... и такой приятный ветерок... Что это за люди там, на другой стороне? Почему они так пристально на меня смотрят? Уж не расслышали ли что-нибудь... Нет, никто ничего не мог расслышать... Я знаю, я сразу огляделся по сторонам! Никто не обращал на меня внимания, никто ничего не расслышал... Но сказать-то он все это сказал, хоть никто и не слышал; да, сказал. А я стоял и терпел все это, словно меня обухом по голове хватили... Но ведь я не мог ничего сказать, ничего не мог сделать; единственное, что мне оставалось, было: вести себя смирно, совсем смирно!.. Это ужасно, это невыносимо; я должен его убить, где бы я его ни увидел!.. Сказать мне это! И сказал такой мерзавец, такой хам! И ведь он меня знает... Боже мой, боже мой, он меня знает, ему известно, кто я!.. Он может первому встречному сообщить, что именно он мне сказал!.. Нет, нет, этого он не сделает, иначе он не говорил бы так тихо... он ведь сам хотел, чтобы я один это слышал!.. Но кто может мне поручиться, что сегодня или завтра он не расскажет это своей жене, дочери, знакомым по кафе? Боже правый, завтра я ведь опять его увижу! Когда я завтра приду в кафе, он будет сидеть там, как всегда, и играть в карты все с теми же партнерами — Шлезингером и владельцем магазина искусственных цветов... Нет, нет, это невыносимо, невыносимо... Как только я его увижу, я его зарублю на смерть... Нет, так мне нельзя поступить... Я должен был это сделать сейчас, сразу!.. Если б только я имел эту возможность! Я пойду к полковнику и доложу ему все... да, к полковнику... Полковник всегда очень любезен со мной — вот я и скажу ему: «Господин полковник, разрешите доложить, он держал эфес, он положил на него руку; я был все равно что безоружен...» Что полковник

ответит? Что он может ответить? Тут один-единственный выход: со стыдом и позором подать в отставку — в отставку... Никак, это вольноопределяющиеся, вон там?.. Возмутительно, ночью их можно принять за офицеров... отдают мне честь. Если б они знали — если б только знали!.. Вот и кафе Гохлейтнера!.. Сейчас там, наверно, сидят несколько военных... может быть, кто-нибудь из знакомых... Что, если я это расскажу кому придется, но так, будто это случилось с кем-нибудь другим?.. Похоже, я уж совсем помешался... Чего я бегаю взад и вперед? Чего слоняюсь по улицам? Верно — но куда же мне деваться? Разве я не хотел зайти к Лейдингеру? Ха-ха-ха! Усесться среди людей... я думаю, всякий, взглянув на меня, догадается... Да, но что-то как-никак нужно сделать... А что можно сделать? Ничего, ничего — никто ведь не слышал ни слова... никто ничего не знает... в данную минуту никто ничего не знает... А что, если я сейчас отправлюсь к нему домой и стану умолять его никому ничего не говорить?.. О, лучше сразу пустить себе пулю в лоб, чем пойти на такое!.. Да — это было бы самое разумное!.. Самое разумное, самое разумное? Неужели другого выхода нет... другого выхода нет... Если спросить полковника, или Копецкого, или Блани, или Фридмайера, — любой из них непременно скажет: тебе ничего другого не остается!.. А что, если поговорить с Копецким? Да, это было бы самое разумное — хотя бы из-за того, что мне предстоит завтра... Ну разумеется, завтра в четыре часа, в кавалерийской казарме... завтра в четыре часа пополудни я ведь должен драться... а драться мне нельзя ни под каким видом, я уже не способен дать сатисфакцию... Чепуха! Чепуха! Никто ничего не знает, никто ничего не знает! Многие, с кем случались казусы куда хуже этого, разгуливают как ни в чем не бывало... Чего только не рассказывали о Декенере, когда он должен был стреляться с Редеровом... но совет чести постановил, что дуэль может состояться... А что бы совет чести постановил в моем случае? Глупый мальчишка — глупый мальчишка... а я стоял как истукан! Клянусь небом — ведь совершенно безразлично, знает ли кто-нибудь другой!.. Я-то ведь знаю, это — главное! Я-то чувствую, что я сейчас — совсем не тот, нежели час назад, — я-то знаю, что не способен дать сатисфакцию,

и поэтому должен застрелиться... Никогда в жизни у меня уже не было бы спокойной минуты... всегда меня мучил бы страх, что так или иначе кто-нибудь все же узнает об этом... и прямо в лицо выложит мне, что произошло нынче вечером!.. Каким счастливым человеком я был всего час назад... Надо же было, чтобы Копецкий подарил мне билет, а Стеффи, подлая тварь, отменила свидание! Вот от чего зависишь... После обеда еще была тишь да гладь, а сейчас я погибший человек и должен застрелиться. Чего ради я бегу сломя голову? Спешить-то ведь некуда... Сколько бьет на часах?.. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать... одиннадцать, одиннадцать... Давно пора поужинать... Должен же я в конце концов куда-нибудь пойти... Я мог бы зайти в какой-нибудь ресторанчик, где меня никто не знает, — надо же человеку поесть, хотя бы он тотчас после этого застрелился... Ха-ха, смерть — дело нешуточное... Кто это сказал совсем недавно?.. Впрочем, это уже безразлично...

Хотел бы я знать, кто стал бы огорчаться больше всех?.. Мама или Стеффи?.. Стеффи... Ах, боже мой, Стеффи... ей даже виду нельзя было бы показать, иначе «он» даст ей отставку!.. Бедняжка... В полку — никто не догадался бы, почему я решился на это... все зря ломали бы себе головы... почему да почему Густль лишил себя жизни? Никто не сообразит, что мне пришлось застрелиться из-за того, что гнусный булочник, мерзавец, у которого случайно кулаки оказались крепче... какая нелепость, какая нелепость! И вот из-за этого такой парень, как я... молодой, приятный... вынужден... Да, потом, наверно, все начнут твердить: ему совсем не нужно было идти на это из-за такого пустяка; жаль парня... А вот если б я сейчас спросил кого угодно, всякий дал бы мне один и тот же ответ... и я сам, когда я себя спрашиваю... Это ведь черт знает что... мы совершенно беззащитны против штатских... Люди воображают, будто мы в лучшем положении, потому что носим саблю... но уж если в кои веки раз офицер пустит оружие в ход, подымается такой шум, будто все мы — прирожденные убийцы... В газете тоже, наверно, напишут... «Самоубийство молодого офицера...» Как у них принято выражаться в таких случаях?.. «Мотивы

покрыты мраком неизвестности...» Ха-ха!.. «Его смерть повергла в скорбь...» Но ведь это правда... а у меня все время такое чувство, будто я рассказываю про кого-то другого... Это суцая правда... я должен покончить с собой, ничего другого мне не остается, — не могу же я допустить, чтобы завтра утром Копецкий и Блани вернули мне свои полномочия и заявили: «Мы не можем быть твоими секундантами!..» Я был бы негодяем, если бы настаивал на этом!.. Такой молодец, как я, — стоит словно пень и позволяет назвать себя глупым мальчишкой... Завтра ведь все узнают об этом, идиотство вообразить хотя бы на секунду, что такой тип будет молчать... его жена уже сейчас об этом знает... завтра узнает все кафе... узнают кельнеры... Шлезингер... кассирша. И даже если он решил не говорить об этом, все равно расскажет послезавтра... а если не послезавтра, то через неделю... И если этой ночью его хватит удар — все равно, я-то знаю... я знаю... и не такой я человек, чтобы продолжать носить мундир и саблю, когда я опозорен!.. Да, я должен это сделать — точка! Все! Что в этом страшного? Завтра после обеда меня мог бы заколоть этот доктор прав... такое уже бывало... А бедняга Бауэр — тот заболел воспалением мозга, и спустя три дня его не стало... А Бренич упал с лошади и сломал себе шею... и наконец, в заключение: другого выхода нет — по крайней мере, для меня, для меня! Есть люди, которые отнеслись бы к этому не так серьезно... О, господи, каких только людей не бывает!.. Вот хотя бы Рингеймер — какой-то мясник застал его со своей женой и дал ему пощечину; он вышел в отставку, сидит теперь где-то в имении, женился... Подумать только — находятся женщины, которые выходят замуж за таких! Клянусь честью, я бы не подал ему руки, если б он снова появился в Вене... Стало быть, слышал, Густль: конец, конец, все счеты с жизнью покончены! Поставь точку и присыпь песком!.. Ну вот, теперь я знаю — это совсем просто... Да, в сущности, я совершенно спокоен... Впрочем, я всегда знал: если уж когда-нибудь дело дойдет до этого, я буду спокоен, совершенно спокоен... но что все обернется именно так — этого я все же не думал... что мне придется покончить с собой из-за того, что такой... А возможно, я его неправильно понял... пожалуй, он совсем не то

сказал... я ведь обалдел от того, что так долго голосили, и от духоты... а возможно, у меня был приступ сумасшествия, и на самом деле ничего этого не случилось?.. Не случилось, ха-ха-ха, не случилось! Я ведь и сейчас все это слышу... его слова все еще звучат у меня в ушах... и до сих пор ощущаю в кончиках пальцев, как я пытался снять его руку с эфеса сабли... Он силач — деревенщина... Но я ведь тоже не мозгляк... во всем полку один Французский сильнее меня...

Аспернский мост... Сколько я еще буду мчаться? Если я не замедлю шаг, я к полуночи буду в Кагране... Ха-ха-ха! Господи, уж как мы были рады, когда прошлой осенью, в сентябре, вступили туда! Еще два часа, и мы в Вене... Когда мы пришли в Вену, я валялся с ног... От обеда до вечера спал как убитый, а вечером мы уже были у Ронахера... Копецкий, Ладинзер и... Кто же еще был с нами? Верно, вольноопределяющийся, который в походе рассказывал нам еврейские анекдоты... Иногда эти вольноопределяющиеся славные ребята... Но их следовало бы производить только в сублейтенанты, иначе какой же во всем этом смысл? Нам приходится годами тянуть ляжку, а такой хлыщ отслужит год и получает совершенно то же звание, что и мы... вопиющая несправедливость! Но какое мне дело до всего этого? Чего ради я беспокоюсь о таких вещах? Рядовой из провиантской части теперь ведь значит больше меня... я вообще уже не существую... Со мной все кончено... Нельзя сохранить жизнь, потеряв честь!.. Мне только и остается, что зарядить револьвер и... Густль, Густль, мне кажется, ты все еще не веришь этому всерьез? Опомнись... другого выхода нет... Сколько бы ты ни терзал свой мозг, другого выхода нет! Теперь нужно стремиться только к одному — в последнюю минуту вести себя прилично, как подобает мужчине, офицеру, так, чтобы полковник сказал: он был честный малый, он долго будет жить в нашей памяти!.. Сколько рот наряжают на похороны лейтенанта?.. Мне как будто полагалось бы это знать... Ха-ха-ха! Явится ли целый батальон или даже весь гарнизон и дадут двадцать залпов, все равно это меня не разбудит! Прошлым летом я как-то после офицерских скачек с препятствиями сидел с фон Энгелем перед кафе... Странно, с того дня я ни разу уже не видал этого че-

ловека... Почему он на левом глазу носил повязку? Мне всегда хотелось спросить его, но это было бы неприлично... Вот два артиллериста... они, наверно, думают, что я иду следом за той особой... Впрочем, не мешает на нее взглянуть... О, ужас! Хотел бы я знать, как такая уродина может заработать себе на хлеб... Я бы скорее... Хотя на безрыбье и рак рыба... Тогда, в Пшемысле... мне потом было так противно, казалось, я никогда больше не прикаснусь к женщине... Ужасное это было время, там, в глуши... в Галиции... В сущности, нам чертовски повезло, что нас перевели в Вену... Бокорни — тот все еще сидит в Самборе и может проторчать в этой дыре еще лет десять, там и состарится... Но, останься я там, со мной не случилось бы того, что случилось сегодня... и лучше дожить до седых волос в Галиции, нежели... Нежели что? Нежели что? Что именно? Что именно? Наверно, я сошел с ума — все время забываю об этой истории? Да, клянусь богом, поминутно забываю о ней... Слыхано ли это, чтобы человеку предстояло через каких-нибудь три-четыре часа пустить себе пулю в лоб, а он думает о всякой всячине, до которой ему уже никакого дела нет? Честное слово, я чувствую себя так, будто я пьян. Ха-ха-ха! Хорошенькое опьянение! Убийственное! Опьянение самоубийством! Эх! Отпускаю остроты — очень хорошо! Да, я в отличном настроении — это, должно быть, у меня врожденное... Право слово, расскажи я кому-нибудь эту историю, не поверили бы... Мне думается, будь эта штука при мне... я вот сейчас нажал бы курок — и в секунду все было бы кончено... Не всякому это так легко дается — многие мучаются месяцами... взять хотя бы мою несчастную кузину, она пролежала в постели целых два года, пальцем не могла шевельнуть, терпела жесточайшие муки — ужас, да и только!.. Разве не лучше самому с этим справиться? Нужно только действовать осмотрительно, метко нацелиться, чтобы не стряслось такой беды, как в прошлом году с этим желторотым юнцом. Бедняга, помереть-то он не помер, а ослеп... Что с ним случилось? Где-то он теперь? Это, наверно, ужасно, разгуливать в таком виде, то есть — разгуливать он ведь не может, его водят... такой молодой, ему и сейчас никак не больше двадцати... В свою любовницу он лучше попал — сразу убил ее... Прямо неве-

роятно, из-за чего люди лишают себя жизни! И как это вообще можно ревновать?.. В жизни я не знал этого чувства... Стеффи сейчас преспокойно сидит в Обществе любителей садоводства, потом она с «ним» пойдет к себе домой... Меня это совершенно не трогает, ни капельки! Квартирка у нее обставлена прелестно — ванная с красным фонарем! Когда она на днях вошла туда в зеленом шелковом халатике... и зеленый халатик я никогда больше не увижу... и саму Стеффи тоже... и никогда уже не буду подыматься по красивой широкой лестнице в доме на Гусхаусштрассе... Фрейлейн Стеффи — та и дальше будет веселиться, словно ничего не случилось... даже никому рассказать не посмеет, что ее миленький Густль лишил себя жизни... Но плакать-то она будет, — да, да, поплачет... вообще плакать будут многие... Боже мой, а как же мама? Нет, нет, об этом мне нельзя думать... Нет, никак нельзя... О близких не смей думать, Густль, — понял? Их надо изгнать из своих мыслей...

Вот так штука — я вдруг очутился в Пратере... глубокой ночью. Вот уж не снилось мне нынче утром, что ночью буду гулять в Пратере... Что подумает дежурный полицейский, там, на углу?.. Ну, пойдём дальше... Здесь недурно... С ужином ничего не получилось, кафе тоже закрыты; воздух приятный, и вокруг спокойно... совсем спокойно... Впрочем, спокойствия у меня скоро будет предостаточно, — такого спокойствия, какого только можно желать. Ха-ха-ха! Но ведь я задыхаюсь... бежал, как бесноватый... Тише, тише, Густль, спешить некуда, тебе ведь решительно нечего больше делать — совсем нечего, нечего! Меня как будто знобит? Наверно, все-таки от волнения... и к тому же я давно не ел... Чем это так странно пахнет?.. Ведь сейчас ничто еще не цветет, не время... Какое у нас сегодня число? Четвертое апреля... Правда, в последние дни часто шел дождь... но деревья еще почти без листвы... и как темно, брр... даже испугаться можно... В сущности, я по-настоящему испугался один-единственный раз в жизни... тогда в лесу, маленьким мальчиком... нет, не таким уж маленьким... мне было лет четырнадцать — пятнадцать... Сколько же времени прошло с тех пор? Девять лет... ну да, в восемнадцать лет я был суб-лейтенантом, в двадцать был произведен в лейтенанты... а в будущем

году стану... Чем я стану в будущем году? Что это вообще означает — «будущий год»? Что означает «на будущей неделе»? Что означает «послезавтра»? Это что еще такое? Зубы выбивают дробь? Ого-го! Ну и пусть их... Господин лейтенант, вы сейчас одни, форсить ни к чему... тяжело мне, ох, как тяжело... Посажу-ка на скамейке... Ф-фу! Куда же это меня занесло? Ну и темень! Павильон за мной, должно быть, тоже кафе... я там был как-то раз, прошлым летом, когда наш оркестр играл здесь... да, сидел с Копецким и с Ротнером... было еще несколько наших офицеров... Как я устал... словно после десятичасового перехода... Только не хватает здесь заснуть... Ха-ха! Бездомный лейтенант... В сущности, мне следовало бы пойти домой... а что мне делать дома? Ну, а в Пратере что мне делать? Ах, лучше всего было бы, если б мне совсем не пришлось встать: уснуть бы здесь — и никогда уже не проснуться... да, это было бы самое удобное! Ну нет, так удобно вам свое дельце не устроить, господин лейтенант... Но когда — и как? Вот сейчас я мог бы наконец хорошенько обдумать все, что произошло... все ведь нужно обдумывать... так уж устроена жизнь... Стало быть, обдумаем... Что именно?.. Какой чистый воздух!.. Надо бы почаще прогуливаться ночью в Пратере... Да, но это мне следовало сообразить пораньше; теперь покончено с Пратером, с чистым воздухом, с прогулками... Итак — поразмыслим, как и что. Ох, сниму фуражку: она словно давит мне на мозг... никак не могу сосредоточиться... Вот так! А теперь, Густль, разберись во всем по порядку, сделай последние распоряжения! Стало быть, завтра утром — конец... завтра в семь часов утра... семь часов — благоприятное время. Ха-ха-ха! Значит, в восемь, когда начнется ученье, все уже будет позади... Но Копецкий не сможет вести ученье, это слишком его взбудоражит... А возможно, он ничего еще не будет знать... ведь может не быть слышно... Макса Липпая они тоже нашли только днем... а он застрелился рано утром, и никто ничего не слышал... Но какое мне дело до того, будет ли Копецкий вести ученье или нет?.. Ха-ха! Стало быть, в семь часов? Так... ну, что же еще?.. А больше и не о чем размышлять. Я застрелюсь у себя в комнате, вот и все! Похороны в понедельник... Кто обрадуется, так это доктор прав...

Дуэль не может состояться по причине самоубийства одного из противников... Что скажут у Мангеймеров?.. Ну, он-то не очень огорчится... А вот жена, эта хорошенькая блондинка... с ней можно было завести интрижку... О да, мне кажется, у нее мне бы повезло, если б только я немножко поусердствовал... Было бы совсем по-другому, чем со Стеффи, этой потаскушкой... Но тут, разумеется, потребовалось бы приложить все старания: ухаживать, посылать цветы, говорить помногу... тут не скажешь: приходи завтра днем ко мне в казарму!.. Да, порядочная женщина, это было бы так приятно... Жена моего ротного в Пшемысле ведь не была порядочной женщиной... я готов поклясться, что и Либицкий, и Вермутек, и тот тщедушный суб-лейтенант — все с нею жили... А вот уж фрау Мангеймер... да, это было бы совсем другое дело, она дама лучшего общества, такая связь может облагородить человека, придать ему светский лоск — внушить ему уважение к самому себе. А когда водишься только с этими тварями... И так рано я начал — совсем еще мальчишкой, когда получил первый отпуск и поехал к родителям в Грац... Ридль тоже был со мной, — она была чешка, наверно, вдвое старше меня, — я только под утро пришел домой... Как на меня взглянул отец... И Клара тоже... Перед Klarой мне было особенно стыдно... Тогда она была помолвлена... почему, собственно, из этого ничего не вышло? Правду сказать, я не очень этим интересовался... Бедняжка, ей тоже не повезло в жизни, а сейчас, в довершение всего, она теряет единственного брата... Да, ты никогда уже меня не увидишь, Клара, — все кончено! Ведь не думала ты, сестренка, когда в Новый год провожала меня на вокзал, что больше меня не увидишь? А мама... О, боже, мама... нет, об этом мне нельзя думать... если я буду думать о ней, я способен пойти на подлость... А не съездить ли мне сначала домой... сказать, что взял отпуск на один день... еще раз увидеть маму, папу, Klarу, прежде чем покончу с собой... Да, первым утренним поездом, в семь часов, я могу поехать в Грац, в час я буду там... Добрый день, мама!.. Привет, Клара! Ну как вы живете-можете?.. Вот сюрприз, а?.. Но они могут что-нибудь почуять... если не все, то Клара... Клара уж наверно... Клара такая умница... Какое ласковое письмо я от нее получил

на днях, а я ей так и не ответил, и какие дельные советы она мне всегда дает — она душа-человек... А не обернулось ли бы все совсем иначе, если б я остался дома?.. Я поступил бы на сельскохозяйственный факультет, потом служил бы у дяди... они ведь все этого хотели, когда я был совсем еще юнцом... Теперь я, пожалуй, уже был бы женат на славной, доброй девушке... возможно, на Анне, она меня так любила... Я и сейчас еще это заметил, когда последний раз был дома, хотя у нее муж и двое детей... Уловил, как она на меня смотрела украдкой... И она все еще называет меня «Густль», как прежде... Ее как громом поразит, когда она узнает, как оборвалась моя жизнь — а муж, тот скажет: «Это я знал наперед — такой шалопай!» Все подумают, что я это сделал потому, что у меня были долги... А это неправда, все уплачено... Кроме последних ста шестидесяти гульденов, но ведь они завтра будут присланы... Да, я должен еще позаботиться о том, чтобы Баллерт получил свои сто шестидесять гульденов... непременно надо это записать, прежде чем застрелиться... Это ужасно, ужасно... а не лучше ли мне уехать в Америку, где меня ни одна душа не знает... В Америке никто понятия не имеет о том, что здесь случилось сегодня вечером... там никому нет дела до этого... Совсем недавно в газете писали о некоем графе Рунге, ему пришлось уехать из-за какой-то грязной истории, а теперь у него за океаном гостиница, и ему плевать на всю эту ерунду. И спустя несколько лет можно было бы вернуться... не в Вену, разумеется, и не в Грац... но в имение, к дяде, а мама, и папа, и Клара, те, разумеется, тысячу раз предпочли бы такой исход, только бы я остался жив... А какое мне дело до того, что подумают все остальные? Да и кто еще хорошо относится ко мне? Кроме Копецкого, никому до меня дела нет... Копецкий ведь единственный, кому... И надо же было, чтобы не кто иной, как он, дал мне билет на сегодня... и всему виной этот билет... не будь у меня билета, я не пошел бы на концерт и всего этого не случилось бы... Да что ж такое случилось?.. Кажется, целое столетие прошло с тех пор, а ведь еще и двух часов нет... Два часа назад кто-то назвал меня «глупым мальчишкой» и грозился разломать мою саблю... Господи, да я, никак, сейчас начну орать, темной

ночью... Как же это все получилось? Неужели я не мог подождать, покуда толпа у вешалки схлынет? И зачем только я ему сказал: «Молчать»? Как у меня вырвалось это слово? Ведь обычно я вежлив... даже с денщиком не бываю так груб... ну конечно, у меня разгулялись нервы... как на грех, все одно к одному подобралось — карточный проигрыш, и нескончаемые отговорки Стеффи, и завтрашняя дуэль, и то, что последнее время я совсем не высыпаюсь, и нудная муштра в казарме, — в конце концов всего этого не выдерживаешь... Да, рано или поздно я свалился бы, и пришлось бы просить отпуск... Теперь это уже не нужно, теперь наступит долгосрочный отпуск — без сохранения содержания... Ха-ха-ха!..

Сколько же времени я еще тут просижу? Наверно, уже за полночь... кажется, я недавно слышал бой часов... Что это — стук экипажа? В такое позднее время? На резиновых шинах — все понятно... Им лучше, чем мне... возможно, это Баллерт с Бертой... Почему именно Баллерт? Поезжай, поезжай! Хорошенькая штучка была у его высочества в Пшемысле... он всегда ездил с ней в город, к Розенбергше... Очень приветлив был его высочество — по-настоящему хороший товарищ, со всеми на «ты»... Хорошее было времечко... хотя... местность унылая, летом нестерпимая жара... Помнится, в один день троих хватил тепловой удар... Среди них был капрал моего взвода — такой смысленый парень... После обеда мы нагишом ложились отдыхать. Раз ко мне неожиданно зашел Визнер; мне, наверно, снился тревожный сон, я вскочил и выхватил из ножен саблю, она лежала рядом со мной... Хорошенький, наверно, у меня был вид... Визнер покатывался со смеху — сейчас он уже ротмистр. Жаль, что я не пошел в кавалерию... Но этого не хотел мой старик — было бы слишком дорогое удовольствие, — ну, теперь-то уж все едино... А почему? Да, да, знаю: я должен умереть, вот почему все едино — я должен умереть... Как же все-таки быть? Послушай, Густьа, ты ведь нарочно пошел в Пратер темной ночью, когда никто тебе не помешает, — сейчас ты можешь спокойно обо всем подумать... Все это чистейший вздор — и поездка в Америку, и отставка, и слишком ты глуп, чтобы взяться за что-нибудь другое, и если даже ты доживешь до ста лет — воспоминание

о том, что тебе кто-то грозил разломать саблю и назвал тебя глупым мальчишкой, а ты стоял и ничего не мог поделать, — нет, раздумывать тут нечего — что случилось, то случилось, и насчет мамы и Клары это тоже чепуха: свыкнутся с этим, человек со всем свыкается... Как мама убивалась, когда умер ее брат, — а спустя месяц она уже почти что перестала о нем вспоминать... она ездила на кладбище... сперва каждую неделю, потом каждый месяц — теперь только раз в год, в день его смерти. Завтра день моей смерти — пятое апреля. Перевезут ли они меня в Грац? Ха-ха-ха! Вот будет пожива червям в Граце! Но это уже не моя забота, пусть другие ломают себе голову по этому поводу... А я-то о чем еще должен позаботиться?.. Ах да, сто шестьдесят гульденов следует Баллерту, это все — никаких других распоряжений мне не надо оставлять. Письма, что ли, писать? Зачем? Кому... Прощаться? Э, черта с два! Это и без того ясно, когда человек пускает себе пулю в лоб! Тут уж все поймут, что ты распростился навсегда... Если б люди знали, как вся эта история мне безразлична, они бы меня нисколько не жалели — да и чего жалеть... А что я, в сущности, имел от жизни? Одно мне хотелось бы еще испытать: войну — но этого долгонько пришлось бы дожидаться... А все остальное мне хорошо знакомо... Зовется ли шлюха Стеффи или Кунигунда — безразлично. Все лучшие оперетты я тоже знаю, на «Лоэнгрин» ходил двенадцать раз, а нынче вечером был даже на оратории — и какой-то булочник назвал меня глупым мальчишкой. Клянусь богом, с меня довольно! И мне уже ничто не любопытно... Стало быть, пойдем домой, медленно, совсем медленно... Торопиться мне ведь действительно незачем — отдохну еще минутку-другую здесь в Пратере, на скамейке, словно бездомный. В постель я, разумеется, не лягу — времени выспаться у меня ведь хватит. Ах, что за воздух! Его-то я лишусь...

Что случилось? Эй, Иоганн, принесите-ка мне стакан холодной воды... Что такое?.. Где я?.. Неужели все это мне приснилось?.. Голова трещит... Ах, тысяча чертей...

...Никак глаза не раскрыть! Почему я одет? Где ж это я сижу? Боже милостивый, да ведь я спал! Сколько же времени я спал? Надо взглянуть на часы... Ничего не видно... Где у меня спички?.. Наконец-то одна загорелась!.. Три часа — а в четыре я должен драться на дуэли, нет, не драться, — застрелиться! Дуэли не будет; я должен застрелиться, потому что какой-то булочник назвал меня глупым мальчишкой... А было ли это на самом деле? С головой у меня что-то неладное творится... шея словно привинчена, не могу шевельнуться — правая нога затекла. Встать! Встать!.. Ага, вот так лучше! Уже почти рассвело... А воздух... совсем как тогда, рано утром, когда меня на маневрах послали в разведку и я всю ночь провел в лесу... Это было иное пробуждение... тогда передо мною был иной день... Мне кажется, я все еще не вполне этому верю. Вот она, улица, туманная, безлюдная, сейчас я, наверно, единственная живая душа во всем Пратере. Я уже однажды побывал здесь в четыре часа утра, с Паузингером... мы ехали верхом — я на лошади капитана Мировича, а Паузингер на своей кляче... это было в мае прошлого года... тогда уже все цвело, все зеленело. Сейчас все голо вокруг, но весна скоро настанет — еще два-три дня, и она тут как тут; появятся ландыши, фиалки... жаль, что мне уж все это не доставит никакой радости — каждый нищий сможет этим наслаждаться, а я должен умереть! Какое несчастье! А все остальные будут сидеть в саду при ресторане, за вином, словно ничего не произошло, как в тот вечер, на другой день после того, как похоронили Липпая. А Липпая ведь так любили... в полку к нему относились гораздо лучше, чем ко мне... так почему им не ужинать в саду после того, как я окочурюсь? Совсем тепло, куда теплее, чем вчера, и такой аромат — наверно, поблизости что-нибудь уже цветет... Принесет ли Стеффи цветы? И не подумает! Не таковская она, чтобы поехать в эдакую даль. Вот если бы речь шла об Адели... Да, Адель! Мне кажется, я уж года два не вспоминал о ней. Никогда не видел, чтобы женщина так рыдала... В сущности, связь с ней — самое лучшее, что было в моей жизни... Такая скромная, такая нетребовательная, я готов поклясться, что она меня любила. Она была совсем, совсем другая, чем Стеффи... И почему только

я ее бросил — какая глупость! Она мне приелась — вот в чем причина... Все вечера проводить с одной и той же девушкой... И еще я боялся, что свяжусь всерьез — такая плакса.

Эх, Густль, надо было повременить — ведь она одна тебя любила по-настоящему!.. Как-то она живет теперь? А как ей жить? Наверно, завела себе другого... Правда, со Стеффи куда удобнее — сохраняешь независимость, все неприятности достаются другому, а мне — одно удовольствие... Да, в этих условиях, конечно, нельзя требовать, чтобы она явилась на кладбище... А кто вообще явился бы, не будь он обязан! Разве что Копецкий — больше никто! Все-таки печально быть таким одиноким...

Что за вздор! А папа, мама, Клара!.. Ну да, разумеется, я сын, брат... но что у нас общего, кроме этого? Они меня любят, несомненно, — а что они знают обо мне? Что я несу службу, играю в карты и путаюсь с девками — а в остальном? Что я иногда страшусь самого себя, этого я им не писал, — впрочем, кажется, мне самому раньше это было не вполне ясно... Да что ты сейчас пускаешься в такие рассуждения, Густль? Только еще не хватало, чтоб ты разревелся... Фу, черт! Печатай шаг как положено! Идешь ли на свидание, или на дежурство, или в бой... кто же это сказал?.. Ах да, майор Ледерер, в столовой, когда рассказывали о Винглере, что он перед первой своей дуэлью был бледен как смерть и его стошнило... Да, точно: идешь ли на свидание или на верную смерть — у настоящего офицера об этом ни по лицу, ни по походке никто не догадается! Ступай, Густль, так велел майор Ледерер! Ха-ха! Все светлее становится вокруг... уже можно было бы читать... Что это за гудки? А, там, напротив, Северный вокзал... Колонна Тегетгофа... Такой высокой она мне никогда еще не казалась... Вон там стоят экипажи... А на улице — одни только мусорщики... последние мусорщики, которых я увижу... Ха-ха... меня смех разбирает всякий раз, как подумаю об этом... никак мне этого не понять... Любопытно, у всех ли такое чувство, когда они в этом уже вполне уверены? На вокзальных часах половина четвертого... Сейчас вопрос только в том, застрелюсь ли я в семь часов по железнодорожному времени или же по венскому...

В семь — а почему именно в семь?.. Будто нельзя в другое время... Ну и голоден я, боже правый, до чего голоден... впрочем, не удивительно — с какого же времени я не ел?.. Со вчерашнего вечера! С шести часов вечера, в кафе... верно! Когда Копецкий дал мне билет, я выпил кофе с молоком и съел две подковки... Что скажет булочник, когда узнает... проклятый хам!.. Ах, уж ему-то причина известна — быстро все сообразит, поймет, что значит быть офицером. Такой тип может стерпеть, чтобы его поколотили на улице, и для него это останется без последствий, а наш брат, пусть даже его оскорбили без свидетелей, обречен на смерть... Если б такой мерзавец хотя бы имел право драться на дуэли — а, нет, тогда он был бы осторожнее, не пошел бы на такой риск... И этот мерзавец будет жить да поживать, — а я, я должен окочуриться! Это он меня убил!.. Ну да, Густль, — сообразил наконец! Он меня убивает! Но так дешево он не отделается! Нет, нет, нет! Я напишу Копецкому письмо, где все расскажу по порядку, изложу всю эту историю... или, еще лучше, — напишу полковнику, pošлю рапорт по начальству... совсем как служебное донесение... Погоди же — ты считаешь, что такие вещи могут оставаться тайной? Ошибаешься, все будет записано, сохранится на веки вечные — хотел бы я видеть, осмелишься ли ты после этого еще шляться в кафе! Ха-ха! Хотел бы я видеть — неплохо!.. Много я еще хотел бы видеть, только, к сожалению, мне это никак не удастся — всему конец!

А вот теперь Иоганн входит в мою комнату, теперь он обнаруживает, что господин лейтенант не ночевал дома. Ну, он будет строить всевозможные догадки, но что господин лейтенант ночевал в Пратере — это ему, видит бог, никак не придет в голову... А — сорок четвертый полк! Они идут на стрельбище, — что ж, пропустим их, станем в сторонку... Наверху распахнулось окно... прехорошенькая девочка... но хоть бы платочек накинула, когда я смотрю на ее окно... Прошное воскресенье это было в последний раз... Вот уж не думал, не гадал, что последней будет именно Стеффи. О, господи, это ведь единственное стоящее удовольствие... Ну да, спустя два часа полковник не спеша, по-благородному проследует за ними... Этим господам хорошо... так, так, глаза направо! Ладно уж... Если б вы знали,

как я плюю на вас всех! А — вот сюрприз! Кацер... Когда же это его перевели в сорок четвертый? Здорово, здорово! Что за рожу он корчит? Почему показывает на свою голову? Твой череп меня очень мало интересует, милейший... Ах, вот оно что! Нет, приятель, ошибаешься: я провел ночь в Пратере... будь спокоен, прочтешь сегодня же в вечерней газете! «Не может этого быть, — так он скажет, — нынче утром, когда мы шли на стрельбище, я его видел на Пратерштрассе!» Кому-то достанется мой взвод? Уж не дадут ли его Вальтереру? Получится ерунда — он рохля, ему куда больше подошло бы стать сапожником... Как, уже солнце всходит? Сегодня будет хороший день — настоящий весенний день... А ведь если хорошенько рассудить, это же черт знает что! В восемь часов утра кучер вон того фаэтона еще будет жив-здоров, а я... ну, ну, что за дичь? Только этого не хватало — в последнюю минуту лишиться самообладания из-за кучера фаэтона... С чего же это у меня вдруг по-дурацки заколотилось сердце? Неужели из-за этого?.. Нет, нет, это все потому, что я так долго ничего не ел. Эх, Густль, будь же наконец честен с собой: тебе страшно — страшно потому, что ты никогда еще не стоял перед таким... Но это тебя не выручит, страх никогда еще никого не выручал, каждый должен пройти через это, один раньше, другой позже, твой черед пришел рановато... Ты ведь не многого стоил, так уж, по крайней мере, напоследок веди себя прилично, я на этом настаиваю! Так, теперь остается только обдумать — а что, в сущности? Все время я пытаюсь что-то обдумать — а ведь так все просто: он лежит в ящике ночного столика, заряжен, в исправности, только спустить курок — уж это дело совсем немудреное!..

А вот девушка спешит на работу — так рано... бедные, бедные! Адель тоже служила в магазине, раза два я заходил за ней вечером... Когда девушка работает, она не становится такой бесстыжей тварью... Если б Стеффи жила только со мной, я бы уговорил ее стать модисткой или чем-нибудь в этом роде... А она-то как узнает, что случилось? Из газет! Будет огорчаться, что я не написал ей об этом... Видно, я все-таки схожу с ума... Какое мне дело до того, огорчится ли она?.. Сколько же времени тянулась вся эта история?..

С января? Ну нет, началась она, наверно, еще перед рождеством... Ведь я из Граца привез ей конфеты, а к Новому году она мне прислала письмецо... Верно, дома у меня ведь куча писем... нет ли там таких, которые следовало бы сжечь?.. Гм, записка Фальштейнера, — если ее найдут, у него могут быть неприятности... А мне-то что? Но ведь не такой уж это большой труд... нет, не могу я все перерывать из-за одной бумажонки... Самое лучшее — сжечь весь ворох... Кому он нужен? Сплошная макулатура. А те несколько книг, что у меня есть, я, пожалуй, завещаю Блани. «Среди льда и ночи», — жаль, не придется дочитать... последнее время мне все недосуг было читать... Орган? А, это здесь, в церкви... Ранняя обедня — давно уже я не был у обедни... в последний раз в феврале, когда мой взвод был послан в церковь... Но это в счет не идет — я следил за тем, чтобы мои люди усердно молились и вообще вели себя прилично... Не зайти ли мне в церковь, — а вдруг во всем этом есть доля истины?.. Ну что ж, сегодня после обеда я это в точности узнаю... ха-ха! «После обеда» — удачно сострил!.. Так что же — стоит зайти? Пожалуй, для мамы было бы утешительно узнать об этом... Клара — та не придает таким вещам большого значения... Стало быть, зайдем — вреда это не принесет...

Орган, пение! Хм! Да что это? Голова кружится... О, боже, боже, боже! Если б у меня был человек, с которым я мог предварительно отвести душу... А не исповедаться ли мне сейчас? Воображаю, как поп вытаращил бы глаза, если б я на прощанье сказал ему: «Разрешите откланяться, ваше преподобие; пойду застрелюсь!..» Как мне хочется лечь на эти каменные плиты и ревмя реветь... Нет, нет, — нельзя! А ведь иногда так приятно поплакать... Сяду на минутку... только бы не уснуть, как давеча в Пратере!.. Верующим все-таки лучше... Вот те на — у меня вдруг затряслись руки!.. Если так пойдет дальше, я напоследок сам себе так опrotивляю, что от одного стыда наложу на себя руки! Вон та старушенция — любопытно, о чем она еще может молиться?.. А не сказать ли мне ей: «Слушайте, помолитесь и за меня... Я толком не знаю, как это делается...» Ха-ха! Видно, от мысли, что смерть так близка, глупеешь! Встать! О чем мне напоминает эта мелодия? Великий боже! Да о вчерашнем вечере!

Прочь, прочь! Уж этого я не вынесу!.. Тсс! Только не шуметь, не волочить саблю по плитам, не мешать людям молиться — вот так! На свежем воздухе все-таки легче... Светло... Ах, эта минута ближе и ближе — лучше бы уж все было позади! Мне следовало сделать это сразу — в Пратере... никогда не надо выходить без револьвера... Был бы револьвер при мне вчера вечером... О, господи! Я мог бы зайти в кафе позавтракать... Я голоден... Раньше мне всегда казалось странным, что приговоренные к смерти в день казни утром пьют кофе и выкуривают сигару... Черт возьми, да я ведь почти что не курил! Совсем не хотелось курить! Странно: мне охота зайти в свое кафе; ведь оно уже открыто, из наших там еще никого нет, а если кто и зайдет... он в этом увидит только свидетельство моего хладнокровия... «В шесть часов он еще завтракал в кафе, а в семь застрелился...» Я опять совершенно спокоен... Такое удовольствие шагать, и самое приятное — что меня никто к этому не принуждает. А ведь, если б только я захотел, еще не поздно расплеваться со всем этим вздором... Америка... Как ты сказал — «вздор»? Что, потвоему, «вздор»? Похоже, что я рехнулся... Эге — уж не потому ли я так спокоен, что все еще воображаю, будто я отнюдь не обязан... Нет! Обязан! Обязан! Я сам этого хочу! Да неужели, Густль, ты вообще способен себе представить, что снимешь мундир и удерешь? И проклятый хам давился бы со смеху, а Копецкий — тот перестал бы подавать тебе руку... Мне уже сейчас кровь бросилась в лицо. Полицейский отдает мне честь. Надо ответить... «Здорбо!» Я даже сказал ему «здорбо!»... Ну, маленьким людям это всегда приятно... Вообще на меня никто не может быть в обиде, вне службы я на многое смотрел сквозь пальцы. На маневрах я всех сверхсрочных угощал папиросами; а раз я слышал, как позади меня солдат во время упражнения в ружейных приемах что-то проворчал о «проклятой муштре», и, однако, я не подал на него рапорт, а только сказал ему: «Эй, вы! Поосторожнее, если такое услышит кто другой — вам несдобровать!» Дворец... Кто сегодня несет караул? Босняки — у них молодцеватый вид, — еще совсем недавно наш подполковник сказал: «Когда в семьдесят восьмом году мы были там, внизу, никто бы не поверил, что они так

храбро будут отражать наши атаки!..» Господи боже, как бы мне хотелось участвовать в таком деле... Там, на скамейке,— солдаты; все встают. Здорóво, здорóво! Как досадно, что нам никак не удастся повоевать! Гораздо красивее было бы на поле битвы, за родину, чем так... Да, господин доктор,— вы, можно сказать, вышли сухим из воды!.. А не мог ли бы кто-нибудь заменить меня на дуэли? Честное слово, мне следовало бы оставить записку такого содержания — просить Копецкого или Виметалю драться вместо меня с этим типом... Эх, эх, господин доктор, очень досадно, что вам это так дешево обойдется! А впрочем — ерунда! Не все ли равно, что произойдет потом? Я-то никогда уж этого не узнаю! А деревья распускаются... В Народном саду я раз заговорил с одной особой... Она была в красном платье... Жила на улице Стрoцци — потом с ней спутался Рохлиц... Кажется, он и сейчас еще живет с ней, но никогда уже о ней не упоминает, — пожалуй, стыдится... А Стеффи — та еще спит... как она мила, когда спит... можно подумать, что она — сама невинность. Правда, когда они спят, у всех у них такой вид! Надо бы все-таки написать ей несколько слов... а почему нет? Так ведь уж принято — всегда напоследок пишут письма. И Кларе я должен был бы написать, чтобы она старалась утешить папу и маму, и вообще все то, что пишут по такому случаю... и Копецкому тоже... Честное слово, мне начинает казаться, что все будет не так тяжело, если я прощусь кое с кем... И донесение полковому командиру, и сто шестьдесят гульденов для Баллерта... в сущности, еще куча дел... Ну, меня ведь никто не принуждает сделать это непременно в семь часов... В восемь часов тоже еще не поздно перейти в небытие... Небытие, да-да, именно так это называется — тут уж ничего не поделаешь...

Рингштрассе — скоро я войду в свое кафе... Меня даже как будто радует мысль, что я скоро позавтракаю... прямо невероятно! Ну да, после завтрака я закурю сигару, а затем пойду домой и сяду писать.. Прежде всего — донесение начальству, затем — письмо Кларе, после этого — Копецкому, напоследок — Стеффи... А что мне писать этой дряни?.. «Дорогая моя детка, ты, верно, не думала...» Как глупо! Очень уж глупо! «Дорогая моя детка, горячо благодарю тебя...»

«Дорогая моя детка, не могу, прежде чем уйти из этого мира...» Да, в сочинении писем я никогда не был силен... «Дорогая моя детка, последнее прости от твоего Густля...» Ну и удивится же она! Все-таки счастье, что я не был в нее влюблен... Печально, должно быть, когда любишь женщину и приходится... Ну, ну, Густль, не расстраивайся, и так все это достаточно печально... После Стеффи нашлось бы еще немало других, и, наконец, — кто знает, быть может, такая, которая чего-нибудь да стоила бы, молодая девушка из хорошей семьи, с солидным приданым — так хорошо все могло устроиться... Кларе я должен подробно объяснить, что другого выхода у меня не было... «Ты должна простить меня, сестричка! Прошу тебя, утешай дорогих наших родителей. Я знаю, что всем вам доставил немало забот и огорчений; но верь мне, я всегда крепко любил вас всех и надеюсь, дорогая моя Клара, что ты еще найдешь счастье и сохранишь память о твоем несчастном брате...» Ах, будет лучше, если я совсем ей не напишу!.. Мне уже хочется плакать... Слезы навертываются на глаза при одной мысли об этом... Разве что напишу Копецкому — товарищеское прости, с просьбой передать другим... Как — уже шесть часов? А, нет! Половина шестого... три четверти. Какая миленькая мордашка!.. А та черноглазая девочка, которую я так часто встречаю на улице Флориани, — она-то что скажет? Да ведь она не знает, кто я такой, — только удивится, что меня больше не видать. Третьего дня я твердо решил следующий раз заговорить с ней. Заигрывала она со мной достаточно... совсем еще молоденькая, может быть, еще невинна!.. Да, Густль! Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня!.. Вот этот прохожий тоже, верно, всю ночь не спал, но он-то потихоньку пойдет домой и уляжется — и я тоже! Ха-ха-ха! Дело становится серьезным, Густль, да!.. Впрочем, если б не было страшновато — это был бы суший пустяк, и в общем — мне ведь приходится самому об этом судить, — я держусь храбро... Куда же я иду? Мое кафе — вот оно... Еще только убирают... Все равно — зайдем.

Вон там, в глубине, стол, за которым эта компания всегда играет в тарок... Удивительно — я никак не могу себе представить, что мужчина, который всегда сидит

у самой стены, — тот самый, который меня... Никого еще нет... Где же кельнер?.. Эй! Вышел из кухни... на ходу второпях надевает фрак — вот уж это совсем не нужно!.. Ах, ему-то нужно... Он сегодня еще будет прислуживать другим!

— Честь имею кланяться, господин лейтенант!

— Доброе утро!

— Так рано сегодня, господин лейтенант?

— Нет, не надо — я спешу, останусь в шинели.

— Что прикажете, господин лейтенант?

— Кофе с молоком и пенкой.

— Сию минуту, господин лейтенант.

А — вот газеты... утренние газеты... Нет ли в них чего-нибудь? О чем, собственно? Никак, я собираюсь посмотреть, напечатано ли там, что я покончил с собой? Ха-ха-ха! Чего же это я все стою да стою?.. Сядем-ка у окна... Оказывается, он уже поставил мне кофе... Занавеску я задерну — вот так; противно, когда прохожие заглядывают... Правда, на улице еще ни души... Ах, какой вкусный кофе! Да, завтрак — не обман презренный! Совсем другим человеком становишься — вся эта катавасия получилась из-за того, что я не поужинал... Зачем этот кельнер опять явился? Ага, принес булочки...

— Господин лейтенант уже слышали?

— О чем? — Боже правый, неужели он уже что-нибудь знает? Глупости, не может этого быть!

— Господина Габетсвальнера...

Что такое? Ведь это — фамилия того булочника... что кельнер скажет сейчас?.. Неужели булочник уже успел побывать здесь? Неужели еще вчера пошел сюда и все рассказал?.. Почему же кельнер не продолжает?.. Да ведь он что-то говорит...

— Сегодня в полночь хватил удар.

— Что?..

Нельзя, нельзя мне так кричать... Нельзя и виду показать, будто... а вдруг это мне приснилось? Надо еще раз его спросить:

— Кого хватил удар? — Отлично, отлично, я сказал это таким небрежным тоном!

— Владельца булочной, господин лейтенант!.. Да ведь господин лейтенант его сколько раз видал... Толстяк, который каждый день под вечер играл в тарок

рядом с господами офицерами... играл он всегда с господином Шлезингером и господином Визнером, у которого магазин искусственных цветов на той стороне улицы!

Нет, я не сплю — все в точности совпадает, — и, однако, я не совсем еще верю его словам, — я должен еще раз спросить его... опять будто невзначай...

— Стало быть, его хватил удар?.. Почему бы так? Откуда вы об этом узнали?

— Да ведь, господин лейтенант, кому же узнать раньше всех, как не нашему брату, — булочка, которую господин лейтенант сейчас кушают, тоже ведь от господина Габетсвальнера. А сказал нам это мальчик, который утром, в половине пятого, приносит товар.

Святый боже, только не выдать себя... мне хочется кричать... хочется хохотать... хочется расцеловать этого... как его? Рудольфа... Но мне нужно задать ему еще один вопрос... Если человека хватил удар, это еще не значит, что он умер... мне нужно спросить, умер ли он... но совсем спокойно, какое мне дело до владельца булочной; лучше мне смотреть в газету, пока буду спрашивать...

— Он умер?

— Ну разумеется, господин лейтенант; тут же, на месте.

Чудесно! Чудесно! А кто знает — возможно, это случилось потому, что я зашел в церковь?

— Вечером он был в театре; упал у себя на лестнице — привратник услышал шум... Ну вот, они его внесли в квартиру, а когда пришел врач, все уже давно было кончено.

— Очень печально. Мужчина во цвете лет. — Я превосходно сказал это, никто ни о чем не догадался бы... а ведь мне приходится изо всех сил сдерживать себя, чтобы не заорать или не прыгнуть на бильярд.

— Да, господин лейтенант, очень печально; такой был славный господин, двадцать лет подряд приходил к нам изо дня в день, он и наш хозяин — старые приятели. А жена, бедняжка...

Кажется, еще никогда в жизни я так не радовался... Он умер — умер! Никто ничего не знает, и ничего не произошло! Какое счастье, какое сказочное везение, что я зашел сюда, в кафе!.. Не будь этого, я бы застре-

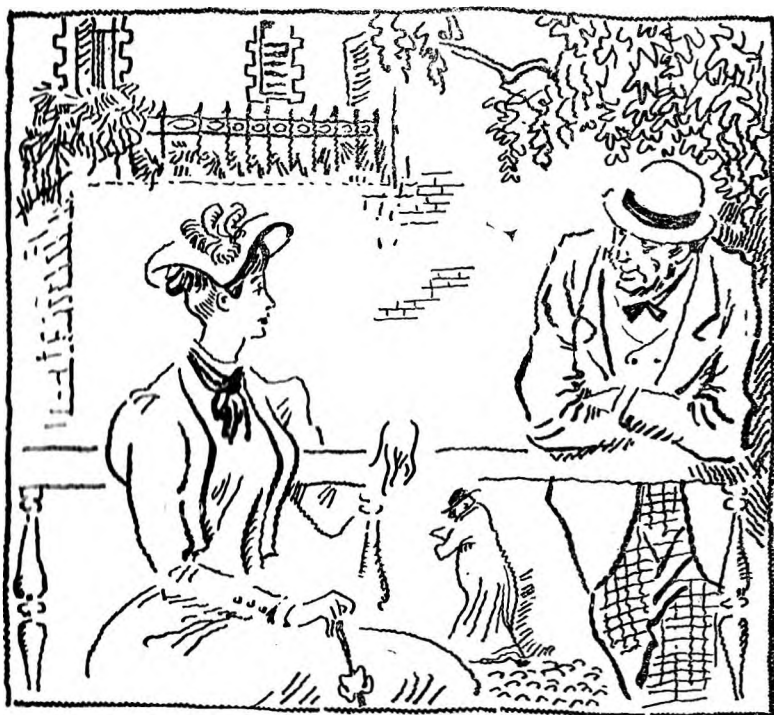
лился совершенно зря. Значит, судьбе так угодно было... Где же этот Рудольф?.. А, вон там — болтает с мальчишкой, который продает сигары и папиросы... Итак, он умер, умер — мне все еще не верится! Как мне хочется пойти туда, убедиться в этом своими глазами! Возможно, удар приключился с ним от ярости, от той злобы, которую он сдерживал... Э, да какое мне дело, от чего! Самое главное: он умер, и я могу жить, опять могу располагать собой!.. Странно — я все время маваю в кофе булочку, которую для меня спек господин Габетсвальнер! Очень вкусно, господин фон Габетсвальнер! Объединение! Так, а теперь недурно бы выкурить еще сигару...

— Рудольф! Эй, Рудольф! Перестаньте наконец морочить мальчишке голову!

— Что угодно, господин лейтенант?

— Дайте «Трабукко»...

Я так рад, так рад... Что бы мне такое сделать?.. Что бы мне такое сделать?.. Что-то я должен сделать, иначе меня тоже хватит удар — от избытка радости!.. Через четверть часа я махну в казарму и велю Иоганну сделать мне холодное обтирание!.. В половине восьмого — ружейные приемы, в половине десятого — маршировка. Стеффи я напишу, что на сегодняшний вечер она должна освободиться во что бы то ни стало! А в четыре часа пополудни — погоди, любезный! погоди, любезный! Я в самом подходящем настроении... Изрублю тебя в кусочки!



ФРАУ БЕРТА ГАРЛАН

Медленно спускалась она с холма, не по широкой извилистой дороге, ведущей в город, а по узкой тропинке между виноградниками. Она держала за руку маленького сына, он шел все время на шаг впереди нее, так как для обоих не хватало места. Заходящее солнце светило ей прямо в лицо, и лучи его были еще так ярки, что Берте пришлось глубже надвинуть на лоб темную соломенную шляпу и опустить глаза. Склоны горы, к которым лепился городок, окутывал золотистый

туман, внизу поблескивали крыши, а вдали от города, среди лугов, сверкая, несла свои воды река. Воздух был совершенно недвижим, и вечерняя прохлада, казалось, наступит еще не скоро.

Берта на минуту остановилась и огляделась вокруг. Она была здесь совсем одна с ребенком, удивительная тишина окружала ее. И наверху, на кладбище, ей сегодня тоже никто не встретился, даже старуха, которая обычно поливала цветы и ухаживала за могилами, — Берта иногда беседовала с нею. Берте показалось, что она уже очень давно из дому и давно ни с кем не говорила. Вдруг где-то на колокольне пробило шесть часов. Значит, не прошло и часа, как она вышла из своей квартиры, а с тех пор, как она разговорилась на улице с красивой фрау Рупиус — и того меньше. И даже те несколько минут, что она стояла у могилы мужа, показались ей теперь совсем далекими.

— Мама! — внезапно окликнул ее мальчуган. Он высвободил руку и побежал вперед. — Мама, я могу ходить быстрее тебя!

— Подожди же, Фриц! — воскликнула Берта. — Ты ведь не оставишь маму одну. — Она догнала его и снова взяла за руку.

— Мы уже идем домой? — спросил малыш.

— Да, Фриц, мы сядем у открытого окна и не отойдем от него, пока не стемнеет.

Вскоре они достигли подножья холма и неторопливо направились к городу по тенистой каштановой аллее, что тянулась вдоль побелевшей от пыли большой дороги. И здесь им редко встречались прохожие. По дороге навстречу им проехало несколько телег, возчики брели рядом с кнутом в руке, два велосипедиста катили за город, вздымая тучи пыли. Берта невольно остановилась и смотрела им вслед, пока они почти совсем не скрылись из виду. Малыш тем временем влез на скамью.

— Посмотри-ка, мама, что я умею, — крикнул он и приготовился прыгнуть. Мать схватила его за руки и осторожно сняла со скамьи. Затем она села.

— Ты устала? — спросил мальчик.

— Да, — ответила она и сама удивилась, что это на самом деле так. Ибо только теперь она почувствовала, как сильно утомил ее зной, и едва преодолевала дре-

моту. На ее памяти в середине мая еще не бывало таких жарких дней. Со скамьи, где она сидела, она могла окинуть взглядом дорогу, по которой только что шла: сверкая на солнце, тропинка избегала вверх между виноградниками до ярко освещенной кладбищенской стены. Такую прогулку Берта обычно совершала два-три раза в неделю. Уже давно путь на кладбище стал для нее только прогулкой. Когда она там, наверху, шла по усыпанной гравием дорожке между крестами и могильными плитами и у могилы мужа творила тихую молитву или клала на холмик несколько полевых цветов, сорванных ею по дороге, она не испытывала ни малейшей скорби. Правда, прошло уже три года, как она его похоронила, — ровно столько, сколько она прожила с ним.

Глаза ее сомкнулись. Она вспомнила, как приехала в этот город спустя несколько дней после свадьбы, сыгранной в Вене. Они совершили небольшое свадебное путешествие, какое мог себе позволить человек со скромными средствами, женившийся на бесприданнице. В Вене они сели на пароход, поплыли вверх по Дунаю и провели несколько дней в Вахау, в маленькой деревушке, совсем близко от города, где должны были поселиться. У Берты еще отчетливо сохранилась в памяти небольшая гостиница, где они жили, садик у реки, где они, бывало, сидели после захода солнца, спокойные и немного тоскливые вечера, столь мало похожие на времяпрепровождение молодоженов, какое она рисовала себе, когда была совсем юной девушкой. С этим ей, конечно, пришлось примириться.

Ей исполнилось двадцать шесть лет, и она была совершенно одинока, когда к ней посватался Виктор Матиас Гарлан. Родители ее недавно умерли. Один ее брат давно уехал в Америку искать счастья в торговле, младший брат стал актером, женился на актрисе и выступал на сценах третьеразрядных немецких театров. С другими родственниками она едва поддерживала связи и бывала только у двоюродной сестры, вышедшей замуж за адвоката. Но и эта дружба с каждым годом охладевала, так как молодая женщина всецело посвятила себя мужу и детям и мало интересовалась незамужней подругой.

Гарлан был дальним родственником покойной матери Берты; раньше он часто бывал у них в доме и

как-то неловко ухаживал за молодой девушкой. Тогда у Берты не было никаких причин поощрять его, жизнь и счастье рисовались ей в ином свете. Она была молода и красива, семья их жила хотя и небогато, но в достатке, и ее куда сильнее манила надежда стать выдающейся пианисткой, быть женой артиста, обезднить свет, чем вести скромный образ жизни в кругу семьи. Но эта надежда вскоре померкла, ибо отец ее однажды, в угоду своим мещанским предрассудкам, запретил ей впредь посещать консерваторию и тем самым положил конец и ее мечтам об артистическом поприще, и ее отношениям с молодым скрипачом, который впоследствии стал такой знаменитостью. Потом прошло несколько лет в каком-то странном дурмане; сначала она испытывала разочарование, даже скорбь, но это, разумеется, длилось недолго. Затем появились два претендента на ее руку, молодой врач и коммерсант; ни за того, ни за другого она не пожелала выйти замуж: за врача потому, что он был слишком уродлив, за коммерсанта потому, что он жил в провинциальном городе. Родители не очень уговаривали ее. Однако, когда Берте исполнилось двадцать шесть лет и отец ее, обанкротившись, потерял свое небольшое состояние, ей пришлось выслушивать запоздалые упреки по всевозможным поводам, о которых она сама начала забывать, — ее попрекали прежними артистическими планами, давней безнадежной историей со скрипачом, отказами уродливому врачу и провинциальному коммерсанту. В то время Виктор Матиас Гарлан уже не жил в Вене. Страховое общество, в котором он служил с двадцатилетнего возраста, назначило Гарлана, по его собственному желанию, заведующим вновь открытым отделением в небольшом городке на Дунае, где жил его женатый брат, виноторговец. Тогда Гарлан заехал попрощаться с семьей Берты и в долгом разговоре с нею, который произвел на Берту некоторое впечатление, упомянул о том, что добивался перемещения в маленький город, потому что уже стареет, не помышляет больше о женитьбе и хотел бы обрести домашний уют у близких родственников. Родители Берты подшучивали над его настроением, им казалось, что он просто хандрит, Гарлану ведь едва исполнилось сорок лет. Но Берта сочла его доводы очень разумными, ибо ей

Гарлан никогда не казался молодым. В последующие годы Виктор Матиас Гарлан часто приезжал в Вену по делам и никогда не упускал случая навестить их семью. Берта обычно после ужина играла на рояле, и он слушал ее с каким-то благоговением; Гарлан часто говорил о своих маленьких племянниках, о том, что оба они очень музыкальны и что он много рассказывает им о фрейлейн Берте, как о самой выдающейся пианистке, которую он когда-либо слышал. Это казалось странным, и мать не могла удержаться от замечаний, что Гарлан со времени своего прежнего робкого предложения не решается делать ни малейшего намека на прошлое или тем менее — на возможное будущее; ко всем упрекам, которые приходилось выслушивать Берте, прибавился еще один: что она слишком равнодушно, даже холодно относится к Гарлану. Берта лишь качала головой, ибо тогда и не думала о том, чтобы выйти замуж за этого довольно беспомощного, преждевременно состарившегося человека. После внезапной смерти матери — когда Берту постигло это несчастье, отец ее уже несколько месяцев лежал больной — Гарлан снова появился в Вене и сообщил, что первый раз в жизни взял месячный отпуск. Берта отлично понимала, что он приехал только ради нее, чтобы помочь ей в это тяжелое время. И когда через неделю после похорон матери умер и отец, Гарлан показал себя как преданный друг и к тому же как человек большой энергии, которой она в нем и не подозревала. Он убедил свою невестку приехать на несколько недель в Вену, чтобы на первых порах помочь осиротевшей девушке и немного развлечь ее, сам же умело и быстро уладил все ее дела. Его доброта и сердечность очень поддержали Берту в те тяжелые дни, и когда он, по окончании отпуска, спросил ее, хочет ли она стать его женой, она приняла его предложение с чувством глубокой благодарности. Она отлично знала, что иначе вынуждена будет, вероятно, уже через несколько месяцев бегать по урокам, чтобы заработать на жизнь, кроме того, она прониклась таким уважением к Гарлану и так привыкла к нему, что когда он вез ее в церковь, к венцу, и в карете впервые спросил, любит ли она его, она со всей искренностью ответила: «Да».

Конечно, уже в первые дни замужества Берта поняла, что любви к мужу у нее нет. Ласки его она воспринимала сначала с некоторым удивлением и разочарованием, потом — равнодушно, и лишь когда она почувствовала себя матерью, у нее явилось желание отвечать на них. К тихому быту маленького городка она быстро привыкла, тем легче что и в Вене жила довольно замкнуто. В семье мужа она чувствовала себя очень хорошо; деверь казался ей любезным и веселым, хотя иногда грубоватым; жена его была женщина добродушная, временами немного грустная. Племянник — красивый и дерзкий мальчик, когда Берта приехала в город, ему было тринадцать лет; племянница — очень тихая девочка девяти лет, с огромными, удивленными глазами, она с первого дня всем сердцем привязалась к Берте. Когда у Берты родился ребенок, дети радовались ему, как долгожданной игрушке, и в последующие два года Берта чувствовала себя совершенно счастливой. Да, иногда ей даже казалось, что судьба ее не могла бы сложиться благоприятней. Большой город с его шумом и суетою представлялся ей в воспоминаниях чем-то непривлекательным, даже опасным. А когда однажды она поехала туда с мужем за покупками и день, как на грех, выдался тоскливый, ненастный, она поклялась никогда больше не затевать такой скучной и бесполезной поездки, отнимающей к тому же целых три часа.

Муж ее умер внезапно, весенним утром, спустя три года после свадьбы. Она была глубоко потрясена. У нее и в мыслях не было, что это может случиться. Она снова оказалась в очень стесненных обстоятельствах. Вскоре ее невестка нашла хороший способ помочь вдове, так, чтобы помощь эта не походила на милостыню. Она предложила Берте обучать ее детей игре на рояле и достала ей уроки еще в нескольких домах. По безмолвному уговору, все вели себя так, будто она согласилась давать эти уроки лишь для того, чтобы немного развлечься, и если ей платят за них, то потому, что не хотят даром пользоваться ее временем и трудом. Денег, которые она зарабатывала уроками, вполне хватало, чтобы пополнить ее бюджет и позволить ей вести привычный образ жизни. Когда она преодолела боль утраты и скорбь об умершем, к ней вернулись прежняя

жизнерадостность и веселость. Она и раньше не была избалована и потому теперь не чувствовала лишений. Думая о будущем, она сосредоточила все свои заботы на воспитании ребенка, и только изредка приходила ей в голову мысль о возможности нового замужества, мысль всегда мимолетная, ибо она не знала никого, кто мог бы внушить ей подобные надежды. Иногда она просыпалась под утро, и вокруг нее реяли юные грезы, но они понемногу рассеивались в монотонном течении дня. Только с наступлением этой весны почувствовала она, что лишилась былого покоя; она уже не спала так безмятежно, без сновидений, как раньше, по временам испытывала какую-то тоску, которой никогда не знала прежде, а удивительнее всего было то внезапное изнеможение, которое охватывало ее иногда среди бела дня; в такие минуты ей казалось, что она ощущает, как кровь бежит по ее жилам, и это напоминало ей дни ее ранней юности. Сначала это чувство, хотя и знакомое, было все-таки совсем чуждо ей, словно кто-то из подруг поведал ей о нем. Только когда оно стало повторяться все чаще и чаще, она вспомнила, что и сама уже раньше знала его.

Берта вздрогнула, ей почудилось, будто она пробудилась от глубокого сна. Она открыла глаза. Воздух словно дрожал и плыл вокруг нее. Дорога была уже наполовину в тени, кладбищенская стена наверху, на холме, не озарялась солнцем; Берта быстро трянула головой, словно для того, чтобы окончательно проснуться. Ей показалось, будто прошел целый день, целая ночь с тех пор, как она села на эту скамью. Как могло случиться, что время пронеслось так быстро? Она осмотрелась кругом. Где ее мальчик? Вот он, позади нее, играет с детьми доктора Фридриха, няня стоит возле них на коленях и помогает им строить замок из песка. На аллее появилось теперь больше народу, чем раньше. Берта знала почти всех, ежедневно встречала она одних и тех же людей. Но с большинством из них разговаривала редко, и потому они мелькали перед нею, как тени. Вот прошел седельный мастер Петер Новак с женой, доктор Реллингер проехал в маленьком экипаже и поклонился ей, вот прошли обе дочери домовладельца Венделейна, а там медленно проехали на велосипеде за город лейтенант

Байер с невестой. На время все движение прекратилось, и Берта слышала позади себя только смех детей. Затем она увидела, как кто-то медленно идет из города, и уже издали узнала господина Клингемана, который в последнее время стал часто заговаривать с нею. Двенадцать или пятнадцать лет тому назад он переселился в этот город из Вены; говорили, что раньше он был врачом, но из-за профессиональной ошибки или еще худшего проступка принужден был оставить врачебную практику. Другие утверждали, что он вообще никогда не получал врачебного диплома и, как недоучившийся студент, в конце концов оставил ученье. Сам он выдавал себя за философа, который пресытился жизнью в большом городе и потому переехал в маленький городок, где мог прилично жить на остатки своего состояния. Ему было теперь лет сорок пять, не больше, он был еще в расцвете сил, но часто казался каким-то потрепанным и непривлекательным. Уже издали он заулыбался молодой вдове, но не ускорил шага и, наконец, остановился перед нею с насмешливым поклоном — так он приветствовал всех и каждого.

— Добрый вечер, красавица, — сказал он.

Она ответила на его поклон. Как раз сегодня он, видимо, старался выглядеть молодым и элегантным. Темно-серый сюртук плотно облегал его фигуру, голову покрывала коричневая соломенная шляпа с узкими полями и черной лентой; на шее болтался маленький красный, криво повязанный галстук. Он с минуту постоял молча, покрутил белокурые, слегка тронутые сединами усы, затем спросил:

— Вы были там, наверху, сударыня?

Довольно презрительно, не поворачивая ни головы, ни глаз, он показал через плечо на кладбище. Клингеман слыл во всем городе человеком, для которого нет ничего святого, и Берта, пока он стоял перед нею, вспомнила все, что о нем рассказывали. Было известно, что он сожительствует со своей кухаркой — впрочем, он называл ее «экономкой» — и одновременно с хозяйкой табачной лавочки; та обманывала его с капитаном расквартированного здесь полка, о чем он гордо и печально поведал Берте; кроме того, в городе было несколько девиц на выданье, которые до известной степени интересовались им. Когда кто-нибудь намекал на

это обстоятельство, он отпускал насмешливые замечания о браке вообще; некоторые ставили ему в упрек подобные взгляды, но в конце концов это даже вызвало уважение к нему.

— Я просто гуляла, — ответила Берта.

— Одна?

— О нет, с сыном.

— Верно, да вот и он! Привет тебе, маленький смертный!

Говоря это, он смотрел поверх малыша.

— Можно мне на минутку подсесть к вам, фрау Берта? — Он насмешливо произнес ее имя и сел, не дожидаясь ответа. — Я слышал сегодня утром, как вы играли на рояле, — продолжал он. — Знаете, какое у меня впечатление? Музыка, должно быть, заменяет вам все. — Он повторил: «все» и при этом так посмотрел на нее, что она покраснела. Затем продолжал: — Очень жаль, что мне редко удается слышать вас! Если я случайно не прохожу мимо вашего окна, когда вы играете...

Берта заметила, что он все ближе придвигается к ней и рукой касается ее руки. Невольно она отодвинулась. Вдруг она почувствовала, как сзади кто-то обнял ее, откинул ей голову назад и прикрыл рукой глаза. На мгновение ей почудилось, будто рука Клингемана лежит у нее на веках, и она крикнула: «Вы с ума сошли!» Смеющийся мальчишеский голос у нее за спиной ответил:

— Нет, как это смешно, когда ты говоришь мне «вы», тетя Берта!

— Дай мне хоть глаза открыть, Рихард! — сказала Берта, пытаясь отвести его руки от своих глаз, затем повернулась и спросила: — Ты идешь из дому?

— Да, тетя, кстати я принес тебе газету.

Берта взяла у него газету и стала ее просматривать. Клингеман встал и обратился к Рихарду.

— Вы уже сделали все уроки? — спросил он.

— Нам больше не задают никаких уроков, господин Клингеман, в июле мы получаем аттестат зрелости.

— Так вы и в самом деле на будущий год уже станете студентом?

— На будущий год? Осенью! — При этом он щелкнул по газете, которую держала тетка.

— Что тебе нужно, невоспитанный мальчишка?

- Тетя, будешь ты навещать меня в Вене?
- И не подумаю! Буду рада избавиться от тебя.
- Вот едет господин Рупиус, — сказал Рихард.

Берта опустила газету. Она взглянула туда, куда был устремлен взгляд Рихарда. По аллее из города служанка катила кресло на колесах, в котором сидел мужчина с непокрытой головой, мягкая шляпа лежала у него на коленях, плед спускался с колен на ноги. Лоб у него был высокий, волосы гладкие, белокурые, поседевшие на висках, глаза большие, выразительные. Проезжая мимо скамьи, он только слегка склонил голову, но не улыбнулся. Берта знала, что он наверняка велел бы остановиться, если бы она была одна; он посмотрел только на нее, и его приветствие словно бы предназначалось ей одной. Ей показалось, что взгляд его никогда еще не был так серьезен, как сегодня. Это очень опечалило ее, потому что она чувствовала глубокую симпатию к этому разбитому параличом человеку.

Когда он проехал, Клингеман сказал:

- Бедняга! А женушка, должно быть, опять в Вене?
- Нет, — чуть ли не сердито ответила Берта, — я говорила с нею час тому назад.

Клингеман замолчал, так как почувствовал, что дальнейшие замечания о таинственных поездках фрау Рупиус противоречили бы его репутации свободомыслящего человека.

— Он действительно больше никогда не сможет ходить? — спросил Рихард.

— Никогда, — ответила Берта.

Она знала это, потому что ей однажды сказал об этом сам господин Рупиус, когда она навестила его в те дни, что жена его была в Вене. Но сегодня он показался ей особенно несчастным, ибо, как раз когда господин Рупиус проезжал мимо, она, читая газету, увидела имя человека, которого считала счастливецом. Невольно прочла она еще раз: «Наш знаменитый соотечественник Эмиль Линдбах несколько дней тому назад вернулся в Вену после гастролей в Испании и во Франции, которые принесли ему шумный успех. В Мадриде замечательный артист имел честь играть в присутствии королевы. 24-го числа сего месяца Линдбах примет участие в благотворительном концерте в пользу жителей Форарльберга, пострадавших от недавнего наводнения, концерт этот

вызывает живой интерес у публики, несмотря на конец сезона».

Эмиль Линдбах! Берте было довольно трудно представить себе, что это тот самый человек, которого она прежде любила, — когда же это было? — двенадцать лет тому назад. Двенадцать лет! Она почувствовала, как кровь бросилась ей в лицо, будто ей вдруг стало стыдно, что она так постарела.

Солнце зашло. Берта взяла мальчика за руку, распрыгалась со всеми и медленно пошла домой. Дом, где она жила, стоял на одной из новых улиц; из окон второго этажа открывался вид на холмы, напротив расстился большой пустырь. Берта поручила своего малыша служанке, села у окна, взяла газету и стала опять читать. У нее была привычка просматривать прежде всего новости искусства; привычка эта укоренилась с детства, когда она обычно ходила с братом, — с тем, что стал актером, — на галерку Бургтеатра. Ее интерес к искусству, естественно, возрос, когда она стала учиться в консерватории; тогда она знала имена даже самых незначительных актеров, певцов, пианистов, а позже, когда ей пришлось перестать ходить в театр и заниматься в консерватории, когда пришлось распрощаться с мечтами об артистической карьере, у нее все же осталось какое-то чувство причастности к этому радостному миру, напоминавшее тоску по родине. Однако уже в последние годы ее жизни в Вене все это почти утратило для нее значение, а с тех пор, что она поселилась в этом городе, и вовсе перестало занимать, так как высшим художественным наслаждением, которое здесь могли предложить, были случайные любительские концерты. В первый год своего пребывания в этом городе она участвовала в одном из таких концертов в ресторане «Красное яблоко» — сыграла с одной местной дамой в четыре руки два марша Шуберта. Она так волновалась тогда, что поклялась никогда больше не выступать публично, и была даже довольна, что прервала свою артистическую карьеру. Чтобы стать артисткой, нужно иметь совсем иной характер, такой, например, как у Эмиля Линдбаха. Да, он рожден для эстрады! Она поняла это сразу, когда увидела, как он вышел на подмостки во время ученического концерта, как непринужденно откинул назад волосы, как насмешливо-высокомерно взглянул на публику, а после первых апло-

дисментов поклонился так спокойно, будто давно привык к успеху. Удивительно! Думая об Эмиле Линдбахе, она представляла его себе таким же юношей, почти мальчиком, каким он был тогда, когда они знали и любили друг друга. А между тем совсем недавно, сидя однажды вечером в кафе с деверем и невесткой, она увидела в иллюстрированном журнале его фотографию, он очень изменился. Он не носил больше длинных волос, черные усы были словно оттянуты щипцами книзу, шею подпирал необыкновенно высокий воротник, галстук был повязан по новой моде. Невестка нашла, что он похож на польского графа.

Берта снова взяла газету, чтобы читать дальше, но было уже слишком темно. Она встала, позвала служанку. Та принесла лампу, накрыла на стол. Берта поужинала с мальчиком при открытом окне. Она испытывала сегодня особенную нежность к сыну и думала о том времени, когда еще был жив ее муж; множество воспоминаний всплыло в ее душе. Когда она укладывала Фрица в постель, взгляд ее задержался на портрете покойного мужа в овальной темно-коричневой раме, висевшем над кроватью. Он снялся во весь рост, во фраке с белым галстуком, с цилиндром в руке, на память о дне их свадьбы. В ту минуту Берта ясно почувствовала, что Клингеман насмешливо улыбнулся бы при взгляде на этот портрет.

Когда ребенок заснул, она села за рояль, как делала часто перед сном, не потому, что увлекалась музыкой, но чтобы не ложиться спать слишком рано. Она играла обычно те немногие вещи, которые еще хорошо помнила, — мазурки Шопена, какой-нибудь отрывок из сонаты Бетховена, Крейсleriану, случалось ей и фантазировать, но дело не шло дальше нескольких аккордов, всегда одних и тех же. Сегодня она начала прямо с этих аккордов, но брала их несколько тише, чем обычно, затем попробовала модулировать, и когда долго не умолкало последнее трезвучие, которое она взяла с педалью — руки она уже опустила, — она с тихой радостью прислушивалась к ласково овевавшим ее звукам. Теперь ей вспомнилось замечание Клингемана: «Музыка заменяет вам все».

Действительно, он не совсем неправ. Музыка, должно быть, заменяла ей многое. Но все? О нет.

Что это? Чьи-то шаги на другой стороне улицы... Ну, в этом нет ничего удивительного. Однако это были размеренные, неторопливые шаги, будто кто-то ходит назад и вперед. Она встала и подошла к окну. Совсем стемнело, и она не могла сразу разглядеть человека, который там прогуливался, но знала: это Клингеман. Что за притча! Уж не собирается ли он спеть ей серенаду?

— Добрый вечер, фрау Берта, — сказал он, в темноте она увидела, как он приподнял шляпу.

Она смущенно ответила:

— Добрый вечер.

— Вы очень хорошо играли, сударыня.

— Вот как? — спросила Берта, но так тихо, что он, должно быть, и не расслышал.

Секунду он постоял, затем сказал:

— Доброй ночи, спите спокойно, сударыня.

Он произнес слово «спите» таким тоном, что оно прозвучало как бесстыдный намек. Берта подумала: теперь он пойдет к своей кухарке. Вдруг она вспомнила, что ей передавали уже давно, но о чем она с тех пор почти забыла: будто в его комнате висит картина, прикрытая небольшой занавеской, изображающая сладострастную сцену. Кто же рассказал ей это? Ах да, фрау Рупиус, прошлой осенью во время прогулки по берегу Дуная, а та слышала это от кого-то другого — от кого же? Нет, какой гадкий человек! Берта почувствовала себя почти порочной, оттого что ей приходили в голову подобные мысли. Она постояла еще немного у окна. Ей казалось, будто позади у нее тяжелый день. Она задумалась, что же, собственно, случилось сегодня, и с удивлением созналась себе, что это в конце концов был такой же день, как сотни других минувших дней, как многие, многие дни.

Гости вставали из-за стола. Окончился один из тех скромных воскресных обедов, которые виноторговец Гарлан время от времени устраивал для своих знакомых. Хозяин дома подошел к невестке и взял ее за талию, как он обычно делал после обеда.

Она уже знала, чего он хочет. Когда у него собирались гости, Берта должна была после обеда играть на рояле, иногда в четыре руки с Рихардом. Это было при-

ятной паузой перед игрой в карты или желанным сопровождением к ней. Она села за рояль. Открыли дверь в комнату, где собрались мужчины; Гарлан, доктор Фридрих и господин Мартин сели за небольшой зеленый стол и начали играть. Жены их остались в столовой. Фрау Мартин закурила папиросу и села на диван, заложив ногу на ногу. По воскресеньям она всегда надевала бальные туфли и черные шелковые чулки. Жена доктора Фридриха как зачарованная смотрела на ноги фрау Мартин. Рихард последовал за мужчинами, он уже интересовался игрой в тарок. Элли облокотилась на крышку рояля и ждала, когда Берта начнет играть. Хозяйка дома входила и выходила, ей надо было время от времени отдавать распоряжения на кухне, и она позвякивала ключами, которые держала в руке. Когда она вошла в комнату, фрау Фридрих сделала ей знак глазами, который должен был означать: «Вы только посмотрите, как сидит фрау Мартин!»

Все это Берта видела сегодня, пожалуй, более отчетливо, чем прежде, как видят вещи, находясь в лихорадочном состоянии. Она все еще не прикоснулась к клавишам. Тогда деверь обернулся к ней и строго посмотрел на нее, будто хотел напомнить об ее обязанностях. Она очень громко заиграла бравурный марш Шуберта. Деверь снова обернулся и сказал: «Потише».

— Все тот же коронный номер этого дома, — заметил доктор Фридрих. — Тарок в сопровождении музыки.

— Так сказать, песни без слов, — прибавил господин Мартин. Остальные засмеялись. Гарлан снова повернулся к Берте, потому что она вдруг перестала играть.

— У меня немного болит голова, — сказала она, как будто обязана была извиниться, но почувствовала, что этим несколько роняет себя, и прибавила: — У меня нет настроения.

Все посмотрели на нее, каждый почувствовал, что случилось нечто не совсем обычное. Фрау Гарлан спросила:

— Не хочешь ли подсесть к нам, Берта? — Элли смутно ощутила, что должна нежнее отнестись к тете, и повисла у нее на руке. Так стояли они рядом, опираясь на рояль.

— Вы тоже пойдете сегодня вечером в «Красное яблоко»? — спросила фрау Мартин хозяйку дома.

— Нет, я думаю, нет.

— А-а! — воскликнул господин Гарлан. — Раз мы сегодня лишены нашего обычного концерта, то вечером мы... вам ходить, доктор.

— Будет военный оркестр? — спросила фрау Фридрих.

Хозяйка встала и спросила мужа:

— Ты серьезно говоришь, что мы вечером пойдем в «Красное яблоко»?

— Конечно.

— Так, так, — несколько смущенно ответила жена и тотчас опять ушла на кухню, чтобы снова распорядиться там.

— Рихард, — сказал Гарлан сыну, — ты мог бы быстро сбежать туда и попросить хозяина оставить нам стол в саду.

Рихард тут же выбежал и в дверях столкнулся с матерью; она вошла и, словно обессилев, опустилась на диван.

— Вы не поверите, — сказала она фрау Фридрих, — как трудно объяснить Бригитте самые простые вещи.

Фрау Мартин подсела к мужу, не преминув бросить взгляд на Берту, которая вместе с Элли все еще молча стояла у рояля. Она погладила мужа по голове, положила руку ему на колено, — можно было подумать, что ей необходимо показать всем, как она счастлива. Элли вдруг заговорила с теткой:

— Я хочу тебе кое-что сказать, тетя, пройдемся немного по саду, на свежем воздухе головная боль пройдет.

Они спустились по ступенькам во двор; посреди его зеленела небольшая лужайка. Сзади двор замыкала стена, возле нее росли кустарник и два молодых деревца, их пришлось подпереть кольями. За стеной виднелось только голубое небо; в ненастные дни сюда доносился шум протекавшей вблизи реки. Спинками к стене стояли два садовых соломенных стула, перед ними — маленький столик. Берта и Элли сели на стулья, Элли все еще держала тетку под руку.

— Может быть, ты расскажешь мне, тетя...

— Что, Элли?

— Видишь ли, я теперь уже взрослая, расскажи мне о нем...

Берта чуть вздрогнула, ей показалось, будто этот вопрос относится не к ее покойному мужу, а к кому-то другому. И внезапно ей представился тот портрет Эмиля Линдбаха, который она видела в иллюстрированном журнале, но это видение тотчас исчезло, легкий испуг прошел; Берта была тронута робким вопросом юной девушки, верившей, что она все еще скорбит о покойном муже и что ей будет легче, если она сможет поговорить о нем.

В эту минуту из окна, выходящего на двор, послышался голос Рихарда:

— Можно мне сойти к вам или у вас какие-нибудь секреты?

Лишь теперь Берта заметила его сходство с Эмилем Линдбахом, но подумала, что, вероятно, того человека напоминают ей только юношеский облик Рихарда и его слишком длинные волосы. Рихард был теперь почти такого же возраста, как Эмиль тогда.

— Стол заказан, — сказал он, входя во двор. — Ты пойдешь с нами, тетя Берта? — Он уселся на спинку ее стула, погладил ее по щекам и сказал бодрым и все-таки немного капризным тоном: — Пойдем с нами, красавица тетя, ради меня.

Берта невольно закрыла глаза. Ей было приятно, как будто детские ручки, пальчики ее собственного сынишки гладят ее по лицу. Но вскоре ожило другое воспоминание. Она вспомнила об одной вечерней прогулке с Эмилем в Городском парке, когда они возвращались из консерватории. Он тогда сел с нею на скамью и нежно погладил ее по щеке. Было ли это только один раз? Нет, конечно, гораздо чаще, десять, двадцать раз сидели они на той же скамье, и он гладил ее по щеке. Как странно, что она теперь снова думает об этом!

Конечно, ей не пришло бы это на ум, если бы Рихард случайно не... Но долго ли она будет еще позволять ему?..

— Рихард! — воскликнула она и открыла глаза.

Она увидела его улыбку, и ей показалось, будто он догадался, о чем она вспоминает. Это было, конечно, совершенно невероятно, здесь вряд ли кто-нибудь знал, что она была знакома со знаменитым скрипачом Эмилем Линдбахом. Впрочем, знает ли она его и теперь? Тот, о ком она сейчас думала, был совсем другой, то был

красивый юноша, которого она любила, когда была совсем юной девушкой. Так она мысленно погружалась все глубже в прошлое, и ей казалось совершенно невозможным вернуться к настоящему и болтать здесь с этими детьми. Она распрошталась с ними и ушла.

Над городом навис тяжелый послеполюденный зной. Лавки были закрыты, улицы почти пустынные. На рыночной площади перед кафе за столиками сидели несколько офицеров. Берта взглянула на окна второго этажа, где жили супруги Рупиус. Она уже давно не была у них, она знала совершенно точно, с каких пор — со второго дня рождества. В тот день она застала дома одного господина Рупиуса, и тогда же он сказал ей, что болезнь его неизлечима. Теперь она знала также, почему с тех пор не навещала его: она сама не признавалась себе в этом, но ей было страшно переступить порог того дома, откуда она тогда ушла, так сильно потрясенная. Сегодня же ей захотелось пойти туда; ей показалось, будто в течение последних дней какая-то связь возникла между нею и больным, и будто его взгляд, который он спокойно устремил на нее во время вчерашней прогулки, имел особое значение.

Когда она вошла в комнату, глаза ее сначала должны были привыкнуть к полутьме; шторы были спущены, и только через щель наверху падал солнечный луч прямо на белую печь. Посреди комнаты за столом сидел в кресле господин Рупиус; перед ним лежала стопка рисунков, один из них он как раз отложил, чтобы просмотреть следующий. Берта увидела, что это гравюры.

— Благодарю вас, — сказал он, — что вы снова навестили меня. — Он протянул ей руку. — Видите, чем я сейчас занят? Это собрание гравюр с картин старинных голландских мастеров. Поверьте мне, сударыня, это большое наслаждение — рассматривать старинные гравюры.

— О, конечно.

— Видите, здесь шесть томов, или, точнее, шесть папок, в каждой по двадцати листов; мне понадобится все лето, чтобы изучить их по-настоящему.

Берта стояла около него и смотрела на гравюру, лежавшую перед ним, которая изображала «Ярмарку» Тенниса.

— Все лето, — рассеянно промолвила она.

Рупиус повернулся к ней.

— Да, — сказал он сквозь зубы, как будто ему важно было защитить свою точку зрения, — именно изучить картину. Под этим я подразумеваю способность, так сказать, воспроизвести картину в памяти, штрих за штрихом. Вот это Тенирс, оригинал висит в Гааге. Почему бы вам, сударыня, не съездить в Гаагу, где можно полюбоваться такими прекрасными картинами Тенирса и многими другими?

Берта улыбнулась.

— Как я могу думать о таких поездках?

— Да, конечно, — сказал господин Рупиус. — Гаага очень красивый город, я был там четырнадцать лет тому назад; мне было тогда двадцать восемь, теперь мне сорок два или, пожалуй, все восемьдесят четыре. — Он отложил в сторону еще одну гравюру. — Это Остаде, «Курильщик с трубкой». Да, ясно видно, что он курит трубку. Оригинал в Вене.

— Кажется, я помню эту картину.

— Может быть, вы сядете напротив меня, сударыня, или здесь, рядом со мной, если вам угодно тоже смотреть эти картины? Вот Фалькенборг; чудесно, не правда ли? Только на самом переднем плане все это кажется таким ничтожным и мелким; да, крестьянин танцует с крестьянкой, а тут старуха, она злится на танцующих, а вот дом, из дверей выходит кто-то с ведром воды. Да, конечно, сюжет ничтожный, но там, позади, видите, там целый мир, голубые горы, города в зелени, небо в облаках, а рядом — турнир. Ха! Ха! Он как будто не имеет отношения к сюжету, а на самом деле все же имеет отношение. Ибо задние планы есть везде, и потому очень правильно, что тут сразу за крестьянским домом начинается мир с его турнирами, его горами и реками, крепостями, виноградниками и лесами.

Он указывал маленьким ножом из слоновой кости на отдельные детали картины, о которых говорил.

— Нравится вам? Оригинал висит в Венской галерее. Вы должны его знать.

— Вот уже шесть лет, как я не живу в Вене, а еще задолго до того я перестала посещать музей.

— Вот как? Я часто туда ходил и стоял перед этой картиной. Да, ходил, прежде, когда-то. — Он взглянул

на нее, слегка усмехаясь, и она от смущения не могла ничего ответить.

Он непринужденно заговорил опять:

— Мне кажется, я надоедаю вам этими картинками. Подождите, жена скоро вернется домой. Вы знаете, она теперь после обеда всегда часа два гуляет, боится пополнеть.

— Ваша жена выглядит такой стройной и молодой, я нахожу, что она нисколько не изменилась за то время, что я здесь. — Берте показалось, что лицо Рупиуса совершенно окаменело. Затем он вдруг сказал безобидным тоном, совсем не подходившим к выражению его лица:

— Спокойная жизнь в таком маленьком городке, да, она сохраняет молодость. Это было умно с моей стороны и с ее стороны, это была наша общая идея переселиться сюда. Кто знает, в Вене все было бы уже кончено.

Берта не могла угадать, что он подразумевает под этим словом «кончено» — относится ли оно к его жизни, к молодости его жены или к чему-нибудь еще. Во всяком случае, она пожалела, что пришла сегодня; она стыдилась своего здоровья.

— Говорил ли я вам, — продолжал Рупиус, — что получил эти папки от Анны? Случайная покупка, ведь такие издания обычно стоят очень дорого. Один книготорговец дал объявление о продаже, и Анна тотчас телеграфировала своему брату, чтобы он купил эти гравюры для нас. Вы знаете, у нас много родственников в Вене, у меня и у Анны. Она иногда ездит туда, чтобы навестить их. Скоро они приедут к нам с ответным визитом. Я буду рад видеть их у себя, особенно брата Анны и невестку, я им многим обязан. Когда Анна бывает в Вене, она у них столуется, ночует — словом, вы понимаете, сударыня.

Он говорил быстро, холодным, деловым тоном; будто решил рассказывать об этом каждому, кто войдет сегодня в комнату. Впрочем, с Бертой он впервые говорил о поездках своей жены.

— Завтра она собирается ехать опять, — сказал он. — Кажется, на сей раз дело идет о летних нарядах.

— Я нахожу, что ваша жена поступает очень умно, — заметила Берта, радуясь, что нашла новую тему для разговора.

— И к тому же это обходится дешевле, — прибавил Рупиус, — уверяю вас, даже если считать стоимость поездки. А почему вы не делаете того же?

— Что вы имеете в виду, господин Рупиус?

— Я говорю о ваших платьях и шляпках! Вы тоже молоды и красивы.

— Боже мой, для кого мне красиво одеваться?

— Для кого? А для кого же моя жена так красиво одевается?

Дверь открылась, и вошла фрау Рупиус, в светлом весеннем платье, с красным зонтиком в руке и в белой соломенной шляпе с красной лентой на темных, высоко зачесанных волосах. На губах ее, как всегда, играла приветливая улыбка, она весело и спокойно приветствовала Берту:

— Вот вы и снова у нас. — Следом за нею вошла горничная, Анна передала ей зонтик и шляпу. — Вы тоже интересуетесь картинами, фрау Гарлан? — Она сзади подошла поближе к мужу и нежно погладила его по голове.

— Я как раз говорил фрау Гарлан, что меня удивляет, почему она никогда не бывает в Вене, — сказал Рупиус.

— Правда, — подхватила фрау Рупиус, — почему вы не ездите туда? У вас, конечно, еще остались там знакомые. Поедьте хоть раз со мной, — например, завтра. Да, завтра.

В то время как жена его говорила, Рупиус смотрел прямо перед собой, словно не решался взглянуть на нее.

— Фрау Рупиус, вы, право, очень любезны, — ответила Берта, и жаркая радость разлилась по всему ее телу. Она сама удивлялась, что за все это время ни разу не подумала о возможности такой поездки, хотя ее так легко осуществить, — в эту минуту поездка в Вену представлялась ей целебным средством против странно дурного настроения, овладевшего ею в последние дни.

— Так вы согласны, фрау Гарлан?

— Я, право, не знаю. Время у меня найдется, на завтра назначен только урок у невестки, но она не станет требовать такой пунктуальности, а вам я не помешаю?

Легкая тень омрачила лицо фрау Рупиус.

— Помешаете? Что это вам пришло в голову? Я буду очень рада несколько часов пути, туда и обратно, про-

вести в таком приятном обществе. А в Вене, — о, наверное, и в Вене у нас найдутся общие дела.

— Ваш супруг, — сказала Берта и покраснела, как девушка, заговорившая о первом бале, — рассказывал мне... советовал мне...

— Он, конечно, расхваливал вам мою портниху, — сказала, смеясь, фрау Рупиус.

Рупиус сидел все так же неподвижно и не смотрел на них.

— Да, я, право, хочу попросить вас об этом, фрау Рупиус. Когда я вижу вас, мне снова хочется красиво одеваться.

— Это легко сделать, — сказала фрау Рупиус. — Я поведу вас к моей портнихе и тогда смогу надеяться, что и в следующий раз поеду не одна, мне это приятно. Я рада и за тебя, — сказала она мужу, дотрагиваясь до его руки, лежавшей на столе, — и за вас, — обратилась она к Берте. — Вы увидите, как это хорошо подействует на вас. Чудесно расхаживать по улицам, когда тебя никто не знает. Я иногда не могу без этого обойтись. Обрато я приезжаю, посвежевшая и... — при этом она искоса взглянула на мужа, испуганно и нежно, — и тогда я так счастлива здесь, как только возможно, счастливее всех женщин в мире.

Она подошла к мужу и поцеловала его в висок. Берта слыхала, как она при этом прошептала: «Любимый!» А он все смотрел перед собой, как будто ему было страшно встретиться взглядом с женой. Оба замолчали и, казалось, ушли в себя, как будто Берты и не было здесь. Берта смутно чувствовала, что в отношениях этих двух людей есть какая-то тайна и что сама она не столь умна, или не столь опытна, или не столь добра, чтобы вполне разгадать эту тайну. С минуту стояла тишина, и Берта была так смущена, что охотно ушла бы; но необходимо было подробнее договориться о завтрашней поездке. Анна заговорила первая.

— Так, значит, мы условились; встретимся на вокзале перед отходом утреннего поезда, да? И я хочу так устроить, чтобы мы вернулись домой в семь часов с вечерним поездом; за восемь часов многое можно успеть.

— Конечно, — сказала Берта, — если только вы ни в чем не будете стеснять себя ради меня.

Анна чуть ли не сердито прервала ее:

— Я уже сказала вам, как я рада, что вы едете со мной, тем более что ни к одной женщине здесь я не питаю такой симпатии, как к вам.

— Да, — сказал господин Рупиус, — я могу это подтвердить. Знаете, жена почти ни с кем здесь не водит знакомства, и вы так долго не были у нас, что я уже опасался, как бы мы не лишились и вас.

— Как вы только могли подумать, господин Рупиус! А вы, фрау Рупиус, вы ведь не думали... — Берта в эту минуту испытывала безграничную любовь к обоим. Она была так тронута, что почувствовала, что голос ее дрожит от слез.

Фрау Рупиус загадочно и снисходительно улыбнулась:

— Я ничего не думала, я вообще перестала размышлять о некоторых вещах. Потребность в обществе у меня не велика, но вас, Берта, я действительно люблю. — Она протянула ей руку.

Берта взглянула на Рупиуса, ей казалось, что лицо его должно было теперь выражать удовлетворение, но, к ее удивлению, он с каким-то ужасом смотрел в угол комнаты.

Горничная принесла кофе. Обсудили, как распределить завтрашний день, и в конце концов выработали довольно подробный план; Берта занесла его в свою маленькую записную книжку, что вызвало улыбку у фрау Рупиус.

Когда Берта вышла на улицу, небо заволочло тучами и усилившаяся духота предвещала близкую грозу. Она едва успела дойти до дому, как упали первые капли дождя, и она забеспокоилась, когда, очутившись уже в квартире, не застала там служанки с ребенком; однако, подойдя к окну, чтобы закрыть его, она увидела, что они бегут домой.

Послышались первые раскаты грома, Берта вздрогнула; затем тотчас блеснула молния. Гроза была недолгая, но необычайно сильная. Берта сидела в спальне на кровати, держала малыша на коленях и рассказывала ему сказку, чтобы он не боялся; и ей казалось, будто между тем, что произошло с ней в эти дни, и грозой существует какая-то связь. Через полчаса все было позади. Берта открыла окно, воздух был свежий, вечер-

нее небо — чистое и далекое. Берта вздохнула, преисполненная чувством покоя и надежды.

Пора было собираться на концерт. Придя в сад, она уже застала все общество за большим столом, под деревом. Берта намеревалась сразу же сказать невестке, что она завтра решила ехать в Вену, но какой-то страх удерживал ее, будто эта поездка была чем-то запретным. Клингеман прошел мимо их стола со своей экономкой. Экономка была уже немолодая, очень полная женщина, выше Клингемана; казалось, она спала на ходу. Клингеман подчеркнуто вежливо поклонился, мужчины ему едва ответили, женщины сделали вид, что не заметили поклона. Только Берта слегка кивнула головой и посмотрела вслед этой паре. Рихард, сидевший рядом со своей теткой, шепнул ей:

— Это его любовница, да, я знаю совершенно точно.

Все ели, пили и болтали; иногда подходили знакомые, сидевшие за другими столами, подсаживались на некоторое время и возвращались на свои места. Вокруг Берты звучала музыка, но не производила на нее никакого впечатления; она была занята мыслью, как сообщить о своем намерении. Вдруг, когда музыка заиграла очень громко, она сказала Рихарду:

— Слушай, у тебя завтра не будет урока, я еду в Вену.

— В Вену? — повторил Рихард и крикнул, обращаясь к матери: — Послушай, тетя завтра едет в Вену.

— Кто едет в Вену? — спросил Гарлан, сидевший на самом дальнем месте.

— Я, — сказала Берта.

— Ай, ай, — сказал Гарлан и шутя погрозил пальцем.

Таким образом, с этим было покончено. Берта была рада. Рихард подшучивал над людьми, сидевшими в саду, над толстым капельмейстером, который, дирижируя, все время подпрыгивал, затем над трубачом, который надувал щеки и, казалось, плакал, когда трубил. Берта очень много смеялась, гости шутили над ее хорошим настроением, и доктор Фридрих заметил, что она, наверное, едет в Вену на свиданье.

— Ну, этого я не позволю! — воскликнул Рихард так сердито, что все рассмеялись. Только Элли была по-прежнему серьезна и изумленно глядела на тетю.

Берта смотрела в открытое окно купе на пейзаж, фрау Рупиус читала книгу, которую вскоре после отхода поезда вынула из маленькой дорожной сумки; казалось, она хотела избежать долгого разговора с Бертой, и та была немного обижена. Она уже давно стремилась ближе сойтись с фрау Рупиус, а со вчерашнего дня это превратилось в страстное желание, напомнившее Берте ее детские мечты о дружбе. И сначала она чувствовала себя совершенно несчастной и покинутой, но вскоре смена видов за окном стала развлекать ее. Она смотрела на рельсы, которые, казалось, бежали ей навстречу, на изгороди и телеграфные столбы, что проносились мимо нее и исчезали, и вспоминала две краткие поездки в Зальцкаммергут, которые совершила в детстве, вместе с родителями, и невыразимое удовольствие, испытанное ею, когда она могла сидеть у окна вагона. Она смотрела вдаль, радовалась блеску реки, приятным очертаниям холмов и долин, голубому небу и белым облакам. Через некоторое время Анна отложила книгу и стала беседовать с Бертой, улыбаясь ей, как ребенку.

— Кто мог бы предсказать нам это? — сказала фрау Рупиус.

— Что мы вместе поедem в Вену?

— Нет, нет, что мы обе — как бы это сказать? — проведем или окончим нашу жизнь там, — она легким движением головы показала на городок, откуда они выехали.

— Конечно, конечно, — ответила Берта. Она впервые подумала о том, что это действительно странно.

— Вы-то знали это с того момента, как вышли замуж, а я... — Фрау Рупиус смотрела прямо перед собой.

Берта спросила:

— Так вы переехали в маленький город только тогда, когда... когда... — Она запнулась.

— Да, вы же знаете. — При этом она посмотрела Берте прямо в глаза, как бы запрещая обращаться к ней с этим вопросом. Но затем она продолжала с ласковой улыбкой, будто то, о чем она думала, совсем не так при- скорбно: — Да, я и не предполагала, что покину Вену; мой муж служил чиновником в министерстве, он, конечно, мог бы еще долго оставаться на службе, несмотря на свою болезнь, но он хотел уехать.

— Он думал, вероятно, что свежий воздух, тишина... — начала Берта, но сразу почувствовала, что это не очень умно.

Однако Анна ответила весьма дружелюбно:

— Нет, не то, ни покой, ни климат тут помочь не могут; но он думал, что так будет лучше для нас обоих, во всех отношениях. И он был прав — что стали бы мы делать в большом городе?

Берта понимала, что Анна не все говорит ей, она готова была просить Анну открыть ей всю душу, но знала, что не сумеет найти слова для такой просьбы. И фрау Рупиус, словно догадавшись, что Берте очень хотелось бы узнать больше, быстро перевела разговор на другую тему, стала расспрашивать ее о девере, о музыкальных способностях ее учеников, о ее методе преподавания; затем она снова взялась за свой роман и предоставила Берту самой себе. Один раз она оторвала взгляд от книги и спросила:

— Вы ничего не взяли с собой для чтения?

— Ах да, — ответила Берта. Она сразу вспомнила, что у нее с собой газета; она вынула ее и стала внимательно просматривать.

Поезд подходил к Вене. Фрау Рупиус закрыла книгу и положила ее в дорожную сумку. Она с какой-то нежностью смотрела на Берту, как на ребенка, которого сейчас придется бросить на произвол судьбы.

— Еще четверть часа, — заявила она, — и мы — я чуть не сказала — дома.

Город раскинулся перед ними. За рекой торчали в небе дымовые трубы, длинными рядами тянулись, вплотную друг к другу, выкрашенные в желтый цвет дома, высились башни. Все было залито мягким светом майского солнца.

У Берты сильнее забилося сердце. У нее было такое чувство, словно она после долголетнего отсутствия возвращается на вожделенную родину, где, вероятно, очень многое изменилось, где ждут ее всевозможные тайны и неожиданности. В ту минуту, когда поезд подошел к перрону, она казалась себе очень храброй.

Обе женщины наняли экипаж и поехали в город. Когда они проезжали по Рингу, Берта высунулась из окна; она заметила молодого человека, наружность и походка которого напомнили ей Эмиля Линдбаха. Ей

хотелось, чтобы молодой человек обернулся, но она потеряла его из виду, так и не разглядев его лица.

Экипаж остановился перед домом на Кольмаркте; обе женщины вышли и поднялись на четвертый этаж, где находилось ателье портнихи. Пока фрау Рупиус была занята примеркой, Берта попросила показать ей материи, выбрала одну из них, мастерица сняла с нее мерку, и было решено, что через неделю Берта приедет примерить платье. Фрау Рупиус вышла из соседней комнаты и попросила отнестись с особым вниманием к ее подруге. Берте казалось, что все смотрят на нее немного насмешливо, почти соболезнующе, и, увидев себя в большом стенном зеркале, она вдруг заметила, что одета очень безвкусно. Как ей пришло в голову именно сегодня облачиться в этот провинциальный праздничный наряд, вместо того чтобы надеть одно из ее обычных, простых гладких платьев? Она покраснела от стыда. На ней было платье из фуляра в черную и белую полосу, фасон его устарел на три года; слишком большая, загнутая спереди светлая шляпка, украшенная розами, была громоздка для ее изящной фигуры и делала ее почти смешной. И будто это требовало еще подтверждения, фрау Рупиус, как бы утешая ее, сказала, когда они спустились:

— Вы все-таки сегодня очень красивы.

Они стояли в дверях.

— Что же теперь? — спросила фрау Рупиус. — Что вы намерены делать?

— Вы хотите меня.. я хочу сказать... — Берта была очень испугана, она чувствовала себя выбитой из колеи.

Фрау Рупиус смотрела на нее с дружеским сочувствием.

— Я думаю, — сказала она, — что вы теперь навестите вашу кузину, не правда ли? Предполагаю, что вас там накормят?

— Конечно, Агата пригласит меня пообедать.

— Я провожу вас туда, если хотите, затем отправлюсь к моему брату и, если смогу, заеду за вами после обеда, в три часа.

Они пошли вместе по оживленным улицам Внутреннего города, рассматривая витрины. Шум сначала почти оглушил Берту, но понемногу стал ей приятен. Она смотрела на прохожих, и вид элегантных мужчин и кра-

сиво одетых женщин доставлял ей большое удовольствие. Казалось, на всех новые костюмы и платья, и все здесь выглядели более счастливыми, чем там, у нее дома. Она остановилась перед витриной торговца художественными изделиями, и сразу ей бросился в глаза знакомый портрет Эмиля Линдбаха из иллюстрированного журнала. Берта так обрадовалась, будто встретила знакомого.

— Я его знаю! — сказала она фрау Рупиус.

— Кого?

— Вот этого, — она указала пальцем на фотографию. — Представьте себе, я с ним вместе училась в консерватории.

— Вот как? — спросила фрау Рупиус.

Берта посмотрела на нее и заметила, что та не обращает никакого внимания на портрет, а думает о чем-то другом. Берта была рада этому, так как ей показалось, что голос ее прозвучал слишком пылко. В то же время она слегка гордилась тем, что человек, портрет которого выставлен в витрине, еще юношей был влюблен в нее и целовал ее. С чувством внутреннего удовлетворения пошла она дальше. Вскоре они дошли до Римерштрассе, до дома, где жила ее кузина.

— Так решено, — сказала она, — вы заедете за мной в три часа, правда?

— Да, — ответила фрау Рупиус, — то есть, если я немного опоздаю, не задерживайтесь из-за меня у вашей кухни дольше, чем вам захочется; во всяком случае, условимся: в семь часов вечера на вокзале. До свиданья. — Она подала Берте руку и быстро ушла. Берта удивленно смотрела ей вслед. Она снова почувствовала себя такой же покинутой, как в вагоне, когда фрау Рупиус читала роман.

Затем она поднялась на два марша лестницы. Берта не сообщила кузине о своем приезде и немного опасалась, что придет некстати. Много лет не виделась она с Агатой, переписка между ними велась очень нерегулярно.

Агата приняла ее так, будто они только вчера расстались, без удивления, но и без особого радушия. На губах у Берты уже готова была заиграть улыбка, как это бывает, когда мы собираемся сделать кому-нибудь сюрприз, но она тотчас подавила ее.

— Ты очень редкая гостья, — сказала Агата, — и ничего не даешь о себе знать.

— Но, Агата, вот уже три месяца, как я жду от тебя ответа на мое письмо.

— Правда? — спросила Агата. — Ну, ты должна меня извинить. Можешь себе представить, сколько хлопот с тремя детьми. Я тебе писала, что Георг уже ходит в школу?

Агата повела свою кухню в детскую, где бонна только что посадила обедать Георга и двух маленьких девочек. Берта задала им несколько вопросов, но дети оказались очень застенчивыми, а младшая девочка даже расплакалась. Под конец Агата сказала Георгу:

— Попроси же тетю Берту, чтобы в следующий раз она привезла с собой Фрица.

Берте бросилось в глаза, как постарела ее кухня за последние годы. В самом деле, когда она наклонялась к детям, она выглядела почти старухой, а Берта знала, что сама она только на год моложе Агаты.

Когда они вернулись в столовую, все, что они могли рассказать друг другу, было уже исчерпано, и, когда Агата приглашала Берту к столу, она, видимо, говорила это просто так, чтобы хоть что-нибудь сказать. Однако Берта приняла приглашение, и кухня пошла на кухню распорядиться по хозяйству.

Берта оглядела комнату, обставленную скупой и безвкусно. Было довольно темно, так как окна выходили в узкий переулок. Берта взяла альбом, лежавший на столе; там она нашла много знакомых лиц: сначала давно умерших родителей Агаты, затем портреты ее собственных родителей и ее братьев, которые ничего не давали о себе знать, портреты общих знакомых времен их юности — о них она теперь почти ничего не знала — и, наконец, снимок, о котором она совсем забыла; на нем были изображены две совсем юные девушки: она и Агата. Тогда они были очень похожи друг на друга и очень дружны. Берта вспомнила задушевные девичьи беседы, которые они вели в те времена. И эта писаная красавица, с венком кос вокруг головы, превратилась теперь почти в старуху. А она сама? Почему она все еще считает себя молодой? Может быть, она кажется другим такой же, какою Агата представляется ей? Она решила проследить после обеда, какими

глазами смотрят на нее прохожие. Это ужасно, если она выглядит такой же старухой, как Агата; нет, смешно поверить этому; она вспомнила своего племянника, он всегда называл ее «красавица тетя», вспомнила, как вчера вечером Клингеман прохаживался у нее под окнами, даже воспоминание о любезностях деверя успокоило ее. И когда она посмотрелась в зеркало, висевшее напротив, на нее глянули оттуда светлые глаза на свежем, без морщин, лице. Это были ее лицо и ее глаза.

Когда Агата вернулась, Берта завела разговор о далеких годах юности, но казалось, будто Агата совершенно забыла об их прежней дружбе, будто замужество, материнство, повседневные заботы не только отняли у нее молодость, но даже стерли самое воспоминание о ней. Берта стала вспоминать об одном студенческом кружке, где они вместе бывали, о молодых людях, которые ухаживали за Агатой, о букете, присланном однажды Агате неизвестным лицом, но та сначала рассеянно улыбалась, затем взглянула на Берту и сказала:

— Ты еще помнишь все эти глупости.

Муж Агаты вернулся домой из канцелярии. Он совсем поседел. В первую минуту он, казалось, не узнал Берту, затем спутал ее с другой дамой и извинился, что у него плохая память на лица. За обедом он разыгрывал из себя бывалого человека, с видом превосходства расспрашивал об условиях жизни в маленьком городке и шутивным тоном спросил, не собирается ли Берта опять выйти замуж. Его тон подхватила и Агата, в то же время она взглядами останавливала мужа, когда тот старался придать разговору чересчур легкомысленный характер. Берта чувствовала себя неловко. Позднее муж Агаты намекнул, что его жене снова предстоит испытать радость материнства. Но хотя Берта обычно чувствовала симпатию к женщинам в таком положении, тут она была неприятно поражена. В тоне, которым муж Агаты говорил об этом, не было и следа любви, а, скорее, какая-то нелепая гордость. Он выполнил свой долг и говорил так, будто это особая любезность с его стороны, что он все еще спит с Агатой, несмотря на его занятость и на то, что Агата так подурнела. У Берты было ощущение, будто ее вешивают

здесь в грязную историю, до которой ей нет никакого дела. Она была рада, когда супруг тотчас после обеда ушел; это была его привычка, «его единственный порок», как он шутя заметил, — после обеда играть на бильярде в кафе.

Берта осталась одна с Агатой.

— Да, — сказала Агата, — теперь мне это опять предстоит.

И она начала деловито, холодным тоном рассказывать о своих прежних родах, с такой откровенностью и бесстыдством, которые поразили Берту тем более, что они стали чужды друг другу. Но пока Агата говорила, Берте вдруг подумалось, как это должно быть прекрасно — иметь ребенка от любимого человека. Она уже не слышала мерзких рассказов своей кузины, она думала лишь о том безграничном желании стать матерью, которое ее охватывало иногда в юные годы, и вспомнила, как однажды это желание овладело ею с неодолимой силой — сильнее, чем когда-либо до и после этого. Это произошло в один прекрасный вечер. Эмиль Линдбах провожал ее из консерватории домой, держа ее руку в своей. Она почувствовала вдруг, как у нее закружилась голова, и только тогда поняла, что означает фраза, вычитанная ею в романах: «Он мог сделать с нею все, что хотел».

Теперь она заметила, что в комнате стало совсем тихо, а Агата уткнулась в угол дивана и, кажется, спала. Стенные часы показывали три. Как досадно, что фрау Рупиус все еще нет! Берта подошла к окну и посмотрела на улицу. Затем она повернулась к Агате, та открыла глаза. Берта попыталась снова завязать разговор и рассказала о платье, которое она заказала днем, но Агата была такая сонная, что даже ничего не ответила. Берта не хотела быть навязчивой и распрощалась. Она решила подождать фрау Рупиус на улице. Агата, казалось, очень обрадовалась и, когда Берта одевалась перед зеркалом, стала приветливее, чем раньше, а у дверей, как бы вдруг очнувшись, сказала:

— Как быстро летит время! Надеюсь, ты скоро опять покажешься.

Стоя перед дверью дома, Берта поняла, что напрасно ждет фрау Рупиус. Конечно, та с самого начала намередвалась провести день без Берты, и, скорее всего,

у нее не было на уме ничего дурного. Наверняка не было. Берту огорчало только, что Анна так мало доверяет ей. Берта продолжала бродить по улицам, не придерживаясь никакого плана; у нее оставалось более трех часов до назначенной встречи на вокзале. Сначала она снова отправилась во Внутренний город. Было, право, приятно ходить по городу, чувствуя, что ты здесь чужая и никто за тобой не следит. Давно не испытывала она такого удовольствия. Некоторые мужчины с интересом оглядывали ее, иногда кто-нибудь останавливался и смотрел ей вслед. Она жалела, что так не к лицу одета, и радовалась красивому платью, которое ей предстояло получить из ателье венской портнихи. Ей захотелось, чтобы кто-нибудь начал преследовать ее. Вдруг ее осенила мысль: а что, если она встретит Эмиля Линдбаха, узнает ли он ее? Что за вопрос! Но таких случайностей не бывает,— нет, она совершенно уверена, что может целый день бродить по Вене и не встретить его. Давно ли она не виделась с ним? Семь-восемь лет... Да, в последний раз она видела его за два года до замужества. Однажды теплым летним вечером она сидела с родителями в Пратере, в швейцарском домике, он прошел с приятелем мимо них и на несколько минут остановился у их стола. Теперь она вспомнила, что за их столом сидел и молодой врач, который сватался к ней. Она забыла, что говорил тогда Эмиль, но помнила, как он держал шляпу в руке все то время, что стоял перед ней, и это ей невероятно нравилось. Поступит ли он так же и теперь, если она его встретит? Где он сейчас живет? В то время у него была комната на Видене, близ Пауланеркирхе... Да, он показал ей свое окно, когда они однажды проходили мимо и он, воспользовавшись случаем, отважился предложить ей... точных слов она уже не помнит, но смысл, без сомнения, был таков, что она должна побывать у него в этой комнате. Она тогда очень строго оборвала его, да, она ответила, что если он такого мнения о ней, то все между ними кончено. И он правда ни разу больше не заговаривал об этом. Узнает ли она это окно? Найдет ли его? Ведь ей безразлично, где гулять, здесь или там. Она быстро пошла по направлению к Видену, как будто вдруг нашла цель. Ее поражало, как тут все изменилось. Когда она с Елизаветинского моста посмо-

трела вниз, то увидела, как из русла Вены вырастают стены, как по временным рельсам катятся вагонетки, увидела занятых делом рабочих. Вскоре она дошла до Пауланеркирхе той дорогой, по которой в прежнее время ходила так часто. Но здесь она остановилась и никак не могла припомнить, где жил Эмиль, куда ей идти, направо или налево. Странно, она совершенно забыла дорогу. Она медленно пошла обратно, к консерватории. Там она снова остановилась. Наверху были окна, откуда она часто смотрела на купол Карлсकिрхе и нетерпеливо ждала конца урока, чтобы встретиться с Эмилем. Как она его все-таки любила, и как странно, что все это могло так бесследно окончиться. А теперь она вдова, уже много лет, дома у нее ребенок, идут годы, он растет, — и если бы она умерла, Эмиль совсем не узнал бы об этом или узнал бы много лет спустя. Ей бросилась в глаза большая афиша на входной двери. Объявлен был концерт, в котором и он примет участие, его имя значилось среди имен других выдающихся артистов; некоторым из них она уже давно робко поклонялась. «Скрипичный концерт Брамса исполнит солист короля баварского, скрипач Эмиль Линдбах». Солист короля баварского, этого она совсем не знала. Ей представилось, что тот, чье имя сияло ей с афиши, вот сейчас выйдет из подъезда с футляром для скрипки в руке, с папиросой в зубах. Все это вдруг стало почти осязаемым, особенно когда до нее сверху донеслись протяжные звуки скрипки, которые она, бывало, так часто слышала здесь. Она приедет в Вену на этот концерт, да, приедет, хотя бы ей пришлось даже провести ночь в гостинице! И она сядет в одном из первых рядов и увидит его совсем близко. А увидит ли он ее и узнает ли? Она все еще стояла перед желтой афишей, погруженная в свои думы, как вдруг заметила, что двое молодых людей, вышедших из подъезда, с изумлением смотрят на нее; тогда только она поняла, что все время улыбалась, будто видела прекрасный сон. Она пошла дальше. Вокруг Городского парка тоже все изменилось, и когда она стала искать те места, где иногда гуляла с ним, то нашла там только разрушения: деревья были вырублены, заборы преграждали дорогу, земля была перерыта, и тщетно искала она скамью, где они с Эмилем расточали друг другу слова любви, тон

их она так хорошо помнила, но самое содержание выпало из памяти. Она дошла наконец до той части парка, которая сохранилась в прежнем виде и хорошо сохранилась; там было много гуляющих. Ей показалось, что некоторые встречные пристально разглядывают ее, а иные дамы смеются над нею, и она снова почувствовала себя провинциалкой, ее возмущала собственная застенчивость, она вспоминала то время, когда она, красивая, молодая девушка, спокойно и гордо проходила по этим аллеям. Она представлялась себе теперь такой опустившейся, такой жалкой. Мечта сидеть в первых рядах большого зала Музыкального общества вдруг показалась ей дерзкой, почти неосуществимой. Теперь она считала совершенно невероятным, чтобы Эмиль Линдбах узнал ее, как может он еще помнить о ее существовании. Сколько он повидал и переживал с тех пор! И когда она пошла дальше по менее оживленным аллеям и вышла снова на Рингштрассе, она уже рисовала себе возлюбленного времен своей молодости героем всевозможных приключений; тут смешались и отрывочные воспоминания о прочитанных романах, и смутные представления о его артистической жизни за границей. Она видела его в Венеции, в гондоле с русской княгиней, затем при дворе баварского короля, где герцогини слушали его игру и влюблялись в него, в будуаре оперной певицы, на маскараде в Испании, в окружении соблазнительных масок. И чем дальше уносился он в недоступные волшебные края, тем более жалкой казалась она себе, и она не могла теперь понять, почему так легко отказалась тогда от своих надежд, от артистической будущности, от возлюбленного, чтобы вести тусклую жизнь и затеряться в толпе. Ужас пронизал Берту, когда она отчетливо поняла, что она всего только вдова незначительного человека, живет в маленьком городе, поддерживает существование уроками музыки и смотрит, как медленно надвигается старость. Никогда ее жизненный путь не был освещен ни единым лучом того блеска, который озаряет всю его жизнь. С ужасом думала она и о том, как всегда легко мирилась со своей судьбой, как без надежд, без желаний провела всю свою жизнь в странном оцепенении, которое в этот момент показалось ей необъяснимым.

Она дошла до Аспернского моста, не разбирая дороги. Там она хотела перейти через улицу, но должна была выждать, пока не проедет вереница экипажей. Во многих из них сидели мужчины с полевыми биноклями на шее, она знала, что они возвращаются из Пратера, с бегов. Вот проехала элегантная коляска, в ней сидел господин с молодой дамой в белом весеннем наряде; сразу за ними — коляска с двумя кричаще одетыми женщинами. Берта долго смотрела им вслед; одна из них обернулась и поглядела на коляску, ехавшую за ними следом, — там, удобно откинувшись, сидел молодой, очень красивый мужчина в длинном сером пальто. Берта почувствовала сразу какую-то щемящую боль, тревогу, горечь; она хотела бы быть той дамой, за которой ехал следом молодой человек, хотела быть красивой, молодой, независимой, ах, господи, быть просто женщиной и делать то, что ей вздумается, оглядываться на мужчин, понравившихся ей. И в ту минуту она знала твердо, что фрау Рупиус проводит время с любимым человеком. Конечно, почему бы и нет? Да, пока она в Вене, она может свободно распоряжаться своим временем, и притом она очень красива, на ней воздушное лиловое платье, и на губах ее играет улыбка, которая, конечно, может быть только у счастливой женщины, а дома она несчастна. И Берте сразу представился господин Рупиус, как он сидит у себя и рассматривает гравюры. Но сегодня он, наверно, не занимается этим, сегодня он дрожит за жену, невероятный страх охватывает его при мысли, что там, в большом городе, у него отнимут ее, что она никогда не вернется и он останется совершенно один со своим горем. И Берта внезапно прониклась таким состраданием к нему, которого не испытывала никогда раньше. Да, ей лучше всего было бы остаться с ним и утешать его.

Она почувствовала, как кто-то дотронулся до ее руки. Она вздрогнула и обернулась. Около нее стоял молодой человек и нагло глядел на нее. Она рассеянно посмотрела ему прямо в глаза. Тогда он сказал: «Ну!» — и засмеялся. Берта испугалась и почти бегом пересекла улицу, наперерез экипажу. Ей стало стыдно за свое прежнее желание быть такой, как та дама в экипаже. Ей казалось, что бесстыдство того человека на улице было наказанием за это желание. Нет, нет,

она порядочная женщина, всякая грубость претит ей, нет, она не могла бы теперь жить в Вене, где подвергаешься таким оскорблениям! Тоска по мирному уюту ее скромного жилища овладевает ею, и она радуется предстоящей встрече со своим малышом, как чему-то необычайно прекрасному. Который теперь час? Боже мой, без четверти семь. Ей придется нанять экипаж, тут уж нечего считаться. Утром за экипаж заплатила фрау Рупиус, поэтому тот, который она наймет теперь, обойдется ей, так сказать, вдвое дешевле. Она садится в открытый фиакр, откидывается в угол почти так же изящно, как та дама в белом платье, которую она видела. На нее смотрят. Она знает, что красива и молода, к тому же чувствует себя в безопасности, теперь ей ничто не угрожает. Быстрая езда на резиновых шинах доставляет ей невыразимое удовольствие. Как чудесно будет, когда она в следующий раз снова поедет в экипаже по городу в новом платье, в маленькой соломенной шляпке, которая так молодит ее. Она рада, что фрау Рупиус стоит у входа в вокзал и видит, как она подъезжает, и все-таки она не выдает своей гордости, держит себя так, будто это совершенно естественно — подъезжать к вокзалу на извозчике.

— У нас еще десять минут времени, — говорит фрау Рупиус. — Вы очень сердитесь на меня, что я заставила вас ждать? Представьте себе, у моего брата собралась сегодня к чаю детвора, и ребята ни за что не хотели меня отпускать. Мне слишком поздно пришло в голову, что я, собственно, могла бы за вами послать; дети развлекли бы вас, и я уже сказала брату, что в следующий раз привезу вас вместе с вашим мальчиком.

Берте стало очень стыдно. Как несправедлива была она опять к этой женщине! Она могла только пожать ей руку и сказать:

— Благодарю вас, это очень мило с вашей стороны.

Они вышли на перрон и сели в свободное купе. Фрау Рупиус держала в руке пакетик с вишнями и ела их медленно, одну за другой, а косточки выбрасывала в окно. Когда поезд тронулся, она откинулась назад и закрыла глаза. Берта смотрела в окно, она чувствовала себя очень усталой от долгих блужданий по городу, легкое раздражение поднялось в ней, она могла бы иначе провести этот день, спокойнее, приятнее. Ей

вспомнились холодный прием и скучный обед у кузины. Право, очень печально, что у нее нет больше знакомых в Вене. Как чужая, бродила она по городу, где прожила двадцать шесть лет. Почему? И почему она сегодня утром не приказала остановить экипаж, когда увидела человека, наружность которого напомнила ей Эмиля Линдбаха? Конечно, она не могла ни догнать, ни окликать его, но, если это действительно был Эмиль, вдруг бы он узнал ее и обрадовался, что встретился с нею? И они гуляли бы вдвоем и вспоминали о долгих годах, которые прожили, ничего не зная друг о друге, и зашли бы вместе пообедать в хороший ресторан, где его, конечно, многие узнали бы, и она совершенно ясно слышала, как люди переговариваются о том, кто же, собственно, «она». И она очень хороша, новое платье уже готово, и кельнеры прислуживают ей с безукоризненной вежливостью, особенно один из них — совсем еще мальчик, он принес вино, — так ведь это же ее племянник, он, понятно, стал помощником кельнера, вместо того чтобы учиться. Вдруг в зал вошел доктор Мартин с женой, они так тесно прижались друг к другу, как будто они совершенно одни, тут Эмиль встает, берет смычок, лежащий около него, грозно поднимает его, и кельнер выставляет за дверь супружескую пару Мартин. Это очень смешит Берту, она слишком громко хохочет, она совершенно разучилась как подобает вести себя в хорошем ресторане. Но это совсем не изысканный ресторан, это просто трактир «Красное яблоко», и где-то играет невидимый военный оркестр. Это фокус господина Рупиуса, он умеет делать так, чтобы военные оркестры играли, оставаясь невидимыми. А вот теперь ее черед. Стоит рояль, но она, конечно, разучилась играть, она готова убежать, лишь бы ее не заставляли играть. И вот она уже на вокзале, фрау Рупиус ждет ее и говорит: «Самое время ехать», и протягивает ей большую книгу, это и есть проездной билет. Но фрау Рупиус не уезжает, она садится на скамью, ест вишни и выплевывает косточки в начальника станции, которому это очень нравится. Берта входит в купе, — слава богу, Клингеман уже здесь, — он подмигивает ей прищуренным глазом и спрашивает: «Не знаете ли вы, что это за траурный поезд?» И Берта видит, что на других рельсах стоит траурный

вагон. Теперь она вспоминает, что умер капитан, с которым табачница обманывала Клингемана, — конечно, поэтому сегодня и был концерт в «Красном яблоке». Вдруг Клингеман нагибается, дует ей в глаза, смеется так, что все дрожит. Берта открывает глаза: мимо окон проносится какой-то поезд. Она встряхнулась — какие путанные сны! А разве не прекрасное было начало? Она пытается вспомнить. Да, Эмиль играл тут какую-то роль... но она уже не помнит какую.

Медленно надвигаются сумерки. Поезд идет по берегу Дуная. Фрау Рупиус спит и улыбается, может быть, она только притворяется спящей; снова у Берты появляется легкое подозрение и поднимается зависть к тому неизвестному, таинственному, что переживает фрау Рупиус. Ей бы хотелось тоже пережить что-либо подобное, хотелось, чтобы кто-нибудь теперь сидел около нее, сжимая ее руку, — она могла бы вновь испытать такое ощущение, как тогда, когда стояла с Эмилем на берегу Вены и едва не лишилась чувств от внезапно охватившего ее желания иметь ребенка... Ах, почему она такая одинокая, такая жалкая, такая незаметная? Она готова молить возлюбленного времен своей юности: «Поцелуй меня хоть раз, как тогда, я так жажду счастья».

Становится темно, Берта всматривается в ночную тьму.

Сегодня же, прежде чем лечь спать, она достанет с чердака маленькую сумку, где хранятся письма ее родителей и письма Эмиля Линдбаха. Она стремится домой. Как будто в душе ее возник вопрос, на который она может найти ответ только дома.

Когда Берта поздно вечером вошла в свою комнату, ей показалась почти нелепой самая мысль сейчас же одной взобраться на чердак и достать сумку. Она опасалась, как бы жильцы дома не заметили ее ночных блужданий и не подумали, что она сошла с ума. Она может сделать это завтра утром, не обращая на себя внимания, совершенно спокойно, и она заснула, как ребенок, которому обещана на завтра прогулка за город.

На другой день до обеда у нее было много дел; домашние хлопоты и уроки музыки заняли все время. Ей

пришлось рассказать невестке о своей поездке в Вену. Она выдумала, что после обеда гуляла со своей кухней, и представила все так, будто по просьбе кухни отказалась пойти к фрау Рупиус.

Только после обеда она поднялась на чердак и достала запыленную дорожную сумку, лежавшую около чемодана и двух ящичков, — все вместе было покрыто старой рваной чайной скатертью с красными цветами. Берта помнила, что последний раз открывала сумку, чтобы спрятать письма, оставшиеся от родителей. Когда она у себя в комнате открыла сумку, то прежде всего увидела множество посланий от своих братьев и другие листки с незнакомым почерком; затем нашла аккуратно перевязанный пакетик с немногими письмами родителей, адресованными ей; две книжки ее матери с хозяйственными записями, свою собственную маленькую школьную тетрадь, куда она вносила расписание уроков и учебные задания, программы благотворительных вечеров, в которых она участвовала молодой девушкой, и, наконец, письма Эмиля, завернутые в голубую папиросную бумагу, местами разорванную. Теперь ей вспомнился день, когда она последний раз держала их в руках, не читая; это было тогда, когда отец ее уже лежал больной, и она по целым дням не выходила из дому. Она отложила эту пачку в сторону. Ей хотелось сначала просмотреть все остальное, что еще сохранилось здесь, все, что вызывало ее любопытство. На дне сумки лежало много писем, некоторые в конвертах, некоторые без конвертов; она просмотрела их без разбора, одно за другим. Тут были письма от прежних приятельниц, несколько писем от кухни и одно письмо от врача, который в свое время сватался к ней; в нем содержалось приглашение на первый вальс в медицинском кружке. А это — что это такое? Ах, это анонимное послание, полученное ею в консерватории. Она прочла его: «Милая барышня, вчера я снова имел счастье любоваться вами, встретив вас на пути, по которому вы всегда ходите, не знаю, имел ли я счастье быть замеченным вами». Нет, этого счастья он не имел. Затем на трех страницах он всячески превозносил ее; ни единого желания, ни единого дерзкого слова. И она никогда ничего не слыхала больше об авторе этого послания. А вот письмо, подписанное инициалами: «М. Г.».

Это был наглец, заговоривший с нею на улице, в этом письме он обращался к ней с предложениями — с какими же? А-а, вот то место, от которого ей тогда кровь бросилась в голову: «С тех пор, как я вас увидел, с тех пор, как вы устроили на меня строгий и все-таки столь многообещающий взор, у меня лишь одна мечта, одно страстное желание: поцеловать ваши глаза!» Она, конечно, не ответила ему; в то время она любила Эмиля. Да, она даже думала показать Эмилю это письмо, но воздержалась, опасаясь его ревности. Так Эмиль и не узнал ничего об этом М. Г. А что это за мягкая лента попала ей теперь под руку? Какой-то бант... Но она не знала, о чем он должен ей напомнить. А вот снова маленькая книжка, куда она записывала имена своих танцоров. Она старалась вспомнить их лица, но тщетно. И как раз на этом балу был тот человек, который обращался к ней с такими пламенными словами, каких еще никто не говорил ей. Ей казалось, будто он внезапно предстал, как победитель, среди многих теней, реявших вокруг нее, да, это случилось уже тогда, когда она и Эмиль виделись все реже. Как странно это было... или ей только приснилось? Пылкий юноша во время танца прижимал ее к себе, она нисколько не противилась, она чувствовала, как его губы касаются ее волос, и это было невыразимо приятно... Ну, а дальше? Она его никогда больше не видела. Берте вдруг показалось, что в то время она испытала много необычного, и она изумилась теперь, что все эти воспоминания так долго покоились в старой дорожной сумке и в ее душе... Но нет! Иногда она все-таки вспоминала обо всем этом, о тех, кто за нею ухаживал, об анонимном письме, о пылком танцоре, о прогулках с Эмилем, но так, будто ничего особенного и не было, будто все это обычное прошлое, молодость, которую суждено пережить каждой девушке и от которой она переходит потом к спокойной жизни замужней женщины. Но сегодня ей мнилось, будто все эти воспоминания были невыполненными обещаниями, будто в каждом отдаленном переживании уже заложена была ее безрадостная судьба, будто ее все время обманывали, обманывали давно, с того дня, когда она вышла замуж, и по сию пору, будто она слишком поздно догадалась об этом, сидит тут и уже ничего не может поделать. Все-таки, как это

случилось?.. Обо всех этих ничтожных вещах думала она, а рядом с нею все еще лежало завернутое в папиросную бумагу сокровище, ради которого она перерыла старую сумку — письма единственного человека, которого она любила, письма того времени, когда она была счастлива. Многие могли бы теперь позавидовать ей, что именно этот человек прежде любил ее, любил иначе, более чистой любовью, чем всех других после нее. И она чувствовала, что жестоко обманута, что она могла бы стать его женой, если бы... если бы... Мысли ее спутались.

Быстро, словно для того, чтобы избавиться от сомнений, даже от страха, сорвала она папиросную бумагу и набросилась на письма. И она читала их, читала одно за другим, короткие и длинные, маленькие, торопливо набросанные записочки: «Завтра вечером, в семь часов, моя любовь!» Или: «Любимая, один только поцелуй прежде, чем я лягу спать!»; и длинные, во много страниц, написанные во время путешествий, которые он со своими коллегами совершал пешком; или те, что он писал вечером после концерта, тотчас по возвращении домой, чувствуя неодолимую потребность поделиться с нею своими впечатлениями; затем бесконечные письма, где он излагал планы на будущее, как они вместе будут путешествовать по Испании и по Америке, прославленные и счастливые... Она читала их все, все, — одно за другим, с неутолимой жадной, — начиная с первого, которое он прислал ей вместе с нотами, и до последнего, датированного двумя с половиной годами позже, где он посылал лишь привет из Зальцбурга, — и когда она кончила, то уронила руки на колени и неподвижным взглядом уставилась на разбросанные вокруг листки. Почему это письмо было последним? Каким образом это кончилось? Как могло кончиться? Как могла пройти эта большая любовь? Никогда дело не доходило до разрыва, до размолвки, и внезапно все оборвалось. Когда?.. Она не знала. Ибо когда пришла та открытка из Зальцбурга, она его еще любила, осенью она еще видела его — да, той зимой, казалось, все снова ожило. Вй вспомнились прогулки, рука в руке, по хрустящему снегу, возле Карлскирхе, но когда же они гуляли в последний раз? Они так и не попрощались друг с другом... Этого она не

могла понять. Как могла она сама так легко отказаться от счастья, ведь в ее власти было удержать его! Когда она перестала любить Эмиля? Неужели отупляющие повседневные заботы, тяготевшие над нею дома с тех пор, как она оставила консерваторию, лишили ее честолюбия, усыпили ее чувства? Неужели на нее отрезвляюще подействовало ворчанье ее родителей, их недовольство ее тесным общением с молодым скрипачом, которое не сулило ничего в будущем? И теперь она вспомнила, что позже он еще раз навестил их, после того как они несколько месяцев не виделись, и в прихожей поцеловал ее. Да, это было в последний раз. Она вспомнила также, как почувствовала тогда, что его отношение к женщинам изменилось, что он, вероятно, пережил нечто такое, о чем она не должна знать, но никакой душевной боли она при этом не испытала. И Берта задавалась вопросом: не сложилось ли бы все иначе, если бы она была не столь добродетельна, если бы она так же легко принимала жизнь, как другие? Она подумала о подруге, с которой прекратила знакомство потому, что та была в связи с учеником театрального училища. И ей снова пришли на ум дерзкие слова Эмиля, сказанные им, когда они проходили мимо его окон, и страстное желание, охватившее ее, когда они стояли на набережной. Непонятно было ей: почему эти слова так мало подействовали на нее тогда, почему это желание пробудилось в ней лишь однажды и на такое короткое время? С каким-то беспомощным удивлением думала она о годах своей непорочной молодости и с внезапным мучительным стыдом, от которого кровь бросилась ей в голову, — о холодной готовности, с какой отдалась нелюбимому человеку. И она впервые ощутила горечь при мысли, что все счастье, которое она познала как женщина, были объятья этого нелюбимого человека. Так вот что сулила ей жизнь, вот чем оказалось на самом деле это желанное, таинственное счастье! И смутное недовольство стало нарастать в ней, недовольство против всего и всех, против живых и мертвых. Она негодовала на своего покойного мужа, на своих умерших родителей, сердилась на людей, среди которых жила, — на глазах у них она не могла себе ничего позволить; была раздражена против фрау Рупиус, которая отнеслась к ней не столь дру-

жески, чтобы она могла обрести в ней опору, ненавидела Клингемана за то, что он так уродлив и ничтожен и все-таки смеет ухаживать за нею, и, наконец, все возмутилось в ней против возлюбленного ее молодых лет за то, что он не был более настойчив, за то, что лишил ее высшего счастья и оставил ей только светлые, но мучительные воспоминания. И вот теперь она, одинокая, сидит у себя в комнате, среди поблекших воспоминаний бесцельно и безрадостно прожитой молодости, не за горами время, когда уже не останется ни надежд, ни желаний, — жизнь утекла между пальцев, а сама она — алчущая и нищая.

Она собрала все письма и остальные бумаги, как попало побросала их в сумку, заперла ее и подошла к окну. Близился вечер, ласковым ветром повеяло с виноградников; глаза ее горели от невыплаканных слез обиды, а не скорби. Что ей делать теперь? Еще недавно она без упований, без страха оглядывала дни, ночи, месяцы, годы, которые ей предстояло прожить, а сейчас с ужасом думала лишь об одном сегодняшнем вечере. В этот час она обычно возвращалась с прогулки; сегодня она отослала няню с малышом, так как совсем не стремилась увидеть его; да, на мгновение и ребенка словно коснулась охватившая Берту ярость против всего человечества и против судьбы, в своем безмерном ожесточении она испытывала даже зависть к людям, которые прежде вовсе не казались ей достойными зависти. Она завидовала жене доктора Мартина за то, что муж так нежно относится к ней; табачнице, которую любили Клингеман и капитан; своей невестке, за то, что она уже стара; Элли — за то, что она еще молода; она завидовала служанке, которая сидела на бревнах с солдатом и громко смеялась. Она не могла дольше усидеть дома, надела соломенную шляпу, взяла зонтик и поспешно вышла на улицу. Здесь ей стало немного легче. В комнате она чувствовала себя несчастной, теперь же она была лишь раздосадована.

На главной улице она встретила супругов Мальман, их детям она давала уроки музыки. Фрау Мальман уже знала, что Берта вчера заказала себе платье у венской портнихи, и теперь с важностью рассуждала на эту тему. Потом Берта встретила деверя — он шел ей навстречу по каштановой аллее.

— Ты вчера была в Вене, что ты там делала? — спросил он. — Завела какую-нибудь интрижку?

— Как? — переспросила Берта и испуганно посмотрела на него, словно ее уличили в чем-то.

— Нет? Ничего не было? Ты ведь ездила с фрау Рупиус; наверное, все мужчины бегали за вами.

Она посмотрела на его лицо: глаза его блестели, как в те дни, когда ему случалось выпить лишнее; она вспомнила, как кто-то предсказал, что Гарлана хватит удар.

— Я намерен тоже вскорости опять побывать в столице, — сказал он, — я не был там с незапамятных времен, хочу снова повидать некоторых моих клиентов. Вы с фрау Рупиус могли бы в следующий раз взять меня с собой.

— С удовольствием, — ответила Берта, — мне придется вскоре поехать туда на примерку.

Гарлан засмеялся.

— О да, ты можешь взять меня с собой, когда будешь примерять.

Он придвинулся к ней ближе, чем полагалось. Это была его обычная манера. К шуткам его Берта тоже давно привыкла; но сегодня все это было ей особенно противно. Ее до крайности возмущало, что именно этот человек постоянно с таким подозрением говорит о фрау Рупиус.

— Сядем, если хочешь, — сказал Гарлан. Они сели отдохнуть на скамью. Гарлан вынул из кармана газету.

— А! — невольно вырвалось у Берты.

— Хочешь, возьми, — сказал Гарлан.

— Твоя жена уже прочла ее?

— Ну, что ты, — ответил Гарлан, протягивая газету, — хочешь, возьми.

— Если ты можешь без нее обойтись.

— Ради тебя с удовольствием. Можно и вместе почитать. — Он придвинулся ближе к Берте и развернул газету.

Рука об руку подошли супруги Мартин и остановились перед ними.

— Уже вернулись из дальних странствий? — спросил господин Мартин.

— Ах да, вы были в Вене, — сказала фрау Мартин,

прильнув к мужу.— И с фрау Рупиус? — прибавила она, и это прозвучало, как колкость.

Берте пришлось снова рассказывать о своем платье. Она уже делала это почти механически, но чувствовала, что давно не была так привлекательна, как сегодня. Мимо прошел Клингеман; он поклонился с насмешливой вежливостью и посмотрел на Берту так, будто выражал ей сожаление, что ему и ей приходится общаться с подобными людьми. Берте казалось, что сегодня ей дано читать мысли людей по их глазам.

Стало темнеть. Все двинулись вместе в обратный путь. Берта вдруг забеспокоилась, что не встретила сына. Она пошла вперед с фрау Мартин. Та заговорила о фрау Рупиус. Она хотела непременно выяснить, не заметила ли Берта чего-нибудь.

— Но чего же именно, фрау Мартин? Я проводила фрау Рупиус к ее брату и заехала за ней туда же.

— И вы убеждены, что фрау Рупиус была все время у своего брата?

— Я, право, не знаю, в чем подозревают фрау Рупиус! Где же ей еще быть?

— Ах,— сказала фрау Мартин,— вы действительно так наивны или только притворяетесь? Вы совершенно забыли...— И она шепнула Берте на ухо нечто такое, от чего та вспыхнула. Никогда не слыхала она от женщины такого выражения. Она была возмущена.

— Фрау Мартин,— сказала она,— ведь я тоже не старая женщина, и вы видите, что можно отлично жить и так.

Фрау Мартин немного смутилась.

— Ну да, ну да! — сказала она.— Вы можете подумать, что сама я слишком избалована.

Берта испугалась, как бы фрау Мартин не стала вдаваться в более интимные подробности, и была очень рада, что они подошли к перекрестку, где им пришлось распрощаться.

— Берта! — закричал ей вслед деверь.— Твоя газета!

Берта быстро вернулась и взяла газету. Затем она поспешила домой. Мальчик уже ждал ее у окна. Берта стремительно вошла, обняла его и поцеловала, точно не видела несколько недель. Она почувствовала, что живет только любовью к сыну, и это наполнило ее гордостью. Она заставила его рассказывать, как он провел время

после обеда, где был, с кем играл, накормила его ужином, раздела, уложила в постель и была довольна собой. Словно о каком-то лихорадочном припадке вспоминала она о своем давешнем состоянии, когда она рылась в старых письмах, проклинала судьбу и завидовала даже табачнице. Она с аппетитом поужинала и рано легла спать. Но ей захотелось прочесть газету; она вытянулась, взбила подушку, чтобы выше лежала голова, и, насколько возможно, приблизила газету к свечке. Сначала она, как обычно, просмотрела новости театра и искусства. Но даже «Краткие сообщения» и местные новости снова приобрели для нее интерес со времени ее поездки в Вену. У нее уже смыкались глаза, как вдруг в хронике она заметила имя Эмиля Линдбаха. Она села на кровати и прочла: «Солист короля баварского Эмиль Линдбах, о большом успехе которого при испанском дворе мы недавно сообщали, награжден орденом Спасителя».

Улыбка озарила ее лицо. Берта обрадовалась. Эмиль Линдбах получил орден Спасителя... да... тот самый человек, чьи письма она сегодня читала... тот самый, кого она целовала, тот самый, кто писал ей, что всегда будет поклоняться только ей одной... Да, Эмиль — единственный человек в мире, который ее, в сущности, как-то интересуется, кроме ее мальчугана, конечно. Ей казалось, что эта заметка в газете предназначена только для нее, будто Эмиль избрал это средство, чтобы сообщить ей о себе. Быть может, тот человек, которого она вчера видела издали, все-таки был Эмиль. Она внезапно почувствовала себя такой близкой ему, что все улыбалась и шептала: «Господин Эмиль Линдбах, солист короля баварского... поздравляю вас...» Губы ее были полуоткрыты. Вдруг ей пришла в голову неожиданная мысль. Она быстро встала, набросила на себя капот, взяла свечу с ночного столика, прошла в соседнюю комнату и, сев за стол, не задумываясь, написала следующие строки, как будто кто-то стоял рядом и диктовал ей:

«Милый Эмиль!

Только что прочла в газете, что испанская королева наградила тебя орденом Спасителя. Не знаю, помнишь ли ты меня еще,— она улыбнулась, когда писала эти

слова, — но я не хотела бы упустить случай поздравить тебя с большими успехами, о которых я так часто и с таким удовольствием читаю. Я живу в маленьком городе, куда меня занесла судьба, и очень довольна; мне очень хорошо живется. Если ты пришлешь в ответ несколько строк, то ошастливишь твою старую приятельницу Берту.

Р. S. Большой привет от моего маленького Фрица (пять лет)».

Она кончила. На мгновение она задумалась, не следует ли ей упомянуть, что она вдова; но если он и не знал этого до сих пор, то поймет из ее письма. Она прочла письмо еще раз, удовлетворенно кивнула головой и надписала адрес: «Господину Эмилю Линдбаху, солисту баварского короля, кавалеру ордена Спасителя». Следует ли это писать? У него, конечно, много и других орденов. «Вена». Но где он живет теперь? Это не имеет значения, ведь он такая знаменитость. И затем, самая неточность адреса доказывает, что она не придает особого значения всему этому; дойдет письмо — ну что же, тем лучше. Это был способ испытать судьбу... да, но как узнать точно, дошло ли письмо? Ответа может и не быть, если... Нет, нет, конечно, нет! Он все же поблагодарит ее. Так, теперь в постель. Письмо она держала в руке. Нет, ей сейчас не заснуть, сон отлетел совсем; кроме того, если она пошлет письмо завтра утром, то оно уйдет только с двенадцатичасовым поездом, а Эмиль получит его послезавтра... Это бесконечно долго. Она только что говорила с ним, а он услышит ее лишь через тридцать шесть часов!.. Что, если она теперь же пойдет на почту... нет, на вокзал? Тогда письмо в десять часов утра уже будет у него. Он встает, конечно, поздно, и ему завтра утром подадут в комнату письмо вместе с завтраком. Да, так и следует сделать! Она быстро оделась. Поспешно сбежала вниз по лестнице — было еще сравнительно рано, — быстро прошла по главной улице к вокзалу, опустила письмо в желтый ящик и вернулась домой. Когда она стояла у себя в комнате, возле измятой постели, когда увидела брошенную на пол газету и мерцающую свечу, ей показалось, что она возвратилась после странного приключения; она еще долго сидела на краю кровати

и смотрела в окно на светлую, звездную ночь, полная смутного радостного ожидания.

«Милая моя Берта!

Не могу выразить словами, как обрадовало меня твое письмо. Неужели ты еще вспоминаешь меня? Как смешно, что именно орден послужил причиной того, что я снова получил весточку от тебя! Да, все-таки и орден хоть раз на что-то пригодился. Итак, сердечно благодарю за поздравление. Впрочем, не приедешь ли ты как-нибудь в Вену? Ведь это не так далеко. Я был бы страшно рад снова увидеть тебя. Приезжай скорей! Сердечно, твой прежний

Эмиль».

Берта сидела за завтраком рядом с мальчуганом, он болтал, она не слушала, а письмо лежало перед нею на столе. Ей это казалось чудом. Позавчера вечером она отнесла на почту письмо, а сегодня утром уже пришел ответ. Эмиль не пропустил ни одного дня, ни одного часа. И он написал ей такое сердечное письмо, будто они только вчера расстались. Она взглянула в окно. Какое чудесное утро! Пели птицы, с холмов веяло ароматом раннего лета. Берта снова и снова перечитывала письмо. Потом схватила малыша, высоко подняла его и поцеловала. Давно уже она не была так счастлива. Одеваясь, она обдумывала, как ей поступить. Сегодня четверг, а в понедельник она должна опять ехать в Вену на примерку; получается четыре долгих дня; ровно столько, сколько прошло с того времени, как она обедала у своего деверя — а какое множество событий случилось за этот срок! Нет, она должна увидеть Эмиля раньше. Она могла бы завтра же поехать в столицу и пробыть там несколько дней. Но что она скажет здесь всем?.. Ах, она найдет какой-нибудь предлог! Самое важное, как она ему ответит и где встретится с ним... Не может же она ему написать: «Я еду, прошу тебя сказать мне, где я могу увидеть тебя...» В конце концов он ответит ей: «Приезжай ко мне». Нет, нет, нет! Самое лучшее — поставить его перед свершившимся фактом. Она напишет ему: я приеду в Вену в такой-то день, ты можешь застать меня там-то... О, если бы она могла поговорить

с кем-нибудь обо всем этом... Она подумала о фрау Рупиус, ей страстно захотелось рассказать ей все. В то же время ей казалось, что таким образом она скорее сблизится с этой женщиной и добьется ее уважения. Берта почувствовала, что и она имеет какой-то вес с той минуты, как получила это письмо. Теперь ей стало понятно, чего она так опасалась. Эмиль мог оказаться совсем другим — высокомерным, напыщенным, избалованным, какими иногда бывают знаменитости. Но пока не было и следа всего этого; у него был тот же твердый, быстрый почерк, тот же теплый тон, как в прежних письмах. Разумеется, он немало пережил с тех пор, так разве она ничего не пережила и разве теперь все прежнее не забыто? Перед уходом она еще раз перечитала письмо Эмиля. Он становился для нее все живее, она слышала тон его слов, и заключительная фраза: «Приезжай скорее!» — звучала у нее в ушах, как нежный призыв. Она сунула письмо за корсаж и вспомнила, что часто поступала точно так же с его маленькими записочками, когда была молодой девушкой, и что легкое прикосновение их к телу вызывало у нее приятный трепет.

Сначала она пошла к супругам Мальман, где давала уроки близнецам. Ее нередко до боли раздражали упражнения, которые ей приходилось выслушивать, и она сердито шлепала детей по рукам, когда они ошибались. Сегодня она была не так строга. Когда в комнату вошла фрау Мальман, толстая и, как всегда, добродушная, и спросила Берту, довольна ли она, та похвалила детей и, словно внезапно вспомнив, прибавила:

— Я могу их освободить от уроков на несколько дней.

— Освободить? Как так, милая фрау Гарлан?

— Да, фрау Мальман, я не могу поступить иначе. Представьте себе, когда я недавно была в Вене, моя кузина настояла, чтобы я как-нибудь приехала к ней на несколько дней.

— Конечно, конечно, — сказала фрау Мальман.

Берта осмелела и продолжала лгать, испытывая своеобразное удовольствие от своей дерзости:

— Я хотела, собственно, отложить поездку на июнь. Но сегодня от нее пришло письмо, ее муж уезжает, она остается одна, и как раз теперь... — Она почувствовала,

как зашуршало письмо, и у нее явилось неодолимое желание вынуть его, но она удержалась.— И я подумала, что, пожалуй, нужно воспользоваться случаем...

— Ну, конечно,— сказала фрау Мальман, пожимая Берте обе руки,— если бы у меня была кухня в Вене, я каждые полмесяца проводила бы неделю у нее.

Берта сияла. Ей казалось, будто невидимая рука устраняет все препятствия на ее пути; все удавалось так легко. Кому она в конце концов обязана отчетом? Но вдруг она испугалась, как бы ее деверь действительно не захотел тоже поехать в Вену. Снова все спуталось, на пути выросли опасности, и даже в добродушной улыбке фрау Мальман ей почудилось подозрение. Она, безусловно, должна довериться фрау Рупиус. Сразу после урока она направилась к ней.

Лишь когда Берта увидела фрау Рупиус на диване в белом пеньюаре и заметила удивленный взгляд, которым та встретила ее, она поняла, сколь странно ее утреннее посещение, и наигранно весело сказала:

— Доброе утро. Рано я пришла сегодня, не правда ли?

Фрау Рупиус была серьезна и не улыбалась, как обычно.

— Я очень рада видеть вас. В котором часу — мне безразлично.— Она вопросительно смотрела на Берту, и та не знала, что сказать, ее брала досада, что она не может побороть детского смущения перед этой женщиной.

— Я хотела вас спросить,— сказала она наконец,— как вы чувствуете себя после нашей поездки.

— Очень хорошо,— довольно сухо ответила фрау Рупиус. Но тотчас переменяла тон и с преувеличенной любезностью прибавила: — Собственно, мне следовало спросить вас об этом. Я-то уже привыкла к таким поездкам.

Говоря это, она смотрела в окно, и Берта невольно проследила за ее взглядом; он был устремлен на другую сторону площади, к открытому окну, где стояли горшки с цветами. Было очень тихо — тишина летнего дня в спящем городе. Берте больше всего хотелось сесть рядом с фрау Рупиус, хотелось, чтобы та поцеловала ее в лоб и благословила; в то же время она жалела ее. Для нее самой все это было загадкой. Зачем

она, собственно, пришла сюда? Что она скажет фрау Рупиус? «Я еду завтра в Вену, чтобы увидеться с тем, кого я любила в молодости»?.. Какое дело до всего этого фрау Рупиус? Может ли это интересовать ее хотя бы в малейшей степени? Вот она сидит тут, отделенная от Берты какой-то непроницаемой преградой, к ней не подступиться. Она, Берта, не может подступиться к этой женщине — вот в чем дело. Конечно, существует слово, открывающее доступ к ней, но Берта не знает его.

— Как поживает ваш малыш? — спросила фрау Рупиус, не отводя глаз от горшков с цветами.

— Хорошо, как всегда, он у меня молодец. Удивительно добрый мальчик. — Она с нарочитой нежностью произнесла эти слова, надеясь расположить к себе фрау Рупиус.

— Да, да, — сказала та, а в тоне ее послышалось нечто вроде: довольно, хорошо, об этом я вас не спрашивала. Затем она прибавила: — На вашу няню можно положиться?

Берту немного удивил этот вопрос, и она ответила:

— У моей служанки много другой работы, но я не могу на нее пожаловаться; она к тому же отлично готовит.

Помолчав немного, фрау Рупиус очень сухо сказала:

— Должно быть, большое счастье иметь такого ребенка.

— Это мое единственное счастье, — нарочито громко ответила Берта.

Эти слова она произносила уже не раз, но сегодня она знала, что не вполне искренна. Она чувствовала, как листок бумаги касается ее кожи, и со страхом сознавала, что письмо это наполнило ее счастьем. Но тут она вспомнила, что у женщины, сидящей против нее, нет ребенка и нет надежды иметь его, и теперь охотно взяла бы свои слова обратно. Она уже готова была подыскать какое-нибудь смягчающее выражение, но фрау Рупиус будто заглянула ей в душу и, словно никакая ложь не могла устоять перед нею, переспросила:

— Ваше единственное счастье? Скажите, большое счастье, это тоже немало. Я иногда завидую вам, хотя я, в сущности, уверена, что жизнь сама по себе доставляет вам радость.

— Я живу так одиноко, так...

Анна улыбнулась:

— Я не то имела в виду, я хотела сказать, что солнце светит, что теперь такая хорошая погода — и это тоже доставляет вам радость.

— О да, большую, — с готовностью ответила Берта. — У меня вообще настроение зависит от погоды. Когда несколько дней тому назад была гроза, я была совершенно подавлена, а затем, когда гроза прошла...

Фрау Рупиус прервала ее:

— Так бывает с каждым человеком.

Берта смешалась; она почувствовала, что для этой женщины она недостаточно умна и способна говорить лишь о том о сем, как все другие обитательницы этого городка. Ей показалось, что фрау Рупиус устроила ей экзамен, но она не выдержала его, и ее охватил неодолимый страх перед предстоящим свиданием с Эмилем. Какой она покажется ему? До чего же робкой и беспомощной стала она за шесть лет своей замкнутой жизни!

Фрау Рупиус встала. Ее белый пеньюар ниспадал мягкими складками, она казалась выше и красивее, чем обычно, и Берте вспомнилась актриса, которую она когда-то видела на сцене, — Анна была очень похожа на нее. Будь я такой, как она, я не робела бы! Но тут у нее мелькнула мысль, что эта красавица замужем за больным человеком. Может быть, люди правы? Здесь мысли ее снова спутались, и она уже не могла толком представить себе, в чем же люди, собственно, правы. В ту минуту ей открылось, сколь тяжела судьба, постигшая эту женщину, независимо от того, примиряется ли она с нею или восстает против нее. Но Анна, будто снова прочитав мысли Берты и не желая допускать, чтобы Берта таким способом вкралась к ней в доверие, вдруг согнала со своего лица досадливую серьезность и просто сказала:

— Представьте себе, муж до сих пор еще спит. Он теперь взял за привычку сидеть до глубокой ночи, читать и рассматривать гравюры, а потом спать до полудня. Вообще это дело привычки; когда я жила в Вене, я невероятно долго спала.

И тут она стала оживленно рассказывать о годах своей молодости, с такой доверчивостью, какой Берта

никогда за ней не знала. Она рассказала о своем отце, офицере генерального штаба, о своей матери, которая умерла совсем молодой, о маленьком домике с садом, где она играла в детстве. Теперь только узнала Берта, что фрау Рупиус познакомилась со своим мужем, когда он был еще мальчиком, что он со своей семьей жил в соседнем доме и что они были помолвлены еще детьми. Перед Бертой предстала вся молодость этой женщины, как бы озаренная солнцем, полная счастья и надежды, и ей показалось, что даже голос фрау Рупиус зазвучал живее, когда она рассказывала о путешествиях, которые они совершали в прежнее время вместе с мужем. Берта не мешала ей говорить и опасалась прервать ее, как лунатичку, которая бродит по краю крыши. Но едва фрау Рупиус поведала ей о своем прошлом и его невозвратимом очаровании, о счастье быть любимой, как сердце Берты затрепетало от надежды на собственное счастье, которого ей не довелось еще испытать. А когда фрау Рупиус заговорила о прогулках по Швейцарии и по Тиролю, которые она однажды совершила со своим мужем, Берте показалось, будто она сама бродит рядом с Эмилом по тем же дорогам, и такая неодолимая тоска охватила ее, что она готова была тотчас встать, ехать в Вену, отыскать его, броситься ему в объятия, испытать наконец хоть раз те восторги, в которых ей до сих пор было отказано.

Мысли ее блуждали так далеко, что она не заметила, как фрау Рупиус замолчала, села на диван и снова устремила взгляд на горшки с цветами в доме напротив. Глубокая тишина отрезвила Берту; вся комната показалась ей полной какой-то тайны, в которой причудливо переплелось настоящее и будущее. Она чувствовала не постижимую связь между собой и этой женщиной. Она встала, подала ей руку, и, словно это было в порядке вещей, обе женщины на прощанье расцеловались, как старые подруги. В дверях Берта сказала:

— Я завтра опять еду в Вену на несколько дней.—
При этом она улыбнулась, как невеста.

От фрау Рупиус она отправилась к невестке; ее племянник уже сидел за роялем и лихо фантазировал. Он сделал вид, что не заметил прихода тетки, и пере-

шел к упражнениям, начав колотить по клавишам естественно вытянутыми пальцами.

— Мы будем играть сегодня в четыре руки, — сказала Берта и стала искать среди нот марши Шуберта. Она совсем не слушала себя и едва замечала, что племянник, нажимая педаль, касается ее ноги. В это время вошла Элли и поцеловала тетю.

— Да, верно, — сказал Рихард, — я совсем забыл. — И, продолжая играть, он потянулся губами к щеке Берты.

Вошла невестка, позванивая связкой ключей, на бледном, тусклом лице ее застыло выражение глубокой тоски.

— Я рассчитала Бригитту, — сказала она вяло, — она стала невыносима.

— Не привезти ли тебе служанку из Вены? — спросила Берта так непринужденно, что сама удивилась. И тут она опять, уже более уверенно, солгала, рассказав о приглашении кузины и на сей раз немного приукрасив свой рассказ. Затаенная радость, которую она испытывала во время этого рассказа, придавала ей мужество. Даже то, что деверь может присоединиться к ней, уже не пугало ее. И она чувствовала, что его обращение с ней дает ей некоторую власть над ним.

— Долго ли ты думаешь пробыть в столице? — спросила невестка.

— Два-три дня, конечно, не больше. И, знаешь, в понедельник мне все равно пришлось бы ехать к портнице.

Рихард наигрывал что-то, а Элли стояла, облокотясь на рояль, и с испугом смотрела на тетю. Берта невольно воскликнула:

— Что с тобой?

— А что? — спросила Элли.

Берта сказала:

— Ты так странно смотришь на меня, будто ты — да, будто ты недовольна, что у тебя два дня не будет уроков.

— Нет, — возразила Элли и улыбнулась, — не в том дело. Но... Нет, я не могу сказать.

— В чем же дело? — спросила Берта.

— Нет, пожалуйста, я, право, не могу сказать. — Она обняла тетю, словно умоляя ее.

— Элли, — сказала мать, — я терпеть не могу, когда у тебя секреты. — Она присела с обиженным и усталым видом.

— Ну, Элли, — сказала Берта, охваченная каким-то смутным страхом, — я тебя прошу.

— Только ты не смейся надо мной, тетя.

— Конечно, не буду.

— Видишь ли, тетя, уже в прошлый раз, когда ты уезжала, я так боялась, — я знаю, что это глупо, — на улицах так много экипажей...

Берта облегченно вздохнула и потрепала Элли по щеке.

— Я буду осторожна, ты можешь совершенно не беспокоиться.

Мать покачала головой.

— Я боюсь, — сказала она, — как бы Элли не стала слишком нервной.

Под конец было условлено, что Берта придет к ужину, а на время своего отсутствия оставит ребенка у родственников.

После ужина Берта села за письменный стол, прочла еще раз письмо Эмиля и набросала ответ.

«Милый мой Эмиль!

Очень любезно с твоей стороны, что ты так скоро мне ответил. Я была очень счастлива... — она зачеркнула «очень счастлива» и написала «очень рада», — получить твое милое письмо. Много изменилось за то время, что мы не виделись; ты стал знаменитым скрипачом, в чем я никогда не сомневалась. — Она остановилась и зачеркнула всю фразу: «И я тоже разделяю твое желание поскорее увидеться со мною...» Нет, это чепуха; итак: — И мне будет необычайно приятно снова увидеться с тобой. — Тут ей пришла в голову удачная мысль, и она с большим удовольствием написала: — В сущности, удивительно, что мы так долго не встречались, тем более что я нередко бываю в Вене, — например, приеду в конце этой недели. — Она опустила перо и задумалась. Она решила завтра под вечер ехать в Вену, остановиться в гостинице и там выспаться, чтобы на следующее утро быть совершенно бодрой и часа два подышать венским воздухом, прежде чем встретиться

с ним. Теперь оставалось еще назначить место встречи. Оно нашлось без труда. — Соответственно твоему дружескому пожеланию сообщаю тебе, что в субботу утром... — Нет, это не то, это слишком по-деловому, и все же опять слишком чувствуется ее полная готовность. Она написала: — Если хочешь воспользоваться этим случаем и увидеться со своей бывшей приятельницей, то постарайся в субботу утром, в одиннадцать часов, быть в Музее истории искусств, в зале голландцев».

Она была очень довольна собой, когда написала это, — вся двусмысленность, таким образом, исчезла. Она перечла набросок. Он показался ей довольно сухим, но в конце концов сказано все необходимое, и она себя не выдала, а все остальное выяснится в музее, в зале голландцев. Она переписала черновик и поспешно вышла на залитую солнцем улицу, чтобы опустить письмо в ближайший почтовый ящик. Возвратившись домой, она сняла платье, надела капот, уселась на диван и стала перелистывать роман Герштекера, который уже читала раз десять, но не могла понять в нем ни слова. Сначала она пыталась отогнать мысли, осаждавшие ее, но все было тщетно. Ей было стыдно, но она все снова и снова воображала себя в объятьях Эмиля. Но почему все-таки? Ведь она об этом совсем не думает! Нет... она и не станет думать об этом... она не такая женщина. Она не может сделаться чьей-то любовницей — и так, сразу... Пожалуй, если она еще раз приедет в Вену, потом еще и еще... Ну да, со временем — может быть. Впрочем, он и не посмеет заговорить об этом, даже намекнуть. Но ничто не помогало, она не могла думать ни о чем другом. Все неотвязней становились ее мечты, и в конце концов она перестала бороться с ними, устало откинулась в угол дивана и, не обращая внимания на соскользнувшую на пол книгу, закрыла глаза.

Когда через час она поднялась, ей почудилось, что прошла целая ночь, в особенности далеким представился ей визит к фрау Рупиус. Снова она удивилась, как неравномерно течет время — часы то длинные, то короткие. Она оделась, чтобы выйти погулять с Фрицем, и была в том устало-равнодушном настроении, которое бывает после непривычного послеобеденного сна, ко-

гда человек не может сразу прийти в себя, когда все обыкновенное кажется необыкновенным и происходит словно бы с кем-то другим. Впервые ей показалось странным, что малыш, которого она только что одела для гулянья, — ее собственный ребенок, зачатый от человека, уже давно похороненного, и в муках рожденный ею. Внутренний голос подсказал Берте, что сегодня ей непременно надо пойти на кладбище. У нее не было такого чувства, будто она должна загладить какую-то несправедливость; просто она считала, что обязана из вежливости еще раз навестить человека, от которого без всякого основания отдалилась. Она решила идти по каштановой аллее. Здесь сегодня было особенно душно. Лишь когда она вышла из тени на солнце, повеял легкий ветерок, и кроны деревьев за кладбищенской оградой клонились ей навстречу, словно приветствовали ее. Когда она вошла с ребенком на кладбище, на нее дохнуло освежающей прохладой. Охваченная легкой и какой-то сладостной истомой, прогуливалась она по центральной аллее, позволив мальчику убежать вперед, и не обращала внимания, если он на несколько секунд исчезал из виду за каким-нибудь памятником, чего она обычно ему не разрешала. Около могилы мужа она остановилась, но глядела не на цветы, а поверх памятника, поверх ограды, на голубое небо. Плакать ей не хотелось, она не испытывала никакого волнения, никакого ужаса; она совсем не думала о том, что пришла сюда, ступая по мертвецам, что здесь, у нее под ногами, прах того, кто когда-то держал ее в своих объятиях.

Вдруг она услышала позади себя торопливые шаги по гравию, какие она не привыкла слышать в этом месте, и она обернулась, чувствуя себя оскорбленной. Перед нею вырос Клингеман; вежливо сняв соломенную шляпу, прикрепленную тесемкой к пуговице пиджака, он отвесил ей глубокий поклон.

— Что за странная случайность! — сказала Берта.

— Отнюдь нет, не случайность, сударыня; я увидел вас на улице, по вашей походке я узнал вас. — Он говорил очень громко, и Берта почти невольно остановила его:

— Т-сс!

На лице Клингемана мелькнула насмешливая улыбка, и он процедил сквозь зубы:

— Он не проснется.

Берта была так возмущена этим замечанием, что ничего не ответила, только отвернулась и позвала Фрица, собираясь уйти. Но Клингеман схватил ее за руку и, опустив глаза, прошептал:

— Оставайтесь.

Берта удивленно взглянула на него, она не поняла. Вдруг Клингеман поднял глаза, пристально посмотрел на Берту и сказал:

— Ведь я люблю вас.

У Берты вырвался слабый крик. Клингеман отпустил ее руку и продолжал непринужденным светским тоном:

— Это, наверное, кажется вам несколько странным?

— Это неслыханно, неслыханно! — Она порывалась уйти и позвала опять: — Фриц!

Клингеман заговорил теперь умоляющим тоном:

— Не уходите. Если вы сейчас оставите меня одного, Берта...

Но Берта уже овладела собой. Она резко сказала:

— Не называйте меня Бертой! Кто дал вам такое право? Я не желаю больше разговаривать с вами... И особенно здесь, — прибавила она, глядя в землю и как бы прося прощения у покойника. В это время подошел Фриц. Клингеман, видимо, был очень разочарован.

— Сударыня, — сказал он и последовал за Бертой, которая медленно удалялась, ведя мальчика за руку, — я сознаю свою вину, я должен был начать иначе и только в заключение хорошо построенной речи сказать то, чем я теперь, кажется, напугал вас.

Берта не смотрела на него, но сказала, как бы про себя:

— Я никогда бы не подумала, мне казалось, образованный человек...

Они подошли к кладбищенским воротам. Клингеман еще раз оглянулся, и взор его выражал сожаление, что он не мог до конца разыграть сцену у могилы, но он все шел рядом с Бертой, держа в руке соломенную шляпу, вертел пальцами тесемку, на которой она держалась, и продолжал говорить:

— Я не могу ничего с собой поделать, могу только повторить, что я люблю вас, что вы постоянно являетесь мне во сне, — одним словом, вы должны быть моей.

Берта снова остановилась, скованная ужасом.

— Вы, может быть, сочтете это предложение наглым, но посмотрим, как на самом деле складываются обстоятельства; вы, — он сделал долгую паузу, — одинок, я почти в таком же положении...

Берта посмотрела Клингеману прямо в глаза.

— Я знаю, о чем вы думаете, — сказал Клингеман. — Все это не имеет значения, все это мигом исчезнет, стоит вам только приказать. Смутное предчувствие говорит мне, что мы отлично подходим друг к другу, да, если я не обманываюсь, то в ваших жилах, сударыня, течет кровь не менее горячая, чем... — Во взоре, устремленном на него Бертой, Клингеман прочел такое негодование и отвращение, что не мог закончить фразу. Поэтому он заговорил иначе: — Ах, что за жизнь, в сущности, веду я теперь! Сколько времени прошло уже с тех пор, как меня любила такая же благородная женщина, как вы. Я понимаю вашу нерешительность или — более того — ваш отказ. Черт возьми, нужно некоторое мужество, чтобы с таким пропащим парнем, как я... хотя, может быть, я не так уж плох... Ах, если бы мне найти человеческую душу, добрую женскую душу... — Он сделал особое ударение на слове «душа». — Да, сударыня, мне, как и вам, не было на роду написано пропадать и киснуть в такой дыре... Вы не должны сердиться на меня, если я... если я... — Он не находил слов теперь, когда собирался сказать правду.

Берта взглянула на него. Он показался ей немного смешным, почти жалким и очень постаревшим, и она удивилась, что у такого человека хватает еще смелости не только остановить ее, — нет, а даже прямо добиваться ее благосклонности.

И все же, к удивлению и к стыду своему, от недостойных слов этого человека, казавшегося ей смешным, ее будто захлестнуло волной желаний; ибо, когда эти слова отзвучали, она все еще слышала их в душе, но как бы из уст другого, который ждал ее в Вене, и она поняла, что тому не в силах будет сопротивляться. Клингеман продолжал говорить, он сказал, что погубил свою жизнь, но что его еще можно спасти; в его падении виновата женщина, и женщина должна ему помочь снова подняться. Еще студентом он сошелся с одной, и так начались его несчастья. Он говорил о своей не-

укротимой страстности, и Берта невольно улыбнулась, тут же устыдившись своей улыбки, которая, как она сама чувствовала, означала, что ей понятен смысл его слов. У двери ее дома Клингеман сказал:

— Я буду сегодня вечером прогуливаться под вашими окнами. Вы собираетесь играть на рояле?

— Не знаю.

— Я буду считать это условным знаком. — С этими словами он ушел.

Вечером, как это часто бывало, она сидела за столом у деверя и невестки, между Рихардом и Элли. Говорили о ее предстоящей поездке в Вену, как будто действительно дело было только в посещении кухни, примерке у портнихи и нескольких хозяйственных поручениях, которые она обещала выполнить для невестки. После ужина, когда деверь курил трубку, Рихард читал ему газету, мать вязала, а Элли, тесно прижавшись к Берте, склонила свою детскую головку к ней на грудь, Берта почувствовала себя отъявленной лгуней. Вот сидит она, вдова достойного человека, в семейном кругу, так доверчиво принявшем ее, рядом с девочкой, которая смотрит на нее, как на старшую подругу; да и сама она до сих пор была порядочной женщиной, вела достойную жизнь, полную труда, всецело посвятив себя сыну, — а теперь готова от всего этого отказаться, обмануть этих превосходных людей, пуститься в приключения, не предвидя, чем все это кончится. Что с нею стало в последние дни, что за мечты преследуют ее, почему она всем своим существом стремится лишь к тому, чтобы снова очутиться в объятиях мужчины? Стоило ей только подумать об этом, как невыразимый трепет охватывал ее, и она, безвольная, подчинялась ему, как какой-то чуждой власти. И пока голос Рихарда монотонно звучал в ее ушах, а пальцы ее перебирали локоны Элли, она в последний раз попыталась восстать — поклялась себе, что будет тверда, что ей не нужно ничего иного, как только снова увидеть Эмиля, и что она будет принадлежать лишь тому, кто наречет ее своей женой, — как все порядочные женщины, знакомые ей, как ее давно умершая мать, как кузина в Вене, как фрау Мальман, как фрау Мартин, как ее невестка и как... да, конечно, как фрау Рупиус. Но когда она об этом подумала, ее будто

озарило молнией: а что, если он сам... если Эмиль... Но она боялась этой мысли, она отгоняла ее от себя. Не с такими смелыми мечтами должна она ехать на это свидание. Он великий артист, а она — бедная вдова с ребенком. Нет, нет! Она еще раз увидится с ним, да, в музее, в зале голландцев, еще один раз, последний, она скажет ему, что ничего иного не желала, как только увидеть его снова... С довольной улыбкой представила она себе его слегка разочарованный вид и, как бы репетируя, нахмурилась, придав лицу серьезное выражение; она даже заранее знала, что скажет ему: «О нет, Эмиль, если ты думаешь об этом...» Но она не должна произносить эти слова слишком жестким тоном, чтобы не получилось, как тогда... двенадцать лет тому назад... после первой же его попытки; он должен ее попросить второй раз, он должен ее попросить третий раз, — ах, боже мой, он должен ее просить до тех пор, пока она не уступит. Ибо она чувствовала здесь, среди всех этих добрых, порядочных, благонравных людей, из числа которых ей, конечно, придется потом себя исключить, что она уступит, как только он этого потребует. Она едет в Вену лишь для того, чтобы стать его любовницей и потом, если так суждено, умереть.

На другой день она уехала. Было очень жарко, солнце жгло кожаные сиденья, Берта открыла окно и задернула его желтой шторкой, которую все время трепал ветер. Берта была одна в купе. Но она почти не думала о том, куда едет, не думала о человеке, с которым хотела увидеться, о том, что ей предстоит, — она думала лишь о тех странных словах, которые слышала только что, за час до отъезда. Она охотно забыла бы о них, — по крайней мере, на ближайшие дни. Почему эти несколько часов между обедом и отъездом она не могла высидеть дома? Какая тревога погнала ее в этот нестерпимо жаркий день из комнаты на улицу, на рыночную площадь и заставила пройти мимо квартиры Рупиусов? Он сидел на балконе, опустив глаза на залитую солнцем мостовую, и на коленях у него, как всегда, лежал серый плед, бахрома которого свисала между решетками балкона. Перед ним на маленьком столике стояла бутылка воды и стакан. Увидев Берту, он пристально взглянул на нее, будто просил о чем-то, и она заметила, что он легким движением

головы позвал ее к себе. Почему она послушалась его? Почему не приняла этого кивка за обычный поклон, не поблагодарила и не пошла дальше своим путем? Но когда она, откликнувшись на его зов, подошла к входной двери, то заметила, как губы его тронула улыбка благодарности, и та же улыбка была у него, когда Берта, пройдя через прохладную затененную комнату, вышла к нему на балкон, пожала его протянутую руку и села за столик напротив него.

— Как вы поживаете? — спросила она.

Он сначала ничего не ответил, потом по судорогам в его лице она догадалась, что он хочет что-то сказать, но, кажется, не может произнести ни слова; наконец, он очень громко выкрикнул:

— Она хочет меня... — Затем, как будто сам испугавшись своего крика, произнес совсем тихо: — ...покинуть... Моя жена хочет меня покинуть.

Берта невольно оглянулась.

Рупиус, словно успокаивая ее, поднял руки:

— Она не слышит нас. Она у себя в комнате, спит.

Берта смутилась и прошептала:

— Откуда вы знаете?.. Этого быть не может!

— Она хочет уехать — уехать на время, как она говорит... вы понимаете меня?

— Ну да, видимо, к брату...

— Она хочет уехать... навсегда! Конечно, она не скажет мне: «Прощай, ты меня больше никогда не увидишь!» Поэтому она говорит: «Я хочу немного попутешествовать, мне нужен отдых, я хочу несколько недель пожить на берегу озера, я хотела бы поплавать, мне необходимо переменить климат». Она, конечно, не говорит мне: «Я не вынесу этого больше, я молодая, цветущая, здоровая, а ты паралитик и скоро умрешь, и мне страшно думать о твоей болезни и обо всех ужасах, которые еще предстоит пережить, пока не наступит конец». Поэтому она говорит мне: «Я хочу уехать только на несколько недель, потом я вернусь и буду с тобой».

Берта была глубоко потрясена и в растерянности могла только пробормотать:

— Вы, безусловно, ошибаетесь.

Рупиус подтянул повыше плед, соскользнувший вниз, его, видимо, знобило. Продолжая говорить, он

натягивал плед все выше и, наконец, обеими руками прижал его к груди.

— Я это предвидел, предвидел за много лет, что наступит такая минута. И подумайте, что это за жизнь: ждать этой минуты, чувствовать себя беспомощным — и молчать! Что вы так смотрите на меня?

— Я? Нет! — сказала Берта и взглянула вниз, на рыночную площадь.

— Извините меня, что я заговорил об этом. Я не собирался этого делать; но когда я увидел, что вы проходите мимо... Я вам очень благодарен, что вы выслушали меня.

— Пожалуйста, — сказала Берта и невольно протянула ему руку. Поскольку он не заметил этого, рука ее осталась лежать на столе.

— Теперь всему пришел конец, — сказал Рупиус, — теперь начинается одиночество, начинается весь этот ужас.

— Но разве ваша жена... она ведь любит вас!.. Я глубоко убеждена, что вы напрасно тревожитесь. Разве не проще всего, господин Рупиус, попросить вашу жену отказать от этого путешествия?

— Просить? — чуть ли не высокомерно переспросил Рупиус. — Имею ли я вообще на это право? Все эти шесть или семь лет она и так оказывала мне милость, оставаясь со мной. Подумайте сами — в течение всех этих лет я не слышал от нее ни единой жалобы, что она погубила со мной свою молодость.

— Она вас любит, — уверенно сказала Берта, — этим все и объясняется.

Рупиус посмотрел на нее долгим взглядом.

— Я знаю, что вы хотите сказать, но не решаетесь. Но ваш муж, сударыня, покоится в могиле, а не спит каждую ночь рядом с вами. — Он поднял глаза вверх, взор его словно посылал проклятье небу.

Время шло, Берта вспомнила, что ей пора на вокзал.

— Когда ваша жена собирается ехать?

— Об этом мы еще не говорили. Но я вас задерживаю?

— Нет, конечно, нет, господин Рупиус, только... Разве Анна вам не говорила? Я как раз сегодня еду в Вену,

Она залилась краской. Он снова пристально посмотрел на нее. Можно было подумать, что ему все известно.

— Когда вы вернетесь? — сухо спросил он.

— Через два-три дня. — Ей хотелось сказать ему, что он ошибается, что едет она вовсе не к любимому человеку, что все то грязное и низменное, о чем он так неотступно и мучительно думает, в сущности, совсем не занимает женщин, но она не могла найти для этого нужных слов.

— Когда вы через два-три дня вернетесь, вы еще застанете мою жену здесь. Итак, прощайте и развлекайтесь хорошенько.

Она чувствовала, что он провожал ее взглядом, пока она шла по затененной комнате и по рыночной площади. И теперь, в купе, она все еще ощущала этот взгляд и слышала слова Рупиуса, в которых звучало такое безмерное горе, о каком она до сих пор не имела понятия. Это мучительное воспоминание подавило в ней всю радость от предстоящей встречи, и, по мере того как она приближалась к столице, на душе у нее становилось все тяжелее. Когда она думала о наступающем одиноком вечере, ей казалось, будто она едет куда-то на чужбину, в неизвестность, без всяких надежд. Письмо, все еще спрятанное у нее за корсажем, потеряло свое очарование, оно превратилось просто в шуршащий клочок исписанной бумаги, уже истрепавшейся по углам. Она попыталась представить себе наружность Эмиля. В памяти ее всплывали лица, чем-то похожие на него, иногда ей казалось, что вот наконец это он, но едва возникший облик тотчас ускользал. Берта стала сомневаться, правильно ли она поступила, что поехала сегодня. Почему она не подождала, по крайней мере, до понедельника? И она вынуждена была признаться себе: она едет на свидание с молодым человеком, с которым не виделась десять лет; он, возможно, ждет совсем не ту женщину, которая предстанет завтра перед ним. Да, именно это тревожило ее; теперь она поняла. Письмо, уже начавшее царапать ее нежную кожу, было адресовано двадцатилетней Берте, ибо Эмиль не мог знать, как она выглядит теперь. И пусть сама она уверена, что лицо ее сохранило девичьи черты, а фигура, только слегка пополневшая, не

утратила прежней стройности, — разве он, несмотря на все это, не увидит, как изменилась она за десять лет, как губительно отразилось на ней время, незаметно для нее самой?

Клостернейбург. Веселые голоса, шум шагов донеслись до ее слуха. Она выглянула из окна. Толпа школьников осадила поезд, мальчишки со смехом и криками влезали в вагоны. Берте невольно вспомнилось, как возвращались домой из загородных прогулок ее братья, и перед глазами возникла выкрашенная в голубой цвет комната, где тогда спали мальчишки. Ее охватил какой-то ужас при мысли, что все бывшее развеяно ветром, что люди, которым она обязана жизнью, умерли, а те, с кем она долгие годы жила под одной крышей, теперь далеко; что связи, казалось бы, установленные надолго, распались. Как все зыбко и бренно! А он... он писал ей так, словно за эти десять лет ничего не изменилось, словно не было похорон, рождений, страданий, болезней, забот; для него, по крайней мере, это было время счастья и славы. Она невольно покачала головой — столько непостижимого крылось во всем этом, что она растерялась. И даже шум поезда, который нес ее навстречу неизведанным впечатлениям, казался ей какой-то скорбной песней. Она подумала о недавнем прошлом, о последних днях, когда она была спокойна и довольна, когда у нее не было никаких желаний, когда она не испытывала ни раскаяния, ни ужаса. Как все это началось? Она не могла понять.

Поезд, казалось, все быстрее устремлялся к своей цели. Уже клубился, будто туман над пропастью, дым большого города. Сердце Берты учащенно забилося. Ей чудилось, что ее поджидает нечто неведомое, чему она не знает названия, какое-то сторукое чудовище, готовое схватить ее; каждый дом, мимо которого она проносилась, знал, что она едет, вечернее солнце на крышах сияло ей навстречу, но когда поезд подошел наконец к перрону, она вдруг почувствовала себя в безопасности. Теперь только Берта осознала, что она в Вене, в своей любимой Вене, в городе ее юности, ее мечтаний! Неужели она до сих пор совсем об этом не думала? Она приехала не из дому — нет, только теперь она наконец дома. Шум на вокзале приятно подействовал на нее, она радовалась суете людей и экипа-

жей, вся ее печаль отлетела. Вот стоит она, Берта Гарлан, молодая, красивая, в теплый майский вечер на вокзале Франца-Иосифа, свободная, никому не обязанная отчетом, и завтра, рано утром, она увидится с единственным человеком, которого она любила, с возлюбленным, который позвал ее...

Она остановилась в небольшой гостинице около вокзала, отчасти из бережливости, но также из некоторой застенчивости перед элегантными кельнерами и портье. Она получила комнату на четвертом этаже, окном на улицу; горничная закрыла его, когда гостя вошла; затем она принесла свежую воду, слуга поставил ее чемодан около печки, а кельнер положил перед ней опросный лист для приезжих; Берта тотчас же заполнила его со спокойной гордостью человека, у которого совесть чиста.

Ее охватило давно не испытанное чувство свободы: никаких повседневных хозяйственных забот, не нужно беседовать с родными и знакомыми; сегодня вечером она может делать, что ей угодно. Переодевшись, она открыла окно. Ей пришлось зажечь свечи, хотя на улице еще не совсем стемнело. Она облокотилась на подоконник и взглянула вниз. Снова вспомнила она свои детские годы, когда она часто смотрела из окна на улицу и иногда рядом с нею стоял брат, обнимая ее за плечи. Она с таким живым волнением вспомнила о своих родителях, что слезы навернулись у нее на глаза. Внизу уже зажглись фонари. Теперь бы следовало что-то предпринять. Тут она подумала, что завтра в это время... Она не могла себе представить, как все будет. В эту минуту проехала коляска, в ней сидели господин и дама. Если все пойдет, как бы ей хотелось, то завтра они вместе поедут за город, — да, это было бы самое приятное. Где-нибудь в тихом загородном ресторане, на столе свеча под стеклянным колпаком, он держит ее руку в своей, они словно молодая влюбленная пара, а потом — обратно, а потом... Нет, лучше не думать, что будет потом. Интересно, где он теперь? Один ли он? Или разговаривает с кем-нибудь? С кем же? С мужчиной, с женщиной? С девушкой? Впрочем, что ей за дело? Пока это ее совсем не касается. Как и его не касается то, что господин Клингеман вчера признался ей в любви, что ее племянник, наглый маль-

чишка, иногда целует ее, что она относится с большим уважением к господину Рупиусу. Завтра она распросит Эмиля,— да, она должна все хорошенько узнать, прежде чем... ну, прежде чем поехать с ним за город.

Итак, надо идти, но куда? В дверях она нерешительно остановилась. Единственное, что она могла придумать,— это немного пройтись и затем поужинать... Но где? Дама без кавалера... Нет, она поужинает здесь, у себя в комнате, и рано ляжет спать, чтобы выспаться и завтра быть свежей, молодой, красивой. Она заперла дверь и вышла на улицу.

Берта направилась во Внутренний город. Шла она очень быстро, так как ей было неприятно вечером ходить одной. Вскоре она вышла на Ринг и проследовала мимо университета до ратуши. Но это бесцельное блуждание не доставило ей никакого удовольствия. Ей стало скучно и захотелось есть, она села на конку и поехала обратно. У нее не было никакой охоты возвращаться к себе в номер. Уже с улицы она увидела, что ресторан при гостинице слабо освещен и, по-видимому, пуст. Там она поужинала, сразу почувствовала себя усталой и сонной, с трудом поднялась по лестнице, и когда, сидя на кровати, развязывала шнурки ботинок, то услышала, как на ближайшей колокольне пробило десять часов.

Проснувшись рано утром, она прежде всего поспешила к окну и подняла штору; ей не терпелось увидеть дневной свет и город. Утро было солнечное, и воздух такой свежий, как будто он вливался в улицы города из тысячи источников, из лесов и с холмов. Прелесть этого утра показалась Берте хорошим предзнаменованием; она удивилась тому, как странно и нелепо провела вчерашний вечер, будто сама не знала, зачем приехала в Вену. Она поняла, что ее так радует: уверенность, что долгая ночь уже не отделяет ее от желанного часа. Теперь она совсем не могла понять, как это она недавно была в Вене и даже не попыталась увидеться с Эмилем. Да, ее удивляло, что она, неизвестно почему, все время откладывала эту попытку, многие недели, месяцы, может быть, годы. Сначала ей даже не пришло в голову, что ведь она все это время почти не вспоминала о нем, но как только это достигло ее сознания, то поразило больше всего.

Теперь оставалось выдержать только четыре часа, и она увидит его. Она опять легла в постель, лежала сначала с открытыми глазами и шептала, точно хотела опьяниться этими словами: «Приди скорей!» Она слышит, как он сам произносит эти слова, не издалека, нет, а будто он с нею в одной комнате, будто она ощущает его дыхание на своих губах. «Приди скорей!» — говорил он, но это означало: «Будь моей, будь моей!..» И она раскрыла объятия, как бы готовясь прижать к сердцу любимого, и произнесла: «Я люблю тебя!» — протянув губы для поцелуя.

Наконец она встала и оделась. На этот раз она взяла с собой простое серое платье английского покроя, которое, по общему мнению, очень шло ей, и была вполне довольна собой, когда окончила свой туалет. Правда, она не выглядела в нем как эlegantная венская дама, но и не казалась провинциальной львицей; вернее всего, она походила на гувернантку из графского или княжеского дома. Да, действительно, в ней было что-то девичье; никто не принял бы ее за замужнюю женщину, мать пятилетнего сына. Конечно, подумала она с легким вздохом, она всегда жила скорее как девушка. Но поэтому она и чувствовала себя теперь, словно невеста.

Девять часов. Еще два долгих часа. Что ей делать до тех пор? Она велела принести кофе, села за стол, медленно выпила чашку. Нет никакого смысла дольше оставаться в гостинице. Лучше сейчас же выйти в город.

Берта погуляла немного по улицам предместья, с удовольствием чувствуя на щеках прикосновение ветра. Что подельвает теперь ее мальчуган? Вероятно, Элли играет с ним. Берта направилась к Народному саду; она рада будет походить по аллеям, где много лет тому назад играла ребенком. Через ворота против Бургтеатра она вошла в сад. В этот ранний час там было мало народа. Дети играли на песке, на скамьях сидели бонны и няни, маленькие девочки бегали вверх и вниз по ступеням «храма Тезея» и резвились среди его колонн. В тенистых аллеях гуляли большей частью пожилые люди; юноши и девушки, учившие что-то по толстым тетрадам, дамы с книжками в руках сидели на скамьях в прохладной тени деревьев. Берта присела

на скамью и стала смотреть, как две девочки прыгают через веревочку, так и она часто играла в детстве, чуть ли не на этом самом месте. Легкий ветерок шелестел листвою, издали слышны были крики и смех детей, игравших в пятнашки, шум приближался, вот вся ватага промчалась мимо нее. Молодой человек в длинном сюртуке медленно прошел по аллее, но в конце ее обернулся и посмотрел на Берту, это приятно взволновало ее. Затем прошла молодая пара; женщина со свитком нот в руке, красиво, но довольно вызывающе одетая, мужчина гладко выбритый, в светлом летнем костюме и в цилиндре. Берта полагала, что своим опытным глазом угадала в нем будущего актера, а в ней — студентку консерватории. Было очень приятно сидеть здесь одной, без забот, смотреть, как мимо проходят люди, как бегают, играют дети. Да, хорошо было бы жить в Вене и делать, что захочется. Кто знает, как все сложится, что сулит ей ближайший час, каким представится ей будущее сегодня вечером? Что заставляет ее, собственно говоря, жить в этом ужасном маленьком городе? Если она подрабатывает уроками там, то может делать это и здесь, почему бы и нет? Здесь уроки оплачиваются лучше, и... Ах, вот это мысль!.. Если он поможет ей, если он, знаменитый музыкант, будет рекомендовать ее? Конечно, достаточно одного его слова. Что, если она поговорит с ним об этом? Не будет ли это гораздо лучше и для ее мальчугана? Через несколько лет он поступит в гимназию, а здесь гимназии, конечно, лучше, чем там. Нет, невозможно всю жизнь прожить в маленьком городе, в самом недалеком будущем она должна переехать в Вену! Да, даже если ей придется в чем-то себя урезать, и... и... Тщетно пытается она отогнать смелые мысли, осаждающие ее... Если она понравится Эмилю, если он снова... Если он все еще любит ее... и захочет назвать своей женой? Если у нее есть хоть капля разума, если она не уступит ему, если сумеет его удержать. Она немного стыдится своей хитрости, но разве так плохо, что она об этом думает, ведь она его любит и никогда не любила другого... И разве весь тон его письма не дает ей права думать об этом? И когда теперь ей приходит в голову, что через несколько минут она увидит того, на кого возлагает столько надежд, у нее темнеет в глазах. Она

встает, но едва держится на ногах. Там, возле выхода из сада, против Бургтеатра, она видит удаляющуюся молодую пару, которая только что прошла мимо нее. Берта следует тем же путем. За садом она видит, как сверкает высокий купол музея. Она будет идти медленно, чтобы не казаться возбужденной и запыхавшейся, когда увидит его. Снова ее охватывает страх — а вдруг он не придет? Но что бы там ни было, на этот раз она не покинет Вену, не повидав его! А разве не лучше, чтобы он сегодня не приходил? Она теперь так смущена... вдруг она скажет какую-нибудь глупость? От ближайшего мгновенья зависит многое, может быть, все ее будущее!.. Вот и музей. Теперь вверх по ступеням, открыть тяжелую дверь — и вот она в прохладном вестибюле, перед нею огромная лестница и там, где она расходится направо и налево, колоссальная мраморная статуя Тезея, убивающего Минотавра. Медленно поднимается она, оглядывается кругом, успокаивается. Окружающее величие поражает ее. Она смотрит вверх, на галерею с золочеными перилами внутри купола, и останавливается. Вот дверь, на ней надпись золотыми буквами: «Голландская школа». Сердце у нее замирает. За дверью — анфилада залов. Всюду перед картинами стоят люди. Она входит в первый зал, внимательно рассматривает первую картину, висящую у самого входа. Ей вспоминается папка господина Рупиуса. И вдруг она слышит слова:

— Доброе утро, Берта.

Это его голос. Она оборачивается. Эмиль стоит перед нею, молодой, стройный, эlegantный, чуть бледный; с улыбкой, в которой ей чудится легкая насмешка, он склоняется перед ней, берет ее руку и на некоторое время задерживает в своей. Это он — и кажется, будто они только вчера расстались.

— Привет тебе, Эмиль! — говорит она, и они всматриваются друг в друга. В его взгляде можно прочесть многое: удовольствие, любезность и некоторую настроенность. Она очень ясно это чувствует, но в ее глазах, устремленных на него, светится только счастье.

— Ну, как ты поживаешь? — спрашивает он.

— Хорошо.

— Странно спрашивать об этом после восьми или

девяти лет разлуки. Тебе, вероятно, приходилось повсякому.

— Это правда; ты знаешь, мой муж умер три года тому назад.— Она чувствует, что должна придать лицу печальное выражение.

— Да, я это знаю, и знаю также, что у тебя есть маленький сын. Кто мне все это рассказал?

— Кто же?

— Ну, я вспомню как-нибудь. А вот что ты интересуешься картинами, для меня новость.

Она улыбается.

— Правду сказать, я пришла сюда не только ради картин. Но ты не думай, что я такая глупая. Я интересуюсь и картинами.

— Да, и я тоже. Если говорить откровенно, то больше всего я хотел бы стать художником.

— Но ты можешь быть вполне доволен тем, чего ты достиг.

— Ну... этого в немногих словах не выразишь. Мне очень приятно, что я хорошо играю на скрипке, но что останется от моего искусства? Я хочу сказать, что останется, когда я умру,— в лучшем случае мое имя, на какое-то время. А это,— он указал глазами на картину, перед которой они стояли,— это все-таки совсем другое.

— Ты страшно честолюбив.

Он как-то рассеянно посмотрел на нее.

— Честолюбив? Ну, это не так просто. Но переменим тему. Чего ради мы завели теоретические разговоры об искусстве, когда целых сто лет не виделись! Расскажи мне о себе, Берта! Чем ты занимаешься? Как живешь? И как тебе пришло в голову поздравить меня с этим нелепым орденом?

Она снова улыбнулась.

— Мне просто захотелось написать тебе. И главное, хотелось получить весточку от тебя. Право, это очень любезно с твоей стороны, что ты сразу ответил.

— Это вовсе не любезность, дорогая. Я так обрадовался, получив вдруг твое письмо, я сейчас же узнал твой почерк. У тебя все еще почерк школьницы, как... ну, скажем, как в былые времена, хотя я не выношу таких слов.

— Почему же? — несколько удивленно спросила она.

Он взглянул на нее, затем быстро спросил:

— Ну, так как же ты живешь? Вероятно, очень скучаешь?

— Скучать мне некогда, — серьезно возразила она, — ведь я даю уроки.

— О! — воскликнул он, и в тоне его послышалось такое бесконечное сожаление, что она сочла необходимым быстро прибавить:

— Не потому, что я очень нуждаюсь, но все же это очень кстати, так как... — Она чувствует, что лучше всего ей быть с ним совершенно откровенной. — На небольшие средства, которыми я располагаю, едва можно прожить.

— Что же ты, собственно говоря, преподаешь?

— Как что? Разве я не сказала тебе, что даю уроки игры на рояле?

— На рояле? Ах, вот как... Да, верно. Ты была очень талантлива. Если бы ты тогда не ушла... Видишь ли, великой пианисткой ты, возможно, и не стала бы, но некоторые вещи ты играла по-настоящему талантливо. Например, Шопена и маленькие пьесы Шумана ты исполняла прекрасно.

— Ты еще помнишь об этом?

— В общем, ты сделала правильный выбор.

— Почему?

— Если не можешь достичь совершенства, то уж лучше выйти замуж и растить детей.

— У меня только один ребенок.

Он засмеялся.

— Вот и расскажи мне что-нибудь о твоем единственном ребенке. И вообще о твоей жизни. — Они уселись на диван в небольшом зале перед картинами Рембрандта.

— Что тебе рассказать? Это совсем не интересно. Расскажи мне лучше о себе. — Она с восхищением смотрела на него. — Тебе очень повезло, ты так знаменит...

Он слегка скривил нижнюю губу, словно выражая неудовольствие.

— Ну да, — настойчиво продолжала она, — совсем недавно я видела твой портрет в иллюстрированном журнале.

— Да, да, — нетерпеливо ответил он.

— Но я всегда это знала, — продолжала она. — Помнишь, как ты на выпускном экзамене исполнял концерт Мендельсона, все уже тогда предсказывали тебе большое будущее.

— Прошу тебя, милая, не будем делать друг другу комплиментов!.. Что за человек был, в сущности, твой покойный муж?

— Он был достойный, благородный человек.

— Знаешь ли ты, что я встретил твоего отца за неделю до его смерти?

— Вот как?

— Ты не знала этого?

— Он ничего об этом не рассказывал...

— Мы, должно быть, четверть часа простояли с ним на улице. Я тогда как раз вернулся из моего первого концертного турне.

— Он ни слова мне не сказал — ни слова! — возмущенно сказала она, как будто отец ее упустил тогда что-то важное, от чего вся ее жизнь могла пойти по-другому. — Но почему ты тогда не пришел к нам? Как вообще случилось, что ты вдруг перестал бывать у нас, еще задолго до этого?

— Вдруг? Нет, постепенно...

Он долго смотрел на нее, и на сей раз глаза его скользнули по всему ее телу так, что она невольно подобрала под себя ноги, а руки, словно защищаясь, прижала к груди.

— Как получилось, что ты вышла замуж?

Она рассказала ему историю своего замужества. Эмиль слушал ее, по-видимому, внимательно, но пока она, сидя на диване, продолжала говорить, он поднялся и стал смотреть в окно. Когда она кончила, упомянув о сердечном отношении к ней родственников мужа, он сказал:

— Может быть, посмотрим картины, раз уж мы здесь?

Они медленно пошли по залам, то тут, то там останавливаясь перед какой-нибудь картиной, Берта иногда говорила: «Чудесно! Прекрасно!» В таких случаях он только кивал головой. Ей показалось, будто он совсем забыл, что она рядом с ним. Она ощущала легкую ревность к картинам, заинтересовавшим его. Вдруг Берта

увидела перед собой картину, знакомую ей по альбому господина Рупиуса. Эмиль хотел пройти мимо, но она остановилась и приветствовала картину, как старую знакомую.

— Какая прекрасная вещь, Эмиль! — воскликнула она. — Не правда ли, красиво? Вообще я очень люблю картины Фалькенборга. — Он несколько удивленно посмотрел на нее. Она смутилась и попыталась объяснить подробнее: — Потому что в них невероятно много... потому что целый мир... — Она почувствовала, что поступает нечестно — обкрадывает человека, который не может защищаться, и, как бы раскаиваясь, прибавила: — Дело в том, что у одного господина в нашем городе есть альбом, или, вернее, папка с гравюрами, и потому я знаю эту картину. Это некий Рупиус; он тяжело болен, представь себе, он совершенно разбит параличом. — Она считала себя обязанной сообщить все это Эмилю, потому что ей казалось, что она все время читает в его глазах вопрос.

Теперь он сказал, улыбаясь:

— Это могло бы стать особой темой для разговора. У вас там, конечно, найдутся мужчины... — Он прибавил тише, будто немного стыдясь не деликатности своей шутки: — ...и не разбитые параличом.

Ей показалось, что она должна взять под защиту господина Рупиуса, и она сказала:

— Это очень несчастный человек. — Она вспомнила, как вчера сидела у него на балконе, и почувствовала огромное сострадание к нему. Но Эмиль следил за ходом своих собственных мыслей и спросил ее:

— Да, я очень хотел бы знать, что тебе довелось пережить за это время.

— Ты уже знаешь.

— Я хочу сказать, после смерти твоего мужа.

Теперь она поняла, что он имеет в виду, и это ее немного задело.

— Я живу только ради сына, — решительно сказала она, — и не принимаю никаких ухаживаний. Я себе ничего не позволяю.

Его рассмешил комично серьезный тон, которым она заверяла в своем благонравном поведении. Она сразу поняла, что должна была выразить это совсем иначе, и тоже засмеялась.

— Долго ли ты пробудешь в Вене? — спросил Эмиль.

— До завтра или до послезавтра.

— Так мало? А где ты поселилась?

— У кузины, — ответила она. Что-то помешало ей признаться, что она поселилась в гостинице. Но она тут же подосадовала на себя за эту глупую ложь и решила поправиться. Эмиль быстро спросил:

— Надеюсь, у тебя найдется немного времени и для меня?

— О да!

— Так мы могли бы теперь же условиться. — Он посмотрел на часы. — О!

— Тебе надо уходить? — спросила она.

— Да, я, собственно говоря, должен был уйти уже в двенадцать...

Ей стало очень неприятно, что она снова останется одна, и она сказала:

— У меня сколько угодно свободного времени. Понятно, я не могу задерживаться слишком поздно.

— Твоя кухня такая строгая?

— Но, — сказала она, — на этот раз я поселилась не у нее...

Он удивленно посмотрел на нее.

Она покраснела.

— Только временно... Я хочу сказать, иногда... знаешь, у нее такая большая семья...

— Так ты поселилась в гостинице, — с легким нетерпением сказал он. — Ну, значит, ты никому не обязана отчетом, и мы можем очень мило провести этот вечер.

— С удовольствием. Только я не хотела бы возвращаться слишком поздно... и в гостиницу тоже...

— Нет, мы просто поужинаем, и в десять часов ты сможешь уже лечь спать.

Они медленно спускались по большой лестнице.

— Итак, если тебе удобно, — сказал Эмиль, — встретимся в семь часов.

Она хотела возразить: «Так поздно?», но сдержалась, вспомнив свой обет: не выдавать себя.

— Хорошо, в семь.

— А где именно?.. Пожалуй, на улице? Оттуда мы всегда сможем отправиться, куда захотим, — нам, так сказать, будут открыты все пути... да...

Теперь она чувствовала совершенно отчетливо, что он думает о чем-то другом. Они прошли через вестибюль. У выхода они остановились.

— Итак, в семь у Елизаветинского моста.

— Да, хорошо, в семь у Елизаветинского моста.

Перед ними простиралась озаренная полуденным солнцем площадь с памятником Марии-Терезии. Было тепло, но поднялся очень сильный ветер. Берте показалось, что Эмиль рассматривает ее испытующим взглядом. Он сразу предстал перед ней холодным и чуждым, совсем не таким, как там, перед картинами. Вот он заговорил:

— Теперь прощаемся.

Она почувствовала себя несчастной от того, что он готов ее оставить.

— Не хочешь ли ты... или не могу ли я тебя немного проводить?

— Ах, нет, — сказал он. — Ведь сегодня такой ветер. Идти рука об руку и все время хвататься за шляпу, чтобы она не слетела, это не слишком большое удовольствие. Вообще на улице не разговоришься, а к тому же я очень тороплюсь... Но, может быть, проводить тебя до извозчика?

— Нет, нет, я пойду пешком.

— Можно и так. Итак, храни тебя бог, и до встречи сегодня вечером...

Он протянул ей руку и поспешно пересек площадь. Она долго смотрела ему вслед, он снял шляпу и держал ее в руке, ветер развеивал его волосы. Он пересек Ринг, прошел сквозь арку Бургтор и скрылся из виду.

Неволью она последовала за ним, замедлив шаг. Почему он вдруг стал так холоден? Почему так быстро ушел и не захотел, чтобы она его проводила? Неужели он стыдится ее? Она осмотрела себя; может быть, она все-таки одета смешно, как провинциалка? О нет! Да и по взглядам прохожих она могла судить, что выглядит отнюдь не смешно, а, наоборот, очень хорошо. Почему же он так поспешно распрощался с нею? Она вспомнила прежнее время, ведь, кажется, у него и раньше была эта странная манера совершенно неожиданно прерывать разговор; он словно отодвигался куда-то, и все его существо тогда выражало нетерпенье, которого он не мог побороть. Да, конечно, и прежде это бывало. Быть

может, только меньше бросалось в глаза, чем теперь. Она припомнила еще, как она подшучивала над его капризами и приписывала их его «артистической натуре». А с тех пор он стал большим артистом и, конечно, еще более капризным.

На башенных часах пробило полдень, ветер крепчал, в глаза Берте летела пыль. У нее была уйма свободного времени, и она не знала, что придумать. Почему он пожелал увидеться с нею только в семь часов? Ведь она бессознательно рассчитывала, что он весь день проведет с нею. Чем он занят? Быть может, он должен подготовиться к концерту? И она представила себе, что он стоит со скрипкой в руке, прислонившись к шкафу или к роялю, как много лет назад у них дома. Да, хорошо бы теперь сидеть у него в комнате на диване, слушая, как он играет, или даже аккомпанировать ему на рояле. Пошла бы она к нему, если бы он ее попросил? Почему он этого не сделал? Нет, он не мог пригласить ее к себе в первый же час их встречи... Но вечером — позовет ли он ее к себе сегодня вечером? И пойдет ли она? А если пойдет, сможет ли она отказать ему в чем-нибудь другом, когда он попросит? В его устах все звучит так просто и безобидно. Как просто отделался он хотя бы от всех этих десяти лет. Разве не заговорил он с нею так непринужденно, словно они все это время виделись каждый день? «Доброе утро, Берта. Как ты поживаешь?» Так обращаются к человеку, которому накануне вечером, прощаясь, сказали «Спокойной ночи!» или «До свидания!». А сколько всего он пережил с тех пор! И бог знает, кто сидит сегодня днем у него в комнате на диване, когда он, прислонившись к роялю, играет... Нет, нет, об этом она не хочет думать. Если додумать эту мысль до конца, то не лучше ли просто вернуться домой?

Она прошла мимо решетки Народного сада и увидела аллею, где сидела час тому назад и по которой ветер гнал теперь тучи пыли. Итак, то, чего она столь страстно желала, свершилось. Она увиделась с ним. Была ли эта встреча так радостна, как она ожидала? Чувствовала ли она что-нибудь необыкновенное, когда он шел рядом с нею, касаясь ее руки? Нет. Огорчилась ли, когда он внезапно ушел? Может быть. Готова ли уехать, не увидев его снова? Боже упаси, нет! Ужас охватил ее при этой мысли. Разве не была ее жизнь в

последние дни наполнена им одним? И разве все минувшие годы не таили в себе один-единственный смысл — снова соединить их в назначенный час? Ах, будь она хоть немного опытнее, хоть немного практичнее! Ей хотелось найти в себе силы самой наметить определенный путь. Она спрашивала себя, что благоразумнее: быть сдержанной или податливой? Она хотела бы знать, что может позволить себе сегодня вечером, что ей делать, чтобы вернее его покорить. Она сознавала, что может легко завладеть им и так же легко потерять его. Но она знала также, что все эти рассуждения ей не помогут и она сделает все, что он захочет.

Берта очутилась перед Вотивкирхе, где скрещивается несколько улиц. Здесь ветер просто невыносим. Пора обедать. Но сегодня ей не хочется возвращаться в свою скромную гостиницу. Она направляется во Внутренний город. Внезапно ей приходит в голову, что она может встретить кузину, но ее это нисколько не пугает. А вдруг деверь все-таки поехал за нею следом? И эта мысль тоже ничуть не тревожит ее. Она знает, что имеет право распорядиться собой и своим временем, как никогда раньше. Она неторопливо бродит по улицам, с удовольствием рассматривает витрины. На площади святого Стефана ей захотелось ненадолго зайти в собор. В сумрачном, холодном, огромном храме ее охватило чувство глубокого покоя. Берта никогда не была набожна, но в дом господень входила с благоговением и всегда облекала свои молитвы в определенную форму, ибо искала какой-нибудь способ вознести к небу свои пожелания. Сначала она прошлась по собору, словно иностранка, осматривающая красивое здание. Перед маленьким алтарем в боковом приделе присела на скамью.

Ей вспомнился день ее венчания, и она увидела себя вместе с покойным мужем перед священником, но это было так бесконечно далеко и так мало трогало ее, будто она думала о совершенно чужих людях. Но вдруг, подобно тому как меняются картины в волшебном фонаре, вместо мужа она увидела рядом с собой Эмиля, и так четко, помимо ее воли, рисовалась ей эта картина, что она восприняла ее, словно предзнаменование свыше. Невольно она сложила руки и прошептала: «Да будет так». И словно для того, чтобы придать своему желанию большую силу, она еще некоторое время просидела на

скамье, пытаюсь удержать в сознании привидевшийся ей образ. Через несколько минут она снова вышла на улицу, где яркий свет и шум поразили ее как нечто новое, давно не испытанное ею, будто она пробыла в церкви долгие часы. Она была спокойна и преисполнена надежд.

Пообедала она в хорошем ресторане на Кернтнерштрассе. Она чувствовала себя уверенно и считала теперь, что поступила прямо-таки по-детски, не остановившись в первоклассной гостинице. Вернувшись к себе в номер, она переоделась; от непривычно обильного обеда и выпитого вина ее так разморило, что она вытянулась на диване и заснула. Когда она проснулась, было уже пять часов. Ей совершенно не хотелось вставать. Обычно в этот час... Что бы она делала теперь, если бы не поехала в Вену? Если бы он ей не ответил — если бы она не написала ему? Если бы он не получил ордена? Если бы она не увидела его портрет в иллюстрированном журнале? Если бы ничто не напомнило ей об его существовании? Если бы он стал безвестным скрипачом в одном из оркестров предместья? Что за странные мысли! Разве она любит его потому, что он знаменит? Какое это имеет для нее значение? Да и вообще, интересуется ли она его игрой на скрипке? Разве не лучше было бы, если бы Эмиль вовсе не был знаменит и окружен поклонением? Конечно, тогда она чувствовала бы себя гораздо ближе к нему, роднее, не робела бы так перед ним, да и он относился бы к ней по-другому. Он и теперь очень любезен, а все-таки... тут до ее сознания доходит — ведь что-то стояло сегодня между ними, отдавая их друг от друга. Да, и это объясняется только тем, что он человек с мировым именем, а она — всего лишь глупая провинциалка. И она вдруг вспомнила, как он стоял в зале перед Рембрандтом и смотрел в окно, когда она рассказывала; как торопливо попрощался с нею, как быстро ушел, просто убежал. Но разве она сама испытывала то, что чувствуют к любимому человеку? Была ли она счастлива, когда он говорил с нею? Хотелось ли ей поцеловать его, когда он стоял около нее?.. Ничего подобного. И радует ли ее предстоящий вечер? Рада ли она, что через два часа увидит его? И будь в ее власти перенестись теперь в другое место, не предпочла бы она очутиться дома, с сыном,

пойти с ним гулять среди виноградников, без тревог и без волнений, как достойная мать и порядочная женщина, вместо того чтобы лежать здесь, на скверном диване в неудобном номере гостиницы, и тревожно, но без страстного нетерпения ждать наступления вечера? Она вспомнила то время, еще такое недавнее, когда весь круг ее забот составляли только ребенок, хозяйство, уроки, — разве не была она тогда довольна, почти счастлива?.. Она посмотрела вокруг. Убогая комната гостиницы, стены, безвкусно окрашенные в голубой и белый цвета, грязные пятна на потолке, шкаф с полуоткрытой дверцей — все это ей глубоко противно. Нет, это не для нее! С неудовольствием вспоминает она обед в перво-разрядном ресторане, свою беготню по городу, усталость, ветер и пыль; можно подумать, будто она стала бродягой. И вдруг ее пронзает мысль, не случилось ли чего-нибудь дома! У мальчика может сделаться лихорадка, родные телеграфируют в Вену ее кузине или даже приедут за ней и не найдут ее, и тогда выяснится, что она лгала, словно какая-нибудь дурная женщина, у которой есть все основания лгать... Ужасно подумать, как она будет выглядеть! В глазах невестки, деверя, Элли, в глазах взрослого племянника... в глазах всего города, который тотчас обо всем узнает... в глазах господина Рупиуса! Нет, право, она не создана для всего этого! Как по-детски, как неумело она все это затеяла, довольно малейшей случайности, чтобы выдать ее. Почему же она обо всем этом не подумала раньше? Неужели ею так сильно овладело желание снова увидиться с Эмилем, что ради этого она все поставила на карту — свое доброе имя, свое будущее? Ибо кто знает, не откажутся ли от нее родные, не лишится ли она уроков, когда все выяснится? Все... Но что, что выяснится? Что произошло? В чем она может упрекнуть себя? И с радостным чувством, с чистой совестью она отвечает себе: ни в чем. И она может сегодня же... сейчас же уехать из Вены, семичасовым поездом, в десять быть дома, в своей уютной комнате, со своим любимым мальчиком... Да, это она может сделать. Правда, мальчика нет дома... но она пошлет за ним... Нет, этого она не делает, не уедет... нет, для этого нет никаких оснований — и завтра утром будет еще не поздно. Сегодня вечером она прощается с Эмилем... да, она сразу сообщит

ему, что завтра утром едет домой, что она вообще приехала только для того, чтобы хоть раз пожать ему руку... Да, так будет лучше всего. О, он может проводить ее до гостиницы — ах, боже мой — и поужинать с нею в каком-нибудь ресторане, в саду... и она уйдет от него, как пришла... Да, кроме того, по его поведению она увидит, как он на самом деле относится к ней; она будет сдержанна, даже холодна, и это ей совсем не трудно, потому что она спокойна, совершенно спокойна. Ей кажется, что все ее желания снова угасли, и она отчетливо сознает, что ее назначение — быть и оставаться порядочной женщиной. Молодой девушкой она отвергала все домогательства, потом была верна мужу, став вдовой, не знала искушений... короче говоря, если он захочет жениться на ней, она будет очень рада этому, но любое дерзкое предложение отвергнет так же строго, как... как двенадцать лет тому назад, когда он возле Пауланеркирхе показал ей свое окно.

Она встает, потягивается, подходит к окну. Небо стало пасмурным, с гор надвигаются тучи, но порывистый ветер утих. Берта готовится к выходу.

Едва Берта вышла из гостиницы, как полил дождь. Под зонтом она могла не опасаться нежелательных встреч. Воздух был напоен благоуханием, словно вместе с дождем разливалось по городу дыхание окружающих его лесов. Берта наслаждалась прогулкой, и самая цель ее пути только смутно мерцала перед ней. Она так устала от полноты сменяющихся чувств, что уже ничего не чувствовала. У нее не было ни страха, ни надежд, ни планов. Она снова прошла мимо сада, по Рингу, с радостью впивая запах влажной сирени. Сегодня утром она даже не заметила, что все вокруг пестрит лиловыми цветами. Внезапно мелькнувшая мысль вызвала у нее улыбку: она зашла в цветочный магазин и купила букетик фиалок. Она поднесла фиалки ко рту, и ее охватила глубокая нежность; она подумала: сегодня в семь уходит поезд туда, домой, и обрадовалась, будто кого-то перехитрила. Она медленно перешла через мост. И вспомнила, как несколько дней тому назад переходила этот же мост, чтобы попасть на ту улицу, где он прежде жил, и снова увидеть его окно. Здесь ужасная суতোлка, два людских потока устремляются навстречу друг другу — один из предместья в город, другой из города в пред-

местье; едут всевозможные экипажи, слышатся звонки, свистки, крики кучеров; Берта хочет остановиться, но ее толкают вперед. Вдруг она слышит совсем рядом протяжный свист. Возле нее останавливается карета, чья-то голова высовывается из окна. Это он. Он подзывает ее глазами; несколько человек тотчас обращают на это внимание, им хочется слышать, что скажет молодой человек даме, подошедшей к его карете. Он очень тихо спрашивает:

— Не хочешь ли сесть?

— К тебе?

— Ну да, ведь дождь идет.

— Я, собственно говоря, хотела бы пойти пешком.

— Как хочешь.— Эмиль быстро выходит, расплачивается с кучером.

Берта с некоторым испугом замечает, что с полдюжины людей стоят вокруг них и с большим нетерпением ждут, как развернется дальше это удивительное происшествие. Эмиль говорит Берте: «Пойдем». Они быстро переходят через улицу и таким образом спасаются от любопытных. Теперь они медленно идут вдоль набережной Вены, по одной из менее оживленных улиц.

— У тебя даже нет зонта, Эмиль!

— Непустишь ли ты меня под свой? Подожди, так не годится.

Он берет у нее из рук зонт, держит его над ними обоими и подхватывает ее под руку. Теперь она чувствует, что это его рука, и очень рада этому.

— С загородной прогулкой, к сожалению, ничего не выходит,— говорит он.

— Жаль.

— Как ты провела день?

Она рассказывает о роскошном ресторане, где она обедала.

— Почему же ты мне ничего не сказала? Я думал, ты обедаешь у кузины; мы могли бы отлично пообедать вместе.

— Ты же был занят,— говорит она с некоторой гордостью оттого, что нашла такой легкий, насмешливый тон.

— Ну да, во всяком случае, после обеда; мне пришлось выслушать почти целую оперу.

— Как это?

— У меня был молодой композитор, впрочем, очень галантный человек.

Она очень рада; оказывается, вот чем он занимается днем. Он останавливается и, не выпуская ее руки, смотрит ей в лицо.

— Знаешь, ведь ты стала гораздо красивее! Да, кроме шуток! А теперь скажи наконец откровенно: как тебе пришло в голову написать мне?

— Но я тебе уже говорила.

— Так ты все это время думала обо мне?

— Очень часто.

— Даже когда был жив твой муж?

— Конечно, я всегда думала о тебе. А ты?

— Часто, очень часто.

— Но...

— Что же?..

— Ты ведь мужчина.

— Да, но что ты хочешь этим сказать?

— Ты, конечно, многих любил.

— Любил... любил... О да, конечно.

— А я, — живо говорит она, как будто правда неудержимо рвалась из нее, — а я никого не любила, кроме тебя.

Он берет ее руку и подносит к губам. Потом говорит:

— Ну, это еще надо доказать.

— А я принесла тебе фиалки.

Он улыбается.

— Что же, это и есть доказательство? Ты это сказала так, будто с тех пор, как мы не виделись, ты только и делала, что собирала или, по крайней мере, покупала для меня фиалки. Впрочем, очень тебе благодарен. Почему ты не захотела сесть в карету?

— Так приятно пройти пешком.

— Но если ходить долго... Мы все-таки поужинаем вместе?

— С большим удовольствием. Здесь недалеко, например, есть ресторанчик, — поспешила прибавить она.

Он засмеялся.

— Ах, нет, мы все это устроим немножко поуютнее.

Она опустила глаза. Затем сказала:

— Не хочется сидеть за одним столом с чужими людьми.

— Конечно, нет. Мы даже пойдём в такое место, где совсем никого не будет.

— Что это ты выдумал! — сказала она. — Этого я не сделаю.

Он пожал плечами.

— Как хочешь. Ты уже успела проголодаться?

— Нет, нисколько.

Оба замолчали. Затем он сказал:

— А смогу я когда-нибудь познакомиться с твоим мальчуганом?

— Конечно, — радостно ответила она. — Когда захочешь. — Она начала рассказывать о мальчике, а потом перешла на свою родню. Эмиль иногда задавал какой-нибудь вопрос, и вскоре он уже знал все, что делалось в городе, вплоть до домогательств Клингемана, о которых Берта рассказывала смеясь, но с некоторым удовлетворением.

Горели фонари, бросая отблески на мокрую мостовую.

— Милая детка, мы не можем всю ночь расхаживать по улицам, — вдруг сказал Эмиль.

— Да... Но не могу же я пойти с тобой... в ресторан. Представь себе только, что я случайно встречу кузину или еще кого-нибудь.

— Не беспокойся, нас никто не увидит. — Он быстро вошел в какие-то ворота и закрыл зонтик.

— Куда ты идешь? — Она заглянула в большой сад. Вдоль стен, под парусиновым навесом, за накрытыми столами сидели люди.

— Ты думаешь, здесь?

— Нет, идем, идем. — Тут же, направо от ворот, была маленькая дверь, она оказалась не запертой. — Сюда, сюда.

Они очутились в узком, освещенном коридоре, по обе стороны его шел ряд дверей. Кельнер поклонился им, пошел вперед, до конца коридора, открыл последнюю дверь и, пропустив гостей, закрыл ее за ними. Посреди маленькой комнаты стоял столик с тремя приборами, у стены голубой бархатный диван, против него висело овальное зеркало в золоченой раме. Перед зеркалом Берта сняла шляпу и заметила нацарапанные на стекле имена: «Ирма» и «Руди». В зеркале она увидела, как сзади к ней подошел Эмиль. Он взял в ладони ее

лицо, закинул ей голову назад и поцеловал в губы. Затем, не говоря ни слова, повернулся и позвонил. Тотчас, будто он ждал за дверью, вошел очень молодой кельнер. Приняв заказ, он вышел, и Эмиль сел. «Ну, Берта?» Она обернулась к нему, он слегка сжал ее руку и не выпускал, даже когда Берта села рядом с ним в угол дивана. Другой рукой она машинально погладила его по голове.

Вошел кельнер постарше, и Эмиль составил меню. Берта была со всем согласна. Как только кельнер ушел, Эмиль сказал:

— Как тут не спросить, почему только сегодня?

— Что ты хочешь этим сказать?

— Почему ты не написала мне гораздо раньше?

— Да... если бы ты раньше получил орден!

Он взял ее руку и поцеловал.

— Ты ведь часто бываешь в Вене.

— О нет!

Он взглянул на нее.

— Но ты же мне писала что-то в этом роде?

Теперь она вспомнила и покраснела.

— Ну да, иногда бываю... В этот понедельник я была здесь.

Кельнер принес сардины и икру и ушел.

— Теперь,— сказал Эмиль,— по-видимому, как раз пришло время.

— Чему?

— Нам снова встретиться.

— О, меня часто тянуло к тебе.

Он задумался. Затем сказал:

— Пожалуй, хорошо, что все тогда сложилось именно так, а не иначе. Потому-то у нас и сохранились такие прекрасные воспоминания.

— Да, прекрасные.

Они умолкли. Потом она сказала:

— А помнишь...— И она заговорила о далеком прошлом, о прогулках в Городском парке и о его первом выступлении в консерватории. Он кивал головой, рука его лежала на спинке дивана, слегка касаясь ее волос, вьющихся на затылке. Иногда он вставлял словечко. И тоже вспоминал; он даже припомнил одну утреннюю воскресную прогулку по аллеям Пратера, о которой она забыла.

— А ты еще помнишь,— сказала Берта,— что мы...— она не решалась сказать это,— однажды чуть было не обручились?

— Да,— ответил он.— И как знать...— Он хотел, может быть, сказать: для меня было бы самое лучшее, если бы я женился на тебе, но не сказал.

Эмиль заказал шампанское.

— Последний раз я пила шампанское не так давно,— сказала Берта,— полгода тому назад, когда справляли пятидесятилетие моего деверя.

Она подумала о вечерах в доме деверя и удивилась тому, как далеко отодвинулся от нее теперь городок со всеми его обитателями. Молодой кельнер принес ведерко со льдом и вино. Берте пришло в голову, что Эмиль, конечно, бывал здесь не раз с другими женщинами. Но это ее почти не трогало.

Они чокнулись и выпили. Эмиль обнял Берту и поцеловал. Этот поцелуй напомнил ей что-то... Что же именно? Поцелуй в былые времена, когда она была молодой девушкой?.. Поцелуй мужа?.. Нет... И вдруг она вспомнила: именно так целовал ее недавно юный племянник.

Кельнер принес фрукты и печенье. Эмиль положил Берте на тарелку несколько фиников и виноград.

— Почему ты ничего не говоришь? — спросила Берта.— Почему ты все время даешь говорить только мне одной? А ты мог бы так много рассказать.

— Я?..— Он медленно потягивал вино.

— Ну да, о твоих путешествиях.

— Ах, боже мой, все города похожи один на другой. Не забывай, что для собственного удовольствия я путешествую очень редко.

— Да, это естественно.— Она совсем забыла о том, что сидит здесь со знаменитым скрипачом Эмилем Линдбахом, и сочла долгом вежливости сказать: — Скоро у тебя здесь концерт. Я хотела бы опять послушать тебя.

Он сухо ответил:

— Никто тебе не мешает это сделать.

У нее мелькнула мысль, что ей, в сущности, было бы гораздо приятнее послушать его наедине, а не в концерте. Она едва не высказала свое желание вслух, но удержалась — ведь это означало бы только: я хочу

к тебе... Как знать, может быть, она скоро будет у него... Ей стало совсем легко, как всегда, когда случалось выпить немного вина... Нет, сегодня не то, что всегда; не легкое опьянение, от которого она делается только чуть-чуть веселее; это лучше, прекраснее. И пьянят ее не те несколько капель вина, что она выпила, — ее пьянит прикосновение любимой руки, которая гладит ее лицо и волосы. Он сел рядом с нею и притянул ее голову к своему плечу. Вот так бы ей хотелось однажды заснуть... да, правда, ей хочется только этого... Теперь она слышит его шепот: «Любимая...» Дрожь пронизывает ее. Почему только сегодня? Разве не могла она испытать все это раньше? Вообще какой смысл жить так, как она живет?.. Нет ничего дурного в том, что она делает теперь... И так приятно чувствовать на ресницах дыхание молодого мужчины! Нет, нет, не какого-нибудь молодого мужчины... а любимого... Она закрыла глаза. Она и не пыталась снова открыть их, не хотела знать, где она, с кем... Кто это в самом деле?.. Рихард?.. Нет... Не засыпает ли она?.. Она здесь с Эмилем... С кем?.. Кто такой Эмиль?.. До чего же трудно во всем этом разобраться!.. Чье-то дыхание коснулось ее губ — это дыхание возлюбленного ее юных лет, дыхание знаменитого артиста, который скоро даст концерт... дыхание человека, которого она давно, давно не видела... дыхание мужчины, с которым она сидит наедине в ресторане, и он может сделать с нею все, что захочет... Она чувствует, что он целует ее глаза... Как он нежен... и как хорош... Но как же он выглядит?.. Стоит ей лишь открыть глаза, и она увидит его совершенно ясно... Но она предпочитает рисовать его себе, не открывая глаз... Нет, смешно, но это совсем не его лицо!.. Это лицо молодого кельнера, который только что вышел... Как же выглядит Эмиль?.. Вот так?.. Нет, нет, ведь это Рихард... Но довольно, довольно... Разве она такая пошлая женщина, что без конца думает о других мужчинах, когда... покоится в его объятьях... Если бы только она могла открыть глаза!.. Ах!.. — Она так резко двинулась, что едва не оттолкнула Эмиля, — и, наконец, открыла глаза.

Эмиль, улыбаясь, смотрит на нее и спрашивает:
— Ты любишь меня?

Она привлекает его к себе, сама в первый раз сегодня целует его и тут же спохватывается, что этот ее

поступок противоречит ее недавним намерениям. Чего она хотела? Не уступать, сдерживать себя?.. Да, конечно, была минута, когда она решила именно так, но почему? Она ведь любит его, и, наконец, наступило мгновение, которого она ждала много дней, — нет, много лет. Губы их все еще слиты в поцелуе... Ах, она хотела бы раствориться в его объятиях... хотела бы всегда принадлежать ему... Он не должен больше ничего говорить... он должен взять ее с собой... он почувствует, что ни одна женщина не может его любить так, как она...

Эмиль встает, прохаживается по комнате. Она снова подносит стакан к губам. Эмиль тихо говорит: «Не надо больше, Берта». Да, он прав, что она делает? Хочет опьянеть? Зачем? Она никому не обязана отчетом, она свободна, она молода, она хочет, наконец, хоть раз быть счастливой!

— Может быть, пойдем? — спрашивает Эмиль.

Берта кивает. Он помогает ей надеть жакет, она стоит перед зеркалом и прикалывает шляпу булавкой. Они выходят из комнаты. За дверью стоит молодой кельнер и кланяется. Перед воротами останавливается экипаж, Берта взбирается в него, она не слышит, что Эмиль говорит кучеру. Эмиль садится рядом с нею. Оба молчат, тесно прижавшись друг к другу. Экипаж трогается, едет долго, долго. Где же все-таки живет Эмиль? Вероятно, он нарочно заставил кучера сделать крюк, потому что знает, как приятно вот так вместе ехать ночью. Экипаж останавливается. Эмиль выходит. «Дай мне твой зонтик», — говорит он. Она выходит, они стоят под зонтом, по которому барабанит дождь.

Так он живет в этом переулке? Дверь открывается, они входят в подъезд, Эмиль берет из рук швейцара свечу. Красивая, широкая лестница. Во втором этаже Эмиль открывает ключом дверь. Они входят через прихожую в гостиную. От свечи, которую Эмиль держит в руке, он зажигает две другие на столе, затем подходит к Берте, — она все еще стоит у двери, как бы в ожидании, — вводит ее в комнату, вынимает из ее шляпы булавку и кладет шляпу на стол. В неверном свете двух слабо горящих свечей Берта видит на стене несколько цветных литографий, — ей кажется, что это портреты царствующих особ, — у одной стены широкий диван,

покрытый персидским ковром, у окна небольшое пианино, на крышке его — несколько фотографий в рамках. Над пианино висит картина, но Берта не может ее разглядеть. Там, дальше, по обеим сторонам какой-то двери ниспадают красные портьеры — что-то белое светится через приоткрытую дверь. Берта не выдерживает и спрашивает:

— Ты здесь живешь?

— Как видишь.

Она присматривается. На столе стоят графин с ликером и две рюмки, вазочки с фруктами и печеньем.

— В этой комнате ты занимаешься?

Глаза ее невольно ищут попитр, необходимый скрипачу. Он берет ее за талию, подводит к пианино; там он садится, усаживает ее к себе на колени...

— Я тебе лучше признаюсь, — говорит он просто и почти сухо, — я живу, собственно говоря, не здесь. Только для нас с тобой... на время... я считал это благоразумным. Вена, в сущности, маленький город, и мне не хотелось ночью привозить тебя к себе домой.

Она это понимает, но все же ей как-то не по себе. Она осматривается. Теперь она может ясно разглядеть картину над пианино: это нагая женская фигура. У Берты странное желание: ей хочется подробнее рассмотреть картину.

— Что это такое? — спрашивает она.

— Не произведение искусства, — отвечает Эмиль.

Он зажигает спичку и поднимает ее вверх. Берта видит, что картина дрянная, но в то же время ей кажется, будто женщина на полотне смотрит на нее смеющимися, наглыми глазами, и она рада, когда спичка гаснет.

— Ты могла бы теперь что-нибудь для меня сыграть, — говорит Эмиль.

Ее удивляет, что он так холоден... Разве он не понимает, что она находится у него?.. Но испытывает ли она сама какие-то необыкновенные чувства? Нет... Какая-то тоска таится здесь во всех углах... Почему он не повез ее к себе на квартиру? Это было бы гораздо лучше... Что это за дом? Теперь она сожалеет, что не выпила еще вина... Она не была бы такой рассудительной.

— Ты не хочешь что-нибудь для меня сыграть? — говорит Эмиль. — Подумай, как давно я не слышал тебя.

Она садится и берет аккорд.

— Я, право, все забыла.

— Попробуй все-таки.

Она очень тихо наигрывает «Листок из альбома» Шумана и вспоминает, как несколько дней тому назад у себя дома фантазировала вечером на рояле, и Клингеман прогуливался под ее окном; ей вспомнились также слухи о непристойной картине в его комнате, и она невольно взглядывает снова на обнаженную женщину над пианино, которая смотрит теперь вдаль, в пустое пространство.

Эмиль придвинул свой стул поближе к ней. Он привлекает ее к себе и целует, а пальцы ее продолжают играть и, наконец, неподвижно ложатся на клавиши. Берта слышит, как дождь стучит в окно, и ее охватывает такое чувство, словно она у себя дома.

Теперь ей кажется, будто Эмиль поднимает ее; не выпуская ее из объятий, он встает и медленно ведет ее куда-то. Она чувствует, как правой рукой задевает портьеру... Глаза ее закрыты... На волосах своих она ощущает свежее дыхание Эмиля...

Когда они вышли на улицу, дождь перестал, но воздух был удивительно теплый и влажный. Почти все фонари уже были погашены, только один горел на углу. Небо еще было покрыто тучами, и потому дорога тонула в густой темноте. Эмиль взял Берту под руку, они шли молча. Где-то на колокольне пробило час. Берта удивилась. Она думала, что близится утро, но ей нравилось теплой майской ночью гулять молча, прижавшись к его руке, — она его так любила. Они вышли на площадь и очутились перед Карлскирхе.

Эмиль окликнул извозчика; тот заснул, сидя на подножке своего фиакра.

— Как хорошо теперь, — сказал Эмиль, — мы можем еще немного прокатиться, а потом я отвезу тебя в гостиницу, да?

Фиакр тронулся. Эмиль снял шляпу, она положила ее к себе на колени, ей и это было приятно. Она наблюдала за Эмилем сбоку, глаза его, казалось ей, смотрели вдаль.

— О чем ты думаешь?

— Правду сказать, я стараюсь вспомнить одну мелодию из оперы, которую этот композитор сыграл мне сегодня днем. Но вместо нее выходит совсем другая.

— Так ты думаешь теперь о мелодиях, — улыбаясь, но все же с легким упреком сказала Берта.

Снова молчание. Фиакр медленно катит по безлюдному Рингу, мимо Оперы, музея, Народного сада.

— Эмиль!

— Что, дорогая?

— Когда же наконец я снова услышу, как ты играешь?

— На днях я играю в концерте. — Он сказал это как бы шутя.

— Нет, Эмиль, — ты сыграешь для меня одной... Ты это сделаешь как-нибудь... Да?.. Прошу тебя.

— Да, да.

— А для меня это так важно. Я хотела бы, чтобы ты знал, что никто другой не слушает тебя.

— Ну, хорошо. А теперь оставим это. — Он произнес эти слова так решительно, будто что-то защищал от нее. Она не понимала, каким образом ее просьба может быть ему неприятна, и продолжала:

— Значит, мы условились: завтра в пять часов у тебя.

— Да, интересно, понравится ли тебе у меня.

— О, разумеется. У тебя, конечно, лучше, чем там, где мы были. И мы проведем весь вечер вместе? Знаешь, я только думаю о моей кухне, не следует ли мне...

— Но, дорогая моя, не будем составлять никакой программы.

При этом он обнял ее за шею, как будто хотел этим выказать нежность, которой недоставало его тону.

— Эмиль!

— Ну?

— Завтра мы сыграем Крейцерову сонату, хотя бы *Andante*.

— Но, милая детка, оставим наконец музыку. Я верю и так, что ты ею чрезвычайно интересуешься.

Он сказал это опять таким двусмысленным тоном, что она не могла понять, смеется он или говорит серьезно, но она не решилась спросить его. К тому же в эту минуту ей страшно, до боли хотелось услышать, как он играет на скрипке.

— А, вот мы уже подъезжаем! — воскликнул Эмиль. И будто он совсем забыл, что хотел еще прокатиться с нею, крикнул кучеру адрес гостиницы.

— Эмиль...

— Что, дорогая?

— Ты еще любишь меня?

Вместо ответа он прижал ее к себе и поцеловал в губы.

— Скажи мне, Эмиль...

— Что?

— Но тебя раздражает, когда тебе задают много вопросов...

— Спрашивай, дитя мое.

— Что ты будешь... как ты обычно проводишь утро?

— О, очень по-разному. Завтра, например, я играю соло на скрипке в мессе Гайдна в Лерхенфельдеркирхе.

— Правда? Значит, я смогу тебя услышать уже завтра утром?

— Если это доставит тебе удовольствие. Но, право, не стоит беспокоиться... То есть, месса, конечно, очень хороша.

— Что это ты вздумал играть в Лерхенфельдеркирхе?

— Это... любезность с моей стороны.

— По отношению к кому?

— По отношению... к Гайдну, разумеется.

Берта вздрогнула, как от мучительной боли. В эту минуту она почувствовала, что это его выступление в Лерхенфельдеркирхе, должно быть, связано с особыми обстоятельствами. Может быть, участвует какая-нибудь певица, которая... Да что она знает в конце концов?.. Но, само собою понятно, она пойдет туда... Она не может отдать его другой!.. Он принадлежит ей, ей одной... он сам сказал это... и она сумеет его удержать... У нее столько безграничной нежности... Она всю ее сберегла для него одного... Она окутает его этой нежностью... Он не будет больше стремиться к другой женщине... Она переедет в Вену, каждый день будет с ним вместе, будет с ним всегда.

— Эмиль...

— Что, любимая моя? — Он оборачивается к ней и как-то встревоженно смотрит на нее.

— Ты любишь меня? О, боже, мы уже приехали.

— Вот как? — удивленно спрашивает Эмиль.

— Да, видишь, вот там я живу. Прошу тебя, Эмиль, скажи мне еще раз...

— Да, завтра, в пять часов, дорогая. Я буду очень рад...

— Нет, нет... я спрашиваю... ты...

Коляска останавливается. Эмиль ждет, стоя рядом с Бертой, пока швейцар открывает дверь, затем очень церемонно целует ей руку, говорит: «До свидания, сударыня», и уезжает.

В эту ночь она спала крепким, глубоким сном.

Когда она проснулась, комната была залита светом. В памяти ее возник вчерашний вечер, и она очень обрадовалась, что все казавшееся ей таким тяжелым, чуть ли не мрачным, стало теперь светлым и радостным прошлым. И она с гордостью вспоминала свои поцелуи, в которых не было и следа робости, обычной при первом тайном свидании. Она не испытывала ни малейшего раскаяния, хотя понимала, что после переживаний такого рода обычно наступает раскаяние. Ей приходили в голову слова: грех, любовная связь, но лишь на секунду, ибо, казалось, лишены были всякого смысла. Берта не сомневалась, что отвечала на ласки Эмиля, как женщина, опытная в любви, и была очень счастлива, что все изведенное другими женщинами в хмельных ночах узнала лишь благодаря глубокому чувству. Ей казалось, будто вчера она открыла в себе дар, о котором до сих пор не подозревала, и она ощутила легкое сожаление, что не воспользовалась им раньше. Ей пришел на ум один вопрос Эмиля о ее прошлом, который не обидел ее, хотя должен был бы обидеть, и теперь при мысли об этом на губах у нее заиграла та же улыбка, с которой она клялась Эмилю, что говорит правду, а он не хотел верить ей. Затем она подумала о предстоящем свидании с ним, представила себе, как он примет ее и поведет по комнатам. Берта решила вести себя так, будто между ними еще ничего не произошло. Даже в глазах ее он не должен прочесть воспоминания о вчерашнем вечере; пусть добивается ее снова, пусть покорит ее не только словами, нет, но и своей музыкой... Да... но ведь она намеревалась слушать его уже сегодня утром!.. Конечно — в церкви... И она вспомнила, как вчера вечером ее внезапно охватила ревность... Но почему же?.. Теперь ей показалось просто смешным ревновать к певице, ко-

торая, вероятно, участвует в мессе, или к какой-нибудь другой незнакомой женщине. Но она, во всяком случае, пойдет туда. Ах, как чудесно будет стоять в сумраке церкви, невидимо для него, не видя его, и только слушать, как доносится с хоров его игра. И она полна радостного ожидания новых ласк, которые он, еще сам того не зная, будет расточать ей.

Она медленно встает, одевается. У нее мелькает мысль о доме, но эта мысль вялая, безжизненная. Берте даже трудно додумать ее до конца. Она и теперь не испытывает никакого раскаяния, она скорее гордится собой. Она чувствует, что всецело создана Эмилем: все, что было до него, исчезло. Если бы он потребовал: проживи год, проживи это лето со мной, а потом умри, она согласилась бы.

Распущенные волосы падают ей на плечи. Воспоминания одолевают ее, от них едва не кружится голова... О, боже, почему все это пришло так поздно, так поздно? Но впереди у нее еще много времени — еще пять, десять лет она может оставаться красивой... а для него еще дольше, если они станут жить вместе, ибо он будет стареть вместе с нею. И ее снова окрыляет надежда: что, если он женится на ней, если они будут вместе жить, вместе путешествовать, вместе спать — каждую ночь? Но тут ей становится немного стыдно. Почему у нее вечно такие мысли? Ведь вместе жить значит еще иметь общие заботы и возможность обо всем говорить друг с другом. Да, она хочет прежде всего быть его другом. И сегодня вечером она сразу скажет ему об этом. Сегодня наконец он должен рассказать ей о себе, поведать всю свою жизнь с того момента, как они расстались двенадцать лет тому назад, до... и, доведя мысль до конца, она удивляется: до вчерашнего утра... Вчера утром она в первый раз снова увиделась с ним, и за один день он всецело завладел ею, настолько, что она ни о ком другом не может думать и почти забыла о своих материнских обязанностях... Нет, теперь она только его любовница.

Она вышла из гостиницы прямо в ясный солнечный день. Ей бросилось в глаза, что на улицах больше народу, чем обычно, что почти все магазины закрыты. Да ведь сегодня воскресенье! Она совсем позабыла об этом. И это ее тоже обрадовало. Вскоре ей встретился стройный мужчина в распахнутом пальто, рядом с ним шла

молодая девушка с темными, смеющимися глазами. Берта подумала: вот и мы, наверное, такая же пара, как эти двое... И она уже представила себе, как они прогуливаются под руку, не в ночной темноте, а по залитой солнцем улице, и глаза у них счастливые и смеющиеся, как у этой пары. Когда кто-нибудь из встречных смотрел ей в лицо, ей казалось, что она как-то по-новому воспринимает язык взглядов. Один из прохожих серьезно посмотрел на нее, словно говоря: «Да и ты ничуть не лучше других!» Затем прошли два молодых человека, они замолчали, когда увидели ее. Создавалось впечатление, будто они совершенно точно знают, что произошло сегодня ночью. Вот еще прохожий, он, видимо, очень спешил и бросил на Берту лишь беглый взгляд, но в глазах его она прочла: «Что ты расхаживаешь здесь так надменно, как порядочная женщина? Вчера вечером ты лежала с одним из нас в постели». Это выражение «один из нас» она как будто слышала совершенно отчетливо, и впервые в жизни думала обо всех встречных мужчинах — как о мужчинах, обо всех встречных женщинах — как о женщинах, которые испытывают влечение друг к другу и находят друг друга, если пожелают... И у нее было такое чувство, будто еще вчера в это время она была отверженной, от которой все другие скрывали какую-то тайну, а теперь она такая же, как все, и тоже имеет право говорить обо всем. Она попыталась представить себе первые дни после свадьбы и вспомнила, что испытывала тогда лишь некоторое разочарование и стыд. Смутно всплыла у нее в памяти фраза, которую она не то читала, не то слышала где-то: «Это всегда одно и то же». И она подумала, что она гораздо умнее того человека — будь то мужчина или женщина, — кто это сказал или написал.

Она заметила, что идет той же дорогой, что и вчера. Взгляд ее упал на афишный столб с объявлением о концерте, в котором должен был участвовать Эмиль. Она с удовольствием остановилась перед ним. Какой-то господин стоял рядом с нею. Она улыбнулась и подумала: «Знал бы он, что сейчас глаза мои устремлены на имя человека, который этой ночью был моим любовником...» Внезапно она ощутила прилив гордости. Ее поступок показался ей чем-то необыкновенным. Она не могла себе представить, чтобы другие женщины обладали та-

кой же смелостью. Она опять прошла по Народному саду, где сегодня было больше народу, чем вчера. Снова она увидела, как играют дети, как гувернантки и няни болтают, читают, вяжут. Она обратила внимание на очень старого господина, он сидел на скамейке на солнце и, увидев ее, покачал головой, провожая ее суровым, неумолимым взглядом. Берта была неприятно поражена и смутно сознавала, что в чем-то провинилась перед этим стариком. Когда же она невольно оглянулась, то заметила, как он смотрит на освещенный солнцем песок и продолжает покачивать головой. Тогда она поняла, что это у него от старости, и задалась вопросом, не станет ли когда-нибудь Эмиль таким же дряхлым старцем, не будет ли он так же сидеть на солнышке, тряся головой. И тут она сразу представила себе, что идет рядом с ним по каштановой аллее у себя дома, но она еще молода, как теперь, а он едет в кресле на колесах. Она слегка вздрогнула. Если бы господин Рупиус узнал... Нет, он ни за что не поверил бы, что она способна на такое... Если бы он предполагал это, то не позвал бы ее к себе на балкон и не рассказал бы, что жена хочет его покинуть... В эту минуту она с удивлением подумала о случившемся, о том, что считала высшим счастьем своей жизни. У нее было такое чувство, будто она очутилась в невероятно запутанных обстоятельствах, как ни одна другая женщина. И даже это чувство увеличивало ее гордость. Проходя мимо группы детей, где было четверо совершенно одинаково одетых ребятишек, она вдруг подумала, что, как это ни странно, ни разу не взвесила возможных последствий вчерашнего свидания. Но какая-либо связь между тем, что произошло вчера — между бурными объятиями в чужой постели, — и существом, которое когда-нибудь скажет ей слово «мать», казалась совершенно немыслимой.

Она вышла из сада и направилась к Лерхенфельдерштрассе. Думает ли он теперь о том, что она идет к нему? Была ли его первая мысль сегодня утром о ней? И теперь она вспоминала, что раньше совершенно иначе представляла себе утро после ночи любви... да, она представляла себе, что просыпаются вместе, в тесных объятиях, прильнув устами к устам.

Навстречу ей шагала рота солдат, офицеры шли рядом по тротуару, один слегка задел ее и вежливо ска-

зал: «Простите, пожалуйста!» Это был очень красивый молодой человек, и он больше не обращал на нее внимания, что ее немного огорчило. Она невольно подумала: есть ли у него любовница? И вдруг она догадалась, что он, наверно, сегодня провел ночь с любовницей, любит только ее одну и столь же мало интересуется другими женщинами, как Эмиль.

Она подошла к церкви. Оттуда неслись звуки органа. Перед церковью стоял экипаж с лакеем на козлах. Как оказался здесь этот экипаж? Берте сразу стало ясно, что он должен иметь какое-то отношение к Эмилю, и она решила уйти из церкви до окончания мессы, чтобы посмотреть, кто сядет в экипаж. Она вошла в переполненную церковь и протиснулась вперед, между рядами скамей, к главному алтарю, где стоял священник. Замолкли звуки органа, вступил струнный оркестр. Она взглянула на хоры. Все же странно, что Эмиль здесь, в Лерхенфельдеркирхе, так сказать, инкогнито, исполняет соло на скрипке в мессе Гайдна... Она оглядела женские лица на передних скамьях и заметила двух, трех, четырех молодых женщин и множество пожилых дам; две сидели в первом ряду — одна, очень важная, в черном шелковом платье, другая, по-видимому, ее камеристка. Берта решила, что экипаж, конечно, принадлежит этой важной даме, и это ее успокоило. Она пошла назад и, почти не сознавая того, всюду присматривалась к красивым женщинам. Она заметила еще нескольких довольно красивых, все они, казалось, были погружены в молитву, и ей стало стыдно, что она одна расхаживает здесь без всякого религиозного настроения. Вдруг она услышала, что соло на скрипке уже началось. Это он играет теперь, он, он!..

В эту минуту она слышала его впервые после десяти с лишним лет, и ей подумалось, что у его скрипки такой же приятный тон, как в былое время; так узнают людские голоса, которые много лет не слышали. Вступило сопрано. Если бы только она могла увидеть певицу! Голос был звонкий, свежий, но еще не поставленный, и Берта почувствовала, что существует какая-то личная связь между скрипачом и певицей. Что Эмиль знаком с девушкой, которая поет, это естественно... но не кроется ли здесь нечто другое? Пенье смолкло, но скрипка продолжала звучать. И теперь она

обращалась к ней одной, словно желая успокоить ее. Вступил оркестр, но соло на скрипке звучало громче всех других инструментов, и казалось, у скрипача лишь одно желание — чтобы она поняла его. Он говорил: «Я знаю, что ты здесь, и играю только для тебя!» Заиграл орган, но голос скрипки все еще оставался ведущим. Берта была так взволнована, что слезы выступили у нее на глазах. Наконец соло на скрипке оборвалось, будто поглощенное каскадом других звуков, и больше не возобновлялось. Берта почти не слушала, но музыка навевала ей чудесное успокоение. Иногда ей как будто слышался голос скрипки, и было поразительно, казалось почти сказкой, что она стоит здесь, внизу, у колошны, а он наверху сидит за пюпитром и что они сегодня ночью держали друг друга в объятиях, а сотни людей здесь, в церкви, ничего не знают об этом... Она должна его сейчас же увидеть, сию же минуту! Она подождет внизу, у лестницы... она не заговорит с ним, нет, но она хочет увидеть его и всех остальных, и ту певицу, к которой она его ревновала. Но это уже прошло, она знала, что он не может ее обмануть. Музыка умолкла, Берта почувствовала, что ее толкают вперед, к выходу, она хотела отыскать лестницу, но очутилась далеко от нее. И так было лучше... Нет, ей не следует стоять и ждать его — что он подумает? Конечно, ему это не понравится! Она выйдет вместе с другими, а вечером скажет ему, что слышала его. Теперь она даже боится, как бы он не заметил ее. Выйдя из церкви, она спустилась по лестнице и прошла мимо экипажа как раз в ту минуту, когда старая дама со своей камеристкой усаживались в него. Берта улыбнулась, вспомнив, какую тревогу вызвал в ней этот экипаж, и решила, что вместе с этим подозрением должны исчезнуть и все другие. Ее не оставяло чувство, будто она пережила удивительное приключение и теперь для нее начинается совершенно новая жизнь. В первый раз ей представилось, что жизнь ее обрела какой-то смысл, все остальное, в сущности, было фантазией, все остальное — ничто по сравнению с тем счастьем, которое переполняло все ее существо, когда она возвращалась из церкви и медленно брела в гостиницу по улицам предместья. Только подойдя к самой гостинице, она заметила, что весь обратный путь

прошла как во сне, и едва могла вспомнить, какой дорогой добралась сюда и встречала кого-нибудь или нет.

Когда она брала ключ от номера, швейцар передал ей письмо и букет фиалок и сирени... О, почему она не подумала о том, чтобы послать ему цветы? Но о чем он может писать ей? Она с легким испугом распечатала письмо и прочла:

«Любимая! Должен еще раз поблагодарить тебя за прекрасный вечер. Сегодня, к сожалению, мы не сможем увидеться. Не сердись на меня, любимая моя Берта, и не забудь заблаговременно известить меня, когда ты в следующий раз приедешь в Вену.

Весь твой
Эмиль».

Она взошла, она взлетела по ступеням в свою комнату... Почему он сегодня не сможет увидеться с нею? Почему он, по крайней мере, не объясняет причину? Но что она в конце концов знает о его разнообразных обязанностях, артистических, общественных? Если бы он подробно написал о том, что ему помешало, то получилось бы слишком пространно и походило бы на отговорку. Но все-таки... И почему он пишет: «Когда ты в следующий раз приедешь в Вену?» Разве она ему не сказала, что пробудет здесь несколько дней? Конечно, он об этом забыл. Она сейчас же села и написала:

«Любимый мой Эмиль! Очень сожалею, что тебе пришлось сегодня отказаться от свидания со мной, но, к счастью, я еще не уезжаю. Очень прошу тебя, любимый, тотчас напиши мне, когда у тебя будет время для меня, завтра или послезавтра.

Тысячу поцелуев шлет тебе твоя

Берта.

P. S. Совершенно неизвестно, когда я снова приеду в Вену, а я ни в коем случае не хотела бы уехать, не повидав тебя еще раз».

Она перечитала письмо. Затем приписала к нему: «Я должна тебя увидеть еще раз».

Она поспешно вышла на улицу, передала письмо посыльному и строжайше наказала ему не возвращать-

ся без ответа. Затем вернулась наверх и стала у окна. Она не хотела ни о чем думать, только смотреть вниз, на улицу. Она принуждала себя разглядывать прохожих, и ей снова припомнилась игра времен ее детства, когда она с братьями, стоя у окна, обсуждала, на кого из знакомых похож тот или иной прохожий. Подмечать такое сходство ей было теперь труднее, потому что ее комната помещалась на четвертом этаже, но, с другой стороны, большое расстояние давало простор ее фантазии. Сначала прошла женщина, похожая на кузину Агату, затем появился человек, напомнивший ей преподавателя консерватории, под руку с особой, выглядевшей точь-в-точь, как кухарка ее невестки. Какой-то юноша был похож на ее брата, актера; сразу за ним появился на улице ее покойный отец в форме капитана, остановился на некоторое время перед гостиницей, посмотрел наверх, будто и впрямь искал ее, и скрылся в дверях. Она на мгновение испугалась, точно это действительно был ее отец, вставший как призрак из гроба. Тогда она нарочито громко рассмеялась и попробовала продолжать игру, но у нее ничего не получилось. Она высматривала только, не покажется ли посыльный. Наконец, она решила позавтракать, чтобы убить время. Заказав завтрак, она снова подошла к окну. Но она уже не смотрела в ту сторону, откуда должен был вернуться посыльный, а следила за переполненными omnibusами и конками, увозившими пассажиров в предместья. Она снова увидела прежнего капитана, вскочившего в трамвай с сигарой во рту. Теперь он уже нисколько не походил на ее покойного отца. Позади себя она услышала шорох, вошел кельнер. Берта ела мало, но сразу осушила бокал вина. Ей захотелось спать, и она прикорнула в уголке дивана. Мысли ее спутались, в ушах звучали отголоски органа, который она слышала в церкви. Она закрыла глаза и сразу, как по волшебству, перед ней предстала вчерашняя комната и за красными портьерами — белая постель. Она сама сидела за пианино, но обнимал ее кто-то другой, ее племянник Рихард. Она с трудом открыла глаза, подумала, какая она порочная, и внезапный страх охватил ее, как будто за эти бредовые картины ее ждет возмездие. Она снова подошла к окну. Казалось, целая вечность прошла с тех пор, как она

отправила посыльного с письмом. Она еще раз перечла письмо Эмиля. Взгляд ее задержался на последних словах: «Весь твой», она громко, нежно произнесла их и припомнила другие ласковые слова, которые он шептал сегодня ночью. Она придумывала текст письма, которое вот-вот принесут ей: «Любимая моя Берта! Слава богу, что ты завтра будешь здесь. Я жду тебя непременно в три часа у себя», или: «Мы проведем весь завтрашний день вместе», или даже: «Я отказался от своего слова, мы увидимся сегодня, приходи сейчас же ко мне, я страстно жду тебя!»

Как бы то ни было, если не сегодня, она все же увидится с ним, прежде чем покинет Вену. Иначе быть не может. Откуда же эта ужасная тревога, как будто всему конец? Почему до сих пор нет ответа?.. Он, во всяком случае, не обедает дома, это естественно, он не ведет никакого хозяйства! Значит, он может вернуться домой не раньше трех часов... А вдруг он не вернется до самого вечера?.. Посыльному приказано так или иначе ждать его, даже до глубокой ночи... Но что делать ей? Не может же она все время стоять у окна и смотреть? Часы тянутся бесконечно. Она чуть не плачет от нетерпения, от отчаяния!.. Она ходит взад и вперед по комнате, затем ненадолго останавливается у окна, потом садится и берет в руки роман, который возит с собой в дорожной сумке, но вскоре откладывает его, пытается даже подремать, но и это ей не удается. Наконец бьет четыре: скоро уже три часа, как она ждет. Раздается стук в дверь, входит посыльный и подает ей письмо. Она вскрывает конверт и невольно поворачивается к окну, чтобы скрыть от чужого человека выражение своего лица. Она читает:

«Любимая моя Берта! Ты очень любезно предлагаешь мне выбор между ближайшими днями, но, как я уже пояснил тебе в первом моем письме, я совершенно не располагаю ближайшими днями. Сожалею об этом, во всяком случае, не меньше, чем ты, можешь мне верить. Еще раз шлю тысячу благодарностей и тысячу приветов, и до радостного свидания в следующий раз. Не забывай меня.

Твой Эмиль».

Она совершенно спокойно прочла письмо, заплакала посылному, сколько он потребовал, и нашла, что при ее средствах это совсем не мало. Затем она села за стол и попыталась все обдумать. Она сразу поняла, что не может дольше оставаться здесь, и пожалела только, что в ближайшие часы нет поезда домой. На столе стояла полупорожняя бутылка вина, около тарелки были рассыпаны крошки хлеба, на кровати лежал ее весенний жакет, рядом — цветы, которые он прислал еще сегодня утром. Что же все это значит? Конец?.. И ей смутно вспомнилась когда-то прочитанная фраза — словно она имела какое-то отношение к ее нынешним переживаниям — о мужчинах, стремящихся только «достичь своей цели»... Но она всегда считала это лишь измышлениями романистов. К тому же у нее в руках вовсе не прощальное письмо! В самом деле? Разве не могут и эти приветливые слова тоже быть ложью?.. Ложь — вот в чем дело. Впервые ей пришлось в голову решающее слово: ложь... Конечно, сегодня ночью, когда он провожал ее домой, он уже решил не видеться с нею больше, и его обещание на сегодняшний день, его желание видеть ее сегодня у себя было ложью... Она восстанавливает в памяти вчерашний вечер и спрашивает себя, чем она могла его расстроить, разочаровать. Все было так хорошо, и он, казалось, был счастлив, так же счастлив, как она... И это тоже была ложь?.. Как знать?.. Может быть, она его все-таки расстроила, оскорбила, сама того не ведая? Она всю жизнь была порядочной женщиной... как знать, какую неловкость или глупость допустила она... возможно, была минута, когда она казалась только смешной и отвратительной, а думала, что она порывиста, нежна, опьянена сама и опьяняюще действует на него?.. Что она понимает во всем этом!.. И вдруг она почувствовала чуть ли не раскаяние, что не подготовилась к этому приключению, что до вчерашнего дня была так целомудрена и скромна, что до Эмиля у нее не было любовника... Теперь она вспомнила, как уклончиво он отвечал на ее робкие вопросы и просьбы, касавшиеся его игры на скрипке, — он, по-видимому, не хотел, чтобы она вторгалась в эту область. Так он остался чужд ей, намеренно чужд как раз в том, что составляло глубочайший смысл его жизни; и она поняла, что у них

не было ничего общего, кроме наслаждения одной ночи, что сегодня утром они были так же далеки друг от друга, как все прошлые годы... И ревность снова вспыхнула в ней... Но сейчас ей кажется, что так было всегда, что в ней всегда жили любовь, и недоверие, и надежды, и раскаяние, и тоска, и ревность... Первый раз в жизни она потрясена до глубины души, она понимает теперь людей, которые в отчаянье бросаются из окна. И она сознает, что ей не вынести этого, что только правда может помочь ей... она должна пойти к нему, спросить его... пристать, как говорится, с ножом к горлу.

Она спешит на улицу, почти безлюдную, точно вся Вена уехала за город. Только застанет ли она его дома? Ведь он может догадаться, что она вздумает прийти к нему и потребовать у него ответа, и постарается избежать этого. Ей стыдно, что приходится так думать... А если он дома, будет ли он один?.. И если он не один, то пустят ли ее к нему?

Вдруг она застанет его в объятиях другой женщины — что она скажет тогда? Разве он давал ей какие-нибудь обещания, клялся в верности? И разве она требовала от него подобных клятв? Вольно же ей было вообразить, что он здесь, в Вене, ждал, пока она поздравит его с испанским орденом. Да, он вправе сказать ей: ты сама бросилась мне на шею и хотела только одного — чтобы я взял тебя такой, какая ты есть... И, положив руку на сердце, — разве это не так?.. Разве не приехала она сюда только для того, чтобы стать его любовницей... без всякой оглядки на прошлое, без всякой уверенности в будущем.. да, только для этого!.. Все другие желания и надежды возникали в ней лишь мимолетно, и она вполне достойна той участи, которая ее постигла... И если она будет правдива сама с собой, то должна признаться: из всего, что она пережила, это все же было самое лучшее.

Она останавливается на каком-то углу, вокруг нее полная тишина, воздух паркий и душный. Берта возвращается в гостиницу. Она очень устала, и новая мысль осеняет ее: не потому ли он отказался от свидания, что он тоже устал... Когда это приходит ей в голову, она кажется себе очень мудрой. У нее возникает еще одна мысль: и другую он, наверно, любит так

же, по-своему... И вдруг она спрашивает себя: останется ли сегодняшняя ночь ее единственным переживанием, не будет ли она когда-нибудь принадлежать другому? Она радуется этому сомнению, будто мстит Эмилю за его снисходительный взгляд и за насмешливую улыбку.

Вот она снова наверху, на четвертом этаже гостиницы, в неудобной комнате. Остатки обеда еще не убраны, жакет и цветы все еще лежат на кровати. Она берет цветы, подносит их к губам, как будто хочет поцеловать. Но вдруг ее снова обуревают ярость, и она с силой швыряет цветы на пол. Затем бросается на кровать и закрывает лицо руками.

Полежав немного, она успокаивается, она совсем спокойна. Пожалуй, хорошо, что она может уже сегодня уехать домой. Она представляет себе, как ее мальчуган лежит в своей постельке, как все лицо его расплывается в улыбке, когда мать склоняется над его кроватью. Ее неудержимо тянет к нему. Тянет ее и к Элли, и к фрау Рупиус. Да, верно, Анна хотела уйти от мужа... Что за этим кроется? Какая-нибудь любовная история?.. Но странно, теперь ей труднее представить себе это, чем прежде.

Уже поздно, пора готовиться к отъезду... И так, воскресный вечер она опять проведет дома.

Она сидит в купе, на коленях у нее цветы — она все-таки подняла их с пола... Да, теперь она едет домой, оставляет город, где она... кое-что испытала... ведь так, кажется, принято говорить об этом... В голове у нее мелькают слова, которые ей приходилось читать или слышать в подобных случаях. Такие слова, как: блаженство... упоение любовью... опьянение... И она немного гордится тем, что извела ощущения, которые обозначаются этими словами. И еще одна мысль приходит ей в голову, мысль, странным образом успокаивающая ее; если даже он в связи с другой женщиной, то она, Берта, отняла его у нее... пусть ненадолго, но отняла всецело, как только может одна женщина отнять мужчину у другой. Она понемногу успокаивается, ей почти весело.

Ясно, что она, Берта, женщина неопытная, не может так вот, сразу, завладеть возлюбленным. Но не удастся ли ей это в следующий раз?.. Она была очень

рада, что не осуществила свой замысел, не побежала тотчас к нему, теперь она даже вознамерилась написать ему холодное письмо, оно должно вызвать у него легкую досаду, она будет кокетливой, хитрой... Но она вернет его, это она знала твердо... вернет совсем скоро — и, если удастся, навсегда!.. Так продолжала она мечтать, пока поезд увозил ее домой... И мечты ее становились тем смелее, чем глубже погружал ее в дремоту шум колес...

Когда она приехала, городок спал глубоким сном. Дома она поручила горничной привести пораньше утром мальчика от невестки. Затем медленно разделась. Взгляд ее остановился на портрете покойного мужа, висевшем над кроватью. Она спросила себя, может ли он по-прежнему висеть там. Когда она подумала, что есть женщины, которые приходят от любовника и потом спят рядом с мужем, она содрогнулась. Никогда не сделала бы она ничего подобного при жизни мужа!.. А если бы и сделала, то не вернулась бы домой.

Утром ее разбудил малыш. Он вскочил к ней на кровать и слегка подул на ее веки. Берта села, обняла и поцеловала ребенка, и он сейчас же начал рассказывать, как хорошо ему было у дяди и тети, как Элли играла с ним, а Рихард однажды боролся, но не смог его одолеть. И вчера он учился играть на рояле и скоро будет играть так же хорошо, как мама. Берта внимательно слушала его. Она подумала: если бы и Эмиль мог слышать эту прелестную болтовню! Не взять ли ей в следующий раз малыша с собой и не привести ли к Эмилю, тогда этот визит сразу окажется вне подозрений. Она помнила лишь ту радость, которую испытала в Вене, и от прощальных писем Эмиля в памяти у нее сохранились только слова, сулящие новое свидание. Она встала почти в хорошем настроении и, когда одевалась, чувствовала совершенно особую нежность к собственному телу, словно еще благоухавшему от поцелуев любимого.

Рано утром она пошла к родственникам. Проходя мимо дома Рупиусов, она с минуту раздумывала, не зайти ли ей сейчас же к ним. Но у нее было смутное опасение, что она сразу поддастся тревожному наст-

роению этого дома, и она решила отложить свой визит на вечер. У деверя к ней первой вышла Элли и встретила ее с таким бурным восторгом, словно Берта вернулась после долгого путешествия. Деверь, собираясь уходить, шуточно погрозил Берте пальцем и спросил:

— Ну, хорошо повеселилась?

Она почувствовала, что покраснела до корней волос.

— Да,— продолжал он,— нечего сказать, хорошенькие истории рассказывают о тебе.

Но он не заметил ее смущения и перед самой дверью, прощаясь, посмотрел на Берту взглядом, ясно говорившим: от меня ничего не скроешь.

— Папа всегда так острит,— заметила Элли,— это мне совсем не нравится.

Берта знала, что деверь просто шутит, что это его обычная манера разговаривать, и если бы она вдруг сказала ему правду, он ни за что бы не поверил.

Вошла невестка, и Берте пришлось рассказывать о том, что она делала в Вене. К ее удивлению, ей отлично удалось смешать правду с вымыслом. Она-де побывала с кузиной в Народном саду и в картинной галерее, в воскресенье слушала мессу в соборе святого Стефана, встретила на улице одного преподавателя консерватории, и, наконец, она выдумала даже целую историю о какой-то смешной супружеской паре, которая будто бы однажды ужинала у кузины. Чем больше она лгала, тем больше ей хотелось рассказать об Эмиле и сообщить, что она встретила на улице знаменитого скрипача Линдбаха, бывшего своего коллегу по консерватории. Но какое-то неопределенное опасение, что она не сможет остановиться, когда нужно, заставило ее удержаться от этого. Альбертина Гарлан, очень усталая, сидела на диване и кивала головой, а Элли, как обычно, стояла у рояля, подперев голову руками, и пожирала глазами тетку. От невестки Берта пошла к Мальманам, заниматься с близнецами; ей пришлось слушать упражнения и гаммы, сначала они были невыносимы, но в конце концов она уже не прислушивалась к ним, и мысли ее унеслись прочь. Приятное утреннее настроение рассеялось, Вена показалась ей бесконечно далекой, странная тревога овладела ею, и вдруг она испугалась, как бы Эмиль не уехал тотчас после своего концерта. Это было бы ужасно! Он сразу исчезнет, она

не успеет повидать его, и кто знает, когда он вернется! Не сможет ли она, во всяком случае, устроить так, чтобы в день концерта быть в Вене? Она должна была признаться себе: она совсем не жаждет услышать его игру, она даже предпочла бы, чтобы он не был виртуозом-скрипачом, чтобы он вообще не был артистом, а был бы простым человеком — бухгалтером или кем-нибудь в этом роде. Только бы он принадлежал ей, ей одной! Тем временем близнецы барабанили гаммы; какая это все-таки жалкая участь, сидеть здесь и быть вынужденной давать уроки этим бесталанным балбесам... Почему же она была в таком хорошем настроении сегодня утром? Ах, как чудесно было в Вене! Даже независимо от Эмиля — безграничная свобода, блуждание по городу, прогулки в Народном саду... Правда, за это время она израсходовала больше денег, чем могла себе позволить, две дюжины уроков мальмановским близнецам не возместят ущерба... И теперь надо опять идти к родственникам, заниматься с племянниками и, в сущности, необходимо даже искать новых учеников, так как в этом году расходы не соответствуют доходам!.. Ах, что за жизнь!

На улице Берта встретила фрау Мартин. Та спросила Берту, как она провела время в Вене, и во взгляде ее ясно читалось: ты все-таки не могла получить столько удовольствия, сколько получаю я со своим мужем! У Берты явилось неудержимое желание крикнуть в лицо этой особе: «Мне было гораздо лучше, чем ты предполагаешь. Я лежала в чудесной, мягкой постели с очаровательным молодым человеком, в тысячу раз более достойным любви, чем твой супруг! И я во всем этом отлично разбираюсь, не хуже тебя! У тебя всего только муж, а у меня любовник, любовник!..» Ничего этого она, понятно, не сказала, а только ответила, что вместе с кузиной и с ее детьми гуляла в Народном саду.

Ей повстречались и другие женщины, с которыми она была едва знакома. С ними она держала себя теперь совершенно иначе, чем прежде: она чувствовала, что стала свободнее, выше их — она, единственная в городе, кое-что испытала, и ей даже жаль, что никто не знает об этом. Ведь если бы в лицо ей все эти женщины выказывали презрение, то в глубине души они бы ей

завидовали. А если бы они еще узнали, кто... Правда, в этом захоластье, наверное, многие даже не слышали его имени... Неужели на свете нет человека, которому она могла бы излить душу!.. Фрау Рупиус, да, фрау Рупиус... Но она уезжает, готовится к путешествию!.. В сущности, Берте это безразлично. Ей хочется только знать, как в конце концов будет у нее с Эмилем... Вот что так тревожит ее... Значит, теперь у нее «любовная связь» с ним? Ах, почему она все же не пошла к нему? Но ведь она не могла этого сделать... Это письмо... он не хотел ее видеть!.. А цветы все-таки послал...

Вот она опять у родственников. Рихард бросается ей навстречу, хочет шутливо, по своему обыкновению, обнять ее, она отталкивает его; наглый мальчишка, думает она, я знаю, чего тебе хочется, если даже ты сам не знаешь этого; я кое-что в этом смысле, у меня любовник в Вене!.. Урок начинается; в заключение Элли и Рихард играют в четыре руки «Торжественную увертюру» Бетховена — это сюрприз отцу ко дню рождения.

Берта думает только об Эмиле. Она едва не сходит с ума, слушая это жалкое бречание... Нет, невозможно так жить дальше, никоим образом!.. Она еще так молода... Да, все дело в этом, прежде всего в этом... она не сможет больше так жить... И ведь нехорошо, если она полюбит кого-нибудь другого... Как смеет она думать о чем-нибудь подобном... значит, она совершенно испорченная женщина! Кто знает, не это ли почуял в ней Эмиль, такой опытный, — и потому не захотел ее больше видеть... Ах, лучше всего живется женщинам, которые все воспринимают легко, для которых все кончается сразу, как только они с кем-нибудь «порывают отношения»... Но что это опять за мысли? Разве он с нею «порвал отношения»? Через три-четыре дня она снова будет в Вене, у него, в его объятиях!.. И она могла три года прожить так?.. Три?.. Шесть лет, всю свою жизнь!.. Если бы только он знал это, если бы только поверил!

Входит невестка, она приглашает Берту к ним на ужин... Да, это ее единственное развлечение: иногда поужинать за другим столом, в гостях, а не дома! Хоть бы здесь нашелся человек, с которым можно поговорить!.. А фрау Рупиус уезжает, оставляет мужа... Нет

ли тут все же какой-нибудь любовной истории?.. Урок окончен, Берта прощается. Она чувствует свое превосходство над невесткой, почти жалость к ней и знает, что за целую жизнь — такую, как у этой женщины, не отдала бы того единственного часа, который провела с Эмилем. Притом, думает Берта по дороге домой, она, в сущности, даже не успела осознать свое счастье, так быстро все миновало... И еще эта комната, весь этот дом, эта ужасная картина!.. Нет, нет, по правде говоря, было омерзительно. По-настоящему хорошо было только тогда, когда он вез ее в карете и ее голова покоилась у него на груди. Он все-таки ее любит — конечно, не так, как она его, но разве вообще он способен так любить? Как много он уже изведal! Теперь она думает об этом без ревности, а, скорее, с легкой жалостью к нему — ведь ему приходится хранить столько воспоминаний. Ибо сразу видно, что он отнюдь не легко относится к жизни... Он человек не жизнерадостный... Все часы, проведенные с ним, были в ее памяти овеяны какой-то непонятной грустью. Если бы только она все знала о нем... Он так мало — совсем ничего не рассказал ей о себе!.. Но как он мог это сделать в первый же день? Ах, если бы он только по-настоящему знал ее! Если бы она не была так застенчива, так не способна выражать свои мысли... Она должна ему еще раз написать, прежде чем увидеться с ним... Да, она сегодня же напишет ему. Какое глупое письмо послала она ему вчера! Он, право, не мог ответить на него иначе, чем ответил. Ей следовало отправить ему не вызывающее, но и не смиренное письмо... нет, ведь она его любовница! Она ходит здесь по улицам, все встречные считают, что она такая же, как они, а она любовница этого замечательного человека, которого обожала еще в молодости. И как беззаветно, без всякого жеманства отдалась она ему — ни одна из знакомых ей женщин не поступила бы так!.. Ах, и она готова сделать еще больше! О да! Она готова жить с ним, не будучи его женой, и ей безразлично, что скажут люди... Она даже гордилась бы этим! А со временем он все-таки женится на ней... Это само собой разумеется. Она такая замечательная хозяйка... И как приятно ему будет после беспорядочных странствий жить в благоустроенном

доме, вместе с преданной женой, которая никогда никого не любила, кроме него.

Вернувшись домой, в ожидании обеда, она приготовила все для письма. Ела она с лихорадочным нетерпением, едва нашла время положить и нарезать еду ребенку, затем поручила служанке раздеть его и уложить в постель — обычно она сама укладывала его, — села за письменный стол, и слова без всякого труда полились из-под ее пера, как будто все письмо давно было готово у нее в голове.

«Мой Эмиль, мой любимый, жизнь моя!

С тех пор как я вернулась, у меня непреодолимое желание написать тебе вновь и вновь сказать, какое счастье, какое бесконечное счастье ты дал мне. Я сначала сердилась на тебя за то, что в воскресенье ты отказался от встречи со мной, и в этом тоже должна тебе признаться, ибо чувствую потребность говорить тебе все, что я переживаю. К сожалению, я не могла этого сделать, когда мы были вместе; нет у меня такого дара, но теперь я нашла слова. Ты уж потерпи, пожалуйста, что я тебе надоедаю своей писаниной. Да, ты мой любимый, единственный, хотя ты, кажется, и не так уверен в этом, как следовало бы. Прошу тебя, поверь мне. Просто я не нахожу других слов, чтобы сказать тебе это, Эмиль: я никогда никого не любила, кроме тебя, и никогда не полюблю! Делай со мною что хочешь, ничто не связывает меня с городком, где я теперь живу, — больше того, я нередко ужасаюсь тому, что вынуждена жить здесь. Я хочу переехать в Вену, чтобы быть ближе к тебе. О, не бойся, я не буду докучать тебе! Я не одна, у меня есть сын, которого я боготворю. Я буду жить скромно, и в конце концов неужели мне не удастся найти уроки в таком большом городе, как Вена, — там это, пожалуй, даже легче, чем здесь, — и тем несколько поправить свое положение. Но все это побочные соображения, я и так давно намеревалась переехать в Вену, хотя бы ради моего обожаемого сына, когда он подрастет. Ты не можешь себе представить, как глупы люди здесь! Я вообще никого не могу видеть, с тех пор как мне снова выпало счастье побыть с тобой. Дай мне совет, дорогой! Но не трудись писать мне подробно, я, при всех обстоятельствах, на этой

неделе опять приеду в Вену, мне надо непременно побывать там, у меня неотложные дела, и ты сможешь тогда сказать мне все, что ты думаешь об этом и что, по-твоему, будет лучше. Обещай мне только, что, когда я перееду в Вену, ты будешь иногда навещать меня; никто не узнает об этом, если тебе это неприятно. Но можешь мне поверить, что всякий день, когда я смогу увидаться с тобой, станет для меня праздником и что нет никого на всем свете, кто бы так преданно любил тебя до самой смерти, как я.

Будь здоров, мой любимый.

Твоя Берта».

Она не решилась перечитать письмо и сразу вышла из дома, чтобы самой отнести его на вокзал. Там она, в нескольких шагах впереди себя, увидела фрау Рупиус. Сопровождавшая ее горничная несла небольшой саквояж. Что это значит? Она догнала фрау Рупиус в ту минуту, когда та входила в зал ожидания. Горничная положила сумку на большой стол посреди зала, поцеловала хозяйке руку и ушла.

— Фрау Рупиус?! — тоном вопроса воскликнула Берта.

Фрау Рупиус дружески протянула ей руку.

— Я слышала, что вы уже вернулись. Ну, как вы провели время?

— Хорошо, очень хорошо, но...

— Вы так испуганно смотрите на меня; нет, фрау Берта, я вернусь... уже завтра утром. С далеким путешествием ничего не получается, я решила... Мне пришлось принять другое решение.

— Другое решение?

— Ну да, я решила остаться. Завтра я вернусь домой. Ну, а как вы провели время?

— Я уже сказала: очень хорошо.

— Да, верно, вы уже ответили мне. Вы хотели отправить это письмо?

Только теперь Берта заметила, что письмо к Эмилию все еще у нее в руке. Она посмотрела на него так восторженно, что фрау Рупиус улыбнулась.

— Не взять ли мне его с собой? Оно ведь адресовано в Вену?

— Да, — сказала Берта и, счастливая тем, что может наконец говорить откровенно, решительно прибавила: — Ему.

Фрау Рупиус удовлетворенно кивнула головой, но не взглянула на Берту и ничего не ответила.

— Как я рада, что встретила вас! — сказала Берта. — Только вам я могу довериться. Вы единственная здесь можете понять меня.

— Ах, нет, — прошептала фрау Рупиус, как во сне.

— Я так завидую вам, что вы уже сегодня, через несколько часов, снова увидите Вену. Какая вы счастливая!

Фрау Рупиус села в кожаное кресло у стола, подперла подбородок рукой и, взглянув на Берту, сказала:

— Мне кажется, что, скорее, вы счастливая.

— Нет, я ведь вынуждена оставаться здесь.

— Почему? — спросила фрау Рупиус. — Вы же свободны. Но опустите письмо в ящик, иначе я увижу адрес и узнаю больше, чем вы хотели мне сказать.

— Не потому, но я хотела бы, чтобы письмо ушло с этим поездом...

Она поспешила в вестибюль, опустила письмо, тотчас вернулась к Анне, сидевшей все в той же спокойной позе, и продолжала:

— Вам я могла бы рассказать все, да, более того, я хотела еще перед отъездом... но, представьте себе, как странно, — тогда я не могла решиться.

— Но тогда, пожалуй, еще нечего было рассказывать, — сказала фрау Рупиус, не глядя на Берту.

Берта удивилась. Как умна эта женщина! Она видит людей насквозь!

— Нет, тогда еще нечего было рассказывать, — повторила она, с каким-то обожанием глядя на фрау Рупиус. — Представьте себе, то, что я вам сейчас расскажу, почти невероятно, но я буду считать себя лгуньей, если умолчу об этом.

— Ну?

Берта села в кресло около фрау Рупиус и заговорила тише, так как дверь в вестибюль была открыта:

— Я хотела вам сказать, Анна, что я вовсе не чувствую, будто сделала что-нибудь дурное или недозволенное.

— Это было бы не очень умно...

— Да, вы правы... скажу вам больше: мне даже кажется, будто я сделала что-то очень хорошее, чуть ли не подвиг. Да, фрау Рупиус, так получилось, что с тех пор я даже стала гордиться.

— Ну, для этого, пожалуй, тоже нет оснований, — сказала фрау Рупиус, раздумчиво поглаживая руку Берты, лежавшую на столе.

— Это я отлично знаю, но все-таки очень горжусь и считаю себя совсем не такой, как все знакомые мне женщины. Видите ли, если бы вы знали... если бы вы были знакомы с ним — это такая необыкновенная история! Не подумайте, что я только недавно с ним познакомилась, — наоборот, вам следует знать, что я была влюблена в него еще совсем молоденькой девушкой, прошло двенадцать лет, и все эти годы мы не виделись, а теперь, — разве это не поразительно? — теперь он мой... мой... мой любовник! — Наконец она выговорила это слово, лицо ее сияло.

Фрау Рупиус смотрела на нее немного насмешливо и в то же время очень дружелюбно. Она сказала:

— Я рада, что вы счастливы.

— Вы так добры! Но, видите ли, с другой стороны, это ужасно, что мы так далеко друг от друга, он живет в Вене, я здесь, — мне кажется, я этого просто не вынесу. Я несколько не привязана к этому городу, в особенности к моим родственникам. Если бы они знали... Нет, если бы они только знали! Впрочем, они ни за что не поверят. Женщина вроде моей невестки, например, я уверена, даже не представляет себе, что нечто подобное возможно.

— Но вы, право, очень наивны, — вдруг почти сердито сказала фрау Рупиус. — Она прислушалась. — Мне послышался гудок поезда. — Она встала, подошла к большой стеклянной двери, ведущей на перрон, и выглянула наружу.

Вошел контролер, взял у нее билет, чтобы пробить его, и сказал:

— Поезд на Вену опаздывает на двадцать минут.

Берта встала и подошла к фрау Рупиус.

— Почему вы сказали, что я наивна? — застенчиво спросила она.

— Но вы совершенно не знаете людей, — несколько раздраженно ответила фрау Рупиус. — Вы и не подо-

зреваете, среди каких людей вы живете. Уверяю вас, вам совершенно нечем гордиться.

— Я знаю, что это очень глупо с моей стороны...

— Ваша невестка — нет, это великолепно, — ваша невестка!..

— Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, что у вашей невестки тоже был любовник.

— Но откуда вы это взяли?

— Ну, она не единственная в этом городе.

— Да, конечно, есть женщины, которые... но Альбертина...

— И знаете, кто был ее любовником? Это очень забавно! Господин Клингеман.

— Нет, не может быть!

— Впрочем, это было давно, почти десять или одиннадцать лет тому назад.

— Но в то время вас самих еще не было здесь, фрау Рупиус.

— О, я знаю это из самого достоверного источника, — господин Клингеман сам рассказал мне.

— Сам господин Клингеман? Может ли человек быть таким гнусным...

— Очень даже может. — Анна присела на стул около двери, Берта осталась стоять рядом и удивленно слушала ее. — Да, господин Клингеман... он оказал мне честь, как только я приехала в этот город, сразу стал усиленно ухаживать за мной, что называется, пустился во все тяжкие. Я высмеяла его, это его, вероятно, задело, и он, очевидно, решил убедить меня рассказом о своих победах и о своей неотразимости.

— Но, может быть, то, что он рассказывал вам, неправда.

— Кое-что, возможно, и неправда, но эта история случайно оказалась верной... Ах, какие сволочи мужчины! — Она сказала это с глубокой ненавистью. Берта ужаснулась. Она и не предполагала, что фрау Рупиус может употреблять такие слова. — Почему бы вам не знать, среди каких людей вы живете!

— Нет, я бы никогда не подумала, что такое возможно. Если бы мой деверь знал!..

— Если бы он знал?... Да он знает это так же хорошо, как вы, как я.

— Что? Нет, нет!

— Он их застал врасплох — понимаете вы меня! Господина Клингемана и Альбертину! Тут уж, хочешь не хочешь, никаких сомнений быть не могло!

— Но, ради бога, скажите, что он сделал тогда?

— Сами видите, он ее не выгнал.

— Ну да, ради детей... конечно!

— При чем тут дети! Из равнодушия он простил ее, а главное, потому, что теперь сам может делать все, что хочет. Вы же видите, как он с ней обращается. Она не лучше служанки в его доме; вы видите, как она слоняется по дому, несчастная и подавленная. Он довел ее до того, что с тех пор она все время держит себя, как помилованная, и я думаю, что она постоянно опасается еще какого-то наказания. Но глупо опасаться этого, он ни за что не станет подыскивать себе другую экономку... Ах, дорогая моя фрау Гарлан, мы, конечно, не ангелы, как вы теперь знаете по собственному опыту, но мужчины подлы до тех пор... — она как будто не решалась окончить фразу, — до тех пор, пока они мужчины.

Берта была подавлена. Не столько тем, что рассказала ей фрау Рупиус, сколько тоном, каким она все это говорила. Она, по всей видимости, очень изменилась, и у Берты заныло сердце.

Дверь на перрон открыли, слышен был легкий, непрерывный стук телеграфного аппарата. Фрау Рупиус медленно встала, лицо ее смягчилось, она протянула Берте руку и сказала:

— Простите меня, я просто немного раздражена. Все это может сложиться и хорошо — встречаются, конечно, и порядочные мужчины... о, конечно, это может быть даже прекрасно.

Она взглянула на рельсы, как будто мысли ее убежали вдаль по этим железным линиям. Затем сказала мягким, звучным голосом, который так нравился Берте:

— Завтра вечером я вернусь домой... Да, где мой несесер? — Она поспешно подошла к столу и взяла свой саквояж. — Это было бы ужасно, я не могу обойтись в дороге без моих десяти флаконов. Итак, будьте здоровы! И не забывайте, что все это произошло десять лет тому назад.

Подошел поезд, она поспешила в вагон, вошла в купе и приветливо кивнула Берте из окна. Берта хотела так же весело ответить ей, но, взмахнув рукой, почувствовала, что ее прощальный жест получился натянутым и искусственным.

Медленно шла Берта домой. Тщетно пыталась она убедить себя, что все это ее не касается — ни давняя связь невестки, ни низость деверя, ни подлость Клингемана, ни странно меняющиеся настроения загадочной фрау Рупиус. Она не могла себе этого объяснить, но ей казалось, что все услышанное ею имеет какую-то таинственную связь с исключительным событием в ее жизни. Внезапно гложущее сомнение вновь ожило в ней... Почему он не захотел увидеться с нею еще раз? Ни в тот день, ни двумя, ни тремя днями позже? Почему? Он достиг своей цели, и больше ему ничего не надо... Как могла она написать ему такое сумасшедшее, бесстыдное письмо? И ее охватил страх... Что, если он покажет письмо другой женщине... и они вместе посмеются над ней... Нет, что ей только приходит в голову! Как она смеет так думать!.. Возможно, что он не ответит на письмо, бросит его в корзину для бумаг, но не более того...

В общем, немного терпения, через два-три дня все решится.

Она сама еще толком не знала, что именно решится, но чувствовала, что это невыносимое смятение не может длиться долго. Так или иначе, оно должно будет кончиться. К концу дня она опять пошла с мальчиком гулять среди виноградников, но не зашла на кладбище. Она болтала с Фрицем, расспрашивала его обо всем, слушала его рассказы, рассказывала ему кое-что сама, как часто делала и раньше, пыталась объяснить ребенку, как далеко солнце отстоит от земли, почему из туч льет дождь и как растут виноградные гроздья, из которых готовят вино. Она не сердилась, как прежде, когда мальчуган невнимательно слушал ее, потому что отлично понимала, что говорит только для того, чтобы отвлечься от своих мыслей. Затем она спустилась с холма и пошла по каштановой аллее обратно в город. Вскоре она встретила Клингемана, но это не произвело на нее ни малейшего впечатления; он говорил с нею натянуто вежливо, держал

все время в руке соломенную шляпу и напускал на себя глубокую и мрачную серьезность. Он, казалось, очень постарел, и она заметила, что одет он, в сущности, совсем не элегантно, а скорее неряшливо. Она вдруг представила себе невестку в объятьях Клингемана, и ей стало очень противно. Потом она села на скамью и, чтобы ни о чем другом не думать, все время с напряженным вниманием смотрела, как Фриц играет с детьми.

Вечером она пошла к родственникам. У нее было такое ощущение, будто она все это давно подозревала, — разве можно было не заметить странных отношений между деверем и невесткой? Деверь опять подшучивал над Бертой и над ее поездкой в Вену, спрашивал, когда она снова поедет туда и скоро ли станет известно о ее помолвке. Берта подхватила его шуточный тон и сообщила, что у нее, по крайней мере, дюжина претендентов, и среди них один министр, но при этом она сознавала, что говорит и улыбается механически, а душа ее застыла и молчит. Рихард сидел рядом с нею и иногда касался ее колен, и когда он поднес ей стакан вина, а она, отказываясь, отвела его руку, то почувствовала, как приятное тепло разлилось по всей ее руке до самого плеча. Она обрадовалась этому. Ей показалось, что она изменяет Эмилю. И это было справедливо: пусть бы Эмиль узнал, что в ней еще живы чувства, что она такая же, как другие женщины, и может позволить юному племяннику обнять ее, как позволяет ему, Эмилю. Да, пусть бы он узнал! Вот о чем следовало написать ему, а не посылать униженное и страстное письмо!.. Но и под напором таких мыслей в глубине души она оставалась серьезной и чувствовала себя совсем одинокой, ибо знала, что никто даже не догадывается о ее переживаниях.

Затем, когда она возвращалась домой по пустынным улицам, она встретила офицера, которого знала в лицо, с красивой женщиной — ее Берта видела впервые. Она подумала: по-видимому, из Вены. Ей было известно, что к офицерам иногда приезжают женщины. Она позавидовала этой особе, ей хотелось, чтобы и ее провожал сейчас красивый молодой офицер... Почему бы и нет? Все в конце концов таковы... и она теперь не может считать себя порядочной женщиной! Эмиль ведь тоже не верит этому, а ей все равно!

Берта приходит домой, раздевается, ложится в постель. Но в комнате слишком душно. Она опять встает, подходит к окну, открывает его; на улице уже совсем темно. Быть может, кто-нибудь смотрит на нее с улицы, видит, как светится в темноте ее кожа... Что же, если бы кто-то и увидел ее раздетой, она ничего не имела бы против... Потом она опять ложится в постель... Да, она не лучше других! И зачем ей быть лучше... Мысли ее расплываются... Он виноват в этом, он довел ее до этого, он взял ее на одну ночь, словно уличную девку, — и до свиданья! Ах, тьфу, тьфу! Какие подлецы мужчины! И все-таки... это было так прекрасно...

Она засыпает.

Наутро пошел тихий теплый дождь. И Берте легче было переносить свое невероятное нетерпение, чем при палящем солнце... Ей казалось, что за время сна многое в ней улеглось. В мягком сумраке этого утра все представлялось ей проще, естественней. Завтра придет долгожданное письмо, а сегодня такой же день, как сотни других. Она отправилась к своим. С племянником была на сей раз очень строга и ударяла его по пальцам, когда он совсем плохо играл. Он был для нее ленивым учеником — и только.

После обеда у нее явилась мысль, которую она сочла достойной всяческой хвалы. Она уже давно решила обучать своего малыша грамоте, сегодня пора начать, и целый час она билась над тем, чтобы научить его разбирать несколько букв.

Дождь все еще лил, жаль, что нельзя пойти гулять! День будет тянуться долго, очень долго. Она должна наконец пойти к Рупиусу. Возмутительно, что она ни разу не зашла к нему с тех пор, как вернулась. Вполне возможно, что ему немного стыдно, так как недавно, говоря с ней, он произносил такие громкие слова, а Анна все-таки остается с ним.

Она вышла из дома. Несмотря на дождь, она прежде всего направилась за город. Она давно не была так спокойна, как сегодня, она радовалась, что день выдался без тревог и волнений, без напряженного ожидания. Если бы всегда было так! Поразительно, как равнодушно думала она об Эмиле. Лучше всего было бы, если бы она больше ничего о нем не слыхала и

навсегда сохранила бы такое спокойствие... Да, так было бы приятнее и лучше. Жить в маленьком городе, иметь несколько уроков, которые не требуют от нее большого напряжения, воспитывать своего мальчика, учить его читать, писать, считать! Разве то, что она испытала в последние дни, стоило таких огорчений, такого унижения?.. Нет, она не создана для подобных приключений. Ей казалось, что шум большого города, который несколько не раздражал ее в прошлый раз, теперь громко отдается у нее в ушах, и радовалась приятной тишине, окружавшей ее.

Так приняла она глубокую усталость, охватившую ее после непривычных волнений, за душевный покой... И все-таки очень скоро, как только она повернула обратно в город, это спокойствие стало постепенно таять, и в Берте пробудились неясные предчувствия новых волнений и страданий. Вид встретившейся ей молодой пары, которая шла, тесно прижавшись друг к другу, под раскрытым зонтиком, усилил ее страстную тоску по Эмилю; она не сопротивлялась ей, ибо знала, что в душе у нее все взбаламутилось и малейший толчок мог вызвать на поверхность что-то новое, неожиданное.

Уже наступали сумерки, когда Берта вошла в комнату Рупиуса. Он сидел за столом, перед ним лежала папка с гравюрами. Горела лампа под потолком. Рупиус поднял глаза на Берту и ответил на ее поклон. Затем сказал:

— Вы вернулись еще позавчера вечером.— Это прозвучало, как упрек, и Берта почувствовала себя виноватой.— Ну, садитесь,— продолжал он,— и расскажите мне, что подельвали в городе.

— Ничего особенного. Была в музее, узнала некоторые из ваших картин.

Рупиус ничего не ответил.

— Ваша жена вернется сегодня вечером?

— Не думаю.— Он замолчал; затем сказал нарочито сухо: — Должен перед вами извиниться, что недавно говорил с вами о вещах, которые не могут вас интересовать. Впрочем, я не верю, что моя жена вернется сегодня.

— Но... она сама сказала мне...

— Да, и мне тоже. Она просто хотела избавить

меня от прощания, вернее, от комедии прощания. Под этим я подразумеваю не какую-то ложь, а то, чем обычно сопровождается прощание: трогательные слова, слезы... Ну, довольно об этом. Станете ли вы иногда навещать меня? Ведь я буду довольно одинок, когда жена покинет меня.

Тон, которым он все это говорил, своей резкостью так мало гармонировал с содержанием его речи, что Берта тщетно подыскивала слова, чтобы возразить ему. Но Рупиус продолжал:

— Ну а, кроме музея, что вы еще видели?

Берта стала поспешно и очень подробно рассказывать о своей поездке в Вену, рассказала и о друге юности, которого встретила после долгих лет — и подумать только! — как раз перед картиной Фалькенборга. Когда она говорила об Эмиле, не называя его имени, тоска по нему стала просто неодолимой, и она решила сегодня же написать ему еще раз.

Вдруг она увидела, что Рупиус неподвижным взглядом уставился на дверь. Вошла его жена, улыбаясь, приблизилась к нему, сказала: «Вот и я», поцеловала его в лоб и протянула руку Берте. «Добрый вечер, фрау Рупиус», — сказала Берта, крайне обрадованная. Господин Рупиус не промолвил ни слова, но лицо его отражало глубокое волнение. Фрау Рупиус, не успевшая еще снять шляпу, на мгновение отвернулась, и тогда Берта увидела, как Рупиус закрыл лицо руками и начал тихо всхлипывать.

Берта ушла. Она была рада, что фрау Рупиус вернулась, это показалось ей хорошим предзнаменованием. Завтра утром может прийти письмо, которое, вероятно, решит ее судьбу. Ее спокойствия как не бывало, но теперь она томилась иным желанием, чем раньше. Она хотела, чтобы он был здесь, рядом с нею — только бы видеть его, идти с ним рука об руку. Вечером, уложив мальчика в постель, она еще долго оставалась одна в столовой, взяла несколько аккордов на рояле, потом подошла к окну и стала всматриваться в темноту. Дождь перестал, земля впитывала влагу, тяжелые облака нависли над городом. Берта всем существом своим стремилась к Эмилю, все в ней взывало к нему, глазами она пыталась отыскать его в темноте, губами она посылала ему поцелуи, как будто могла коснуться его губ,

и бессознательно, словно ее желания, такие далекие от всего, что ее окружало, должны были вознестись к небу, шептала: «Верни мне его!» Никогда она так всецело не принадлежала ему, как в эту минуту. Ей казалось, что она только сейчас полюбила его. Ничто не примешивалось к этому чувству, ничто, обычно омрачающее ее любовь, — ни страх, ни заботы, ни сомнения; вся она была преисполнена одной только нежностью, и когда повеял легкий ветерок и шевельнул волосы у нее надо лбом, ей показалось, будто ее коснулось его дыхание.

На следующее утро письма не было. Берта была немного разочарована, но не встревожена. Вскоре явилась Элли, ей вдруг очень захотелось поиграть с Фрицем. Горничная пришла с рынка и сообщила, что Рупиусы очень спешно вызвали врача, но она не знает, кто заболел — господин Рупиус или его жена. Берта решила сама разузнать все еще до обеда. Урок у Мальманов она провела очень рассеянно и нервно, а затем пошла к Рупиусам. Горничная сказала ей, что барыня заболела и лежит в постели, что опасного ничего нет, но доктор Фридрих строго запретил всякие посещения. Берта испугалась. Она охотно поговорила бы с господином Рупиусом, но не хотела быть навязчивой.

После обеда она попыталась продолжить занятия с сыном, но это ей не удавалось. Снова у нее возникло такое чувство, будто болезнь Анны имеет непосредственное отношение к ее собственным надеждам; будь Анна здорова, письмо бы уже пришло. Она понимала, что все это глупости, но ничего не могла с собой поделать.

После пяти часов она снова поднялась к Рупиусам. Горничная впустила ее: господин Рупиус хочет сам поговорить с нею. Он сидел в кресле за столом.

— Ну что? — спросила Берта.

— Доктор как раз там; если вы согласитесь подождать несколько минут...

Берта не решилась спрашивать. Оба молчали. Через несколько секунд к ним вышел доктор Фридрих.

— Ну, пока еще нельзя сказать ничего определенного, — медленно произнес он и, вдруг решившись, прибавил: — Простите, сударыня, мне крайне необходимо поговорить с господином Рупиусом наедине.

Рупиус вздрогнул. Берта сказала машинально: «Я не буду вам мешать», и удалилась. Но она была так взволнована, что не могла пойти домой, и направилась по тропинке между виноградниками на кладбище. Она чувствовала, что в этом доме происходит что-то таинственное. Ей пришло в голову, не покушалась ли Анна на самоубийство. «Только бы она не умерла», — подумала она. И тут же эта мысль сменилась новой: только бы от Эмиля пришло теплое письмо! Ей показалось, что опасности надвигаются на нее со всех сторон. Она вошла за ограду кладбища. Был солнечный летний день, листья и цветы благоухали после вчерашнего дождя. Но Берта поняла, что здесь ей нечего делать. Ей было даже неприятно читать на надгробном камне слова, которые уже не имели для нее ни малейшего значения: «Виктор Матиас Гарлан, скончался 6 июня 1895 г.». Теперь любая прогулка с Эмилем, совершенная десять лет тому назад, казалась ей не такой далекой, как годы, прожитые с мужем. Этих лет вообще не было... Не будь на свете Фрица, она бы и не поверила, что они были... Вдруг у нее мелькнула мысль: Фриц совсем не сын Гарлана... В сущности, он сын Эмиля... Возможны ли такие вещи?.. И в это мгновение ей показалось, что она способна понять догму о святом духе... Тогда она сама испугалась своих нелепых мыслей. Она взглянула на широкую дорогу, пересекавшую кладбище из конца в конец, от ворот до противоположной стены, — в эту минуту она точно знала, что через несколько дней здесь понесут гроб с телом фрау Рупиус. Она хотела отогнать эту мысль, но перед ней во всей наглядности возникла картина: катафалк стоит перед воротами, вон там — могила, только что выкопанная двумя могильщиками, она предназначена для фрау Рупиус; и у могилы ждет господин Рупиус. Он сидит в своей коляске, с пледом на коленях, и пристально смотрит на гроб, который медленно несут люди в черном одеянии... Это было больше чем предчувствие, это было предвидение... Но откуда оно взялось у нее? Тут она услышала позади себя разговор; мимо нее прошли две женщины, одна — вдова недавно умершего подполковника, другая — ее дочь; обе поклонились ей и прошли дальше. Берта подумала, что эти женщины будут считать ее верной вдовой, все еще оплакивающей своего мужа;

она сочла себя обманщицей и поспешила уйти. Может быть, есть уже какое-нибудь известие от Эмиля, хотя бы телеграмма... в этом не было бы ничего удивительного... они ведь достаточно близки друг другу... Помнит ли еще фрау Рупиус о том, что Берта говорила ей на вокзале, может быть, она повторяет это в бреду... Впрочем, все это ей так безразлично. Важно только, чтобы Эмиль написал ей и чтобы фрау Рупиус выздоровела. Она должна пойти туда еще раз, ей нужно поговорить с господином Рупиусом, он ей скажет, что врач сообщил ему... И она поспешно спускается с холма между виноградниками и направляется домой. Ничего нет — ни письма, ни телеграммы... Фриц гуляет со служанкой. Ах, как она одинока! Она снова спешит к Рупиусам, горничная открывает ей дверь. Дело обстоит очень плохо, с господином Рупиусом говорить нельзя...

— Что у нее? Вы не знаете, что сказал доктор?

— Доктор сказал, воспаление.

— Какое воспаление?

— Или, вернее, заражение крови. Сейчас придет сиделка из больницы.

Берта ушла. На площади перед кафе сидело несколько человек, один из передних столиков был занят офицерами, как обычно в этот час. «Они не знают, что происходит там, наверху, — подумала Берта, — иначе они не могли бы сидеть здесь и смеяться... Заражение крови — что это значит?.. Несомненно, была попытка к самоубийству... Но почему?.. Потому, что она не могла уехать — или не хотела? Но она не умрет, — нет, она не должна умереть!»

Чтобы убить время, Берта навестила родственников. Там она застала только невестку, та уже знала о болезни фрау Рупиус, но это ее мало тревожило, и она вскоре заговорила о другом. Берта не могла вынести болтовню невестки и поспешила уйти.

Вечером она пытается рассказывать сказки своему мальчику, затем читает газету, где, между прочим, находит извещение о концерте с участием Эмиля. Ей кажется очень странным, что концерт все еще предстоит, а не состоялся уже давно.

Она не может лечь спать, не наведавшись еще раз к Рупиусам. В передней она встречает сиделку. Это та самая сиделка, которую доктор Фридрих посылает к

своим частным пациентам. У нее веселый вид и бодрый, утешающий взгляд. «Наш доктор уж вызовет фрау Рупиус», — говорит она. И хотя Берта знает, что эта сиделка всегда говорит утешительные слова, она все-таки немного успокаивается. Она возвращается домой и спокойно засыпает.

На следующее утро она просыпается поздно. Она выпалась и чувствует себя бодро. На ночном столике лежит письмо. Теперь только она приходит в себя, вспоминает, что фрау Рупиус тяжело больна, сознает, что это письмо от Эмиля. Она так поспешно хватается за него, что маленький подсвечник начинает сильно раскачиваться, вскрывает конверт и читает:

«Милая моя Берта! Очень благодарен тебе за твое чудесное письмо. Оно меня очень обрадовало. Но твое намерение навсегда переехать в Вену ты должна все-таки еще основательно обдумать. Условия здесь совершенно иные, чем ты, по-видимому, себе представляешь. Даже местным, хорошо себя зарекомендовавшим музыкантам стоит большого труда получить мало-мальски прилично оплачиваемые уроки, для тебя же, по крайней мере вначале, это будет почти невозможно. Дома у тебя обеспеченное существование, свой круг родных и друзей, и, наконец, там ты жила с твоим мужем, там родился твой ребенок и там твое место. Оставить все это и обречь себя на изнурительную борьбу за существование в большом городе значит поступить очень опрометчиво. Я намеренно не говорю о той роли, которую, видимо, играет в твоих соображениях симпатия ко мне, ты знаешь, что я отвечаю на нее всем сердцем, но это перенесло бы весь вопрос на другую почву, а этого не должно быть. Я не приму никакой жертвы от тебя, ни при каких условиях. Вряд ли нужно тебя уверять, что я очень хочу снова увидеть тебя и как можно скорее, ибо я ничего так страстно не желаю, как опять провести с тобой такой же час, который ты мне недавно подарила (и за который я тебе очень благодарен). Устрой же так, дитя мое, чтобы ты могла примерно раз в месяц или в полтора месяца приезжать на один день и на одну ночь в Вену. Мы с тобой,

надеюсь, еще не раз будем счастливы. В ближайшие дни я, к сожалению, не смогу увидеться с тобой, ибо сразу после моего концерта я должен уехать, чтобы играть в Лондоне (сезон), оттуда я поеду в Шотландию. Итак, до радостного свидания осенью. Приветствую тебя и целую чудное местечко за твоим ушком, которое я больше всего люблю.

Твой *Эмиль*».

Когда Берта прочла это письмо до конца, она еще некоторое время, выпрямившись, сидела на кровати. По телу ее пробежала дрожь. Письмо это не поразило ее — она знала, что не могла ожидать ничего другого. Берта встряхнулась... Раз в месяц или в полтора... это великолепно! Да, на один день и на одну ночь... Тьфу! Тьфу!.. И как он боится, что она переедет в Вену... И в заключение эта приписка, будто он рассчитывал, так сказать, издали воздействовать на ее чувственность, ведь это единственное, что их соединяет... Ах, тьфу, тьфу!.. До чего она дошла! Ей становится тошно, тошно!.. Одним прыжком она встает, одевается... Ну, а что же дальше?.. Все кончено, кончено, кончено! У него нет времени для нее, совершенно нет времени!.. С осени — раз в полтора месяца на одну ночь... Да, сию минуту, сударь, с удовольствием соглашаюсь на ваше лестное предложение, я не желаю для себя ничего лучшего! Я буду по-прежнему прозябать в этом городишке, давать уроки, тупеть... Вы будете по-прежнему играть на скрипке, кружить голову женщинам, путешествовать — богатый, знаменитый и счастливый, — а раз в месяц или в полтора я должна проводить одну ночь в какой-то грязной комнате, куда вы приводите женщин с улицы, в постели, где многие, многие лежали до меня... тьфу, тьфу, тьфу!.. Быстрее собраться и идти к фрау Рупиус... Анна больна, тяжело больна, — что мне до всего остального?

Прежде чем уйти, она прижала к сердцу своего малыша, и ей вспомнилась фраза из письма: «Здесь, где родился твой ребенок, ты дома...» Да, это так, но он сказал это не потому, что это правда, а лишь для того, чтобы избежать опасности видеться с нею чаще, чем раз в полтора месяца.

Довольно, прочь... Почему же она не дрожит за фрау Рупиус? Она уже знает, что той вчера вечером было

лучше. Где же письмо?.. Она его снова машинально сунула за корсаж.

Офицеры сидели перед кафе и завтракали; мундиры у них были покрыты пылью: они только что вернулись с ученья. Один из них посмотрел на Берту, это был еще юнец, видимо, недавно прибывший в полк... Пожалуйста, сударь, я всецело к вашим услугам, в Вене я занята только раз в месяц или в полтора... пожалуйста, скажите только, когда вам угодно...

Дверь на балкон была открыта, на перилах висело красное бархатное покрывало с рояля. Ну, по-видимому, все опять в порядке, иначе разве висело бы покрывало на балконе?.. Конечно! И так, без всяких опасений — вперед.

Горничная открывает дверь. Берте не надо спрашивать: в широко открытых глазах девушки — выражение такого ужаса и растерянности, какое может вызвать только зрелище мучительной смерти. Берта входит в гостиную, дверь в спальню широко открыта.

Отодвинутая от стены, посреди комнаты стоит кровать, вокруг нее пусто. В ногах у больной сиделка, она очень устала, голова ее склонилась на грудь, у изголовья сидит в кресле на колесах господин Рупиус. В комнате так темно, что Берта, только подойдя совсем близко, может ясно разглядеть лицо Анны. Она, кажется, спит. Берта подходит ближе. Она слышит дыхание Анны, равномерное, но невероятно частое, никогда она не слышала, чтобы человек так дышал. Теперь Берта чувствует, что глаза обоих присутствующих устремлены на нее. С минуту она удивляется, что ее так просто впустили, затем догадывается, что теперь всякие меры предосторожности излишни: здесь все кончено.

Вдруг еще пара глаз устремляется на Берту. Сама фрау Рупиус подняла веки и внимательно посмотрела на подругу. Сиделка уступила место Берте и вышла в соседнюю комнату. Берта села и придвинулась ближе. Она увидела, как Анна медленно протянула ей руку, и Берта схватила ее.

— Милая фрау Рупиус, — сказала она. — Теперь вы чувствуете себя гораздо лучше, правда? — Она поняла, что опять сказала что-то неуместное, но это уже не могло ее удивить. Так суждено было ей при встречах с этой женщиной, до последнего часа.

Анна улыбнулась, она выглядела бледной и юной, как девушка.

— Благодарю вас, милая Берта, — сказала она.

— Но, милая, милая Анна, за что же? — Берта едва сдерживала слезы. Но ей вместе с тем очень хотелось знать, что, собственно, произошло.

Наступило долгое молчание. Анна снова закрыла глаза и, казалось, уснула, господин Рупиус сидел неподвижно. Берта смотрела то на больную, то на него. Она думала: во всяком случае, я должна подождать. Что сказал бы Эмиль, если бы Берта вдруг умерла? Он все-таки немного огорчился бы при мысли: та, которую я несколько дней тому назад держал в объятиях, теперь гниет в земле. Он даже поплакал бы. Да, в этом случае он поплакал бы... хотя вообще он такой жалкий эгоист... Ах, куда опять унеслись ее мысли? Разве не держит она еще руку подруги в своей руке? О, если бы она могла ее спасти!.. Кто теперь в худшем положении: та, которой суждено умереть, или она, так гнусно обманутая? И весь этот обман понадобился ради одной ночи?.. Ну, это еще слишком громко сказано! Ради одного часа — так унижить ее, так раздавить, — разве это не бессовестно, не подло?.. Как она ненавидит его, как ненавидит! Пусть бы он провалился на своем последнем концерте, пусть бы все его высмеяли, и ему пришлось бы краснеть, и во всех газетах было бы напечатано: Эмиль Линдбах человек конченный, совершенно конченный. И все его любовницы скажут: «Что мне за дело до него! Какой-то незадачливый скрипач!..» Да, тогда он вспомнит о ней, о единственной женщине, любившей его с детства, искренне любившей его... а он так подло обошелся с нею!.. Тогда он вынужден будет вернуться к ней, просить у нее прощения. И она скажет ему: «Вот видишь, Эмиль, вот видишь...» Но ничего лучшего ей в голову не приходит... Опять она думает о нем, всегда только о нем, а здесь умирает женщина, и она, Берта, сидит у нее на кровати, а этот молчаливый человек — муж умирающей... Такая тишина здесь, только с улицы через раскрытую дверь на балкон сюда доносится смешанный шум: людские голоса, грохот колес, звонок велосипедиста, стук сабли, волочащейся по мостовой, ко всем этим звукам примешивается щебетанье птиц, но все это так далеко, так не соответствует тому, что происходит здесь...

Анна забеспокоилась, она поворачивает голову то туда, то сюда, часто, быстро, все быстрее... Чей-то голос позади Берты тихо произносит: «Начинается». Берта обернулась. Это сказала сиделка; у нее веселое лицо, но теперь Берта замечает, что такое выражение означает не веселость, а лишь неизменную решимость не выдавать своей скорби, и она находит это лицо невыразимо ужасным... Как она сказала?.. «Начинается»... Да, как концерт или театральное представление... И она вспомнила, как у ее постели тоже произнесли однажды это слово, когда у нее начинались роды.

Анна вдруг широко открыла глаза, устремила взгляд на мужа и очень внятно сказала, тщетно пытаясь приподняться:

— Только тебя, только тебя... поверь мне, тебя одного я... — Последнее слово нельзя было разобрать, но Берта угадала его.

— Я знаю, — сказал Рупиус.

Он нагнулся и поцеловал умирающую в лоб. Анна обвила его обеими руками, он прильнул губами к ее глазам. Сиделка опять вышла. Вдруг Анна оттолкнула мужа, она больше не узнавала его, она впала в беспамятство. В испуге Берта поднялась, но осталась стоять у постели. Господин Рупиус сказал ей:

— Теперь уходите. — Она медлила. — Уходите, — строго повторил он.

Берта поняла, что должна уйти. На цыпочках удалась она из комнаты, как будто шум шагов мог еще нарушить покой Анны. Когда она вышла в переднюю, то увидела доктора Фридриха, он снимал пальто, переговариваясь с молодым врачом, младшим врачом больницы. Он не заметил Берту, и она услышала, как он сказал:

— В любом другом случае я должен был бы донести об этом, но раз дело так складывается... Кроме того, это был бы ужасный скандал, и бедный Рупиус пострадал бы больше всех. — Тут он увидел Берту. — Здравствуйте, фрау Гарлан.

— Скажите, господин доктор, что у нее, в сущности?

Доктор Фридрих бросил взгляд на младшего врача; затем ответил:

— Заражение крови. Вы знаете, сударыня, что иногда умирают от пореза пальца, не всегда удается найти

очаг воспаления. Это большое несчастье... да, да.— Он направился в комнату, ассистент последовал за ним.

Берта, ошеломленная, вышла на улицу. Что означают услышанные ею слова? Донести? Скандал? Не отравил ли сам Рупиус свою жену? Нет, что за чепуха! Но с Анной что-то сделали, это несомненно. И это каким-то образом связано с ее поездкой в Вену — ведь она заболела на следующую же ночь... Берте вспомнились слова умирающей: «Только тебя, тебя одного я любила!» Разве эти слова не прозвучали, как мольба о прощении... Только тебя любила, но с другим... Конечно, у нее был любовник в городе... Ну, и что же дальше?.. Да, она хотела уехать и все-таки не сделала этого... Как она сказала тогда на вокзале: «Мне пришлось принять другое решение...» Да, вероятно, она распрощалась с любовником в Вене и здесь — отравилась?.. Но почему же, если она любила только своего мужа? И она не лгала! Конечно, нет! Берта ничего не могла понять...

Почему она ушла от Рупиусов?.. Что ей делать теперь?.. Она слишком взволнована, чтобы чем-нибудь заняться. Она не может пойти ни домой, ни к родственникам, ей необходимо вернуться туда... А если бы сегодня пришло другое письмо от Эмиля, неужели и тогда Анна умерла бы?.. Право, она теряет рассудок... Одно не имеет никакой связи с другим, и все-таки... почему она не может отделить одно от другого?

Она снова поспешно поднялась по лестнице. Не прошло и четверти часа, как она вышла из этого дома. Дверь в квартиру была открыта, сиделка находилась в передней. «Все кончено», — сказала она. Берта прошла дальше. Господин Рупиус один сидел у стола, дверь в комнату покойной была закрыта. Он подождал, пока Берта подошла к нему совсем близко, схватил ее руку, протянутую к нему, и сказал:

— Зачем она это сделала? Зачем она это сделала?

Берта молчала.

Рупиус продолжал:

— В этом не было необходимости, клянусь богом, в этом не было необходимости. Что мне за дело до других, не правда ли?

Берта кивнула головой.

— Надо было беречь жизнь — вот в чем дело. Зачем она это сделала?

В голосе его слышалось рыданье, хотя казалось, он говорит совершенно спокойно. Берта плакала.

— Нет, в этом не было необходимости! Я вырастил бы его, вырастил бы, как собственного ребенка.

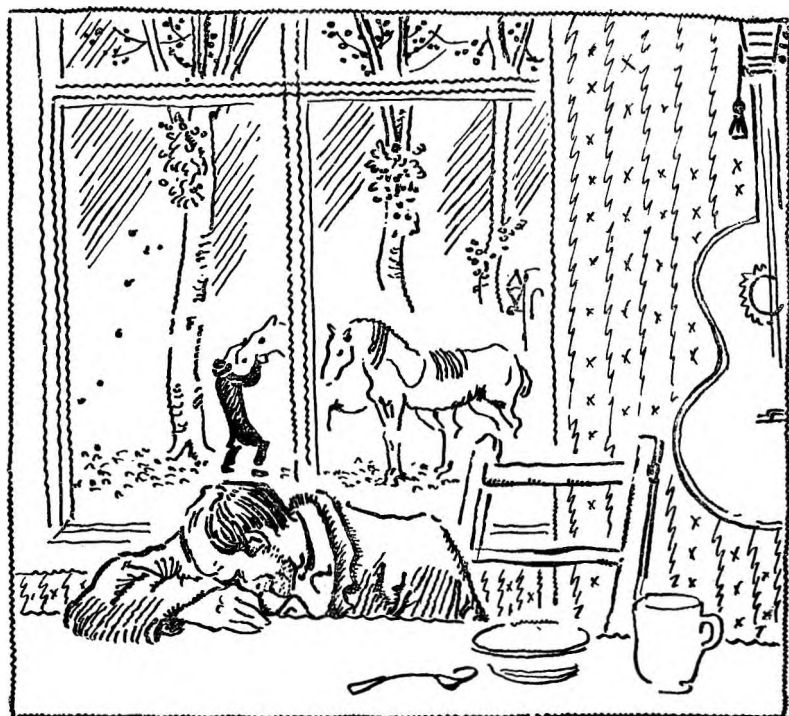
Берта широко раскрыла глаза. Теперь она все поняла, и ужасный страх охватил ее. Она подумала о себе. Что, если и она тоже в эту единственную ночь... в этот единственный час?! Она так испугалась, что казалось, лишится чувств. То, что до сих пор представлялось ей почти невероятным, вдруг превратилось в уверенность. Не могло быть иначе, смерть Анны была предзнаменованием, перстом божьим. И вдруг она вспомнила о той прогулке в Вене двенадцать лет тому назад, когда Эмиль поцеловал ее и она почувствовала страстное желание иметь ребенка. Почему не испытывала она такого же чувства, когда недавно лежала в его объятиях?.. Да, теперь она знала: она хотела только минутного наслаждения, она не лучше какой-нибудь уличной девки, и было бы лишь заслуженной небесной карой, если бы она погибла от своего греха так же, как та несчастная, которая лежит там.

— Я хотела бы еще раз взглянуть на нее, — сказала она.

Рупиус указал на дверь. Берта открыла ее, медленно подошла к кровати, на которой лежала умершая, долго смотрела на нее и поцеловала в оба глаза. Необычайный покой охватил ее. Больше всего ей хотелось еще долго оставаться у тела Анны, возле которого ее собственные разочарования и страдания теряли всякое значение. Она преклонила колена у кровати и сложила руки, но не молилась. Вдруг у нее потемнело в глазах, она почувствовала хорошо знакомую внезапную слабость, головокружение, но оно тотчас прошло. Сначала она слегка вздрогнула, потом глубоко, с облегчением вздохнула и почувствовала, что с этим приступом слабости как бы рассеялись не только ее недавние опасения, но и вся сумятица этих безумных дней, последние вспышки женской страстности — все, что она принимала за любовь. И, стоя на коленях перед этим смертным одром, она поняла, что не принадлежит к числу тех легкомыслен-

ленных натур, которые способны без раздумий упиваться радостями жизни. С отвращением думала она об единственном часе счастья, дарованном ей, и чудовищной ложью показалось ей бесстыдное наслаждение, испытанное ею тогда, по сравнению с тем невинным, нежным поцелуем, воспоминание о котором украсило всю ее жизнь. Ясно, во всей их замечательной чистоте, представились ей теперь отношения между этим паралитиком и его женой, которой пришлось смертью заплатить за свой обман. И, глядя на бледный лоб умершей, она думала о том незнакомце, из-за которого Анне суждено было умереть: он теперь безнаказанно и, пожалуй, без всяких угрызений совести разгуливает по городу и будет жить, как тот, другой... нет, как тысячи и тысячи других, которые недавно касались ее платья и с вожделением смотрели на нее. И она почувствовала величайшую несправедливость этого мира, где жажда наслаждения дарована женщине наравне с мужчиной, но для женщины становится грехом и требует возмездия, если она не связана с жаждой материнства.

Она поднялась, в последний раз бросила прощальный взгляд на любимую подругу и вышла из комнаты, где лежала умершая. Господин Рупиус сидел в соседней комнате совершенно так же, как она оставила его. У нее явилась глубокая потребность обратиться к нему со словами утешения. На одно мгновение ей показалось, что весь смысл ее собственной судьбы заключался лишь в том, чтобы она могла до конца понять страдания этого человека. Она хотела сказать ему это, но почувствовала, что он из тех, кто предпочитает оставаться наедине со своим горем. И она молча села против него.



СЛЕПОЙ ДЖЕРОНИМО И ЕГО БРАТ

Слепой Джеронимо встал со скамьи и взял гитару, лежавшую на столе возле стакана с вином. Он услышал отдаленный грохот первых экипажей. Пройдя ощупью хорошо знакомый путь до двери, он спустился по узким деревянным ступенькам, ведущим в крытый двор. Его брат последовал за ним, и оба остановились внизу у лестницы, спиной к стене, чтобы укрыться от сырого и холодного ветра, который врвался через открытые с двух сторон ворота на мокрый и грязный двор.

Под мрачными сводами старого трактира проезжали все коляски, державшие путь через перевал Стельвио. У путешественников, ехавших из Италии в Тироль, здесь была последняя остановка перед подъемом. К длительному пребыванию она не располагала, потому что как раз тут дорога была довольно прямая и не слишком живописная, ибо пролегла между невысокими, лишенными растительности горами. Слепой итальянец и его брат Карло обычно проводили здесь все лето.

Прибыла почта, вскоре подъехали и другие экипажи. Большинство пассажиров продолжали сидеть, тепло укутанные в пальто и пледы, но некоторые выходили из колясок и нетерпеливо прохаживались по двору. Погода становилась все хуже, лил холодный дождь. Казалось, что после целой череды ясных дней внезапно и раньше времени наступила осень.

Слепой пел, аккомпанируя себе на гитаре; он пел неровным, иногда вдруг пронзительно взвизгивающим голосом, что бывало всегда после того, как ему случалось выпить. По временам он, как бы в тщетной мольбе, обращал невидящие глаза к небу. Но лицо его, с черной небритой щетиной и синеватыми губами, оставалось совершенно неподвижным. Старший брат стоял рядом с ним, почти не шевелясь. Когда кто-нибудь бросал в его шляпу монету, он благодарил кивком головы и, скользнув по лицу жертвователя быстрым и каким-то отсутствующим взглядом, сейчас же, словно в испуге, отводил глаза и опять, как его брат, смотрел в пространство. Казалось, глаза его стыдятся света, который им дано видеть, но не дано и блика его подарить слепому брату.

— Принеси мне вина, — сказал Джеронимо, и Карло пошел в дом, покорно, как всегда.

Пока он поднимался по ступенькам, Джеронимо снова запел. Он давно уже не прислушивался к своему голосу и поэтому замечал все, что происходило поблизости. Сейчас он услышал совсем близко шепот двух голосов — молодого человека и молодой женщины. Он подумал о том, сколько раз эти двое уже проходили той же дорогой, взад и вперед; из-за слепоты и опьянения ему иногда казалось, что день за днем через перевал бредут одни и те же люди — то с севера

на юг, то с юга на север. Поэтому он давно знал и эту молодую пару.

Карло вернулся и подал Джеронимо стакан вина. Слепой взмахнул им в сторону молодой пары и сказал: «Ваше здоровье!»

— Спасибо,— ответил молодой человек, но женщина потянула его прочь — слепой внушал ей ужас.

Подъехала коляска с довольно шумной компанией: отец, мать, трое детей, бонна.

— Немецкая семья,— тихо сказал Джеронимо брату.

Отец дал детям по монете и разрешил бросить их в шляпу нищего. Джеронимо поблагодарил каждого кивком головы. Старший мальчик с робким любопытством вглядывался в лицо слепого. Карло смотрел на мальчика. Как всегда при виде детей, он не мог не думать о том, что Джеронимо был как раз в этом возрасте, когда случилось несчастье, лишившее его зрения. Потому что и сейчас, почти через двадцать лет, он помнил тот день совершенно ясно. И сейчас в ушах его звучал пронзительный крик, который издал маленький Джеронимо, падая на траву, и сейчас видел он узоры и кольца, которые солнце чертило на белой ограде сада, и снова слышал воскресный перезвон колоколов, раздавшийся в эту минуту. Он, как обычно, пускал стрелы в ясень у ограды и, услышав крик, сразу понял, что, вероятно, ранил младшего брата, только что пробежавшего мимо. Самострел выскользнул у него из рук, он выпрыгнул из окна в сад и бросился к брату, который лежал на траве, закрыв лицо руками, и громко плакал. По его правой щеке и шее стекала кровь. В это время с поля вернулся отец; он вошел через маленькую садовую калитку, и теперь они оба растерянно стояли на коленях перед рыдающим ребенком. Прибежали соседи. Старухе Ванетти первой удалось оторвать руки мальчика от лица. Потом пришел кузнец, у которого Карло состоял тогда в обучении, кое-что смысливший в искусстве врачевания; он сразу увидел, что правый глаз потерян. Приехавший вечером из Поскьяво врач тоже ничем не мог помочь. Да, он тогда уже намекнул на опасность, грозившую и другому глазу. И он оказался прав. Через год мир погрузился для Джеронимо в ночь. Вначале все пытались его убедить, что со временем он вылечится, и, каза-

лось, он этому верил. Карло, знавший правду, дни и ночи бродил тогда по большой дороге, по лесам и виноградникам и едва не покончил с собой. Но патер, которому он доверился, объяснил ему, что его долг жить и посвятить свою жизнь брату. Карло это понял. Его охватило безмерное сострадание. Только когда он был вместе со слепым мальчиком, мог гладить его волосы, целовать в лоб, когда рассказывал ему всевозможные истории, выводил гулять в поля и виноградники за домом, мука его ослабевала. После несчастья он забросил учение в кузнице, ибо не хотел расставаться с братом, а потом так больше и не решился снова приняться за ремесло, хотя отец очень тревожился и уговаривал его. Однажды Карло обратил внимание на то, что Джеронимо совсем перестал говорить о своей беде. Скоро он понял почему: слепой окончательно убедился, что никогда больше не увидит неба, холмов, дорог, людей, света. Теперь Карло страдал еще сильнее, чем раньше, как ни старался успокоить себя тем, что причинил это несчастье без всякого умысла. И порой, глядя ранним утром на спавшего рядом с ним брата, он испытывал такой страх при мысли о его пробуждении, что выбегал в сад, только бы не присутствовать при том, как эти мертвые глаза каждое утро снова раскрываются навстречу свету, навсегда для них погасшему. Тогда-то Карло и пришла в голову мысль учить Джеронимо, у которого был приятный голос, музыке. Школьный учитель из Толы, иногда приходивший к ним в деревню по воскресеньям, научил его играть на гитаре. Слепой, конечно, еще не подозревал, что это искусство со временем станет его единственным средством к существованию.

В этот печальный летний день несчастье, по-видимому, навсегда поселилось в доме старого Лагарди. Урожай из года в год становился все скуднее, один родственник не вернул ему взятую взаймы сумму — все его сбережения, и когда в знойный августовский день старик внезапно умер в поле от удара, он не оставил ничего, кроме долгов. Маленький земельный участок продали, братья лишились крова, стали нищими и покинули деревню.

Карло было двадцать, Джеронимо пятнадцать лет. Тогда началась их нищенская, бродячая жизнь, которая длится до сих пор. Сначала Карло надеялся найти

какой-нибудь заработок, который прокормил бы его и брата, но дело не ладилось, да и Джеронимо нигде не находил покоя, он хотел всегда быть в пути.

Вот уже двадцать лет бродят они по дорогам и горным перевалам, в Северной Италии и Южном Тироле, и всегда там, где как раз протекает самый густой поток путешественников.

И если после стольких лет Карло уже не испытывал той жгучей муки, которая терзала его раньше при каждом взгляде на солнце, при виде приветливого пейзажа, в нем все еще жила постоянно гложущая жалость, неизменная и неосознанная, как биение его сердца, как его дыхание. И он бывал рад, когда Джеронимо напивался.

Коляска с немецким семейством уехала. Карло присел, по своему обыкновению, на нижние ступеньки лестницы, но Джеронимо продолжал стоять, вяло опустив руки и подняв голову.

Мария, служанка, вышла из трактира.

— Много сегодня заработали? — крикнула она с крыльца.

Карло даже не обернулся. Слепой наклонился за своим стаканом, поднял его с земли и выпил за здоровье девушки. Иногда по вечерам она сидела рядом с ним в зале трактира, и он знал, что она красива.

Карло нагнулся и выглянул на дорогу. Дул сильный ветер, шумел дождь, и грохот приближающегося экипажа потонул в хаосе звуков. Карло поднялся и снова стал на свое место, рядом с братом.

Джеронимо начал петь, когда экипаж, в котором сидел только один пассажир, уже въехал во двор. Кучер торопливо выпряг лошадей и поспешно направился в трактир. Пассажир некоторое время продолжал сидеть в углу кареты, укутанный в серый дождевой плащ; казалось, он даже не слышал пения. Затем он выскочил из экипажа и начал стремительно шагать взад и вперед, не отходя далеко и непрерывно потирая руки, чтобы согреться. По-видимому, он только сейчас заметил нищих. Остановившись перед ними, он принялся долго и пристально их разглядывать. Карло в знак приветствия слегка наклонил голову. Путешественник был еще очень молодой человек с красивым безбородым лицом и беспокойными глазами. По-

стояв довольно долго перед нищими, он затем быстро подошел к воротам, через которые должен был ехать дальше, и, глядя на открывшееся ему безотрадное зрелище дождя и тумана, с досадой покачал головой.

— Ну что? — спросил Джеронимо.

— Пока ничего, — ответил Карло. — Верно, он даст, когда поедет дальше.

Путешественник вернулся и прислонился к оглоблям экипажа. Слепой запел. Теперь молодой человек начал вдруг слушать с большим интересом. Вышел слуга и стал запрягать лошадей. И только тогда, словно спохватившись, молодой человек сунул руку в карман и дал Карло франк.

— О, благодарю, благодарю, — сказал тот.

Путешественник сел в экипаж и снова завернулся в свой плащ. Карло поднял с земли стакан и пошел по деревянным ступенькам вверх. Джеронимо продолжал петь. Молодой человек высунулся из экипажа и покачал головой с выражением превосходства и грусти одновременно. Вдруг ему, видимо, пришла в голову какая-то мысль, и он улыбнулся. Потом он спросил слепого, стоявшего в двух шагах от него:

— Как тебя зовут?

— Джеронимо.

— Ну, Джеронимо, смотри, чтобы тебя не обманули.

В эту минуту на верхней ступеньке лестницы показался кучер.

— Как это не обманули, сударь?

— Я дал твоему спутнику двадцатифранковую монету.

— О сударь, благодарю, благодарю!

— Да. Так что не зевай.

— Это мой брат, сударь, он меня не обманет.

Молодой человек был озадачен, но, пока он размышлял, кучер взобрался на козлы и стронул лошадей. Тогда путешественник откинулся на сиденье, тряхнув головой с таким видом, словно хотел сказать: «Судьба, исполни свое предначертание!» И экипаж укатил.

Слепой обеими руками радостно жестикулировал ему вслед, выражая свою благодарность. Вдруг он услышал голос Карло, только что вышедшего из трактира. Он кричал:

— Иди сюда, Джеронимо, здесь наверху тепло, Мария затопила печь!

Джеронимо кивнул, взял гитару под мышку и, держась за перила, стал ощупью подниматься по ступенькам. Еще с лестницы он крикнул:

— Дай мне ее потрогать. Как давно я не держал в руках золотой монеты!

— В чем дело? — спросил Карло. — Что это ты говоришь?

Джеронимо был уже наверху и обеими руками обхватил голову брата — жест, которым он всегда выражал радость или нежность.

— Карло, дорогой брат, все-таки есть на свете добрые люди!

— Конечно, — сказал Карло. — Пока что мы собрали две лиры и тридцать чентезимо, да еще австрийских денег наберется с пол-лиры, наверное.

— И двадцать франков, и двадцать франков! — крикнул Джеронимо. — Ведь я же знаю!

Нетвердыми шагами он прошел в комнату и тяжело опустился на стул.

— Что ты знаешь? — спросил Карло.

— Ну, довольно шутить! Дай же мне его. Как давно я не держал в руках золотого!

— Да чего ты хочешь? Где я тебе возьму золотой? У нас всего две или три лиры.

Слепой стукнул кулаком по столу.

— Ну, теперь уж хватит, хватит! Или, может быть, ты хочешь его утаить от меня?

Карло удивленно и озабоченно смотрел на брата. Он подсел к нему, придвинулся совсем близко и успокаивающе взял за руку:

— Я ничего от тебя не утаиваю. Как ты можешь так думать? Никому еще не взбрело на ум дать мне золотой.

— Но ведь он мне сам сказал.

— Кто?

— Ну, тот молодой человек, что бегал взад и вперед.

— Как? Я тебя не понимаю.

— Вот что он мне сказал: «Как тебя зовут?» И потом: «Смотри не зевай, смотри не зевай, чтобы тебя не обманули!»

— Да тебе все это приснилось, Джеронимо! Ведь это вздор!

— Вздор? Я же сам слышал, а слышу я хорошо. «Смотри не зевай, чтобы тебя не обманули. Я дал ему золотой...» Нет, он сказал так: «Я дал ему двадцати-франковую монету».

Вошел трактирщик.

— Ну, что с вами такое? Вы, видно, прикрыли свою лавочку? Только что подъехала коляска с четверкой лошадей.

— Идем, — крикнул Карло, — идем!

Но Джеронимо продолжал сидеть.

— К чему? Зачем мне идти? Что толку? Ведь ты стоишь рядом и...

Карло тронул его за руку.

— Замолчи. Пойдем вниз.

Джеронимо умолк и послушался брата. Но на лестнице он сказал: «Мы еще поговорим, мы еще поговорим!»

Карло не мог понять, что произошло. Не сошел ли Джеронимо вдруг с ума? Хотя он и легко раздражался, так он еще никогда не разговаривал.

В только что подъехавшем экипаже сидели двое англичан. Карло снял перед ними шляпу, и слепой запел. Один из англичан вышел из экипажа и бросил в шляпу Карло несколько монет. Карло сказал «спасибо» и потом, как бы про себя: «Двадцать центезимо». Лицо Джеронимо оставалось неподвижным; он начал новую песню. Экипаж с обоими англичанами уехал.

Братья молча поднялись по лестнице. Джеронимо сел на скамью, Карло остался стоять у печки.

— Почему ты молчишь? — спросил Джеронимо.

— Да ведь, — ответил Карло, — это могло быть только так, как я тебе сказал. — Голос его слегка дрожал.

— А что ты сказал?

— Может быть, это был сумасшедший.

— Сумасшедший? Вот это ловко! Если кто-то говорит «я дал твоему брату двадцать франков», значит, он сумасшедший! Э, а почему он сказал: «Смотри, чтобы тебя не обманули», а?

— Может быть, он и не сумасшедший... но есть люди, которые любят подшутить над нами, бедняками.

— Э! — закричал Джеронимо. — Подшутить? Вот, вот как раз это ты и должен был еще сказать, этого я и ждал! — И он осушил стоявший перед ним стакан вина.

— Но, Джеронимо! — крикнул Карло, чувствуя, что от растерянности почти не в состоянии говорить. — Почему я стал бы... как ты можешь так думать?..

— А почему у тебя дрожит голос... э... почему?

— Джеронимо, уверяю тебя, я...

— Э... я тебе не верю! Вот теперь ты смеешься... я ведь знаю, что ты теперь смеешься!

Слуга крикнул снизу:

— Эй, слепой, люди приехали!

Братья машинально встали и спустились по лестнице. Одновременно подъехали две коляски, в одной сидело трое мужчин, в другой пожилая супружеская пара. Джеронимо пел, Карло беспомощно стоял возле него. Что же теперь делать? Брат ему не верит! Возможно ли это? И он испуганно косился на Джеронимо, который надтреснутым голосом пел свои песни. Карло казалось, что он видит, как в голове брата роятся мысли, которых он раньше никогда у него не замечал.

Коляски давно уехали, а Джеронимо все пел. Карло не решался прервать его. Он не знал, что сказать, и боялся, что у него снова задрожит голос. Вдруг наверху раздался смех, и Мария крикнула:

— Что это ты поешь да поешь? Ведь от меня ты все равно ничего не получишь!

Джеронимо прервал пение, не окончив мелодии. Это прозвучало так, будто его голос и струны оборвались одновременно. Потом он снова поднялся по ступенькам, и Карло последовал за ним. В зале он сел около Джеронимо. Что же ему делать? Ничего другого не оставалось: надо еще раз попытаться разуверить брата.

— Джеронимо, — сказал он, — клянусь тебе... опомнись, Джеронимо... как можешь ты думать, что я...

Джеронимо молчал, казалось, его мертвые глаза смотрят на серый туман за окном. Карло продолжал:

— Ну, может быть, он и не сумасшедший, ведь он мог и ошибиться... да, конечно, он ошибся... — Но Карло ясно чувствовал, что сам не верит в то, что говорит.

Джеронимо нетерпеливо отмахнулся, но Карло продолжал, внезапно оживившись:

— Зачем бы я стал... ведь ты знаешь, я ем и пью не больше тебя, а когда я покупаю себе новую куртку, тебе об этом известно... к чему же мне столько денег? Что мне с ними делать?

И тогда Джеронимо процедил сквозь зубы:

— Не лги, я слышу, как ты лжешь!

— Я не лгу, Джеронимо, я не лгу! — испуганно сказал Карло.

— Эй! Ты уже отдал ей монету, да? Или она получит ее только после? — крикнул Джеронимо.

— Мария?

— А кто же еще? Конечно, Мария. Эй, ты, лгун, вор!

И, словно не желая больше сидеть с ним рядом за столом, Джеронимо оттолкнул его локтем.

Карло встал. Пристально посмотрел он на брата, потом вышел из комнаты и спустился по лестнице во двор. Широко раскрытыми глазами он уставился на дорогу, погруженную в бурый туман. Дождь утихал. Карло сунул руки в карманы и вышел на воздух. У него было такое чувство, словно брат его прогнал. Что же все-таки произошло?.. Он все еще не мог понять. Что это за человек? Подает один франк, а говорит, будто дал двадцать! Ведь была же у него для этого какая-нибудь причина?.. И Карло стал рыться в памяти, не нажил ли он себе где-нибудь врага, который подослал сюда кого-то, чтобы ему отомстить. Но сколько он себя помнил, никогда он никого не обижал, никогда ни с кем не заводил серьезной ссоры. Вот уже двадцать лет он только и делал, что стоял во дворах или на обочинах дорог со шляпой в руке... Не рассердился ли на него кто-либо из-за женщины?.. Но как давно он уже не имел с ними дела... последней была кельнерша в Ла-Роза, прошлой весной... уж тут-то ему наверняка никто не завидовал... Непостижимо!.. Что же за люди живут в том мире, который простирается за горами и ему неведом? Они приезжали отовсюду, но что он знал о них?.. Этому незнакомцу, видимо, зачем-то понадобилось сказать Джеронимо: «Я дал твоему брату двадцать франков...» Ну, ладно... Но что же теперь делать? Вдруг оказалось, что Джеронимо ему не доверяет. Этого он не мог вынести! Что-то необходимо предпринять. И Карло поспешил назад.

Когда он снова вошел в комнату, Джеронимо лежал, вытянувшись, на скамье и, казалось, его не заметил. Мария принесла обоим еду и питье. Во время обеда они не произнесли ни слова. Когда Мария собирала тарелки, Джеронимо вдруг засмеялся и спросил ее:

— Что же ты себе купишь на эти деньги?

— На какие деньги?

— Ну так что же? Новую юбку или серьги?

— Что ему от меня надо? — обратилась она к Карло.

В это время внизу во дворе загрохотали тяжело нагруженные повозки; раздались громкие голоса, и Мария поспешно спустилась вниз. Через несколько минут вошли три возчика и сели за стол; трактирщик подошел к ним и поздоровался. Возчики ругали скверную погоду.

— Сегодня ночью у вас тут выпадет снег, — сказал один.

Другой стал рассказывать, как десять лет тому назад, в середине августа, его на перевале занесло снегом и он едва не замерз. Мария подсела к ним. Подошел и слуга справиться о своих родителях, живущих внизу, в Бормио.

Опять подъехал экипаж с путешественниками. Джеронимо и Карло сошли вниз; Джеронимо пел, Карло протягивал шляпу, и проезжающие бросали в нее милостыню. Джеронимо казался теперь совсем спокойным. Иногда он спрашивал: «Сколько?» — и, услышав ответ Карло, слегка кивал головой. Тем временем Карло старался собраться с мыслями, но был не в состоянии думать и лишь смутно чувствовал, что случилось нечто страшное и он совершенно беспомощен.

Поднимаясь снова по лестнице, братья услышали наверху громкий беспорядочный говор и смех возчиков. Младший из них крикнул Джеронимо:

— Спой-ка и нам что-нибудь, мы тебе заплатим! Верно ведь? — обратился он к остальным.

Подходя к столу с бутылкой красного вина, Мария сказала:

— Не трогайте его сегодня, он не в духе.

Вместо ответа Джеронимо стал посреди комнаты и запел. Когда он кончил, возчики захлопали в ладоши.

— Поди сюда, Карло! — крикнул один из них. — Мы тоже хотим бросить свои деньги в твою шляпу, как те господу внизу!

И, взяв мелкую монетку, он высоко поднял руку, собираясь бросить милостыню в шляпу, которую протянул ему Карло. Но слепой схватил возчика за руку и сказал:

— Лучше мне, лучше мне, а то она может упасть не туда... не туда!

— Как это — не туда?

— Э, ну, возьмет и упадет у Марии между ног!

Все засмеялись, хозяин и Мария тоже, только Карло продолжал стоять неподвижно. Никогда еще Джеронимо так не шутил!..

— Подсаживайся к нам! — закричали возчики. — Ты веселый парень! — И они потеснились, чтобы освободить для Джеронимо место. Все шумнее и беспорядочнее становилось за столом; Джеронимо болтал, как и все другие, громче и веселее, чем обычно, и не переставал пить. Как только Мария опять вошла, он попытался притянуть ее к себе. Тогда один из возчиков сказал, смеясь:

— Уж не воображаешь ли ты, что она красива? Ведь это безобразная старуха!

Но слепой посадил Марию к себе на колени.

— Все вы дураки, — сказал он. — Думаете, мне нужны глаза, чтобы видеть? Я знаю даже, где теперь Карло. Э! Вон он стоит там у печки, засунул руки в карманы и смеется.

Все посмотрели на Карло, который стоял, прислонившись к печке, открыв рот, и теперь действительно скривил лицо в усмешке, словно не хотел изобличить брата во лжи.

Вошел слуга; если возчики хотят до наступления темноты попасть в Бормио, им следует поторопиться. Они встали и шумно распрощались. Братья опять остались в зале одни. То был час, когда они нередко ложились поспать. В трактире воцарилась тишина, как всегда в послеобеденное время. Положив голову на стол, Джеронимо, по-видимому, спал. Карло несколько раз прошелся по залу, потом сел на скамью. Он очень устал. Ему чудилось, что его сковал тяжелый сон. Вспоминалась всякая всячина, вчерашний, позавчерашний и

все прошедшие дни и в особенности жаркие летние дни и ослепительно-белые проезжие дороги, по которым они бродили с братом, и все это было теперь таким далеким и призрачным, словно никогда больше не сможет повториться.

Под вечер прибыла почтовая карета из Тироля, а за ней через маленькие промежутки времени несколько экипажей, едущих той же дорогой на юг. Еще четыре раза спускались братья во двор. Когда они в последний раз поднялись наверх, уже наступили сумерки и подвешенная к потолку керосиновая лампочка горела, пофыркивая. С расположенной поблизости каменоломни пришли рабочие, построившие себе деревянные бараки на несколько сот метров ниже трактира. Джеронимо подсел к ним, и Карло остался один за своим столом. Ему казалось, что его одиночество началось уже очень давно. Он слышал, как Джеронимо громко, почти крикливо, рассказывал о своем детстве, — ведь он еще хорошо помнит многое из того, что видел своими глазами, людей и вещи: отца, работающего в поле, небольшой сад и ясень у ограды, их низкий домик, двух маленьких дочек сапожника, виноградник за церковью и даже свое собственное детское лицо, смотрящее на него из зеркала. Сколько раз Карло все это уже слышал! Но сегодня это было просто невыносимо. Все звучало иначе, чем всегда: каждое слово, произнесенное Джеронимо, приобретало новый смысл и, казалось, метило в него. Карло выскользнул из комнаты и снова вышел на дорогу, которая теперь уже погрузилась во тьму. Дождь перестал, было очень холодно, и ему вдруг захотелось пойти по этой дороге дальше, все дальше, в самую гущу мрака, потом лечь где-нибудь в канаву, заснуть и больше не проснуться. Вдруг он услышал шум колес и увидел мерцающий свет двух приближающихся фонарей. В проехавшей мимо него коляске сидели двое мужчин. Один из них, с узким безбородым лицом, испуганно отпрянул, когда свет фонарей выхватил из мрака фигуру Карло, который остановился и приподнял шляпу. Коляска уехала, и свет исчез. Карло снова стоял в полной тьме. И вдруг он вздрогнул. Впервые в жизни он боялся темноты. Ему казалось, что он ее не выдержит ни минуты дольше. Страх за себя странным образом

слился в его смятенном уме с мучительной жалостью к слепому брату и погнал его домой.

Войдя в комнату, он увидел обоих только что проехавших мимо него путешественников. Сидя за бутылкой красного вина, они оживленно беседовали. На него они едва взглянули.

За другим столом все еще сидел с рабочими Джеронимо.

— Где это ты пропадаешь, Карло? — сказал трактирщик, когда он появился в дверях. — Почему ты оставляешь брата одного?

— А что случилось? — испуганно спросил Карло.

— Джеронимо угощает людей. Мне-то ведь все равно, а вот вам не худо бы подумать о том, что скоро опять наступят нелегкие времена.

Карло быстро подошел к брату и взял его за руку.

— Пойдем, — сказал он.

— Что тебе надо? — крикнул Джеронимо.

— Идем спать, — сказал Карло.

— Оставь меня, оставь меня! Я зарабатываю деньги, я могу делать со своими деньгами что хочу. Э! Ведь не можешь же ты прикарманить все! Вы, верно, думаете, что он мне все отдает? Как бы не так! Ведь я слепец! Но есть на свете люди, есть еще добрые люди, и они говорят мне: «Я дал твоему брату двадцать франков!» Рабочие засмеялись.

— Хватит, — сказал Карло. — Идем! — И он потянул брата за собой, почти втащил его по лестнице в убогую чердачную каморку, в которой они ночевали. И все это время Джеронимо кричал:

— Да, теперь это выяснилось, да, теперь я все знаю! Ну, подождите у меня! Где она? Где Мария? Или ты кладешь для нее деньги в сберегательную кассу? Э! Я для тебя пою, я играю на гитаре, ты живешь на мой счет, а ты вор! — Он рухнул на соломенный тюфяк.

Из коридора просачивался слабый свет; дверь в единственную комнату для постояльцев была открыта, и Мария стелила там на ночь постели. Стоя перед братом, Карло смотрел на него, на его распухшее лицо, синеватые губы, слипшиеся на лбу влажные волосы. Он выглядел гораздо старше своих лет. И Карло понемногу начал понимать. Не с сегодняшнего дня зародилось у слепого недоверие, по-видимому, оно дремало в нем

давно, и только отсутствие повода, а возможно, и недостаток мужества мешали его высказать. И все, что Карло для него сделал, было бесполезно; бесполезно было раскаяние, бесполезна вся его принесенная в жертву жизнь. Как же теперь быть? И дальше, день за днем, — кто знает, до каких еще пор? — вести его сквозь вечную ночь, заботиться о нем, просить для него милостыню и за все это получать одну награду — недоверие и брань? Если брат считает его вором, то зачем же оставаться с ним — ведь все это сможет делать для него всякий чужой, и не хуже, а может быть, даже лучше Карло. В самом деле, оставить Джеронимо одного, навсегда с ним расстаться было бы правильнее всего. Тогда уж ему придется признать свою неправоту, потому что только тогда он поймет, что значит быть обманутым и обокраденным, одиноким и несчастным. А он, что же тогда делать ему? Ну, ведь он еще не стар; оставшись один, он многое сможет предпринять. Как батрак, по крайней мере, он везде найдет себе приют и кусок хлеба. Но пока эти мысли мелькали в его голове, глаза его неотрывно смотрели на брата. И вдруг он увидел: Джеронимо одиноко сидит на камне у обочины залитой солнцем дороги; широко раскрытыми белыми глазами смотрит он в небо, которое не может его ослепить, и протягивает руки в ночь, неизменно его окружающую. И Карло почувствовал, что так же как у слепого на всем свете нет никого, кроме брата, так и у него нет никого, кроме Джеронимо. Он понял, что любовь к брату была смыслом его жизни, и впервые совершенно ясно осознал: только вера в то, что слепой разделяет его любовь и простил его, давала ему силы так терпеливо переносить это жалкое существование. От этой веры он не мог отказаться. Он чувствовал, что брат так же необходим ему, как он — брату. Он не мог, не хотел его покинуть. Надо либо терпеливо сносить это недоверие, либо найти способ убедить брата в необоснованности его подозрения... Эх, если бы он мог как-нибудь раздобыть золотой! Если бы завтра утром он мог сказать слепому: «Я его просто спрятал, чтобы ты не пропил его с рабочими, чтобы у тебя не украли...», или еще что-нибудь.

Кто-то поднимался по лестнице: приезжие отправлялись на покой. Вдруг у Карло мелькнула мысль посту-

чаться к ним, чистосердечно рассказать о том, что сегодня случилось, и попросить у них двадцать франков. Но в то же мгновение он понял: это совершенно безнадежно. Они просто не поверят его рассказу. И теперь он вспомнил, как испуганно вздрогнул один из них, тот, бледный, когда он, Карло, внезапно вынырнул из темноты перед коляской.

Он растянулся на соломенном тюфяке. В комнате было совершенно темно. Он слышал, как рабочие, громко разговаривая и тяжело ступая, спускались по деревянным ступенькам. Вскоре заперли ворота. Слуга еще раз прошел вверх и вниз по лестнице, и все стихло. Теперь Карло слышал только храп Джеронимо. Потом его мысли потонули в нахлынувших сновидениях. Когда он проснулся, вокруг него стояла еще глубокая тьма. Он взглянул туда, где было окно, и, напрягая зрение, различил посреди непроницаемого мрака темно-серый квадрат. Джеронимо все еще спал тяжелым сном пьяного. Карло подумал о дне, который должен наступить, и содрогнулся. Он подумал о ночи после этого дня, о дне после этой ночи, о будущем, которое его ожидает, и его охватил ужас перед грозившим ему одиночеством. Почему не проявил он вечером больше мужества? Почему не пошел к приезжим и не попросил у них эти двадцать франков? Быть может, они все-таки сжалятся бы над ним. И все же... пожалуй, это хорошо, что он не пошел к ним. Да, но почему хорошо? Карло стремительно сел и почувствовал, как у него забилося сердце. Он знал, почему это хорошо: если бы они ему отказали, он непременно вызвал бы у них подозрение... а так... Карло уставился на серое пятно, начинавшее тускло светиться... Ведь то, что, помимо его воли, родилось в его сознании, было невозможно, совершенно невозможно! Дверь в комнату напротив заперта... и кроме того: они могут проснуться... Ведь там — серое светящееся пятно среди мрака: это наступающий день.

Карло встал, словно его что-то влекло к окну, и коснулся лбом холодного стекла. Зачем он встал? Чтобы все обдумать? Чтобы попробовать?.. Но что же, что?.. Ведь это невозможно и, кроме того, это преступление. Преступление? Что значат двадцать франков для людей, которые ради удовольствия совершают поездки

за тысячи миль? Ведь они даже не заметят, что одной монеты недостает... Он подошел к двери и тихонько открыл ее. Напротив, в двух шагах, была другая дверь, запертая. У косяка висела на гвозде одежда. Карло ошупал ее... Да, если бы люди оставляли свои кошельки в кармане, жизнь была бы куда проще, тогда, наверное, никому не пришлось бы попрошайничать... Но карманы были пусты. Что же ему делать? Вернуться в комнату, на соломенный тюфяк? Быть может, есть все-таки лучший способ раздобыть двадцать франков, менее опасный и более честный. А что, если ему на самом деле каждый раз утаивать от милостыни несколько чентезимо, пока он не накопит двадцать франков, и тогда обменять их на золотой... Но сколько уйдет на это времени — месяцы, быть может, год? Ах, если бы только у него хватило мужества! Карло все еще стоял в коридоре и смотрел на запертую дверь... Откуда эта полоса света, отвесно падающая на пол? Возможно ли? Дверь только прикрыта, не заперта?.. Но почему это его так удивляет? Ведь дверь не запиралась уже несколько месяцев. Да и зачем? Карло вспомнил: за все это лето здесь только три раза ночевали — два раза странствующие подмастерья и один раз турист, повредивший себе ногу. Дверь не заперта, теперь ему требуется только мужество — да, и удача! Мужество? Хуже всего будет, если те двое проснутся, ну что же, и тогда он еще успеет придумать какой-нибудь предлог. Карло смотрит сквозь щель в комнату. Еще так темно, что он едва-едва различает очертания двух тел на кроватях. Он прислушивается: спящие дышат спокойно и ровно. Карло легко открывает дверь и босиком, совершенно бесшумно, входит в комнату. Обе кровати стоят вдоль стены, одна за другой, напротив окна. Посреди комнаты — стол; Карло прокрадывается к нему. Он проводит рукой по его поверхности и нащупывает связку ключей, перочинный ножик, маленькую книжку... больше ничего... ну, конечно! Как только мог он вообразить, что они выложат свои деньги на стол! Ах, теперь скорее прочь отсюда!.. И все же, быть может, довольно одного ловкого движения — и все удастся... Он подходит к той кровати, что ближе к двери; здесь на кресле что-то лежит... он ошупывает — это револьвер. Карло вздрагивает... Не лучше ли взять его? Зачем этот чело-

век приготовил револьвер? Если он проснется и заметит его... Но нет, Карло просто скажет ему: «Три часа, сударь, вставайте!» И Карло не берет револьвера.

Он крадется в глубь комнаты. Здесь на другом кресле под бельем... боже милосердный! Вот он... вот кошелек — он держит его в руке... В то же мгновение Карло слышит легкий скрип. Быстрым движением распластывается он на полу в ногах кровати... Опять тот же скрип; тяжелый вздох, покашливание — и снова тишина, мертвая тишина. Карло все еще лежит на полу с кошельком в руке и ждет. Но никто больше не шевелится. В комнату уже просачивается бледный свет утра. Карло не решается встать и ползет по полу к двери, которая раскрыта достаточно широко, чтобы пропустить его, ползет дальше в коридор и только здесь, медленно, с глубоким вздохом поднимается на ноги. Он открывает кошелек; в нем три отделения: справа и слева только мелкие серебряные монеты. Тогда Карло открывает среднее отделение, закрытое на замочек, и нащупывает три двадцатифранковые монеты. Какую-то долю секунды он думает взять две из них, но быстро преодолевает искушение, вынимает только один золотой и закрывает кошелек. Потом он опускается на колени, смотрит сквозь щель в комнату, в которой снова стало тихо, и дает кошельку такой толчок, что он подкатывается под вторую кровать. Когда незнакомец проснется, он подумает, что кошелек упал с кресла. Карло медленно поднимается. Но пол под ним слегка затрещал, и в ту же минуту он слышит голос: «Что такое? Кто там?..» Затаив дыхание, Карло быстро пятится назад и проскальзывает в свою каморку. Чувствуя себя в безопасности, он прислушивается... Еще раз в комнате напротив скрипит кровать, и все стихает. Карло сжимает в руке золотой. Удалось, удалось! У него есть двадцать франков, и он может сказать брату: «Видишь теперь, что я не вор!» И они сегодня же отправятся в путь — на юг, в Бормио, потом дальше через Вальтеллину... потом в Тирано... в Эдоле... в Брено... на озеро Изео, как в прошлом году. И это никому не покажется подозрительным, потому что еще позавчера он сам сказал хозяину: «Через несколько дней мы отправимся вниз».

Становится все светлее, комната погружена в пред-
рассветный сумрак. Ах, только бы Джеронимо скорее
проснулся! Как хорошо шагается ранним утром! Они
уйдут еще до восхода солнца. Попрощаются с трактир-
щиком, со слугой и с Марией тоже, а потом прочь,
прочь отсюда... И только после двух часов пути, уже
подходя к долине, он скажет Джеронимо про золотой.

Джеронимо потягивается, и Карло его окликает:

— Джеронимо!

— Ну, в чем дело?... — И, опираясь на обе руки, он
садится.

— Джеронимо, пора вставать.

— Почему?

И он устремляет свои мертвые глаза на брата. Кар-
ло знает, что Джеронимо вспоминает сейчас о вчераш-
нем, но знает и то, что он ни словом об этом не об-
молвится, пока опять не выпьет.

— Холодно, Джеронимо, надо уходить. В этом году
хорошей погоды уже не дождешься, я думаю, пора
идти. К полудню мы можем быть в Боладоре.

Джеронимо поднялся. Уже слышались звуки просы-
пающегося дома. Внизу, во дворе, хозяин разговаривал
со слугой. Карло встал и отправился вниз. Он всегда
рано просыпался и часто еще на рассвете выходил на
дорогу. Подойдя к трактирщику, он сказал:

— Мы хотим проститься.

— А, так вы уже сейчас уходите? — спросил хозяин.

— Да. Очень уж холодно теперь стоять во дворе,
на сквозняке.

— Ну, кланяйся от меня Балдетти, когда будешь
в Бормио, и пусть он не забудет прислать мне масло.

— Хорошо, обязательно передам. А вот за сего-
дняшний ночлег. — Он запустил руку в мешок.

— Ладно уж, Карло, — сказал трактирщик. — Эти
двадцать чентезимо я дарю твоему брату, ведь я тоже
слушал его песни. Счастливого пути.

— Спасибо, — сказал Карло. — А впрочем, мы не так
уж торопимся. Еще увидимся, когда ты вернешься от
рабочих. Бормио-то ведь никуда не убежит, верно? —
Он засмеялся и пошел по деревянной лестнице наверх.

Джеронимо стоял посреди комнаты.

— Ну, я готов идти, — сказал он.

— Сейчас, — ответил Карло.

Из старого комода, стоявшего в углу комнаты, он вынул их убогие пожитки и связал в узел. Потом он сказал:

— Хороший денек, но очень холодный.

— Знаю, — ответил Джеронимо. Оба вышли из комнаты.

— Иди потише, — сказал Карло, — здесь спят эти двое, что приехали вчера вечером. — Они осторожно сошли вниз. — Хозяин велел тебе кланяться, — сказал Карло. — Он подарил нам двадцать чентезимо за сегодняшней ночлег. Сейчас он у рабочих и вернется только через два часа. Мы увидимся с ним будущим летом.

Джеронимо не ответил. Они вышли на большую дорогу, расстилавшуюся перед ними в неверном свете занимающегося дня... Карло взял брата за левую руку, и они молча зашагали по направлению к долине. Вскоре они подошли к месту, где дорога начинает делать крутые витки. Снизу навстречу им клубился туман, а вершины над ними словно были поглощены облаками. И Карло подумал: «Сейчас я ему скажу».

Но он не произнес ни слова, а вынув из кармана золотой, протянул его брату; тот взял его правой рукой, приложил к щеке, ко лбу и, наконец, кивнул.

— Я так и знал, — сказал он.

— Ну да, — ответил Карло и, неприятно удивленный, взглянул на Джеронимо.

— Даже если бы проезжий мне ничего не сказал, я все равно бы знал.

— Ну да, — растерянно повторил Карло. — Но ты ведь понимаешь, почему я там, наверху, при других... я боялся, что ты все сразу... И знаешь, Джеронимо, я подумал, пожалуй, пора купить тебе новую куртку, и рубашку, да и башмаки тоже, поэтому я...

Слепой запальчиво покачал головой:

— Зачем? — И он провел рукой по своей куртке. — Еще достаточно хорошая, достаточно теплая. Ведь мы идем теперь на юг.

Карло не понимал, почему Джеронимо совсем не обрадовался и не просит прощения. И он продолжал:

— Джеронимо, разве я был неправ? Почему же ты не радуешься? Ведь теперь у нас есть золотой, верно? Теперь он только наш. Скажи я тебе о нем наверху, кто знает...

И тогда Джеронимо закричал:

— Перестань врать, Карло, хватит с меня твоего вранья!

Карло остановился и выпустил руку брата.

— Я не лгу.

— А я знаю, что ты лжешь!.. Ты всегда лжешь!.. Лгал уже сотни раз!.. И эти деньги ты тоже хотел прикарманить, да только испугался, вот в чем дело!

Карло опустил голову и ничего не ответил. Он опять взял слепого за руку и пошел с ним дальше. Слова Джеронимо его ранили, но он удивлялся, что, в сущности, не очень сильно опечален.

Туман рассеивался. После долгого молчания Джеронимо сказал: «Становится тепло». Он сказал это равнодушно, просто, как говорил уже сотни раз, и в эту минуту Карло почувствовал, что для Джеронимо ничего не изменилось. Для Джеронимо он всегда был вором.

— Ты уже хочешь есть? — спросил он.

Джеронимо кивнул, вынул из кармана куртки ломоть хлеба, сыр и стал есть. Они пошли дальше.

Им встретила почта из Бормио. Кучер окликнул их:

— Уже спускаетесь?

Проехало еще несколько колясок, все поднимались наверх.

— Ветер из долины, — сказал Джеронимо, и в то же мгновение, за крутым поворотом дороги, у их ног раскинулась Вальтеллина.

«Поистине ничего не изменилось, — думал Карло. — Теперь я ради него даже украл, но и это было напрасно».

Туман под ними становился все прозрачнее, блеск солнца прожигал в нем дыры. И Карло думал: пожалуй, было все-таки глупо так поспешно уйти из трактира... Кошелек лежит под кроватью, уж это-то, во всяком случае, подозрительно. Но как ему все безразлично! Что еще плохого может с ним случиться? Брат, которого он лишил зрения, думает, что он его обкрадывает, думает так многие годы и будет думать всегда — что же еще плохого может с ним случиться?

Под ними, словно купаясь в сиянии утреннего солнца, стоял большой, ослепительно-белый отель, а еще ниже, там, где долина начинает расширяться, тянулась

деревня. Братья молча шли дальше, и все время рука Карло лежала на руке слепого. Они прошли мимо парка, окружавшего отель, и Карло увидел завтракающих на террасе гостей в светлой летней одежде.

— Где ты хочешь отдохнуть? — спросил Карло.

— Ну, в «Орле», как всегда.

Дойдя до маленького кабака в конце деревни, они зашли в него, сели и заказали вина.

— Что это вы так рано к нам пожаловали? — спросил хозяин.

Этот вопрос слегка испугал Карло.

— Так уж и рано? Нынче у нас десятое или одиннадцатое сентября, верно ведь?

— В прошлом году, во всяком случае, вы спустились с гор гораздо позже.

— В горах так холодно, — сказал Карло. — Сегодня ночью мы мерзли. Да, кстати, хозяин просил тебе передать, чтобы ты не забыл послать ему масло.

Воздух в кабаке был спертый и душный. Странная тревога охватила Карло; ему захотелось снова очутиться под открытым небом, на большой дороге, которая вела в Тирано, в Эдоле, к озеру Изео, куда угодно, только подальше. И он вдруг поднялся.

— Разве мы уже уходим? — спросил Джеронимо.

— Ведь мы же хотим сегодня к полудню попасть в Боладоре. У «Олея» все экипажи останавливаются на отдых. Это хорошее место.

И они пошли дальше. Парикмахер Беноцци стоял у дверей своего заведения и курил.

— Доброе утро! — крикнул он. — Ну, как там, наверху? Сегодня ночью, наверно, шел снег?

— Да, да, — ответил Карло и ускорил шаги.

Деревня осталась позади. Вдоль бурливой реки, между лугами и виноградниками, тянулась вдаль ослепительно-белая дорога. Небо было голубое и безмятежное. «Зачем я это сделал? — думал Карло. Он искоса посмотрел на слепого. — Разве в его лице что-нибудь изменилось? Он всегда так думал про меня, всегда я был одинок, и всегда он меня ненавидел». И Карло казалось, что он шагает с тяжелым грузом на плечах, который никогда не посмеет сбросить, и что он видит ночь, сквозь которую бок о бок с ним бредет Джеронимо, хотя все дороги залиты солнцем.

И они шли дальше, шли час за часом. Время от времени Джеронимо присаживался на камень или оба отдыхали, прислонившись к перилам моста. Снова на пути их лежала деревня. Перед трактиром стояли экипажи, путешественники вышли из них и прохаживались взад и вперед; но нищие не остановились. Дальше, дальше, на простор, на большую дорогу. Солнце поднималось все выше, близился полдень. Было обычное утро, такое же, как тысяча других.

— Башня Боладоре, — сказал Джеронимо.

Карло поднял глаза. Он всегда удивлялся тому, как точно Джеронимо определял расстояния; башня Боладоре действительно появилась на горизонте. Издалека кто-то шел им навстречу, Карло показалось, что человек этот сидел у дороги и внезапно встал. Он приближался. Теперь Карло увидел, что это жандарм; жандармы часто встречались им на больших дорогах. И все же Карло опять испугался. Но когда тот подошел ближе, он узнал его, и у него отлегло от сердца. Это был Пьетро Тенелли; не так давно, в мае, нищие сидели с ним в трактире Раггаци в Мориньоне, и он рассказывал им жуткую историю, как его однажды чуть не заколол кинжалом бродяга.

— Кто-то остановился, — сказал Джеронимо.

— Тенелли, жандарм, — ответил Карло.

Они подошли к нему.

— Доброе утро, синьор Тенелли, — сказал Карло и остановился.

— Вот какое дело, — ответил жандарм, — я должен вас обоих отвести пока что на пост в Боладоре.

— Э! — крикнул слепой.

Карло побледнел. «Как это может быть? — думал он. — Но с тем делом это, во всяком случае, не связано, ведь здесь внизу еще ничего не успели узнать».

— Похоже, что это вам по дороге, — смеясь, сказал жандарм. — Так что вам ничего не стоит пройти со мной.

— Почему ты ничего не говоришь, Карло? — спросил Джеронимо.

— О, я говорю... Помилуйте, синьор жандарм, как это может быть... что же мы... или, вернее, что я... я, право, не знаю...

— Такое уж дело. Может быть, ты и не виноват. Почем я знаю? Во всяком случае, мы по телеграфу получили предписание задержать вас, потому что вы подозреваетесь — и серьезно подозреваетесь — в краже денег там, наверху. Ну, возможно, вы и ни при чем. Стало быть, пошли!

— Почему ты ничего не говоришь, Карло? — спросил Джеронимо.

— Я говорю... о да, я говорю...

— Ну, двигайтесь, наконец! Какой смысл торчать на дороге? Солнце палит. Через час мы будем на месте. Пошли!

Карло, как обычно, положил руку на рукав Джеронимо, и так они медленно пошли дальше, жандарм за ними.

— Карло, почему ты молчишь? — опять спросил Джеронимо.

— Что ты от меня хочешь, Джеронимо, что я должен сказать? Все выяснится... я сам ничего не знаю.

И он лихорадочно думал: «Объяснить ему все до того, как мы предстанем перед судом? Нет, не годится, жандарм нас слышит... Ну и что же? Ведь на суде я все равно скажу правду. Синьор судья, скажу я, ведь это же не обыкновенное воровство. Дело было так...» И он мучительно подыскивал нужные слова, чтобы ясно и понятно изложить суду все, что произошло. «Вчера через перевал проехал один синьор, может быть, это был сумасшедший... или, пожалуй, он просто ошибся... и этот человек...»

Но что за вздор! Кто этому поверит?

...Ему просто не дадут так долго говорить. Никто не поверит в эту нелепую историю... ведь даже сам Джеронимо в нее не верит... И Карло искоса взглянул на брата. Голова слепого, по старой привычке, двигалась при ходьбе, поднимаясь и опускаясь, как бы в такт шагам, но лицо оставалось неподвижным, и пустые глаза были устремлены в пространство. И Карло вдруг понял, какие мысли роились в этой голове... «Вот, значит, как обстоят дела, — должно быть, думает Джеронимо. — Карло обкрадывает не только меня, но и других людей... Ну, что же, ему-то хорошо, у него есть глаза, они видят, и он ими пользуется». Да, именно так думает Джеронимо, не иначе... «И то, что у меня не

найдут денег, меня не оправдает ни перед судом, ни перед Джеронимо. Меня запрут, а его... Да и его тоже — монета ведь у него». И Карло не мог больше думать, так он был растерян. Ему казалось, что он вообще ничего больше не понимает во всем случившемся и знает только одно: что он с радостью дал бы посадить себя на год... или на десять лет, лишь бы Джеронимо понял, что он стал вором ради него одного.

Неожиданно Джеронимо остановился, так что пришлось остановиться и Карло.

— Ну, в чем дело? — раздраженно крикнул жандарм. — Двигайтесь, двигайтесь!

Но вдруг он с изумлением увидел, как Джеронимо уронил на землю гитару, вытянул руки и стал гладить щеки брата. Потом он приблизил губы ко рту Карло, который стоял ошеломленный, и поцеловал его.

— Рехнулись вы, что ли? — спросил жандарм. — Вперед! Пошевеливайтесь! У меня нет охоты изжариться!

Не сказав ни слова, Джеронимо поднял гитару. Карло глубоко вздохнул и опять взял слепого за руку. Неужели это возможно? Брат больше на него не сердится? Он наконец понял?... И Карло с сомнением, искоса, взглянул на него.

— Двигайтесь! — кричал жандарм. — Шевелитесь же наконец! — И он толкнул Карло в бок.

И Карло, крепким пожатием направляя шаги слепого, опять двинулся вперед. Он пошел гораздо быстрее, чем раньше. Потому что он видел улыбку Джеронимо, счастливую и нежную, которой не замечал у него с детских лет. И Карло тоже улыбался... Ему казалось, что теперь с ним уже ничего плохого не может случиться, ни на суде, ни вообще где бы то ни было. Он снова нашел брата... нет, он лишь впервые обрел его...



ГРЕЧЕСКАЯ ТАНЦОВЩИЦА

Пусть люди говорят, что хотят, — я не верю, что фрау Матильда Замодекки умерла от разрыва сердца. Я-то знаю, в чем дело. Я и не пойду в тот дом, откуда сегодня вынесут ее, нашедшую вождеденный покой; у меня нет желания видеть человека, который не хуже меня знает, отчего она умерла; у меня нет желания пожимать ему руку и молчать.

Я отправляюсь в другую сторону; мой путь, конечно, немного долог, но осенний день прекрасен и тих,

и мне приятно побыть одному. Вскоре я буду стоять у садовой решетки, за которой прошлой весной я в последний раз видел Матильду. Ставни виллы будут заперты, дорожки усыпаны красноватыми листьями, и я, может быть, увижу, как между деревьев мерцает белый мрамор, из которого изваяна греческая танцовщица.

Сегодня я буду долго думать о том вечере. Перстом судьбы мне кажется то, что в последнюю минуту я решился тогда принять приглашение фон Вартенгеймера — ведь за последние годы я потерял вкус ко всякому обществу. Может быть, виноват был теплый ветер, ворвавшийся вечером с холмов и выманивший меня за город. Кроме того, праздник, которым Вартенгеймеры хотели отметить постройку своей виллы, они устраивали в саду, и можно было не опасаться натянутости. Странно и то, что при отъезде из дому я даже не предполагал, что могу встретить там фрау Матильду. А ведь мне было известно, что господин Вартенгеймер купил для своей виллы греческую танцовщицу работы Замодески; и что фрау фон Вартенгеймер была влюблена в скульптора, как и все остальные женщины, я тоже знал. Но я и без этого мог бы, пожалуй, вспомнить о Матильде, ибо в ту пору, когда она была еще девушкой, мы провели вместе много прекрасных часов. Особенно памятно мне лето на Женевском озере семь лет тому назад, как раз за год до ее обручения, это лето я не скоро забуду. Кажется даже, что, несмотря на свои седины, я вообразил тогда бог знает что, и, когда она через год стала женой Замодески, я испытал некоторое разочарование и был совершенно убежден или даже, можно сказать, надеялся, что с ним она не будет счастлива. Только на вечере, который Грегор Замодески устроил в своем ателье на Гусгаузштрассе, вскоре по возвращении из свадебного путешествия, — потехи ради все приглашенные должны были явиться в японских или китайских костюмах, — я вновь увидел Матильду. Она непринужденно приветствовала меня; все ее существо дышало покоем и радостью. Но позже, когда она говорила с другими, меня настигал иногда странный взгляд ее глаз, и после некоторого усилия я понял, что он должен был означать. Этот взгляд говорил: «Милый друг, вы думаете, что он женился на

мне ради денег; вы думаете, что он меня не любит; вы полагаете, что я несчастлива, но вы заблуждаетесь. Вы определенно заблуждаетесь. Взгляните, какое у меня хорошее настроение, как светятся мои глаза».

Позже я видел ее еще несколько раз, но всегда только мельком. В одно из моих путешествий встретились наши поезда; я пообедал в станционном ресторане с ней и ее мужем, и он рассказывал разные анекдоты, которые не очень меня забавляли. Однажды я видел ее в театре, она была там со своей матерью, которая все еще красивей ее... черт его знает, где тогда был господин Замодески. А прошлой зимой я встретил ее в Пратере; был ясный, холодный день. Она шла со своей маленькой дочуркой по заснеженной аллее, под облетевшими каштанами. Карета медленно ехала следом. Я стоял по другую сторону шоссе и даже не подошел к ней. Мои мысли были, вероятно, заняты совсем другим; в конце концов Матильда меня уже не особенно интересовала. Быть может, она и ее внезапная смерть теперь не очень тревожили бы меня, если бы не та последняя встреча у Вартенгеймеров. Этот вечер встает в моей памяти со странной, ранящей четкостью, как и многие дни на Женевском озере. Уже смеркалось, когда я вышел в сад. Гости гуляли в аллеях, я поклонился хозяину дома и некоторым знакомым. Откуда-то доносилась музыка салонного оркестра, скрытого в небольшой роще. Вскоре я подошел к маленькому пруду, где полукругом стояли высокие деревья; в центре пруда на темном постаменте, будто паря над водой, светилась греческая танцовщица; электрический свет, падавший из окон дома, как-то театрально освещал ее. Я припоминаю, какой восторг она вызвала в прошлом году на выставке в «Сецессионе»; должен признаться, что и на меня она произвела известное впечатление, хотя Замодески мне весьма противен и хотя я испытываю такое ощущение, будто прекрасные произведения, которые ему иногда удаются, создает, собственно, не он, а нечто в нем, нечто непостижимое, пылкое, демоническое, если хотите. Все это наверняка погаснет, когда он наконец состарится и перестанет быть кумиром женщин. Мне кажется, бывают художники такого склада, и это обстоятельство издавна дает мне известное удовлетворение.

Я встретил Матильду вблизи пруда. Она шла об руку с молодым человеком, походившим на студента-корпоранта; он представился мне как родственник хозяев. Непринужденно беседуя, мы втроем прогуливались по саду, в котором теперь повсюду загорелись огни. Навстречу нам шла хозяйка дома с Замодески. Мы остановились, и, к моему собственному удивлению, я сказал скульптору несколько благожелательных слов о греческой танцовщице. Я, собственно, совсем не был виновен в этом; вероятно, в воздухе было разлито мирное, радостное настроение, как бывает иногда в такие весенние вечера: люди, обычно безразличные друг к другу, сердечны и приветливы, иные, уже связанные какой-то взаимной симпатией, склонны к разного рода сердечным излияниям. Через некоторое время, когда я сидел на скамейке и курил папиросу, ко мне подсел какой-то господин, с которым я был мало знаком; он стал вдруг восхвалять людей, так тонко использующих свое богатство, как наш хозяин. Я вполне был согласен с ним, хотя господина фон Вартенгеймера я вообще считаю глуповатым снобом. И я, тоже без всякого повода, поделился с этим господином своими взглядами на современную скульптуру, хотя я в ней не очень разбираюсь, взглядами, которые при иных обстоятельствах не представляли бы для него никакого интереса; но под влиянием этого чарующего весеннего вечера он восторженно соглашался со мной. Потом я встретил племянниц хозяйки; праздник им казался весьма романтическим, особенно потому, что сквозь листву просвечивают огни, а музыка доносится издалека. Между тем мы стояли рядом с оркестром, но это замечание не показалось мне абсурдным, настолько и я был захвачен общим настроением.

Ужинали за маленькими столиками: они, насколько позволяло место, были расставлены на большой террасе, а остальные в прилегающем салоне. Три большие застекленные двери были раскрыты настежь. Я сидел за столиком на террасе с одной из племянниц; по другую сторону от меня села Матильда с господином, имевшим вид корпоранта, — впрочем, он был банковский служащий и офицер запаса. Напротив нас, хотя в самом зале, сидел Замодески между хозяйкой дома и какой-то красивой дамой, с которой я не был знаком.

Он залихватски-шутливо помахал своей супруге; она улыбнулась ему в ответ. Без всякого умысла я тщательно наблюдал за ним. Серо-голубые глаза и черная борода, которую он иногда приглаживал двумя пальцами левой руки, делали его действительно красивым. Мне думается, что за всю свою жизнь я не видел мужчины, на которого, подобно ему в этот вечер, был бы, так сказать, направлен такой поток пламенных слов, взглядов, жестов. Вначале казалось, что все это он только терпит. Но по его манере нашептывать дамам, по его несносным взглядам, которые он бросал с видом победителя и особенно по взволнованной живости его соседок я увидел, что безобидная на первый взгляд беседа питалась каким-то тайным огнем. Конечно, Матильда замечала все это так же, как и я; но она, оставаясь внешне спокойной, поддерживала беседу то со своим соседом, то со мной. Постепенно она стала обращаться ко мне одному, расспрашивала о моей жизни и заставила рассказать о прошлогодней поездке в Афины. Затем она стала говорить о своей дочурке, которая, как это ни удивительно, уже сейчас поет на слух песни Шумана, о своих родителях, купивших домик в Гитцинге, чтобы в нем доживать свой век, о старинных тканях, которые она в прошлом году приобрела в Зальцбурге, и о сотне других вещей. Но этот разговор прикрывал нечто совершенно иное, что происходило между нами: безмолвную ожесточенную борьбу. Своим спокойствием она пыталась убедить меня в безоблачности своего счастья, я же отказывался верить ей. Я невольно подумал о том японо-китайском вечере в ателье ее мужа, где она силилась делать то же самое. На этот раз Матильда, очевидно, почувствовала, что не могла рассеять моих сомнений: нужно было придумать что-нибудь особенное, чтобы сделать это. И тогда она решила обратить мое внимание на то, как ласково и влюбленно относились к ее мужу эти две красивые женщины; она заговорила о его успехе у женщин, как будто она без всякого беспокойства и грусти — как добрая подруга — могла радоваться этому так же, как и его красоте, и его гению. Но чем сильнее она старалась казаться довольной и спокойной, тем более хмурым делалось ее чело. Когда она однажды подняла бокал — пили за здоровье Замодекки, — ее рука дрожала.

Она хотела скрыть, побороть эту дрожь; но из-за этого не только ее пальцы, но и вся рука, и вся ее фигура на несколько мгновений так оцепенели, что мне стало страшно. Она справилась с собой, искоса взглянула на меня, заметила, очевидно, что игра ее почти проиграна, и, словно делая последнюю отчаянную попытку, сказала вдруг: «Бьюсь об заклад, вы считаете меня ревнивой». И прежде чем я успел возразить что-либо, она торопливо добавила: «О, так думают многие. Поначалу Грегор сам верил этому». Она умышленно говорила очень громко, — напротив, в салоне, можно было слышать каждое слово. «Ну да, — сказала она, бросив туда взгляд, — когда имеешь такого мужа — красивого и знаменитого... а сама — слынешь не очень красивой женщиной... О, не надо мне ничего говорить... ведь я знаю, что после родов я немного похорошела». Возможно, она была права, но для ее супруга — в этом я был глубоко убежден — благородные черты ее лица никогда не имели большого значения, а что касается ее фигуры, то с потерей девической стройности она в его глазах теряла, вероятно, свою единственную прелесть. Однако я в преувеличенных выражениях согласился с ней; она казалась обрадованной и продолжала с возрастающей решимостью: «Но я совершенно не способна к ревности. Я сама не сразу это поняла; только постепенно догадалась об этом; это было несколько лет назад в Париже... Вы ведь знаете, что мы были там?»

Я припомнил.

«Грегор выполнил там, между прочим, бюсты княгини Ла Ир и министра Шокэ. Мы жили там так хорошо, как молодые люди... Конечно, мы оба еще молоды... я хочу сказать, как влюбленные, хотя мы иногда выезжали в большой свет... Мы несколько раз были у австрийского посла, мы посещали чету Ла Ир и других. Но в общем мы не очень дорожили светской жизнью. Мы даже поселились на Монмартре в жалком доме, там же было и ателье Грегора. Поверите ли, некоторые молодые художники, наши знакомые, не имели никакого понятия о том, что мы женаты. Я повсюду слонялась с ним. Ночью я часто сидела с ним в кафе Athenes с Леандром, Карабеном и другими. Иногда в нашем обществе бывали всякого рода женщины: в Вене я, вероятно, не стала бы с ними встречаться...

хотя в конце концов... — Она взглянула на фрау Вартенгеймер и торопливо продолжала: — А некоторые были очень красивы. Несколько раз там бывала последняя любовница Анри Шабрана, которая после его смерти одевалась только в черное; каждую неделю у нее был новый любовник, и все они должны были носить траур, так она требовала... Знакомишься со странными людьми. Можете себе представить, что за моим мужем женщины бегали там не меньше, чем в любом другом месте; это была просто потеха!.. Но так как я всегда или почти всегда была с ним, они не осмеливались подступиться к нему, тем более что меня считали его любовницей... Да, если бы они знали, что я была ему только женой! И тут мне в голову пришла странная идея — такого вы никогда не ожидали бы от меня... и, честно говоря, я теперь сама удивляюсь своей смелости. — Она потупила взор и понизила голос: — Впрочем, возможно, что это было с чем-то связано, — ну, вы понимаете. Уже несколько недель я знала, что у меня будет ребенок. Я чувствовала себя счастливой. Вначале я стала не только веселее, но, как ни странно, и много подвижнее, чем когда-либо раньше... Итак, представьте, в один прекрасный вечер я надела мужской костюм и в таком виде отправилась с Грегором на поиски приключений. Естественно, прежде всего я взяла с него слово, что он не будет себя стеснять... ну, конечно, иначе вся история не имела бы смысла. Впрочем, я превосходно выглядела — вы меня не узнали бы... никто бы меня не узнал. В этот вечер за нами зашел друг Грегора, некий Леонс Альбер, молодой художник, горбатый. Было чудесно... Май... совсем тепло... а я была отчаянно дерзка, вы этого себе не можете представить. Подумайте, свой плащ — очень элегантный шафранового цвета плащ — я попросту сняла и несла на руке... как это делают мужчины... Впрочем, было довольно темно... В маленьком ресторане на Внешних бульварах мы пообедали, затем пошли в Roulotte, где тогда пели Легэ и Монтойя... «Tu t'en iras les pieds devant...»¹ Вы это недавно слышали здесь в Виденер-театре — не так ли?»

¹ Ты выйдешь оттуда ногами вперед... (франц.)

Тут Матильда кинула быстрый взгляд на своего мужа, он не обратил на это внимания. Создавалось впечатление, что Матильда надолго прощается с ним. И тут она стала говорить со все возрастающей пылкостью, она словно ринулась вперед.

«В *Roulotte*, — сказала она, — очень элегантная дама сидела против нас и кокетничала с Грегором, но как... поверьте, большого неприличия нельзя себе даже представить. Я никогда не пойму, как это ее муж не задушил ее на месте. Я бы это сделала. Кажется, она была герцогиня... Нет, не смейтесь, это безусловно была дама высшего света, несмотря на поведение... это можно почувствовать... Мне, собственно, хотелось, чтобы Грегор пошел на это... конечно! Я охотно посмотрела бы, как берутся за подобные дела... мне хотелось, чтобы он подсунил ей письмо или сделал бы что-нибудь, что обычно делал в таких случаях до того, как я стала его женой... Да, я желала этого, хотя это было бы небезопасно для него. Очевидно, в нас, женщинах, заложено такое лютое любопытство... Но у Грегора, благодарение богу, не было никакого желания. Мы ушли вскоре снова в прекрасную майскую ночь; Леонс все время был с нами. Между прочим, в этот вечер он влюбился в меня и, против обыкновения, был прямо-таки галантен. Вообще это был очень робкий человек — из-за своей внешности. Я сказала ему тогда: «Надо, верно, иметь шафрановый плащ, чтобы заставить вас за собой ухаживать». Мы прогуливались весело, как трое студентов. А потом наступило самое интересное: мы отправились в *Moulin Rouge*. Это входило в программу. Нужно было, чтобы что-нибудь наконец произошло. Ведь мы до сих пор ничего еще не испытали... Только ко мне — представьте себе, именно ко мне на улице пристала какая-то женщина. Но это не входило в наши намерения... В час ночи мы были в *Moulin Rouge*. Как там все происходит, вы, вероятно, знаете; собственно, я представляла себе это куда более гадким... Сначала и там ровно ничего не произошло, и создавалось впечатление, что вся шутка ни к чему не приведет. Мне было немного досадно. «Ты дитя, — сказал Грегор. — Как ты это себе, собственно, представляешь? Мы приходим, и они падают к нашим ногам?» Он сказал «к нашим» из вежливости по отношению к Леонсу; не

могло быть и речи о том, чтобы кто-нибудь упал к его ногам. Но когда мы все уже всерьез подумывали о том, чтобы пойти домой, дело приняло иной оборот. Мое внимание, да, именно мое, привлекла одна особа... она уже несколько раз прошла мимо нас как будто случайно. У нее был серьезный вид, она выглядела совершенно иначе, чем большинство присутствующих дам. Ее туалет не бросался в глаза — она была во всем белом... Я заметила, что двум или трем мужчинам, заговорившим с нею, она вообще не ответила, а просто прошла мимо, не удостоив их взглядом. Она только следила за танцем, очень спокойно, заинтересованно, по-деловому, сказала бы я... Я попросила Леонса узнать у знакомых — не встречалось ли им уже где-нибудь это красивое создание, и кто-то из них вспомнил, что видел эту женщину прошлой зимой на одном из балов, устраиваемых по четвергам в Латинском квартале. Немного отойдя от нас, Леонс заговорил с ней, ему она ответила. Затем он подошел с нею к нам, мы все усадились за маленький столик и выпили шампанского. Грегор совершенно не обращал на нее внимания, словно ее тут и не было... Он разговаривал со мной, все время только со мной. Это, казалось, ее особенно возбуждало. Она становилась все веселей, разговорчивей, беззастенчивей и, как это случается, постепенно рассказала всю историю своей жизни. Что только не выпадает на долю такой бедной девушки, что только не приходится ей пережить! Часто читаешь о таких вещах, но, когда о них слышишь, как о чем-то вполне реальном, от женщины, которая сидит рядом, это оставляет особое впечатление. Я еще кое-что припоминаю. В пятнадцать лет ее кто-то соблазнил и бросил. Потом она была натурщицей. Она была и статисткой в маленьком театре. Какие вещи она рассказывала нам о директоре!.. Я вскочила бы и убежала, если бы уже не захмелела немного от шампанского... Затем она влюбилась в студента-медика, занимавшегося анатомией, за ним она иногда заходила в морг... или даже оставалась с ним там... нет, невозможно повторить все то, что она нам рассказывала! Конечно, медик ее тоже покинул. Но этого она не хотела пережить, именно этого! И она покончила с собой, то есть пыталась это сделать. Она сама потешалась над этим... и в каких выражениях! Я все

еще слышу ее голос... это не звучало так низко, как было в действительности. Она немного расстегнула свое платье и над левой грудью показала маленький красноватый рубец... И когда мы все вполне серьезно рассматривали этот маленький рубец, она сказала, — нет, она крикнула вдруг моему мужу: «Целуйте!» Я уже говорила вам, что Грегор совсем не обращал на нее внимания. И когда она рассказывала свою историю, он почти не слушал, оглядывал зал, курил папиросы, и теперь, когда она крикнула ему это слово, он чуть улыбнулся. Я его толкала, щипала, я действительно была немного пьяна... во всяком случае, такого странного настроения я не знала у себя никогда. И потому, хотел он или нет, ему пришлось коснуться губами этого рубца, то есть только сделать вид, что он касается... А дальше все шло с каждым часом веселей и бесшабашней. Я никогда так много не смеялась, как в этот вечер, — и сама не знала отчего. И никогда я не думала, что женщина — и к тому же такая — может в течение часа так безумно влюбиться, как эта девица в Грегора. Звали ее Мадлен».

Не знаю, умышленно ли фрау Матильда произнесла это имя громче, — во всяком случае, мне показалось, что ее супруг его услышал, потому что он посмотрел в нашу сторону. На свою жену он, как ни странно, не взглянул, но наши взгляды встретились и задержались друг на друге без особой симпатии. Затем он вдруг улыбнулся своей супруге, она кивнула в ответ; он продолжал беседовать со своими двумя дамами, и она снова повернулась ко мне.

«Я, конечно, не могу припомнить всего, о чем Мадлен говорила потом, — ведь все было так бестолково. Но, если быть откровенной, какое-то мгновение я была близка к тому, чтобы расстроиться: Мадлен вдруг схватила руку моего мужа и поцеловала ее. Но мое беспокойство столь же внезапно исчезло. Знаете ли, в это мгновение я подумала о нашем ребенке. И тогда я ощутила, что мы связаны с Грегором неразрывными узами и что все прочее только тень, химера или комедия, как в этот вечер, не больше. И тогда все снова стало хорошо. До рассвета мы сидели в кафе на бульваре. Тут я услышала, что Мадлен попросила моего мужа проводить ее домой. Он посмеялся над ней.

Но чтобы довести шутку до благополучного и в известном смысле выгодного конца — вы ведь знаете, что все художники эгоисты... по крайней мере, если речь идет об их искусстве... короче говоря, он сказал ей, что он скульптор, и пригласил ее зайти к нему в ближайшие дни: он хотел с нее лепить. Она ответила: «Если ты скульптор, я повешусь. Но я все же приду!»

Матильда замолчала. Но никогда еще я не видел, чтобы глаза женщины выражали — или скрывали — столько боли. Когда же она решилась сказать мне все, все, до последнего слова, она продолжала: «Грегор непременно хотел, чтобы я на следующий день была в ателье. Он даже предложил мне спрятаться за занавесом, когда она придет. Я знаю, есть женщины, много женщин, которые согласились бы на это. Но я считаю: либо верить, либо не верить... И я решила верить. Разве я не права?»

И она взглянула на меня большими, широко раскрытыми глазами. Я ограничился кивком.

«Конечно, Мадлен пришла на следующий день и затем приходила очень часто... как приходили некоторые другие до и после нее... можете мне поверить, она была одной из самых красивых. Вы тоже сегодня стояли перед ней с восхищением, там у пруда». — «Танцовщица?»

«Да, Мадлен позировала ему. А теперь представьте, что я в этом или в другом случае проявила бы недоверие! Наша жизнь, — разве она не превратилась бы в мучение? Я очень рада, что не способна к ревности».

Кто-то, стоя у раскрытой двери, ведущей в зал, проносил, вероятно, очень остроумный тост в честь хозяина, потому что люди смеялись от всего сердца. Я смотрел на Матильду — она не слушала, так же как и я. Я заметил, как она посмотрела на своего супруга — взглядом, который не только выражал бесконечную любовь, но и силился выразить непоколебимое доверие, словно воистину ее высшим долгом было никоим образом не мешать ему наслаждаться жизнью. Он встретил этот взгляд с улыбкой, не смущаясь, хотя знал, так же как я, что она страдает и всю свою жизнь страдала, как раненое животное.

И потому я не верю в эту историю с разрывом сердца. В тот вечер я слишком хорошо узнал Матиль-

ду, и мне ясно: так же как с первого до последнего мгновенья она играла перед своим супругом роль счастливой жены, между тем как он ее обманывал и довел до безумия, так она и в заключение разыграла перед ним естественную смерть, когда решилась оставить жизнь, ибо не в силах была выносить ее больше. Он принял и эту последнюю жертву, словно имел на это право.

Вот я стою перед оградой... Ставни плотно прикрыты. Словно зачарованная белеет в сумраке маленькая вилла, там между красными ветвями мерцает мраморная статуя...

Впрочем, может быть, я несправедлив к Замодекки. В конечном счете он так глуп, что может на самом деле не подозревать правды. Но печально думать, что для умирающей Матильды не было большего наслаждения, чем сознание того, что ей удался этот последний святой обман.

Или я ошибаюсь? Быть может, она умерла естественной смертью?.. Нет, я оставляю за собой право ненавидеть человека, которого так любила Матильда. Это, вероятно, надолго останется моим единственным удовольствием.



СУДЬБА БАРОНА ФОН ЛЕЙЗЕНБОГ

В один теплый майский вечер Клара Хелль наконец снова выступила в партии Царицы ночи. Причина, побудившая ее оставить оперу почти на два месяца, была хорошо известна. Пятнадцатого марта, при падении с лошади, князь Рихард Беденбрук разбился так сильно, что через несколько часов — все это время Клара не отходила от него ни на шаг — умер у нее на руках. Отчаяние Клары было столь велико, что сперва опасались за ее жизнь, потом за ее рассудок и до са-

мого недавнего времени — за ее голос. Это последнее опасение оказалось настолько же неосновательным, как и предыдущие. Публика приветствовала ее появление дружески, но как бы выжидательно; однако после первой же большой арии ее близкие друзья могли спокójно принимать поздравления от знакомых. На четвертом ярусе лучилось радостью румяное личико маленькой фрейлейн Фанни Рингейзер; и завсегдатаи галерки понимающе улыбались своей подружке. Все они знали, что, хотя Фанни дочь простого мастера-позументщика из Марияхильфского квартала, она принадлежит к интимному кругу популярной певицы, которая нередко приглашает ее к себе в дом, и что она втайне любила покойного князя. В антракте Фанни рассказала своим друзьям и подругам, что это барон фон Лейзенбог подал Кларе мысль избрать для дебюта Царицу ночи — из тех соображений, что темное платье более всего отвечает ее настроению.

Сам барон сидел в партере — как всегда, в первом ряду, с краю, у среднего прохода — и благодарил знакомых, которые его поздравляли, приветливой, но почти скорбной улыбкой. В этот день в его душе теснились воспоминания. Он познакомился с Кларой десять лет тому назад. В те дни он заботился о музыкальном образовании одной юной рыжеволосой дамочки, отличавшейся гибкостью стана, и как-то раз присутствовал на вечернем спектакле в школе пения фрау Эйзенштейн, где его протеже впервые предстала перед публикой в партии Миньон. В этот самый вечер он увидел и услышал Клару, которая в той же сцене пела Филину. Он был тогда молодым человеком двадцати пяти лет, независимым и не склонным к излишним церемониям. Ему больше не было дела до Миньон; едва кончился концерт, он попросил фрау Натали Эйзенштейн представить его Филине и, не долго думая, предложил ей свое сердце, состояние и свои связи с театральной администрацией. Клара жила тогда вместе с матерью, вдовой высокопоставленного почтового чиновника, и была влюблена в молодого студента-медика, к которому часто заходила поболтать за чашкой чая в его комнату — он жил в Альзерфорштадте. Она отклонила настойчивые домогательства барона; но ухаживания Лейзенбога привели ее в странно разнеженное настроение,

и в этом настроении она сделалась любовницей студента. Барон, от которого она отнюдь не скрывала этого, вернулся к своей рыжеволосой протее, но продолжал поддерживать знакомство с Кларой. Каждый праздник, который давал к тому повод, он посылал ей цветы и конфеты, а время от времени наносил визит вдове почтового чиновника.

Осенью Клара получила свой первый ангажемент в Детмольде. Барон фон Лейзенбог — тогда еще министерский чиновник — воспользовался рождественским отпуском, для того чтобы нанести визит Кларе. Он знал, что медик — уже не студент, а врач и в сентябре женился, и снова возлелеял надежды. Но Клара, с обычной своей прямою, при первой же встрече заявила барону, что за это время у нее появилась новая привязанность — тенор придворного театра; и, таким образом, Лейзенбог увез из Детмольда лишь воспоминание о прогулке по городскому парку и об ужине в ресторане при театре в обществе нескольких артистов и артисток. Несмотря на холодный прием, барон приезжал в Детмольд еще несколько раз; как человек, преданный искусству, он порадовался большим успехам Клары; что касается прочего, то он рассчитывал на следующий сезон, когда тенор должен был уехать по контракту в Гамбург. Но и в новом году его постигло разочарование: Клара нашла нужным пойти навстречу желаниям крупного торговца голландского происхождения — по имени Луис Ферхайен.

Когда на третий сезон Кларе предложили место в Дрезденском театре, барон, перед которым, несмотря на молодость, открывалась блестящая карьера, вышел в отставку и переехал в Дрезден. Теперь он проводил все свои вечера у Клары и ее матери — та оставалась в блаженном неведении относительно всех увлечений своей дочери, — и у него снова возродились надежды. К сожалению, у голландца была пренеприятная привычка: в каждом письме он сообщал, что приезжает на следующий день, давал своей возлюбленной понять, что она окружена целым войском соглядатаев, и грозил ей — в случае нарушения верности — мучительнейшей казнью. Но так как его проезд все откладывался, а

Клара была в состоянии, близком к истерии, барон Лейзенбог решил любой ценой покончить с этой историей и направился в Детмольд для личных переговоров с голландцем. К его изумлению, голландец объявил, что свои письма с любовными излияниями и угрозами он пишет единственно из рыцарских чувств и что у него нет более заветного желания, чем освободиться от всех обязательств на будущее. Лейзенбог, обрадованный, вернулся в Дрезден и сообщил Кларе о счастливом исходе переговоров. Она выразила ему сердечную признательность, но тотчас пресекала его попытки добиться ее благорасположения с решительностью, которая не слишком приятно поразила барона. Когда он стал ее расспрашивать, она призналась ему, что в его отсутствие к ней воспылал сильной страстью сам принц Каэтан; он поклялся наложить на себя руки, если она не преклонит слух к его мольбам. Само собой разумеется, в конце концов ей пришлось уступить: не могла же она повергнуть в безграничную скорбь царствующий дом и страну.

Лейзенбог оставил город почти в полном отчаянии и возвратился в Вену. Там он пустил в ход все свои связи, и именно благодаря его стараниям Клара уже на следующий год получила приглашение выступить в Венской опере. После успешной гастрольной поездки она начала свои октябрьские выступления, и посланная бароном корзина с прекрасными цветами, которую в первый же вечер она нашла в своей театральной уборной, казалось, выражала в одно и то же время и мольбу и надежду. Однако восторженному почитателю, который ее ожидал после спектакля, пришлось убедиться, что он снова опоздал. Блондин-коррепетитор — он же сочинитель популярных романсов — получил на нее права, которые она не хотела нарушить ни за что на свете.

С тех пор минуло семь лет. За коррепетитором последовал отважный наездник господин Клеменс фон Родевиль, за господином Клеменсом — капельмейстер Винценц Клауди, который, случалось, дирижируя оперой, подпевал так громко, что заглушал голоса певцов; за капельмейстером — граф фон Альбан-Раттони, чело-век, который сперва проиграл в карты свои поместья в Венгрии, а потом выиграл замок в Нижней Австрии; за графом — Эдгар Вильгельм, автор балетных либретто,

музыку к которым он щедро оплачивал из своих денег, а также трагедий, для исполнения которых он снимал театр Янча, и стихотворений, печатавшихся самым изысканным шрифтом в глупейшей из дворянских газет в его резиденции; за господином Эдгаром Вильгельмом — Амандус Мейер, молодой человек не старше девятнадцати лет, очень красивый собой; все его достояние заключалось в фокстерьере, обученном стоять на голове; за Мейером — самый эlegantный аристократ во всей империи — князь Рихард Беденбрук.

Клара никогда не делала тайны из своих увлечений. Она неизменно вела простой бюргерский дом, где лишь изредка менялись хозяева. Клара пользовалась необычайной любовью публики. Она снискала себе благожелательное отношение и в высших сферах благодаря тому, что каждое воскресенье посещала мессу, дважды в месяц ходила к исповеди, не снимала с груди образок мадонны, освященный самим папой, и никогда не ложилась спать, не сотворив молитвы. На всех благотворительных базарах она непременно была продавщицей; и представительницы высшего света, так же как и дамы из еврейских финансовых кругов, чувствовали себя осчастливленными, когда могли продавать свои товары в одной палатке с Кларой. Молодых поклонников и поклонниц, которые поджидали ее у выхода, она одаряла обворожительной улыбкой. Преподнесенные ей цветы певица раздавала терпеливой толпе, а однажды, когда цветы остались в ее уборной, пропела своим милым венским говорком, который так шел ей: «Бог ты мой, салат-то я оставила в каморке. Кому нужна эта травка, пожалуйста ко мне завтра днем». Она села в карету, высунула голову из окошка и, уже отъезжая, крикнула: «Будет вам и по чашке кофе».

Среди тех немногих, кто рискнул воспользоваться ее приглашением, была и Фанни Рингейзер. Клара заговорила с ней в шутовском тоне, снисходительно, как эрцгерцогиня, расспросила ее о родных, и болтовня этой свежей девушки, чье восхищение она завоевала, доставила ей столько удовольствия, что Клара пригласила ее зайти снова. Фанни повторила свой визит и в скором времени сумела завоевать в доме певицы почетное по-

ложение, которое она сохраняла тем успешнее, что в ответ на все доверие никогда не позволяла себе ни малейшей фамильярности. В течение года Фанни получила множество предложений руки и сердца — по большей части от сыновей марияхильфских фабрикантов, ее партнеров по балам, — на все эти предложения она отвечала отказом, ибо с неизменным постоянством влюблялась поочередно во всех избранников Клары.

Князя Беденбрука Клара любила с такой же верностью, как и его предшественников, но с большей глубиной чувства; и Лейзенбог, который при всех своих разочарованиях никогда не терял окончательной надежды, начинал всерьез опасаться, что долгожданное счастье может ускользнуть от него. Всякий раз, как только он замечал, что очередной возлюбленный Клары впадает в немилость, он отсылал прочь свою любовницу, чтобы быть готовым к любой неожиданности. Так же поступил он и после внезапной кончины князя Рихарда, не потому, что имел основание надеяться, а просто так, по привычке. Горе Клары казалось таким безграничным, что все думали: она навсегда покончила со всеми радостями жизни. Каждый день она ездила на кладбище и клала цветы на могилу усопшего. Она перестала носить светлые платья и заперла драгоценности в самый дальний ящик бюро. Ее долго отговаривали от намерения покинуть сцену.

Но вот она снова выступила — и выступление это прошло с большим блеском; после этого ее жизнь — по крайней мере, с внешней стороны — потекла своим обычным чередом. Вокруг нее снова собрались отдалившиеся было друзья. Появился музыкальный критик Бернгард Фейерштейн, чей сюртук — в зависимости от меню обеда, который он вкушал в тот день, — украшали то шпинатные, то помидорные пятна, и, к вящему удовольствию Клары, бранил ее коллег по театру и даже самого директора. Как и прежде, она принимала неназойливые и почтительные ухаживания со стороны двух кузенов князя Рихарда, Беденбруков по другой линии, — Люция и Кристиана. Она стала принимать у себя одного из сотрудников французского посольства и молодого чешского пианиста-виртуоза и десятого июня впервые посетила бега. Но, как выразился не лишенный поэтического дарования князь Люций, про-

будилась только ее душа — сердце же по-прежнему было погружено в дремоту. Да, достаточно было кому-нибудь из ее друзей — будь то юноша или старик — уронить хотя бы самый тонкий намек на то, что в мире существуют нежные привязанности или страсти, как улыбка мгновенно сбегала с ее лица, глаза мрачно устремлялись в одну точку, а иногда, поднимая руку, она делала странный жест — точно хотела защититься от людей.

Во второй половине июня скандинавский певец Зигурд Ользе пел в Венской опере Тристана. У него был чистый и сильный голос, хотя и не слишком благородного тембра; роста он был необыкновенно высокого, с некоторым предрасположением к полноте; в спокойном состоянии лицо его было лишено всякого выражения, но стоило ему запеть, как его серые, со стальным блеском глаза вспыхивали таинственным внутренним огнем, и своим голосом и взглядом он буквально зачаровывал всех присутствующих, особенно женщин.

Клара сидела в театральной ложе — вместе с несколькими товарищами, не занятыми в тот вечер. Кажется, она одна-единственная остается безучастной. На следующее утро, в канцелярии директора, ей представили Зигурда Ользе. Она проронила несколько любезных, но довольно-таки холодных слов о его исполнении. В тот же день, так и не получив приглашения, он нанес ей визит. У нее дома он нашел барона Лейзенбога и Фанни Рингейзер. Зигурд пил вместе с ними чай. Он рассказывал о своих родителях, простых рыбаках из маленького норвежского городка, о том, как его талант — не истинное ли это чудо? — был открыт одним путешествующим англичанином, который причалил на своей белой яхте к берегу далекого фиорда, о своей жене, итальянке, умершей во время их свадебного путешествия по Атлантическому океану, на дне которого и покоятся ее останки. После того как он попрощался и ушел, воцарилось долгое молчание. Фанни уставилась взглядом в пустую чашку; Клара присела за пианино, упершись локтями в опущенную крышку; подавленный безмолвным страхом, барон пытался отгадать, почему за все время рассказа Зигурда о его свадебном путешествии Клара ни разу не делала того странного жеста, которым со смерти князя она отметала все на-

меки на то, что в мире могут существовать нежные или пылкие чувства.

Продолжая свою гастроль, Зигурд Ользе спел Зигфрида и Лоэнгина. На всех спектаклях Клара бесстрастно восседала в своей ложе. Певец, который не общался ни с кем, кроме норвежского посланника, теперь каждый день, пополудни, являлся в дом Клары, где обычно заставал Фанни Рингейзер и неизменно — барона фон Лейзенбог.

Двадцать седьмого июня Зигурд выступил в последний раз: он пел партию Тристана. Клара, как и прежде невозмутимая, сидела в своей ложе. На другой день она поехала с Фанни на кладбище и возложила огромный венок на могилу князя. Вечером она устроила прием в честь певца, который на следующий день отъезжал из Вены.

Друзья собрались в полном составе. Пылкая страсть, которую Зигурд питал к Кларе, ни для кого не составляла тайны. По своему обыкновению, певец говорил много и взволнованно. Между прочим, он упомянул о том, как во время его последней поездки на корабле супруга одного русского великого князя, аравитянка, нагадала ему по руке, что вскоре начнется роковая полоса в его жизни. Он твердо верил в это прорицание, да и вообще суеверие, по всей видимости, означало для него нечто большее, чем один из способов привлечь к себе интерес. Не умолчал он и еще об одном случае, который, впрочем, и без того был хорошо известен: в прошлом году, едва успев прибыть в Нью-Йорк, где он должен был дать гастроль, он в тот же день, — да что там! — в тот же час, несмотря на высокую неустойку, отплыл на корабле обратно в Европу только потому, что на пристани у него между ног прошмыгнула черная кошка. И подлинно, у него имелись все основания для того, чтобы верить в подобную таинственную связь между необъяснимыми приметами и людскими судьбами. Однажды вечером, перед выступлением в Ковент-Гарденском театре в Лондоне, он позабыл произнести некое заклинание, которому его научила бабушка, и внезапно у него сорвался голос. А как-то ночью во сне ему явился крылатый дух в розовом трико и предрек смерть его любимца-гримера — и вправду на следующее утро несчастного нашли

в петле. Кроме того, Зигурд постоянно носил при себе краткое, но весьма любопытное, письмо, полученное им на спиритическом сеансе в Брюсселе от духа умершей певицы Корнелии Лухан, где на хорошем португальском языке предсказывалось, что он непременно станет величайшим певцом Старого и Нового Света... Когда спиритическое письмо, написанное на розовой бумаге фирмы Глинвуд, стало переходить из рук в руки, собравшимися овладело глубокое волнение. Но сама Клара ничем не выдавала своих чувств — если они у нее были — и только изредка равнодушно кивала головой. И однако же, Лейзенбог был в сильнейшем беспокойстве. От его обостренной пронизательности не укрылись отчетливые признаки надвигающейся опасности. Прежде всего Зигурд, подобно прежним возлюбленным Клары, проявлял к нему за ужином явную симпатию, пригласил его в свое имение, находившееся в Мольдском фиорде, и в конце концов перешел на «ты». Кроме того, когда Зигурд обращался к Фанни Рингейзер, она дрожала всем телом; когда он взглядывал на нее серыми, со стальным отливом, глазами, она попеременно то краснела, то бледнела; а когда он заговорил о своем предстоящем отъезде, она громко расплакалась. Но Клара хранила спокойный и сосредоточенный вид. Она не отвечала на жгучие взгляды Зигурда, беседовала с ним не более оживленно, нежели с другими, а когда, на прощанье, он поцеловал ей руку и поднял на нее глаза, в которых можно было прочесть мольбу, обещание, отчаяние, — ее веки были полусомкнуты, а черты лица — недвижимы. На все это Лейзенбог взирал с недоверием и опаской. Но по окончании званого ужина, когда все стали прощаться, барона ожидал большой сюрприз. Он протянул руку Кларе последним и собирался уже удалиться, как вдруг она крепко сжала его руку и прошептала: «Возвращайтесь». Ему почудилось, что он ослышался. Но она снова стиснула его руку и, приблизив губы к его уху, повторила: «Возвращайтесь. Я вас ожидаю через час».

Он вышел вместе с другими, почти не помня себя от радости. Вместе с Фанни они проводили Зигурда до гостиницы: его дифирамбы Кларе доносились до барона как бы издали; потом, в мягкой ночной прохладе, он провел Фанни Рингейзер по безмолвным улицам

в Мариахильфский квартал и, как сквозь туман, видел, что по ее юным, румяным щечкам катятся безудержные слезы. Потом он взял извозчика и вернулся к дому Клары. Он увидел занавески ее спальни, сквозь которые пробивался свет; увидел, как мимо скользнула ее тень; ее головка выглянула из-за края занавески и кивнула ему. Нет, это не привиделось ему во сне — она ожидала его.

На следующее утро барон фон Лейзенбог поехал верхом на прогулку в Пратер. Он чувствовал себя счастливым и помолодевшим. В позднем исполнении своего заветного желания он усматривал глубокий смысл. То, что он пережил этой ночью, явилось для него величайшей неожиданностью и в то же время не чем иным, как продолжением и естественной кульминацией его отношений с Klarой. Ему казалось, что иначе и не могло произойти, и он строил планы на ближайшее и на более отдаленное будущее. «Через сколько времени она уйдет со сцены? — размышлял он. — Может быть, через четыре года? Или через пять? Тогда, но не раньше, я женюсь на ней. Мы поселимся где-нибудь совсем близко от Вены — в Санкт-Фейте или Лайнце. Я куплю или прикажу выстроить по ее вкусу небольшой домик. Мы будем вести уединенный образ жизни, но часто совершать большие путешествия... в Испанию, Египет, Индию...» Продолжая предаваться мечтам, он пустил свою лошадь быстрым аллюром по лугу, мимо сарая с сеном. Затем снова выехал на главную аллею и около Звезды Пратера пересел в свою карету. У Фосати он остановился и послал Klаре букет изумительных темных роз. Он позавтракал у себя дома, на площади Шварценберга, как всегда, в одиночестве и улегся на диван. Его охватила страстная тоска по Klаре. Что значили для него все другие женщины?.. Развлечение — не больше. И он предвосхищал наступление дня, когда Klара скажет ему: «Что значили для меня все другие? Ты — первый и единственный, кого я люблю...» Он лежал на диване с закрытыми глазами, и в его памяти — один за другим — проходили ее прежние возлюбленные... Да, это так: она никого не любила до него, а его, может быть, всегда и во всех!..

Барон оделся и неторопливым шагом, как бы желая продлить на несколько мгновений радостное предвкушение встречи, направился по хорошо знакомому пути к ее дому. На Ринге было еще много гуляющих, но чувствовалось, что весна — уже на исходе. И Лейзенбог радовался, что впереди — лето, когда он сможет поехать с Кларой на морское побережье или в горы, и ему пришлось взять себя в руки, чтобы не выразить своего ликования вслух.

Перед ее домом он остановился и посмотрел на окна. Отражавшийся в них свет вечернего солнца слепил ему глаза. Он поднялся по лестнице на третий этаж и позвонил у ее дверей. Никто не открывал. Он позвонил еще раз. Никто не открывал. И только тогда барон заметил, что на двери — замок. Что это означает? Он ошибся дверью?.. Она не вывешивала дощечку со своим именем, но напротив он прочитал знакомую надпись: «Подполковник фон Йелесковитц». Сомнения нет: он стоит перед ее квартирой, и ее квартира на замке. Он сбегал вниз по лестнице и рывком распахнул дверь в привратническую. Внутри царил полумрак; на кровати сидела жена привратника, один ребенок выглядывал сквозь подвальное оконце на улицу, другой наигрывал на гребешке какую-то непонятную мелодию.

— Фрейлейн Хелль нет дома? — спросил барон.

Женщина встала.

— Нет, господин барон, фрейлейн Хелль уехала...

— Что? — воскликнул барон. — Ах да, верно, — тотчас добавил он, — в три часа, не так ли?

— Нет, господин барон, фрейлейн уехала в восемь утра.

— Но куда?.. Я хочу сказать, она поехала прямо в... — он сказал наугад, — поехала прямо в Дрезден?

— Нет, господин барон, она не оставила никакого адреса. Сказала, что напишет, где будет.

— Ах, так... да... да... ну конечно же... Весьма благодарен.

Лейзенбог повернулся и вышел на улицу. Не удержавшись, он оглянулся на дом. Как совершенно по-иному отражалось вечернее солнце в окнах! Город казался грустным; он словно был придавлен тяжелой духотой летнего вечера. Клара уехала?! Почему?.. Бежала

от него?.. Что это означает?.. Он хотел было поехать в оперу. Но тут же вспомнил, что через день театральный сезон заканчивается, — вот уже два дня, как Клара не участвует в спектаклях.

Он поехал на Марияхильферштрассе, семьдесят шесть, где жили Рингейзеры. Дверь отворила пожилая кухарка; она посмотрела на эlegantного посетителя с некоторым недоверием. Он попросил позвать фрау Рингейзер.

— Фрейлейн Фанни дома? — выдохнул он с волнением, которого не мог больше сдерживать.

— В чем дело? — резко спросила фрау Рингейзер.

Барон представился.

— Ах, так, — сказала фрау Рингейзер, — прошу пожаловать в комнату, господин барон.

Он остался в передней и повторил свой вопрос:

— Фрейлейн Фанни дома?

— Пройдите же в комнату, господин барон.

Лейзенбог вынужден был последовать за ней. Он оказался в невысокой, полутемной комнате, обставленной мебелью с обивкой из голубого бархата, с репсовыми оконными занавесками того же цвета.

— Нет, — сказала фрау Рингейзер, — Фанни нет дома. Ее же увезла с собой в отпуск фрейлейн Хелль.

— Но куда? — спросил барон, остановив пристальный взгляд на пианино, где в тонкой позолоченной рамке стояла фотография Клары.

— Не знаю, — заявила фрау Рингейзер. — В восемь часов утра фрейлейн Хелль сама приехала сюда с просьбой отпустить с ней Фанни. И она была так мила, что у меня не хватило духу отказать ей.

— Но куда?.. Куда?.. — допытывался Лейзенбог.

— Не могу сказать. Фанни протелеграфирует мне, как только фрейлейн Хелль решит, где остановиться. Возможно, уже завтра или послезавтра.

— Так, — произнес Лейзенбог, опускаясь в небольшое плетеное креслице перед пианино. Он помолчал несколько мгновений, затем внезапно поднялся, пожал руку хозяйке, попросил извинения за доставленное беспокойство и медленно спустился по темной лестнице старого дома.

Он покачал головой. Поистине, она сделалась очень осторожной!.. Даже более осторожной, чем нужно...

Могла бы уже, кажется, знать, что навязчивость — не в его натуре.

— Куда же теперь, господин барон? — спросил кучер, и только тогда Лейзенбог опомнился. Он сидел в открытой коляске, неподвижно глядя перед собой.

— В отель Бристоль, — ответил барон, повинувшись внезапному наитию.

Зигурд Ользе еще не уехал. Он с восторгом принял барона у себя в номере и просил его провести с ним последний вечер его пребывания в Вене. Одно то, что Зигурд Ользе — в Вене, было приятным сюрпризом для Лейзенбога, но оказанный ему любезный прием тронул его чуть не до слез. С места в карьер Зигурд завязал разговор о Кларе. Он просил Лейзенбога рассказать о ней все, что он может, — ведь он же знает, что в лице барона перед ним ее самый старый и верный друг. Сидя на сундуке, Лейзенбог постарался удовлетворить его желание. Возможность говорить о Кларе доставляла ему облегчение. Он поведал певцу почти все — за исключением некоторых вещей, о которых, как человек чести, он почел долгом умолчать. Зигурд внимал ему с видимым восхищением.

За ужином певец предложил другу покинуть в тот же вечер Вену и поехать вместе с ним в его имение близ Мольде. У барона словно камень с души свалился. Он отклонил предложение, но обещал Ользе навещать его как-нибудь летом.

На вокзал они поехали вдвоем.

— Не сочти меня за глупца, — сказал Зигурд, — но я хочу еще раз проехать мимо ее окон.

Лейзенбог поглядел на него искоса. Что это: попытка отвести ему глаза? Или последнее доказательство непричастности певца?.. Когда они подъехали к дому Клары, Зигурд послал воздушный поцелуй в сторону ее закрытых окон. Потом промолвил:

— Передай ей от меня поклон.

Лейзенбог кивнул.

— Хорошо, передам. Когда она вернется.

Зигурд изумленно воззрился на него.

— Ведь она уехала, — добавил барон. — Уехала сегодня утром — не простившись, как и обычно, — пригнул он.

— Уехала? — эхом откликнулся Зигурд и впал в задумчивость. Оба замолкли.

Перед отправлением поезда они обнялись, как старые друзья.

Ночью барон рыдал в своей постели — этого с ним не бывало со времен детства. Единственный час радости, пережитый им с Кларой, казалось, потонул в мрачном кошмаре. Ему мнилось, что глаза ее сверкали прошлой ночью каким-то безумным блеском. Теперь он понял все. Слишком рано поспешил он на ее зов. Тень князя Беденбрука все еще витает над ней; и Лейзенбог чувствовал, что обладал Кларой лишь для того, чтобы потерять ее навек.

Дня два он бродил по Вене, не зная, на что ему употребить свои дни и ночи; все, что прежде помогало ему коротать время: чтение газет, игра в вист, верховая езда — сделалось для него глубоко безразлично. Весь смысл его существования был сосредоточен в Кларе, и ему даже казалось, что его отношения с другими женщинами — лишь отраженный отблеск его страсти к Кларе. Словно на веки веков легла на город какая-то серая дымка; люди разговаривали с ним приглушенными голосами, бросали на него странные — нет, вероломные взгляды. Однажды вечером он съездил на вокзал и, сам не зная зачем, взял билет в Ишьль. Там он встретил знакомых, которые без всякой задней мысли стали расспрашивать его о Кларе; он отвечал раздраженно и грубо и был вынужден драться на дуэли с господином, до которого ему не было ровно никакого дела. Он встал к барьеру без всякого волнения, услышал, как мимо уха просвистела пуля, и выстрелил в воздух, а через полчаса после поединка покинул Ишьль. Где только он не перебивал: в Тироле, в Энгадине, в Бернских Альпах, на Женевском озере; чем только не занимался: греб, преодолевал горные перевалы, взбирался на вершины, а однажды даже заночевал в хижине альпийского пастуха, но все это время он имел так же мало понятия о том, что с ним было накануне, как и о том, что с ним будет на следующий день.

Однажды ему переслали из Вены телеграмму. Он распечатал ее дрожащими пальцами. И вот что прочи-

тал: «Если ты мой друг, сдержи свое слово и срочно приезжай ко мне; мне нужен друг. Зигурд Ользе». Лейзенбог ни на миг не сомневался, что содержание письма имеет какое-то отношение к Кларе. Он собрался с наивозможной поспешностью и с первой же оказией выехал из Экса, где тогда находился. Нигде не останавливаясь, он проехал через Мюнхен в Гамбург и сел на корабль, который через Ставангер доставил его в Мольде, куда он прибыл ясным летним вечером. Время, проведенное в пути, показалось ему целой вечностью. Его душа оставалась равнодушной ко всем красотам природы. И в последнее время он не мог воскресить в своей памяти ни Кларинаго голоса, ни хотя бы черт ее лица. У него было впечатление, что он не был в Вене уже много лет, целые десятки лет. Но когда он увидел на берегу Зигурда — в белом фланелевом костюме и белой фуражке, — ему почудилось, что он расстался с ним только вчера. Как ни тяжело у него было на сердце, он, улыбаясь, ответил с палубы на приветствие Зигурда и с бодрим видом спустился по трапу.

— Тысячу раз благодарю тебя за то, что ты откликнулся на мой зов, — сказал Зигурд. И просто добавил: — А мне — конец.

Барон оглядел его. Зигурд был страшно бледен; волосы у него на висках поседели — это сразу бросалось в глаза. Через его руку был переброшен зеленый плед, отливавший каким-то матовым глянцем.

Улыбка застыла на лице барона.

— В чем дело? Что произошло? — спросил он.

— Сейчас узнаешь, — проговорил Зигурд Ользе.

Барон был поражен тем, что голос Зигурда несколько утратил свою прежнюю звучность. Они покатали в маленькой, тесной коляске по красивой аллее вдоль берега синего моря. Оба молчали. Барон не смел ни о чем спрашивать. Его взгляд то и дело обращался на почти неподвижную поверхность воды. У него возникла странная, но, как оказалось, неосуществимая мысль: сосчитать волны; затем он посмотрел на небосвод, откуда, так ему померещилось, словно капли, падали звезды. Наконец, ему вспомнилось, что есть такая певица Клара Хелль, которая где-то скитается по белу свету; но сейчас это было совсем не важно. Резкий толчок — и коляска остановилась перед скромным бе-

лым домиком, который весь утопал в зелени. Они поужинали на веранде, откуда открывался вид на море. Прислуживал лакей с угрюмым, а в те мгновения, когда он разливал вино, чуть ли не угрожающим лицом. Светлая северная ночь опустилась на землю.

— Ну, — поторопил Лейзенбог, охваченный внезапным порывом нетерпения.

— Я — конченный человек, — вымолвил Зигурд Ользе, глядя прямо перед собой.

— Что ты хочешь сказать? — спросил Лейзенбог одними губами. — И чем я могу тебе помочь? — машинально присовокупил он.

— Не многим. Я еще не знаю. — Певец посмотрел куда-то вдаль — мимо скатерти, мимо перил, палисадника, решетчатой ограды, улицы и моря.

У Лейзенбога все оцепенело внутри... В его голове зароились всевозможные догадки... Что могло случиться?.. Клара умерла?.. Зигурд умертвил ее... швырнул в море?.. Или это Зигурд умер?.. Нет, это исключено... он же сидит перед ним... Но почему он замолчал?.. И, внезапно поддавшись безмерному страху, Лейзенбог вскричал:

— Где Клара?

Тогда певец медленно повернулся к нему. Его одутловатое лицо как будто осветилось изнутри; можно было подумать, что оно улыбалось, если только это не была игра лунного света. Прищурившись, он откинулся назад; руки — в карманах, ноги вытянуты под столом; и Лейзенбогу казалось, что этот человек, сидящий перед ним, вылитый Пьеро. Зеленый плед висел на перилах террасы; в этот миг он представлялся барону добрым, старым знакомым... Но какое ему дело до этого нелепого пледа?.. Может быть, он грезит?.. Он в Мольде. Это довольно-таки странно... Будь у него достаточно благоразумия, он бы протелеграфировал певцу еще из Экса: «В чем дело? Что тебе нужно от меня, Пьеро?» И он снова повторил свой вопрос, но только много учтивее и хладнокровнее:

— Где Клара?

Певец закивал.

— О ней-то и пойдет речь! Ты мне друг?

Лейзенбог кивнул головой. Он ощущал легкий озноб. С моря повеял теплый ветер.

— Да, я твой друг. Чего ты хочешь от меня?

— Помнишь вечер нашего расставания, барон? Когда мы вместе отужинали в «Бристоле» и ты проводил меня на вокзал?

Лейзенбог снова ответил кивком.

— Ты даже не догадывался о том, что в одном поезде со мной из Вены выехала Клара Хелль.

Лейзенбог уронил голову на грудь...

— Я так же мало догадывался об этом, как и ты, — продолжал Зигурд. — Увидел я ее только следующим утром — на станции, где пассажиры завтракали. Она сидела с Фанни Рингейзер в буфете и пила кофе. Вела она себя так, что я приписал эту встречу простой случайности. Это была не случайность.

— Дальше, — произнес барон и поглядел на зеленый плед, который слегка шевелился от ветра.

— Впоследствии она прямо призналась мне, что это была не случайность. С того утра мы были неразлучны — Клара, Фанни и я. Мы поселились на берегу одного из ваших восхитительных австрийских озер. У нас был очаровательный домик: впереди — вода, сзади — лес, и ни души поблизости. Мы были очень счастливы.

Зигурд говорил так медленно, растягивая слова, что Лейзенбог боялся сойти с ума.

«Зачем он призвал меня сюда? — подумал он. — Что ему надобно от меня?.. Она созналась во всем?.. Но что ему до этого?.. Почему он не сводит с меня глаз?.. Зачем я вообще сижу в Мольде на веранде с Пьеро?.. Не сон ли все это?.. Что, если я еще покоюсь в объятиях Клары?.. И это длится все та же ночь?..» — И, помимо своей воли, он широко раскрыл глаза.

— Ты отомстишь за меня? — вдруг воскликнул Зигурд.

— Отомстить?.. Но я еще не знаю, что произошло, — говорил барон. Его собственные слова долетали до него как бы издалека.

— За то, что она погубила меня: я пропал.

— Расскажи, наконец, в чем дело, — потребовал Лейзенбог сухим и твердым голосом.

— С нами была Фанни Рингейзер, — снова заговорил Зигурд, — славная девушка, не правда ли?

— Да, славная, — подтвердил барон, и его память

тотчас нарисовала ему полутемную комнату с обитой голубым бархатом мебелью и репсовыми занавесками, где некогда он беседовал с матерью Фанни. Сколько столетий тому назад это было?

— Она не оченьмышленная девушка, не правда ли?

— Верно, — согласился барон.

— Я это знаю, — сказал Зигурд. — Она даже не подозревала, как счастливы мы были. — Он замолк — и надолго.

— Дальше!

Барон ждал.

— Однажды утром, когда Клара еще спала, — вернулся к своему рассказу Зигурд, — а она всегда вставала поздно, я отправился в лес на прогулку. Неожиданно ко мне подбежала Фанни. «Спасайтесь, господин Ользе, пока еще есть время; уезжайте: вы в большой опасности!» Как ни странно, сначала она не хотела мне ничего открыть. Но я не отпускал ее от себя, пока не выпросил, что за опасность, по ее мнению, угрожает мне. О, она думала, что меня еще можно спасти, а то она не раскрыла бы рта.

Зеленый плед на перилах вздулся, как парус; лампа на столе замигала.

— Что тебе рассказала Фанни? — сурово спросил Лейзенбог.

— Помнишь тот вечер, — сказал Зигурд, — когда мы все были в гостях у Клары? Утром того же дня Клара ездила с Фанни на кладбище, и на могиле князя она поверила своей подруге ужасную тайну.

— Ужасную тайну?

Барон содрогнулся.

— Да. Ты знаешь, как умер князь. После своего падения с лошади он прожил еще несколько часов.

— Я знаю.

— Около него не было никого, кроме Клары.

— Знаю.

— Он никого не хотел видеть — только ее. И на смертном одре он изрек проклятье.

— Проклятье?

— Да, проклятье. «Клара, — сказал князь. — Не забудь меня. Не знать мне в могиле покоя, если ты меня забудешь». — «Я тебя никогда не забуду», — ответила Клара. «Клянись мне, что ты меня никогда не забуду».

дешь!» — «Клянусь!» — «Клара, я люблю тебя, но мой час пробил...»

— Кто это говорит? — вскричал барон.

— Я это говорю! — воскликнул Зигурд. — Но я передаю слова Фанни; Фанни передает слова Клары; Клара передает слова князя. Ты понимаешь меня?

Барон весь обратился в слух. Он словно слышал, как звенит в ночи голос мертвого князя, — голос, вырвавшийся из гроба, запертого на тройной замок.

— «Клара, я люблю тебя, но мой час пробил! Ты еще так молода, а я умираю... Мое место займет другой... Я знаю: так будет. Другой вкусит счастье в твоих объятиях... Он не должен, не смеет. Я проклинаю его! Слышишь, Клара, — проклинаю его!.. Да провалится в преисподнюю первый же, кто поцелует твои губы, обнимет твой стан! Клара, небо внемлет проклятию умирающего!.. Береги себя — береги его!.. В ад его!.. Да поразит его безумие, несчастье и смерть!.. Горе! Горе! Горе!..»

Зигурд — чьими устами, казалось, говорил мертвый князь — поднялся; высокий и тучный, он стоял в своем белом фланелевом костюме и смотрел в светлую северную ночь. Барона бил сильный озноб. У него словно заледенело все тело. Из его горла рвался крик, но он только беззвучно разевал рот... В этот миг он перенесся в маленькую залу в школе фрау Эйзенштейн, где он впервые увидел Клару. На сцене стоял Пьеро и декламировал:

— С этим проклятием на устах князь Беденбрук умер, и... знай!.. несчастный, в чьих объятиях она лежала, обреченный, на чью голову должно пасть проклятье, это я!.. я!.. я!..

Сцена рухнула с громким грохотом и на глазах у Лейзенбога погрузилась в море. Барон, как деревянная кукла, опрокинулся вместе с креслом назад.

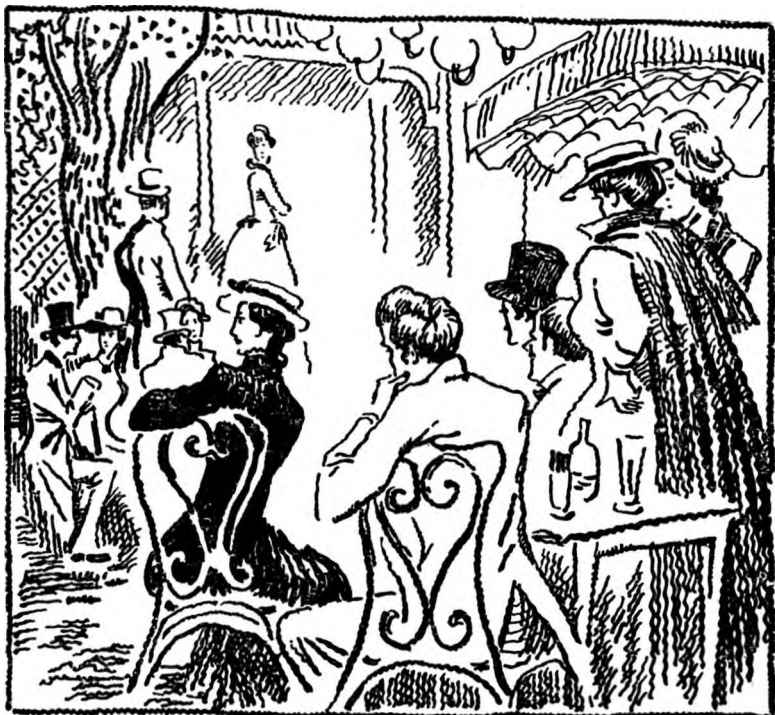
Зигурд вскочил и позвал на помощь. Подросли два лакея; они подняли бесчувственное тело и положили его на кресло, сбоку от стола; один побежал за врачом, другой принес воду и уксус. Зигурд растер барону лоб и виски, но тот не шелохнулся. Пришел врач и приступил к осмотру. Осмотр занял совсем немного времени.

— Этот господин мертв, — произнес врач.

Зигурд Ользе был крайне взволнован; он попросил врача выполнить все необходимые формальности и

ушел с террасы. Певец пересек гостиную, поднялся на верхний этаж, вошел в спальню, зажег лампу и наспех набросал следующие слова: «Клара! Твоя телеграмма застала меня в Мольде, куда я приехал, нигде не задерживаясь. Сознаю: вначале я не поверил тебе; я думал, ты хочешь убаюкать меня ложью. Прости меня — сомнений больше нет. Барон фон Лейзенбог был у меня. Я вызвал его сюда. Я не расспрашивал его прямо: как человек чести, он, несомненно, прибегнул бы ко лжи. У меня родилась одна блестящая мысль. Я поведал ему о проклятии покойного князя. Эффект был потрясающий: барон повалился вместе с креслом и тут же отдал богу душу».

Зигурд перестал писать; он принял очень серьезный вид: по-видимому, размышлял. Потом он выступил на середину комнаты, и из его уст полилась песня. Вначале робкий и словно придушенный голос его постепенно очищался; он звучал в ночи все прекраснее и громче и, наконец, достиг такой силы, точно был отзвуком, рожденным волнами. По лицу Зигурда блуждала умиротворенная улыбка. Он глубоко вздохнул. Затем снова поместился за письменным столом и сделал к своей телеграмме приписку: «Клара! Любимая! Прости меня — все снова хорошо. Через три дня буду у тебя».



НОВАЯ ПЕСНЯ

— Я не виноват, господин фон Брейтенедер... помилуйте, никто не может этого сказать.

До Карла Брейтенедера эти слова донеслись как бы издалека, хотя он отлично знал, что тот, кто произнес их, шел рядом с ним — да, он даже почувствовал насыщенное винными парами дыхание этого человека. Но он ничего не ответил. Он был не в силах спорить, он слишком устал, слишком был потрясен страшным событием этой ночи и жаждал только одиночества и све-

жего воздуха. Поэтому он и не пошел домой, а, овеваемый утренним ветерком, направился по безлюдной дороге за город, к лесистым холмам, выступающим из легкого майского тумана. Но его снова и снова с головы до ног пронизывала дрожь, и он совсем не ощущал приятной прохлады, обычно освежавшей его ранним утром после бессонных ночей. Перед его глазами неотступно стояла ужасная картина, от которой он бежал.

Человек, шедший рядом с ним, по-видимому, только что догнал его. Чего он хотел?.. Почему оправдывался?.. И почему именно перед ним?.. Ведь он и не думал вслух упрекать старого Ребаи, хотя очень хорошо знал, что именно он больше всех виноват в том, что случилось. Карл искоса взглянул на него. Какой вид у этого человека! Черный сюртук измят и весь в пятнах, одной пуговицы не хватает, другие истрепались, в петлице торчит стебелек с увядшим цветком, а вчера вечером он был еще совсем свежий. Украшенный этой же гвоздикой, сидел капельмейстер Ребаи за дребезжащим пианино, сопровождая все номера труппы Ладенбауера, как делал это уже почти тридцать лет. Маленький кабачок был переполнен, столы и стулья стояли даже в саду, потому что сегодня предстояло, как значилось черными и красными буквами на больших желтых афишах, «первое выступление фрейлейн Марии Ладенбауер, прозванной Белой Иволгой, после ее выздоровления от тяжелой болезни».

Карл глубоко вздохнул. Совсем рассвело, и они с капельмейстером давно уже не были единственными гуляющими на дороге. Отовсюду, из города, с боковых дорожек и даже сверху, из леса, навстречу им шли люди. Только сейчас Карл вспомнил, что сегодня воскресенье. Он был рад, что никакие обязанности не вынуждают его вернуться в город, хотя и на этот раз отец не стал бы бранить его за пропущенный рабочий день. Он никогда этого не делал. Старая токарная мастерская на Альзерштрассе обходилась пока и без Карла, а отец знал по опыту, что до сих пор все Брейтенедеры всегда вовремя брались за ум и становились солидными людьми. История с Марией Ладенбауер, правда, была ему не по душе. «Ты можешь делать что

хочешь,— однажды мягко сказал он Карлу.— Я ведь тоже был когда-то молод... но в семьях своих девушек я все же никогда не бывал. Для этого я всегда слишком уважал себя».

Послушайся он отца, думал сейчас Карл, эта беда его миновала бы. Но Мари ему очень нравилась. Это было добродушное создание; не говоря громких слов, она была сильно к нему привязана, и когда она шла с ним под руку, никто не принял бы ее за девушку уже кое-что испытавшую. Впрочем, и в доме ее родителей все было вполне прилично, как в любой добропорядочной семье. Квартира содержалась в порядке, на этажерке стояли книги, нередко в гости приходил брат старого Ладенбауера, чиновник магистрата, и тогда заходила речь об очень серьезных вещах: политике, выборах и деревенской общине. По воскресеньям Карл играл иногда у Ладенбауеров в тарок с самим хозяином и полоумным Иедеком, тем самым, который вечером в клоунском наряде исполнял вальсы и марши на стаканах и тарелках. И когда Карл выигрывал, с ним тут же расплачивались, что отнюдь не всегда бывало в посещаемом им кафе. В нише у окна, напротив которого висели швейцарские пейзажи на стекле, сидела длинная бледная фрау Иедек — вечером во время представления она декламировала скучные стихи. Она болтала с Мари и почти непрерывно кивала головой. Но Мари смотрела на Карла, шутливо махала ему рукой или подсаживалась к нему и заглядывала в его карты. Ее брат служил в крупной фирме, и если Карл предлагал ему сигару, он немедленно отвечал тем же. Сестре, которую очень уважал, он время от времени привозил какое-нибудь лакомство от знаменитого кондитера. А прощаясь, он говорил, полузакрыв глаза: «К сожалению, я приглашен в другое место...» Разумеется, охотнее всего Карл бывал с Мари наедине. И он вспомнил утро, когда шел с ней по той самой дороге, по которой поднимался сейчас, к тихо шелестевшему лесу, что начинался там, наверху, на холме. Оба устали, потому что пришли сюда прямо из кафе, где просидели до зари вместе со всей местной певческой капеллой; теперь они улеглись под буком, на краю косогора, и уснули. Проснулись они уже в знойной тишине летнего пол-

дня и еще дальше углубились в лес, потом весь день болтали и смеялись, сами не зная чему, и только поздно вечером он привел ее обратно в город, прямо к началу представления... Таких чудесных воспоминаний было немало, Карл и Мари жили очень весело, не задумываясь о будущем. В начале зимы Мари вдруг заболела. Врач строго запретил все посещения, потому что у нее оказалось воспаление мозга или что-то в этом роде и следовало избегать любых волнений. Сначала Карл ежедневно заходил к Ладенбауерам справиться о здоровье Мари, но позже, когда болезнь затянулась, стал приходить только раз в два-три дня. Однажды фрау Ладенбауер сказала ему у дверей:

— Сегодня вы уже можете зайти, господин фон Брейтенедер, только очень прошу вас, не выдайте себя.

— Чем же я могу выдать себя? — спросил Карл. — Что случилось?

— Да, ее глазам, увы, ничем уже не поможешь.

— Как так?

— Мари теперь совсем не видит... Это, по воле божьей, осталось от болезни. Но она еще не знает, что ее слепота неизлечима... Возьмите себя в руки, чтобы она ничего не заметила.

Тогда Карл пробормотал всего несколько слов и ушел. Он вдруг испугался встречи с Мари. Ему казалось, что он ничего в ней так не любил, как ее глаза, такие светлые и всегда смеющиеся. Он хотел прийти завтра. Но не пришел ни на следующий, ни на третий день. И откладывал это посещение все дальше и дальше. Он встретится с ней, решил Карл, только когда она уже сама примирится со своей судьбой. Потом случилось так, что ему пришлось отправиться в деловую поездку, на которой давно настаивал отец. Он уехал далеко, побывал в Берлине, Дрездене, Кельне, Лейпциге, Праге. Как-то он послал старой фрау Ладенбауер открытку, в которой писал: он придет к ним сразу по возвращении и просит передать Мари сердечный привет. Весной он вернулся, но к Ладенбауерам не пошел. Он не мог решиться... Конечно, с каждым днем он все меньше думал о Мари и намеревался совсем ее забыть. Ведь он был у нее не первым и не единственным. Ничего о ней не слыша, он постепенно успокаивался и иногда почему-то воображал, что Мари

живет в деревне у родственников, о которых она как-то ему рассказывала.

Но вчера вечером случай привел его — он хотел навестить знакомых, живущих поблизости, — к кабачку, в котором обычно давала представления труппа Ладенбауера. Погруженный в свои мысли, Карл хотел уже пройти мимо, как вдруг на глаза ему попала желтая афиша. Он знал, где находится, и почувствовал укол в сердце, еще не прочитав ни одного слова. Но затем, увидев написанный черными и красными буквами текст: «Первое выступление фрейлейн Марии Ладенбауер, прозванной Белой Иволгой, после ее выздоровления...», он остановился как вкопанный. И в эту минуту, словно вынырнув из-под земли, около него очутился Ребаи — с непокрытой головой, седой и всклокоченной шевелюрой; в руке у него был черный поношенный цилиндр и свежий цветок — в петлице. Он раскланялся с Карлом.

— Господин фон Брейтенедер, да неужели? Решили нас опять удостоить, не правда ли? Фрейлейн Мари будет вне себя от радости, когда узнает, что прежние друзья все-таки еще ею интересуются. Бедняжка! Много мы с ней натерпелись, господин фон Брейтенедер, но теперь она свыклась со своим несчастьем.

Он еще долго разглагольствовал, и Карл не шелохнулся, хотя рад был бы очутиться как можно дальше отсюда. Но вдруг у него мелькнула надежда, и он спросил Ребаи, действительно ли Мари совсем ничего не видит, даже света.

— Света? — переспросил тот. — Да что это вам пришло в голову, господин фон Брейтенедер?.. Ничего она не видит, решительно ничего! — Он выкрикнул это с каким-то странным удовольствием. — Вокруг нее черным-черно... Но вы сами убедитесь, господин фон Брейтенедер, все имеет свои хорошие стороны, если можно так сказать, и голос у девочки теперь прекраснее, чем когда-либо!.. Ну, вы сами увидите, господин фон Брейтенедер. А уж добра она, удивительно добра! Еще гораздо приветливее, чем была раньше. Ну, ведь вы-то ее знаете, ха-ха! Ах, сегодня придут многие из тех, кто ее знал... но, конечно, не так хорошо, как вы, господин фон Брейтенедер, потому что ведь теперь, разумеется, с известными историями покончено. Однако

и это еще вернется! Я знал одну, она была слепая, а родила двойню... ха-ха! Посмотрите-ка, кто пришел! — сказал он вдруг, и Карл вместе с ним очутился перед кассой, за которой сидела старая фрау Ладенбауер. Бледная, опухшая, она взглянула на него и протянула ему билет, не говоря ни слова. Карл уплатил, не понимая, что с ним творится. Но вдруг он крикнул:

— Не говорите Мари... ради бога, фрау Ладенбауер... не говорите Мари, что я здесь. Господин Ребаи, ничего ей не говорите!

— Ладно уж, — ответила фрау Ладенбауер и занялась другими посетителями.

— Я — ни словечка, — сказал Ребаи. — Но зато потом, вот это будет неожиданность! Ведь вы же придете? Такое торжество... ха, ха! Имею честь, господин фон Брейтенедер.

И он исчез. Карл прошел через переполненный зал в сад и сел за дальний столик, за которым уже сидели двое стариков, женщина и мужчина. Они не разговаривали между собой, молча посмотрели на нового гостя и печально друг другу кивнули. Карл сидел и ждал. Представление началось, и он снова услышал давно знакомые номера. Но все казалось ему странно изменившимся, потому что он никогда еще не сидел так далеко от эстрады. Сначала капельмейстер Ребаи сыграл так называемую увертюру, от которой до Карла донеслись только отдельные резкие аккорды, потом венгерка Илька, в ярко-красном платье и сапожках со шпорами, спела венгерские песни и сплясала чардаш. Затем последовал юмористический номер комика Вигеля-Вагеля. Он выступил в светло-зеленом фраке, сообщил, что только что прибыл из Африки, и рассказал множество нелепейших приключений, которые завершились его свадьбой со старой вдовой. После него господин Ладенбауер и его супруга исполнили дуэт; оба были в тирольских костюмах. За ними вышел маленький полоумный Иедек в запачканном белом клоунском одеянии; сначала он продемонстрировал свое жонглерское искусство, шаря по публике огромными глазами, словно разыскивал кого-то, затем выстроил перед собой несколько рядов тарелок, отстучал по ним деревянной палочкой марш, расставил стаканы и влажными пальца-

ми сыграл на них мелодию грустного вальса. При этом он смотрел в потолок и блаженно улыбался. Иедек удалился, и Ребаи снова ударил по клавишам, раздались торжественные звуки. Из зала в сад донесся шепот, люди что-то тихо говорили друг другу, и внезапно на эстраде появилась Мари. Отец, который привел ее, сразу словно куда-то провалился, и она стояла одна. И Карл видел, как она стояла на возвышении с угасшими глазами на милом бледном лице, ясно видел, что сначала она только шевельнула губами и чуть-чуть улыбнулась. Сам того не замечая, он вскочил с кресла, прислонился к зеленому фонарю и едва не закричал от страха и сострадания. И она запела. Совсем чужим голосом, тихо, гораздо тише, чем раньше. Это была песня, которую она пела всегда,— Карл слышал ее по меньшей мере раз пятьдесят, но голос казался ему все таким же странно-чужим, и только когда Мари исполнила припев: «Они зовут меня Белой Иволгой и на работе и дома», ему почудилось, что он узнает знакомый тембр. Она спела все три куплета. Ребаи аккомпанировал и, по привычке, часто строго поглядывал на певицу. Когда она кончила, раздались аплодисменты — громкие, оглушительные. Мать поднялась по трем ступенькам на эстраду, Мари протянула в воздухе руки, словно желая на нее опереться, но аплодисменты не умолкали, и ей пришлось сейчас же спеть вторую песню, которую Карл тоже слышал около пятидесяти раз. Она начиналась словами: «Сегодня я с милым пойду на прогулку...», и Мари так задорно вскинула голову, так легко покачивалась из стороны в сторону, словно на самом деле могла пойти с милым на прогулку, любоваться синим небом, зелеными лугами и танцевать на свежем воздухе, как рассказывала в своей песне. А потом она запела третью, новую песню...

— Здесь есть маленький садик,— сказал господин Ребаи, и Карл вздрогнул. Солнце ярко светило, далеко убежала ослепительно-белая дорога, кругом было светло и кипела жизнь.— Там можно бы посидеть и выпить по стаканчику вина,— продолжал Ребаи.— У меня уже зверская жажда, день будет жаркий.

— Еще бы не жаркий! — сказал кто-то позади них.

Брейтенедер обернулся... Как, и этот тоже шел за ними следом?.. Ему-то что нужно?.. Это был полоум-

ный Иедек — иначе его никогда не называли, но не оставалось никаких сомнений в том, что в ближайшем будущем он на самом деле вполне и окончательно сойдет с ума. Несколько дней тому назад он едва не убил свою длинную бледную жену, и было непонятно, почему его оставляли на свободе. Сейчас этот человек, почти карлик, крадущейся походкой шел рядом с Карлом; с желтоватого лица смотрели вдаль широко раскрытые, необъяснимо веселые глаза, на голове торчала известная всему городу серая, мягкая шапчонка с растрепанным пером, в руке он держал тоненькую тросточку. Неожиданно, опередив всех, он прошмыгнул в маленький садик при гостинице, сел на деревянную скамейку, прислоненную к низкому домику, громко постучал тросточкой по выкрашенному в зеленый цвет столу и позвал кельнера. Двое других последовали за ним. Вдоль зеленой изгороди, мимо маленьких грустных вилл, тянулась дальше вверх белая дорога и терялась в лесу.

Кельнер принес вина. Ребаи поставил цилиндр на стол, взъерошил свои седые волосы, потер по привычке обеими руками гладкие щеки, отодвинул в сторону стакан Иедека и перегнулся через стол к Карлу.

— Я же не дурак, господин фон Брейтенедер! Ведь я знаю, что делаю!.. Чем же я виноват? Знаете, для кого я в молодости писал куплеты? Для Матрасса. Это не пустяки! И они имели успех. И текст и музыка были мои. А многие из них потом включили в разные пьесы.

— Оставьте стакан в покое, — сказал Иедек и хихикнул.

— Помилуйте, господин фон Брейтенедер, — продолжал Ребаи и снова отодвинул стакан. — Вы же меня знаете, вам известно, что я порядочный человек. И в моих куплетах никогда не бывает скабрзностей, никогда ничего непристойного... Ведь куплет, за который тогда оштрафовали старого Ладенбауера, написал не я. А сейчас мне шестьдесят восемь лет, господин фон Брейтенедер, это не шутка! И знаете, с каких пор я работаю в труппе Ладенбауера? Тогда был еще жив Эдуард Ладенбауер, ее основатель. А Мари я знаю с самого ее рождения. Двадцать девять лет я у Ладен-

бауеров, в марте будущего года будет мой юбилей... И свои мелодии я не украл, они мои, все мои! И знаете, сколько моих вещиц было за это время сыграно? Восемнадцать! Верно ведь, Иедек?

Иедек непрерывно беззвучно смеялся, глаза его были широко раскрыты. Теперь он поставил перед собой все три стакана и начал легко водить пальцами по их краям. Звук был нежный, трогательный, напоминавший отдаленное звучание гобоя или кларнета. Брейтенедер всегда восхищался его мастерством, но в эту минуту эти звуки были ему совершенно невыносимы. За другими столиками прислушивались, некоторые одобрительно кивали, какой-то толстый мужчина захлопал в ладоши. Вдруг Иедек снова отодвинул все три стакана, скрестил руки на груди и стал пристально смотреть на белую дорогу, по которой все больше и больше людей поднималось к лесу. У Карла рябило в глазах; ему казалось, что люди парят в воздухе и пляшут за какой-то паутиной. Он потер лоб и виски, стараясь прийти в себя. Ведь он тут ни при чем! Это страшное несчастье — но он не виноват. И вдруг он встал, потому что мысль о том, что случилось, разрывала ему сердце.

— Пойдемте, — сказал он.

— Да, свежий воздух — это главное, — ответил Ребаи.

Иедек вдруг рассердился, никто не знал почему. Встав перед столиком, за которым сидела мирная пара, он принялся размахивать своей тросточкой и кричать пронзительным голосом: «Пусть дьявол теперь играет на стаканах... Черт побери!» Господин и дама за столиком смутились и попытались его унять; остальные смеялись, принимая его за пьяного.

Брейтенедер и Ребаи были уже на дороге, и Иедек — он совсем успокоился, — приплясывая, последовал за ними. Он снял свою серую шапчонку, повесил на тросточку и, держа ее на плече, как ружье, посылал другой рукой пламенные приветствия небу.

— Только, пожалуйста, не подумайте, что я собираюсь оправдываться, — сказал Ребаи, стуча зубами. — Ого, для этого нет никаких причин! Отнюдь нет. У меня были самые лучшие намерения — это признают все. Разве я не сам разучивал с ней новую песню?.. Помилуйте, конечно, сам. Да, она еще сидела в ком-

нате с повязкой на глазах, когда я разучивал с ней песню... и знаете, как мне это пришло в голову? Случилось несчастье, подумал я, но ведь еще не все потеряно. Голос у нее остался, и красивое лицо тоже... Так я и сказал матери, она была в совершеннейшем отчаянии. Фрау Ладенбауер, сказал я ей, еще не все потеряно, только следите за ней! И потом, теперь ведь имеются эти институты для слепых, там они со временем могут даже снова научиться читать и писать... И я знал одного, совсем молодого человека, который ослеп в двадцать лет. Но каждую ночь ему снились самые прекрасные фейерверки и всевозможные иллюминации.

Брейтенедер засмеялся.

— Вы это серьезно? — спросил он.

— Ах, что там! — грубо ответил Ребаи. — Чего вы от меня хотите? Уж не покончить ли мне самоубийством? Как бы не так! По совести, я достаточно хлебнул горя на этом свете! Или вы думаете, что это жизнь, господин фон Брейтенедер? Когда-то в молодости человек писал пьесы для театра, а в шестьдесят восемь лет в конце концов так преуспел, что вынужден за несколько жалких крейцеров аккомпанировать всякому безголовому ничтожеству на разбитом рояле и сочинять куплеты... А знаете, сколько я получаю за куплет? Вы были бы поражены, господин фон Брейтенедер...

— Но ведь ваши вещицы исполняют, — сказал Иедек, который теперь шествовал рядом с ними очень серьезно, благовоспитанно, даже с некоторым достоинством.

— Что вам от меня надо? — спросил Брейтенедер.

У него вдруг возникло чувство, что эти двое его преследуют, и он не понимал почему. Что у него общего с этими людьми?.. Но Ребаи продолжал:

— Будущность хотел я обеспечить девочке, понимаете, всю ее будущность!.. Именно этой новой песней, именно этой... И разве она не прекрасна? Не трогательна?..

Маленький Иедек вдруг придержал Брейтенедера за рукав, поднял указательный палец левой руки, требуя внимания, вытянул губы и засвистел. Он насвистывал мелодию новой песни, которую Мари Ладенбауер, прозванная Белой Иволгой, пела прошлым вече-

ром. Он насвистывал ее безупречно, потому что и этим искусством владел в совершенстве.

— Дело не в мелодии,— сказал Брейтенедер.

— А в чем же? — закричал Ребаи. Все трое шли быстро, почти бежали, несмотря на то что дорога заметно поднималась в гору.— В чем же, господин фон Брейтенедер?.. Дело в тексте, полагаете вы?.. Ради господа бога, да разве в тексте есть хоть что-нибудь, чего бы Мари сама не знала?.. А у нее в комнате, когда я с ней разучивал песню, она даже ни разу не заплакала. Она сказала: «Это печальная песня, господин Ребаи, но она прекрасна!» Прекрасна, сказала она... Да, разумеется, это печальная песня, господин фон Брейтенедер, но ведь и судьба ее тоже печальна. Как же я мог написать для нее веселую песню?..

Дорога терялась в лесу. Сквозь ветви сверкало солнце, в кустах звенел смех, раздавались голоса. Все трое шли рядом так быстро, словно хотели убежать друг от друга. Вдруг Ребаи снова заговорил:

— А публика, черт побери, разве публика не аплодировала как сумасшедшая?.. Ведь я знал заранее, что с этой песней она будет иметь грандиозный успех! И она была счастлива... все ее лицо прямо-таки смеялось, а последнюю строфу ей пришлось даже повторить. И это на самом деле трогательная строфа! Когда она пришла мне в голову, у меня самого глаза наполнились слезами — вы понимаете, это из-за намека на другую песню, которую она всегда пела.

И он спел или, вернее, продекламировал, особо выделяя рифмы:

Как чудесно было прежде жить, друзья,—
Видеть солнцем озаренные поля,
В воскресенье с милым по лесу гулять
И в его глазах любовь, любовь читать...
Ныне закатилось солнце для меня,
И любовь погасла, как сиянье дня!

— Довольно,— закричал Брейтенедер,— ведь я это слышал!

— Разве это не прекрасно? — сказал Ребаи и взмахнул цилиндром.— Мало кто пишет теперь такие куплеты. Пять гульденов дал мне старик Ладенбауер... вот каковы мои гонорары, господин фон Брейтенедер. А ведь я еще и разучивал их с ней.

А Иедек снова поднял указательный палец и тихонько спел припев: «О, боже, как печальна моя доля — никогда уж не видать мне лес и поле!»

— Так почему же, спрашиваю я!.. — снова закричал Ребаи. — Почему?.. Ведь я сразу пошел к ней... разве не правда, Иедек?.. Она сидела со счастливой улыбкой на лице, пила вино, а я погладил ее волосы и сказал: «Ну, вот видишь, Мари, как публике понравилась наша песня? Теперь к нам станут приезжать и из города, песня произведет фурор... а поешь ты ее чудесно». И все в том же духе, как говорят в подобных случаях... Хозяин тоже пришел ее поздравить. И цветы она получила... правда, не от вас, господин фон Брейтенедер... И все было в полном порядке... Так чем же виноват мой куплет? Это просто ерунда!

Вдруг Брейтенедер остановился и схватил Ребаи за плечи:

— Зачем вы ей сказали, что я пришел?.. Зачем?.. Ведь я же просил вас ничего не говорить!

— Пустите меня! Ничего я ей не говорил. Видно, она узнала от старухи.

— Нет, — любезно сказал Иедек и поклонился. — Это я взял на себя смелость, господин фон Брейтенедер. Это я взял на себя смелость. Я знал, что вы здесь, вот поэтому я и сказал ей, что вы здесь. И потому, что она так часто о вас спрашивала, когда болела, я ей и сказал: «Господин Брейтенедер здесь... он стоит сзади у фонаря, — сказал я, — и слушает прямо-таки с наслаждением».

— Вот как? — произнес Брейтенедер.

У него перехватило дыхание, и он вынужден был отвести глаза от пристального взгляда Иедека, устремленного на него. В изнеможении опустился он на скамью, мимо которой они проходили, и закрыл глаза. Внезапно он снова увидел себя в саду, и в ушах его раздался голос старой фрау Ладенбауер: «Мари просит вам кланяться и спрашивает, не желаете ли вы зайти к нам после представления». Он вспомнил, как необычайно легко стало у него на душе после этих ее слов, так легко, будто Мари ему все простила. Он выпил поставленное перед ним вино и велел принести другое, получше. Он пил так много, что жизнь показалась ему гораздо легче. С удовольствием смотрел и слушал он

следующие номера, аплодировал вместе со всеми и, когда представление кончилось, в отличном настроении прошел через сад и зал в особую комнату кабачка, к круглому угловому столику, за которым обычно собиралась труппа после представления. Некоторые из артистов уже сидели там: Вигель-Вагель, Иедек с женой, какой-то человек в очках, которого Карл совсем не знал, — все с ним поздоровались и не слишком были удивлены его появлением. Вдруг он услышал позади себя голос Мари: «Я сама дойду, мама, ведь я знаю дорогу». Он не решился обернуться, но она уже села рядом с ним и сказала: «Добрый вечер, господин Брейтенедер! Как вы поживаете?» И в это мгновение он вспомнил, что в свое время она всегда говорила «вы» и «господин» одному молодому человеку, бывшему прежде ее любовником. Мари начала есть, ей все подали уже нарезанным, и компания пировала и веселилась, словно не было никакого несчастья. «Все хорошо, — сказал старый Ладенбауер. — Теперь дела пойдут на лад». Фрау Иедек рассказывала, что публика нашла голос Мари гораздо красивее, чем раньше, а господин Вигель-Вагель поднял рюмку и крикнул: «За выздоровевшую!» Мари протянула свою рюмку, все с ней чокнулись, и Карл тоже коснулся ее рюмки своей. И тогда ему показалось, что она старается погрузить свой мертвый взгляд в его глаза и видит все, что творится в глубине его души. Ее брат тоже был здесь, очень элегантно одетый. Он предложил Карлу сигару. Веселее всех была Илька; ее поклонник, толстый молодой человек с тревожно нахмуренным лбом, сидел напротив нее и оживленно беседовал с господином Ладенбауером. Но фрау Иедек так и не сняла своего желтого плаща и смотрела в угол, где не на что было смотреть. Два или три раза подходили люди с соседнего столика и поздравляли Мари. Она отвечала в своей обычной спокойной манере, как раньше, словно решительно ничего не изменилось. И вдруг она сказала Карлу: «Но почему же вы так молчаливы?» Только теперь он заметил, что все время сидел, не открывая рта. И тогда он стал веселее всех, принял участие в общей беседе, но к Мари не обратился ни с единым словом. Ребаи вспоминал прекрасное время, когда он писал куплеты для Матрасса, рассказал содержание одного фарса, сочинен-

ного им тридцать пять лет назад, и, как умел, изобразил всех действующих лиц. Самое большое веселье вызвал он в роли богемского музыканта. В час ночи гости поднялись. Фрау Ладенбауер взяла дочь под руку. Все смеялись, кричали... это было так странно; никто уже не видел ничего особенного в том, что для Мари мир теперь погрузился во тьму. Карл шел рядом с ней. Мать добродушно расспрашивала его о всякой всячине — что у него делается дома, как он развлекался во время своей поездки, и Карл торопливо рассказывал о всевозможных вещах, которые видел, особенно о спектаклях, которые посетил, все время поражаясь тому, как уверенно шла Мари, поддерживаемая матерью, и как спокойно и весело она его слушала. Потом они сидели в кафе, старом прокуренном помещении, в этот час уже совсем безлюдном. И толстый друг венгерки Ильки угощал всю компанию. В окружавшем их шуме и суматохе Мари так близко придвинулась к Карлу, совсем как бывало иногда в прежнее время, что он ощутил тепло ее тела. И вдруг он даже почувствовал, как она коснулась его руки и погладила ее, не говоря ни слова. Ему так захотелось что-нибудь ей сказать... что-нибудь ласковое, утешительное, но он не мог... Он искоса взглянул на нее, и снова ему показалось, будто из ее глаз что-то смотрит на него, но то был не человеческий взгляд, а нечто жуткое, странное, чего он раньше не знал, и его охватил ужас, словно рядом с ним сидело привидение... Ее рука дрогнула и медленно отстранилась, и она тихо спросила: «Почему ты боишься? Ведь я все та же?» И опять он не смог ответить, а сразу заговорил с другими. Через некоторое время вдруг раздался голос: «Но где же Мари?» Это спросила фрау Ладенбауер. И тогда все заметили, что Мари исчезла. «Но где же Мари?» — закричали и другие. Некоторые поднялись, старый Ладенбауер стоял у двери кафе и кричал на улицу: «Мари!» Все были взволнованы, говорили наперебой. Кто-то сказал: «Но как вообще можно было допустить, чтобы такое существо встало и ушло в одиночестве?» Вдруг со двора донесся крик: «Принесите свечи... принесите фонари!» И возглас: «Иисус-Мария!» Это опять был голос старой фрау Ладенбауер. Все устремились через маленькую кухню во двор. Над крышами уже стелился рас-

свет. Вокруг старого двухэтажного дома шла деревянная галерея. Наверху, облокотившись о перила, стоял человек в ночной сорочке с горящей свечой в подсвечнике и смотрел во двор. За ним показались две женщины в ночном одеянии, другой мужчина мчался вниз по скрипящей лестнице. Это Карл увидел раньше всего. Потом что-то сверкнуло перед его глазами, кто-то поднял белую кружевную шаль и снова ее уронил. Он слышал, как около него говорили: «Ничего уже не поможет... все кончено... Позовите же врача! Почему не едет Скорая помощь?.. Полицейского! Полицейского!..» Все перешептывались, некоторые выбежали на улицу; за одной фигурой Карл невольно следил глазами. Это была длинная фрау Иедек в желтом плаще; в отчаянии прижав обе руки к вискам, она убежала и не вернулась... За Карлом толпились люди. Он вынужден был отталкивать их локтями, чтобы не упасть на фрау Ладенбауер, которая, стоя на коленях, держала обе руки Мари, раскачивала их из стороны в сторону и кричала: «Скажи что-нибудь! Скажи хоть слово!..» Наконец пришел с фонарем привратник в коричневом халате и ночных шлепанцах. Осветив лицо Мари, он сказал: «Какое несчастье! И нужно же ей было удариться головой прямо о закраину колодца». И тогда Карл увидел, что Мари была распростерта у каменной закраины колодца. Вдруг мужчина в сорочке, стоявший на галерее, сказал: «Я слышал, как что-то загрохотало, — не прошло еще и пяти минут!» И, подняв голову, все посмотрели на него, но он только все время повторял: «Не прошло еще и пяти минут, как я услышал грохот...» — «Как это она взобралась наверх?» — прошептал кто-то за спиной у Карла. «Но помилуйте, — ответил другой, — ведь она знает этот дом; она ощупью пробралась через кухню, потом по лестнице наверх и потом через перила вниз; не так-то уж это трудно». Так шептались вокруг Карла, но он даже не узнавал голосов, хотя говорили, конечно, знакомые, и не оборачивался. Где-то по соседству запел петух. Карлу казалось, что все это происходит во сне. Привратник поставил фонарь на закраину колодца. Мать кричала: «Когда же придет врач?» Старый Ладенбауер приподнял голову Мари так, что свет фонаря упал ей прямо на лицо. И Карл отчетливо увидел, как шевельнулись ее ноздри,

дрогнули губы и открытые мертвые глаза взглянули на него совсем как прежде. Он увидел также, что место, где раньше лежала ее голова, было красным и влажным. Он крикнул: «Мари! Мари!» Но никто его не слышал, да и сам он не слышал себя. Мужчина наверху, на галерее все еще стоял, перегнувшись через перила, стояли и обе женщины рядом с ним, словно зрители на представлении. Свеча потухла. Над двором стоял лиловый рассвет. Фрау Ладенбауер положила голову Мари на сложенную белую кружевную шаль. Карл по-прежнему стоял неподвижно и пристально смотрел вниз. Вдруг сразу посветлело, и теперь он видел, что лицо Мари было совершенно спокойно и ничто не шевелилось в нем, только капли крови медленно стекали со лба, из-под волос по щекам и шее на влажный бумажник. И он понял, что Мари мертва...

Карл открыл глаза, словно отгоняя страшный сон. Он сидел один на скамье у края дороги и видел, как капельмейстер Ребаи и полоумный Иедек спешили вниз по той же дороге, по которой они все вместе поднимались наверх. По-видимому, они горячо о чем-то говорили, размахивая руками и сильно жестикулируя. Тросточка Иедека тонкой линией вырисовывалась на горизонте. Все быстрее шли они, окутанные легким облачком пыли, а их слова замирали на ветру. Вокруг сверкало солнце, и глубоко внизу в полуденном зное плыл и дрожал город.



СМЕРТЬ ХОЛОСТЯКА

В дверь постучали совсем тихо, но врач сразу проснулся, зажег свет и встал с постели. Он посмотрел на жену, которая продолжала спать, надел шлафрок и вышел в переднюю. Он не сразу узнал стоявшую там старуху в сером платке.

— Нашему барину стало вдруг очень плохо, — сказала она. — Пожалуйста, господин доктор, ступайте к нему поскорее.

Врач узнал голос. Это была экономка его друга, холостяка. Первой мыслью доктора было: «Моему другу пятьдесят пять лет, он уже несколько лет как болен сердцем, — может быть, с ним и вправду что-нибудь серьезное».

И он сказал:

— Иду сейчас же, вы подождете меня?

— Извините, пожалуйста, господин доктор, но я спешу еще к двум господам. — И старуха назвала имена коммерсанта и поэта.

— А к ним вам зачем?

— Барин хочет их увидеть еще раз.

— Увидеть еще раз?

— Да, господин доктор.

Он созывает друзей, подумал врач, значит, чувствует, что смерть близка... И он спросил:

— С барином кто-нибудь остался?

Старуха ответила:

— Конечно, господин доктор, Иоганн от него не отходит, — и ушла.

Доктор вернулся в спальню, и, покамест он быстро и как можно бесшумнее одевался, в душе его поднялось какое-то горькое чувство. Пожалуй, даже не боль оттого, что, быть может, сейчас он теряет доброго старого друга, а мучительное сознание, что вот и его конец близок, его и всех тех, кто только несколько лет тому назад был еще молод.

Влажной, теплой весенней ночью ехал врач в своей открытой коляске в ближнее предместье, где жил холостяк. Он поглядел наверх, в распахнутое окно спальни, из которого струился в ночь бледный свет.

Врач поднялся по лестнице, слуга отворил ему дверь, серьезно поклонился и печально опустил левую руку.

— Как? — задыхаясь, спросил врач. — Я опоздал?

— Да, господин доктор, — ответил слуга, — барин скончался пятнадцать минут тому назад.

Врач глубоко вздохнул и вошел в комнату. Там, полуоткрыв тонкие посинелые губы, вытянув руки на белом покрывале, лежал его покойный друг. Жидкая борода была всклокочена, седые пряди падали на бледный и влажный лоб. Шелковый абажур, затенявший

электрическую лампочку на тумбочке возле кровати, отбрасывал на подушку красноватую тень. Врач смотрел на умершего. Когда же он был у нас в последний раз, думал он. Да, помнится, в тот вечер шел снег. Значит, прошлой зимой. Как редко виделись мы в последнее время!

С улицы донеслось постукивание лошадиных копыт. Врач отвернулся от умершего и увидел тонкие ветки, колыхавшиеся в ночном воздухе за окном.

Вошел слуга, и врач спросил его, как это случилось.

Слуга начал рассказывать обычную историю — о том, как больному вдруг сделалось плохо, стало трудно дышать, как он соскочил с кровати, принялся ходить взад и вперед по комнате, затем бросился к письменному столу, потом опять поплелся к постели, как он томился жаждой, стонал, приподнялся еще раз и вдруг рухнул на подушки. Врач слушал, кивая, положив правую руку на лоб покойного.

Подъехала чья-то коляска. Врач подошел к окну. Он увидел коммерсанта, который, вылезая, бросил на него вопрошающий взгляд. Врач невольно опустил руку, точно так, как встретивший его слуга. Коммерсант вскинул голову, словно не в силах поверить, врач пожал плечами и, охваченный внезапной усталостью, сел в кресло в ногах покойного.

Вошел коммерсант, желтое его пальто было растегнуто; он положил шляпу на маленький столик у дверей и пожал руку врачу.

— Просто ужасно, — сказал он. — Как это случилось? — И недоверчиво поглядел на мертвеца.

Врач рассказал все, что знал сам, и добавил:

— Даже если бы я и успел приехать, помочь ему я бы не смог.

— Подумайте только, — сказал коммерсант, — сегодня ровно неделя, как я в последний раз говорил с ним в театре. Я еще звал его поужинать, но он, как всегда, спешил на одно из своих таинственных свиданий.

— А у него они все еще были? — спросил врач, грустно улыбаясь.

Опять подъехала коляска. Коммерсант подошел к окну. Увидев выходящего из нее поэта, он отошел в глубь комнаты, боясь выражением лица выдать печаль-

ную новость. Врач вынул из портсигара папиросу и стал смущенно вертеть ее в пальцах.

— Привычка с того времени, когда я работал в больнице. Бывало, только выйдешь ночью из палаты, тотчас же и закуришь, все равно что бы там ни делал, вводил ли морфий или удостоверять смерть.

— А знаете, — спросил коммерсант, — сколько лет я не видел мертвеца? Четырнадцать — с тех пор, как отец мой лежал на столе.

— А ваша жена?

— Жену я, конечно, видел в самые последние мгновения, но после нет.

Вошел поэт, пожал руки обоим и неуверенно поглядел на постель. Потом решительно подошел ближе и стал смотреть на покойника, серьезно, но с каким-то презрительным подергиванием губ. Значит, он, твердил голос у него в душе. Ибо его давно уже занимала мысль о том, кому из знакомых суждено отправиться первым в свой последний путь.

Вошла экономка. С глазами полными слез она опустилась на колени возле постели, заплакала и молитвенно сложила ладони. Поэт, легко и утешающе, опустил руку ей на плечо.

Коммерсант и врач стояли у окна, вдыхая влажный весенний воздух.

— Как-то странно, — сказал коммерсант, — что он послал за всеми нами. Неужели он хотел видеть нас у своего смертного одра? Или, может быть, желал сообщить нам что-нибудь важное?

— Что касается меня, — сказал доктор со скорбной улыбкой, — то тут не было ничего удивительного, я же врач. А вы, — обратился он к коммерсанту, — вы выступали иногда в качестве консультанта. Может быть, он хотел передать лично вам свои последние распоряжения.

— Может быть, — сказал коммерсант.

Экономка вышла, и друзья слышали, как она разговаривает в передней со слугой. Поэт все еще стоял у постели и вел таинственный диалог с усопшим.

— Кажется, — тихо сказал коммерсант врачу, — кажется, он чаще бывал с ним в последнее время. Может быть, он объяснит нам, в чем тут дело.

Поэт стоял, не двигаясь, заложив за спину руки, в которых держал широкополую серую шляпу. Взгляд

его сверлил закрытые глаза покойника. Господа начали проявлять нетерпение. Коммерсант подошел к поэту и кашлянул.

— Три дня тому назад, — выговорил поэт, — мы гуляли с ним целых два часа, за городом, на виноградниках. Вы хотите знать, о чем он говорил? О поездке в Швецию, куда собирался отправиться летом, о новом альбоме Рембрандта, вышедшем сейчас у Ватсона в Лондоне, и, наконец, о Сантос-Дюмоне. Говоря об управлении воздушными кораблями, он приводил множество математически-физических доводов, которые я не совсем понял. Право же, он не думал о смерти. Вероятно, все мы в определенном возрасте опять перестаем думать о ней.

Врач вышел в соседнюю комнату. Здесь он мог разрешить себе закурить. Странное, даже жуткое чувство охватило его, когда в бронзовой пепельнице на письменном столе он увидел белый пепел. «Почему, в сущности, я еще здесь? — подумал он, опускаясь в кресло перед столом. — У меня больше права уйти, чем у других, я ведь вызван, конечно, только как врач. Мы с ним были вовсе не так уж дружны. В мои годы, — продолжал он размышлять, — с моим складом характера, вообще невозможно дружить с человеком, у которого нет никакой профессии, да и не было никогда. Не будь он богат, что стал бы он делать? Вероятно, сочинительство. Он ведь был очень остроумен». И врач припомнил несколько злобных и метких замечаний холостяка, особенно касающихся произведений их общего друга, поэта.

Вошли поэт и коммерсант. При виде доктора, сидевшего в только что осиротевшем кресле, с папиросой во рту, — впрочем, он так и не закурил ее, — лицо поэта выразило оскорбление. Он закрыл за собой дверь. Они были как бы в другом мире.

— Вы хоть сколько-нибудь понимаете? — спросил коммерсант.

— Что? — рассеянно переспросил поэт.

— Что заставило его послать за нами, именно за нами!

Поэту казалось совершенно излишним искать какие-то особые причины.

— Наш друг, — пояснил он, — почувствовал приближение смерти, и хотя он жил довольно одиноко, — во всяком случае, в последнее время, — но в такой час у людей, по природе общительных, вероятно, возникает потребность видеть вокруг себя тех, с кем они прежде были близки.

— Но ведь у него была возлюбленная, — заметил коммерсант.

— Возлюбленная, — повторил поэт и презрительно вздернул брови.

В эту секунду врач заметил, что средний ящик письменного стола полуоткрыт.

— Уж не здесь ли его завещание? — сказал он.

— Нам-то что до этого, — возразил коммерсант, — особенно в такую минуту. Впрочем, у него есть сестра, замужняя, она живет в Лондоне.

Вошел слуга. Он хотел бы посоветоваться с господами относительно катафалка, похорон, объявления о смерти. Насколько он знает, завещание хранится у нотариуса покойного. Только вряд ли там есть распоряжения насчет всех этих вещей.

В комнате душно и жарко, заметил поэт. Он раздвинул тяжелые красные портьеры на одном из окон и распахнул обе рамы. Широкий синий парус весенней ночи вплыл в комнату. Врач спросил у слуги, не знает ли он, по какой причине покойный послал за ними, потому что, насколько он помнит, его, как врача, не приглашали уже много лет. Слуга, казалось, только и ждал этого вопроса. Он вытащил из кармана своего пиджака огромный бумажник, достал из него листок и сказал, что барин еще семь лет назад записал имена всех друзей, которых хотел видеть перед смертью. Так что, если бы барин даже потерял сознание, слуга имел полномочия и послал бы за господами сам.

Врач взял записку и увидел в ней пять имен. Кроме трех присутствующих, здесь значилось имя друга, умершего два года назад, и еще какого-то неизвестного. Слуга пояснил, что это фабрикант, у которого барин бывал лет девять-десять назад, но адрес его не то утерян, не то забыт. Господа поглядели друг на друга, смущенные и встревоженные.

— Что все это значит? — спросил коммерсант. — Уж не хотел ли он произнести речь в последний свой час?

— Надгробную речь, посвященную себе самому, — добавил поэт.

Врач заглянул в открытый ящик письменного стола, и вдруг оттуда, с конверта, написанные крупными латинскими буквами, на него воззрились два слова: «Моим друзьям».

— О! — вскричал врач и, взяв конверт, поднял его над головой, показывая остальным. — Это нам, — пояснил он слуге и движением головы дал ему понять, что он здесь лишний. Слуга вышел.

— Нам, — сказал поэт, глядя широко раскрытыми глазами.

— Тут и сомнения быть не может, — заявил врач, — мы имеем полное право вскрыть конверт.

— Обязаны, — подтвердил коммерсант и застегнул пальто.

Врач взял из стеклянной чаши нож для разрезания бумаги, вскрыл конверт, вынул письмо и надел пенсне. Этой секундой воспользовался поэт — он развернул письмо.

— Ведь оно предназначено нам всем, — заметил он вскользь и прислонился к столу, так что свет от висячей люстры упал на бумагу. Коммерсант встал с ним рядом. Врач остался на своем месте.

— Может быть, вы прочтете вслух? — попросил коммерсант.

Поэт начал:

— «Моим друзьям». — Он прервал себя, улыбаясь: — Да, господа, здесь опять то же обращение, — и с великолепной непринужденностью продолжал читать: — «Минут пятнадцать тому назад я испустил дух. Вы собрались вокруг моего смертного ложа и готовитесь, все вместе, прочесть это письмо, — разумеется, только если в час моей кончины оно еще будет существовать, — добавлю я. Ведь может статься, что мной опять овладеет другое, лучшее, побуждение».

— Что? — переспросил врач.

— Овладеет лучшее побуждение, — повторил поэт и продолжал: — «И я решу уничтожить письмо, которое мне не принесет ни малейшей пользы, вам же доставит, в лучшем случае, несколько неприятных часов, а кое-кому и отравит жизнь».

— Отравит жизнь? — вопросительно повторил врач и протер стекла пенсне.

— Скорее,— осипшим голосом сказал коммерсант. Поэт продолжал:

— «Вот я и спрашиваю себя: что за странный каприз толкает меня к письменному столу и заставляет писать слова, впечатление от которых я уже не смогу прочесть на ваших лицах? А если бы и смог, удовольствие оказалось бы слишком ничтожным, чтобы послужить извинением той фантастической подлости, которую сейчас, правда с чувством сердечнейшего удовольствия, я решил совершить».

— Ха! — вскричал врач каким-то чужим голосом. Поэт бросил на него быстрый и злобный взгляд и продолжал, быстрее и монотоннее, чем прежде:

— «Да, каприз — и только, потому что, в сущности, я не питаю к вам никаких злых чувств. Я даже очень хорошо отношусь к вам — по-своему, конечно, впрочем, как и вы ко мне. Я даже не презираю вас. И хоть иногда и подтрунивал над вами, все же никогда над вами не издевался. Даже в те, — нет, уж во всяком случае, не в те часы, о которых вы получите сейчас самое наглядное и самое неприятное представление. Так откуда же этот каприз? Может быть, он возник все-таки из глубокого и, в сущности, благородного желания уйти из мира не отягощенным чрезмерно большой ложью? Я бы мог убедить себя в этом, если бы хоть единственный раз в жизни испытал малейшее ощущение того, что люди называют раскаянием».

— Читайте поскорее конец,— сказал врач своим новым голосом. Коммерсант попросту вынул письмо из рук поэта, которому показалось, что пальцы у него отнялись, быстро опустил глаза на нижние строчки и прочел:

— «Это был рок, дорогие мои. С этим я уж ничего не могу поделать. Всеми вашими женами я обладал. Всеми».

Коммерсант вдруг замолчал и начал листать страницы в обратном порядке.

— Что вы ищете? — спросил врач.

— Письмо написано девять лет назад,— сказал коммерсант.

— Дальше,— приказал поэт. И коммерсант прочел:

— «Разумеется, все эти связи были очень различны. С одной я жил почти что в браке, много месяцев.

С другой у меня было то, что принято называть легкой интрижкой. С третьей дело зашло так далеко, что я собирался покончить с собой вместе с нею. Четвертую я спустил с лестницы потому, что она обманывала меня с другим. А еще одна была моей возлюбленной всего один-единственный раз. Все вы разом вздохнули с облегчением, милые вы мои. Напрасно. Ведь, может быть, это был прекраснейший час в моей — и в ее жизни. Так-то, друзья мои. Больше мне нечего вам сказать. Я складываю эти листки, опускаю их в мой письменный стол, и пусть они полежат здесь, покамест я не уничтожу их в другом настроении или покамест их не вручат вам в тот самый час, когда я буду лежать на смертном одре. Прощайте».

Врач взял письмо у коммерсанта и, очевидно, внимательно прочел его с начала до конца. Потом поглядел на коммерсанта, который стоял, скрестив руки на груди, и смотрел на него с издевкой.

— Хотя жена ваша умерла в прошлом году, — спокойно сказал врач, — это не меняет дела.

Поэт шагал по комнате взад и вперед, дергая, словно в судороге, головой. «Каналья», — внезапно прошипел он сквозь зубы и поглядел вверх, точно слово — это предмет, растаявший в воздухе. Он пытался воскресить образ юного существа, супруги, которую когда-то держал в объятиях. Но всплывали все образы других женщин, — и тех, которых он часто вспоминал, и тех, которые, казалось, забыты, только вот этот, желанный, он никак не мог заставить появиться. Потому что тело жены уже давно увяло и утратило аромат, да и слишком много времени прошло с тех пор, как она перестала быть для него возлюбленной. Зато она стала чем-то другим, более значительным и благородным, — подругой и спутницей, полной гордости за его успехи, полной участия к его разочарованиям, полной понимания самых глубин его существа. Ему, право же, не казалось невероятным, что старому злобному холостяку захотелось просто отнять подругу у любимого друга, которому он втайне всегда завидовал. Ибо все то, остальное, — какое оно, в сущности, имело значение? Поэту вспомнились различные любовные приключения, давнишние и недавние, без которых, конечно, не обошлось в его насыщенной жизни художника, и мимо ко-

торых жена его проходила иногда улыбаясь, а иногда и плача. Где все это сейчас? Потускнело, как тот далекий час, когда она бросилась в объятия ничтожного человека, не размышляя, быть может, даже не сознавая того, что делает. Исчезло почти так же, как воспоминание об этом часе в голове мертвеца, покоящейся там, рядом, на смятой в муках подушке. А может быть, все, что написано в этом завещании, просто ложь? Последняя месть жалкого обывателя, который знал, что обречен на вечное забвение, и завидовал избраннику, над творениями которого смерть не властна? Что ж, весьма возможно. Но, даже если все написанное — правда, — все равно это только мелкая месть, да к тому же решительно неудавшаяся.

Врач смотрел на листки бумаги, лежавшие перед ним, и думал о стареющей, кроткой, нет, доброй женщине, которая спит сейчас дома. Думал он и о своих трех детях. О старшем, вольноопределяющемся, который отбывал сейчас службу, о взрослой дочке, помолвленной с адвокатом, и о меньшей, такой хорошенькой и очаровательной, что недавно на балу знаменитый художник попросил разрешения ее писать. Думал он и о своем уютном доме, и все, что хлынуло на него из письма умершего, было уже даже не ложью, а какой-то изощренной и непонятной чепухой. Ему даже показалось, что он вообще не узнал ничего нового. Врач вспомнил странный период в своей жизни, — это было лет четырнадцать — пятнадцать назад, — тогда в его врачебной деятельности начались неприятности, и, потерявшись, а потом в полном смятении чувств, он решил бросить город, жену, семью. Вот в это самое время он и стал вести разгульную, распутную жизнь, в которую вошла странная истеричная женщина, позднее покончившая с собой из-за другого возлюбленного. Теперь он не мог даже вспомнить, каким образом существование его вошло в обычную колею. В то тяжелое время, которое пришло и ушло, словно болезнь, да, именно тогда жена, видно, и обманула его. Да, конечно, так оно и было, и совершенно ясно, что, в сущности, он всегда это знал. И разве однажды она чуть было не призналась ему? Разве не намекала? Лет тринадцать — четырнадцать назад?.. Да, но по какому поводу?.. Кажется, это случилось летом, когда они путеше-

ствовали вдвоем во время отпуска, поздно вечером на террасе в отеле?.. Он напрягал память, стараясь припомнить отзвучавшие слова.

Коммерсант стоял у окна и смотрел в тихую прозрачную ночь. Он изо всех сил пытался вспомнить свою умершую жену. Но как ни старался, видел только себя в то серое утро, когда он стоял в проеме снятой с петель двери, в черном костюме, принимая и возвращая сочувственные рукопожатия и вдыхая слабый запах карболки и цветов. Мало-помалу ему все же удалось воскресить в памяти образ жены. Сперва, правда, образ образа. Ибо перед ним возник только большой портрет в позолоченной раме, висевший дома в гостиной над роялем, портрет гордой тридцатилетней дамы в бальном туалете. А уж затем и она сама, молоденькой девушкой, бледной и робкой, которая без малого двадцать пять лет тому назад ответила согласием на его предложение. И тут всплыл образ цветущей женщины, восседающей с ним рядом в ложе, устремив взгляд на сцену, внутренне чуждой ему. Потом вспомнилась пламенная супруга, которая встретила его с неожиданной страстью, когда он возвратился домой из долгой поездки... Но тотчас явилась и нервная плаксивая особа с зеленоватыми тусклыми глазами, отравлявшая ему жизнь бесконечно дурным настроением. А там предстала в светлом пеньюаре трепещущая нежная мать, бодрствовавшая у постели больного ребенка, который вскоре умер. И наконец, он увидел бледное существо, лежащее в постели со страдальчески опущенными углами губ, с каплями холодного пота на лбу, в комнате, пропитанной запахом эфира, и вызывающее в душе его чувство мучительной жалости. Он знал, что все эти образы и еще сотни других, с непостижимой быстротой пронесившиеся сейчас перед внутренним его взором, олицетворяют одного человека, которого два года назад опустили в могилу, которого он оплакал, но после смерти которого чувствовал освобождение. Ему казалось, что из всех этих образов он должен выбрать один, чтобы обрести подобие какого-то чувства. Потому что сейчас его стыд и гнев устремлялись в своих поисках в пустоту. Коммерсант стоял в нерешительности и глядел на виллы, видневшиеся в садах.

Желтоватые и красноватые, плавали они в лунном свете и, казалось, состояли из одних бледных, нарисованных стен, парящих в воздухе.

— Спокойной ночи,— сказал врач и поднялся.

Коммерсант повернулся к нему.

— Мне тоже здесь больше нечего делать.

Поэт взял письмо, незаметно сунул его в карман пиджака и отворил дверь в соседнюю комнату. Медленно подошел он к постели, на которой лежал умерший, и оба другие увидели, что он молча смотрит на покойного, заложив руки за спину. Они вышли.

В передней коммерсант сказал слуге:

— Что касается похорон, может быть, в завещании у нотариуса есть какие-нибудь распоряжения.

— И не забудьте,— добавил врач,— дать телеграмму в Лондон сестре барина.

— Конечно,— сказал слуга и открыл перед господами дверь.

Еще на лестнице их нагнал поэт.

— Я могу подвести вас обоих,— сказал врач, которого ждала коляска.

— Спасибо,— ответил коммерсант,— я пойду пешком.

Он пожал им руки и один отправился по дороге в город, наслаждаясь тишиной ночи.

Поэт и врач взобрались в коляску. В садах запели птицы, коляска обогнала коммерсанта, все трое приподняли шляпы, вежливо и иронически, и у всех было одинаковое выражение лица.

— Что новенького собираетесь вы нам показать в театре? — спросил врач поэта своим прежним голосом.

Поэт тотчас же принялся рассказывать о невероятных препятствиях, встречающих постановку его новой драмы, в которой, правда,— он вынужден в этом признаться,— содержатся поистине неслыханные нападки на все, что якобы свято человечеству. Врач кивал, не слушая. Да и поэт не слушал себя, ибо эти так часто повторяемые фразы давно уже слетали с его губ, словно затверженные наизусть.

Возле дома врача оба вышли, и коляска уехала.

Врач позвонил. Они стояли молча. Послышались шаги привратницы, и поэт сказал:

— Спокойной ночи, дорогой доктор,— и, слегка раздувая ноздри, добавил: — Моей я тоже ничего не скажу.

Врач посмотрел мимо него и нежно улыбнулся. Ворота отворились, друзья пожали друг другу руки, врач исчез в подворотне, ворота затворились. Поэт ушел.

Он потрогал нагрудный карман. Да, письмо здесь. В целости и сохранности, запечатанным, найдет его жена среди оставшихся бумаг. И с той удивительной силой воображения, которая поистине была его даром, поэт услышал, как она шепчет у его могилы: «Мой благородный... Великий...»



ДНЕВНИК РЕДЕГОНДЫ

Прошлой ночью, возвращаясь домой через Городской парк, я ненадолго присел на скамью и вдруг заметил рядом некоего господина в длинном сером пальто и желтых перчатках. Странно, что всего за минуту до этого его здесь как будто не было. В такой поздний час в парке было сколько угодно свободных мест, и то, что незнакомец выбрал именно мою скамью, показалось мне подозрительным; я уже хотел встать и уйти, когда незнакомец приподнял шляпу и поздоровался, на-

звав меня по имени. Тут я его узнал и был приятно поражен. Это оказался доктор Готфрид Вейвальд, человек молодой и весьма благовоспитанный; он держался с благородным достоинством, и заметно было, что ему доставляет удовольствие собственная изысканность в обращении. Года четыре назад его перевели помощником юриста из Вены в Нижнюю Австрию, но время от времени он снова появлялся в кафе среди приятелей, встречавших его со сдержанным радушием: доктор Вейвальд не любил бурных излияний. Я не видел его с самого рождества, однако сейчас, встретив его ночью в Городском парке, ничем не выдал своего удивления. Любезно, стараясь не выказывать излишнего любопытства, ответил на его поклон и уже намеревался вступить с ним в беседу, как подобает светским людям, которые ничему не должны удивляться, даже встрече на краю света, но в этот момент он, словно защищаясь, поднял руку и произнес:

— Простите, у меня слишком мало времени, и я пришел сюда лишь затем, чтобы рассказать вам одну странную историю,— разумеется, если вы сообразовали меня выслушать.

Немало удивленный его словами, я тем не менее изъявил полнейшую готовность слушать, но не удержался от вопросов: отчего он не разыскал меня в кафе, как ему удалось найти меня ночью в парке и, наконец, почему именно мне он решил оказать такую честь?

— Ответ на два первых вопроса,— сказал он с несвойственной ему резкостью,— вы найдете в моем рассказе. А вас я избрал потому, дорогой друг,— теперь он меня так только и называл,— что, насколько мне известно, вы занимаетесь сочинительством, и я смею надеяться, что мой странный, сбивчивый рассказ, изложенный вами в приемлемой форме, увидит свет.

Я пытался скромно возразить, но доктор Вейвальд, как-то странно поморщившись, без дальнейших околичностей начал:

— Имя героини моего рассказа — Редегонда. Она была женой ротмистра, барона Т. из драгунского полка X., расквартированного в городе Z.

Он и в самом деле назвал только начальные буквы, хотя я прекрасно знал не только этот маленький городок и имя ротмистра, но даже номер полка. Почему

мне все это было известно, вам станет понятно из дальнейшего.

— Редегонда, — продолжал доктор Вейвальд, — была женщиной необыкновенной красоты, и я влюбился в нее, как говорят, с первого взгляда. К сожалению, у меня не было никакой возможности познакомиться с ней, ибо офицеры почти не знали со штатскими, и даже нас, чиновников городского управления, держали на почтительном расстоянии. Поэтому я видел Редегонду лишь издали; всегда в сопровождении супруга или в обществе других офицеров и их жен. Иногда она появлялась в одном из окон своей квартиры, выходящей на центральную площадь. Вечерами она часто выезжала в дребезжащей коляске в театр, где у нее была своя ложа; замирая от счастья, я незаметно наблюдал за ней из партера, но вот наступал антракт, и ее снова окружали молодые офицеры. Подчас мне казалось, что она заметила меня. Но если ей и случилось небрежно скользнуть по мне взглядом, я ничего не мог прочесть в ее глазах.

Я уже потерял было всякую надежду когда-нибудь сложить к ее ногам мое беспредельное обожание, когда однажды, прекрасным осенним утром, встретил Редегонду в небольшом, похожем на парк, лесочке, который начинается сразу за восточными городскими воротами. Она прошла мимо, чему-то улыбаясь, возможно, даже не заметив меня, и вскоре скрылась в багряной роще. Она была от меня в двух шагах, а я и не сообразил поклониться или даже заговорить с ней! Но и в то мгновение, когда она скрылась в лесу, я не раскаивался, что упустил такую возможность познакомиться с ней, — из этого все равно ничего бы не вышло. И тут со мной произошло нечто странное: подчиняясь таинственному, властному голосу, я представил себе, что случилось бы, решишь я остановить Редегонду и заговорить с ней. В моем разыгравшемся воображении Редегонда не отвергла моих признаний, ей даже приятна была моя дерзость! Она жаловалась на пустоту существования, на ничтожество окружающих ее людей и не скрывала радости, что наконец нашла во мне понимающую, родственную душу. И столь многообещающим был ее взгляд в минуту расставанья, что я, приду-

мавший все от начала до конца — и прощальный взгляд тоже, — вечером, увидев Редегонду в ложе театра, испытал такое чувство, будто нас связывает некая чудесная тайна.

Надеюсь, дорогой друг, вас не удивит, что за первой необыкновенной встречей, созданной моим воображением, вскоре последовали другие и что от свидания к свиданию беседы наши становились все более дружескими, задушевными, даже интимными, пока однажды, уже поздней осенью, Редегонда не упала в мои объятия. Тут уж фантазия моя разыгралась вовсю! Наконец Редегонда сама пришла в мою скромную квартиру на окраине города, и я пережил такое упоительное блаженство, какого мне никогда не могла бы дать убогая действительность.

На каждом шагу нас подстерегали опасности, придавая еще большую романтичность нашей любви. Однажды, когда мы, закутавшись в меха, мчались на санях куда-то в ночь, мимо нас во весь опор проскакал ротмистр. Уже тогда в душе моей зародились роковые предчувствия, коим вскоре суждено было сбыться.

В начале весны в городе стало известно, что драгунский полк, где служил муж Редегонды, переводят в Галицию. Моему — нет, нашему отчаянию не было предела! Мы перебрали все, на что могут решиться возлюбленные при столь необычных обстоятельствах: бегство, смерть, печальную необходимость покориться неизбежному. Наступил последний вечер, а мы все еще терзались сомнениями. Я украсил комнату цветами и теперь ждал Редегонду; приготовившись ко всему, уложил чемодан, зарядил револьвер и написал прощальные письма. Все это, мой дорогой друг, истинная правда. Ибо мечта столь безраздельно завладела мной, что в тот вечер я не просто надеялся, что Редегонда придет, но и ждал ее. Мне не грезилось, как обычно, что я держу ее в объятиях; нет, мне чудилось, будто на сей раз нечто таинственное, даже ужасное удерживает мою возлюбленную дома; раз сто подходил я к двери, прислушиваясь, не поднимается ли кто по лестнице, выглядывая из окна, чтобы увидеть Редегонду еще издали. В лихорадочном возбуждении я готов был ринуться на ее поиски и вопреки всем преградам, по

праву любящего и любимого, отнять Редегонду у мужа. Под конец, совершенно измученный ожиданием, я свалился на диван.

Внезапно около полуночи раздался звонок. Сердце мое замерло. Вы понимаете, этот ночной звонок уже не был фантазией! Звонок прозвенел второй, третий раз и своим пронзительным дребезжаньем сразу вернул меня к неумолимой действительности. Но в тот самый миг, когда я понял, что мое странное приключение до этого вечера оставалось лишь цепью чудесных снов, во мне проснулась безрассудная надежда, что Редегонда, покоренная силой моей страсти, сама пришла ко мне, стоит сейчас у порога и вот-вот упадет в мои объятия. Весь во власти этого сладостного предчувствия, я подошел к двери и открыл ее. Но то была не Редегонда. Передо мной стоял ее муж, не бестелесный призрак, а живой человек, и я видел его так же отчетливо и ясно, как вас в эту минуту.

Ротмистр пристально смотрел мне в лицо. Понятно, мне ничего другого не оставалось, как пригласить его в комнату и предложить стул. Но он продолжал стоять, выпятив грудь, потом с невыразимой насмешкой произнес:

— Вы ждете Редегонду; к сожалению, ее приходу помешали некоторые обстоятельства. Она, видите ли, умерла.

— Умерла,— повторил я, и свет для меня померк. Ротмистр продолжал твердым голосом:

— Час назад я застал ее за письменным столом. Перед ней лежала эта тетрадь, я нарочно захватил ее с собой. Очевидно, она умерла от сильного испуга, когда я внезапно вошел в комнату. Вот последние строки, которые она успела написать. Извольте взглянуть!

Он протянул мне раскрытую тетрадь в фиолетовом кожаном переплете, и я прочел:

«Итак, я покидаю мой дом навсегда, возлюбленный ждет меня». Я закрыл тетрадь и утвердительно кивнул головой.

— Вы, верно, догадались,— продолжал ротмистр,— что держите в руках дневник Редегонды. Возможно, вы будете столь любезны, что перелистаете его. Тогда вы убедитесь, что отпираться бесполезно.

Я стал перелистывать дневник, вернее, начал его читать. Облокотившись о письменный стол, я читал его почти час, и все это время ротмистр неподвижно сидел на диване. Перед моим взором вновь проходила вся дивная история нашей любви: то осеннее утро, в лесу, когда я впервые заговорил с Редегондой, первый поцелуй, наши загородные прогулки, исполненные блаженства часы в моей, благоухающей цветами комнате, наши планы бежать или умереть вместе, наше счастье и наше отчаяние. Все, чего я никогда не пережил в действительности, а лишь создал в своем воображении, было с удивительной точностью запечатлено на этих страницах. И это вовсе не казалось мне чем-то необъяснимым, как, верно, представляется вам. Я внезапно понял, что и Редегонда безраздельно любила меня, поэтому ей была дана таинственная власть испытать вместе со мной все муки и радости, порожденные нашей фантазией. Редегонда, как все женщины, была ближе меня к истокам бытия и потому, не ведая разницы между желанием и его исполнением, по-видимому, твердо верила, что все, о чем она поведала фиолетовой тетради, пережито ею наяву. Но, возможно, все обстояло иначе. Быть может, Редегонда завела этот предательский дневник, желая отомстить мне за нерешительность, из-за которой моим — нет, нашим мечтам не суждено было сбыться; она, по собственной воле, обрекла себя на смерть, замыслив, чтоб дневник попал таким образом в руки обманутого мужа. Но у меня не оставалось времени разрешать эти сомнения, ведь ротмистр был совершенно убежден в моей виновности, и я, как того требовали обстоятельства, в подобающих выражениях объявил ему, что всегда к его услугам.

— Не попытавшись?..

— Отрицать?! — прервал меня доктор Вейвальд сурово. — О нет! Даже если бы такая попытка сулила малейшую надежду на успех, она показалась бы мне недостойной, ибо я чувствовал себя в ответе за трагический исход приключения, которое хотел пережить и не пережил лишь по своей трусости.

— Я хотел бы довести дело до конца, пока еще не стало известно о смерти Редегонды, — сказал ротмистр. — Сейчас ровно час ночи, в три состоится встреча секундантов, в пять все должно решиться.

И снова я кивнул в знак согласия. Холодно откланявшись, ротмистр удалился. Я привел в порядок бумаги, вышел из дому и поднял прямо с постели двух моих знакомых из главного окружного управления, один из них был граф. Объяснив в нескольких словах лишь самое необходимое, чтобы заставить их поторопиться, я спустился на главную площадь и стал ходить взад и вперед под неосвещенными окнами комнаты, где лежало тело Редегонды. Мной владело такое чувство, будто я иду навстречу своей судьбе.

В пять часов утра, в маленьком лесочке, вблизи того места, где я впервые встретил Редегонду, но так и не решился заговорить с нею, мы стояли друг против друга, ротмистр и я.

— И вы застрелили его?

— Нет, моя пуля пролетела у самого его виска. Он же попал мне прямо в сердце. Как принято говорить, я был убит наповал.

— О-о-о! — простонал я, бросив растерянный взгляд на странного собеседника. Но никого не увидел. Скамья была пуста. Можно было даже подумать, что все это мне померещилось. Только тогда я вспомнил, что вчера в кафе было много разговоров о дуэли, на которой некий ротмистр по имени Тейергейн застрелил доктора Вейвальда. Эта весть огорчила наше провинциальное общество, однако то обстоятельство, что фрау Редегонда в тот же день бесследно исчезла вместе с одним молодым лейтенантом, дало повод для грустных шуток. Кто-то высказал мысль, что доктор Вейвальд, отличавшийся редкой скромностью и благородством, отчасти по своей воле принял смерть за другого, более счастливого соперника. Что же до появления призрака Вейвальда в Городском парке, то оно было бы куда более впечатляющим и необычным, если бы я встретил его до рыцарской гибели его двойника. Не стану скрывать, мысль несколько передвинуть события и тем самым усилить впечатление вначале показалась мне весьма заманчивой. Все же, по зрелом размышлении, у меня возникли опасения, что, слегка изменив порядок событий, я навлеку на себя упреки в мистике, спиритизме и прочих страшных вещах. Я предвидел вопросы, не выдумка ли мой рассказ, и более того, мыслимы ли вообще подобные случаи, и знал, что в зави-

симости от ответа меня объявят либо духовидцем, либо мошенником. Что и говорить, выбор не слишком приятный! Поэтому в конце концов я предпочел описать мою ночную встречу, как она и произошла. И все-таки боюсь, что многие усомнятся в ее достоверности из-за широко распространенного недоверия, с каким обычно относятся к поэтам, хотя прочие люди заслуживают его в гораздо большей степени.



УБИИЦА

Молодой человек, доктор прав, не занимавшийся юридической практикой, владелец значительного состояния, оставленного ему родителями, завсегдатай гостиных и обаятельный собеседник, вот уже более года находился в связи с девушкой низкого происхождения. Родных у нее тоже не было, и потому она могла не считаться с мнением окружающих. Отнюдь не сердечная доброта или сильное влечение, а, скорее, стремление безмятежно предаваться очередной страсти заставило

Альфреда в самом начале их знакомства убедить возлюбленную — конторщицу в одном солидном венском магазине — оставить службу. Какое-то время ее безграничное обожание доставляло ему удовольствие, а обоядная свобода делала этот союз более приятным, нежели все прежние.

Но вскоре пришло столь знакомое ему, беспричинное беспокойство, которое обычно предвещало близкий конец любовной связи; хотя, казалось бы, на сей раз охлаждение еще не наступило, он уже боялся, как бы ему не пришлось разделить участь одного из друзей своей юности — несколько лет тому назад тот связал свою судьбу с женщиной того же круга, что и Элиза, и теперь, обремененный заботами о семье, стал брюзгой и домоседом. И не мудрено, что при такого рода предчувствиях общество милой и кроткой Элизы, вместо того чтобы доставлять истинную радость, начало раздражать его и стало ему в тягость. Разумеется, Элиза этого не чувствовала — Альфред был достаточно ловок (сам-то он гордо называл это чуткостью), чтобы не дать ей заметить перемены. А сам он тем временем стал все чаще бывать в обществе людей своего круга, от которых совсем было отдалился за последний год. И когда однажды на балу юная дочь состоятельного фабриканта, окруженная всеобщим поклонением, отметила его своей благосклонностью, та, другая связь, начавшаяся так легко и приятно, стала казаться ему досадной обузой, от которой молодой человек, принадлежавший к сливкам общества, имел право избавиться без лишних раздумий: ведь ему открылась возможность союза, куда более соответствующего его положению и состоянию. Но Элиза так светила тихой радостью в часы их теперь уже редких свиданий, была по-прежнему так преданно-нежна и с такой простодушной верой в его чувство расставалась с ним, когда он уходил от нее в чуждый и незнакомый мир, что стоило ему собраться с духом, как прощальные слова, готовые сорваться с губ, застревали у него в горле. Простодушно и слепо любящая Элиза, естественно, принимала невольные порывы сострадания за новые трогательные знаки его сердечной привязанности.

Дошло до того, что он стал особенно нежен с Элизой именно в дни свиданий с Аделью, когда он воз-

вращался в тихую обитель, где все дышало им одним, поглощенный воспоминаниями о нежных взглядах и многообещающих пожатиях рук, а потом уже и опьяненный первыми тайными поцелуями невесты; и вместо прощальных слов, которые он готовился произнести, переступая порог, Альфред каждое утро покидал возлюбленную, вновь клянясь ей в любви навеки.

Так все и тянулось, а дни бежали, и, наконец, пришлось решать, какой вечер удобнее для неизбежного объяснения с Элизой — до или после обручения с Аделью; избрав первый, так как после него все-таки еще оставалось какое-то время, Альфред явился к любовнице почти спокойный: двойная игра уже вошла в привычку.

Но Элиза не бросилась ему навстречу, как обычно, чтобы подставить лоб и губы для поцелуя; она забилась в угол дивана и улыбалась ему усталой и какой-то вымученной улыбкой; его поразила ее необычайная бледность. На минуту мелькнула надежда, что она обо всем узнала, несмотря на его ухищрения; до нее, видимо, каким-то загадочным путем все-таки дошли слухи о предстоящем обручении. Но в ответ на его торопливые расспросы Элиза сказала, что и раньше страдала сердечными приступами, но скрывала от него — они обычно проходили довольно быстро; а вот сейчас приступ что-то затянулся. Альфреду стало стыдно, он раскаивался в своих позорных намерениях и до того разволновался, что рассыпался в бесконечных выражениях участия и доказательств своей преданности. Получилось так, что к полуночи он уже вместе с Элизой обсуждал план путешествия, которое наверняка поможет ей избавиться от мучительного недуга.

Никогда еще он не был так нежен с ней и никогда еще не был так упоен собственной нежностью, как в эту ночь, так что по пути домой он уже всерьез обдумывал текст прощального письма к Адели. Он собирался объяснить ей отказ от брачных уз непостоянством своей натуры, не созданной для тихого семейного счастья. Искусные завитки фраз преследовали его и во сне, но при свете утренней зари, пробившейся сквозь щели в жалюзи и заигравшей на одеяле, все затраченные усилия показались ему столь же бессмысленными, сколь и излишними. Он сам был крайне удив-

лен, обнаружив, какой далекой и призрачной представилась ему теперь несчастная больная, лишь этой ночью лежавшая в его объятиях, в то время как образ Адели, овеянный ароматом его расцветающего чувства, безраздельно царил в его душе. В полдень он отправился к отцу Адели и попросил руки его дочери, что было встречено хоть и доброжелательно, но не без некоторых оговорок. Снисходительно посмеиваясь, тот прозрачно намекнул на весьма бурно проведенную молодость жениха и потребовал, чтобы Альфред отправился в путешествие, дабы за год разлуки проверить, насколько прочно и непреходяще его чувство к Адели. Он даже отказал Альфреду в праве переписываться со своей нареченной, дабы исключить самообман. Если же по истечении этого срока намерения Альфреда не изменятся и если Адель сохранит к нему те чувства, которые, как ей кажется, питает к нему сейчас, то не будет никаких возражений против немедленного бракосочетания юной пары. Хотя Альфред и производил впечатление человека, глубоко удрученного этим условием, но в глубине души он обрадовался новой отсрочке.

После короткого раздумья он объявил, что при создавшихся обстоятельствах предпочитает отправиться в путь уже сегодня — хотя бы для того, чтобы тем самым приблизить окончание вынужденной разлуки. Адель была оскорблена этой неожиданной уступчивостью, но во время короткой беседы, состоявшейся с разрешения отца невесты, Альфреду удалось доказать ей, что мудрость не исключает любви, и она отпустила его в опасные дали, клянясь в вечной преданности и заливаясь слезами.

Едва очутившись на улице, Альфред сразу принялся обдумывать различные способы порвать отношения с Элизой в течение предоставленного в его распоряжение срока. Привычка избегать решений в сложных жизненных ситуациях, отдаваясь течению событий, оказалась не только сильнее тщеславия, но и заставила его отмахнуться от мрачных предчувствий, которые при других обстоятельствах могли бы испугать эту изнеженную натуру. Путешествие неизбежно приведет к вынужденному постоянному общению друг с другом, думалось ему, а следовательно, вполне вероятно, что

Элизе постепенно наскучат их отношения, и она сама отвернется от него. Ну, а на самый крайний случай освобождению его мог помочь и сердечный недуг любовницы. Но вскоре борьба надежд и опасений надоела ему, и он просто выбросил из головы тягостные мысли, так что в душе осталось лишь детски радостное ожидание увлекательной поездки по дальним странам в обществе приятного и любящего существа; и уже вечером того же дня он превесело болтал со своей приветливой подружкой о заманчивых перспективах предстоящего путешествия.

Приближалась весна, поэтому Альфред с Элизой отправились сначала на Женевское озеро с его мягким климатом. Потом поднялись в горы, где было прохладнее, провели остаток лета на морском курорте в Англии, осенью осмотрели некоторые города Голландии и Германии, а затем спаслись от надвигавшихся холодов под ласковыми лучами южного солнца. Для Элизы, не выезжавшей ранее дальше окрестностей Вены, это чудесное лето рука об руку с любимым пронеслось как сладкий сон; даже Альфреда, ясно отдававшего себе отчет в том, что тягостная развязка лишь отсрочена, невольно захватило настроение Элизы, и он бездумно отдался счастью настоящей минуты. В начале поездки он всячески старался уклониться от встреч со знакомыми и с этой целью избегал появляться с Элизой на людных променадах и в ресторанах дорогих отелей. Но потом он стал намеренно дразнить судьбу. В душе он даже рад был бы получить депешу от невесты с обвинением в измене. Правда, это отрезало бы ему путь к женитьбе, по-прежнему не потерявшей для него притягательной силы, но зато и избавило бы от тягостной двойственности, от всех беспокойств и обязательств. Однако он не получал из родного города ни депеш, ни каких-либо иных известий, потому что Адель, вопреки его тщеславным ожиданиям, так же строго, как и он сам, соблюдала установленные ее отцом условия.

Однако пробил час, когда, по крайней мере для Альфреда, это чудесное путешествие вдруг превратилось в бесцветное, скучнейшее времяпрепровождение, которому, казалось, не будет конца. Случилось это ясным осенним днем в Палермском ботаническом саду; Элиза, которая все время казалась свежей, цветущей

и полной жизни, вдруг судорожно схватилась за сердце, испуганно взглянула на возлюбленного, но тотчас же опять заулыбалась, словно считала своим долгом ни в коем случае не причинять ему неприятностей. Но, вместо того чтобы растрогать, эта улыбка вызвала у него одно лишь раздражение, которое ему, конечно, пришлось для начала скрыть под маской озабоченности. Сам не веря тому, что говорит, он осыпал ее градом упреков за то, что она, вероятно, уже не раз утаивала от него такие приступы. Потом стал в позу оскорбленного, которого незаслуженно заподозрили в бессердечии, умолял ее немедленно показаться врачу и возликовал в душе, когда она отклонила эту просьбу под предлогом недоверия к искусству местных эскулапов. Но когда она в порыве нежности и признательности вдруг прижала к губам его руку — тут же, в саду, на скамье, мимо которой прогуливались люди, — он почувствовал, как кровь мгновенно закипела ненавистью столь острой, что он сам подивился ее силе. Однако вскоре он уже нашел ей оправдание — для этого достаточно было вспомнить о длинной череде унылых, томительно скучных дней, проведенных вместе. В тот же миг в нем вспыхнула такая жгучая тоска по Адели, что он, вопреки запрету, в тот же день послал ей депешу, умоляя телеграфировать в Геную хотя бы одно слово, и подписался: «Навеки твой».

Через несколько дней он получил в Генуе ее ответ, гласивший: «И я твоя на тот же срок». Спрятав на груди драгоценный клочок бумаги, ставший для него, несмотря на подозрительно шуточный тон, залогом будущего счастья, он вместе с Элизой поднялся на борт корабля, направлявшегося к берегам Цейлона. Эту часть своего турне, представлявшуюся им наиболее заманчивой, они намеренно приберегли к концу. Разве простодушной, доверчивой Элизе могло прийти в голову, что небывалой щедростью ласк, которыми осыпал ее возлюбленный, она обязана была лишь его пылкой фантазии; откуда ей было знать, что жаркие его объятия в окутанные безмолвием бархатные ночи юга были предназначены другой — далекой невесте, которая волшебною властью мечты являлась пред ним во всем блеске своего юного очарования. Однако, достигнув наконец берегов пышущего зноем острова — конечного

пункта их поездки, — он вдруг обнаружил, что в тягучем однообразии дней, похожих друг на друга как две капли воды, его истощенное воображение отказывается служить; он стал уклоняться от близости с Элизой, а для оправдания своей внезапной сдержанности лицемерно сослался на новое легкое сердечное недомогание, появившееся у нее в первые дни пребывания на суше. Но она и это, как и вообще все, что исходило от него, сочла проявлением пылкой любви, означавшей для нее весь смысл и всю радость жизни. И, прогуливаясь с возлюбленным среди пышных тенистых лесов, раскинувшихся под сверкающим золотом и лазурью южным небом, она не подозревала, что ее обожаемый спутник мечтает лишь о той минуте, когда, избавившись от ее общества, обретет наконец возможность торопливой рукой начертать страстные, полные любви и тоски слова, обращенные к другой, о существовании которой Элиза так ничего и не знала, да и впредь не должна была узнать. В эти минуты одиночества тоска по далекой невесте овладевала им с такой силой, что даже черты лица, даже голос этой близкой, всецело принадлежавшей ему подруги, с которой он вот уже скоро год странствовал по всему свету, бесследно исчезали из его памяти.

В ночь перед отплытием он поздно вышел из кабинета и застал Элизу распростершейся на постели в новом тяжком приступе болезни. Он заметил, что сознание покинуло ее, и сердце его затрепетало встревоженно и радостно. Он понял, что его настороженное внимание к ее здоровью на самом деле вызывалось затаенной, но никогда не угасавшей надеждой на избавление. Тем не менее он, искренне обеспокоенный, не мешкая ни минуты, послал за доктором, который не замедлил явиться и уколом морфия облегчил страдания больной. Поскольку состояние Элизы внушало серьезные опасения, а мнимый супруг в силу каких-то важных причин никак не мог повременить с отъездом, доктор дал ему записку к судовому врачу, в которой поручал больную его особому попечению.

В первые же дни плавания морской воздух, казалось, произвел на Элизу благотворное действие. Болезненная бледность исчезла, да и сама она стала еще более общительной и приветливой, а ее манера дер-

жаться — еще более непосредственной, чем прежде. И если раньше она равнодушно, а иногда и холодно отвергала даже самые невинные попытки попутчиков к сближению, то теперь она и не думала уклоняться от общих развлечений, столь обычных в дальнем плавании с его унылым однообразием, и благосклонно выслушивала почтительные комплименты, которыми осыпали ее некоторые из мужчин. А некий немецкий барон, путешествовавший с целью излечиться на море от застарелой болезни легких, проводил в ее обществе столько времени, сколько можно было себе позволить, не рискуя показаться назойливым. Альфреду ничего не стоило внушить себе, что очевидная благосклонность Элизы к наиболее настойчивому из ее поклонников не что иное, как зарождение у нее столь желанного для Альфреда нового чувства. Но когда он однажды напустил на себя благородное негодование и попытался устроить ей сцену из-за явно отдаваемого барону предпочтения, она польщенно улыбнулась и поспешила заверить его, что неожиданная ее общительность объясняется лишь желанием возбудить у любимого ревность и что она несказанно счастлива, коль скоро хитрость ее удалась.

Тут уж Альфред не сумел скрыть охватившее его бешенство. И в ответ на это признание, которым она надеялась успокоить и обрадовать возлюбленного, он бросил ей в лицо грубые, обидные слова. В недоумении и растерянности она молча выслушивала обрушившийся на нее поток оскорблений, но вдруг, потеряв сознание, как подкошенная повалилась на палубу, где происходил весь разговор, так что в каюту ее пришлось отнести на руках. Судовой врач, которому из записки коллеги было известно состояние больной, счел тщательный осмотр излишним и применил уже однажды испытанное средство, чтобы хоть ненадолго смягчить нестерпимые боли в сердце. Однако приступы повторились и на следующий, и на третий день без всякого видимого повода, и хотя морфий по-прежнему оказывал свое действие, доктор не счел возможным долее скрывать опасение, что болезнь угрожает привести к печальному исходу. Он вежливо, но в высшей степени категорически рекомендовал Альфреду

воздерживаться от близости с его красавицей супругой и вообще ограждать ее от волнений и беспокойств.

Альфред, едва сдерживавший глухое раздражение, с удовольствием последовал бы предписанию доктора хотя бы в одном пункте, равнозначном прямому за-прещению. Но изнемогавшей от любви к нему Элизе однажды ночью удалось все же склонить Альфреда к близости, как будто ласками можно было заслужить его прощение. И пока она, томно полузакрыв глаза, блаженно покоилась на его груди, он следил за тем, как по ее покрытому испариной лбу мягко скользили отсветы голубоватого фосфорического свечения волн, проникавшего в каюту сквозь иллюминатор. В эти минуты откуда-то из самых сокровенных глубин его существа вдруг поднялась неожиданная для него самого волна злорадного торжества, искривившая его губы в насмешливой, издевательской улыбке. И, содрогаясь в душе от сознания порочности своих помыслов и надежд, он уже убеждал себя, что их осуществление будет благом и избавлением от сумятицы чувств не только для него одного. Ведь и сама Элиза, если бы ей было дано осознать близость и неотвратимость конца, предпочла бы умереть в его объятьях. И если она, зная о грозящей ей опасности, все же отдавалась ему с такой пылкостью, словно была готова ради любви к нему умереть любя, то он полагал себя вправе принять от нее эту жертву, потому что при всей своей чудовищности она в конце концов лишь благотворно скажется на судьбах трех влюбленных, жизненные пути которых слишком тесно переплелись.

По ночам он, замирая от ужаса и надежды, замечал, что ее дыхание вдруг слабело, а глаза тускнели; но уже через минуту их сияющий бесконечной признательностью взгляд устремлялся к нему, а теплые губы с новой жадью искали поцелуя; он чувствовал себя обманутым, ибо все его уловки приводили лишь к тому, что Элиза с новой силой ощущала радость жизни. И хотя он подолгу оставлял ее одну или в обществе других, а сам поднимался на верхнюю палубу, чтобы свежий морской ветер охладил его горящий лоб, она была настолько уверена в нем, что отпускала его без тени недовольства. А когда он возвращался, она принимала его растерянную улыбку за проявле-

ние нежности и всегда встречала его взглядом, полным любви и преданности.

В Неаполе, где их корабль должен был простоять целые сутки, чтобы потом, не заходя больше в порты, взять курс на Гамбург, Альфред надеялся заставить весточку от Адели — ведь он так пылко умолял ее об этом в своем последнем письме с Цейлона. Вместе с группой пассажиров он отправился на берег в шлюпке, специально предназначенной для этой цели. Довольно сильное волнение в бухте избавило его от необходимости придумывать удобный предлог для того, чтобы оставить Элизу на борту. Первым делом он поспешил на почту, но, подойдя к окошечку и назвав свое имя, узнал, что торопился напрасно. Как ни пытался он убедить себя, что письмо Адели могло запоздать или потеряться, постигшее его разочарование повергло Альфреда в такое уныние, что он понял — жизнь без Адели для него теперь немислима.

Устав от беспрерывного притворства, он решил было тотчас по возвращении на судно без обиняков открыть Элизе жестокую правду. Но тут же сообразил, что это признание может оказаться чреватым серьезными последствиями, потому что такой удар не обязательно убьет Элизу на месте. Ведь она может и лишиться рассудка, и попытаться наложить на себя руки, и тогда причину несчастья вряд ли удастся сохранить в тайне, что может роковым образом сказаться на их взаимоотношениях с Аделью. Но этого же следовало опасаться и в том случае, если он отложит признание до окончания их путешествия, то есть до прибытия в Гамбург, а тем более в Вену. Раздумывая о том, как найти выход из создавшегося положения, и уже почти не сознавая постыдности своих намерений, Альфред бесцельно бродил по берегу моря под палящими лучами полуденного солнца. Вдруг он почувствовал, что теряет сознание. Не на шутку перепугавшись, он опустился на скамью и сидел до тех пор, пока обморок не прошел и туман, застилавший его глаза, не рассеялся. И тут его вдруг осенило. В то неуловимое мгновение, когда чувства чуть было не отказались служить ему, в мозгу окончательно созрело ужасное решение, давно уже гнездившееся в тайниках его души. Теперь он должен сознательно, своими руками, причем немед-

ленно, осуществить страстную, преступную мечту, исполнение которой он все эти дни робко пытался ускорить, не решаясь признаться в этом самому себе. Исподволь выношенный в душе, в голове его мгновенно сложился готовый до мельчайших подробностей план.

Он встал со скамьи и отправился для начала в отель, где отобедал с отменным аппетитом. А затем посетил поочередно трех докторов, выдавая себя за человека, истерзанного нестерпимыми болями и привыкшего прибегать к помощи морфия, запас которого у него как раз иссяк. Получив требуемые рецепты, заказал по ним лекарство в различных аптеках и возвратился вечером на корабль, обладая такой дозой морфия, которой было заведомо достаточно для осуществления его плана.

За ужином он расточал восторги красотам Помпеи, где будто бы провел весь день. Испытывая непреодолимую потребность во лжи, он долго расписывал свои впечатления от сада Аппия Клавдия, где якобы провел четверть часа перед статуей, которой он на самом деле никогда не видел и о которой лишь случайно прочитал в путеводителе. Элиза сидела рядом с ним, ее визави был барон, взгляды обоих то и дело встречались, и Альфред никак не мог отделаться от ощущения, будто два привидения взирают друг на друга пустыми глазами.

После ужина он, по обыкновению, прогуливался с Элизой по верхней палубе, залитой голубым светом луны, следя, как вдали исчезает усеянный огнями берег. Почувствовав, что душа его смягчилась и воля ослабела, он поспешил подстегнуть свою решимость. Стоило ему представить себе, что рука, лежащая на его локте, — рука Адели, и волнение мгновенно разлилось по жилам, убедив его в том, что любое преступление не будет слишком дорогой ценой за ожидающее его счастье. Он ощутил даже что-то похожее на зависть к юному созданию, которому на роду было написано так скоро и беспечально избавиться от всех тревожений земной жизни.

И когда он, вернувшись в каюту, заключил Элизу в свои объятия, то отдавал себе отчет в том, что ласкает обреченную. Ощущая себя как бы слепым орудием судьбы, отрешившимся от собственной воли, он испы-

тывал даже какое-то иступленное наслаждение. Достаточно было одного движения его руки, чтобы стоящий на ночном столике стакан со слабо светящейся в темноте голубоватой жидкостью опрокинулся и яд пролился на пол, для которого был лишь влагой. Но Альфред лежал не двигаясь и ждал. Он ждал, пока, замерев от волнения, не увидел, как Элиза, не размыкая слипающихся век, привычным движением протянула руку за стаканом, чтобы перед сном в последний раз утолить жажду. Боясь пошевелиться, он расширенными от ужаса глазами следил за тем, как она немного приподнялась на постели, поднесла стакан к губам и одним духом опорожнила его. Потом с легким вздохом опять улеглась, по привычке положив голову к нему на грудь. Альфред слышал, как кровь медленно, глухо стучала в висках, слышал размеренное дыхание спящей и тоскливый плеск волн, разбивающихся о нос корабля, который, словно призрак, мчался сквозь остановившееся время.

Вдруг он почувствовал, как тело Элизы содрогнулось во сне. Ее руки так судорожно стиснули его шею, что казалось, будто пальцы вот-вот прорвут кожу. Вот она протяжно застонала и открыла глаза. Альфред высвободился из ее объятий, вскочил с постели и смотрел, как она тщетно пыталась приподняться, лихорадочно хватая руками воздух. Глаза ее дико блеснули, потом погасли, и она снова рухнула всем телом на подушки. Так она и лежала — недвижно, вытянувшись во весь рост и прерывисто, часто дыша. Альфред догадался, что она потеряла сознание, и совершенно спокойно принялся соображать, сколько же времени может продлиться это состояние, прежде чем наступит конец. Но тут ему пришло в голову, что сейчас ее, вероятно, еще можно спасти; и он поспешил за доктором в смутном стремлении таким поступком в последний раз испытать судьбу: либо собственными руками уничтожить плоды всех своих усилий, либо, поставив все на карту, снять со своей души тяжкий грех. Догадайся доктор, что здесь произошло, и игра окончательно проиграна; в противном же случае он избавлялся навсегда от укуров совести и раскаяния.

Когда Альфред в сопровождении судового врача вернулся в каюту, лицо Элизы уже покрылось смер-

тельной бледностью, а полуприкрытые глаза остекленели; руки судорожно вцепились в одеяло, на лбу и щеках выступили крупные капли пота. Доктор склонился над ней, приложил ухо к ее груди, долго прислушивался, потом раздвинул веки Элизы и подержал ладонь у ее полуоткрытых губ; еще раз послушал ее сердце, грустно покачал головой и, повернувшись к Альфреду, сообщил, что страдания ее окончены.

Альфред встретил это известие мрачно горящим взглядом и в порыве искреннего отчаяния заломил руки; потом опустился на колени перед кроватью и спрятал лицо на груди покойной. Так прошло несколько минут. Потом он вдруг поднял голову и посмотрел на доктора таким потерянным взглядом, что тот лишь молча протянул ему руку с выражением глубочайшего сочувствия. Но Альфред, к которому уже вернулось все его самообладание, отвернулся и, покачав головой, прошептал, как бы в порыве запоздалого раскаяния: «Ах, почему мы не послушались ваших советов!» И горестно закрыл лицо руками. «Так я и думал», — ответил доктор с мягким укором; и Альфреда захлестнуло волной такого ликования, что ему пришлось опустить глаза, чтобы доктор не заметил их радостного блеска.

Согласно существующим правилам тело Элизы уже на следующий день было предано волнам, и Альфред заметил, что его окружает атмосфера молчаливого сдержанного участия. Никто не смел нарушать его уединения в те часы, когда он в задумчивости бродил по палубе, и, конечно, никто не подозревал, что, всматриваясь в туманную даль, он мечтал лишь о быстрейшем свершении своих самых заветных надежд. Только барон изредка ненадолго присоединялся к нему, причем старался ни единым словом не коснуться печального события. Альфред прекрасно понимал, что барон сопровождал его лишь из тоски по умершей, лишь из желания хоть ненадолго приобщиться к его печали. Для Альфреда эти минуты были единственным напоминанием о прошлом; если бы не эти прогулки, он бы просто-напросто перестал думать о содеянном и о людском суде. Далекая и желанная возлюбленная, добытая ценой преступления, казалась ему в мечтах совсем близкой, и когда, перегнувшись через борт корабля, он смот-

рел в воду, ему чудилось, будто любимая проносится вместе с судном над затонувшими, спящими вечным сном неведомыми мирами, равнодушными к бегу времени.

Лишь когда на горизонте показался берег Германии, он забеспокоился. Альфред предполагал пробыть в Гамбурге ровно столько времени, сколько потребуется, чтобы заехать за письмом, наверняка давно уже ожидающим его на почте, и первым же поездом отправиться на родину. Медлительность, с которой производили высадку на берег, совершенно вывела его из терпения, и он еле дождался, пока его вещи наконец погрузили в экипаж, помчавший его к зданию почтамта по улицам города, залитого мягким золотисто-розовым светом весеннего заката.

Он подал чиновнику свою визитную карточку и, сгорая от нетерпения, стал следить, как тот перебирал корреспонденцию. Он уже протянул было руку за письмом, как вдруг услышал, что для него ничего нет — ни письма, ни открытки, ни телеграммы! Изобразив на лице недоверчивую улыбку, он так униженно попросил чиновника еще раз просмотреть всю корреспонденцию, что самому стало стыдно. Теперь уже Альфред пытался сбоку рассмотреть адреса на перебираемых чиновником конвертах, и ему то и дело мерещился почерк Адели. Он уже несколько раз нетерпеливо протягивал руку в окошечко, но снова и снова убеждался в постигшем его разочаровании. Наконец чиновник положил пачку писем обратно, отрицательно покачал головой и отвернулся. Альфред попрощался с преувеличенной вежливостью и опомнился лишь через минуту, очутившись на улице.

Ему было ясно одно: он не должен пока трогаться с места и уж никоим образом не может появиться в Вене, не получив от Адели хоть каких-нибудь вестей. Поэтому он отправился в отель, снял номер и первым делом набросал на телеграфном бланке следующие слова: «Ни слова от тебя. Недоумеваю. Теряюсь догадках. Послезавтра буду Вене. Когда увидимся. Отвечай немедленно». Приписав внизу свой адрес, он отправил телеграмму с оплаченным ответом. Выйдя в освещенный по-вечернему холл, он почувствовал на себе чей-то взгляд: держа в руках газету, в одном из кресел сидел

тот самый барон, с которым он лишь мимоходом попрощался на корабле. Не вставая с кресла, барон без улыбки поклонился ему. Альфред сделал вид, что чрезвычайно обрадован неожиданной встречей, и, сам поверив в это, тут же сообщил барону о своем намерении остаться в Гамбурге до следующего дня.

За ужином барон, который был бледен и непрерывно кашлял, заявил, что чувствует себя превосходно, и предложил вместе пойти в кабаре. Заметив, что Альфред колеблется, он опустил глаза и еле слышно сказал, что тоска по умершим еще никого из них не воскресила. Альфред рассмеялся, но тут же спохватился; догадавшись, что барон наверняка заметил его смущение, он тотчас решил, что разумнее всего будет принять приглашение. Вскоре он уже сидел с бароном в ложе, пил шампанское и сквозь дым и чад переполненного зала смотрел, как под пронзительные звуки убогого оркестра на сцене крутились гимнасты и кривлялись клоуны. Потом слушал вульгарные песенки в исполнении полуголых девиц и в каком-то исступлении то и дело обращал внимание своего молчаливого спутника на стройные ножки и пышные бюсты, выставленные на всеобщее обозрение. Потом принялся заигрывать с цветочницей и бросил желтую розу под ноги одной из танцовщиц, кокетливо встряхивавшей своими черными локонами, а заметив, что тонкие губы барона тронула гримаса горечи и гадливости, громко расхохотался тому в лицо. Но потом ему начало казаться, будто сотни пар глаз следят за ним со злобным любопытством и что общий гул и шум голосов в зале вызваны только его особой. От страха у него мороз пробежал по коже, но потом он сообразил, что, очевидно, слишком быстро опорожнил несколько бокалов шампанского, и успокоился.

Пока он, перегнувшись через перила ложи, рассматривал сидящих в зале, две размалеванные девицы завязали оживленную беседу с бароном. У Альфреда как камень с души свалился. Удовлетворенно отметив это про себя, он вздохнул с таким облегчением, словно только что избежал какой-то опасности, поднялся, поощрительно кивнул своему спутнику, как бы желая тому успеха в любовной интрижке, и через минуту оказался уже на улице в полном одиночестве. Насви-

стывая что-то себе под нос, он побрел в отель по овеянным ночной прохладой улицам, которых никогда прежде не видел и вряд ли увидит снова. Ему казалось, что он блуждает по какому-то сказочному городу.

На следующее утро, пробудившись от тяжелого, мучительного сна, он не сразу сообразил, что находится уже не в какой-то пароход и что белое пятно в углу не пенюар Элизы, а оконная занавеска. Сделав над собой усилие, он отогнал набежавшие было жуткие воспоминания и позвонил. Вместе с завтраком ему подали телеграмму. Пока лакей находился в комнате, Альфред не дотрагивался до нее и был уверен, что такое самообладание непременно будет вознаграждено. Но едва дверь затворилась, как он дрожащими от нетерпения пальцами вскрыл телеграмму, и буквы сначала поплыли у него перед глазами, а потом, огромные и отчетливые, вдруг встали на свои места: «Завтра утром одиннадцать часов. Адель». Он принялся мерить шагами комнату, время от времени беззвучно смеясь; лаконичный и более чем сдержанный тон приглашения ничуть не охладил его. Такая уж у нее манера! Пусть его и не ждут в Вене с таким нетерпением, на какое он еще недавно рассчитывал, пусть ему предстоит сделать какие-то неприятные открытия, что из того? Ведь он опять встретится с ней, увидит сияние ее глаз, опять будет дышать одним с ней воздухом — и значит, чудовищное преступление совершено им не зря.

Стены отеля давили его, и все оставшееся до отхода поезда время он проблуждал по городу, словно лунатик, не видя ничего вокруг. В полдень он выехал из Гамбурга и почти всю дорогу простоял у окна вагона, часами глядя на убегающий ландшафт. Напряжением хорошо натренированной воли он гнал от себя рой мыслей, надежд и опасений, пытавшихся завладеть им. Но если он и брал в руки книгу или газету, чтобы не привлекать излишнего внимания своих спутников, то читать все же не мог, а принимался считать до ста, потом до пятисот, до тысячи и так без конца. А когда наступила ночь, острая тоска смела все его старания держать себя в руках. Он называл себя глупцом за то, что не так понял и смысл длительного молчания, и тон последней телеграммы невесты, которую на самом деле не в чем было упрекнуть — за исключением того, что

она более строго, чем он сам, придерживалась заключенного между ними соглашения. Может быть, она каким-либо образом все же прослышала о том, что он путешествовал с любовницей. Но сила его чувства непременно преодолет и ревность, и оскорбленное самолюбие и вернет ему сердце нареченной. И он настолько ощутил себя повелителем своих ночных видений, что услышал наяву звук ее голоса, увидел ее лицо, весь ее силуэт, даже почувствовал вкус ее поцелуя, наполнивший его таким блаженством, какого он раньше никогда не испытывал.

И вот он дома. В его квартире все дышало уютом и покоем. Он с аппетитом проглотил заботливо приготовленный завтрак, и ему — впервые за много дней и ночей — показалось, что он может совершенно спокойно думать о той, другой, навеки избавленной от земных горестей и покоящейся в царстве безмолвия. На какой-то миг ему даже почудилось, что вся вереница дней и ночей, начиная от прибытия в Неаполь и кончая смертью Элизы, была лишь игрой его расстроенного воображения, а ее кончина, приближение которой доктора предполагали и даже предсказывали, явилась лишь естественным завершением тяжкого недуга.

Да, человек, бегавший по врачам и аптекам в чужом, залитом южным солнцем городе и с жуткой обдуманностью приготовивший смертельное зелье, человек, замысливший отправить свою любовницу к праотцам и за час до убийства подло наслаждавшийся ее ласками, никак не отождествлялся в его сознании с тем, который теперь спокойно попивал чай в привычно уютной обстановке; тот, другой, казался ему сильнее и значительнее, чем он сам, и он взирал на него с каким-то трепетным восторгом. Однако потом, выйдя из ванной и взглянув в зеркало, в котором отразилось его стройное и мускулистое тело, он понял, что этим сверхчеловеком был именно он, он сам, и глаза его засверкали холодной решимостью, на губах появилась улыбка снисходительного превосходства. Он счел себя более чем когда-либо достойным чести прижать к груди невесту, истосковавшуюся в разлуке с ним, и куда тверже, чем прежде, уверовал в ее любовь.

В условленный час он вошел в желтую гостиную, где его принимали в последний раз почти год тому

назад, и уже через минуту увидел Адель; непринужденно, словно они расстались накануне, протянула она руку, над которой он застыл в долгом поцелуе. «Что мне мешает обнять ее?» — пронеслось у него в голове. Но она уже заговорила своим звучным грудным голосом, который лишь нынче ночью слышался ему в мечтах, и он спохватился, что сам еще не произнес ни слова, лишь прошептал при виде Адели ее имя.

Пусть он не держит на нее обиды за то, что она не отвечала на его трогательные послания, начала она, но ведь известно, что некоторые дела лучше и проще улаживаются при личной встрече. Во всяком случае, ее молчание должно было подготовить его к тому, что произошли какие-то перемены, и тон ее телеграммы — она спешит в этом признаться — был намеренно столь холоден. Дело в том, что она вот уже около полугода обручена с другим. И она назвала знакомое Альфреду имя. Оно принадлежало одному из многочисленных приятелей его юности, о котором он в течение минувшего года вспоминал так же редко, как и о всех остальных людях, с которыми прежде встречался. Он спокойно слушал Адель и словно зачарованный невидящими глазами смотрел на ее гладкий лоб, потом как бы сквозь нее в пустоту. А в ушах шумело, словно в них отдавался рокот далекого моря, катящего свои волны над затонувшими мирами. Вдруг он заметил, что в глазах Адели мелькнул испуг, и Альфред понял почему: ведь он все еще молча стоял перед ней — смертельно бледный, с горящими мрачным огнем глазами. Неожиданно для самого себя он вдруг жестко и сухо произнес:

— Ошибаешься, Адель, так нельзя, ты не имеешь права.

Он наконец заговорил, и это явно успокоило ее. Мило улыбнувшись, она заявила, что если кто и ошибается, то скорее всего он сам. Потому что она, конечно же, имеет право поступать так, как ей заблагорассудится. Ведь они даже не были обручены и расстались свободными людьми, без всяких взаимных обязательств. А поскольку она его больше не любит и отдала свое сердце другому, то этим вопрос и исчерпывается. Он должен понять это и покориться судьбе; в противном случае ей придется пожалеть, что она не послушалась

отца, который ей нынче утром советовал попросту не принимать Альфреда. Покойно откинувшись в кресле и небрежно охватив узкими кистями рук колена, она равнодушно смотрела на него своими ясными глазами.

Альфред чувствовал, что ему потребуется все его самообладание, чтобы удержаться от какой-нибудь нелепой или безумной выходки. Он и сам не знал, что ему теперь делать: броситься на нее и задушить или, рыдая, пасть к ее ногам? Да что толку! Ведь у него, собственно, и не было выбора, он уже был повержен в прах.

Присутствия духа у него хватило лишь на то, чтобы, схватив за руки Адель, поднявшуюся было с кресла, срывающимся голосом умолять ее остаться. Только на четверть часа! Выслушать его! Ведь на это-то он мог рассчитывать после всего, что было между ними прежде. Ему необходимо так много рассказать ей, гораздо больше, чем она, может быть, думает, и она обязана выслушать его. Ибо когда она все узнает, то поймет, что он навеки принадлежит ей, как и она ему, только ему! Поймет, что просто не может избрать другого, что он в муках завоевал право на ее любовь, взяв на душу страшный грех, и что поэтому права других людей ничто, просто ничто по сравнению с его правом, что они скованы одной цепью, неразрывно и навеки. Упав перед ней на колени, он судорожно сжал ее руки и, неотрывно впившись в нее глазами, в каком-то исступлении изверг на нее целый поток слов. Рассказал, как провел минувший год, открыл, что до нее любил другую женщину, что та была тяжело больна и совершенно одинока и что он путешествовал в ее обществе. Поведал, как страдал от тоски по ней, Адели, и как другая беспомощно и жалко цеплялась за него; как он, не выдержав мучений, из любви к ней, чьи руки он держит теперь в своих, из любви, равной которой еще не знали люди, — поднял руку на ту, другую, и подло отравил ее. Бедное создание не могло и не хотело бы жить без него. Она покоится теперь на дне далекого моря — жертва на алтарь блаженства, столь же небывалого, как и преступление, ценой которого оно было добыто.

Адель не отнимала рук, да и глаз своих не прятала. Она внимательно слушала, но он не мог понять, как она отнеслась к его исповеди: как к сказке о чуждеаль-

них диковинных существах или как к газетному сообщению о чужих и безразличных ей людях; может быть, она даже не поверила тому, что он ей рассказал. Во всяком случае, ей было все равно, ложь это или чистая правда. И он все яснее и яснее сознавал свое бессилие. Он видел, что все его слова пролетали мимо нее, ничуть не задевая. В конце концов он замолчал, так как хотел услышать из ее уст свой приговор, и без того известный ему, но она лишь покачала головой. Онемев от ужаса, он вопрошающе глядел на нее, уже зная и все еще не веря.

— Нет,— сказала она твердо,— с этим покончено.

И он понял, что это «нет» означает конец всему. Лицо Адели было бесстрастно. На нем не отражалось ни малейшей тени былой нежности, даже отвращения на нем не было; одно лишь убивающее всякую надежду безразличие.

Натянуто улыбнувшись как бы в знак согласия, Альфред поклонился. Видя, что она не собирается подать ему руку, он повернулся и вышел. Дверь за ним никто не закрыл, и ему показалось, что из комнаты вслед ему повеяло ледяным холодом.

Спускаясь по лестнице, он понял, что ему остается лишь подвести черту. Это решение пришло без всяких колебаний и сомнений, с такой неотвратимостью, что прежде, чем отправиться домой, ему захотелось не спеша прогуляться по улицам, наслаждаясь ласковым весенним днем, словно впереди его ждал желанный отдых после бурно проведенной ночи.

Однако дома его ожидал гость: в кресле сидел барон. Не приняв поданной ему руки, он заявил, что не собирается злоупотреблять вниманием хозяина дома, и когда Альфред кивком головы дал ему знак продолжать, сказал:

— Сударь, мне необходимо сообщить вам, что я считаю вас подлецом.

«Вот и отлично»,— подумал Альфред. Такой исход тоже вполне приемлем. И он спокойно ответил:

— К вашим услугам. Завтра утром, если угодно.

Но барон отрицательно покачал головой. Оказалось, что он уже все подготовил,— очевидно, еще до прибытия в Вену. Двое молодых людей из германского посольства уже ждали его дальнейших распоряжений, и

он выразил надежду, что его противнику не составит особого труда еще до наступления вечера устроить все остальное, поскольку Вена — его родной город. Альфред тоже полагал, что может справиться с этим. Ему вдруг захотелось признаться барону во всем; но холодное лицо барона дышало такой ледяной ненавистью, что он испугался, как бы его противник, вероятно, догадывавшийся об истинном положении вещей, не передал дело в суд; поэтому он предпочел промолчать.

Альфреду без труда удалось найти секундантов. Одним из них согласился быть жених Адели, другим — молодой офицер, с которым Альфред в давно прошедшие времена не раз пировал в одной компании. Перед заходом солнца он встретился с бароном на берегу Дуная, в месте, удобном для подобных встреч.

В душе Альфреда был разлит покой, который после всех тревожений последних дней он счел за истинное счастье. Все три отсчитанные каким-то далеким голосом секунды, что, словно холодные капли, упали с вечернего неба на звенящую землю, он простоял под наведенным на него дулом пистолета, думая о незабвенной возлюбленной, спящей на дне морском.

А когда он уже лежал на земле и что-то темное, нагнувшись, завладело им и держало цепко, не давая шелохнуться, он испытал несказанное блаженство от того, что, очистившись смертью, уходит ради нее, к ней, в то Великое Ничто, куда душой уже давно стремился.



ПАСТУШЬЯ СВИРЕЛЬ

I

Некто — сын состоятельных родителей, в юности блиставший в кругу столичной и провинциальной знати и от скуки занимавшийся различными науками и искусствами, в более зрелом возрасте предпочел отправиться в дальние страны и вернулся на родину уже посеребрённым сединой. В уединенной местности на опушке леса он построил себе дом с видом на бескрайние

просторы равнины и взял в жены миловидную дочь одного крестьянина, незадолго до того осиротевшую. Родные и близкие его давно умерли, к прежним друзьям не тянуло, мысль приобрести новых тоже не прельщала; вот он и отдался целиком своему излюбленному занятию — наблюдал за движением небесных светил, тем более что в тех краях ночи почти всегда были удивительно ясными.

Однажды душной летней ночью, когда Эразмус, по своему обыкновению, занимался в башне любимым делом, с влажных лугов поднялся туман, постепенно затянувший серой пеленой вид на небесные выси. Эразмус спустился вниз; раньше, чем обычно, вошел он в супружескую спальню, но застал жену уже спящей. Не желая будить ее, он остановился рядом и долго не сводил глаз с ее лица. Хотя веки ее были сомкнуты, а черты неподвижны, он вглядывался в нее с напряженным, все возрастающим вниманием, словно в этот ночной час ему дано было уловить бег мыслей, доселе скрытый от его взора; потом задул свечу, опустился в кресло, стоявшее в ногах ее кровати, и неожиданно для самого себя погрузился в размышления об этом существе, с которым вот уже три года был связан узами ничем не омраченного брака. Почему-то в этот миг жена показалась ему такой чужой, будто он впервые ее увидел. Лишь когда в окне спальни забрезжил рассвет, он встал и принялся терпеливо ждать ее пробуждения. Под его упорным взглядом она наконец вздохнула, потянулась, открыла глаза и подарила его радостной улыбкой. Но, увидев, что супруг упорно молчит, а лицо его все так же непроницаемо и мрачно, она удивленно и — поначалу — шутливо спросила:

— Что с тобой, мой милый Эразмус? Уж не заблудился ли ты нынче ночью среди звезд? Или было слишком облачно? А может быть, какая-нибудь звезда ускользнула от тебя в бесконечность и теперь ее не вернуть даже с помощью твоей новой превосходной трубы?

Эразмус молчал.

Тогда Дионисия, приподнявшись в постели, испытующе вгляделась в лицо супруга, и на него посыпался град вопросов:

— Почему ты не отвечаешь? Что-то неладно? Ты нездоров? Быть может, я чем-нибудь обидела тебя, а сама и не заметила? Скорее всего, так. Иначе ты искал бы утешения у меня, и мне не пришлось бы так долго ждать ответа.

Эразмус наконец решился и заговорил.

— На этот раз,— начал он,— ты не в силах ни успокоить меня, ни утешить, ибо тягостное мое раздумье тем-то и вызвано, что этой ночью я много часов подряд размышлял о тебе, сознавая, что делаю это впервые.

Дионисия с улыбкой откинулась на подушки:

— Надеюсь, теперь тебе окончательно открылась истина, о которой ты мог бы догадаться и раньше: супруга твоя — женщина любящая, преданная и бесконечно счастливая.

— Весьма возможно,— мрачно отвечал Эразмус,— что так оно и есть на самом деле. Обидно лишь, что ни мне, ни тебе не дано доподлинно знать этого.

— Что ты такое говоришь? Откуда у тебя такие мысли?

— Вот об этом я и хочу поговорить с тобой, Дионисия. Еще ни разу ни мне, ни тебе самой, прежде бездумно жившей под мирным кровом отчего дома, а ныне под моей защитой, не представилось случая заглянуть в глубины твоей души. Откуда же черпаем мы уверенность в том, что твоя нежность означает любовь, постоянство — верность, а уравновешенность — счастье? Кто дал нам право полагать, что все эти добродетели выстоят в бурях и треволнениях более суетной жизни?

Тут Дионисии показалось, что она поняла.

— Ты и впрямь полагаешь,— спросила она,— что меня доселе ни разу не подстерегали соблазны? Разве я утаила от тебя, что еще до того, как ты посватался ко мне, моей руки добивались другие мужчины, моложе, богаче, даже мудрее тебя? И, еще не зная, существуешь ли ты где-нибудь на белом свете, дорогой мой Эразмус, я без малейшего колебания отказала им всем. Да и ныне мне нередко доводится замечать, как при моем появлении глаза юнцов, которые проходят по дороге мимо нашей усадьбы, загораются огнем желания и восторга. Но никому из них не удалось добиться у меня ответного взгляда. И даже ученые мужи,

приезжающие к тебе из чужедальних стран, чтобы побеседовать о кометах грядущего, редко упускают случай взглядом или улыбкой показать, что моя благосклонность была бы им дороже всей их ученой премудрости. Разве хоть одному из них я выказала больше внимания, чем того требуют законы гостеприимства?

На это Эразмус насмешливо возразил:

— Надеюсь, ты не воображаешь, будто тебе удалось сообщить нечто новое мне, знатоку человеческого сердца? Пусть твое поведение доселе было безупречным, почему я знаю, да и ты, Дионисия, сама того не знаешь, истинна ли эта недоступность, в ней ли твоя сущность. Быть может, ты смогла противостоять всем домогательствам и полагаешь в себе достаточно решимости на будущее лишь потому, что до сих пор тебе еще ни разу не приходила в голову мысль о возможности иной жизни? Или потому, что в глубине души ты боишься навсегда лишиться привычного благополучия, если попытаешься хоть раз нарушить супружескую верность?

— Не понимаю, — воскликнула Дионисия, вне себя от удивления, — что ты хочешь этим сказать?! Меня все это ничуть не привлекает, и клянусь тебе, что чувствую себя совершенно довольной и счастливой!

— Нисколько в этом не сомневаюсь. Но пойми же наконец, что для меня это уже ровно ничего не значит, да и не может значить — теперь, когда в тихий полночный час на меня снизошло откровение и я понял, что на самом дне твоей души таятся дремлющие, еще никем не разбуженные силы. И дабы вновь обрести утраченный покой, я должен дать выход этим силам; вот почему я решил, Дионисия, отпустить тебя на все четыре стороны.

— Отпустить? — в полной растерянности повторила Дионисия, широко открыв глаза от изумления.

Но Эразмус твердо продолжал:

— Выслушай меня и попытайся понять. С этой минуты я отказываюсь от всех моих прежних прав на тебя — от права предостерегать, удерживать, наказывать. Более того, я даже требую, чтобы ты без оглядки отдавалась любому мимолетно вспыхнувшему желанию, любому поманившему тебя соблазну, как бы далеко это тебя ни завело. И клянусь, Дионисия: ты можешь уйти из этого дома, куда захочешь, когда захочешь, с кем

захочешь, можешь вернуться завтра либо через десять лет, королевой или нищенкой, сохранив свою женскую честь или утратив ее, — твоя комната, постель, одежда будут всегда к твоим услугам и ты найдешь все таким, каким оставила; я же остаюсь здесь, но ждать тебя не обещаю. Клянусь, что, вернувшись, ты не услышишь от меня ни упреков, ни вопросов.

Дионисия спокойно потянулась всем телом и, сцепив над головой руки, спросила:

— Ты говоришь это в шутку или всерьез?

— Настолько всерьез, Дионисия, что ни просьбы, ни мольбы — ничто в этом мире не могло бы заставить меня взять обратно только что сказанные слова. А потому постарайся правильно понять меня и до конца осознать, что отныне ты совершенно свободна. — И он повернулся к двери, собираясь выйти из комнаты.

В тот же миг Дионисия, откинув одеяло, подбежала к окну, быстро распахнула его и — не удержи ее Эразмус вовремя — через секунду размозжила бы себе голову, бросившись вниз.

— Несчастливая! — воскликнул он и схватил ее за плечи, содрогавшиеся от беззвучных рыданий. — Что ты задумала?

— Покончить с жизнью, потерявшей для меня всякий смысл с той минуты, как я утратила твое доверие.

Эразмус коснулся губами лба жены, которая вяло повисла на его руках, и сердце его забилося учащенно.

Внезапно безмолвие окутанной предрассветным туманом долины нарушили мелодичные звуки. Дионисия открыла глаза, прислушиваясь, и лицо ее, только что казавшееся совершенно застывшим, вновь обрело прежнюю живость. Эразмус заметил это и тотчас разжал руки.

— Знаешь ли ты, что за звуки только что донеслись сюда из долины? — спросил он. — Это пастушья свирель. И в тебе, хотя лишь за минуту до этого ты была готова наложить на себя руки, неожиданно, более того, как бы помимо твоей воли и сознания, пробудилось желание узнать, чьи уста извлекают из свирели столь волшебные звуки. Вот и пришло для тебя, Дионисия, время постигнуть то, чего раньше ты бы не могла постичь! Ты свободна. Уступи же этому первому послан-

ному тебе искушению — равно как и любому, которое грядет. Ступай, Дионисия, твоя судьба в твоих руках, познай себя до конца.

Дионисия изумленно и скорбно глядела на супруга. — Ступай же! — еще настойчивее повторил Эразмус. — Это мое последнее слово. Возможно, что звуки этой свирели — единственное искушение, которому тебе суждено поддаться, а может быть, твой жизненный путь будет обильно усеян ими. Может быть, уже час спустя иное желание неудержимо повлечет тебя назад, к родным пенатам, а может статься, ты вернешься сюда лишь спустя много лет или уйдешь навсегда. Не забывай об одном: когда бы ты ни вернулась и какие бы воспоминания ни отягощали твою душу — постель, одежда и кров ждут тебя; не опасайся ни упреков, ни расспросов, я встречу тебя так, как встретил в тот вечер, когда новобрачной ты впервые переступила этот порог. А теперь — прощай, Дионисия!

Сказав это, он в последний раз взглянул на нее, повернулся, вышел, закрыв за собой дверь, и стал медленно подниматься по лестнице, ведущей в башню. И уже через несколько минут он увидел свою супругу в окошко, выходящее на расстилающуюся у подножия башни долину. Легкой, словно порхающей походкой, какой он никогда прежде у нее не замечал, она поспешно пересекла луг и вскоре достигла опушки леса, откуда неслись чарующие звуки пастушьей свирели. Вот Дионисия уже исчезла под сенью деревьев, и спустя мгновение мелодия оборвалась.

II

Юный пастух лежал под деревом, любуясь сквозь густую листву ослепительной синевой неба. Заслышав подле себя какой-то шум, он перестал наигрывать на свирели. Велико было его удивление, когда он увидел прекрасную молодую женщину в длинной белой сорочке, ступавшую босыми ногами по мшистой земле.

— Зачем ты здесь, — спросил он, — и почему ты так гневно смотришь на меня? Разве моя свирель не вправе приветствовать песней рассвет? Я нарушил твой предутренний сон? Пусть так, я привык вставать вместе

с солнцем и играть, когда мне вздумается. И от этого не отступлюсь, так и знай.

Пастух упрямо тряхнул головой, так что золотые кудри его разлетелись во все стороны, и, жмурясь на солнце, опять растянулся под деревом, а свирель поднес к губам.

— Кто ты? — взволнованно спросила Дионисия.

Юноша с досадой оторвался от свирели и буркнул:

— Нетрудно догадаться, что я пастух. — И заиграл снова.

— Где же твое стадо?

— Разве не видишь — там, за деревьями, мелькают светлые пятна? На той лужайке пасутся мои овцы. Но прошу тебя — не подходи к ним близко, они боязливы и, едва почуют чужого, сразу разбегаются во все стороны. — Он опять взялся за свирель.

— Как ты попал в эти края? — спросила Дионисия. — Я тебя раньше никогда здесь не видела.

Тут юноша вскочил и раздраженно бросил ей в лицо:

— Я брожу со своим стадом по всей стране. День — здесь, другой — там, третий еще где-нибудь, а потому я многое повидал на своем веку. Но клянусь, еще ни разу не случалось, чтобы дама являлась ко мне на рассвете в ночной сорочке, босиком и расспрашивала меня о вещах, до которых ей нет ровно никакого дела. Да еще тогда, когда мне пришла охота поиграть на свирели и полюбоваться солнышком.

Он смерил Дионисию презрительным взглядом, заиграл на свирели и двинулся прочь к залитой солнцем прогалине. А Дионисия, устыдившись своих босых ног и ночной сорочки, хотела уже было вернуться домой, но звуки свирели все удалялись, и в ней вдруг вспыхнул гнев:

— Наглый мальчишка! С каким наслаждением я бы разбила в щепы его несносную свирель. — Но тут она вспомнила, что не имеет права вернуться домой, не поддавшись своему желанию, и поспешила вслед за стадом. Ветки деревьев хлестали ее по лицу, листья застревали в распущенных волосах, а мощные корни, точно змеи, обвивались вокруг ее босых ног. Но она неустрашимо продиралась сквозь заросли, ломая ветви своими изнеженными пальцами и отчаянно вырываясь из цепких объятий густой листвы. Когда она наконец вышла из

леса, у ног ее расстился зеленый ковер, затканый пестрым узором полевых цветов, а по ту сторону поляны стоял пастух со своим стадом, белевшим на фоне могучих деревьев. Чистым золотом горели его кудри в лучах утреннего солнца. Завидев Дионисию, он нахмурил брови и жестом приказал ей удалиться. Но она не послушалась, а подошла к нему вплотную, выхватила у ошеломленного юноши свирель, переломила ее пополам, а обломки швырнула ему под ноги. Лишь теперь, придя в себя от изумления, он схватил Дионисию за руки и хотел было повалить ее на землю. Защищаясь, она обеими руками уперлась ему в грудь; его горящие гневным возбуждением глаза оказались прямо перед ее глазами, а прерывистое дыхание, вырываясь из его отверстых уст, обдало ее лицо жаром. Опомнившись, он зло стиснул зубы, но она лишь рассмеялась; внезапно он отпустил руки Дионисии и крепко обнял ее стан. Она вспыхнула и рванулась из его объятий. Но он так пылко прижал ее к себе, что она, сразу обессилев, сама припала к нему всем телом, а потом дала увлечь себя на траву и с неведомым доселе наслаждением отдалась его неистовым поцелуям.

Много дней странствовала она с пастухом и его стадом по вольным просторам. В жаркие полуденные часы они отдыхали под сенью густой листвы, ночью спали на мягком ковре тихих лесных полян. Стадо, привыкшее следовать за звуками свирели, теперь замолкнувшей навсегда, постепенно разбрелось, так что под конец за влюбленными печально плелась лишь одна овечка.

После ста ясных солнечных дней и ста звездных ночей наступило наконец мрачное, пасмурное утро, и резкий, пронизывающий до костей ветер пронесся, завывая, над лугом, приютившим на ночь любовников; Дионисия проснулась на рассвете, дрожа от холода.

— Вставай же, — заторопила она пастуха. — Вставай, я озябла. Там вдали, за туманом, я вижу какие-то строения; а вот и дорога, что ведет вниз, к людям; ступай же скорее, купи мне башмаки, платье и плащ.

Пастух поднялся, погнав последнюю овечку в город, продал ее там и на вырученные деньги купил Дионисии все, что она просила. Облачившись во все новое, та опять улеглась на землю, потянулась, скрестив руки над головой, и сказала:

— Я бы не прочь еще раз послушать твою свирель.

— Но у меня ее больше нет,— возразил пастух.—
Ведь ты ее сломала.

— Тебе следовало бы крепче держать ее,— услышалось в ответ. Потом Дионисия огляделась и спросила: — Где же наша среброшерстая свита?

— Она разбежалась, потому что не слышала больше моей свирели,— ответил юноша.

— Отчего же ты не следил за ней? — снова спросила Дионисия.

— Я мог думать только о тебе одной,— ответил юноша.

— Но еще нынче утром я видела подле нас овечку.

— Я продал ее, чтобы купить тебе башмаки, платье и плащ.

— Лучше бы ты не был столь послушным,— раздраженно бросила Дионисия, поднялась с земли и двинулась прочь.

— Куда же ты? — горестно воскликнул пастух.

— Домой,— ответила Дионисия, и в груди ее шевельнулась тоска по Эразмусу.

— Но ведь путь туда очень далек,— возразил пастух.— Тебе одной не дойти, я провожу тебя.

— Вот еще чего не хватало — идти в такую даль пешком!

В этот миг на дороге, спускавшейся в долину, показалась карета. Дионисия громко крикнула и помахала рукой. Но кучер и бровью не повел; он вытянул кнутом лошадей и пустил их вскачь. Дионисия крикнула громче. Тогда из окна кареты выглянул какой-то человек и посмотрел в ту сторону, откуда послышался зов. Завидев прекрасную молодую женщину, незнакомец приказал кучеру осадить лошадей, вышел из кареты и двинулся навстречу Дионисии, поспешно спускавшейся с горы.

— Чего тебе надобно? — спросил он.— Зачем ты звала и махала рукой?

— Умоляю тебя,— обратилась к нему Дионисия,— дай мне место в твоём экипаже и отвези меня в родные края.— Она назвала местность, где был дом ее супруга.

— Я с удовольствием выполню твою просьбу, прелестная незнакомка,— отвечивал путник,— но до

твоей родины далеко, а я возвращаюсь из дальних странствий, и мне необходимо хоть на один день заехать домой, чтобы привести в порядок дела. Тем не менее я рад буду принять тебя как гостью, а сутки отдыха перед долгой дорогой пойдут тебе только на пользу.

Дионисия приняла предложение, и путешественник любезно распахнул перед ней дверцу, пропуская молодую женщину вперед; ни разу не оглянувшись, села она в карету и откинулась на подушки в углу, а ее спутник устроился подле. Лошади тронули. Миновав зеленые просторы полей и лесов, они въехали на улицу деревни, обрамленную небольшими, но опрятными домиками.

— Где мы сейчас? — спросила Дионисия.

— Все, что ты видишь вокруг, принадлежит мне, — послышалось в ответ. — Я произвожу машины для всей страны, и в селениях, которые мы проезжаем, живут мои рабочие.

Пока он говорил, Дионисия пристально рассматривала его лицо и нашла, что тонкие губы его свидетельствуют об энергии, взгляд голубых глаз выдает гордость и непреклонную волю.

К ночи карета остановилась перед зданием, напоминающим средневековый замок. Ворота открылись. В мраморных стенах вестибюля отражалось пламя множества свечей. На зов хозяина явилась горничная, она провела Дионисию в уютно обставленную комнату, помогла ей раздеться и распахнула перед ней дверь в сверкающую белизной умывальную, где уже была приготовлена ванна. Дионисия с наслаждением погрузилась в теплую воду. Потом горничная явилась снова, чтобы осведомиться, желает Дионисия кушать отдельно или в обществе хозяина дома. Дионисия объявила, что в этот вечер хочет побыть одна, ибо в глубине души уже была уверена в том, что задержится здесь, пока не удовлетворит вдруг вспыхнувшее в ней желание и не повергнет к своим ногам гостеприимного хозяина дома.

III

Когда Дионисия приехала в замок, на дворе стояла осень; близилась весна, а она все еще жила там, правда, уже давно не как гостья, а как подруга хозяина дома

и госпожа. С ее балкона открывался вид на просторы холмистой равнины. В отдаленных лощинах высились фабричные трубы, порывы ветра доносили жужжанье колес и грохот молотов, а в зимние вечера было видно, как в черное небо взлетали и, медленно догорая, таяли ослепительные фонтаны искр. Вокруг замка плотными рядами стояли небольшие домики рабочих в скудной зелени крошечных палисадников; но из-за густого леса, со всех сторон окружавшего жилище хозяйна, даже самые ближние из них не могли подобраться к замку вплотную. За последними фабричными зданиями протянулась гряда изборожденных плугом земляпашца холмов, скрывавшая от глаз дальние равнины; но по смутно видневшимся вдали столбам дыма угадывалось, что и по ту сторону холмов простирается царство труда. Вокруг самого замка был разбит парк — такой огромный, что Дионисия, имевшая обыкновение ежедневно прогуливаться там, до самой весны все еще открывала незнакомые ей уголки. Иногда в полуденные или вечерние часы хозяин дома сопровождал ее во время этих прогулок, и однажды рассказал ей, что менее двух десятков лет тому назад на месте парка был девственный лес, на месте замка — маленький домик, а внизу, там, где ныне дымили сотни фабричных труб, среди крестьянских хижин ютилась одна-единственная жалкая кузница. Но все, что возникло вокруг с той поры, было лишь предвестником грядущих грандиозных свершений. На одетых свежей зеленью холмах уже суетились его люди, осушая болота, вырубая леса, преграждая запрудами и плотинами бег речной воды, чтобы использовать ее попусту растрчивавшуюся силу; через год будет готово огромное здание — вместилище образцов всех машин, которые когда-либо начинали или начнут здесь свой победный путь по земле.

Часто в замок наезжали гости — изобретатели, строители, приближенные владетельного князя, представители иностранных государств. Одни уезжали с довольными и просветленными лицами, другие — сумрачные и озабоченные. Но и для тех и для других мнение хозяина дома было одинаково веско и значимо, и Дионисия подметила, что никому из гостей не удавалось взять над ним верх, потому что он всегда оказывался умнее и сильнее своих собеседников.

Иногда он брал ее с собой туда, где мелькали раскаленные молоты и крутились бесчисленные колеса, шуршали, натягиваясь, толстенные канаты и шипели клокочущие паром котлы. Познакомилась она и с конторой завода, где громоздились кипы чертежей и проектов, получалась и отправлялась корреспонденция и велись бухгалтерские книги. Казалось, владелец всего этого готов советоваться с каждым писарем и с каждым рабочим, повсюду он был как бы и учителем и учеником одновременно. Но, побыв совсем немного в любом из цехов своего завода, он успевал составить себе более ясное представление обо всем, что там делалось, чем те, кто проводил в них целые дни. По вечерам замок зачастую превращался в храм искусств, и под его сводами звучали голоса певцов и раздавалась дивная музыка, а иногда даже целая труппа превосходных артистов давала здесь свои представления, на которые съезжались гости из окрестных имений, да и из дальних мест. Таким образом, весь досуг Дионисии был до отказа заполнен разнообразными занятиями, и ей просто некогда было тосковать или страдать от одиночества. В то же время она имела возможность уединяться, когда ей вздумается. Хозяин дома никогда не забывал спрашивать, угодно ли ей его общество, и если Дионисия предпочитала уединенную прогулку, достаточно было одного намека, чтобы исключить какие-либо его попытки навязаться ей в спутники.

Однажды в начале лета, когда она, прогуливаясь по окрестностям, забрела в отдаленную глухую деревеньку, входившую, однако, в состав земельных владений хозяина замка, к ней подбежала маленькая девочка и, умоляюще протянув ручонки, попросила кусочек хлеба. Несказанно удивившись, Дионисия покачала было головой, ибо приняла ребенка за развязную попрошайку, в каких, возможно, и здесь не было недостатка. Но грустно-испуганный взгляд девочки заставил ее задуматься, и она решила поближе познакомиться с семьей маленькой нищенки. В сенях ее встретила уже немолодая женщина, державшая на руках младенца; двое детей постарше играли на полу с деревянными чурками и фруктовыми косточками. На вопрос Дионисии женщина ответила, что девочка, просившая милостыню, за весь день не имела во рту ни крошки

хлеба; ей досталось лишь полчашки молока. Не дожидаясь дальнейших расспросов, она принялась жаловаться, и Дионисия узнала, что в этой деревне горькая нужда — удел всех семей, обремененных детьми. Пораженная этим открытием, Дионисия отдала женщине все оказавшиеся при ней деньги и поспешила домой, чтобы поскорее сообщить своему другу о царящей здесь нищете, в которой, по ее глубокому убеждению, были повинны лишь нерадивость и злонамеренность его подчиненных. Но тот объяснил ей, что даже при внешне совершенно одинаковых условиях жизни судьбы отдельных людей обычно складываются по-разному, в зависимости от личных особенностей каждого и под влиянием всевозможных случайностей; он посоветовал ей впредь не ломать себе голову над подобными проблемами. Но она заявила, что не в силах последовать его совету и хотела бы, напротив, испросить у него разрешение попытаться в меру своих слабых сил уничтожить или хотя бы смягчить невыносимые условия, от которых страдают ведь не только те, кто в них повинен. Владелец имения предоставил ей право расходовать по своему усмотрению довольно значительные суммы, находившиеся в ее распоряжении, и не возражал против задуманных ею обследований, к которым она приступила уже на следующий день. Вскоре выяснилось, что нуждающихся в помощи на самом деле гораздо больше, чем она могла себе раньше представить, и что даже там, где сегодня царило кажущееся благополучие, жизнь людей была омрачена неуверенностью в завтрашнем дне. А там, где они едва сводили концы с концами, над их головами нависала такая безысходная, хоть и скрытая от их глаз нищета, что Дионисия содрогнулась от изумления и горя. Наконец, дело дошло до того, что окружающая ее роскошь стала казаться ей издевательством над теми, кто весь век свой бился в тисках неизбывной нужды. И хотя ей удавалось иногда помочь отдельным людям, она вскоре постигла ту печальную истину, что для полного и постоянного благополучия людей необходимо изменить самое устройство государства, более того — по-новому перестроить весь мир. Впав в отчаяние, она прекратила свою благотворительную деятельность, и ни изыскан-

ные светские развлечения, которыми окружил ее возлюбленный, ни его ласки не могли разогнать ее тоски.

В это время поползли слухи о недовольстве, растущем среди рабочего люда, и хозяин именина, ни словом не упрекнув Дионисию, все-таки не счел возможным скрыть от нее тот факт, что она невольно способствовала вспышке волнений, доселе не слыханных в здешних местах. Он считал, что ее первоначально столь кипучая благотворительность, а также внезапное ее прекращение послужили тому причиной. В замок прибыли представители рабочих с требованием повысить заработную плату и сократить продолжительность рабочего дня; хозяин, доходы которого непрерывно росли, решил пойти им навстречу. Страсти улеглись, но ненадолго. Вскоре рабочие начали выдвигать новые, все более высокие требования, в удовлетворении которых пришлось отказать. Беспорядки усилились, рабочих охватило озлобление; в отдельных районах они побросали работу, а вскоре склонили к этому и тех своих братьев, которые все еще продолжали трудиться; дело дошло до столкновений, владелец предприятия решил обратиться за помощью к правительству; прибыли войска, атмосфера накалилась, в воздухе запахло порохом, произошли настоящие бои, стоившие жертв обеим сторонам. Но вскоре стало ясно, что победа осталась за защитниками государственной власти; некоторых мятежных главарей бросили за решетку, других уволили, со всех сторон стекались потоки новых рабочих, завод поглотил их, и вскоре по всей округе вновь вертелись колеса, дымили трубы и пыхтели, как прежде, машины.

В то неспокойное время Дионисия притихла. Сердце ее сжималось от страха за возлюбленного, постоянно подвергавшегося опасности, но в то же время ее волновала и участь несчастных, чей взрыв отчаяния был ей понятнее, чем кому-либо другому. Дионисия предчувствовала, что каков бы ни был исход завязавшейся борьбы, он не принесет умиротворения, и в тот день, когда ее возлюбленный вернулся победителем, ее уже не было в замке. Нищей и свободной, как и пришла, отправилась она в далекий путь к родным местам, твердо веря, что устоит перед любыми искушениями.

Волнения, подавленные в тех местах, которые покинула Дионисия, тем стремительнее перекинулись в другие, ближние и дальние, втягивая в свой водоворот все новые массы людей. Мощной волной они прокатились по всей стране, так что вскоре уже не только одни рабочие поднялись против своих хозяев, но и бедные против богатых, голодные против сытых, чернь против господ. Вот почему Дионисия уже на третий день своего странствия попала в какое-то подобие стана восставших, в самую гущу пестрой толпы женщин, подростков, детей и мужчин; иные из них были вооружены каким-то странным оружием. Богато одетую странницу задержали; она объяснила, что направляется в родные места, и без труда доказала, что денег у нее с собой ровно столько, сколько нужно для удовлетворения самых необходимых потребностей. Молодежь начала было глумиться над ней, но какой-то пожилой человек сразу же взял ее под свою защиту и дал ей понять, что на дорогах неспокойно и ей, можно сказать, еще повезло, что она попала именно в их лагерь. Здесь, несмотря на все перенесенные обиды, жажда мести еще не переросла во всесокрушающую и смертоносную слепую ненависть. Он пообещал и впредь оказывать Дионисии всяческую поддержку, советуя выждать время и не пускаться одной в дорогу, где молодую красивую женщину подстерегала не одна лишь угроза смерти. Дионисия последовала его совету тем охотнее, что сразу поняла, какое озлобление вызвала бы отказом. Вскоре она обнаружила, что находится среди людей хотя и решительных, но не безрассудных. Горняки, привыкшие к непроглядному мраку дышащих смертоносными испарениями рудников, лишь несколько дней назад вышли из-под земли. Словно опьянев от свободы и солнца, они преисполнились самых радужных надежд. Все они верили в победу над властью имущими, на которых донныне гнули спину, в поддержку и братскую помощь всех честных людей и в создание царства равенства и справедливости. И Дионисия, словно узрев перст божий, указующий ей занять свое место в их рядах, объявила себя их единомышленницей и завершила в своей готовности разделить со своими но-

выми друзьями все, что уготовано им судьбой, — будь то горечь поражения или радость победы.

Первую ночь она проспала спокойно в той части лагеря, которая была отведена для женщин и детей. На следующий день мужчины держали совет. Сразу все вокруг закипело и забурлило; одни считали, что разумнее всего вступить в переговоры с растерявшимися властями, другие же, более нетерпеливые, предлагали немедленно взять штурмом ближайший город. В конце концов решили разослать гонцов в соседние отряды восставших, чтобы узнать их планы и намерения. Посланцы отправились в путь, но никто из них не вернулся ни к вечеру, ни наутро. Оставшиеся почуяли недоброе. В полдень весь лагерь снялся с места. Вскоре на горизонте показались клубы дыма и отсветы багрового пламени. Люди пересекли бесконечную голую равнину, страдая от голода и жажды. Потом добрались до нищих, почти обезлюдевших деревень, ворвались во дворы и в погреба и вернулись с вином и провиантом, которых все равно не хватило на всех. Жаждающие набросились на опьяневших, голодные на насытившихся. Порядок исчез, ночью мужчины и женщины спали вперемишку, где попало. Один молодой худощавый парень, который еще во время похода старался держаться поближе к Дионисии, вдруг подошел к ней и увлек ее за собой, а потом в тени деревьев жадно и грубо овладел ею. Эту ночь она провела в его объятиях, а наутро он уже потерял к ней всякий интерес и смешался с безликой толпой; да и ей он был совершенно безразличен. Люди двинулись в путь мимо еще дымившихся крестьянских дворов и сгоревших дотла деревень, по вымершей и опустошенной земле. Наконец, пестрая толпа остановилась у неприветливых стен какого-то города, ворота которого были заперты. Никто из них не знал, что принесет им завтрашний день; все вокруг — и небо и земля — предвещало опасность; ни одного костра не решились разжечь измученные люди. Окутанный мраком лагерь погрузился в тягостное безмолвие. Вдруг раскаты дикого хохота прорезали тишину ночи, словно пытаясь развеять невыносимое зловещее напряжение, сковавшее всех. Хохот сменился гневными выкриками, потом раздались приглушенные стоны, сдержанные горестные рыдания и снова смех. Толпа

сбилась в плотный темный клубок, все перепуталось, мужчины хватали первых попавшихся женщин, те не сопротивлялись, ибо все как-то сразу осознали, что завтра всему конец. Дрожащей от ужаса Дионисии удалось выбраться из толпы, на каждом шагу увертываясь от похотливо протянутых к ней рук и шарахаясь в сторону от жаркого дыхания обезумевших людей. Всю ночь она просидела, сжавшись в комок, под выступом стены и, кутаясь в лохмотья плаща, прислушивалась к стонам, крикам и раскатам исступленного хохота, глухо доносившимся до нее. Но с первыми проблесками рассвета ворота в городской стене внезапно распахнулись, из них хлынула лавина вооруженных людей. Они набросились на истощенных, измученных, сонных повстанцев, рубя направо и налево, не разбирая, где мужчины, где женщины. Тех, кому по воле случая удалось избежать кровавой расправы, погнали в город. Дионисия оказалась в их числе и восход солнца встретила уже в одном из наглухо запертых дворов крепости среди сотен других пленниц. Ее трясла лихорадка, мучили дикие, кошмарные видения; потом она впала в забытье.

V

Очнулась она в белой просторной комнате. У ее изголовья дежурила сиделка, от которой Дионисия узнала, что ее перенесли сюда из крепости и что она много дней пролежала без сознания. Услышала она также, что мятеж подавлен, некоторые зачинщики его казнены, многие брошены в темницы. А в заключение сиделка сообщила, что за Дионисию поручился один молодой офицер, граф, который по ее облику заподозрил, что она не причастна к мятежу и попала в число пленников лишь по какому-то странному недоразумению. Многозначительно улыбаясь, сиделка добавила, что граф ежедневно является сюда, дабы осведомиться о ее здоровье, и часто подолгу засиживается у ее постели, не в силах оторвать от нее восхищенного взгляда. В комнату больной вошел старый врач, который ничуть не удивился, застав Дионисию в полном сознании, ибо предвидел, что перелом наступит именно в этот день. Он осмотрел больную, намеренно избегая вопросов о

ее прошлым, и выразил надежду на быстрое и полное выздоровление. Затем встал, откланялся с подчеркнутой любезностью и у дверей столкнулся с блестящим молодым офицером, которому вежливо, но строго запретил посещать больную; затем дверь закрылась. Однако Дионисия успела перехватить взволнованный взгляд небесно-голубых глаз офицера, и ей припомнилось, — смутно, как во сне, — что эти же глаза неотступно следили за ней, когда она в жару и беспомощности брела по оживленным улицам города в толпе пленников, огражденной двумя рядами пик.

С каждым днем силы ее возвращались; постепенно она обрела и прежнюю ясность мысли. Но к ней все еще никого не допускали, и она видела лишь сиделку да доктора, который доверительно намекнул ей о некоторых тайных друзьях, принимающих живейшее участие в судьбе его пациентки, которым, однако, именно ради ее благополучного и скорейшего исцеления пришлось строго-настрого отказать в праве посещения больной.

Дионисия выслушала все это совершенно безучастно. Она твердо решила тотчас по выздоровлении продолжить столь неудачно прерванное путешествие в родные края, чтобы, являсь пред очи супруга, поведать ему о своих злоключениях и спросить, помнит ли он о своем обещании и примет ли ее, несмотря на все, что с ней случилось. Но она чувствовала, что толкает ее к этому, скорее, любопытство, чем тоска по мужу, и что мечтает она о встрече с Эразмусом не как о завершении своего бурного странствия, а как о новом волнующем приключении в цепи других.

В то утро, когда она впервые поднялась с постели, чтобы поглядеть с балкона на прилегающий к дому сад и на виднеющиеся вдали поля, вытопанные и безжизненные, молодой граф неожиданно вошел в ее комнату. Он прежде всего попросил извинения за свое непрошеное вмешательство в ее судьбу, продиктованное, однако, наилучшими намерениями. Дионисия поблагодарила его тепло, но без тени удивления, сказав лишь, что чувствует себя обязанной ответить на столь дружеское участие откровенностью и объяснить свое пребывание в стане мятежников. Но, повинувшись внезапному побуждению, она назвала имя, которого никогда не но-

сила, городок, в котором никогда не жила, и приписала своему супругу род занятий, к которому тот не имел никакого отношения. Вдруг обнаружив, что испытывает необъяснимое и чрезвычайно острое наслаждение от лжи, она принялась расписывать имени своих вымышленных друзей, где якобы гостила, а затем и нападение толпы мятежников, будто бы остановивших на обратном пути ее карету и обобравших ее до нитки. Признавшись, что ей удалось спасти свою жизнь, лишь объявив себя тайной сторонницей восставших, она нарисовала трогательную картину своих многодневных скитаний с толпой мятежников, судьбу которых ей в конце концов безвинно пришлось разделить. Однако теперь она в состоянии вернуться под родной кров, поэтому высказанные ею слова благодарности надо понимать и как слова прощания. Юный граф помрачнел. Однако то ли по привычке к сдержанности, то ли от природной робости он не посмел возразить и лишь испросил ее позволения позаботиться о том, чтобы Дионисия проделала остаток пути в подобающем ей экипаже. Несмотря на вспыхнувшее в ней страстное желание услышать из уст графа слова куда более пылкие, она ощутила вдруг наслаждение от неожиданно открывшейся в ней способности к притворству. Как бы в порыве признательности схватив руку графа, она взглянула на него глазами, которые — она уже знала, — по ее желанию могли увлажниться слезами восторга или затянуться дымкой печали.

Едва граф удалился, она начала готовиться к отъезду. Вскоре явился врач и выразил свое крайнее неудовольствие ее намерением, ибо он не мог поручиться, что состояние здоровья не заставит ее в самом скором времени прервать путешествие и надолго застрять в какой-либо грязной захолустной гостинице. Дионисия, сразу догадавшись, что доктор действовал по наущению молодого графа, сначала сделала вид, что противится его советам, затем изобразила нерешительность и в конце концов с тяжелым вздохом обещала подчиниться распоряжениям доктора, разумность которых она не могла не признать. Вечером молодой граф явился вновь и в связи с отсрочкой отъезда предложил Дионисии пожить до полного выздоровления в его небольшом охотничьем домике, расположенном в глубине

живописного леса. Чтобы с самого начала пресечь всякие сплетни, к ней будет приставлена в качестве компаньонки дама самой безукоризненной репутации. Дионисия возразила, что в силах сама защитить свою безопасность и честь, однако сможет принять приглашение графа лишь в том случае, если он поклянется, что за время ее пребывания в охотничьем домике ни разу не переступит его порог. Граф низко склонил голову, как бы в знак полного повиновения, а она в этот миг лишь с трудом подавила в себе желание броситься к нему на грудь.

На следующее утро она переехала в скромный, но уютный охотничий домик, одиноко уютившийся под густой сенью леса в двух часах езды от города. Дионисию встретила миловидная крестьянская девушка, данная ей в услужение. Девушка оказалась тихой и старательной, кушанья — вкусными и умело приготовленными, а постель мягкой и пышной. В прохладной тени столетних великанов Дионисия беззаботно прогуливалась по лесным дорожкам, словно то были расчищенные аллеи парка. Часто она подолгу лежала на какой-нибудь живописной поляне и, заложив руки под голову, в блаженной истоме мечтательно глядела в бездонную синеву неба. Бабочки, пролетая мимо, нежно касались крыльшками ее лба, дуновения напоенного лесной свежестью ветерка ласково играли прядями ее волос, а отзвуки мирской суеты замирали где-то вдали.

Однажды утром, когда Дионисия собиралась уже было выйти из дому, небо заволокло темными тучами, в мрачном безмолвии нависшими над вершинами деревьев. Дионисия принялась бродить по комнатам нижнего этажа, потом начала прогуливаться перед дверью домика; душу ее теснила какая-то тоска. Во время обеда она не притронулась к еде, служанка застала ее сидящей за накрытым столом в слезах; на вопросы встревоженной девушки она не отвечала. Перепугавшись не на шутку, служанка послала в город за графом, поручившим красивую даму ее заботам. И поздно вечером, когда нависшая над лесом гроза наконец разразилась ливнем с градом, ослепительными вспышками молнии и оглушительными раскатами грома, в комнату неожиданно вошел, вернее, влетел молодой граф. Он был

счастлив, когда Дионисия, которую он боялся увидеть сумрачной или вновь заболевшей, бросилась к нему на шею, радостно приветствуя его появление.

Однако к исходу ночи, проведенной в его объятиях, Дионисия вдруг объявила, что эта первая ночь будет и последней; граф, в котором немедленно проснулось ревнивое любопытство собственника, настойчиво потребовал объяснений. В ответ Дионисия, поддавшись непреодолимому желанию помучить возлюбленного, притворилась, будто ей не дает покоя одно невыносимо тягостное воспоминание: ей-де вдруг смутно представилось, что в ту ужасную ночь у ворот обнесенного высокой стеной города она принадлежала не одному лишь, а многим из ее необузданных спутников; правда, поспешила она добавить, весьма возможно, что все это лишь привиделось ей в страшном сне. Юный граф впал в отчаяние, которое сменилось новым порывом страсти; потом среди пылких объятий опять впал в бешенство и поклялся тут же убить возлюбленную. Кончилось все это тем, что он на коленях умолял не покидать его, потому что без нее жизнь станет для него бессмысленной и ненужной.

Дионисия осталась. И вскоре сердце ее преисполнилось такой пылкой любовью к графу, что она устыдилась своей лжи и начала даже страдать от нее. Наконец настал день, когда со дна ее души поднялась и овладела ею настоящая потребность открыть любимому истинную историю своей жизни. Однако из боязни вновь возбудить его подозрения столь запоздалым признанием она откладывала его со дня на день.

Но однажды дождливым осенним днем явился гонец с известием, что на границе страны все явственнее вырисовывается угроза давно ожидавшегося столкновения с армией соседнего государства. Он показал приказ, предписывающий графу в течение двадцати четырех часов прибыть в расположение вверенного ему полка. Как только гонец ускакал, Дионисия заявила возлюбленному, что ни при каких обстоятельствах не покинет его, что она твердо решила пойти с ним на войну, передевшись в мужское платье. Молодой граф, растроганный и счастливый, сперва попытался убедить Дионисию в невыполнимости такого замысла. Но она поклялась, что готова в случае необходимости последо-

вать за ним в обозе его войска и разделить его судьбу даже против его воли. Тогда он вместе с ней покинул охотничий домик и отправился в столицу, где добился аудиенции у князя, издавна дружески расположенного к нему. Князь, сам женатый на молодой и благородной женщине, был натурой увлекающейся и с равной легкостью впадал в гнев и в умиление; обожая все необычное, он счел вполне дозволенным в столь беспокойное время одобрить замысел хоть и дерзкий, но возвышенный. И уже на следующее утро Дионисия, надев военные доспехи, не сумевшие, однако, изменить ее до неузнаваемости, выехала бок о бок с возлюбленным из ворот города. Ее провожали почтительные и восхищенные взгляды горожан. Проскакав по объезженной тревогой стране, она недалеко от границы неожиданно попала в самую гущу сражения, которое слилось в ее возбужденном мозгу в один стремительно несущийся вихрь.

Кровавые перипетии войны увлекли Дионисию вслед за возлюбленным в глубь вражеской страны; ей приходилось и спать на выжженной и опустошенной земле, и вскакивать в седло по сигналу боевой трубы, и видеть, как рядом падают убитые; раненная в висок, она несколько суток провалялась среди стонущих и умирающих в каком-то покосившемся сарае, не имея никаких вестей от графа. Она выздоровела, встрети-лась с любимым, подобно ей, едва оправившимся от ран. Он уже горел нетерпением вновь ринуться в бой и в канун решающей битвы возглавил свой поредевший полк. На рассвете она уже мчалась рядом с ним в гущу схватки, поровну деля и опасность, и бранную славу, а после сражения привезла в лагерь добытое вместе с ним вражеское знамя. В ночь, последовавшую за днем победы, вдвойне темную и душную под беззвездным небом и тяжелыми складками шатра, Дионисия впервые с начала войны разделила ложе молодого графа в качестве его супруги. Утром они снова вышли из шатра как товарищи по оружию; их встретили восторженными приветствиями. Спокойно сияло солнце над долиной, а вдали, в поле, посреди развевающихся плюмажей и сверкающих клинков, угадывалось присутствие владетельного князя. Вдруг вместо ожидаемого мирного посольства из-за небольшого холма, за которым

стоял противник, поднялись клубы пыли — несомненный признак близкой атаки. Пыльное облако переваляло через холм, послышались звуки боевых фанфар и труб, и в долину скатилась лавина бешеных всадников на вороных конях. Ошеломленное столь внезапным нападением войско быстро изготовилось к защите, но вскоре выяснилось, что в эту безумную атаку ринулась лишь небольшая кучка молодых смельчаков; не желая принять позорный мир, они предпочли сложить свои юные головы на поле брани. Однако остальные их не поддержали, и вскоре горстку храбрецов окружили и перебили всех до единого. Но они не даром отдали свою жизнь; среди тех, кто пал, отражая их отчаянную атаку, оказался и молодой граф. Дионисия положила его голову к себе на колени; и когда последние капли из кровоточащей раны на его челе еще сочились меж ее застывших пальцев, вокруг на холмах уже развевались белые флаги, а ликующие звуки фанфар возвещали окончание военных действий. Когда же глаза возлюбленного закрылись навеки, до ее ушей донеслись радостные клики, возвещающие мир. Но подле Дионисии даже самая бурная и безудержная радость меркла. Счастливые и опьяненные победой люди невольно старались держаться подальше от нее. Даже князь, к полудню прибывший на поле боя, не решился приблизиться к недвижимо застывшей в своих доспехах несчастной и приветствовал ее с почтительного расстояния; густые пряди ее распушенных волос закрыли тело покойного иссиня-черным саваном. Лишь на исходе дня она поднялась, охватила руками дорогого покойника и с нечеловеческой силой взвалила облаченное в тяжелые доспехи тело любимого на седло его боевого коня. Потом вскочила на своего и дала шпоры; конь графа по привычке двинулся за ней, неся на спине труп своего господина; при общем молчании зловещая пара помчалась прочь от двинувшихся в обратный путь войск. Ее проводили испуганно-сочувственными взглядами. Но когда Дионисия достигла границ своей страны и увидела на горизонте городские башни, она свернула на знакомую тропинку, ведущую к заброшенному охотничьему домику. Казалось, он ожидал ее, распахнув навстречу дверь; она спешила, отвязала от седла своего мертвого спутника, выкопала яму, опустила

туда труп возлюбленного вместе с мечом, шлемом и панцирем и забросала могилу землей. Лишь покончив с этим, она сбросила доспехи и погрузилась в глубокий, длившийся три дня и три ночи сон. Когда она проснулась, у изголовья стояла мать молодого графа; молча поцеловала та руку женщины, проводившей в последний путь ее сына.

VI

Отшумела осень, пролетела зима. Дионисия знала, что с той ночи перед последней битвой в ее чреве зародилась новая жизнь; это связало ее новыми и прочными узами и с покойным графом, и с самой жизнью.

Весной она произвела на свет сына, и когда он в первый раз прильнул к ее груди, лицо Дионисии впервые засветилось улыбкой радости. Мать графа, его родственники, даже сам князь возложили к колыбели новорожденного дорогие дары. И когда Дионисия достаточно окрепла, чтобы выйти из своей комнаты, ей впервые захотелось вновь облачиться в светлое платье; она вдруг ощутила прелесть ясного теплого дня, напоенного ароматами цветов и словно окутавшего ее прозрачными благоухающими одеждами. Над ее юной главой, которая таила в себе уже так много забытых или памятных воспоминаний, раскинулось голубое небо новой весны. Еще не решаясь окунуться в поток мирской суеты, она, однако, уже позволила ему плескаться у своих ног: в день какого-то праздника на лесной поляне неподалеку от ее домика селяне водили хоровод, и она увлеклась этим зрелищем.

Почтение, оказываемое ей, как героине и вдове героя, на первых порах заставляло всех в этой местности держаться от нее в отдалении. Но вскоре местная молодежь окружила ее таким восторженным поклонением, что даже появление ее в здешних краях, по-прежнему окутанное глубокой тайной, стало представляться чуть ли не небесным знамением и служило лишь к вящему ее прославлению.

К началу зимы она переехала в замок покойного графа, по общему мнению законно перешедший в ее собственность. Отдавшись целиком материнским забо-

там, она вначале вела жизнь замкнутую и тихую. Но, наконец, двери замка открылись — сперва лишь для родственников графа, потом также и для близких друзей дома, а вскоре во всей стране среди людей, выдающихся заслугами или происхождением, не было ни одного человека, который упустил бы случай выразить хозяйке замка свое восхищение ее необыкновенными и возвышенными добродетелями. Поэтому никто не удивился, когда сам князь пожаловал засвидетельствовать ей свое почтение. Поддавшись неуловимому очарованию Дионисии, он повторил свой визит. ореол могущества, окружавший юношески пылкого князя, ослепил Дионисию, словно пробудившуюся после долгого сна; а источаемое ею гордое величие, порожденное сознанием необычности своей судьбы, взволновало кровь молодого государя. И препятствия, показавшиеся бы душам более слабым непреодолимыми, не смогли помешать их взаимному чувству: позабыв свой супружеский долг, князь бросил к ногам Дионисии свое пылающее любовью сердце.

Поначалу и это событие не вызвало толков или злобных пересудов ни при дворе, ни в народе; очень многие, отнюдь не принадлежавшие к числу придворных льстецов, даже восприняли его как нечто само собой разумеющееся и вполне простительное. Первой отвернулась от Дионисии мать графа, молча замкнувшись в своем горе. Некоторые родственники последовали ее примеру и стали избегать общества Дионисии. Лишь после этого начали разыгрывать обиженных приближенные княгини, в то время как она сама была еще далека от мысли, что отношения ее супруга и чужестранки могли носить и не чисто дружеский характер. Но когда истина открылась, оскорбленная женщина без всяких объяснений отдалась от князя, который с этого дня стал намеренно и открыто выставлять свою связь с Дионисией напоказ. Не желая мириться с тем, что она продолжает жить в замке графа, он предоставил в ее распоряжение одну из своих загородных резиденций. Теперь уже князь посвящал возлюбленной не только часы досуга; в ее покоях он принимал министров и послов; в ее присутствии совещался по государственным вопросам. Вскоре уже ни одно решение не принималось без ее участия. А поелику все, стоящие

у трона, поспешили выказать ей знаки почтения и немедленно признали за ней право на то влияние в делах государства, которое ей предоставил князь, то она могла бы считать себя истинной правительницей страны. Однако Дионисия заметила, что во время выездов встречные все чаще подчеркнуто не обращали на нее внимания и как будто даже старались отвернуться. Сначала она не принимала это близко к сердцу, смеясь над завистью и глупостью ничтожных людишек, но постепенно в ней пробудилось и стало расти раздражение. Однажды она проезжала верхом мимо молодого дворянина, известного своей преданностью покинутой княгине. Ей показалось, что тот осмелился взглянуть на нее, фаворитку князя, с презрительной усмешкой, и она полоснула его хлыстом по лицу. Но когда тот, вне себя от бешенства, бросил ей в лицо неслыханное оскорбление, она приказала схватить его. Впоследствии лишь ее заступничество заставило разгневанного князя отменить смертный приговор дерзкому обидчику. Однако после этого случая затаенная ненависть обеих опальных групп превратилась в нескрываемую смертельную вражду. Дионисии доносили, что говорилось о ней в народе, в среде дворянства и особенно в кружке приближенных княгини. Ту, которую лишь недавно почитали таинственной, но благословенной посланницей небес, теперь многие называли авантюристкой и распутной девкой. Серьезная опасность покамест не угрожала ей, ибо князь был привязан к ней сильнее прежнего. Вопреки назревавшему в стране возмущению он по собственному почину расширил полномочия Дионисии, окружил ее неслыханной роскошью, пожаловал ее пятилетнему сыну титул принца и приколот на грудь ребенка орден, которым доселе награждались лишь члены княжеской фамилии. Самой жестокой карой наказывали за каждое необдуманное слово или неосторожный жест, внушавшие малейшее подозрение в непочтительном или враждебном отношении к Дионисии. У самой же Дионисии давно пропала охота ходатайствовать перед князем о снисхождении к аристократам или плебейам, нарушившим верность своей подлинной государыне. Проезжая по улицам столицы в золоченой карете, запряженной шестеркой вороных коней и окруженной эскортом конных гвардейцев, она успевала в хоре вос-

торженных голосов расслышать фальшивые нотки и чувствовала, что вызывает уже не почтительное поклонение, а лишь глухую, опасливо скрываемую ненависть. Даже ночью, даже в объятиях князя, все еще полного решимости защищать ее до последней капли крови, ей не давали покоя тревожные мысли о заговорах и покушениях. В замке заговорили о том, что приближенные опальной княгини замышляют что-то недоброе. Никто не знал, откуда взялся этот слухок, но Дионисия решила, что пришла пора потребовать от безвольного возлюбленного решительного вмешательства, и поставила его перед выбором: либо удалить законную супругу от двора и изгнать ее из пределов страны, либо отпустить ее самое на все четыре стороны. Поскольку явных улик, подтверждающих наличие заговора, не было, то придворные льстецы сочли себя вправе изготовить таковые. Устроили судилище, которому позаботились придать видимость законного суда, и в отсутствие княгини признали ее виновной. Ее приговорили к изгнанию из страны с конфискацией всей корреспонденции и драгоценностей. Та, очевидно, была готова к такому исходу, ибо уже на следующее утро с немногочисленной свитой отправилась в дальний путь ко двору своих царственных родителей. Многих, подозреваемых в сообщничестве с ней, выслали из пределов страны, а некоторых, считавшихся особенно опасными, бросили в ненасытное чрево темницы. Поскольку даже малейшее проявление недовольства беспощадно преследовалось, в стране воцарилось спокойствие, и Дионисия наконец-то стала такой всемогущей властительницей, какой редко бывает даже коронованная государыня. Но чем полнее была ее власть, тем меньше радости она ей приносила. Празднества в ее честь становились все пышнее, но веселья на них не было и в помине. Даже ласки князя стали вызывать у нее лишь горечь и тоску.

В глубине души Дионисия всегда смутно желала, чтобы возлюбленный воспротивился ее тщеславным помыслам, и теперь, поняв это, она начала презирать князя за его неизменную податливость и уступчивость. Чтобы унижить его, она стала принимать в княжеской постели молодых придворных, к которым чувствовала мимолетное влечение. Поначалу стыд и раскаяние за-

ставили князя затаить свое горе; но вскоре бушевавшие в нем страсти толкнули его в объятия доступных женщин, для которых, как когда-то для Дионисии, теперь открылись двери княжеских покоев. Словно в отместку за это, еще щедрее посыпались дары и почести на фаворитов Дионисии, сумевших утолить сжигающую ее жажду наслаждений. Весь двор завертелся в вихре бесстыдной, бездумной и разгульной жизни. Вскоре в народе пронесся слух, что огромные светильники, освещавшие парадные залы замка во время ночных оргий, сами собой гасли, словно захлестнутые грязным потоком разнузданной похоти, которой предавались князь и его подруга со своими любовниками и любовницами. Однажды на рассвете из зала, заполненной толпой пирующих, среди которых бесцельно бродил обезумевший князь с зажатым в руке кинжалом, выбежала Дионисия. Накинув на плечи драгоценный плащ и прикрыв его полой лицо, она бросилась вниз по лестнице. Решив в последний раз поддаться охватившему ее желанию, она побежала к обрамленному старыми буками заброшенному пруду в глубине парка, чтобы вместе с опостылевшей жизнью похоронить на его дне и свой позор, и свою тоску, и свое безумие. Но, увидев в зеркальной воде свое искаженное мукой лицо, она вдруг вспомнила о том, что она мать. Последние два года это редко приходило ей на ум. Резко повернувшись, она бросилась назад, к замку, ломая клонящиеся к земле ветви, и стремглав взлетела по лестнице в спальню семилетнего принца. Подбегая к его кровати, она хотела лишь одного — схватить сына и увлечь его вместе с собой в небытие. Но когда увидела невинное личико ребенка, дышавшее безмятежным спокойствием и словно источавшее какой-то волшебный свет, сердце ее затрепетало. Новое решение внезапно пронзило ее мозг и сразу же настолько завладело ею, что она взяла спящего принца на руки и как была, босиком, пошла с ним в парадную залу, где князь сидел в полном одиночестве. Отбросив в сторону кинжал и подперев рукой взлохмаченную голову, он мрачно глядел на развороченный, усыпанный увядшими цветами пиршественный стол. В этот миг она поняла, что и его охватило желание умереть. Увидев Дионисию со спящим прин-

цем на руках, он впился в нее долгим взглядом и, наконец, спросил о причине столь странного появления. Тогда она осторожно, словно драгоценный дар, поднесла к нему сына и потребовала, чтобы принц в тот же день был объявлен наследником престола. Но вместо ответа последовало лишь озадаченное молчание. Как раз в эту минуту из-за горизонта выглянуло солнце; озаренная его лучами, она поклялась, что с позорной и разгульной жизнью последних лет покончено и что она полна решимости отныне посвятить себя целиком заботам о благе и процветании государства, ибо хочет стать верной подругой и помощницей возлюбленного князя. Она чувствует в себе достаточно сил, чтобы смыть позор минувших лет славой грядущих, и готова жизнью своей поручиться, что в памяти народа безвозвратно ушедшие времена будут жить лишь как смутное воспоминание о каком-то тяжком недуге и в конце концов станут лишь легендой. Провозглашение ее сына наследником престола станет последним актом произвола — столь же простительным, сколь и необходимым, ибо во всех отношениях пойдет лишь на благо страны. Просиявший от радости князь тут же согласился. Немедленно был созван совет высших сановников. Спокойно и величаво князь возвестил свою волю; возражать никто не осмелился. Решение это объявили народу, и были приняты меры к тому, чтобы его восприняли с восторгом. Вечером во всех домах зажглись праздничные огни и началось такое веселье, словно и впрямь в тот день царственная супруга подарила возлюбленному монарху долгожданного сына и наследника. Впервые за много дней Дионисия дала себя обмануть и сочла купленные и вынужденные угрозами приветственные клики толпы за выражение вновь воскресших надежд добросердечного и незлопамятного народа, легко простившего своему милостивому государю былые обиды. Исполненная торжествующей гордости, вышла она об руку с князем на балкон, пред которым собралась толпа народа. Все громче раздавались голоса, требовавшие показать принца, ибо в столь торжественный день, вознесший ребенка к избранникам судьбы, они имели право взглянуть на наследника престола. Вне себя от счастья поспешила Дионисия к сыну. Не обратив внимания на то, что стражи, обычно охранявшей вход в по-

кой принца, не оказалось, она вбежала в комнату. У порога распласталось тело его воспитательницы. В предчувствии недоброго Дионисия кинулась к кровати сына и увидела кровавые пятна на простынях и остекленевшие глаза под глубокой, зияющей посреди лба раной; лицо ребенка было искажено страданием. Лишь один миг длилось страшное оцепенение; но вот Дионисия схватила трупик и, словно обезумев, бросилась с ним на руках по комнатам, переходам, лестницам замка, казавшегося вымершим; наконец, она вновь появилась на балконе подле одиноко стоявшего пред толпой князя и показала окровавленный труп принца. Потом обратилась к толпившимся под балконом людям, бессвязно заклиная их страшно отомстить убийцам. Князь, в ужасе отшатнувшийся от нее, словно от призрака, поспешил скрыться, и Дионисия осталась на балконе одна. Толпа у замка замерла в гробовом молчании; ни одного слова сочувствия к обезумевшей от горя матери, ни одного возмущенного возгласа. Все словно уверовали в то, что ребенок умерщвлен не рукой злодея, а волей всевышнего, восставать против которой и тщетно и грешно. Будто дождавшись наконец справедливого возмездия, безмолвные и присмирившие люди начали незаметно расходиться и постепенно скрылись во мраке ночи. Тщетно зывала в пустоту впавшая в отчаяние мать; потом, не выпуская из рук окровавленного трупа сына, в изнеможении опустилась на каменные плиты балкона.

Когда она очнулась, вокруг царила мертвая тишина. Она была одна, труп сына исчез. На какой-то миг она вообразила, что все ужасы минувшего дня привиделись ей в кошмарном сне. Но пятна крови на руках вернули Дионисию к действительности. Она поднялась, подошла к перилам и огляделась. Сумрачный рассвет вползал на опустевшую площадь перед замком. Дионисия бросилась во внутренние покои. Нигде ни души. Ни стражи в коридорах, ни лакеев в комнатах; в конюшнях — ни одной лошади, ни одного экипажа. Дионисия осталась одна в обезлюдевшем замке. Все живое бежало из этих стен, словно над ними тяготело проклятье. Леденящий душу ужас сковал Дионисию, и она никак не могла решиться покинуть замок. Но потом

она вспомнила про подземный ход, соединявший ее опочивальню с городской резиденцией князя. Открыв потайную дверцу, Дионисия ступила во мрак и без оглядки помчалась вперед. Коридор был так узок, что платье ее, развеваясь, касалось его стен. Постепенно мрак начал рассеиваться, но конца пути все еще не было видно. Она бежала так, словно за ней гнались, и, наконец, добралась до заветной дверцы; толкнув ее, она оказалась лицом к лицу с князем, одиноко сидевшим за письменным столом, скупо освещенным пламенем свечи. Увидев перед собой Дионисию, словно вышедшую из стены, он вздрогнул от неожиданности, и глаза его трусливо забежали, когда он попытался спрятать лежавший перед ним лист бумаги. Но она схватила листок — и он выпустил его из дрожащих рук. Дионисия прочла свой собственный смертный приговор, под которым не хватало лишь подписи князя. Ни разу еще не приходилось ей видеть любимого некогда человека столь жалким, столь утратившим былое величие; в полной растерянности он лепетал бессильные, но зловещие слова: дескать, он находится во власти могущественных сил, заточивших его в его же собственном дворце. Княгиня-изгнанница с преданной свитой уже на пути в столицу, и спасти свою свободу, страну, трон, а может быть, и жизнь можно, лишь поставив свое имя под этим приговором. Он-де неприятно удивлен приходом Дионисии. В глубине души он надеялся, что она спаслась бегством и находится уже в безопасности. Разве замок не был пуст? Разве ей не были открыты все пути? Себя, и только себя одну, должна она винить за то, что не сумела наилучшим образом воспользоваться всеобщим смятением и словно умышленно обрекла себя на верную гибель. Он даст ей случай убедиться, — его голос с каждым словом звучал все увереннее и резче, — что он поистине милостивый правитель: он не кликнет стражу, чего она, понятно, имеет все основания опасаться. Нет, он предоставит ей возможность воспользоваться для бегства тем же путем, которым она пришла, пусть она переждет день в потайном ходе, а с наступлением ночи выйдет из него на противоположном конце. Он не выдаст ее и даже позаботится о том, чтобы загородный замок

пустовал еще один день; но по истечении этого срока пусть уж постарается побыстрее убраться отсюда как можно дальше. А в заключение заверил ее своим княжеским словом, что до той поры она может не опасаться погони.

Дионисия не перебивала его, пока он говорил, но не сводила холодного пристального взгляда с его растерянно бегающих глаз. Когда он кончил, она молча проследовала мимо побледневшего как полотно князя, распахнула дверь в приемную и прошла между застывшими в окаменелой неподвижности стражниками: потом спустилась по мраморной лестнице, миновала высокие ворота замка и пошла по улицам города, уставясь невидящими глазами прямо перед собой и задевая окровавленным платьем прохожих. Узнав, люди в ужасе отшатывались от нее, словно она была мечена позорным клеймом. Сперва редкая, затем все более плотная толпа, опасливо держась на почтительном расстоянии, провожала ее вплоть до городских ворот. Тут Дионисия обернулась; подняв окровавленную руку, она повелительным жестом запретила следовать за ней далее и одиноко побрела по сверкающему в лучах утреннего солнца весеннему полю в ту сторону, где ждал ее родной кров.

VII

Днем она спала где-нибудь в укромном уголке леса или на лугу, а ночи напролет все шла и шла, смывая дорожную пыль с тела и платья в водах рек и озер и питаясь плодами, попадавшимися на пути. Не для того держалась она в стороне от дорог, чтобы, скрывшись от преследования, сохранить свою опостылевшую жизнь, а лишь чтобы не слышать человеческих голосов и не видеть человеческих лиц. После длинной череды дней, проведенных в пути, в звездную полночь она добралась наконец до своего давно покинутого дома, дверь которого была распахнута настежь, словно ее ждали. Не заходя в жилые комнаты, поднялась она по винтовой лестнице в башню, где в этот час наверняка находился ее супруг. Он стоял, припав глазом к трубе, направленной в усыпанное звездами небо. Заслышав шаги, он обернулся и, узнав в пришельце Дионисию,

ничуть не удивился. Он лишь мягко улыбнулся, словно приветствуя дорогую гостью.

— Это я, — сказала Дионисия.

Супруг кивнул.

— Я ожидал тебя. Ты должна была вернуться именно в эту ночь — не раньше и не позже.

— Значит, тебе известна моя жизнь?

— Ты прожила ее под чужим именем, но я знаю о тебе все. Постигшая тебя судьба была слишком необычной, чтобы пройти незамеченной, а из всех живущих на земле женщин лишь тебе одной могла она выпасть на долю. Добро пожаловать в мой дом, Дионисия.

— Ты приглашаешь меня в свой дом? И я не внушаю тебе отвращения?

— Ты жила, как жилось, Дионисия. И сейчас ты выше и чище тех, кто живет, задыхаясь от подавляемых желаний. Ты познала свою душу. Отчего же я должен испытывать к тебе отвращение?

— Я познала свою душу? Я знаю о себе столько же, сколько знала в то утро, когда ты прогнал меня. В тесных рамках установленных тобою обязанностей мне не было дано обрести себя. А в той исполненной соблазнов бесконечности, в которую ты меня толкнул, я могла лишь себя потерять. Но душу свою я так и не познала.

— Что с тобой, Дионисия? Уж не хочешь ли ты, неблагодарная, упрекнуть меня в том, что я отважился на шаг, на который не решался еще ни один мудрый влюбленный и ни один влюбленный мудрец?

— Ты — мудрец? А ведь не понял же, что каждому человеку отмерена в жизни лишь узкая полоска для того, чтобы он мог познать себя и исполнить свое предназначение? И что только там неповторимая тайна его естества, появившаяся вместе с ним на свет, созвучна высшим законам небесного и земного мироздания? Ты — был влюблен? А ведь в то давно минувшее утро не спустился же в долину, чтобы разломать на куски свирель, которая грозила совратить любимую тобой женщину? Твое сердце билось вяло, вот почему ты отпустил меня на все четыре стороны, вместо того чтобы ринуться за меня в бой, который в то время еще можно было выиграть; а твой ум задохся в цепких объятиях хитроум-

ных словосплетений, вот почему ты вообразил, будто вся полнота и сложность жизни во взаимовлиянии и противоборстве бесчисленных сил могут уложиться в прокрустово ложе одной-единственной формулы.— И она повернулась к выходу.

— Дионисия! — крикнул ей вслед супруг.— Опомнись! Треволнения бурной жизни помutilи твой разум. Здесь ты вновь обретишь покой и ясность души. Разве ты забыла? Комната, постель и одежда к твоим услугам, и клянусь, что ни единым упреком или вопросом не омрачу твоего существования. Здесь тебе ничто не угрожает, а там тебя на каждом шагу подстерегают опасности и смерть.

Уже в дверях Дионисия еще раз обернулась:

— Мне безразлично, что ожидает меня там. Я уже ничего больше не боюсь. Ужас внушает мне лишь мысль о жизни под одним кровом с тобой.

— Под одним кровом со мной, Дионисия? Уж не боишься ли ты, что я могу когда-нибудь позабыть о данном мной обещании? Успокойся, Дионисия: здесь царит разум, а где разум, там мир.

— Вот ты сам и назвал причину моего бегства. Если бы ты содрогнулся от ужаса, увидев в моих глазах отблески пережитого, я могла бы еще остаться, и наши души, может быть, слились бы воедино, очистившись в пламени неисчислимых страданий. Но лик твоей окаменевшей в бесстрастии мудрости для меня куда страшнее, чем все маски и чудеса этого мира.

Сказав это, она повернулась и, ни разу не оглянувшись, начала спускаться по винтовой лестнице. Быстрыми шагами выйдя из дома, она вскоре растворилась во мраке ночи, раскинувшей над равниной свой звездный шатер.

Сбросив овладевшее им было оцепенение, Эразмус поспешил за ней и несколько часов кряду шел по ее следам. Но самой Дионисии так и не нашел. Пришлось ему вернуться домой ни с чем; все дальнейшие поиски также оказались тщетными. Дионисия исчезла бесследно, и никто не знает, скиталась ли она еще долгие годы где-то по миру под чужим именем или же вскоре умерла в неизвестности по воле случая или по своей охоте.

Эразмус же в скором времени открыл загадочно мерцающую звезду, блуждавшую в просторах вселенной по новым, еще не исследованным законам. Из оставленных им записей узнали, что он намеревался дать этой звезде имя Дионисии в память супруги, которой давно простил обидные слова, брошенные ему в лицо при прощании. Но сколько ни бились другие исследователи, сколько ни наблюдали за небом во все времена года и в любое время суток, никому из них так и не удалось разыскать эту звезду, словно навеки канувшую в бесконечность.

1911



ДОКТОР ГРЕСЛЕР, КУРОРТНЫЙ ВРАЧ

I

Пароход был готов к отплытию. Доктор Греслер, в черном костюме, в распахнутом сером пальто с траурной повязкой на рукаве, все еще оставался на палубе; перед ним стоял директор отеля, он был без шляпы и его темные, гладко зачесанные волосы едва шевелились, несмотря на легкий береговой ветерок.

— Милый доктор, — говорил директор своим обычным снисходительным тоном, который всегда был так

неприятен доктору Греслеру, — повторяю еще раз: мы очень рассчитываем на вас в будущем году, несмотря на прискорбное несчастье, которое вас здесь постигло.

Доктор Греслер ничего не ответил и лишь глянул влажными от слез глазами на берег, где ярким пятном выделялось большое здание отеля, окна которого из-за жары были плотно прикрыты белыми ставнями. Затем он перевел взгляд на желтые заспанные домики, серые пропыленные сады, уныло тянувшиеся вдоль улиц под полуденным солнцем, и еще дальше — на старые развалины, которые венчали вершины холмов.

— Наши клиенты, а многие из них собираются приехать и на будущий год, — продолжал директор, — очень ценят вас, милый доктор, и мы твердо надеемся, что вы снова займете вашу маленькую виллу, — он показал на скромный светлый домик недалеко от отеля, — несмотря на печальные воспоминания, связанные с нею, тем более что в разгар сезона мы, понятно, не сможем предоставить вам сорок третий номер.

Доктор Греслер мрачно покачал головой и, приподняв черный котелок, провел левой рукой по своим гладким, светлым, уже седеющим волосам.

— Полно, милый доктор, время творит чудеса. И если вы, быть может, боитесь одиночества в этом светлом домике, то ведь и это поправимо. Привезите с собой из Германии милую изящную женушку.

Греслер ответил на этот совет лишь испуганным взглядом, но директор быстро, почти повелительно добавил:

— Ах, оставьте, это именно так. Изящная блондинка, впрочем, она может быть и брюнеткой, — вот единственное, чего вам недостает для полного благополучия.

Доктор Греслер нахмурил брови, словно перед его глазами замелькали картины прошлого.

— Словом, — любезно заключил директор, — так или иначе, женатый или холостой, вы в любом случае желанный у нас гость. Смею напомнить — двадцать седьмого октября, как условились, не так ли? Иначе, несмотря на все наши старания, вы попадете сюда лишь десятого ноября, — ведь пароходы ходят так нерегулярно, — а это для нас очень и очень нежелательно (в голове его вновь зазвучала та офицерская картавость,

которую доктор совершенно не выносил): мы открываемся первого числа.

Затем он горячо потряс доктору руку — привычка, которую директор вывез из Соединенных Штатов, обменялся кивком с кем-то из проходивших мимо корабельных офицеров, сбегал вниз по трапу и вскоре очутился на сходнях, откуда еще раз помахал доктору, все еще меланхолически стоявшему у борта со шляпой в руках. Через несколько минут пароход отчалил от берега.

Погода во время плавания стояла великолепная. По пути доктор Греслер часто вспоминал слова директора, сказанные на прощанье. И когда он после обеда, набросив на колени шотландский плед, спокойно дремал на верхней палубе в своем удобном плетеном кресле, ему не раз рисовался образ прелестной, пухленькой женщины в белом летнем платье, порхающей по дому и саду: щеки у нее были румяные, как у куклы, — такое лицо он, наверно, видел не в жизни, а в какой-нибудь детской книжке с картинками или в семейном альбоме. Но это воображаемое существо обладало таинственной властью отпугивать призрак его умершей сестры, так что доктору начинало казаться, будто покойница ушла из жизни гораздо раньше и более естественно, чем это было в действительности. Разумеется, бывали у него и другие минуты, когда воспоминания не давали ему заснуть и он снова и снова переживал горестное событие с такой невыносимой отчетливостью, словно оно только что произошло.

Несчастье случилось за неделю до того, как доктор Греслер покинул остров. После обеда он, как обычно, уселся в саду, уткнулся в медицинскую газету, и когда проснулся, то по длинной тени у своих ног, тени, отбрасываемой пальмой на всю ширину усыпанной гравием дорожки, понял, что продремал по меньшей мере часа два. Это расстроило доктора: ему было уже сорок восемь лет, и подобная сонливость наводила его на мысль о том, что он все больше утрачивает былую юношескую бодрость. Он встал, сунул газету в карман, внезапно ощутив острую тоску по молодящему весеннему воздуху Германии, и медленно направился к маленькому дому, где жил вместе с сестрой, которая была старше его на несколько лет. Он увидел, что она стоит

у окна, и это удивило его: в этот знойный час все окна обычно наглухо закрывались. Подойдя ближе, он заметил, что Фридерика не улыбается, как показалось было доктору издали, а стоит совершенно неподвижно спиной к саду. Со странной, им самим еще не осознанной тревогой он вбежал в дом, кинулся к сестре, все еще неподвижно опиравшейся на подоконник, и с ужасом увидел, что голова ее упала на грудь, глаза широко раскрыты, а вокруг шеи обвилась веревка, прикрепленная к оконной раме. Он громко окликнул Фридерика по имени, выхватил перочинный нож, перерезал петлю, и безжизненное тело тяжело опустилось ему на руки. Затем он позвал служанку — та прибежала из кухни и не сразу поняла, что случилось, — уложил с ее помощью сестру на диван и перепробовал все средства оживления, известные людям его профессии. Прислуга тем временем сбегала за директором. Когда тот пришел, доктор Греслер, убедившись в тщетности всех усилий, в изнеможении и растерянности стоя на коленях у трупя сестры.

Вначале он долго пытался найти какое-либо объяснение этому самоубийству. Внезапное помешательство было исключено: еще за завтраком эта серьезная, почтенная старая дева мирно беседовала с ним о предстоящем отъезде. Скорее можно было предположить, что Фридерика уже довольно давно, вероятно, несколько лет, подумывала о самоубийстве, и по каким-то причинам именно в это безмятежное утро решила привести в исполнение постепенно созревший у нее план. Действительно, доктор замечал иногда, что под невозмутимым спокойствием его сестры таится тихая тоска, но, слишком занятый своими делами, он никогда всерьез не задумывался над этим. А ведь по-настоящему веселой он не видел ее с самого детства — это он, во всяком случае, теперь впервые понял.

О ее молодости он мало что знал, так как, будучи корабельным врачом, почти все это время провел в плаваниях. А пятнадцать лет назад, когда он уволился из пароходства и родители их умерли один за другим, она покинула отчий дом в родном маленьком городке, переехала к брату и с тех пор повсюду следовала за ним в качестве его домоправительницы. Тогда ей было уже далеко за тридцать, однако фигура ее была так по-де-

вически грациозна, а глаза сохраняли такой загадочный томный блеск, что у нее не было недостатка в поклонниках, и Эмиль часто не без основания опасался, что она вот-вот выйдет замуж и покинет его. Когда же с годами рассеялись и эти ее надежды, она, казалось, спокойно примирилась со своей участью, и только иногда брат перехватывал ее молчаливый взгляд, обращенный на него с тихим упреком, словно и он был виноват в ее безрадостной судьбе. Быть может, это сознание бесцельно растроченной жизни росло в ней с годами тем сильнее, чем меньше она говорила об этом; и мучительной тоске она предпочла быструю развязку. Такой поступок сестры вынудил ее беспечного брата взять на себя заботы о собственном быте и хозяйстве, чего он до тех пор не знал благодаря Фридерике, — а ведь в его возрасте нелегко отказываться от старых привычек. Поэтому в последние дни плавания в его сердце, несмотря на печаль, родилось холодное, но по-своему утешительное чувство отчужденности по отношению к покойнице, которая столь неожиданно и даже не простившись оставила его одного на свете.

II

После недолгого пребывания в Берлине, где доктор Греслер в связи с предстоящим курортным сезоном побеседовал с некоторыми профессорами-клиницистами, он в один прекрасный майский день прибыл на воды — в маленький, окруженный лесистыми холмами городок, в котором он вот уже шесть лет занимался летом частной врачебной практикой. Хозяйка, пожилая вдова коммерсанта, радушно встретила его, и он был искренне тронут скромным букетом полевых цветов, которым она украсила дом в честь его приезда. Не без робости переступил он порог комнатки, где в прошлом году жила его сестра, однако это потрясло его гораздо меньше, чем он боялся. В остальном жизнь его потекла довольно сносно. Небо было неизменно ясным, воздух по-весеннему теплым. И порою, когда он, например, сидел на своей терраске за столом, накрытым чистой скатертью, и сам наливал себе в чашку кофе из белого с голубыми цветочками кофейника, блестящего на утрен-

нем солнце, его охватывало чувство такого покоя, какого он, пожалуй, не испытывал за последние годы в общесте своей сестры.

Обедал и ужинал он во внушительном здании главного местного отеля в обществе нескольких почтенных бюргеров, с которыми был знаком с давних пор и мог непринужденно, а подчас и откровенно поболтать. Врачебная его практика началась многообещающе удачно, и его профессиональную совесть не отягощали никакие особо трудные случаи.

Так без заметных событий шло лето. Однажды в июле, после довольно напряженного трудового дня, доктора Греслера вызвали к лесничему, жившему в добром часе езды от городка. Посыльный, передавший приглашение, тут же отправился обратно. Вызов не слишком обрадовал доктора: он не очень-то любил посещать местных жителей, лечение которых не сулило ему ни славы, ни заработка. Однако когда, покуривая дорогую сигару, он проехал по уютной улочке между сельскими домиками, такими привлекательными в мягком вечернем воздухе, миновал желтые поля и углубился в прохладную сень высоких, раскинувшихся на холмах буков, на душе у него стало мирно и спокойно. А когда Греслер увидел дом лесничего, чье прелестное местоположение помнил по прогулкам в прошлые годы, он даже пожалел, что поездка так быстро пришла к концу. Доктор поставил экипаж на обочине дороги и узкой тропинкой прошел между молодыми елями к дому, который дружелюбно встретил его сверкающими окнами, огромными оленьими рогами, висевшими над узким входом, и бликами вечернего солнца на красноватой крыше. Навстречу доктору по деревянным ступеням, которые вели на просторную веранду, спустилась молодая женщина, сразу же, с первого взгляда, показавшаяся Греслеру знакомой. Она протянула ему руку и сказала, что у ее матери начались какие-то странные боли в животе.

— Но вот уже целый час, как она спокойно спит, — добавила женщина. — Жар спал, хотя еще в четыре часа было тридцать восемь и пять. Чувствует она себя плохо уже со вчерашнего вечера, поэтому я и позволила себе побеспокоить вас, господин доктор. Надеюсь, ничего страшного.

При этом она робко и заискивающе смотрела в глаза врача, словно дальнейшее развитие болезни целиком и полностью зависело от его слов.

На ее взгляд он ответил со спокойной, хотя и мягкой серьезностью. Разумеется, он знал эту женщину. Он много раз встречал ее в городе, однако принимал за приезжую.

— Конечно, теперь, когда ваша матушка спокойно спит, ничего плохого уже не может случиться, — сказал он. — Однако не расскажете ли вы мне, фрейлейн, обо всем поподробнее, прежде чем мы разбудим больную, — впрочем, наверное, это совсем и не нужно.

Женщина пригласила его войти в дом, первая поднялась на веранду и предложила ему присесть, а сама осталась стоять, прислонившись к притолоке раскрытой двери, которая вела в комнаты. Со строгой деловитостью она описала течение болезни, и у доктора Греслера не осталось никаких сомнений, что дело идет всего-навсего о расстройстве желудка. Тем не менее он был вынужден задать молодой даме несколько профессиональных вопросов и был поражен той исключительной непосредственностью, с какой она описала ему отдельные подробности, вполне естественные, но такие, которые он не привык слышать из уст девушки. Во время разговора Греслер не раз мысленно спрашивал себя, выражалась ли бы она столь же непосредственно, сяди против нее более молодой врач. Ей самой, по его мнению, вряд ли можно было бы дать лет двадцать пять, если бы не большие спокойные глаза, которые придавали ее лицу выражение зрелости, свойственной более взрослым людям. В светлых, высоко заколотых косах она носила гладкий серебряный гребень. Платье ее было по-деревенски простым, белый пояс застегивался изящной позолоченной пряжкой. Но больше всего бросились доктору в глаза и даже в какой-то степени показались подозрительными чрезвычайно элегантные светло-коричневые полуботинки из замши, изумительно соответствовавшие цвету чулок.

Не успела девушка закончить рассказ, а доктор Греслер обдумать свои наблюдения, как из комнат кто-то позвал:

— Сабина!

Доктор поднялся, девушка показала ему дорогу через просторную, уже погруженную в полумрак столовую в следующую, более светлую комнату, где стояли две кровати. На одной из них в белом чепчике и белом пеньюаре, выпрямившись, сидела больная и смотрела на вошедших несколько удивленными, но вполне ясными и даже веселыми глазами.

— Господин доктор Греслер, — представила врача Сабина, быстро подойдя к изголовью кровати и нежно погладив рукой лоб матери.

Женщина, выглядевшая далеко не старой, весьма упитанной и приветливой, неодобрительно покачала головой.

— Очень рада познакомиться с вами, господин доктор, — начала она, — но зачем же ты, девочка моя...

— Кажется, мне здесь действительно нечего делать, — заметил доктор, пожав протянутую руку пациентки и одновременно прощупав у нее пульс, — тем более что ваша дочь, — он любезно улыбнулся, — обладает, по видимому, удивительно обширными медицинскими познаниями. Но уж поскольку я все равно тут, не правда ли...

Женщина пожала плечами, словно отдаваясь на волю судьбы, и Греслер занялся осмотром. Сабина спокойно и внимательно наблюдала за ним, пока он наконец не смог полностью успокоить как пациентку, так и ее дочь в той мере, в какой это еще требовалось. Трудности возникли лишь тогда, когда доктор Греслер попытался прописать больной строгую диету на ближайшие несколько дней. Женщина запротестовала самым решительным образом, утверждая, что в былое время подобные случаи, которые она объясняла исключительно нервами, быстрее всего излечивались как раз добрым куском свинины с кислой капустой и одним сортом сосисок, которого здесь, к сожалению, нельзя достать. Лишь сегодня утром Сабина уговорила ее воздержаться от плотного завтрака, — от этого воздержания, наверное, у нее и поднялась температура. Доктор, вначале принимавший эти возражения за шутку, из дальнейшего разговора понял, что женщина эта, в противоположность своей дочери, имела о медицине весьма дилетантские и даже еретические представления, проявлявшиеся, например, в насмешливых замечаниях насчет целебных

источников курортного городка. Она заявила, в частности, что бутылки, идущие на вывоз, наполняются обычной колодезной водой, в которую добавляют соль, перец и еще какие-то сомнительные приправы; доктор, всегда защищавший интересы курорта, на котором он в тот или иной момент практиковал, и считавший себя причастным ко всем его успехам и неудачам, не мог подавить в душе известной обиды. Однако серьезно возражать пожилой даме он не стал и удовольствовался тем, что обменялся с дочерью веселым, понимающим взглядом, которым, как ему казалось, он вполне достаточно и притом достойно защитил свою точку зрения.

Когда Греслер, в сопровождении Сабины, вышел на улицу, он еще раз подчеркнул, что заболевание совершенно безобидно, и Сабина полностью согласилась с ним; однако, добавила она, если подобным случаем можно и не придавать никакого значения в совсем молодом возрасте, то с годами им следует уделять все большее внимание; поэтому сегодня она и сочла своим долгом послать за доктором, тем более что отца не было дома.

— Ваш отец совершает сейчас объезд? — осведомился доктор Греслер.

— О чем вы, господин доктор?

— Я хотел сказать — объезжает свой участок?

Сабина засмеялась.

— Мой отец не лесничий. Собственно говоря, здесь уже давно нет лесничества. Наш дом только называется так, потому что лет шесть-семь назад в нем жил лесничий княжеского заповедника. Но поскольку дом до сих пор называют лесничеством, то и отца в городе называют лесничим, хотя ничем подобным он никогда в жизни не занимался.

— Вы единственная дочь? — спросил доктор Греслер, в то время как она, словно это само собой разумелось, провожала его до шоссе по узкой тропинке между молодыми елями.

— Нет, — ответила она. — У меня есть еще брат. Правда, он намного моложе — ему только пятнадцать. Когда он приезжает домой на каникулы, он, понятно, целыми днями бегаёт по лесу.

Доктор задумчиво покачал головой, и девушка добавила:

— О, это не беда — я сама раньше делала то же самое. Не часто, конечно.

— Но, наверное, все-таки не отходили далеко от дома? — слегка озабоченно спросил доктор и, подумав, добавил: — И вы были тогда еще совсем маленькой?

— Нет, мне было уже семнадцать, когда мы переехали в этот дом. До этого мы жили не здесь, а в городе... в разных городах.

Поскольку она вела себя так сдержанно, доктор предпочел ни о чем больше не расспрашивать. Они остановились у обочины дороги. Извозчик заждался своего седока. Сабина протянула доктору руку. Ему захотелось сказать ей еще несколько слов.

— Если не ошибаюсь, мы уже не раз встречались с вами в городе?

— Конечно, господин доктор. Я тоже давно вас знаю. Правда, я месяцами не бываю в городе. В прошлом году я однажды разговорилась с вашей сестрой — мимоходом, в магазине Шмидта. Она, верно, опять приехала с вами?

Доктор потупился. Случайно взгляд его упал на ботинки Сабины, и он отвел глаза в сторону.

— Моя сестра не приехала со мной, — сказал он. — Она умерла три месяца назад, в Ландзароте.

У него защемило сердце, но когда он с трудом выдал название этого далекого острова, ему стало чуть легче.

— О! — отозвалась Сабина и замолчала.

Они постояли молча, затем доктор Греслер принужденно улыбнулся и протянул девушке руку.

— Спокойной ночи, господин доктор, — сказала она серьезно.

— Спокойной ночи, фрейлейн, — ответил он и сел в экипаж.

Сабина подождала, пока коляска тронулась, затем повернулась и пошла обратно. Доктор Греслер посмотрел ей вслед. Слегка опустив голову, не оборачиваясь, она шла между елями по направлению к дому, из окна которого на дорогу падал луч света. Но вот дорога сделала поворот, и все исчезло. Доктор откинулся назад

и взглянул на низкое сумеречно-холодное небо с редкими звездами.

В памяти его ожили далекие времена — веселые годы молодости, когда его любили многие красивые женщины. Первой он вспомнил вдову инженера из Рио-де-Жанейро, сошедшую в Лиссабоне с парохода, на котором Греслер плавал в качестве корабельного врача. Она сказала, что едет за покупками в город, и не вернулась на корабль, несмотря на то что билет у нее был взят до самого Гамбурга. Он видел ее как живую: вот она в черном платье отправляется в коляске из порта в город и весело машет ему с улицы, за поворотом которой исчезает навсегда. Затем ему припомнилась дочь адвоката из Нанси, с которой он был помолвлен в Сен-Блазьене, первом курорте, где начал практиковать; вскоре она была вынуждена внезапно вернуться во Францию вместе с родителями, в связи с одним важным процессом, но ни о своем прибытии на родину, ни о чем-либо другом так и не дала ему знать. Вспомнил он также свои студенческие годы, проведенные в Берлине, и фрейлейн Лицци, которая из-за него даже стрелялась; она с большой неохотой показала ему ожог от пули под левой грудью, причем это его не только растрогало, но даже вызвало чувство скуки и раздражения. Он вспомнил и о милой, хозяйственной Генриетте, которую в течение многих лет, возвращаясь из плавания в Гамбург, неизменно находил такой же веселой, простодушной и услужливой, какой оставил ее в маленькой квартирке на одном из верхних этажей дома, выходявшего окнами на Альстер. Он никогда не знал и даже не задумывался всерьез над тем, что же делает и переживает она во время его отлучек. В сознании его всплыло еще многое другое, в том числе и не особенно красивые, а порой, в известном смысле, и вовсе предосудительные поступки. Греслер теперь и сам был не в состоянии понять, как он вообще мог решиться на такое. Но в общем на душе у него стало печально: молодость прошла, и он вряд ли был вправе ждать от жизни еще чего-нибудь хорошего.

Экипаж ехал меж полей, потемневшие холмы казались выше, чем днем, тут и там в маленьких дачах мерцали огни; на одном из балконов, прижавшись друг к другу теснее, чем люди позволяют себе это при днев-

ном свете, молча стояли мужчина и женщина. С одной из веранд, где сидело за ужином небольшое общество, доносились громкий говор и смех. Доктор Греслер, почувствовав голод, заранее обрадовался предстоящему ужину — как всегда, в «Серебряном льве», и поторопился медлительного извозчика.

За табльдотом, где уже собрались все знакомые ему завсегдатаи, он выпил лишний стакан вина, потому что жизнь показалась ему вдруг приятнее и легче. Он хотел было рассказать о своем сегодняшнем визите в лесничество, но по какой-то ему самому не ясной причине промолчал. Вино на него сегодня тоже не подействовало. Из-за стола доктор Греслер встал даже в более меланхоличном настроении, чем раньше, и с легкой головной болью отправился домой.

III

В следующие дни доктор Греслер чаще, чем обычно, пересекал главную улицу города в неясной надежде встретить Сабину. Однажды, во время приема, когда у дверей кабинета случайно не оказалось пациентов, он даже сбежал вниз по лестнице, словно охваченный предчувствием, и быстро дошел до источника, но так никого и не встретил. В тот же день он, словно невзначай, упомянул за ужином в ресторане о том, как его недавно вызывали в лесничество, и настороженно прислушался, не отпустит ли кто-нибудь из присутствующих какого-либо легкомысленного замечания насчет фрейлейн Сабины, как это частенько — и даже без всяких оснований — случается в веселой мужской компании. Но фамилия Шлегейм, которая, словно слабое эхо, прозвучала в ответ на сообщение доктора, ни у кого не вызвала ни малейшего интереса. И лишь мимоходом было сказано несколько слов о берлинских родственниках этого так называемого лесничего, у которых его дочка, видимо, не слышавшая у собравшихся за красавицу, проводила иногда зиму.

В один из вечеров доктор Греслер предпринял прогулку, постепенно приведшую его к самому лесничеству. С дороги он увидел дом, молчаливо стоявший в лесной тени, веранду и на ней фигуру мужчины, лица

которого он не рассмотрел. С минуту доктор постоял, испытывая страстное желание войти в дом и, сделав вид, будто он случайно шел мимо, осведомиться о здоровье фрау Шлегейм. Но он быстро сообразил, что это едва ли совместимо с достоинством врача и может быть ложно понято. С этой прогулки он вернулся домой более усталым и злым, чем следовало ожидать после такого незначительного разочарования, и, не встречая Сабину в городе и в последующие дни, начал надеяться, что она уехала на время, а то и навсегда — исход, казавшийся ему наиболее желанным с точки зрения его душевного равновесия.

Однажды утром, когда он, давно уже утратив спокойствие, которым наслаждался прежде, завтракал на своей залитой солнцем веранде, ему доложили, что с ним желает говорить какой-то молодой человек. Вслед за этим на веранде появился высокий красивый юноша в костюме велосипедиста; его фигура и профиль так явно напоминали Сабину, что доктор невольно поздоровался с ним, как со знакомым.

— Господин Шлегейм-младший? — осведомился он скорее тоном утверждения, чем вопроса.

— Вы угадали, — ответил юноша.

— Я сразу же узнал вас по сходству с... вашей матушкой. Присядьте, пожалуйста, молодой человек: как видите, я еще только завтракаю. Что случилось? Ваша матушка опять заболела?

Ему казалось, что он говорит с Сабиной.

Молодой Шлегейм продолжал стоять, вежливо держа кепи в руках.

— Мама чувствует себя хорошо, господин доктор. Вы так повлияли на нее, что она стала осторожнее.

Доктор улыбнулся. Он сообразил, что Сабина воспользовалась им, как врачом, чтобы его устами высказать матери свои собственные опасения. Но тут ему пришло в голову, что на этот раз заболела сама Сабина, пульс его непроизвольно участился, и Греслер понял, насколько не безразлично ему здоровье девушки. Но прежде чем он успел о чем-либо спросить, мальчик сказал:

— На этот раз дело касается отца.

Доктор Греслер облегченно вздохнул.

— Что с ним? Надеюсь, ничего серьезного?

— Если бы знать, господин доктор! Он так изменился за последнее время. Возможно, это вовсе и не болезнь: ему ведь уже пятьдесят два года.

Доктор невольно нахмурился и несколько холодно спросил:

— Какие же явления дают вам повод беспокоиться?

— В последнее время, господин доктор, у отца часто бывает головокружение, а вчера вечером, пытаюсь встать с кресла, он чуть не упал и лишь с трудом удержался, схватившись за край стола. И потом — мы уже давно это замечаем, — у него дрожат руки, когда он берет стакан.

— Гм, — поднял глаза от чашки доктор. — Видимо, ваш батюшка берет в руки стакан довольно часто, и, вероятно, в стакане не всегда вода?..

Юноша потупился.

— Сабина думает, что одно с другим, конечно, связано. К тому же отец целыми днями курит.

— Значит, милый юноша, это не возрастные явления. Итак, ваш батюшка хочет, чтобы я приехал? — вежливо добавил он.

— К сожалению, все это не так просто, господин доктор. Отец не должен знать, что вы приехали ради него: он и слышать не хочет о врачах. Вот Сабина и подумала, нельзя ли изобразить ваш приезд как случайность.

— Случайность?

— Ну, например, почему бы господину доктору не пройти еще раз мимо лесничества, как недавно вечером... Сабина поздоровалась бы с вами или окликнула бы вас, вы бы зашли к нам и... и все выяснилось бы.

Доктор почувствовал, что покраснел до корней волос, и, помешивая ложечкой в пустой чашке, сказал:

— К сожалению, у меня не часто находится время для прогулок. Тем не менее я недавно, да, да, недавно, действительно проходил неподалеку от лесничества.

Греслер отважился поднять взгляд и увидел, что в глазах мальчика, устремленных на него, нет и тени лукавства. Он успокоился и деловым тоном продолжал:

— Если уж иначе нельзя, я могу воспользоваться и вашим предложением... хотя, конечно, одной беседой на веранде многого не добьешься: ведь без основатель-

ного исследования трудно сказать что-либо определенное.

— Разумеется, господин доктор. Мы надеемся, что со временем отец сам согласится на это. Но если бы вы для начала хоть разок взглянули на него! Ведь у господина доктора такой большой опыт. Быть может, господин доктор сумеет зайти к нам на этих днях, после приема. Лучше всего, конечно, было бы сегодня же...

«Сегодня, — повторил про себя Греслер, — уже сегодня я могу ее увидеть! Чудесно!» Но он молчал, перелистывал записную книжку, покачивал головой и делал вид, что непреодолимые трудности мешают ему решиться; затем вдруг взял карандаш, быстро зачеркнул какую-то запись, которой там и не было, вывел на следующей страничке первое пришедшее ему на ум слово — «Сабина» и, наконец, дружелюбно, хотя и с некоторой холодностью объявил:

— Очень хорошо. Итак, скажем, сегодня от половины шестого до шести. Вам это удобно?

— О, господин доктор...

Греслер встал, жестом остановил благодарные излияния юноши, дал ему некоторые указания насчет матери и сестры и протянул на прощание руку. Затем он прошел с веранды к себе в комнату и встал у окна, глядя, как молодой Шлегейм выходит с велосипедом из передней, надвигает кепи на лоб, быстро и ловко вскакивает в седло и скрывается за ближайшим углом. «Будь я лет на десять моложе, — подумал доктор, — я мог бы вообразить, что все это не что иное, как предлог, изобретенный фрейлейн Сабинной, чтобы повидаться со мной». И он тихо вздохнул.

Едва пробило пять, как Греслер в светло-сером костюме с крепом на левом рукаве — единственным напоминанием о том, что его одеяние все-таки траурное, выехал из дому. Он собирался остановить экипаж где-нибудь поблизости от лесничества, но не успел покинуть город, как, к своему приятному удивлению, завидел на узкой тропинке, тянувшейся по обочине шоссе, Сабину и ее брата, которые шли ему навстречу. Он выпрыгнул из медленно поднимавшегося на холм экипажа и протянул руку сперва Сабине, потом мальчику.

— Мы должны попросить у вас прощения, — немного взволнованно начала Сабина. — Нам так и не удалось

удержать отца дома. Он вернется теперь лишь поздно вечером. Очень прошу, не сердитесь на меня.

Доктор хотел изобразить на лице досаду, но это ему не удалось, и он лишь небрежно бросил:

— Ничего, ничего.

Нахмутив лоб, он взглянул на часы, словно на остаток дня у него был назначен еще один визит. Затем поднял глаза и не мог сдержать улыбки: Сабина и ее брат стояли перед ним на обочине дороги, словно двое школьников, ожидающих наказания. Сабина была сегодня в белом платье, на левой руке у нее висела широкополая соломенная шляпа с желтой лентой, и выглядела девушка гораздо моложе, чем в прошлый раз.

— Сегодня так жарко, а вы так далеко прошли пешком, чтобы встретить меня! — сказал доктор почти с упреком. — Право же, в этом не было нужды.

— Господин доктор, — несколько смущенно возразила Сабина, — я хотела бы все же, во избежание недоразумений, лишний раз уверить вас, что и этот несостоявшийся визит будет, само собой разумеется, как и всякий визит врача...

— Что вы, что вы, фрейлейн! — поспешно прервал ее доктор. — Даже если бы наш заговор сегодня и удался, все равно бы ни о каком врачебном визите не могло быть и речи. Больше того, в дальнейшем я прошу рассматривать меня, как соучастника вашей затеи.

— В таком случае, господин доктор, — возразила Сабина, — я просто не смогу...

Греслер снова прервал ее:

— Я сегодня и без того собирался на прогулку. И раз уж так получилось, вы, может быть, разрешите мне предоставить мой экипаж в ваше распоряжение, а? Возвращайтесь-ка в нем домой, а если угодно, прихватите с собой и меня: в этом случае я позволю себе осведомиться о здоровье вашей матушки.

Он почувствовал себя светским человеком и тут же решил, что следующим летом поедет практиковать в более крупный курортный город, хотя в таких местах счастье еще никогда не баловало его.

— Матушка чувствует себя прекрасно, — сказала Сабина. — Но раз вечер у вас, господин доктор, все равно пропал, как вы смотрите на то... — и она повернулась к брату, — если мы покажем вам наш лес, а, Карл?

— Ваш лес?

— Это мы его так величаем,— вмешался Карл.— Он ведь действительно принадлежит нам одним. Никто из приезжих так далеко в него не заходит, хотя здесь есть прелестные места. Совсем как в дремучем лесу.

— Ну, такое, конечно, нужно посмотреть,— согласился доктор.— С благодарностью принимаю ваше предложение.

Экипаж на всякий случай был отправлен поближе к лесничеству, а доктор Греслер в сопровождении брата и сестры Шлегейм пошел по тропинке — столь узкой, что двигаться по ней можно было лишь гуськом. Сначала они пересекли поле, где хлебá поднимались в человеческий рост, а затем по лугу направились к лесу.

Доктор заговорил о том, что он вот уже шестой год подряд приезжает сюда каждое лето, а здешних мест, собственно, толком и не знает. Но такова уж, видно, его судьба. Еще будучи корабельным врачом, он чаще всего видел только берега, в лучшем случае — портовые города и ближайшие их окрестности: служба почти никогда не позволяла ему проникнуть в глубь страны. Поскольку Карл задавал многочисленные вопросы, обличавшие большой его интерес к далеким краям и морским путешествиям, доктор наугад назвал несколько портов, которые в силу своей профессии ему довелось когда-то посетить или хотя бы увидеть с берега корабля; то, что он в некотором роде мог сойти за путешественника, придало его речи оживленность и легкость, которые при других обстоятельствах не часто бывали ей свойственны.

Наконец с одной из прогалин открылся прелестный вид на город — там на вечернем солнце сверкала стеклянная крыша павильона с водами. Решили немного передохнуть.

Карл растянулся на траве, Сабина присела на срубленное и окоренное дерево, а доктор Греслер, не испытывая никакого желания подвергать риску свой светсерый костюм, остался на ногах и продолжал рассказывать о своих путешествиях; голос его, обычно немного хриплый, несмотря на привычку часто откашливаться, казался ему самому звонким и непривычно мягким, и он видел, что слушают его с таким вниманием, какого

он давно уже к себе не привлекал. В конце концов он предложил проводить брата и сестру домой, чтобы их отец, если он уже вернулся, поверил в случайность встречи и знакомство состоялось бы самым естественным образом. Сабина коротким, только ей присущим кивком выразила согласие, которое показалось доктору более решительным, чем если бы оно было высказано словами. Когда они спускались с холма по тропинке, постепенно становившейся все шире, разговор поддерживал только Карл: он развивал такие планы путешествий и открытий, в которых явственно слышались отзвуки недавно прочитанных приключенческих романов. Быстрее, чем того ожидал доктор, они очутились у забора, окружавшего сад, и увидели в сумерках, между высокими елями, заднюю сторону дома с шестью одинаковыми узкими окнами. Между домом и забором, на утопанной лужайке стояли длинный, грубо сколоченный стол, скамья и табуретки. Карл побежал посмотреть, что делается в доме, и доктор с Сабиной остались одни под елями. Они глядели друг на друга. Доктор несколько смущенно улыбался, но Сабина оставалась серьезной. Он медленно осмотрелся вокруг и тихо вздохнул:

— Как здесь спокойно!

Наконец в открытом окне показался Карл и оживленно помахал им рукой. Доктор придал своему лицу профессионально серьезное выражение и последовал за Сабиной через сад на веранду, где лесничий с женой только что выслушали рассказ сына об их вечерней встрече с доктором. Греслер, которого все еще вводило в заблуждение слово «лесничий», ожидал увидеть дюжего бородача в охотничьем костюме и с трубкой во рту и был весьма удивлен, когда с ним радушно, хотя и с некоторой долей театральности поздоровался стройный, гладко выбритый и аккуратно причесанный господин с черными волосами, лишь слегка тронутыми сединой. Доктор принялся для начала расхваливать красивый лес, который Карл и Сабина показали ему сейчас во всем великолепии; и пока разговор шел о скучноватой, несмотря на изумительные окрестности, жизни курорта, Греслер рассматривал хозяина дома глазами врача и не мог обнаружить в нем ничего подозрительного, разве что некоторое беспокойство во взгляде, а

также слишком частое, словно презрительное подергивание уголков рта. Когда Сабина пригласила всех ужинать, доктор встал и хотел откланяться, но лесничий с преувеличенной любезностью удержал его, так что вскоре Греслер уже сидел вместе с родителями и детьми Шлегейм за семейным столом, который освещала лампа в зеленом абажуре, свисавшая с деревянного потолка. Он заговорил о предстоящем субботнем вечере в курзале и спросил Сабину, не принимает ли она иногда участия в таких увеселениях.

— В последние годы нет. Раньше, когда я была моложе...— ответила Сабина и, заметив улыбку доктора, уже собиравшегося возразить ей, тотчас же и, как ему показалось, подчеркнуто добавила: — Ведь мне уже двадцать семь.

Отец ее отпустил какое-то ироническое замечание насчет убожества курортного городка и оживленно заговорил о том очаровании, что присуще большим мировым городам с их напряженной жизнью. Из дальнейших его высказываний выяснилось, что раньше он был оперным певцом, а теперешний образ жизни стал вести лишь после того, как женился. Рассказывая о различных актерах, с которыми он вместе играл, о поклонниках, ценивших его чрезвычайно высоко, и, наконец, о врачах, которые неправильным лечением довели его до того, что он потерял свой баритон, он опустошал одну рюмку за другой, пока у него внезапно не сделался вид изможденного и утомленного жизнью старика. Тогда доктор решил, что пора прощаться. Брат и сестра проводили его до экипажа и боязливо осведомились о впечатлении, которое произвел на него их отец. Доктор Греслер объявил, что даже сегодня уже считает возможным отмести мысль о каком бы то ни было серьезном заболевании, но вместе с тем высказал надежду, что вскоре сумеет найти предлог для дальнейшего наблюдения за пациентом или, еще лучше, для основательного осмотра, без которого он, как врач, естественно, не может утверждать ничего определенного.

— Ты не находишь,— спросил Карл сестру,— что отец уже давно не был так разговорчив, как сегодня вечером?

— Правда, — подтвердила Сабина и с благодарным взглядом повернулась к доктору Греслеру. — Вы сразу же ему понравились — это ясно.

Доктор скромным жестом прервал комплимент, обещал, в ответ на просьбу брата и сестры, повторить свой визит в ближайшие дни и сел в экипаж. Молодые люди еще некоторое время постояли у дороги, глядя ему вслед. Доктор ехал домой под холодным звездным небом. Доверие Сабины преисполняло его удовлетворением, тем более приятным, что — как он догадывался — это доверие было вызвано не только его профессиональными способностями. Он отлично сознавал, что за последние годы стал как-то особенно утомлен и равнодушен, что в общении с пациентами ему нередко не хватало подлинного человеческого сочувствия к ним, и сегодня, после долгого перерыва, с новой гордостью подумал о профессии, которую с таким энтузиазмом избрал для себя в юношеские годы, но которую далеко не всегда ценил.

IV

Когда на следующий день доктор Греслер открыл дверь своей приемной, он, к своему удивлению, увидел среди пациентов господина Шлегейма. Он пришел первым и был немедленно принят. Певец прежде всего поставил условие, чтобы семья не знала о его визите, и, после того как доктор обещал ему это, сразу же согласился рассказать о своих недугах и дать себя осмотреть. Греслер не обнаружил никаких серьезных телесных заболеваний, однако налицо было сильное душевное расстройство, не удивительное, впрочем, у человека, вынужденного в расцвете лет отказаться от внешне блестящего призвания, достойной замены которому он не смог найти ни в домашнем быту и любви к близким, ни в собственном внутреннем мире. Возможность хоть разок перед кем-то излиться явно оказывала на него благотворное действие. Поэтому когда доктор сказал ему, что вообще не хотел бы рассматривать его как пациента, и в шутовском тоне попросил разрешения за-

ходить во время прогулок в лесничество и беседовать с ним там, он с удовольствием согласился.

Когда в следующее воскресенье утром доктор решил воспользоваться этим разрешением, он застал певца одного, и тот сразу же сказал ему, что счел разумным сообщить «семье» — он всегда называл своих домашних именно этим собирательным именем — о состоявшемся осмотре и благоприятном исходе его, чтобы не видеть больше озабоченных лиц, которые ему опротивели, и не слышать докучных уговоров, которые приводили его в отчаяние. Когда же доктор начал в ответ восхвалять эти, разумеется, преувеличенные, но тем не менее трогательные заботы детей, отец легко согласился с ним и заметил, что ни в чем другом он обвинить их не может и что вообще-то они добрые и славные люди.

— Поэтому, — добавил он, — они оба и получают от жизни немного, быть может, даже и не узнают ее как следует.

И глаза его осветились слабым воспоминанием о давних и низменных похождениях.

Собеседникам удалось лишь недолго посидеть на скамейке перед входом: вскоре явились остальные члены семьи Шлегейм, разодетые по-воскресному и потому выглядевшие более по-мещански, чем обычно.

Сабина, которая, казалось, сознавала это, немедленно сняла цветастую шляпу и тут же, словно успокоившись, провела рукой по своим гладко зачесанным волосам. Доктор задержался в лесничестве далеко за полдень. За столом говорили сперва о самых безразличных вещах, но затем речь зашла о том, что владелец одного из окрестных санаториев продает свое заведение, и фрау Шлегейм мимоходом спросила гостя, не привлекает ли его такое место, где ему, быть может, представится возможность систематически практиковать свой знаменитый метод лечения голодом. Греслер, улыбнувшись в ответ на шутку, заметил, что он до сих пор никогда не мог решиться осесть в подобном месте.

— Я не в силах отказаться от сознания своей свободы, — сказал он, — и хотя я практикую здесь добрых лет шесть и, по всей вероятности, на будущий год снова приеду сюда, малейшее принуждение отбило бы

у меня любовь к этим краям, да и к моей профессии вообще.

Сабина едва заметно наклонила голову, словно подтверждая, что вполне разделяет его мнение. В остальном же она оказалась отлично осведомлена о состоянии дел в этой санатории; по ее словам, она сумела бы извлечь из него гораздо больше дохода, чем это удавалось в последние годы нынешнему старому и обленившемуся директору. К тому же она считала, что работа в санатории должна быть желанной для каждого врача хотя бы уже потому, что только здесь он имеет возможность подолгу общаться со своими пациентами и применять различные методы лечения под своим контролем, и, следовательно, успешно.

— Во многом вы правы, — заметил доктор Греслер сдержанным тоном, который, как ему казалось, был очень уместен в устах специалиста среди людей такого круга, как Шлегеймы.

Это не ускользнуло от внимания Сабины, и, слегка покраснев, она быстро пояснила:

— Дело в том, что когда-то в Берлине я работала сестрой милосердия.

— Вот как! — воскликнул доктор, не зная, впрочем, как ему принять это известие. Поэтому он добавил только: — Чудесная, благородная профессия! Но очень трудная и безрадостная. Теперь я понимаю, почему вы поспешили вернуться домой, в этот великолепный лес!

Сабина промолчала, прочие тоже не сказали ни слова, и доктор Греслер понял, что он, видимо, затронул какое-то болезненное место, невольно коснувшись тайны скромного существования Сабины.

После обеда Карл потребовал, как нечто само собой разумеющееся, сыграть партию в домино. Доктора тоже пригласили принять в ней участие. Все вышли в сад, и вскоре там раздался безобидный стук костяшек, в то время как мать Сабины, едва успев расположиться в удобном кресле под большой тенистой елью, уже задремала над своим рукодельем. Доктор Греслер почему-то припомнил скучные послеобеденные часы, которые он когда-то проводил по воскресеньям в обществе своей вечно меланхоличной сестры. Теперь избавление от этой тяжелой, мучительной поры его жизни казалось ему просто чудом. И когда Сабина, заметив его рас-

сеянность, едва заметно улыбалась ему или дотрагивалась до него рукой, чтобы напомнить ему об игре, он чувствовал, что эта интимность будит в нем неясные, но сладостные надежды.

Когда игра закончилась, Сабина накрыла стол цветной скатертью. Доктор не заказал экипажа, и так как до вечера ему еще предстояло навестить нескольких больных, которые не могли обойтись без него даже в воскресенье, он едва успел выпить чашку кофе. Он унес с собой улыбку Сабины и нежное пожатие ее руки — воспоминание об этом наполняло его таким ощущением счастья, что он даже не заметил тягот долгого и скучного пути по жаркой и пыльной дороге.

Однако он решил, что следующий визит в домик лесничего он может нанести не раньше, чем через несколько дней. Ожидание показалось ему легче, чем он думал вначале: врачебная практика вновь глубоко заинтересовала его. Он принялся не только добросовестно вести истории болезней своих пациентов, но, кроме того, по возможности пополнять весьма существенные пробелы в своих теоретических познаниях и читать книги и журналы по медицине. Прекрасно понимая, что все это объясняется влиянием на него Сабины, он тем не менее отгонял от себя всякую серьезную мысль о возможности обладать девушкой. Даже когда он, наедине с самим собой, осторожно взвешивал свои шансы и старался представить себе свою будущую жизнь с Сабиной, ему неизменно вспоминался мало-симпатичный директор отеля в Ландзароте; он уже видел нагловатую улыбку, с которой тот встретит у входа в отель пожилого врача и его молодую жену. И странно — Греслеру никак не удавалось отделаться от этой мысли, словно Ландзароте было единственным местом, где он мог практиковать зимою, а директор — единственным человеком, представляющим опасность для его нового семейного счастья.

Однажды утром в конце недели Греслер встретил Сабину на улице — она приехала в город за покупками. Она спросила, почему его так давно не видно.

— У нас ведь почти никого не бывает. Да и не со всеми есть о чем поговорить. В следующий раз вы должны побольше рассказать нам о своей жизни. Мне так хотелось бы послушать!

И ее глаза слегка заблестели.

— Если вы думаете, фрейлейн Сабина, что жизнь в других городах может дать вам много нового, то почему вы сидите здесь, в этой глуши?

— А может быть, я и не собираюсь здесь оставаться, — ответила она просто. — Ведь я уже однажды уезжала отсюда. Впрочем, ничего лучшего я пока для себя не желаю.

При этих словах взгляд ее потух и глаза потускнели.

V

К следующему своему визиту в дом лесничего доктор Греслер подготовился более основательно. Из всех своих воспоминаний он отобрал те, о которых стоило порассказать, — и вначале был весьма огорчен, обнаружив, что его столь разнообразная, как он думал, жизнь при ближайшем рассмотрении оказывается такой мало-содержательной и неинтересной. Правда, и ему приходилось переживать нечто похожее на приключения. Так, однажды на одном острове в южных морях на них напали туземцы, причем в стычке был убит помощник капитана. Мог он порассказать и о самоубийстве двух влюбленных на пароходе в открытом море, о циклоне в Индийском океане, о высадке в одном японском городе, который только что был дочиستا разрушен землетрясением, о ночи, проведенной в курильне опиума, — правда, конец этой истории придется изменить, щадя скромность слушателей... Обо всем этом у него найдется что сказать.

Кроме того, Греслеру более или менее отчетливо припомнились некоторые его пациенты на различных курортах — оригиналы, авантюристы, даже один русский великий князь — его убили в том же году, как он заранее и предчувствовал.

И когда теплым летним вечером, сидя у Шлегеймов и небрежно облокотясь на перила веранды, он в ответ на случайный вопрос Карла начал наконец свои рассказы, Греслер заметил, что в ту же минуту его давно поблекшие воспоминания внезапно ожили, сделались яснее и ярче, что давно уже забытые переживания

стали одно за другим всплывать откуда-то из глубин души.

Наряду с этим он открыл в себе еще одну способность, которая раньше за ним не водилась: когда память вдруг почему-либо ему изменяла, он приходил ей на помощь, давая волю фантазии. И это нисколько не мешало ему: ведь только так он мог испытывать приятное чувство, давно уже забытое им, — привлекать к себе внимание людей, симпатизировавших ему, только так он мог вносить соблазнительный отзвук своей почти прожитой жизни в мирную тишину лесного домика.

Однажды он остался на веранде наедине со старым певцом: мать и Сабина принимали гостей в саду, что случалось очень редко. Шлегейм рассказывал ему о своей службе в крупных городских и небольших придворных театрах; говорил он оживленнее, чем обычно, но таким тоном, словно его прошлая жизнь в самом деле была настолько яркой и полной, что у него были все основания сожалеть о ней. Правда, после преждевременной потери голоса он мог при содействии своего тестя, крупного виноторговца из Рейнланда, легко и быстро устроиться, но он предпочел скрыться на лоне природы, в глуши и одиночестве, где, в отличие от города, ничто не напоминало бы ему об утраченных надеждах и где он получил возможность спокойно наслаждаться тем, что ему оставалось, — радостями семейной жизни и своими замечательными детьми; но говорил он обо всем этом не без иронии, а детей хвалил чуть ли не с огорченным видом.

— Да, если бы Сабина, — загадочно добавил он, — унаследовала бы не только мои способности, но и мой темперамент, у нее было бы блестящее будущее.

И он рассказал, что в Берлине, живя у родителей матери, она, по его мнению, попала в слишком мешчанскую среду. Одно время она брала там уроки пения и драматического искусства, но потом бросила из-за непреодолимого отвращения к чересчур развязным манерам своих подруг.

— У фрейлейн Сабини очень чистая душа! — отзывался Греслер, сочувственно кивнув.

— Да, да, конечно! Но что это, дорогой доктор, в сравнении с огромным счастьем познать жизнь во всех ее проявлениях — и возвышенных и низменных!

Разве такой удел не лучше, чем просто сохранить в чистоте душу? — Он посмотрел по сторонам и затем раздраженно продолжил: — И вот в один прекрасный день она отказалась от всех своих — более того, от всех моих — планов насчет искусства и славы и — несомненно, из духа противоречия — поступила на курсы сестер милосердия; она открыла вдруг в себе особое призвание к этой профессии.

Доктор покачал головой.

— Но, кажется, и эта профессия не принесла вашей дочери полного удовлетворения; если я в прошлый раз правильно ее понял, она скоро бросила эту работу?

— Это было вызвано особыми обстоятельствами, — возразил Шлегейм. — Будучи сестрой милосердия, она познакомилась с одним молодым врачом и обручилась с ним. Это был очень способный молодой врач; по слухам, на него возлагали большие надежды. Я сам так и не успел познакомиться с ним лично. К сожалению, молодой человек умер, — договорил он тихо и поспешно, потому что мимо прошел Карл.

— Умер, — повторил как бы про себя и без особого сожаления Греслер.

Карл сказал, что под елями уже приготовлен кофе. Они отправились в сад, и доктор был представлен гостям — вдове и двум ее дочкам. Обе были моложе Сабины. Доктор знал их в лицо, они его тоже, поэтому за кофе и пирогом вскоре завязалась веселая, непринужденная беседа. Каждый день, без четверти три, сидя у окна с неизменным шитьем в руках, обе барышни, по их словам, наблюдают, как господин доктор выходит из ресторана и непременно вынимает из кармана часы, подносит их к уху, качает головою и быстро отправляется домой. Что за важные дела у господина доктора дома, спросила младшая, весело блестя глазами. Как! Он принимает больных дома? Ну, это просто шутка! Настоящие больные на этот так называемый курорт не ездят. А вот тот интересный молодой человек, которого всегда возят в кресле пить воды, говорят, просто нанят дирекцией курорта: он ведь, собственно, актер из Берлина и во время отпуска всегда играет здесь роль больного; за это его кормят и дают ему комнату. То же самое и с элегантною дамой, у которой семнадцать шляпок: она вовсе не американка и, конечно

уж, не австралийка, как значится в списке приезжих; она такая же европейка, как и они все; еще вчера вечером на скамейке в курортном парке она встречалась с офицером в штатском, — он приезжал к ней в гости из Эйзенаха, — и говорила с ним вовсе не по-английски, на самом настоящем венском диалекте. Доктор не стал спорить насчет американки, которая к тому же лечилась не у него, но зато привел в пример супругов-французов, которые уже объездили весь свет и которым нигде не нравилось так, как здесь. Тогда вмешалась в разговор старшая сестра и начала всерьез расхваливать прекрасные окрестные леса и холмы и милый уют их городка, который приобретает особое очарование, когда разъезжаются все курортники. И фрау Шлегейм, обратившись к доктору, подтвердила:

— Вам бы действительно надо было здесь провести зиму, только тогда вы бы по-настоящему узнали, как здесь может быть прекрасно.

Доктор Греслер ничего не ответил. Однако все заметили, что в его глазах отразились дали, которые, возможно, другим были еще неизвестны, да едва ли и открылись бы когда-нибудь.

Когда позже все собрались пойти погулять, хозяин сказал, что предпочитает остаться дома и почитать историю Французской революции, которой он особенно живо интересовался. Сначала они шли все вместе, но затем, словно умышленно, пропустили вперед Греслера и Сабину, и сегодня он почувствовал себя с ней увереннее, спокойнее и проще, чем раньше. Он вполне допускал мысль о том, что Сабина была в более близких отношениях, чем предполагали ее родители, с тем молодым врачом, который был ее женихом и умер. В таком случае, значит, она могла считаться молодой вдовой, что несколько сглаживало разницу в возрасте.

Приятный день решили закончить совместным ужином на большой террасе курзала под звуки курортного оркестра, сюда же пришел и господин Шлегейм, в таком элегантном, почти фатовском костюме, что доктор подумал, не явился ли он откуда-нибудь из глубин Французской революции. Подруги Сабины, хотя и шутливо, но все же весьма откровенно проявили свое удивление, в то время как сама Сабина, если только

доктор правильно понял ее взгляд, была, по-видимому, не совсем довольна подобным нарядом отца. В остальном настроение у всех было прекрасное, и младшая дочка вдовы весь вечер изощрялась в насмешливо-злых остротах по поводу остальной публики. Так, вскоре, она обнаружила даму с семнадцатью шляпками, которая сидела за соседним столиком в обществе трех молодых людей и одного пожилого господина и совсем не по-австралийски покачивала головой в такт венскому вальсу. Вдруг доктор Греслер почувствовал, как чья-то нога незаметно коснулась его ноги, и почти испугался. Сабина? Нет, конечно, не она. Он и сам не хотел бы этого. Скорее всего, это была та веселая маленькая барышня, что сидела напротив него с подчеркнута невинной физиономией. Но робкое прикосновение больше не повторилось,— значит, оно могло быть просто случайным. По характеру своему доктор Греслер был склонен именно к такому предположению, тем более что случившееся не доставило ему никакого удовлетворения; излишняя скромность и даже своего рода уничижение всю жизнь были самыми слабыми сторонами его натуры, иначе он был бы сейчас не врачом на этом смехотворно маленьком курорте, а тайным советником медицинской службы в Висбадене или Эмсе. И несмотря на то что Сабина в этот вечер часто обращала на него откровенно дружеский взгляд, а один раз, улыбаясь, даже чокнулась с ним, он и сегодня чувствовал, что с каждой новой каплей вина его все больше охватывает меланхолия. Перемена в его настроении мало-помалу передалась всему обществу. Пожилые дамы вдруг почувствовали усталость, у молодых перестал клеиться разговор. Певец, мрачно поглядывая по сторонам, молча раскурил крепкую сигару, и когда наконец все распрощались, Греслер острее, чем обычно, ощутил свое одиночество.

VI

Школьные каникулы подошли к концу, и мать отвезла Карла в Берлин, откуда, как и следовало ожидать, вернулась через несколько дней с ужасным расстройством желудка. Доктор Греслер, теперь уже опять

в качестве врача, стал появляться в лесничестве почти каждый вечер; не изменилось это и после окончательного выздоровления фрау Шлегейм. Теперь уже он беседовал с Сабиной целыми часами, оставаясь с нею наедине в доме или в саду: родители ее охотно устранились, чтобы не мешать их сближению, на которое, видимо, взирали благосклонно. Греслер рассказывал о своей юности, о своем родном старинном городе, обнесенном крепостным валом с многочисленными башнями, о родительском доме и своей прежней комнате, которая годами терпеливо ожидала, когда он — а до недавнего времени и его сестра — весной или осенью придет туда отдохнуть на несколько недель или дней. Сабина слушала внимательно и сочувственно, и доктор представлял себе, как было бы хорошо вернуться домой вместе с нею и как удивился бы его старый друг советник юстиции Белингер, единственный, кстати сказать, человек, служивший еще связующим звеном между Греслером и его родным городом.

А когда наступила необыкновенно ранняя осень и большинство приезжих разъехалось раньше времени, все часы, которые доктор Греслер проводил вне лесничества, стали казаться ему такими пустыми и одинокими и его вдруг охватил такой страх перед предстоявшей ему снова одинокой, бессмысленной и безрадостной скитальческой жизнью, что он часто был готов вот-вот сделать Сабине предложение. Но вместо того, чтобы откровенно объясниться с нею самой, на что у него не хватало смелости, он, словно решив положиться в этом вопросе на судьбу, пришел к мысли навести справки, действительно ли и за какую сумму продается тот санаторий доктора Франка, о котором Сабина недавно упомянула вторично. Но ему не удалось узнать ничего определенного, и тогда он разыскал самого владельца, которого когда-то знал лично и который оказался теперь стариком в грязно-желтом полотняном костюме. Франк сидел перед санаторием на белой скамье, покуривал трубку и походил, скорее, не на врача, а на какого-то чудака-крестьянина. Греслер без обиняков спросил его, правду ли говорят, будто он хочет продать санаторий. Оказалось, что директор Франк случайно кому-то сказал об этом и, вероятно, готов оставить все на волю случая. Как бы то ни было, он согласен про-

дать санаторий, и чем скорее, тем лучше — уж очень ему хочется прожить последние дни подальше от больных — и настоящих и мнимых, и отдохнуть от бесконечной лжи, к которой неизменно вынуждало его ремесло врача.

— Вы можете взвалить это бремя на себя, вы еще молоды, — сказал он, и доктор Греслер ответил лишь печальным жестом отрицания.

Затем он осмотрел все помещения санатория и, к своему прискорбию, нашел их в еще более запущенном и небрежном состоянии, чем опасался. К тому же немногочисленные пациенты, которых он встречал в саду, в коридорах и в лечебнице, отнюдь не произвели на него впечатления людей, довольных своим положением и верящих в будущее; ему даже показалось, что во взглядах, которыми они приветствовали своего врача, сквозит недоверие, а порой и враждебность. Но когда с балкончика директорской квартиры Греслер окинул взором сад, лежавшую за ним веселую долину и пологие, слегка окутанные туманом холмы, близ которых, как угадывал доктор, находится дом лесничего, его внезапно охватила такая страстная тоска по Сабине, что он впервые уверенно назвал это чувство любовью и увидел перед собой упоительную цель: в скором времени он должен стоять на этом же самом месте, обнимая Сабину, свою подругу и жену, и положив к ее ногам все это владение, обновленное и прекрасное. Ему потребовалось сделать над собой усилие, чтобы сохранить нерешительный вид, прощаясь с директором Франком, который, впрочем, отнесся к этому в высшей степени равнодушно. Вечером, в доме лесничего, Греслер решил пока вовсе не упоминать о своем посещении санатория; однако уже на следующее утро он повез с собой туда архитектора Адельмана, своего ежедневного соседа по таблоду в «Серебряном льве»; он хотел выслушать мнение специалиста. Оказалось, что переделки потребуются менее серьезные и дорогостоящие, чем он думал, архитектор соглашался даже взять на себя все работы по ремонту санатория и закончить их к маю будущего года. Доктор Греслер снова разыграл нерешительность и удалился вместе с архитектором, который, оставшись с ним наедине, стал

изо всех сил склонять его на эту выгодную покупку.

В тот же вечер, совсем по-летнему теплый, Греслер, сидя с Сабиной и ее родителями на веранде дома лесничего, рассказал о своих переговорах с доктором Франком, но как бы между прочим, так, словно все произошло совершенно случайно: просто он вместе с архитектором шел мимо ворот санатория и встретил его владельца. Господин Шлегейм нашел, что условия чрезвычайно выгодны, и посоветовал доктору Греслеру уже сейчас отказаться от зимней практики на юге, остаться здесь и самому, на месте, проследить за ходом работ. Но об этом доктор Греслер не хотел и слышать. Разве он может так внезапно оставить свою практику в Ландзароте? К тому же архитектор Адельман такой добросовестный человек, что если уж он займется этим делом, доктор может уехать со спокойной душой. Тогда Сабина со свойственной ей простотой предложила следить за работами во время отсутствия Греслера и регулярно писать ему о том, как подвигается строительство. Вскоре родители, словно сговорившись, ушли домой, а Сабина и доктор, как они это частенько любили делать, начали медленно прогуливаться под елями аллеи, ведущей от дома к шоссе. Она дала ему много разумных советов относительно перестройки старого здания, чем доказала, что уже и раньше интересовалась этим вопросом. Так, например, она считала необходимым пригласить на должность старшей сестры-хозяйки какую-нибудь даму — настоящую даму, подчеркнула она, потому что это придало бы санаторию в известной мере светский характер, которого ему особенно не хватало в последние годы. Наконец-то — доктор Греслер с бьющимся сердцем почувствовал это — произнесено было нужное слово, которым он мог и должен был воспользоваться! Он уже хотел это сделать, как вдруг Сабина, словно желая помешать ему, торопливо пояснила:

— Лучше всего сделать это через газету. На вашем месте я даже съездила бы, куда нужно, лишь бы заполнить на эту важную должность подходящего человека. Ведь у вас сейчас достаточно свободного времени. Ваши пациенты почти все разъехались, не так ли? А когда вы собираетесь уезжать?

— Дней через пять-шесть. Прежде всего мне нужно, конечно, завернуть домой, то есть в свой родной город. Сестра не оставила завещания, а мой старый друг Белингер пишет, что мне необходимо кое-что привести в порядок непосредственно на месте. Но до этого я хочу еще раз съездить в санаторий и осмотреть там все, вплоть до мелочей. Окончательного решения я все равно не приму, пока не переговорю со своим другом Белингером.

Так он и продолжал ходить вокруг да около, осторожно, неумело и все время недовольный собой; он понимал, как нужны в такую минуту ясность и определенность. Сабина замолчала, и Греслер счел самым разумным распрощаться с нею под предлогом визита к больному; он взял руку Сабины, на мгновение задержал, затем поднес к губам и поцеловал. Сабина не отняла руки, и, когда доктор взглянул на нее, ему показалось, что лицо у нее более умиротворенное и веселое, чем раньше. Понимая, что говорить больше ни о чем не нужно, он отпустил ее руку, сел в экипаж, набросил плед на колени и поехал. Когда он оглянулся, Сабина все еще стояла на том же месте, неподвижная, освещенная лунным светом, но казалось, что смотрит она куда-то в сторону, в ночь, в пустоту, а совсем не на дорогу, по которой медленно удалялась его коляска.

VII

На следующий день, несмотря на проливной дождь, доктор Греслер вновь отправился в санаторий и уже в третий раз попросил разрешения осмотреть его, хотя делал это без особого желания, а, скорее, по обязанности. На этот раз ему пришлось удовлетвориться более скромным провожатым — молодым ассистентом, подчеркнутая любезность которого была адресована не столько старшему коллеге, сколько вероятному будущему директору, и который не упускал ни одного случая показать, что он знаком с наиновейшими методами лечения, хотя применить их здесь пока не имеет никакой возможности. В этот день здание показалось доктору Греслеру еще более запущенным, а сад еще более заросшим, чем накануне, и оказавшись, наконец, в

пустой конторе наедине с владельцем санатория, который завтракал прямо за письменным столом, заваленным бумагами и счетами, он объявил, что сможет дать окончательный ответ только по возвращении из родного города, примерно недели через три.

Директор выслушал его с обычным равнодушием и заметил только, что и он, разумеется, не будет себя считать связанным каким бы то ни было обязательством. Разговор на этом закончился, и Греслер с облегчением вздохнул, когда снова оказался на улице и, раскрыв зонтик, направился по шоссе к городу. С зонтика со всех сторон стекали крупные дождевые капли, холмы были окутаны туманом. Похолодало так сильно, что у доктора начали мерзнуть пальцы, и он натянул перчатки, с трудом удерживая над собой зонтик и недовольно покачивая головой. Еще неизвестно, сумеет ли он вообще привыкнуть проводить позднюю осень и зиму не на юге, а в этой так несправедливо называемой умеренной полосе, и ему втайне захотелось сегодня же вечером объявить Сабине, что санаторий у него прямо из-под носа перекупили и что он, честно говоря, не очень-то завидует покупателю.

Дома он нашел письмо, адрес на конверте был написан рукою Сабины. Греслер почувствовал, как у него внезапно замерло сердце. О чем она могла писать ему? Только об одном. Она просит его не приходить больше. Он все испортил вчера, когда поцеловал ей руку, — он это сразу понял. Такие поступки ему не к лицу. Он, наверно, был ужасно смешон в ту минуту. Греслер не помнил даже, как разорвал конверт и стал читать.

«Дорогой друг! Я смею вас называть так, не правда ли? Завтра вечером вы придете снова, и вы должны получить это письмо раньше. Ведь если я вам не напишу — кто знает, не уйдете ли вы и в этот вечер так же, как уходили от меня все эти дни и вечера, и не уедете ли в конце концов совсем, так ничего и не сказав, а может быть, еще и убеждая себя, что поступаете разумно и справедливо. Поэтому мне не остается ничего, как самой сказать или, вернее, написать вам, ибо сказать я не в силах, о том, что у меня на сердце. Итак, дорогой господин Греслер, мой дорогой друг

доктор Греслер, я пишу вам, и вы, прочитав это, будете, наверное, очень довольны и не сочтете мой поступок неженственным — я ведь чувствую, что имею право написать вам. Я совсем, совсем не возражала бы против того, чтобы стать вашей женой, если бы вы попросили меня об этом. Вот я все и сказала. Да, я хочу быть вашей женой. Я питаю к вам такое глубокое, искреннее чувство дружбы, какого не питала ни к одному человеку, которого когда-либо знала. Правда, это не любовь. Еще нет. Но это, безусловно, нечто очень близкое к любви, такое, что вскоре может стать любовью. В последние дни, стоило вам заговорить об отъезде, как у меня становилось мучительно тяжело на сердце. И когда сегодня вечером вы поцеловали мне руку, мне было так приятно. Когда же потом вы скрылись в темноте, мне вдруг показалось, что все кончено, и стало так страшно, что вы никогда больше не придете к нам. Сейчас это, конечно, прошло. Ведь эти мысли явились лишь из-за того, что была уже ночь, не так ли? Я знаю, вы придете снова. И завтра же вечером. И я знаю, что вы относитесь ко мне так же хорошо, как и я к вам. Об этом даже не надо говорить словами. Но порою мне кажется, что вы слишком мало верите в себя. Разве это не так? Я думала и о том, отчего это происходит. Мне кажется, оттого, что вы нигде не пустили корней, что у вас, в сущности, никогда не было времени подумать о том, что и вас кто-нибудь может искренне полюбить. Наверно, от этого. А может быть, вы нерешительны и по другой причине. Мне, естественно, очень тяжело писать вам об этом. Но раз уж я начала, то не хочу останавливаться на полуслове. Итак, мой дорогой друг, вы знаете, что однажды я уже была помолвлена. Это было четыре года тому назад. Он был врач, как и вы. Мой отец вам, наверно, рассказывал об этом. Я очень любила его, и утрата его была для меня большим ударом. Он ведь был так молод! Всего двадцать восемь лет. Тогда мне казалось, что жизнь для меня уже кончилась, — в тяжелые минуты всегда так думаешь. Впрочем — должна вам признаться и в этом, — он не был моей первой любовью. Раньше, до него, я увлекалась одним певцом. Это было как раз в то время, когда мой отец, желая мне, конечно, только добра, пытался навязать мне карьеру, к которой у меня нет ни-

какого призвания. Так вот, это увлечение было самым сильным, какое я только переживала в жизни. Нет, переживала — это не совсем точное слово. Но все же... перечувствовала. Кончилось все это очень глупо. Он решил, что имеет дело с одной из тех женщин, каких привык встречать в своем кругу, и стал себя вести соответствующим образом, — и тут все было кончено. Но странно! Я и сейчас вспоминаю об этом человеке гораздо чаще, чем о своем женихе, который был мне так дорог. Мы были помолвлены целых полгода. Так. И вот еще одно, о чем мне тяжело писать вам. Знаете ли вы, что мне кажется, дорогой доктор Греслер? Что вы предполагаете нечто такое, чего не было, и это вынуждало вас быть таким нерешительным. Правда, это только доказывает, как хорошо вы ко мне относитесь. Но в то же время — простите за откровенность — в этом есть какой-то педантизм или тщеславие. Конечно, я хорошо знаю, что такой преувеличенный педантизм и тщеславие свойственны мужчинам. Но я хочу сказать вам, что эти чувства не должны больше угнетать вас. Нужно ли выразиться яснее? Извольте, дорогой друг: мне не в чем больше признаваться вам. Как я сейчас вспоминаю, у нас вообще были странные отношения. По-моему, он за полгода поцеловал меня раз десять, не больше.

Нет, чего только не напишешь доброму другу в такую ночь, особенно если думаешь, что письмо можно в конце концов вообще не посылать! Но нет, это неправда, мое письмо не имело бы никакого смысла, если бы я не написала всего, что мучит меня.

И все-таки этот человек был мне очень дорог. Может быть, именно потому, что он был такой серьезный, такой мрачный. Он принадлежал к числу тех врачей, каких очень немного, — тех врачей, что сами испытывают всю ту боль, свидетелями которой им приходится быть. Жизнь представлялась ему ужасно тяжелой, где же ему было взять мужества стать счастливым? Правда, я со временем научила бы его этому. В этом я уверена. Но судьба судила иначе. Я покажу вам его портрет, я, разумеется, храню его. Портрета того, другого, певца, у меня уже нет. Да он мне его и не дарил — я просто купила этот портрет в художественном магазине еще до знакомства с ним. Что же мне еще рассказать вам?

Сейчас далеко за полночь. А я все сижу за столом, и мне совсем не хочется заканчивать письмо. К тому же внизу взад и вперед без устали расхаживает отец. У него опять бессонница. В последнее время мы о нем немного забыли. Да, и я и вы, дорогой доктор. Но теперь все должно перемениться. Да, хочу еще кое-что добавить — только сейчас вспомнила. Не поймите меня превратно, но отец сказал, что если у вас не хватает наличных денег для покупки санатория, он охотно предоставит в ваше распоряжение нужную сумму. Вообще мне кажется, что он с радостью принял бы участие в этом деле. А поскольку мы живем почти рядом с санаторием, вы — если вы, конечно, правильно истолкуете содержание моего письма (я ведь стараюсь облегчить вам эту задачу, не так ли?) — сумеете, может быть, обойтись без объявлений в газетах и разъездов, потому что на должность старшей сестры-хозяйки я могу со спокойной совестью рекомендовать самое себя. И разве было бы не чудесно, милый доктор, если бы мы с вами начали работать в санатории вместе, как двое товарищей — я чуть не сказала, коллег? Признаюсь вам, санаторий этот нравится мне уже давно. Гораздо дольше, чем его будущий директор. И место и парк поистине великолепны. Какая жалость, что доктор Франк так все это запустил! Кроме того, ошибкой было и то, что туда в последнее время стали принимать любых больных, даже тех, кому там совсем не место. По-моему, санаторий должен опять специализироваться исключительно на нервнобольных, помешанных, конечно, я не имею в виду. Но о чем же я это? На это у нас, во всяком случае, хватит времени и завтра, даже если в остальном мы не договоримся. Свою поездку вы могли бы сейчас использовать для того, чтобы разрекламировать санаторий в Берлине и других больших городах. Впрочем, я тоже в бытность мою сестрой милосердия была знакома с некоторыми берлинскими профессорами; возможно, они меня еще помнят. Но я вижу, вы улыбаетесь. И я не обижаюсь. Я ведь понимаю, что такое письмо — вещь не совсем обычная. Злые люди, пожалуй, подумали бы, что я вешаюсь вам на шею или еще что-нибудь в этом роде. Но ведь вы человек не злой и воспримете это письмо так, как оно написано. Я люблю вас, друг мой, — правда, не так,

как пишут в романах, но тем не менее всем сердцем! И люблю отчасти потому, что мне больно видеть, как одиноки вы на свете. Весьма возможно, что я никогда не написала бы этого письма, будь жива ваша добрая сестра. Она была добрая, я знаю. И еще я люблю вас, может быть, потому, что ценю вас как врача. Да, очень ценю, хотя иногда вы и бываете слишком холодны. Но ведь это всего лишь ваша манера держаться, а в глубине души вы, несомненно, очень добры и участливы. И главное — к вам немедленно проникаешься доверием, что и случилось с моими родителями, а с этого, дорогой доктор Греслер, все вообще и началось. Когда вы придете завтра, — я не хочу ничего усложнять, — вам достаточно будет только улыбнуться или снова поцеловать мне руку, как сегодня вечером при прощании, и я все пойму. А если все окажется не так, как я сейчас думаю, скажите мне прямо. Вы можете сделать это совершенно спокойно. Я подам вам руку и подумаю о том, что я чудесно провела лето и что не следует быть слишком нескромной и надеяться стать госпожой докторшей или даже госпожой директоршей — роль, которая мне действительно не особенно подходит. И запомните — через год вы можете приехать сюда с другой женой — с какой-нибудь красивой чужестранкой из Ландзароте, американкой или австралийкой, но только обязательно с настоящей женой, и я все равно, как ни в чем не бывало, буду следить за работами в санатории, если вы решите купить его. Ведь эти две вещи не имеют друг к другу ровно никакого отношения.

Однако довольно. Мне очень любопытно, успею ли я отправить вам это письмецо завтра утром. И что вы подумаете? Итак, прощайте! Нет, до свидания! Я очень хорошо к вам отношусь и никогда не изменю своего отношения.

Ваш друг *Сабина*».

Доктор Греслер долго сидел над письмом. Он прочел его во второй, потом в третий раз и так и не понял, радует оно его или огорчает. Ясно было одно: Сабина готова стать его женой. Она даже, по ее собственному выражению, сама вешается ему на шею. И в то же время пишет, что чувство к нему — совсем

не любовь... К тому же она смотрит на все слишком трезвым, можно даже сказать — критическим взглядом. Она правильно замечает, что он педант, что он тщеславен, холоден, нерешителен, — всех этих слабостей он не мог отрицать за собой, но они не так бы бросились в глаза фрейлейн Сабине и она, уж подавно, не стала бы их подчеркивать, будь он лет на десять — пятнадцать моложе. И он спросил себя: если она подметила все эти его недостатки еще издали и даже в своем письме не забыла напомнить ему о них, то что же будет дальше, в повседневной близости, когда ей, без сомнения, откроются и многие другие изъяны его характера? Значит, ему придется все время держать себя в руках, вечно быть начеку, некоторым образом притворяться, что в его возрасте не очень-то легко, а иногда и просто тяжело, как тяжело из несколько брюзгливого, педантичного стареющего холостяка превратиться в любезного, галантного молодого супруга. Вначале, конечно, это еще удастся: она ведь испытывает к нему глубокую симпатию, которую нельзя назвать иначе, как своего рода материнской нежностью. Но сколько продлится это чувство? Не долго. Во всяком случае, только до тех пор, пока снова не появится какой-нибудь демонический певец, или мрачный молодой доктор, или еще какой-нибудь соблазнительный мужчина, которому тем легче будет добиться успеха у красивой молодой женщины, что она станет в супружестве зреее и опытнее.

На стенных часах пробило половину второго; обычный час, когда Греслер ходил обедать, уже миновал, и доктор почувствовал легкую досаду. Затем, с мрачным упрямством подумав о том, какой он все-таки педант, Греслер отправился в ресторан. В углу, на своем обычном месте, уже сидели за кофе и сигарами архитектор и один из членов городской управы. Муниципальный советник с понимающим видом кивнул доктору и встретил его словами:

— Я слышал, вас можно поздравить?

— С чем? — почти испуганно спросил Греслер.

— Вы как будто купили санаторий Франка?

Греслер облегченно вздохнул.

— Купил? — повторил он. — Нет, об этом еще не было речи. Так далеко дело не зашло. Заведение в

ужасном состоянии. Его нужно перестраивать почти заново. А наш друг... — он просмотрел меню и беглым кивком указал на архитектора, — заломил такую цену!..

Архитектор с горячностью возразил, что вовсе не собирается наживаться на этом деле. Что же касается всевозможных неполадок, то их нетрудно устранить, и если сейчас поспешить с подрядами, то самое позднее к пятнадцатому мая санаторий будет как новенький.

Доктор Греслер пожал плечами и не преминул напомнить, что еще вчера архитектор самым крайним сроком считал первое мая. Впрочем, ему известно, что это обычная история при строительстве — никогда ничего в срок не готово, в смету не укладываются. А у него слишком мало энергии, чтобы отважиться на такую затею. Да и владелец санатория назначил несусветную цену.

— Кто знает, — добавил он, хотя и шутливым тоном, — уж не заодно ли вы с ним, дорогой господин Адельман!

Архитектор вспыхнул, муниципальный советник попытался загладить неловкость, доктор Греслер извинился, но добрая беседа больше не клеилась, архитектор и советник вскоре холодно откланялись, и доктор остался за столом один и в прескверном настроении. Он даже не притронулся к последнему блюду и поспешил домой, где его ждал пациент, хотевший перед отъездом получить необходимые медицинские назначения на зиму. Доктор осмотрел его рассеянно, нетерпеливо и взял гонорар за прием не без угрызений совести, испытывая тупую злость не только на себя самого, но и на Сабину, которая в своем письме не упустила случая упрекнуть его за равнодушие к больным. Затем он вышел на балкон, раскурил потухшую сигару и посмотрел вниз на убогий садик, где, несмотря на плохую погоду, в этот час, как обычно, сидела на белой скамеечке его хозяйка и занималась рукоделием, поставив рядом с собой швейную корзиночку. Еще три-четыре года назад эта пожилая женщина имела на него несомненные виды; во всяком случае, так не раз утверждала Фридерика, которой всегда казалось, что за ее братом гоняются все девицы и вдовушки, мечтающие выйти

замуж. Бог знает, не близка ли она была к истине. Он был прирожденным холостяком и всю жизнь оставался оригиналом, эгоистом и филистером. Сабина, как явствует из ее письма, хорошо это поняла, хотя по многим причинам, среди которых так называемая любовь играла наименьшую роль, она, по ее же словам, сама вешалась ему на шею. О, если бы она действительно так сделала, все было бы совсем иначе. Но то, что он сейчас мял рукой в кармане, было всем, чем угодно, только не любовным письмом.

Подъехал экипаж, который каждый вечер доставлял его в дом лесничего. У доктора Греслера забилось сердце. В эту минуту он не мог скрыть от себя, что хочет лишь одного — поспешить к Сабине, с нежностью и благодарностью схватить ее милые руки, которые она так искренне и просто протягивает ему, и просить это милое создание стать его женой, даже если налицо опасность, что его счастье продлится лишь несколько лет или даже месяцев. Но, вместо того чтобы броситься вниз по лестнице, он, словно окаменев, продолжал стоять на одном месте. У него было такое ощущение, будто он сначала должен еще что-то выяснить, но что именно — он никак не мог вспомнить. И вдруг его осенило: он должен еще раз перечитать письмо Сабини. Он вынул его из нагрудного кармана и отправился в свой тихий кабинет, чтобы еще раз, вдали от людей, продумать слова Сабини. И он начал читать. Он читал медленно, напряженно, внимательно и чувствовал, как все больше и больше стынет его сердце. Все искреннее и нежное казалось ему теперь холодным, почти издевательским, и когда он дошел до места, где Сабина мельком упоминает о его скрытности, тщеславии, педантизме, ему почудилось, что она умышленно повторяет то, в чем уже упрекала его сегодня утром — и к тому же упрекала совершенно несправедливо. Как может она называть его педантом, филистером, его, который без всяких раздумий готов был — и как охотно! — простить ей все ошибки прошлого, если она их совершила. А ведь она не рассчитывала на это, более того, даже предполагала, что его нерешительность вызвана именно таким подозрением. Плохо же она знает его! Да, да, она его не понимает. И вдруг загадка его собственной жизни предстала перед ним в новом свете.

Ему стало ясно, что его никто никогда не понимал — ни один мужчина, ни одна женщина. Ни его родители, ни его сестра, ни коллеги, ни пациенты. Его сдержанность считали холодностью, аккуратность — педантизмом, серьезность — сухостью. И поэтому он, человек не блестящий и не экспансивный, в течение всей своей жизни был обречен на одиночество. А если все это именно так и если он к тому же еще намного старше Сабины, значит, он не может, не имеет права принять то счастье, которое она, по крайней мере по ее словам, готова дать ему. Да и какое это счастье! Он схватил лист бумаги и начал писать.

«Милая фрейлейн Сабина! Ваше письмо растрогало меня. Как должен вас благодарить я, одинокий, старый человек!»

«Какие глупости!» — подумал он, разорвал лист и взял новый.

«Мой дорогой друг Сабина! Я получил ваше милое, доброе письмо. Оно глубоко тронуло меня. Как мне благодарить вас? Вы показали мне возможность счастья, о котором я едва ли решался мечтать, и поэтому, — разрешите мне сказать вам все сразу же, — поэтому я и не решаюсь принять его, вернее — принять тотчас же. Дайте мне несколько дней подумать, позвольте мне осознать свое счастье. И, дорогая фрейлейн Сабина, спросите и себя еще раз, действительно ли вы искренне хотите доверить свою нежную юность такому зрелому человеку, как я.

Быть может, получилось очень удачно, что я, как вам известно, должен на несколько дней съездить в свой родной город. Теперь я решил выехать даже раньше, чем собирался, — не в четверг, а завтра же утром. Таким образом, мы не увидимся с вами около двух недель и за это время успеем все взвесить — и вы и я. К сожалению, милая фрейлейн Сабина, я не владею слогом так свободно, как вы. Но если бы вы могли взглянуть в мое сердце!.. Я знаю, вы не поймете меня превратно. Мне кажется, будет лучше, если сегодня я не заеду в лесничество и на ближайшее время попро-

щаюсь с вами в этом письме. Позвольте мне написать вам с дороги, прошу и вас о том же. Мой домашний адрес: Бургграбен, 17. Как вы знаете, дома я собираюсь посоветоваться насчет покупки санатория со своим старым другом адвокатом Белингером. Поэтому сейчас я ничего не пишу о любезном предложении вашего почтенного батюшки, за которое хотел бы покамест лишь высказать ему свою благодарность. Во всяком случае, не исключено, что помимо здешнего архитектора, против которого я, разумеется, ничего не имею, мне придется привлечь к делу и какого-нибудь иногороднего строителя. Но обо всем этом в свое время. А теперь прощайте, милый мой друг Сабина. Кланяйтесь вашим родителям и передайте им, что мой отъезд был ускорен на несколько дней ввиду срочной телеграммы от моего адвоката. Итак, до встречи через две недели. Как мне хочется найти здесь все таким же, каким оставляю! С нетерпением буду я дома ждать вашего ответа. Вот и все. Благодарю вас. Целую ваши милые руки. До свиданья! До счастливого свиданья!

Ваш друг доктор *Греслер*».

Он сложил лист бумаги. Пока он писал, на глазах у него несколько раз выступали слезы — от смутной жалости к самому себе и к Сабине; но теперь, когда предварительное решение было принято, он вытер глаза, запечатал конверт и передал его кучеру, чтобы тот лично отвез письмо в лесничество. Некоторое время Греслер смотрел из окна вслед уезжающему экипажу; он хотел было уже окликнуть кучера, но слова замерли у него на губах, и экипаж скрылся из виду. Доктор начал готовиться к отъезду. Дел предстояло так много, что сначала он даже думать не мог ни о чем, кроме них, но позже, когда он вспомнил, что сейчас его письмо уже в руках Сабины, сердце его болезненно жалось. Не подождать ли ему, а вдруг придет ответ? А может быть, она просто сядет в экипаж и сама придет за своим нерешительным женихом? Да, тогда она действительно будет иметь право сказать, что вешается ему на шею. Но чтобы выдержать такой экзамен, любовь ее все же оказалась недостаточно сильна. Сабина не явилась, не пришел и ответ; лишь много позже, в

сумерках, Греслер увидел из окна, как экипаж проехал мимо; сидел в нем кто-то совсем чужой. Ночь Греслер провел беспокойно, а наутро, сердитый и продрогший, отправился на вокзал под проливным дождем, барабанившим по прорезиненному верху прорезки.

VIII

В родном городе доктора Греслера ждал приятный сюрприз. Хотя он сообщил о своем приезде всего за несколько часов, квартира его не только оказалась в идеальном порядке, но и выглядела гораздо уютнее, чем в прошлом году. Только сейчас он вспомнил, что прошлой осенью Фридерика провела здесь несколько дней одна. Она еще говорила ему, что кое-что купила тогда для хозяйства, а кое-что заказала у хороших мастеров; по поводу этих заказов она переписывалась зимой с Белингером. Обойдя еще раз всю квартиру и оказавшись, наконец, в спальне покойной сестры — комнате с окнами во двор, Греслер тихонько вздохнул — отчасти приличия ради, потому что его сопровождала привратница, присматривавшая за квартирой вот уже много лет; отчасти из искренней скорби о незабвенной покойнице, которой так и не суждено было увидеть это уютное, заново обставленное помещение при электрическом свете.

Доктор распаковал вещи, походил взад и вперед по комнатам, доставая по дороге то одну, то другую книгу из книжных шкафов и тут же ставя ее на место, поглядывал в окно на узенькую, тихую улицу, на углу которой мокрая мостовая отражала свет фонаря, сел к письменному столу в старое, оставшееся еще от отца кресло, почитал газету и, к своему прискорбию и удивлению, почувствовал, что бесконечно далек от Сабины, словно между ними не только легли многие сотни миль, но и письмо, в котором она предлагала ему свою руку и которое обратило его в бегство, он получил не вчера, а много недель тому назад. Греслер вынул конверт из кармана, и ему показалось, что от бумаги исходит какой-то терпкий волнующий аромат; тогда, словно боясь вновь перечитать письмо, он запер его в ящик письменного стола.

На следующее утро доктор спросил себя, что же ему здесь, собственно, делать сегодня, да и в последующие дни. В родном городе он давно стал чужим: друзья его в большинстве своем умерли, с немногими оставшимися в живых он постепенно прервал всякую связь, и только сестра его, посещая родные места, всегда встречалась с какими-то стариками, знакомыми их давно уже умерших родителей. Поэтому Греслеру было, в сущности, нечего делать дома, если не считать переговоров с его старым другом адвокатом Белингером, но и эти переговоры не казались ему чем-то безотлагательным.

Выйдя из дому, он первым делом пошел погулять по городу, как всегда делал, когда ненадолго возвращался домой после длительного отсутствия. Обычно во время таких прогулок его охватывало легкое и приятное умиление; сегодня же под этим низким, серым, дождливым небом он остался совершенно спокойным. Не ощутил он никакого внутреннего волнения и проходя мимо старого дома, из узкого, высокого углового окна которого его первая любовь кивала и улыбалась ему в юности, когда он шел в гимназию или возвращался оттуда домой; равнодушно прислушался он к шуму фонтана в осеннем парке, который когда-то вырос у него на глазах на месте старых городских валов; когда же, выйдя из ворот старой знаменитой ратуши, он увидел на углу узенькой улочки ветхий, полуразвалившийся домик, — за его тусклыми, подслеповатыми окнами, задернутыми красными занавесками, он пережил когда-то свое первое жалкое любовное приключение, после чего месяц дрожал от страха перед последствиями, — на душе у него стало так, словно перед ним поднялся какой-то запыленный и разодранный занавес, приоткрывший все его детство.

Первый, с кем он заговорил, был седобородый торговец в табачной лавочке, где он покупал себе сигары. Однако когда тот пустился в многословные соболезнования по поводу кончины сестры господина доктора, Греслер с трудом пробормотал что-то в ответ и стал опасаться встреч с другими знакомыми, не желая выслушивать от них таких же ничего не значащих слов. Однако следующий, кого он встретил, вообще не узнал его, а мимо третьего, который сделал было попытку остановиться, Греслер прошел с быстрым, почти невежливым поклоном.

Пообедав в старом, хорошо ему знакомом ресторане, отделанном теперь с безвкусной, быющей в глаза пышностью, доктор отправился к Белингеру, который уже знал о его приезде, встретил дружески радушно и после нескольких соболезнующих слов стал расспрашивать о подробностях смерти Фридерики. Греслер, потупившись, почти шепотом рассказал другу юности о печальном событии, и когда снова поднял глаза, то был несколько удивлен, увидев перед собой пожилого, полного господина с обрюзгшим безбородым лицом, а ведь это лицо Греслер, по старой памяти, все еще представлял себе юношески свежим. Белингер сначала не на шутку разволновался и долго молчал, но, наконец, пожал плечами и сел за письменный стол, как бы желая этим показать, что даже после такого трагического события оставшимся в живых не остается ничего иного, как обратиться к будничным делам. Он открыл ящик стола, извлек оттуда папку, вынул из нее завещание и другие важные бумаги и начал подробнейшим образом излагать порядок введения в наследование. Покойница оставила гораздо более значительные сбережения, чем думал Греслер, а поскольку он был единственным наследником, то дело складывалось так, что он мог теперь, как ему разъяснил адвокат в заключение своей подробной речи, даже оставить свою практику и жить, хотя и скромно, но вполне прилично, на одни проценты. Но именно после этого открытия доктор понял, что до ухода на покой ему еще далеко и что, напротив, он испытывает сейчас особенно сильную жажду деятельности. Поэтому, не откладывая дела в долгий ящик, он рассказал старому другу о санатории, насчет покупки которого он вел серьезные переговоры незадолго до отъезда из курортного городка. Адвокат выслушал его внимательно и подробно расспросил о целом ряде мелочей; сначала он, казалось, отнесся к намерениям доктора сочувственно, но под конец стал уговаривать своего друга воздержаться от подобного шага: ведь, кроме медицинских талантов и умения обращаться с больными,— с этим он, разумеется, прекрасно справится,— это дело требует известных хозяйственных и коммерческих способностей, а вот их-то Греслер до сих пор никак не проявил. Доктор, сочтя это замечание не лишненным оснований, думал, не рас-

сказать ли ему еще и о фрейлейн Шлегейм, которая, быть может, помогла бы ему справиться с этой частью предстоящей задачи. Но старый холостяк, сидевший напротив него, вряд ли бы что-нибудь понял в его своеобразной любовной истории. Греслер слишком хорошо знал привычку Белингера при каждом удобном случае отзываться о женщинах в презрительной, даже циничной манере, а он сам вряд ли спокойно стерпел бы какое-либо легкомысленное замечание по поводу Сабинны.

В свое время Белингер не пожелал скрывать от друга юности событие, которое сделало его таким женоненавистником.

На одном из костюмированных балов, где высшее общество города раз в год соприкасалось с театральным миром, а также с еще более сомнительными в нравственном отношении кругами, Белингер мимоходом снискал полную благосклонность некой дамы, которой даже самое буйное воображение никогда не решилось бы приписать подобной отваги и смелости. Сама же она, не сбросив маски даже в минуту последнего упоения, осталась и тогда и позднее неузнанной. Однако благодаря одному странному случаю Белингеру удалось узнать, кто же была женщина, принадлежавшая ему в ту ночь. Он, конечно, рассказал другу об этом приключении, но скрыл имя возлюбленной, и в городе долгое время не было ни одной женщины или девушки, на которую Греслер не взирал бы с подозрением, становившимся тем сильнее, чем безупречнее были репутация и образ жизни данной особы. Это-то происшествие и удержало в дальнейшем Белингера от более близкого знакомства с женщинами и, уж подавно, от женитьбы. Поэтому он, будучи уважаемым адвокатом в не очень крупном городе, где придавалось большое значение приличиям и чистоте нравов, был вынужден во время своих весьма частых коротких и таинственных отлучек приобретать все новый опыт, который еще более укрепил в нем враждебность к прекрасному полу. Таким образом, со стороны Греслера было бы весьма неблагоприятно упоминать в разговоре с другом имя Сабинны; это было бы вдвойне неблагоприятно еще и потому, что он потерял это милое, чистое существо, в известном смысле бросившееся ему на шею, и потерял,

быть может, навсегда. Из этих соображений Греслер и в дальнейших беседах предпочел не касаться планов на будущее, мягко пояснив, что в любом случае он должен дожидаться известий от архитектора, и лишь попросил своего друга, — правда, не так горячо, как собирался, — навестить его в ближайшее время, причем только теперь вспомнил, что обязан расплатиться с ним за его труды по наблюдению за ремонтом дома. От всякого вознаграждения Белингер скромно отказался, но очень обрадовался тому, что сможет еще раз посетить дом, который так напоминает ему о юности, к сожалению, уже бесконечно далекой. Они обменялись рукопожатием и посмотрели друг другу в глаза. У адвоката они казались влажными, Греслер же и сейчас не ощущал того волнения, которого напрасно ждал целый день и которое могло бы рассеять неприятный осадок, оставшийся от встречи с другом.

Через минуту он уже был на улице, мучительно ощущая свою внутреннюю опустошенность. Небо прояснилось, и воздух потеплел. Доктор погулял по главной улице, останавливаясь перед витринами магазинов и чувствуя легкое удовлетворение при мысли о том, что и в его родном городе повсюду начинается отчетливо сказываться современный стиль. Наконец, он зашел в магазин мужских мод, где собирался купить несколько мелких туалетных принадлежностей и шляпу.

Против обыкновения, шляпу он выбрал на этот раз мягкую и с довольно широкими полями; глянув в зеркало, он пришел к выводу, что она идет ему гораздо больше, чем твердые котелки, которые он считал необходимым носить раньше, и убедился в своей правоте, когда, продолжая прогулку в наступающих сумерках, заметил, как много женщин и девушек бросают на него взгляды. Внезапно ему пришло в голову, что тем временем могло прийти письмо от Сабины, и он заспешил домой. Там его действительно ждало несколько писем, большинство из которых было переслано из курортного городка, но от Сабины ничего. Сначала Греслер почувствовал разочарование, но потом понял, что ожидал невозможного, более того — невероятного; он вновь ушел из дому и отправился слоняться по улицам. Затем ему вдруг захотелось сесть в проходящий мимо трамвай и проехать остановку. Он встал на задней пло-

щадке и впервые с легкой досадой подумал о том, что на месте окраины, через которую он сейчас едет, в годы его юности расстилались только поля и луга. Большинство пассажиров мало-помалу вышло, и только теперь он заметил, что кондуктор так и не подошел к нему. Он оглянулся по сторонам и увидел, что на него дружелюбно, хоть и насмешливо смотрят чьи-то глаза. Принадлежали они молоденькой, чуточку бледной девушке в простом светлом платье, стоявшей уже довольно долго рядом с ним на площадке.

— Вы, конечно, удивляетесь, почему не подходит кондуктор, — сказала она, закинув голову и весело глядя на Греслера из-под черной плоской соломенной шляпки, которую она одной рукой придерживала за поля.

— Конечно, — несколько натянуто ответил он.

— А у нас нет кондукторов, — пояснила девушка. — Видите, вон там, впереди, около вожатого, есть ящик. Туда нужно бросить десять пфеннигов, и все в порядке.

— Благодарю! — сказал доктор, прошел вперед, сделал то, что ему посоветовали, вернулся и повторил: — Благодарю, фрейлейн. Это поистине очень удобное новшество, особенно для жуликов.

— Ну, не скажите, — возразила девушка. — Жители нашего города — люди честные.

— Мне, разумеется, и в голову не приходит сомневаться в этом. Но вот за кого бы, например, приняли здесь меня?

— За приезжего. Ведь вы и есть приезжий?

Она с любопытством взглянула на него.

— Можно назвать меня, конечно, и так, — согласился Греслер, посмотрел на улицу и снова быстро повернулся к своей соседке. — Ну, а какого рода приедем вы меня считаете?

— Ясно, что вы немец, быть может, даже из соседних мест. Но вначале я думала, что вы издалека — из Испании или Португалии.

— Из Португалии? — повторил он и невольно дотронулся до своей шляпы. — Нет, конечно, я не португалец. Хотя и знаком немного с этой страной, — словно вскользь добавил он.

— Я так и думала. Вы, конечно, порядком попутешествовали?

— Да, немного, — ответил Греслер, и в его глазах тускло забрезжило воспоминание о чужих морях и странах. Он не без удовольствия отметил про себя, что во взгляде девушки помимо любопытства появилась некоторая доля восхищения. Но тут же она неожиданно объявила:

— Здесь я выхожу. Желаю вам приятных встреч в нашем городе.

— Благодарю вас, фрейлейн, — сказал Греслер и приподнял шляпу.

Девушка вышла и уже с улицы помахала ему — фамильярнее, чем можно было ожидать после столь краткого знакомства. Осмелев, Греслер уже на ходу выпрыгнул из вагона, подошел к удивленно остановившейся девушке и сказал:

— Поскольку вы пожелали мне приятных встреч, фрейлейн, а наша с вами началась столь многообещающе, нам, быть может, лучше всего...

— Многообещающе? — прервала его девушка. — Я бы не сказала.

Это прозвучало честным отказом. Поэтому продолжал он уже несколько скромнее:

— Я хотел сказать, фрейлейн, что вы такая прелестная собеседница и мне было бы очень жаль...

Она слегка пожала плечами.

— Я уже дома, и меня ждут к ужину.

— Ну, хоть четверть часика.

— Право, не могу. Спокойной ночи.

И она пошла прочь.

— Пожалуйста, не уходите! — воскликнул доктор Греслер таким почти испуганным тоном, что девушка остановилась и рассмеялась. — Не можем же мы так вдруг оборвать наше знакомство.

Девушка снова обернулась и со смехом глянула на него из-под своей темной шляпки.

— Конечно, нет, — сказала она, — это просто невозможно. Раз уж мы познакомились, так оно и должно остаться. И если мы где-нибудь встретимся, я сразу вспомню: это господин... из Португалии.

— А если бы я попросил вас, фрейлейн, предоставить мне возможность такой встречи, чтобы поговорить с вами часок?

— Сразу целый часок? У вас должно быть много свободного времени.

— Сколько угодно, фрейлейн.

— А у меня, к сожалению, нет.

— И у меня тоже не всегда.

— Сейчас у вас, видимо, отпуск?

— В известной степени. Я ведь врач. Разрешите представиться — доктор Эмиль Греслер. Я здесь родился, и здесь я дома, — добавил он быстро, словно чувствуя себя в чем-то виноватым.

Девушка рассмеялась.

— Значит, здешний? — удивилась она. — Но до чего же вы ловко притворялись! С вами и впрямь нужно держать ухо востро.

Покачивая головой, она смотрела на него.

— Итак, когда же я снова увижу вас? — настойчиво повторил Греслер.

Она задумчиво посмотрела в пространство, затем сказала:

— Если вам это не очень скучно, можете завтра вечером опять проводить меня домой.

— С удовольствием. Где вас подождать?

— Лучше всего, если вы погуляете у входа в магазин — я ведь служу в перчаточном магазине на Вильгельмштрассе двадцать четыре. Мы закрываемся в семь. И тогда вы можете, если хотите, снова проехаться со мной на трамвае, — усмехнулась она.

— У вас действительно нет больше времени для меня?

— А что же я могу еще придумать? Я должна быть дома в восемь.

— Вы живете вместе с родителями, фрейлейн?

— Теперь я тоже должна вам сказать, кто я. — Она снова взглянула на него. — Меня зовут Катарина Ребнер, мой отец служит на имперской почте. А живем мы — папа, мама и я — вон там, видите, на втором этаже, где открыто окно. А еще у меня есть сестра, только она замужем. Сегодня вечером она с мужем придет к нам — они каждый четверг приходят. Поэтому я и спешу домой.

— Сегодня — да... Но ведь не каждый же вечер?.. — подхватил Греслер.

— Что вы имеете в виду, господин доктор?

— Вы, разумеется, не все вечера проводите дома, не так ли? У вас, конечно, есть подружки, к которым вы ходите? Вы бываете наконец в театре?

— Это с нами случается редко.

Тут она приветливо поклонилась какому-то прохожему, шедшему по другой стороне улицы. Это был не очень молодой человек с пакетом в руках, одетый как квалифицированный рабочий. Он кивком ответил на ее поклон, не обратив, казалось, никакого внимания на Греслера.

— Это и есть мой зять. Значит, сестра уже у нас наверху. Вот теперь мне действительно пора.

— Надеюсь, у вас не возникнет неприятностей из-за того, что я позволил себе проводить вас так далеко, до самого дома?

— Неприятностей? К счастью, я уже совершеннолетняя, и дома у меня уже знают, с кем имеют дело. Итак, до свидания, господин доктор.

— До завтра?

— Да.

— В семь часов, на Вильгельмштрассе, — повторил Греслер.

Все еще продолжая стоять, она немного задумалась, затем вдруг быстро взглянула на него и решительно бросила:

— Да, в семь. Но... — добавила она, заколебавшись, — раз уж вы сами заговорили о театре, вы, наверно, не рассердитесь на меня...

— С какой стати мне сердиться?

— Я хочу сказать, раз уж вы об этом сами заговорили... вы, может быть, возьмете билеты в театр? Это было бы чудесно — я так давно не была там.

— С удовольствием! Буду счастлив доставить вам маленькое развлечение.

— Только не на дорогие места — ведь вы к ним, наверно, привыкли. А то я не получу никакого удовольствия.

— Можете быть совершенно спокойны, фрейлейн... фрейлейн Катарина.

— И вы действительно не сердитесь на меня, господин доктор?

— Помилуйте, фрейлейн Катарина, с какой стати?..

— Итак, до свидания, господин доктор! — Она протянула ему руку. — Теперь я действительно должна спешить, а завтра нам можно будет побыть вместе подольше.

Девушка повернулась так быстро, что он не успел перехватить взгляд, сопровождавший эти слова. Но голос ее звучал достаточно многообещающе.

Когда доктор Греслер оказался у себя в четырех стенах, образ Сабины вновь со всей своей страстной силой ожил перед ним. Он почувствовал непреодолимую потребность написать ей хотя бы несколько слов. Он наскоро сообщил ей, что доехал благополучно, нашел свою квартиру в полном порядке и уже имел серьезный разговор со своим старым другом Белингером, а завтра, чтобы не тратить времени попусту, пойдет в больницу, где одним из отделений заведует его старый коллега по университету, как он ей однажды уже рассказывал. Подписавшись: «С искренним и дружеским приветом, Эмиль», он еще раз вышел на улицу и сам отнес письмо на вокзал, чтобы оно ушло сегодня же с ночным поездом.

IX

На следующее утро, как доктор и писал Сабине, он отправился в больницу, где старый коллега радушно принял Греслера и по просьбе последнего взял его с собой на обход больных. С вниманием, которому он сам искренне радовался, Греслер обошел с коллегой все палаты, расспрашивая его подробно об истории болезни и лечении наиболее интересных случаев; высказывая свое мнение, он скромно добавлял: «В той мере, в какой нам, курортным врачам, удастся следить за современной медициной». Обедал он вместе с несколькими ординаторами в скромном ресторане напротив больницы и так хорошо чувствовал себя за профессиональной беседой с молодыми коллегами, что решил отныне заходить сюда почаще. На обратном пути он купил билеты в театр, а вернувшись домой, принялся листать медицинские газеты и журналы, но с каждым часом становился все рассеянее, отчасти из-за того, что

ждал известий от Сабины, отчасти от неясных надежд на сегодняшний вечер. Чтобы подготовиться ко всяким случайностям, он решил запастись закуской и двумя бутылками вина — в конце концов это ни к чему его не обязывало. Он вышел на улицу, сделал необходимые покупки и велел доставить их к нему домой, а около семи часов уже прогуливался по Вильгельмштрассе, на этот раз не во вчерашней романтической мягкой шляпе, а в обычном черном котелке. Это он сделал, во-первых, для того, чтобы не обращать на себя внимания, а во-вторых, как решил про себя, чтобы проверить чувства Катарины.

Он рассматривал какую-то витрину, как вдруг за его спиной раздался голос девушки:

— Добрый вечер, доктор.

Он обернулся, протянул ей руку и с удовольствием взглянул на эту милую, изящно одетую девушку, которую любой принял бы за хорошо воспитанную буржуазную барышню; впрочем, доктор Греслер и считал ее такой, помня, что она дочь государственного служащего.

— Как вы думаете, — сразу же спросила она, — за кого принял вас вчера мой зять?

— Понятия не имею... Наверно, тоже за португальца?

— Нет, не за португальца, а за капельмейстера. Он сказал, что вы очень похожи на одного его знакомого капельмейстера.

— Ну, а вы его разочаровали?

— Вот именно. Разве я поступила неправильно?

— О, у меня нет никаких оснований делать тайну из своей профессии. А дома вы сказали, что сегодня идете со мной в театр?

— До этого никому нет дела. К тому же меня никто и не спрашивал: я ведь могла пойти и одна.

— Конечно, могли. Но мне гораздо приятнее, что вы пойдете в театр не одна...

Она взглянула на него, по привычке держась за поля своей шляпы, и сказала:

— Одной гораздо хуже. В театр хорошо ходить только с компанией. Хорошо, когда рядом с тобой сидит и смеется кто-нибудь, на кого можно взглянуть и...

— И?... Что вы хотели сказать?

— И за руку ущипнуть, если станет особенно интересно.

— Надеюсь, сегодня вам будет очень интересно... Я, во всяком случае, весь в вашем распоряжении.

Она тихонько рассмеялась и пошла быстрее, словно боясь опоздать к началу.

— Мы пришли слишком рано, — сказал доктор, когда они уже подходили к театру. — У нас впереди еще четверть часа.

Но девушка уже не слушала его. Со сверкающими глазами она взбежала, обогнав спутника, на первый ярус, едва обратила внимание на то, что он помог ей снять жакет, и только когда они заняли свои места в третьем ряду, бросила на него благодарный взгляд.

Доктор Греслер, ища знакомых, стал рассматривать публику, наполняющую зрительный зал. Там и сям мелькали люди, которых он, казалось, когда-то знал. Однако сам он сидел в тени, и его никто не узнавал.

Поднялся занавес. Давали новую немецкую комедию. Катарина смотрела с восторгом, часто смеялась и почти не обращала внимания на своего соседа. В первом антракте он купил ей конфет, которые она приняла с благодарной улыбкой. Во втором акте она уже весело поглядывала на него в местах, которые особенно ее смешили. Спектакль шел своим чередом, доктор Греслер следил за сценой довольно рассеянно, но вдруг почувствовал, что из одной ложи кто-то смотрит на него в бинокль. Он узнал Белингера и спокойно кивнул ему, но никак не ответил на иронически-вопросительный взгляд своего старого друга. Прогуливаясь в последнем антракте с Катариной по фойе, он неожиданно взял ее под руку — она отнеслась к этому совершенно равнодушно — и начал излагать ей свое мнение об игре актеров, причем так интимно и тихо, словно их связывала какая-то общая чудесная тайна, — и в конце концов был весьма разочарован тем, что так и не встретил Белингера. Прозвучал последний звонок, Греслер снова сел рядом с Катариной и придвинулся к ней так близко, что руки их соприкасались, а когда она двигалась, он чувствовал, как постепенно между ними устанавливаются все более близкие отношения;

в гардеробе, подавая ей жакет, он даже решился погладить ее по щекам и голове.

Когда они уже стояли у ворот дома, она сказала, глядя на него из-под шляпки, тоном, который не звучал слишком серьезно:

— А теперь мне надо как-нибудь попасть домой.

— Но надеюсь, — ловко ввернул он, — вы, милая фрейлейн Катарина, сначала окажете мне честь разделить со мной скромный ужин.

Она взглянула на него сперва вопросительно, а затем кивнула ему так серьезно и быстро, словно она поняла больше, чем он ей сказал. И, как влюбленные, шаги которых ускоряет страсть, они под руку отправились по вечерним улицам к нему домой.

Когда они вошли в квартиру и Греслер зажег свет в кабинете, Катарина огляделась вокруг и с любопытством стала осматривать портреты и книги.

— Вам нравится у меня? — спросил он.

Она кивнула.

— Но это, должно быть, совсем старый дом? Не так ли?

— Ему верных лет триста.

— А выглядит все как новое!

Он предложил Катарине посмотреть остальные комнаты — их обстановка и расположение ей очень понравились. Однако когда они вошли в комнату покойной сестры, она посмотрела на него с некоторым отчуждением.

— Значит, вы все-таки женаты и ваша жена в отъезде? — спросила она.

Сначала он улыбнулся, затем провел рукой по лбу и тихим голосом рассказал ей, что эта заново обставленная комната предназначалась для его сестры, которая умерла несколько месяцев тому назад на юге. Катарина испытующе посмотрела ему в глаза, затем подошла к нему ближе, взяла его за руку и нежно погладила ее, отчего ему стало очень приятно. Он выключил свет, повел ее в столовую, и только здесь ему удалось уговорить Катарину снять шляпу и жакет. Зато потом она сразу почувствовала себя как дома. Когда он попытался накрыть на стол, она не допустила этого и убедила его, что это уж ее дело. Подчиняясь ее шутивому приказанию, он уселся поодаль в кресле и стал растроган-

но наблюдать, как домовито она готовит ужин и как проворно она освоилась не только со столовой, но также с кухней и передней, словно занималась здесь хозяйством всю жизнь. Наконец, оба сели за стол. Она раскладывала закуску по тарелкам, он наливал вино, они ели и пили. Катарина с восторгом вспоминала сегодняшний вечер и немало удивилась, когда Греслер сказал ей, что редко бывает в театре, который ей казался средоточием всех земных наслаждений. Тогда он стал рассказывать ей о том, что образ его жизни не часто допускает развлечения подобного рода, так как он каждые полгода переезжает с места на место, — вот и сейчас он только что приехал с одного маленького немецкого курорта и скоро опять должен отплыть на далекий остров, где не бывает зимы, растут высокие пальмы и люди под палящим солнцем разъезжают по желтой земле в маленьких повозках. Катарина спросила, много ли там змей.

— От них нетрудно уберечься, — сказал он.

— А когда вы снова поедете туда?

— Скоро. Хотите поехать со мной? — спросил он ее, словно в шутку, но в то же время чувствуя по своему подогретому вином настроению, что в этой шутке есть намек на правду.

— Почему бы и нет? — ответила она спокойно, но не глядя на него.

Он подсел к ней ближе и тихо обнял ее за плечи. Она отодвинулась, и Греслеру это понравилось. Он решил обращаться с Катариной, как с настоящей дамой, встал и вежливо попросил у нее разрешения закурить сигару. Затем, курия и расхаживая взад и вперед по комнате, он серьезно и многозначительно заговорил с ней о превратностях человеческой жизни, в которой никогда ничего не знаешь наперед, рассказал о различных местах на Севере и Юге, где он уже побывал благодаря своей профессии и куда еще мог попасть. Иногда он останавливался рядом с Катариной, евшей финики и орехи, и тихо проводил рукой по ее каштановым волосам. Катарина слушала внимательно, нередко прерывая его вопросами, и в глазах ее вспыхивал какой-то насмешливый огонек, который побуждал доктора быть еще деловитее и красноречивее в своих рассказах. Когда стенные часы пробили полночь, Катарина вста-

ла, словно это был непререкаемый сигнал к уходу, и Греслер в глубине души почувствовал даже некоторое облегчение. Перед тем как уйти, Катарина прибрала со стола, расставила по местам кресла и привела в порядок всю комнату. Уже в дверях она вдруг приподнялась на цыпочки и протянула доктору губы для поцелуя.

— Это за то, что вы хорошо вели себя, — сказала она, и в глазах ее снова промелькнуло что-то странно насмешливое.

При свете догорающей свечи, которую нес Греслер, шедший впереди, они спустились вниз по лестнице. На ближайшем углу стоял извозчик, Греслер сел в коляску вместе с Катариной, она прижалась к нему, он обнял ее за плечи, и они молча ехали по ночным улицам, пока наконец почти около самого дома Катарины Греслер не привлек девушку к себе и не начал покрывать страстными поцелуями ее щеки и губы.

— Когда я опять увижу тебя? — спросил он, когда экипаж по просьбе Катарины остановился в некотором отдалении от ее дома. Она обещала ему прийти завтра же вечером, затем вышла, попросив его не провожать ее до ворот, и исчезла в тени домов.

На следующее утро у доктора Греслера не было ни малейшего желания идти в больницу, однако позже, гуляя в городском парке под прохладными лучами ясного осеннего солнца, в такое время дня, когда все люди заняты делами, он ощутил некоторые угрызения совести, словно должен был отчитываться не только перед самим собой, но и перед кем-то другим; и он знал, что этим другим была Сабина. Мысль о санатории доктора Франка с новой силой овладела им. Греслер стал изобретать всякого рода новшества, придумал, как заново оборудовать ванное помещение, составил рекламный проспект в таких потрясающе сильных выражениях, какие до сих пор ему и в голову не приходили, и, наконец, поклялся себе, что, как только придет какое-нибудь известие от Сабины, он в тот же час отправится обратно и доведет дело до конца. Если же она не ответит и на последнее его письмо, тогда всему конец, — по крайней мере, их отношениям. Ведь ставить покупку санатория в зависимость от поведения Сабины нет совершенно никаких оснований. Было бы даже совсем неплохо — чертовски увлекательная идея! —

приехать в великолепный перестроенный санаторий с новой директоршей, и лучше всего с такой, которая, в отличие от Сабины, не будет считать его эгоистичным и скучным педантом-холостяком. Если бы ему вдруг пришло в голову выбрать себе в спутницы жизни Катарину, то уж больше никто не назвал бы его филистером и педантом. Он присел на скамейку. Вокруг бегали дети. В пожелтевшей листве сверкали лучи осеннего солнца. С далекой фабрики донеслись гудки — обеденный перерыв. «Сегодня вечером!» — подумал он. Сегодня вечером! Неужели он еще раз почувствует себя молодым? К лицу ли ему, в его-то годы, подобные приключения? Может быть, отказаться? Уехать? Уехать сейчас же, с первым пароходом, и сразу в Ландзароте? Или обратно... к Сабине? К этому милому созданию с такой чистой душой? Гм! Кто знает, как сложилась бы ее жизнь, если бы в подходящий момент ей встретился настоящий человек, а не циник-тенор и меланхолик-врач...

Греслер встал и первым делом отправился обедать в дорогой ресторан. Там можно обойтись без деловых разговоров с молодыми коллегами, как вчера; обо всем же остальном у него еще есть время подумать.

Х

Он только что сел после обеда за письменный стол и раскрыл случайно оказавшийся перед ним анатомический атлас, как в дверь постучали и в комнату вошла привратница, присматривавшая в его отсутствие за квартирой. Рассыпаясь в извинениях и взывая к доброте доктора, она спросила, не найдет ли он возможным подарить ей что-нибудь из гардероба покойной барышни. Греслер нахмурился. «Эта особа,— подумал он,— никогда не посмела бы явиться ко мне с такой наглой просьбой, если бы не знала, что я принимаю у себя на квартире женщин». Он ответил неопределенно, будто согласно воле покойной он намерен пожертвовать все ее вещи в какое-нибудь благотворительное учреждение, пока что у него вообще не было времени разобраться в них, и потому обещать он сейчас ничего не может. Оказалось, что привратница на

всякий случай захватила с собой даже ключи от чердака. С назойливой улыбкой вручив их доктору, она горячо поблагодарила его, словно он уже исполнил ее просьбу, и, наконец, удалилась. Греслер в душе обрадовался возможности хоть чем-нибудь заполнить время до вечера и, раз уж ключи очутились у него в руках, решил отправиться на чердак, где не бывал с детских лет. Поднявшись по деревянной лестнице, он отпер дверь и вошел в узкое помещение, куда через крохотное косое оконце проникал такой скудный свет, что вначале доктор с трудом различал предметы. Темные углы чердака были завалены ненужным и позабытым домашним хламом, а в середине стояли ящики и сундуки. Греслер наудачу открыл один из них. Там лежали, по-видимому, только гардины и столовое белье, и Греслер, не испытывая никакого желания все распаковывать и приводить в порядок, поскорее захлопнул крышку. Зато в другом продолговатом ящике, по форме похожем на гроб, оказались очень интересные для Греслера вещи. Он нашел там кучу различных бумаг: документы, письма в конвертах, запечатанные пакеты всевозможных размеров; на одном из них он прочел надпись: «Осталось от отца». Греслер даже не представлял себе, что сестра его сберегала все это так тщательно и аккуратно. Он взял в руки другой пакет за тремя сургучными печатями, на котором большими буквами было написано: «Сжечь, не вскрывая». Доктор только грустно покачал головой. «При первом удобном случае твоя просьба будет исполнена, бедная моя Фридерика!» — подумал он. Положив на место пакет, в котором лежали, вероятно, дневники и невинные романтические послания времен далекого прошлого, Греслер открыл третий сундук, где обнаружил платки, шали, ленты и пожелтевшие кружева. Он стал перебирать их и разглядывать; кое-что, насколько ему помнилось, он видел еще на матери и даже на бабушке. А многое носила сама сестра, особенно в юные годы. Например, красивую индийскую шаль с вышитыми на ней зелеными листьями и цветами, подаренную ему перед отъездом специально для сестры одним богатым пациентом, она, несомненно, надевала еще не так давно. Эта шаль и некоторые другие вещи не могут пригодиться ни привратнице, ни благотворительному учреждению — они подойдут скорее какой-

нибудь молодой хорошенькой женщине, которая будет так любезна, что согласится скрасить ему, старому одинокому холостяку, несколько скучных часов. Он тщательно запер сундук, предварительно вынув и бережно сложив шаль, и с довольной улыбкой на лице спустился с чердака к себе в кабинет.

Ему не пришлось ждать долго. Катарина явилась немного раньше назначенного часа прямо из магазина, даже не переодевшись, за что с улыбкой извинилась перед ним. Доктор, обрадованный ее приходом, поцеловал ей руку и с шутивно-церемонным поклоном преподнес шаль, заранее приготовленную для нее на столе.

— Что это? — с удивлением спросила она.

— Нечто такое, что вас украсит, — ответил он, — хотя вы могли бы обойтись и без этого.

— Ну, зачем вы, право... — запротестовала она, но все-таки взяла шаль в руки, стала ее разглядывать, потом накинула на плечи, завернулась в нее, все так же молча посмотрелась в зеркало и, придя, наконец, в искреннее восхищение, подошла к Греслеру, подняла на него глаза, взяла обеими руками его голову и поцеловала в губы. — Тысяча благодарностей, — сказала она.

— Этого мне мало.

— Ну, тогда миллион.

Он покачал головой. Она улыбнулась, прошептала: «Благодарю тебя», и опять протянула губы. Он обнял девушку и рассказал ей, что эту красивую вещь он сегодня разыскал для нее на чердаке и что она найдет там, в ящиках и сундуках, еще многое, что ей будет не меньше к лицу, чем шаль. Она покачала головой, словно не соглашаясь в будущем на такие дорогие подарки. Греслер стал расспрашивать Катарину, какое впечатление произвел на нее вчерашний вечер, много ли было сегодня работы в магазине, и, выслушав от нее все, что его интересовало, сам рассказал ей, как старой доброй приятельнице, обо всем, что делал в этот день, — он махнул рукой на больницу и предпочел погулять в парке, с которым у него связано столько воспоминаний; ведь он еще ребенком играл и бегал там. Потом он вообще перешел к прошлому и особенно — отчасти случайно, отчасти умышленно — к своей службе в качестве корабельного врача. Когда Катарина прерывала его своими по-детски любознательными вопросами

о внешности, одежде и нравах различных народов, о коралловых рифах и морских бурях, ему казалось, словно те вещи, о которых он совсем недавно с успехом рассказывал более культурному обществу, ему приходится излагать теперь в популярной форме перед более наивной, но зато более благодарной публикой; и он невольно перенял тон и манеры старого дядюшки, который в вечерних сумерках приводит в трепет и удивление замерших ребятишек, рассказывая им сказки и страшные истории.

Катарина, которая все время сидела рядом с ним на диване, держа свои руки в его руках, как раз собиралась встать, чтобы приготовить ужин, когда в дверях раздался звонок. Греслер слегка вздрогнул. «Что это может означать? — лихорадочно пронеслось у него в голове. — Телеграмма? Из дома лесничего? От Сабины? Быть может, заболел ее отец? Или мать? Или что-нибудь насчет санатория? Настойчивый запрос от владельца? Появился другой покупатель? А вдруг это сама Сабина? Что же тогда делать? Да, уж тогда, во всяком случае, она перестанет считать его филистером. Нет, нет, девушки с кристально-чистой душой не звонят так поздно вечером в квартиру холостяка».

Позвонили вторично, резче, настойчивее. Греслер заметил, что Катарина смотрит на него вопросительно, но спокойно. Слишком спокойно, внезапно подумал он. Ведь это может касаться ее. Отец? Или зять, мнимый зять? Злой умысел? Шантаж? Эх, поделом ему! И как только он мог так влопаться! Он просто старый дурак. Но нет, это им не удастся. Не на такого напали. Ему приходилось переживать еще и не такие истории. Да, да, черт побери! Ведь на том острове в южных морях пуля едва не задела его, а красивый блондин — помощник капитана стоял рядом с ним, когда того настигла смерть.

— Ты не посмотришь, кто там? — спросила Катарина, явно удивленная странным выражением его лица.

— Конечно, посмотрю, — ответил он.

— Кто же это может быть так поздно? — услышал он за спиной голос этой притворщицы, когда был уже около двери.

Прикрыв ее за собой, Греслер осторожно выглянул через окошечко на лестницу. Там стояла какая-то женщина, без шляпы, со свечой в руке.

— Кто там? — спросил он.
— Простите, пожалуйста, доктор дома?
— Что вам угодно? Кто вы такая?
— Простите, я горничная фрау Зоммер.
— Я не знаю никакой фрау Зоммер.
— Она живет здесь внизу. У нее тяжело заболел ребенок. Нельзя ли видеть доктора?

Облегченно вздохнув, Греслер открыл дверь. Он знал, что тут, в доме, действительно живет вдова Зоммер с маленькой семилетней дочкой. Это, наверное, та изящная дама в трауре; он только вчера встретил ее на лестнице, даже еще обернулся — без всякой задней мысли, конечно.

— Доктор Греслер — это я. Что вам угодно?

— Не будете ли вы так добры зайти к нам, доктор: ребенок весь в жару и непрерывно плачет.

— Но я здесь в городе только проездом и не практикую. Пригласите лучше другого врача.

— Да разве ночью кого-нибудь найдешь!

— Еще не так поздно.

Этажом ниже неожиданно открылась дверь, и отблеск лампы осветил лестницу.

Кто-то шепотом позвал:

— Анна.

— Это сама фрау Зоммер, — торопливо пояснила горничная и подбежала к перилам. — Я тут.

— Что же вы так долго? Неужели доктора нет дома?

Греслер тоже подошел к перилам и посмотрел в пролет. Женская фигура внизу — лица различить в темноте было нельзя — протянула к нему руки, как к спасителю.

— Слава богу! Доктор, вы ведь придете? Ребенок... я не знаю, что с ним.

— Я... Разумеется, приду. Потерпите, пожалуйста, минутку — я только захвачу термометр. Сейчас, сейчас, сударыня...

— Благодарю вас, — донесся снизу шепот, когда доктор Греслер уже закрывал дверь.

Он торопливо вернулся в комнату. Катарина в выжидательной позе стояла у стола. Он почувствовал нежность к ней, тем более что недавно заподозрил ее в такой низости. Она показалась ему очень трогательной, ну прямо сущим ангелом. Доктор подошел к ней и погладил ее по волосам.

— Нам не везет, — проговорил он. — По крайней мере, мне. Представь, меня только что вызвали к больному ребенку, здесь же, в доме. Естественно, отказаться я не мог, и мне, к сожалению, остается лишь проводить тебя до первого извозчика.

Катарина взяла его руку, которой он все еще гладил ее по голове.

— Ты меня прогоняешь?

— Поверь, весьма неохотно. Но, быть может, ты меня подождешь?

Она погладила его по руке.

— А ты надолго?

— Во всяком случае, постараюсь поскорей! Ты очень, очень милая.

Он поцеловал девушку в лоб, быстро принес из кабинета черный саквояж с инструментами, всегда лежавший там наготове, попросил Катарину не скучать в его отсутствие, в дверях еще раз обернулся, — девушка приветливо кивнула ему, — сбежал вниз по лестнице, счастливый сознанием того, что, возвратясь домой после трудной и горестной работы, он будет ласково встречен прелестной юной женщиной.

Когда Греслер вошел в комнату, фрау Зоммер сидела у постели девочки, метавшейся в жару. Задав несколько предварительных вопросов, доктор тщательно исследовал маленькую пациентку и в заключение должен был сделать вывод, что у ребенка, вероятно, начинается скарлатина. Мать была в совершенном отчаянии. Одного ребенка она уже потеряла три года назад, муж ее умер полгода назад на чужбине во время деловой поездки — она даже не видела его могилы. Что будет с ней, если она лишится теперь последнего, что у нее осталось? Греслер заверил, что пока нет никаких оснований особенно волноваться: может быть, все ограничится простым воспалением горла; к тому же такой здоровый, крепкий ребенок легко перенесет и более серьезное заболевание. Он постарался привести и другие утешительные доводы и с чувством удовлетворения заметил, что его рассудительность не преминула оказать действие на бедную женщину. Он прописал лекарство, и горничную немедленно послали в ближайшую аптеку; Греслер тем временем продолжал сидеть возле больного ребенка, поминутно щупая ему пульс

и сухой горячий лобик, причем руки его при этом касались порой рук встревоженной матери. Помолчав довольно долго, она опять принялась испуганно расспрашивать его. Доктор отечески взял ее за руку, вновь стал успокаивать и при этом невольно подумал, что сейчас Сабина была бы вполне им довольна. Однако в то же самое время при тусклом зеленоватом отблеске лампы под большим абажуром он заметил и то, что легкий свободный капот молодой вдовы таит под собой, наверно, прелестные формы. По возвращении горничной он встал и повторил то, о чем заявил с самого начала: он не может, к сожалению, взять на себя дальнейшее лечение ребенка, так как на днях собирается уехать. Мать умоляла его хотя бы до отъезда навещать больную: она так разочаровалась в местных врачах, а к нему с первой же минуты прониклась безграничным доверием. Она убеждена, что только он, он один может спасти ее дорогую девочку. Греслеру не осталось поэтому ничего другого, как обещать покамест зайти завтра утром. Постояв еще немного у постельки ребенка и удостоверившись, что девочка дышит теперь спокойнее и легче, он сердечно пожал матери руку и ушел, чувствуя на себе ее взгляд, полный горячей благодарности.

Быстро поднявшись на третий этаж, он отпер дверь и вошел в столовую. Там было пусто. «Немного же у нее терпения», — подумал он про себя. Впрочем, этого следовало ожидать. Может быть, оно и к лучшему — а вдруг у ребенка какая-нибудь заразная болезнь. Катарина, вероятно, подумала об этом и испугалась. Сабина, та, конечно, не убежала бы. Как бы то ни было, а перед уходом гостя чуть-чуть полакомилась. Греслер посмотрел на стол с остатками ужина, и по губам его скользнула пренебрежительная усмешка. «А недурно было бы, — мелькнуло у него в голове, — еще раз спуститься вниз и посидеть у хорошенькой вдовушки». Доктор понимал, что сейчас, у постели больного ребенка, он добился бы у нее всего, чего захотел, и эта мысль вовсе не казалась ему такой уж гнусной. «Нет, нет, лучше не надо, — решил он все-таки минуту спустя. — Я филистер, филистером и останусь. На этот раз и Сабина, наверно, извинила бы меня». Дверь в кабинет была приотворена. Он вошел и включил свет. Так и есть, Катарина

ушла. Погасив опять электричество, Греслер заметил, что из спальни, сквозь дверную щель, пробивается свет. В нем ожила слабая надежда. Он медлил — как-никак, а приятно хоть немного потешить себя этой слабой надеждой. Потом он вдруг услышал в спальне шорох и шелест и быстро открыл дверь. Катарина лежала или, вернее, сидела у него на постели и разглядывала какую-то толстую книгу, держа ее обеими руками поверх одеяла.

— Ты не рассердишься на меня? — просто спросила она.

Ее волнистые каштановые волосы растрепались и спустились на нежные белые плечи. Как она хороша! Греслер все еще неподвижно стоял в дверях. Он улыбался: книга, лежавшая на одеяле, была анатомическим атласом.

— Что это ты выбрала себе для чтения? — спросил он, несколько смущенно приближаясь к девушке.

— Она лежала у тебя на письменном столе. Может быть, ее нельзя трогать? Ну, извини. Без нее я наверняка бы заснула, и тогда уж меня было бы не добудиться.

Глаза ее улыбались, но уже не насмешливо, а скорее покорно. Греслер присел на постель, привлек Катарину к себе, поцеловал в шею, и тяжелая книга с шумом захлопнулась.

XI

На следующее утро, когда доктор Греслер отправился к маленькой пациентке, у которой с полной очевидностью обнаружилась скарлатина, Катарина ушла, но уже к вечеру появилась снова и, к его удивлению, с маленьким чемоданчиком. Правда, ночью она рассказывала, что ей полагается ежегодно неделя отпуска. Этим летом она, словно что-то предчувствуя, еще не воспользовалась своим правом. Греслер, в чаду первых объятий, поспешил предложить ей маленькое свадебное путешествие. Когда же сегодня с чемоданом в руках она радостно вбежала и объявила: «Ну, вот, я готова. Едем хоть сейчас на вокзал», в нем сразу шевельнулась досада на то, что она так бесцеремонно, с первой

минуты начинает посягать на его свободу. Он был почти рад, что может сослаться на свой врачебный долг, который вынуждает его задержаться в городе еще на несколько дней. Катарину это, по-видимому, нисколько не огорчило, она тотчас же переменяла тему, показала ему новые красивые желтые туфельки и стала рассказывать о своем хозяине, который только что вернулся из Парижа и Лондона с новым запасом товара; при этом она порхала по комнате, приводила в порядок книги на полке и убирала письменный стол. Греслер молча стоял у окна и растроганно смотрел на нее. Взгляд его упал на убогий чемоданчик, стыдливо стоявший перед ним на полу, и в нем шевельнулась жалость: неужели ей придется тащить его обратно домой? Вначале он ничего не сказал по этому поводу; однако потом, усевшись в свое кресло за письменным столом и посадив ее, как ребенка, к себе на колени, он, когда Катарина доверчиво обвила рукой его шею, неожиданно спросил:

— А зачем нам, в сущности, уезжать? Разве ты не можешь провести отпуск просто-напросто у меня в доме?

— Вряд ли это возможно, — неуверенно возразила она.

— Почему же? Разве здесь не прекрасно?

И, указав через окно на линию холмов, тянувшихся на горизонте, он шутливо добавил:

— Столом и квартирой ты останешься довольна.

Внезапно решившись, он подал Катарине руку, провел девушку в спальню своей покойной сестры, зажег лампу, которая озарила уютную комнату мягким розоватым светом, и великодушным жестом как бы предложил возлюбленной принять в дар все, что здесь было.

— Не хочешь? — мягко спросил Греслер.

— Это невозможно, — тихо ответила она.

— Почему? По-моему, вполне возможно.

Тогда, словно ему оставалось только побороть в ней какую-то суеверную боязнь, пояснил:

— Ведь тут все новое, даже обои. Раньше тут было куда менее уютно и хорошо.

И, помолчав, медленно добавил:

— Может быть, все так и должно было случиться.

— Не говори так, — боязливо возразила Катарина.

Однако, осмотревшись немного, она повеселела и, словно испытующе, потрогала пеструю, в цветах, обивку

кресла подле кровати. Потом обратила внимание на светлые салфеточки над туалетным столиком, на красивые гребни и граненые вазочки на нем. Пока она все это разглядывала, Греслер вышел из комнаты и через секунду вернулся с ее чемоданчиком. Она повернулась к нему, слегка вздрогнула и чуть-чуть недоверчиво улыбнулась. Он кивнул головой, она заколебалась, но потом, как бы уступая, протянула ему обе руки. Он поставил чемоданчик и с чувством гордости, но растроганно привлек девушку к себе на грудь.

Для Греслера наступила чудесная пора, какой он, пожалуй, не переживал и в юности. Точно счастливые молодожены, они почти весь день проводили в своей уютной квартирке, пользуясь услугами привратницы, которая тем легче освоилась с весьма необычным для городка новым положением вещей, что доктор Греслер поспешил удовлетворить ее нескромную просьбу и щедро подарил ей много вещей из гардероба покойной сестры. По вечерам счастливая парочка, тесно прижавшись друг к другу, прогуливалась под руку по спящим улицам, а однажды, в яркий солнечный день, они даже поехали после обеда кататься за город, нисколько не беспокоясь о том, что могут встретить родных Катарины, которые были уверены, что она гостит у подруги в деревне. В другой раз, когда они еще сидели за обедом, явился Белингер; доктор Греслер, заколебавшийся вначале, принять ли ему друга, остался очень доволен его посещением: адвокат был изысканно вежлив с его прелестной подругой, называл ее «сударыня» и после краткого делового разговора, ради которого он и пришел к Греслеру, любезно откланялся, на прощание учтиво поцеловав руку Катарину. После этого Греслер проникся к девушке еще большей нежностью: она показала себя хорошей хозяйкой, умеющей вдобавок прекрасно держать себя в обществе.

XII

Свою маленькую пациентку доктор Греслер навещал каждое утро. После визита, опасаясь заразить Катарину, он регулярно гулял около получаса. Болезнь девочки, начавшаяся столь серьезно, протекала, к его удивлению,

чрезвычайно легко; напряжение и тревога первых тяжелых дней миновали, а фрау Зоммер оказалась весьма симпатичной, веселой и разговорчивой дамой. Трудно сказать — случайно или умышленно, но матине, в котором она обыкновенно встречала врача, было застегнуто отнюдь не так тщательно, как того требовали бы строгие приличия. Она никогда не забывала осведомиться о самочувствии «маленькой подружки» Греслера, как она называла Катарину; спрашивала, собирается ли он взять ее с собой в Африку, — фрау Зоммер нравилось именовать так предполагаемое зимнее местопребывание доктора, — или его там уже нетерпеливо ждет другая красавица — может быть, чернокожая. Однажды она попыталась даже во что бы то ни стало вручить ему коробочку шоколадных конфет — подарок для Катарины, но он счел за благо отклонить предложение, объявив, что боится стать переносчиком инфекции. Со своей стороны, Катарина тоже не скупилась на замечания насчет молодой вдовушки, и хотя их иронический тон был, вероятно, отчасти подсказан легкой ревностью, они, как это подтверждали собственные наблюдения Греслера, были не лишены оснований. Фрау Зоммер еще при жизни мужа, который, будучи вояжером, мало находился дома, не пользовалась безукоризненной репутацией; дочка родилась у нее до замужества, и казалось очень сомнительным, что ее супруг был отцом ребенка. Все это пересказала Катарине привратница, с которой в те немногие часы, когда доктора не бывало дома, девушка беседовала дольше и, во всяком случае, доверительнее, чем ему бы хотелось.

Однажды он попытался даже убедить свою подругу в том, что такая близость ей не подобает. Но Катарина, казалось, не поняла его доводов, и доктор замолчал, не желая омрачать неприятной размолвкой свое столь краткое счастье. Он вообще твердо решил смотреть на всю эту любовную историю, как на милое приключение, которое не должно иметь никаких серьезных последствий. Поэтому, когда Катарина любопытно, хотя скромно и как бы ненамеренно стала расспрашивать его о планах на зиму, о климате островка Ландзароте и о тамошней публике, он ответил ей очень уклончиво и поскорее перевел разговор на другую тему, чтобы не возбуждать в ней надежд, осуществлять которые он от-

нюдь не собирался. Испытывая одно желание — ничем не омрачать это короткое счастливое время, Греслер тоже не интересовался ее прошлым, вполне довольствовался настоящим и наслаждался не только тем счастьем, какое она давала ему, но — и еще больше — тем, какое мог дать ей сам.

Дни и ночи сменяли друг друга, и постепенно, особенно по утрам, когда Катарина еще спала возле него, в нем начала все сильнее пробуждаться тоска по Сабине. Греслер думал о том, насколько он был бы счастливее, насколько достойнее сложилась бы его жизнь, если бы вместо этой хорошенькой крошки-продавщицы, у которой, помимо помолвленного с нею бухгалтера, было, наверное, еще несколько любовников, которая надувает своих честных родителей и с восторгом слушает сплетни привратницы, если бы вместо этого незначительного создания, правда, очень милого и доброго, здесь, на его подушке, покоилась белокурая головка того прекрасного существа, которое с такой чистой душой предложило ему себя в спутницы жизни и которое он оттолкнул из-за какого-то совершенно непонятного неверия в самого себя. Ему было ясно теперь, что его робкое глупое письмо она приняла просто за решительный отказ, в сущности, он и сам тогда думал именно так. Но разве уже нельзя исправить то, что он испортил своей глупостью и поспешностью? Разве вообще может чувство, которое питала к нему Сабина и которое она столь продуманно и осторожно изобразила в своем письме, попросту угаснуть в ней и никогда уже не вспыхнуть вновь? Разве он сам в своем ответе не назначил срок — и ей, и самому себе? Может быть, не давая о себе знать, она только выполняла его же условия и, может быть, именно в этом молчании, в этом терпении отражается все благородство, вся чистота ее души? И неужели теперь, когда, по прошествии им же самим назначенного срока, он явится к ней и принесет ей свою благодарность, свое окончательное, зрело обдуманное и тем более ценное согласие, он не найдет ее такую же, какой недавно оставил? Едва ли в мирной тиши лесничества мог появиться кто-либо другой; чистое сердце Сабины не могло смутить ни его нелепое, но, в сущности, беззлобное письмо, ни какое-нибудь внезапное новое чувство. Да, да, все его опасения не что

иное, как последняя вспышка упрямства в его собственной одинокой, боязливой душе, теперь, благодаря редкой милости случая, вновь обретшей и веру в себя, и решимость. Ему все чаще казалось, что истинное призвание Катарины — вернуть его к Сабине, в любви которой скрыт весь смысл его жизни. И чем доверчивее, не думая о будущем, Катарина отдавала ему свое юное, пылкое сердце, тем настойчивее и нетерпеливее вся душа его рвалась к Сабине.

Внешние обстоятельства также побуждали доктора поторопиться с окончательным решением: уже подходил к концу октябрь. Прежде всего Греслер счел необходимым уведомить владельца санатория, что собирается приехать через несколько дней и все выяснить. Ответа, однако, не последовало. Тогда Греслер послал телеграмму с запросом, может ли он в такой-то день застать доктора Франка, но опять безрезультатно. Это рассердило, но не встревожило Греслера: он прекрасно помнил, какой угрюмый, нелюбезный характер у этого господина. Предупредить же письмом о своем приезде Сабину он был не в силах. Он просто поедет, встанет перед ней, возьмет ее за руки — и пусть ее ясный, чистый взгляд даст ему желанный ответ.

ХІІІ

День, когда кончался отпуск Катарины и она должна была снова переехать от Греслера к родителям, был, конечно, известен заранее. Но, как будто сговорившись, они ни словом не упоминали о предстоящей и все приближавшейся разлуке. Да и все поведение Катарины настолько исключало всякую мысль об этом, что Греслер начал уже беспокоиться, не собирается ли это привязчивое создание остаться с ним на всю жизнь, точно так же, как в тот первый вечер она неожиданно явилась к нему с чемоданчиком в руках. Поэтому однажды утром, когда девушка еще спала, у доктора созрел план удрать из квартиры и из города. Незаметно для нее он начал готовиться к отъезду. Помимо индийской шали он подарил своей подруге еще кое-что из одежды покойной сестры, а также несколько недорогих украшений — более ценные вещи он решил сохранить для

Сабины. Дня за два до намеченного отъезда, в хмурый, дождливый вечер, когда Катарина сидела, как обычно, в отведенной ей комнате, Греслера опять потянуло на чердак: ему показалось, что он найдет там еще какой-нибудь подарок для Катарины, что не только успокоило бы его совесть, но до некоторой степени могло бы утешить ее после его предстоящего исчезновения. Он принялся искать: перебирал всякие вещи, открывал один сундук за другим, разглядывал шелковые материи, белье, альбомы, вуали, носовые платки, кружева, ленты. Неожиданно ему под руку опять попался пакет, который, согласно желанию покойной, следовало сжечь, не вскрывая. При мысли о том, что он теперь долго, а быть может, и никогда не попадет больше сюда, на этот темный чердак, Греслер впервые ощутил любопытство. Отложив пакет в сторону, он решил сначала припрятать его в надежное место и завещать следующему наследнику, который сможет прочесть его, не оскорбляя этим памяти давно умершего и совершенно ему неизвестного человека. Отобрав для Катарины две красивые вещицы — изящную янтарную нитку и пожелтевшую восточную вышивку, — ни той, ни другой он, кстати сказать, ни разу не видел на Фридерике, — он снес их и маленький пакет вниз, все вместе положил на письменный стол и лишь потом отправился к Катарине.

Когда он вошел, девушка сидела в кресле, закутавшись в красноватый китайский халатик с вышитыми на нем золотыми драконами, недавно подаренный ей доктором, и, держа на коленях какой-то из своих любимых иллюстрированных романов, спала. Греслер растроганно взглянул на нее, не став ее будить, вернулся в кабинет и, усевшись за письменный стол, в задумчивости принялся машинально крутить бечевку, которой был перевязан пакет. В конце концов сургучная печать лопнула и сломалась. Греслер пожал плечами. «Почему бы и нет? — подумал он про себя. — Она умерла, в бессмертие души я не верю, а если оно, паче чаяния, существует, то душа Фридерики простит меня — она ведь витает теперь в таких недосягаемых сферах... К тому же слишком мрачных тайн там содержаться не может». Доктор сорвал обертку пакета и увидел множество пачек писем, причем каждая пачка была переложена чистым листочком бумаги. Он сразу заметил,

что письма подобраны в строгом порядке. Первым в руки Греслера попало послание, написанное тридцать лет тому назад молодым человеком, который называл себя Робертом и имел, по-видимому, право обращаться к Фридерике в весьма нежных выражениях. Судя по содержанию письма, этот Роберт бывал в доме их родителей, но Греслер никак не мог припомнить, кто же это. Его рукой было написано с дюжину писем: все очень страстные, но наивные и бессодержательные, а потому и не особенно интересные. Потом пошли письма того периода, когда Греслер служил врачом на пароходе и возвращался домой только раз в два года на самое короткое время. Но эти письма были написаны несколькими почерками, и вначале Греслер никак не мог понять, что, в сущности, означают все эти страстные заверения, клятвы в верности, напоминания о прекрасных минутах, вспышки ревности, предупреждения, неясные угрозы и невероятные обвинения, — и какое вообще отношение имеет к его сестре вся эта грязь. Он уже чуть было не предположил, что письма адресованы кому-нибудь другому, какой-то из подруг Фридерики и были переданы ей только для сохранения, как вдруг один почерк показался ему знакомым, и скоро у него не осталось ни малейшего сомнения в том, что письма эти писал Белингер. Прочтя их внимательно, он распутал клубок этого странного романа, и ему стало ясно, что Фридерика на третьем десятке лет, то есть будучи уже взрослой девушкой, была тайно помолвлена с Белингером, что тот под предлогом какого-то прежнего увлечения Фридерики все время оттягивал свадьбу, что она из нетерпения, каприза или мести с кем-то ему изменила, и хотя потом пробовала с ним помириться, Белингер на все ее попытки отвечал только вспышками гнева или презрения. Тон его последних писем был настолько несдержан и, пожалуй, даже неприличен, что Греслер никак не мог уразуметь, каким образом у них в конце концов все-таки наладились хорошие отношения, а потом даже завязалась своего рода дружба. Читая, доктор испытывал не столько удивление, сколько напряженный интерес; поэтому он с возрастающим любопытством, хотя и без особого волнения, стал доискиваться, какие еще тайны жизни Фридерики откроются для него в остальных письмах. Их было не-

много, но так как почерки были очень несхожие, Греслер предположил, что Фридерика сохраняла только некоторую, избранную часть своей переписки. Так, например, в нескольких письмах оказались только разрозненные буквы и цифры, по-видимому, тайный любовный шифр. Затем следовал многолетний перерыв в датах, и дальнейшие письма относились уже к периоду, когда Фридерика поселилась вместе с братом; некоторые из них были написаны по-французски, по-английски, а два, вероятно, на каком-то славянском языке, которым, оказывается, владела Фридерика, о чем Греслер и понятия не имел. Тут были послания молящие и признательные, почтительно-осторожные и страстно-пылкие; Греслер то и дело смутно припоминал кое-каких своих пациентов, которых он сам, невольный сводник, знакомил с Фридерикой. А последнее письмо, пламенное, бессвязное и дышащее предчувствием близкой кончины, было, несомненно, написано тем чахоточным девятнадцатилетним юношей, которого Греслер лет десять назад, уже совсем умирающего, вынужден был отослать с юга на родину. Он невольно спросил себя, не эта ли любвеобильная женщина с богатым опытом, — такую вырисовывалась теперь перед ним его по видимости столь добродетельная сестра, — уготовила преждевременную кончину бедному молодому человеку? Но если вначале у доктора и возникло недоброе чувство к покойной от запоздалой обиды на то, что она так мало доверяла ему и вдобавок еще, пожалуй, считала его филистером, как та, другая, а сам он, наверное, казался людям таким же смешным, как обманутый муж, тем не менее все это искупалось умиротворенным сознанием того, что Фридерика недаром прожила жизнь, что он теперь совершенно свободен от всякой ответственности за нее и что она, как обнаружилось со всей очевидностью, ушла из жизни потому, что не могла уже брать от нее те радости, которыми прежде наслаждалась в избытке. Он еще раз проглядел письма, перебирая их одно за другим и перечитывая отдельные строки, и ему показалось, что не все, что он сегодня узнал, было для него таким уж новым и неожиданным, как он думал сначала. Вот, например, легкая интрижка, которая много лет тому назад завязалась на Женевском озере между Фридерикой и одним французским капи-

таном и о которой свидетельствовало одно из писем, лежавших перед доктором. В свое время он кое-что заметил, но не придавал этому значения, да и вообще не считал себя вправе вмешиваться в дела более чем тридцатилетней сестры. А что Фридерiku и Белингера еще очень давно, чуть ли не в детские годы, связывало серьезное обоюдное чувство, он тоже догадывался, хотя, правда, совершенно ничего не знал о дальнейшем развитии их отношений. Поэтому вполне возможно, что те странные взгляды, которые за последние годы нередко устремляла на него Фридерика, таили в себе не жалобы и упреки, чего он так опасался, а, скорее, мольбу о прощении за то, что она, скрывая от него свои переживания и чувства, жила рядом с ним, как чужая. Но ведь он и сам поверял ей только наиболее невинное из того, что пришлось ему пережить и пережить за все эти годы и что, вероятно, показалось бы не менее неожиданным и странным, чем романы Фридерики, будь это изложено в таких же письмах, которые он, как и она, просил бы сжечь, не читая. Поэтому он не считал возможным упрекнуть ее в скрытности, в которой был столько же, если не больше, повинен и сам.

Катарина подошла к нему потихоньку и закрыла ему руками глаза.

— Это ты? — спросил он, словно очнувшись.

— Я уже два раза входила, но ты так углубился в чтение, что я не захотела мешать.

Греслер взглянул на часы. Было уже половина девятого. Целых четыре часа он жил этой угаснувшей жизнью!

— Я просматривал письма моей бедной сестры, — пояснил он, сажая девушку к себе на колени. — Она была интересным человеком.

В первую минуту у него мелькнула мысль прочесть Катарине кое-что из этих писем, но он тут же почувствовал, что только оскорбил бы память покойной, позволив себе раскрыть ее жизнь перед человеком, безусловно не способным понять ее до конца. Кроме того, Катарина могла бы начать проводить параллели, к чему, если разобраться, у нее не было никаких оснований. Отодвинув в сторону письма, он дал ей этим жестом понять, что хочет поскорее уйти от прошлого, и тоном

человека, пробужденного от тяжелого сна к приятной действительности, спросил Катарину, чем она занималась. Она принялась рассказывать, как сперва читала роман, а потом перетирала серебро и хрусталь на туалетном столике и перешивала пуговицы на слишком для нее широком китайском халатике. В конце концов ей пришлось-таки сознаться, что полчаса она проболтала на лестнице с привратницей — это очень славная, очень порядочная женщина, хотя строгий господин доктор и недолгоблывает ее. Греслеру, правда, не особенно понравилось, что Катарине было так приятно беседовать с этой особой и что она в своем китайском халатике выходила на лестницу, но ведь теперь уже немного осталось — через несколько дней он будет в другом, более достойном его, более чистом окружении. Катарину он никогда не увидит больше, в родном городе тоже будет появляться лишь наездами — санаторий, наверное, потребует его присутствия там в течение всего года. Так он размышлял, а Катарина все еще сидела у него на коленях, и он машинально гладил ее щеки и шею. Но вдруг он заметил, что она смотрит на него внимательным, грустным взглядом.

— Что с тобой? — спросил он.

Она только покачала головой и попыталась улыбнуться. С удивлением и жалостью Греслер увидел, как из глаз ее скатились две слезинки.

— Ты плачешь? — тихо спросил он и в то же мгновение почувствовал, что опять думает только о Сабине.

— Ах, ничего подобного! — возразила Катарина, прыгнула на пол, сделала веселое лицо, распахнула дверь в столовую и указала рукой на тщательно накрытый стол. — Надеюсь, господин доктор позволит мне остаться в халате?

Тут он вспомнил, что опять принес ей с чердака подарок, отыскал нитку янтаря, затерявшуюся на столе в груде писем, и надел девушке на шею.

— Опять? — запротестовала она.

— Это в последний раз, — ответил он и тут же пожалел о сказанном. Его слова прозвучали значительнее, чем он думал. Греслер спохватился: — Я хотел сказать, что...

Они сели за стол. Через некоторое время Катарина неожиданно спросила:

— Будешь ты вспоминать обо мне иногда там, куда уедешь?

В первый раз за все время она намекнула на предстоящую разлуку, что несколько смутило Греслера. Она сейчас же это заметила и торопливо добавила:

— Скажи только: да или нет?

— Да, — ответил он, с трудом улыбнувшись.

Она кивнула головой, как бы вполне удовлетворясь этим ответом, налила ему и себе вина, и они принялись беседовать, как всегда, весело и непринужденно, словно им и не предстояло вскоре расставаться или, вернее, словно она придавала очень мало значения предстоящей разлуке. Потом она стала играть своим слишком широким для нее китайским халатиком: то плотно закутывалась в него, то опускала его свободными складками, то сбрасывала совсем; потом она принялась танцевать, носясь по всей комнате, держа в одной руке шлейф с золотыми драконами, а в другой — бокал с вином, хохоча и поглядывая на доктора своими милыми глазками. Наконец, Греслер, подхватив ее на руки, скорее, отнес, чем отвел, девушку в полутемную комнату Фридерики и отдал ей всю силу своей страсти, в глубоких тайниках которой сжег и испепелил всю свою досаду на покойную сестру, эту обманщицу.

XIV

На следующее утро, когда Катарина еще спала, доктор Греслер встал и в последний раз отправился к своей маленькой пациентке, которая тем временем давно уже выздоровела, хотя все еще лежала в постели. Чтобы известие о его близком отъезде каким-нибудь образом не дошло через привратницу до Катарины, он уверил мать девочки, что намерен еще целую неделю пробыть в городе. Фрау Зоммер улыбнулась:

— Я, конечно, понимаю — вам трудно расстаться с вашей маленькой подружкой. Какое очаровательное существо! И как ей идет китайский халатик, который вы ей подарили!

Доктор нахмурил брови и занялся маленькой Фанни, усердно, со всей детской серьезностью делавшей прическу своей белокурой кукле. Несколько дней тому назад он рассказал девочке про диких зверей, которых однажды везли для одного цирка из Австралии в Европу на том пароходе, где он служил врачом. С тех пор малютка каждый раз заставляла его повторять этот рассказ и подробно описывать ей львов, тигров, пантер и леопардов, при кормежке которых в трюме парохода он часто присутствовал. Сегодня он постарался отделаться как можно скорей, так как должен был еще многое подготовить к отъезду, окончательно назначенному на завтра. Затем, к большому неудовольствию ребенка, он встал, но в дверях фрау Зоммер задержала его, снова задав ему целый ряд вопросов насчет дальнейшего ухода за девочкой, вопросов, на которые он отвечал ей уже сотни раз. От нее не ускользнуло его нетерпение, но она попыталась его удержать и с этой целью, по обыкновению, подошла к нему совсем близко, почти вплотную, глядя на него благодарными, нежными глазами. Наконец, ему все-таки удалось вырваться, и он торопливо вышел на улицу. Катарину он еще раньше предупредил, что уйдет сегодня по делам в город и что ему нужно хоть ненадолго показаться в больнице. Таким образом, она его не ждала, и у него было достаточно времени для приготовлений к отъезду. Он поехал в больницу, простился с главным врачом отделения, сделал в городе кое-какие покупки, отдал распоряжения насчет отправки багажа и заехал, наконец, к Белингеру, с которым должен был еще поговорить о делах. Тот, не заметив, по-видимому, его волнения, дал ему некоторые разумные советы на прощание и пожелал благополучно закончить дело с покупкой санатория. Он воздержался — очевидно, умышленно — от всяких намеков, и Греслер только на лестнице неожиданно вспомнил, что сейчас разговаривал с любовником своей покойной сестры.

Греслер поспешил домой, чтобы в последний раз пообедать вместе с Катариной. Эти последние часы ему хотелось провести с ней непринужденно, не давая ей ничего понять и почувствовать, — а завтра утром, когда она еще будет спать, он молча простится с девушкой и оставит ей письмо, к которому приложит небольшую сумму денег.

Войдя в столовую, он увидел на столе всего один прибор. Появилась привратница и злобно-участливым тоном объявила, что она сама приготовила обед по приказанию барышни, которая просит ее извинить. Взгляд Греслера, по-видимому, до того ее напугал, что она тотчас же выскочила из комнаты. А он быстро прошел в кабинет и нашел там запечатанное письмо от Катарины. Вскрыв конверт, он прочел:

«Дорогой мой, любимый доктор! Мне было так хорошо у тебя. Я долго буду о тебе вспоминать. Но я знаю, что завтра ты уезжаешь. И лучше, если я тебе сегодня не буду мешать. Будь счастлив. И если через год ты вернешься... нет, до тех пор ты меня давно уже забудешь... Желаю тебе еще приятного плавания. И много, много раз за все благодарю.

Твоя верная *Катарина*».

Греслер был растроган и нежными словами, и наивным детским почерком. «Милая, славная девушка», — сказал он про себя. Но он решил быть твердым. Вернулся в столовую, велел принести обед и начал что-то усердно заносить в записную книжку, лишь бы не вступать в разговор с привратницей, которую он отпустил сейчас же после обеда. Оставшись один, он обошел все комнаты. Повсюду был полнейший порядок, все, связанное с пребыванием в квартире Катарины, было убрано, остался только ее своеобразный аромат, особенно в той комнате, где она прожила эти три недели. В остальном же квартира показалась Греслеру страшно пустой и холодной, хотя, в сущности, все было на месте. Он почувствовал себя вдруг таким одиноким, что у него мелькнула мысль, не лучше ли отказаться от всех других надежд и возможностей и попросту опять перевезти к себе Катарину. Но он сейчас же понял всю нелепость этого смехотворного плана: осуществив его, он поставил бы под сомнение все свое будущее и навсегда разрушил бы счастье, к которому теперь, может быть, близок. В его душе с чудесной силой возник вдруг образ Сабины. Греслер подумал, что теперь его ничто уже больше не удерживает; он еще сегодня может выехать с вечерним поездом и уже завтра утром вновь увидит Сабину. Но и эту мысль он сейчас же от-

бросил: ему нельзя являться к ней разбитым и усталым после бессонной ночной поездки. Он решил, что будет лучше, если он воспользуется свободным временем и напишет ей письмо, которое известит ее о его приезде и подготовит к встрече. Но, сидя за письменным столом с пером в руках, он оказался не в силах составить ни одной фразы, которая хотя бы приблизительно передавала его душевное состояние, и удовольствовался поэтому немногими словами, правда, многозначительными и как бы набросанными в порыве страсти:

«Завтра вечером буду у Вас. Надеюсь на радушный прием. С нетерпением.

Ваш Э. Г.».

Затем он набросал телеграмму доктору Франку о том, что приедет завтра утром и хотел бы сразу же найти у себя ответ, можно ли ему с пятнадцатого ноября приступить к ремонту. Он сам отправил письмо и телеграмму, вернулся домой, все прибрал, привел в порядок, запер на ключ и, наконец, упаковал чемодан, положив сверху маленькую античную камею в золотой оправе, изображавшую голову богини. Ночью он вскакивал по меньшей мере раз десять, словно пробуждаясь от какого-то дикого кошмара: ему казалось, что он навеки потеряет все — Сабину, Катарину, санаторий, состояние, молодость, прекрасное солнце юга и даже камею из слоновой кости, если проспит утренний поезд.

XV

Когда доктор Греслер приехал в курортный городок, осеннее, но все еще теплое солнце уже склонялось к горизонту. Перед вокзалом стояло несколько экипажей, принадлежащих отелям, и два извозчика. Комиссионеры громко, но довольно вяло выкликали названия гостиниц, прекрасно зная, что в такое позднее время года на курорт мало кто приезжает. Доктор Греслер отправился к себе на квартиру, где велел извозчику подождать его. Он справился прежде всего, нет ли писем, рассердился, что от доктора Франка все еще нет ответа, был горько разочарован, не найдя ни одной

приветственной строчки от Сабины, и осведомился у любезной хозяйки, что слышно нового на курорте и в окрестностях. Однако ничего нового, по словам хозяйки, нигде не произошло — в том числе, к великому облегчению Греслера, и в доме лесничего. Наконец, уже в глубоких сумерках, под беззвездным небом он отправился по знакомой дороге мимо в большинстве своем опустевших дач и мрачных холмов туда, где ему предстояло, — сейчас он вдруг понял с неумолимою ясностью то, что столько времени скрывал от себя самого, — сделать отчаянную и, вероятно, безнадежную попытку вновь обрести расположение прекраснейшей в мире женщины, расположение, которое он сам недавно отверг отчасти из легкомыслия, отчасти из трусости.

Пока он непрестанно, хотя и тщетно подыскивал неопровержимые оправдания и неотразимые слова любви, экипаж неожиданно остановился, — как показалось доктору Греслеру, посреди дороги. И сразу, словно дом только сейчас осветился, тропинку под ногами доктора озарил красноватый луч лампы. Греслер вылез из экипажа, медленно, стараясь успокоить бьющееся сердце, направился к двери и позвонил. Ему отворила прислуга; одновременно открылась дверь в столовую, и фрау Шлегейм вышла к нему. Сабина же продолжала спокойно сидеть за столом и только подняла глаза от книги.

— Очень мило, — сказала ее мать, радушно протягивая доктору руку, — что вы вспомнили о нас, бедных, покинутых женщинах.

— Я позволил себе известить о своем приезде фрейлейн Сабину.

При этих словах Сабина наконец встала, любезно протянула руку доктору, который тем временем подошел к столу, и сказала:

— Добро пожаловать!

Он попытался прочесть что-нибудь в ее глазах, спокойно, слишком спокойно устремленных на него, затем осведомился о хозяине дома.

— Он уехал, — ответила фрау Шлегейм.

— А можно узнать, где он сейчас? — опять спросил Греслер, садясь по приглашению Сабины.

Фрау Шлегейм пожала плечами.

— Мы и сами толком не знаем. Такое с ним уже бывало. Недели через две-три вернется. Это нам знакомо, — заключила она, бросив понимающий взгляд на дочь.

— Вы сюда надолго, доктор? — спросила Сабина.

— Точно еще не знаю, но думаю, что ненадолго — пока не закончу дела, — ответил он.

Вошла прислуга и стала накрывать на стол.

— Вы, разумеется, поужинаете с нами? — осведомилась мать.

Греслер медлил с ответом, вновь устремив вопросительный взгляд на Сабину.

— Конечно, доктор поест с нами. Мы ведь рассчитывали на него.

Греслер почувствовал: в ее словах звучит не доброта — разве что снисходительность, и безмолвно наклонил голову в знак согласия.

Наступило молчание. Доктору это было особенно неприятно, и он объявил:

— Завтра я первым делом должен отыскать доктора Франка. Представьте себе, он даже не ответил ни на одно из моих писем. Но я все-таки надеюсь, что мы с ним сойдемся.

— Вы опоздали, — холодно бросила Сабина, и Греслер понял, что эти слова относятся не только к упущенной сделке. — Доктор Франк, — пояснила она, — решил сам продолжать дело. Санаторий вот уже несколько дней усиленно ремонтируется. Все работы ведет ваш друг архитектор Адельман.

— Совсе он мне не друг, иначе он, наверное, постарался бы как-нибудь уведомить меня, — возразил Греслер, медленно и недовольно покачав головой, словно для того, чтобы выразить свое горькое разочарование в архитекторе.

— Теперь уж вы, несомненно, опять уедете на юг? — вежливо заметила Сабина.

— Естественно, — торопливо отозвался Греслер. — Уеду на мой славный остров Ландзароте. Да, уеду. К тому же здешний климат!.. Не знаю даже, сумел ли бы я привыкнуть к здешней зиме.

Тут он сообразил, что пароходы отправляются на остров нерегулярно и ему вряд ли удастся попасть туда

раньше половины ноября; к тому же он не давал о себе знать, и в санаторий, может быть, уже пригласили другого врача. Ну, к счастью, теперь это больше не имеет для него значения. Если ему захочется, он может позволить себе отдохнуть полгода и даже больше. А немного сократив свои расходы, он и вообще может бросить практику. Но эта мысль испугала его. Он не в силах жить без работы. Он должен трудиться, лечить людей, вести деятельную, активную жизнь, — и, быть может, ему все-таки суждено сызнова начать эту жизнь рука об руку с прекрасным, чистым существом, которое, вероятно, хочет только слегка наказать его за медлительность и подвергнуть новому испытанию. Поэтому он пояснил, что до сих пор никому ничего определенного не обещал и будет ждать теперь письма из Ландзароте с согласием на новые, более выгодные условия, которые он поставил тамошней дирекции, а если они не будут приняты, то он посвятит зиму занятиям в различных немецких университетах. О, он не тратил времени даром и в своем родном городе. Он не только усердно работал в больнице, он занимался даже частной практикой. Совершенно случайно, конечно. Лечил ребенка — прелестную семилетнюю девочку, дочку одной вдовы, живущей в том же доме, что и он. Отказаться было никак нельзя: случай был довольно серьезный — скарлатина. Но теперь ребенок вне опасности, иначе ему не удалось бы уехать так скоро. Рассказывая, Греслер старался вызвать в памяти образ фрау Зоммер, но вместо нее все время видел перед собой даму с кукольным личиком из иллюстрированного журнала для семейного чтения, которая рисовалась ему в мечтах во время возвращения из Ландзароте. Конечно, во фрау Зоммер есть нечто от женщин такого типа. Это ведь сразу бросилось ему в глаза.

Сабина слушала доктора с интересом, но, по-видимому, верила не всему, что он говорит, — так, по крайней мере, казалось его не совсем чистой совести. Потом она рассказала ему про обеих своих подруг, которых доктор, должно быть, еще помнит; одна из них обручилась с каким-то запоздалым приезжим из Берлина. Сабина с матерью собираются поехать на свадьбу и — как вставила фрау Шлегейм — после долгого

перерыва еще раз нырнуть в водоворот большого города. Греслер вновь обратил на Сабину настойчивый, нетерпеливый, почти умоляющий взгляд: а как же я? Но глаза девушки оставались непроницаемы. И хотя сама она, казалось, постепенно становится приветливее и мягче, Греслер все-таки чувствовал, что его карта бита. Но гордость его восставала против такого приуроченного ею молчаливого конца, и он твердо решил перед уходом попросить у Сабины объяснений. Он поднялся и с деланным спокойствием намекнул на возможность встречи на рождество в Берлине. Сабина тоже встала из-за стола, очевидно намереваясь проводить гостя. И как в прекрасные прошлые дни, только молча, они пошли рядом между елями по направлению к дороге, где его ждал экипаж. Неожиданно, почти произвольно, Греслер остановился и спросил:

— Вы сердитесь на меня, Сабина?

— Сержусь? — беззвучно повторила она. — За что?

— За письмо, за мое злосчастное письмо. Я это знаю.

И, увидев в темноте, что она только болезненно вздрогнула и, словно обороняясь, сделала рукой отрицательный жест, он торопливо заговорил, хотя и чувствовал, что с каждым словом запутывается все безнадежнее. Она не поняла его письма, совершенно не поняла. Написать это его побудили только честность, только чувство долга. О, почему он просто не последовал влечению сердца, своей страсти! Он же любит ее, любит с первой минуты, когда увидел ее у постели больной матери. Но он не мог, не смел поверить своему счастью после такой безрадостной, одинокой, беспокойной жизни! Он не смел ни на что больше надеяться, ни о чем больше мечтать. Ведь он же старик! Да, да, почти что старик! Правда, молодость определяется не одними годами, он это чувствует. Он понял это во время бесконечных дней разлуки с ней... Но ее письмо, дивное, прекрасное письмо, — о, такого письма он был недостоин! Греслер перебивал сам себя, путался, не находил нужных слов, да и не мог найти: путь от его уст к ее сердцу был уже навеки засыпан. А когда он наконец в отчаянии закончил негромким сдавленным криком: «Простите меня, Сабина, простите меня!» — то издали слышал ее голос:

— Мне не за что вас прощать. Но лучше бы вам не начинать этот разговор. Я надеялась, что вы воздержитесь от него, иначе я попросила бы вас не приезжать.

Голос ее звучал так сурово, что у Греслера внезапно затеплилась новая надежда. А вдруг она так неумолима из-за оскорбленной любви? Оскорбленная любовь — все-таки любовь, она остается, несмотря ни на что, и Сабина просто стыдится ее. И с новым мужеством он начал опять:

— Сабина, я прошу только одного: позвольте мне вновь задать вам тот же вопрос, когда я вернусь сюда весной.

Она перебила его:

— Здесь очень свежо. Прощайте, доктор!

Потом добавила:

— Желаю всего наилучшего.

И ему показалось, что, невзирая на темноту, он различает на ее лице ироническую улыбку.

— Сабина!

Он схватил ее за руку, пытаясь удержать. Она мягко отстранилась.

— Счастливого пути! — вымолвила она, и в голосе ее еще раз прозвучала та доброта, которую он навеки утратил. Потом она повернулась и, не ускоряя шага, но решительно, направилась к дому и скрылась в дверях.

Греслер с минуту постоял, затем поспешил к экипажу, сел, закутался в пальто и плед и поехал домой. В его душе кипела злоба. «Прекрасно! — думал он. — Ты этого хочешь, ты толкаешь меня в объятия другой; пусть будет по-твоему. И это еще не все, как ты скоро узнаешь... Еще до отъезда на юг я приеду сюда вместе с нею. Проживу тут несколько дней. Буду с ней кататься здесь, у дома лесничего. Ты увидишь ее! Познакомишься с ней. Будешь с ней разговаривать. Фрейлейн Сабина, позвольте представить вам мою невесту! У нее не такая чистая душа, как у вас, фрейлейн, но и не такая холодная! Не такая гордая, но зато добрая. Не столь целомудренная, но зато прелестная! Ее зовут Катарина, да, Катарина...»

Он произнес это имя вслух. И чем дальше удалялся экипаж от лесничества, тем сильнее росло в Греслере чувство к Катарине, которое в конце концов преврати-

лось в радостное предвкушение того, что скоро, завтра — да, завтра вечером он снова будет держать ее в объятиях. Как она удивится, когда завтра вечером в семь часов внезапно увидит его на Вильгельмштрассе! Вот будет для нее сюрприз. Но ей предстоит еще другой, гораздо более серьезный. Нет, он совсем не филистер. У него одно только желание — быть счастливым, и он возьмет свое счастье там, где ему предлагают его так искренне, так радостно-готовно, так подлинно женственно. Катарина, Катарина... Как хорошо все-таки, что он еще раз встретился с Сабиной: лишь теперь он понял, что ему нужна только Катарина и никто другой.

XVI

На следующий вечер, через час после приезда, он уже стоял на углу, откуда должен был сразу заметить Катарину, когда она выйдет из перчаточного магазина. Две другие продавщицы вышли одна за другой из дверей и удалились, ставни опустили, артельщик тоже ушел, свет погас, а Катарини все не было. Странно. Очень странно. Ведь ее отпуск кончился! Почему же ее не было в магазине? Греслером внезапно овладела ревность. Сомнения нет — она с кем-нибудь другим. С каким-нибудь прежним знакомым — теперь можно и вернуться к нему, раз старый доктор из Португалии с индийскими шальями и янтарными нитками покинул город. А может быть, у нее появился новый знакомый? Почему бы и нет? У нас ведь это делается просто, не правда ли, фрейлейн Катарина? Где же вы сейчас? В театре, наверное. Таков уж заведенный порядок: в первый вечер театр и ужин, во второй все остальное! Она, должно быть, уже не раз это проделывала. Но начать все сызнова на другой же день — нет, это уж слишком! И ради подобного ничтожества он потерял такого человека, как Сабина! Убежала себе с шальями, шляпами, платьями и украшениями и вдобавок еще насмеяется вместе с каким-нибудь молодчиком над старым дураком из Португалии... Мысли доктора путались, он умышленно терзал себя, отбрасывая всякое более невинное объяснение причин отсутствия Катарини. Что же теперь делать? Спокойно отправиться домой и махнуть

рукой на все — вот, безусловно, самый благоразумный выход. Но на такое самообладание он не способен. Наконец Греслер решил отправиться к дому девушки и там подождать ее. Он увидит, с кем она вернется, хотя, может быть, она уже успела поселиться как дома у нового любовника... Нет, этого бояться нечего. Вряд ли так скоро найдется другой дурак, который поселит у себя это испорченное, болтливое, невежественное и лживое существо. Греслер искренне презирал ее сейчас и с каким-то сладострастием весь отдавался этому чувству. «Вы и это считаете филистерством, фрейлейн? — обратился он вдруг мысленно к далекой Сабине, против которой в нем тоже пробудилась жгучая злоба. — Ну, тут уж ничего не поделаешь. Выше собственной головы никто не прыгнет — ни мужчина, ни женщина. Одна родилась проституткой, другой суждено весь век оставаться в старых девах, а третья, несмотря на прекрасное воспитание в хорошей немецкой бюргерской семье, ведет жизнь кокетки, обманывает родителей, брата... и кончает самоубийством, потому что не находит больше для себя покорного мужского сердца. А меня господь раз навсегда создал педантом и филистером. Но клянусь чем угодно, быть филистером — еще не самое худшее! Ведь со многими женщинами не быть филистером значит быть одураченным. Кроме того, я еще далеко не настоящий филистер: ведь если бы некая девица случайно отказалась пойти на свидание и чинно-благородно вышла в семь часов вечера из магазина, я действительно был бы способен сделать ее своей женой и увезти в Ландзароте. Вот бы вы порадовались, господин директор! Но нет, этого не будет. Я, слава богу, вернусь к вам один, как и уехал, — если вообще вернусь: это далеко еще не решено. Во всяком случае, я не явлюсь к двадцать седьмому октября, как вы изволили приказать, не явлюсь ни за что, если бы даже и мог. Я прежде всего отправлюсь в Берлин, а может быть, и в Париж и повеселюсь там вволю, как еще ни разу не веселился».

И Греслер принялся рисовать себе подозрительные вертепы с дикими танцами полуобнаженных женщин и строить планы чудовищных оргий: все это должно было стать своего рода демонической мстью злосчаст-

ному полу, который так вероломно, так коварно с ним обошелся, мстью Катарине, Сабине и Фридерике.

Тем временем он незаметно дошел до дома, где жила Катарина. Поднялся резкий ветер и погнал по неприветливой улице столбы пыли. Кое-где поспешно закрывались окна. Греслер взглянул на часы. Еще не было и восьми. Сколько часов — и каких! — ему еще предстоит? Может пробить и десять, и одиннадцать, и полночь, может наступить и утро, прежде чем фрейлейн Катарина соизволит вернуться домой.

Перспектива простоять наудачу несколько часов на ветру и под дождем — он уже закапал — была не из приятных, и Греслер начал прислушиваться к другому внутреннему голосу, который робко заявлял о себе уже и раньше. А вдруг Катарина просто-напросто у себя дома? Быть может, она ушла из магазина пораньше, хотя в первый день после отпуска это маловероятно. А что, если ее отпуск еще не кончился и ей захотелось провести последний свободный день в кругу семьи? Доктор не слишком в это верил, но подобное предположение само по себе было уже приятно, тем более что его так легко проверить — достаточно подняться на третий этаж и спросить у почтового чиновника Ребнера, дома ли его дочь. Едва ли это вызовет подозрение: наверное, не такие уж строгие правила в доме, где дочь возвращается из деревни с двойным количеством багажа по сравнению с тем, что она туда повезла. А если дома ее нет, то, может быть, случайно удастся узнать, под каким предлогом она сегодня ушла. Если же она дома — ну, тогда тем лучше, тогда все в порядке, все превосходно, тогда с нею можно будет сейчас же увидеться и условиться сразу на завтра, послезавтра и все последующие дни. Тогда все то, над чем он сейчас так мучительно размышлял, — просто ерунда. Тогда ему останется только мысленно попросить у нее прощения за все, в чем он ее заподозрил из-за своего ужасного настроения, в котором повинна не столько она, сколько другая. Так, с самыми добрыми намерениями он позвонил в дверь квартиры на третьем этаже.

Ему открыла маленькая пожилая женщина в простом домашнем платье и кухонном переднике, удивленно посмотревшая на него.

— Прошу прощения, — сказал Греслер. — Здесь живет почтовый чиновник Ребнер?

— Здесь, я его жена.

— Вот как! Я... я хотел бы повидать фрейлейн Катарину. Я имел удовольствие...

— Ах! — перебила его явно обрадованная фрау Ребнер. — Вы, наверное, доктор, с которым Катарина познакомилась в деревне у Людмилы и который подарил ей такую красивую шаль?

— Да, это я. Меня зовут доктор Греслер.

— Доктор Греслер... Да, да, она нам про вас говорила. Сейчас посмотрю, можно ли к ней, — она лежит. Она только вчера вернулась домой. Наверно, простыла в дороге.

— Лежит? — испугался Греслер. — Давно?

— Сегодня она совсем не вставала. У нее, должно быть, небольшой жар.

— А вы приглашали врача, фрау Ребнер?

— Нет, что вы — это пройдет: она позавтракала с таким аппетитом.

— Быть может, вы разрешите мне ее осмотреть, раз уж я случайно попал к вам. Надеюсь, фрейлейн Катарина не будет ничего иметь против?

— Разумеется, нет — вы же врач, как все удачно складывается!

Женщина провела его через довольно большую, неосвещенную комнату в другую, поменьше, где лежала Катарина. На ночном столике стояла свеча, отблеск ее освещал мокрый, белый, в несколько раз сложенный платок на лбу Катарины, который совсем закрывал ей глаза.

— Катарина! — воскликнул Греслер.

Она с трудом сдвинула платок, и глаза ее сверкнули лихорадочным блеском.

— Добрый вечер, — прошептала она со слабой улыбкой, словно в полузабытьи.

— Катарина!

Греслер подошел к кровати, отогнул одеяло, сдвинул с плеча сорочку и увидел на теле темно-багровую сыпь. Температура у больной была очень высокая, состояние подавленное, и Греслеру не пришлось даже продолжать осмотр: у Катарины явно была скарлатина.

Держа ее руку в своей и чувствуя себя виновником несчастья, глубоко удрученный доктор опустился в кресло рядом с постелью.

В эту минуту домой вернулся отец девушки и еще с порога закричал:

— Что это вы, мои милые, тут устраиваете? Позвали-таки врача?

Жена вышла ему навстречу.

— Не кричи, у нее болит голова. Это доктор, с которым она познакомилась у Людмилы.

— Вот оно что! — сказал отец, подходя ближе. — Очень рад познакомиться. Вот видите, посылаешь девочку в деревню, тратишься, а она возвращается хвора. Впрочем, думаю, ничего серьезного нет, господин доктор. Просто засиделась на воздухе вечером, а погода теперь холодная. Верно, Катарина?

Катарина ничего не ответила и только вновь нагнула компресс на глаза. Доктор Греслер повернулся к отцу. Это был невысокий, тучный, почти лысый человек с тусклыми глазками и закрученными вверх седыми усами.

— Это не простуда, — сказал Греслер, — это скарлатина.

— Что вы, доктор! О скарлатине не может быть и речи: это же детская болезнь. Наша старшая болела ею, когда ей было лет пять. Вот тогда Катарина могла бы заразиться.

Слишком громкий голос отца заставил больную очнуться.

— Доктор лучше знает, — сказала она. — Но ведь он вылечит меня, правда?

— Конечно, конечно, Катарина, — подтвердил Греслер.

В эту минуту он любил ее так, как не любил до сих пор никого на свете. Пока он отдавал необходимые распоряжения, явилась старшая сестра с мужем; тот сперва весело подмигнул доктору в знак приветствия, но, узнав о том, насколько серьезно больна Катарина, быстро ретировался вместе с женой в соседнюю комнату. Греслер объявил родителям девушки, что эту ночь он обязательно проведет у постели больной: в таких случаях первая ночь имеет очень большое значение, и, оставшись здесь, он, даст бог, сумеет пред-

отвратить многое, чего легко может не заметить неопытный глаз.

— Ну, Катарина, — объявил отец, снова подходя к постели, — тебе повезло: не у каждой больной бывает такой врач. Но, доктор, — добавил он, отводя Греслера к двери, — должен предупредить вас: люди мы небогатые. Конечно, девочка ездила в деревню, но ведь там она жила в гостях у Людмилы, как вы, наверно, изволили заметить. Мы платили только за билет туда и обратно.

Жена рассердилась на его болтовню и увела мужа в столовую. Она чувствовала, что Катарину пора оставить наедине с врачом.

Греслер наклонился над больной, погладил ее по щекам и голове, поцеловал в лоб и стал ее успокаивать, уверяя, что через несколько дней она будет совершенно здорова и сейчас же переедет к нему; что он вообще никогда больше не отпустит ее и будет с нею повсюду, куда бы ни закинула его судьба; что его неудержимо тянуло сюда; что она его дорогое дитя, его возлюбленная, его жена и что он любит ее, так любит, как никогда еще никого не любил. Но, даже видя ее радостную, слабую улыбку, он все-таки понимал, что его слова не проникают в глубь ее души, а кажутся ей только призрачным сном; что ему предстоит теперь дни, когда каждая секунда будет наполнена судорожным страхом за любимую женщину, попавшую в когти невидимого страшного врага, и что он должен приготовиться к тяжелой, отчаянной борьбе, борьбе, которая уже сейчас представляется ему бесполезной.

XVII

Через трое суток, которые Греслер почти без сна провел у постели больной, ни разу полностью не пришедшей в сознание, хмурым октябрьским вечером ее трепетная душа навеки угасла. А еще через два дня, в течение которых Греслер был целиком поглощен всем, что было связано с этим печальным событием, ее похоронили. Доктор шел за гробом, говорил с ее родственниками лишь о самом необходимом — несмотря на общее горе, они остались для него совершенно чужими.

Тупо стоял он перед могилой, когда в нее опускали гроб, а потом, ни с кем даже не простившись, ушел с кладбища и поехал прямо к себе на квартиру. До вечера он пролежал в кабинете на диване, забывшись тяжелым сном. Когда он встал, было уже темно. Он был одинок, так одинок, как никогда еще не был до сих пор — ни после смерти родителей, ни после самоубийства сестры. Жизнь его сразу стала пустой. Он вышел на улицу, не зная, куда себя деть, куда направить шаги. Ему ненавистны были люди, город, весь мир, его профессия, которая в конце концов только привела к гибели ту женщину, в которой ему, казалось, было суждено на склоне лет обрести свое последнее счастье. Что же оставалось у него в жизни? Единственным утешением, единственным результатом всего его существования было лишь то, что он мог теперь навсегда бросить эту профессию и, если захочется, прервать всякое общение с другими людьми.

На улицах было сыро, на лужайках городского сада, где он неожиданно для себя очутился, лежал беловатый туман. Греслер поднял глаза: по небу мчались клочья облаков. Он почувствовал вдруг, что устал — устал не только от бесцельного блуждания взад и вперед, но и от пребывания наедине с самим собой, которое разом стало для него невыносимым. Ему казалось невыслышим вернуться домой и провести бессонную ночь в тех самых комнатах, где он был так счастлив с Катариной. Он не в силах бесконечно, в одних и тех же унылых словах рассуждать с самим собой о своем горе, ни от кого не слыша ни отклика, ни участия, ни утешения. Ему стало ясно, что если он не хочет разрыдаться прямо здесь, в парке, завопить и послать небу проклятие, он должен сейчас же найти человека, с которым мог бы поделиться. Единственным таким человеком был его старый друг Белингер, и Греслер направился к нему. Он боялся не застать его дома, но ему повезло: когда доктор вошел в кабинет, адвокат в турецком халате, окутанный облаками табачного дыма, сидел за письменным столом, заваленным бумагами и книгами, и что-то писал.

— Ты опять здесь? — бросил он вместо приветствия. — И в такой поздний час! Что случилось?

Он посмотрел на часы. Было десять.

— Извини, пожалуйста,— хрипло выдавил Греслер.— Надеюсь, я не помешал.

— Пустяки. Садись. Хочешь сигару?

— Благодарю,— сказал Греслер,— сейчас курить не могу. Я еще даже не ужинал.

Белингер посмотрел на него, прищурился глазами.

— Так, так! Значит, что-нибудь важное... Ну, как обстоят дела с санаторием?

— С санаторием ничего не вышло.

— Ах, значит, сделка расстроилась? Но неужели это так тебя взволновало? Да говори же! Ведь не мог же ты так, без причины... Я рад, конечно, твоему посещению... Да говори же, в чем дело. Или прикажешь мне догадываться? Какая-нибудь любовная история? — Он улыбнулся.— Измена?

Греслер отмахнулся рукой.

— Она умерла,— сухо бросил он и, неожиданно встав, заходил взад и вперед по комнате.

— Вот как,— сказал Белингер и замолчал, но, когда Греслер проходил мимо него, адвокат взял его за руку и крепко ее пожал.

Греслер опустился на стул и, стиснув голову руками, горько заплакал, так, как не плакал с самого детства. Белингер терпеливо ждал и курил сигару. Временами он заглядывал в разложенные на столе бумаги и делал в них какие-то пометки. Когда через некоторое время Греслер, по-видимому, немного успокоился, он мягко спросил его:

— Как же это случилось? Она ведь была еще так молода.

Греслер поднял глаза. Губы его искривила саркастическая улыбка.

— Разумеется, она умерла не от старческой дряхлости. Скарлатина. И виноват в этом я. Да, да, один я.

— Ты? Принес заразу из больницы?

Греслер покачал головой, встал и опять заходил взад и вперед. Он был в глубоком отчаянии, размахивал руками, дышал прерывисто и тяжело. Белингер, откинувшись на спинку кресла, следил за ним взглядом.

— А что, если ты расскажешь мне все подробно? — предложил он.— Может быть, это тебя хоть немного успокоит.

И доктор Греслер — сперва запинаясь, потом все более связно, хотя и не совсем по порядку, — стал излагать историю своей жизни за последние месяцы. При этом он то расхаживал взад и вперед, то останавливался — в углу, у окна, у письменного стола. Он рассказал не только про Катарину, но и о Сабине, о своих надеждах и опасениях, о своей второй молодости, о своих мечтах и о том, как в конце концов все пошло прахом. Временами у него было такое чувство, словно умерли они обе — и Катарина и Сабина — и словно он один повинен в их смерти. Белингер перебивал его иногда любопытными и участливыми вопросами. Когда же наконец перед ним раскрылась вся картина переживаний его друга, он обратился к нему:

— Скажи, пожалуйста, ты действительно вторично приехал сюда с намерением... жениться на ней?

— Конечно. Уж не думаешь ли ты, что меня оставило бы ее прошлое?

— Нет, не думаю. Я прекрасно знаю, что женщины с прошлым все же предпочтительней женщин с будущим.

И Белингер отвел глаза в сторону.

— Ты, пожалуй, прав, — ответил Греслер и, взглянув на друга, добавил: — Да, вот что я еще хотел сказать тебе...

Он запнулся.

Тон его слегка удивил Белингера.

— Что же именно? — спросил он.

— Я прочел твои письма к Фридерике, твои... и еще другие.

— Вот как, — невозмутимо произнес Белингер и грустно улыбнулся. — Это было так давно, друг мой!

— Да, давно, — повторил Греслер. И, чувствуя потребность высказать хотя бы немногословно, но вполне определенно свое мнение по этому поводу, добавил: — После чтения этих писем мне, разумеется, стало ясно, почему вы не поженились.

Белингер сначала посмотрел на него с непонимающим видом. Потом уголки его рта дрогнули, и он заговорил:

— Ах, вот оно что! Ты думаешь... потому что она... мне изменила. Так, кажется, это называется? Господи, из чего только не устраиваешь историй в юные годы!

На самом деле она обманывала только себя, и я — тоже. Да, да, именно так. Ну, да все равно, теперь уж слишком поздно.

Оба замолчали.

— Да, это было давно, — повторил еще раз Греслер, словно во сне.

Вскоре он почувствовал страшную усталость. Веки закрылись сами собой. Но он тотчас же очнулся, потому что Белингер взял его за руку и стал дружески уговаривать провести у него остаток ночи, поскольку час уже поздний. Он готов уступить ему свою постель. Но Греслер предпочел лечь на диване, тут же, в накуренной комнате, и сейчас же, не раздеваясь, заснул тяжелым сном. Белингер накрыл его одеялом, отворил ненадолго оба окна, привел в порядок бумаги на столе и оставил спящего друга одного.

Когда Греслер проснулся, Белингер стоял перед ним с участливой улыбкой.

— С добрым утром, — сказал он, ласково глядя на него.

«Словно врач на больного ребенка после целительного сна», — подумал Греслер. Холодное осеннее солнце озаряло комнату. Греслер понял, что спал очень долго, и спросил:

— Который теперь час?

В это время на башне как раз начало бить двенадцать.

Греслер поднялся и протянул своему другу руку.

— Благодарю за гостеприимство. Теперь пора и домой.

— Я тебя провожу, — предложил Белингер. — Сегодня воскресенье, мне все равно нечего делать. Но прежде ты позавтракаешь, и, кроме того, для тебя уже приготовлена ванна.

Греслер с благодарностью согласился на все. После ванны, которая очень его освежила, он вышел в столовую, где уже был накрыт завтрак. Белингер сел с ним рядом, угощал его и рассказывал ему всякие незначительные политические и городские новости с очевидным намерением отвлечь друга от печальных мыслей. «Что мне весь мир, — думал между тем Греслер, — что мне государство, человечество? Вот если бы можно было

воскресить Сабину... — Он тотчас же мысленно поправился: — Катарину! Другая ведь жива... в известном смысле!»

И он улыбнулся, сам не зная чему.

Друзья вышли из дому. На улицах было много гуляющих, одетых по-праздничному; Белингеру приходилось то и дело раскланиваться. Они прошли мимо перчаточного магазина на Вильгельмштрассе. С трепетом и злобой посмотрел Греслер на спущенные железные ставни. Наконец они дошли до дома, где жил Греслер.

— Если не возражаешь, я тоже зайду, — сказал Белингер.

Как раз в эту минуту в дверях показалась хорошенькая, пухленькая дамочка в траурном платье, скорбный вид которого несколько скрашивала изящная шляпа. Она вела за руку маленькую девочку и, увидев доктора, от удивления широко раскрыла глаза.

— Смотри, кто идет! — воскликнула она радостно, обращаясь к малютке.

Однако при виде фрау Зоммер Греслер только вздрогнул, на лице его отразился ужас, а на ребенка он взглянул с нескрываемой ненавистью и, даже не поклонившись, прошел мимо. Белингер заметил, что дама с девочкой остановилась и долго недоуменно и как бы в отчаянии смотрела вслед его другу. Недовольно покачав головой, он поднялся по лестнице вслед за Греслером, решив потребовать у него объяснений. Но, едва за ними захлопнулась дверь, как Греслера словно провало:

— Это и есть тот ребенок. Это те самые мать и дочь. Девочка всему виной! Ее я вылечил, а Катарина умерла.

— О вине тут вообще не может быть речи, — возразил Белингер. — Все это очень печально, но при чем же тут ребенок, а тем более мать? Твое поведение, наверное, поразило ее.

— Она, конечно, не знает, что произошло, — согласился Греслер.

— А ты посмотрел на нее, как на привидение. А на ребенка... Ты бы видел в этот момент лицо матери! Она испугалась до смерти.

— Мне очень жаль. Но она успокоится. Как-нибудь при случае я ей все объясню.

— Ты обязательно должен это сделать, — подтвердил Белингер и игриво-веселым тоном добавил: — Тем более что дамочка-то весьма недурна и аппетитна.

Греслер поморщился и недовольно отмахнулся. Затем извинился перед Белингером: он должен просмотреть почту за последние дни — он совсем о ней забыл. Он не мог подавить в себе слабой надежды на то, что Сабина еще может снова позвать его к себе, хотя сам прекрасно понимал всю нелепость этой мысли. От нее, разумеется, не оказалось ни строчки, да и другие письма были неинтересные.

Доктор отправился с Белингером в ресторан. За обедом, в полутьме уютной ниши, распивая бутылку доброго рейнвейна, приятель посоветовал ему не предаваться бесполезному горю, а поскорее уйти с головой в свою работу. Греслер обещал ему сегодня же написать в Ландзароте и известить о том, что он придет в конце месяца. Он был уверен, что там его ждут. Позднее, за кофе и сигарами, они разговорились о Фридерике. С полузакрытыми глазами, медленно выпуская изо рта кольца табачного дыма, Белингер слушал, как доктор растроганно вспоминал о ней, превозносил ее преданность и заботливость. Ему кажется даже, добавил он, что, отделявая заново свою комнату здесь, в городе, она с присущей ей самоотверженностью и чуткостью думала уже не о себе, а о другой женщине, которой суждено стать для ее брата и возлюбленной, и верной подругой. Белингер изредка кивал головой и лишь посматривал с удивлением, смешанным с жалостью, на своего старого друга, которого никогда еще не видел таким разговорчивым; потом стал слушать его как-то рассеянно, даже слегка нетерпеливо и, наконец, неожиданно поднялся. Извинившись — он уже раньше был приглашен на этот вечер в одно место, — адвокат поспешно простился и ушел из ресторана.

Греслер отправился домой один. Он беспокойно ходил взад и вперед по своему кабинету и чувствовал, что его горе постепенно сменяется скукой. Сев за письменный стол, он написал дирекции отеля в Ландзароте, что сумеет приехать только через несколько не-

дель, но полагает тем не менее, что не поставит этим дирекцию в затруднительное положение, поскольку до середины и даже до конца ноября приезжих на острове еще очень мало. Кончив письмо, Греслер опять увидел, что ему нечего делать. Он взял шляпу и палку и вышел на лестницу; спускаясь мимо дверей фрау Зоммер, он сначала заколебался, потом остановился и позвонил. Открыла ему сама хозяйка. Она встретила его гораздо приветливее, чем он ожидал, и даже откровенно обрадовалась его приходу. С первых же слов он заявил, что пришел объяснить свое более чем странное поведение сегодня утром. Но фрау Зоммер уже, вероятно, знает, какое тяжкое горе его постигло, и, наверно, извинит его. Нет, она ничего не знает, решительно ничего, и просит его прежде всего зайти в комнату. Там доктор сообщил ей, что несколько дней тому назад умерла его милая маленькая подружка, та самая, которую фрау Зоммер еще так недавно видела здесь, на лестнице, в китайском халатике, расшитом золотыми драконами. После участливого вопроса фрау Зоммер он пояснил, что девушка погибла от тяжелой формы скарлатины. В городе сейчас очень много случаев скарлатины, опасаются даже эпидемии. Предполагать какую-либо связь между смертью его подруги и болезнью маленькой Фанни нет особых оснований, тем более что у ребенка скарлатина протекала в такой легкой форме, что он даже сомневался в правильности своего диагноза. Он посадил к себе на колени вбежавшую в комнату девочку, погладил ее по голове и поцеловал в лобик. Потом тихо заплакал, а когда поднял глаза, заметил слезы и в глазах молодой женщины.

На следующий день он отправился на могилу Катарины; там еще лежало несколько скромных венков с лентами. Он был не один — вместе с ним на кладбище пришла фрау Зоммер с дочкой. Он стоял молча, опустив голову, фрау Зоммер читала надписи на лентах, а девочка сложила ручки и молча молилась. На обратном пути они зашли в кондитерскую, и Фанни вернулась домой с большой коробкой конфет.

С этого дня фрау Зоммер окружила одинокого доктора теплом и лаской. Он проводил у нее много часов, все вечера и каждый раз приносил девочке, к которой привязывался все сильнее, всевозможные игрушки,—

главным образом, диких зверей из дерева и папье-маше. И каждый раз малютка заставляла его рассказывать про этих зверей, словно это были настоящие животные, только заколдованные злым волшебником. Со своей стороны, фрау Зоммер день ото дня и взглядами и словами все горячее выказывала ему свою благодарность за любовь, которой доктор окружал маленькую сиротку.

Не прошло и месяца со дня смерти Катарины, как доктор Эмиль Греслер вместе с фрау Зоммер, ставшей, впрочем, накануне отъезда фрау Греслер, и маленькой Фанни высадился на острове Ландзароте. На пристани стоял директор, как всегда без шляпы, и его темные, гладко зачесанные волосы едва шевелились, несмотря на легкий береговой ветерок.

— Добро пожаловать, доктор! — приветствовал он приезжих со своим американским акцентом, который еще в прошлом году производил на Греслера такое неприятное впечатление. — Добро пожаловать! Вы, правда, немного запоздали, но тем приятней увидеть вас снова. Вилла для вас, разумеется, приготовлена. Надеюсь, что и супруга ваша будет довольна.

Он поцеловал даме руку и потрепал девочку по щеке. Воздух, словно в жаркий летний день, был напоен солнечным светом. Они двинулись по направлению к отелю, белому и ослепительному, сверкавшему издали; впереди шли директор и молодая женщина, о чем-то оживленно беседуя, сзади — доктор Греслер с маленькой Фанни в немного помятом белом полотняном платице, с белой шелковой лентой в черных волосах. Греслер держал ее мягкую ручонку и говорил:

— Видишь вот тот маленький беленький домик с открытыми окнами? Там ты будешь жить. А позади него, — отсюда, конечно, не видно, — есть большой сад с разными замечательными деревьями, каких ты никогда не видывала. Там ты будешь играть. Когда у нас дома выпадет снег и все будет мерзнуть, солнышко здесь будет греть так же, как сейчас.

Он говорил, ощущая в своей руке мягкую детскую ручку и чувствуя, что еще ничье прикосновение не давало ему до сих пор такого полного счастья. Девочка, широко раскрыв любопытные глазки, внимательно слушала его.

Директор между тем продолжал разговор с молодой женщиной.

— Сезон начинается недурно, — рассказывал он. — Ваш супруг будет очень занят. Четвертого декабря мы ожидаем его светлость герцога Зигмарингенского с супругой, детьми и свитой... У нас здесь места благословенные. Маленький рай. И как говорит постоянный посетитель нашего острова за последние двенадцать лет, писатель Рюденау-Ганзен...

Ветер, который дует здесь на берегу даже в самые спокойные дни, унес конец его фразы.



ВОЗВРАЩЕНИЕ КАЗАНОВЫ

На пятьдесят третьем году жизни Казанова, давно уже гонимый по свету не юношеской жадой приключений, а тревогой, снедающей человека на пороге старости, почувствовал в душе такую острую тоску по родной Венеции, что стал колесить вокруг нее, все более и более суживая круги — подобно тому как птица постепенно опускается перед смертью на землю с небесных высот. В последние годы своего изгнания он уже не раз обращался к Высшему Совету с просьбой разре-

шить ему возвратиться на родину; раньше при составлении подобных прошений, которые он писал мастерски, его пером водили упрямо и своеволие, а порой и мрачно удовлетворение самим занятием; но с некоторых пор в его почти униженных мольбах все более явно сквозили жгучая тоска и подлинное раскаяние. Он считал, что тем вернее может надеяться на милость, что постепенно стали забываться его бывшие прегрешения, из коих самыми непростительными членам Совета казались отнюдь не распущенность, задиричивость и плутни, чаще всего веселого свойства, а вольнодумство. К тому же удивительная история его побега из венецианских свинцовых камер, которой он несчетное число раз, не жалея красок, угощал слушателей при дворах государей, в замках вельмож, за столом у горожан и в домах, пользовавшихся дурной славой, начала заглушать всевозможные худые толки, связанные с его именем; и действительно, влиятельные господа в своих письмах в Мантую, где Казанова находился уже два месяца, продолжали подавать этому искателю приключений, чей внутренний и внешний блеск понемногу тускнел, надежду, что судьба его вскоре будет решена благоприятно.

Располагая теперь весьма скудными средствами, Казанова решил дожидаться помилования в скромной, но приличной гостинице, где он когда-то останавливался, в более счастливую пору своей жизни, и пока проводил время, не говоря о недуховных развлечениях, от которых он не в силах был окончательно отказаться, главным образом за сочинением памфлета против нечестивца Вольтера, опубликованием которого рассчитывал сразу по возвращении в Венецию прочно укрепить свое положение и приобрести вес в глазах всех благомыслящих людей.

Однажды утром, когда он гулял за городом, поглощенный поисками наиболее законченной формы для уничтожающего довода в споре с безбожником-французом, его вдруг охватила какая-то необычайная, почти физически мучительная тревога. Жизнь, которую он вот уже три месяца влачил изо дня в день — утренние прогулки за городскими воротами, по вечерам небольшие партии в карты у мнимого барона Перотти и его рябой возлюбленной, ласки его уже не молодой, но

пылкой хозяйки, даже изучение произведений Вольтера и работа над его собственными смелыми и, как ему казалось, довольно удачными возражениями Вольтеру, — все это сейчас, в мягком, приторном воздухе летнего утра, представилось ему одинаково бессмысленным и гадким; он пробормотал проклятие, сам толком не зная, кого или что он проклинает; и, сжимая рукоять шпаги и бросая во все стороны злобные взгляды, словно из окружающего его безлюдья на него отовсюду с насмешкой смотрели незримые глаза, вдруг повернул обратно к городу, решив тотчас же начать приготовления к отъезду. Ибо он не сомневался, что сразу почувствует облегчение, если приблизится к возжеланной родине еще на несколько миль. Казанова ускорил шаг, чтобы успеть вовремя получить место в почтовой карете, которая перед заходом солнца выезжала в восточном направлении; больше здесь ему делать было нечего; прощальным визитом к барону Перотти можно было пренебречь, а чтобы уложить для путешествия все пожитки, ему довольно было и получаса. Он подумал о своих двух изрядно поношенных камзолах — худший из них был на нем, о не раз чиненном, некогда дорогом белье; это вместе с двумя-тремя табакерками, золотыми часами на цепочке и десятком книг составляло все его имущество; ему вспомнились минувшие дни, когда он разъезжал повсюду в роскошной дорожной карете, как вельможа, снабженный в изобилии всем нужным и ненужным, конечно, со слугой — разумеется, по большей части кошеником, — и от бессильной злобы на глаза его навернулись слезы. Навстречу ему ехала повозка; ею правила молодая женщина с кнутом в руке, а среди мешков и всякого домашнего скарба храпел ее пьяный муж. Сперва она с насмешливым любопытством посмотрела на Казанову, который с искаженным лицом, бормоча сквозь зубы что-то невнятное, широко шагал по дороге под отцветшими каштанами; но, встретив его сверкнувший гневом ответный взгляд, глаза ее отразили испуг, а когда она проехала мимо и обернулась — выражали похотливую готовность. Казанова, которому было хорошо известно, что гнев и ненависть действуют на молодость сильнее, чем мягкость и нежность, сразу понял, что с его стороны достаточно было бы дерзкого окри-

ка, чтобы остановить повозку, и тогда он мог бы делать с молодой женщиной все, что захочет; но хотя сознание этого и уллучило на минуту его настроение, он все же решил, что ради такого ничтожного приключения не стоит терять даже нескольких минут; поэтому он дал проехать крестьянской повозке, и она со скрипом продолжала свой путь в пыльном мареве большой дороги.

Тень деревьев слабо защищала от палящих лучей высоко поднявшегося солнца, и Казанова был вынужден постепенно замедлить шаг. Дорожная пыль таким толстым слоем осела на его платье и обуви, что трудно было заметить, как они поношены, а по одежде и осанке Казанова мог вполне сойти за знатного господина, которому вздумалось оставить свой экипаж дома. Перед ним уже вырисовывалась арка городских ворот, вблизи которых находилась гостиница, как вдруг он увидел ехавшую ему навстречу и подпрыгивавшую на ухабах неуклюжую деревенскую колымагу, в которой сидел дородный, хорошо одетый и еще не старый мужчина. Его одолевала дремота, и он сидел, сложив руки на животе, глаза его слипались, но вдруг взгляд его, случайно скользнув по Казанове, оживился, и весь он казался охваченным радостным возбуждением. Он поспешно вскочил на ноги, шлепнулся обратно на сиденье, снова вскочил, толкнул кучера в спину, чтобы тот остановил лошадей, оглянулся назад в продолжавшем катиться экипаже и принялся махать Казанове обеими руками; наконец, он трижды выкрикнул его имя высоким резким голосом. Казанова узнал этого человека только по голосу; он подошел к остановившемуся экипажу, с улыбкой взял обе протянутые ему руки и сказал:

— Неужели это вы, Оливо? Возможно ли?

— Да, это я, синьор Казанова! Вы все же узнали меня?

— Почему бы мне не узнать вас? Правда, со дня вашей свадьбы, когда я видел вас в последний раз, вы несколько пополнили, но, должно быть, и я не мало изменился за эти пятнадцать лет, хотя и не пополнил.

— Нисколько,— возразил Оливо,— можно сказать, ни капельки, синьор Казанова. А ведь прошло целых шестнадцать лет, несколько дней назад исполнилось

шестнадцать! И, как вы легко можете себе представить, по этому случаю мы с Амалией о вас на досуге говорили...

— В самом деле? Вы оба еще иногда вспоминаете меня? — сердечно проговорил Казанова.

Глаза Оливо увлажнились. Он все еще не выпускал рук Казановы из своих и опять растроганно их пожал.

— Мы вам стольким обязаны, синьор Казанова! Как нам забыть своего благодетеля? И если мы когда-нибудь...

— Не будем об этом говорить, — перебил его Казанова. — Как поживает синьора Амалия? Чем вообще можно объяснить, что за два месяца, что я в Мантуе, — правда, я веду уединенную жизнь, но, по старой привычке, много гуляю, — как могло случиться, что я ни разу не встретился с вами, Оливо, с вами обоими?

— Очень просто, синьор Казанова! Мы давно уже переселились из города, которого, впрочем, ни я, ни Амалия никогда не любили. Окажите мне честь, синьор Казанова, сядьте ко мне в карету, и через час мы будем у нас дома. — Заметив легкий отрицательный жест Казановы, Оливо продолжал: — Не говорите «нет»! Как будет счастлива Амалия, увидев вас снова, с какой гордостью покажет она вам наших троих детей. Да, троих, синьор Казанова. Все девочки — тринадцати, десяти и восьми лет... Так что ни одна из них еще не достигла того возраста, когда, с вашего позволения, Казанова мог бы вскружить ей голову.

Он добродушно засмеялся и сделал такое движение, словно собирался попросту втащить Казанову в свой экипаж. Но Казанова отрицательно покачал головой. Ибо, почти уже поддавшись соблазну удовлетворить естественное любопытство и принять приглашение Оливо, опять почувствовал нетерпение, овладевшее им с новой силой, и стал уверять Оливо, что, к сожалению, должен еще до вечера выехать по важным делам из Мантуи. В самом деле, что ему было делать в доме Оливо? Шестнадцать лет — долгий срок! Амалия за это время, разумеется, не стала моложе и красивее, а ее тринадцатилетней дочке он, в его годы, вряд ли покажется особенно привлекательным; любоваться же в деревенской обстановке самим синьором Оливо, превратившимся из тощего, поглощенного занятиями юноши, каким он был прежде, в мужиковатого и тол-

стого отца семейства, казалось ему не таким уж заманчивым, чтобы ради этого откладывать поездку, которая могла приблизить его к Венеции еще на десять или двадцать миль. Однако Оливо, по-видимому, не собиравшийся принять без возражений отказ Казановы, настоял на том, что он прежде всего доставит его в своем экипаже в гостиницу, в чем Казанова не смог ему воспрепятствовать. Через несколько минут они были у цели. Хозяйка, статная женщина лет тридцати пяти, встретила Казанову у ворот взглядом, не оставившим у Оливо никаких сомнений в существовавшей между ними нежной связи. Она протянула Оливо руку, как доброму знакомому, и тут же пояснила Казанове, что Оливо всегда поставляет ей из своего имения особый, очень хороший сорт сладковато-терпкого вина. Оливо не преминул пожаловаться ей на то, что шевалье де Сенгаль (ибо именно так хозяйка назвала Казанову, и Оливо не замедлил воспользоваться тем же обращением) чересчур жесток, отвергая приглашение вновь обретенного старого друга по той смехотворной причине, что он должен сегодня, непременно сегодня же, покинуть Мантую. При виде изумленного лица хозяйки Оливо сразу понял, что ей еще не известно намерение гостя, и потому Казанова счел за благо объяснить, что его отъезд был на самом деле отговоркой, ибо он не хотел обременять семейство своего друга столь неожиданным посещением. В действительности же он намерен, даже обязан, завершить в течение ближайших дней серьезный литературный труд, для чего нет более подходящего места, чем эта превосходная гостиница, где в его распоряжении — прохладная и покойная комната. На это Оливо ответил торжественными уверениями, что для его скромного дома будет величайшей честью, если шевалье де Сенгаль доведет там до конца этот труд. Сельское уединение может лишь благоприятствовать такой задаче; ученые трактаты и книги, ежели они понадобятся, тоже окажутся под рукой, ибо его, Оливо, племянница, дочь его покойного сводного брата, юная, но, несмотря на свою юность, весьма ученая девушка, несколько недель тому назад приехала к ним с целым сундуком книг; а если случайно вечером соберутся гости, то к шевалье это не будет иметь никакого касательства; разве

что после целого дня напряженного труда веселая беседа и небольшая партия в карты покажутся ему желанным развлечением. Едва Казанова услышал о юной племяннице, как он тотчас решил поглядеть на это создание вблизи. Делая вид, будто все еще колеблется, он в конце концов уступил настояниям Оливо, хотя и объявил, что ни в коем случае не может покинуть Мانتую более чем на день-два, а также попросил свою любезную хозяйку незамедлительно пересылать ему с нарочным все письма, которые придут сюда и, возможно, окажутся чрезвычайно важными. Когда все было решено, к великому удовольствию Оливо, Казанова отправился в свою комнату, чтобы приготовиться в путь и уже через четверть часа вернуться в общую залу, где тем временем Оливо вступил с хозяйкой в оживленный деловой разговор. Оливо поднялся, допил свое вино и, понимающе подмигнув, обещал хозяйке доставить ей шевалье, хотя и не завтра и не послезавтра, но, во всяком случае, целым и невредимым. Однако Казанова, внезапно ставший рассеянным, простился со своей гостеприимной хозяйкой так холодно и торопливо, что только у дверцы экипажа она успела шепнуть ему на ухо отнюдь не ласковое напутственное словечко.

Пока они ехали по раскаленной полуденным зноем пыльной дороге, Оливо пространно и довольно беспорядочно рассказывал о своей минувшей жизни: вскоре после женитьбы он купил близ города крохотный участок земли и открыл небольшую торговлю овощами; потом, понемногу расширяя свои владения, занялся сельским хозяйством и, наконец, благодаря усердию своему и своей супруги, ему, с божьего благословения, три года назад удалось купить у обремененного долгами графа Мараццани старый, немного обветшалый замок с виноградниками. Там, в дворянском поместье, они с женой и детьми зажили на славу, хотя и отнюдь не по-графски. И всем этим он обязан ста пятидесяти золотым, которые Казанова подарил его невесте или, вернее, ее матери; если бы не эта, точно по волшебству, явившаяся помощь, то его доля и ныне была бы все та же — обучать грамоте распущенных сорванцов, и он, по всей вероятности, остался бы старым холостяком, а Амалия — старой девой... Каза-

нова не прерывал его рассказа, но почти его не слушал. В его памяти всплыло приключение, которое он затеял тогда, одновременно с другими, более значительными; самое мелкое из всех, оно совсем не занимало места ни в его душе, ни, впоследствии, в его воспоминаниях. По пути из Рима в Турин или в Париж — он уже хорошо не помнил, — ненадолго остановившись в Мантуе, он однажды утром увидел в церкви Амалию; ему понравилось ее красивое бледное, чуть заплаканное лицо, и он обратился к ней с каким-то приветливым и любезным вопросом. В те времена к нему были ласковы все женщины, и Амалия тоже охотно открыла ему свое сердце; он узнал, что она, живя в нужде, полюбила бедного школьного учителя, отец которого наотрез отказывается, как и ее мать, в своем согласии на их брак, не сулящий ничего доброго. Казанова тотчас же вызвался помочь ее беде. Прежде всего он попросил Амалию познакомить его с матерью, и так как тридцатилетняя вдова была еще достаточно привлекательна, чтобы притязать на поклонение, то Казанова вскоре свел с ней столь тесную дружбу, что мог от нее всего добиться. Лишь только она перестала противиться этому браку, дал свое согласие и отец Оливо, разорившийся купец, особенно после того, как Казанова, представленный ему как дальний родственник матери невесты, великодушно обещал устроить на свои средства свадьбу и дать деньги на приданое. Сама же Амалия сумела отблагодарить великодушного покровителя, который показался ей посланцем из иного, недоступного для нее мира, только так, как ей повелевало сердце, и когда в канун свадьбы она с пылающими щеками вырвалась из последних объятий Казановы, то была весьма далека от мысли, что провинилась перед своим женихом; ведь он был обязан всем своим счастьем лишь любезности и великодушию этого удивительного чужестранца. Узнал ли Оливо о безмерной признательности Амалии к своему благодетелю от нее самой и принял ее жертву, как необходимое условие, а потому впоследствии не испытывал ревности, или же все случившееся и поныне оставалось для него тайной, — все это ни тогда, ни теперь нисколько не занимало Казанову.

Зной все усиливался. Громыхающий экипаж с плохими рессорами и твердыми подушками безжалостно трясло, пискливая благодушная болтовня Оливо, без усталости рассказывавшего спутнику о плодородии своих земель, о достоинствах жены, о благовоспитанности детей, о добрососедских отношениях с окрестными крестьянами и дворянами, начала докучать Казанове, и он с раздражением подумал, чего ради он, в сущности, принял приглашение, которое может принести ему одни неудобства и даже разочарование. Ему захотелось очутиться в Мантуе, в прохладной комнате, где он в этот час мог бы спокойно продолжать работу над памфлетом против Вольтера, и он решил выйти из кареты у ближайшего постоялого двора, уже показавшегося вдаль, и, наняв первый попавшийся экипаж, вернуться обратно, как вдруг Оливо громко закричал: «Эй! Эй!» — замахал по своей привычке обеими руками и, ухватив Казанову за рукав, показал ему на повозку, точно по уговору, остановившуюся рядом с их экипажем. Из нее одна за другой выскочили три девочки, а узкая доска, служившая им сиденьем, взлетела на воздух и опрокинулась.

— Мои дочери, — не без гордости представил их Оливо Казанове и, когда тот незамедлительно сделал вид, будто собирается уступить им свое место, сказал: — Сидите, сидите, дорогой шевадье, через четверть часа мы будем у цели, а на это время мы уж как-нибудь все поместимся в экипаже. Мария, Нанетта, Терезина, смотрите, это шевадье де Сенгаль, старый друг вашего отца, подойдите и поцелуйте ему руку, ведь не будь его, вас бы... — Он запнулся и шепнул Казанове: — Я чуть не ляпнул глупость. — Потом громко поправился: — Не будь его, многое было бы иначе!

Все девочки, такие же черноволосые и темноглазые, как Оливо, в том числе и старшая, Терезина, казались еще совсем детьми и разглядывали незнакомца с непринужденным грубоватым любопытством; младшая, Мария, послушная приказанию отца, и в самом деле собиралась поцеловать ему руку; но Казанова не допустил этого: взяв каждую из девочек за голову, он по очереди всех их поцеловал в обе щеки. Тем временем Оливо обменялся несколькими словами с парнем, ко-

торый привез в повозке детей, после чего тот хлестнул лошадей и покати́л дальше по дороге в Мантую.

Девочки, смеясь и весело препираясь, уселись на скамеечке против Оливо и Казановы. Тесно прижавшись друг к другу, они тараторили все разом, а поскольку отец их тоже не умолкал, то вначале Казанове было нелегко понять, о чем они, собственно, болтают. Было названо имя какого-то лейтенанта Лоренци; как сообщила Терезина, он несколько минут назад проскакал мимо них верхом, обещал приехать вечером в гости и велел передать почтительнейший привет отцу. Потом дети сказали, что мать тоже сначала собиралась поехать с ними навстречу отцу, но, побоявшись жары, предпочла остаться дома вместе с Марколиной. А когда они выезжали из дому, Марколина еще нежилась в постели, и они через открытое окно закидали ее из сада ягодами и орехами, не то она спала бы еще и теперь.

— Это не в обычае у Марколины, — заметил Оливо своему гостю, — большей частью она уже с шести часов утра, а то и раньше, сидит в саду со своими книжками и занимается до полудня. Правда, у нас вчера были гости, и мы засиделись позже обыкновенного; даже играли по маленькой в карты, — не так, как, вероятно, привык играть шевалье, но мы люди безобидные и у нас не принято оставлять друг друга без гроша. А поскольку в игре обычно участвует и наш достойный аббат, то можете себе представить, шевалье, что мы не слишком грешим.

Когда речь зашла об аббате, девочки рассмеялись и стали рассказывать друг другу бог весть что, смеясь еще пуще. Но Казанова только рассеянно кивал головой. В его воображении предстала эта еще незнакомая ему Марколина, лежащая против окна в своей белой постели: с ее полуобнаженного тела соскользнуло на пол одеяло, и отяжелевшими от сна руками она защищается от летящих в нее ягод и орехов, — и он загорелся безрассудным желанием. Что Марколина была возлюбленной лейтенанта Лоренци, он ничуть не сомневался, словно своими глазами видел их в самых нежных объятиях, и он готов был возненавидеть незнакомого ему Лоренци так же сильно, как его потянуло к никогда не виденной им Марколине.

В дрожащем мареве полудня, возвышаясь над серозеленой листвою, появилась четырехугольная башенка. Карета вскоре свернула с большой дороги на проселочную; слева полого поднимались раскинувшиеся на холме виноградники, справа над садовой оградой наклонились вершины старых деревьев. Карета остановилась у широко распахнутых ветхих ворот. Седоки вышли, и кучер по знаку Оливо поехал дальше, к конюшне. Широкая каштановая аллея вела к дому, который казался на первый взгляд довольно жалким, даже запущенным. Казанове сразу бросилось в глаза разбитое окно в первом этаже; не укрылось от него и то, что кое-где обвалилась балюстрада, окружавшая площадку широкой и низкой башни, несколько неуклюже венчавшей здание. Но входные двери были украшены искусной резьбой, а войдя в переднюю, Казанова увидел, что внутри дом хорошо сохранился, — во всяком случае, гораздо лучше, чем можно было предположить по его внешнему виду.

— Амалия, — позвал Оливо так громко, что среди сводчатых стен прозвучало эхо, — спускайся скорее! Амалия, я привез тебе гостя, да еще какого!

Но Амалия еще раньше появилась на верхних ступенях лестницы, невидимая для вошедших с яркого солнца в полумрак. Казанова, чьи острые глаза сохранили способность пронзать даже ночную тьму, заметил ее раньше, чем супруг. Он улыбнулся и сразу почувствовал, что улыбка эта его молодит. Вопреки его опасениям, Амалия нисколько не расплылась, она казалась стройной и молодожавой. Она узнала его сразу.

— Какой сюрприз, какое счастье! — воскликнула она без всякого смущения, быстро сбежала по ступенькам и, здороваясь, подставила Казанове щеку, а он без церемоний дружески ее обнял.

— И я должен верить, — сказал он, — что Мария, Нанетта и Терезина — родные ваши дочери, Амалия? Судя по времени, это возможно...

— Судя по всему прочему, тоже, — подхватил Оливо, — не сомневайтесь в этом, шевадь!

— Ты, должно быть, опоздал из-за встречи с шевадь, Оливо? — сказала Амалия, устремив на гостя за туманенный воспоминаниями взгляд.

— Да, но надеюсь, несмотря на опоздание, у тебя найдется что-нибудь поесть, Амалия?

— Мы с Марколиной, хотя и проголодались, конечно, не сядились без вас за стол.

— Не потерпите ли вы еще немного, пока я стряхну дорожную пыль со своего платья и приведу себя в порядок? — спросил Казанова.

— Сейчас я вам покажу вашу комнату, шеваље,— сказал Оливо,— надеюсь, вы будете довольны, почти так же довольны... — Он подмигнул и, понизив голос, добавил: — Как гостиницей в Мантуе, хотя кое-чего здесь вам и будет недоставать.

Он пошел вперед по лестнице на галерею, которая тянулась четырехугольником вдоль стен прихожей; из дальнего угла ее шла наверх узкая деревянная винтовая лестница. Поднявшись по ней, Оливо открыл дверь в башню, остановился на пороге и, пересыпая свою речь извинениями, предложил Казанове расположиться в этой скромной комнате для гостей. Служанка внесла чемодан и удалилась вместе с Оливо, и Казанова остался один в небольшой комнате, снабженной всем необходимым, но довольно голой, с четырьмя узкими и высокими стрельчатыми окнами; из них во все стороны далеко открывался вид на залитую солнцем равнину с зелеными виноградниками, пестрыми лугами, золотыми нивами, белыми дорогами, светлыми домами и темными пятнами садов. Казанова не стал долго любоваться видом и быстро привел себя в порядок, не столько потому, что был голоден, сколько потому, что его мучило любопытство: ему хотелось как можно скорее встретиться лицом к лицу с Марколиной; он даже не переоделся, так как хотел предстать в полном параде вечером.

Войдя в расположенную в нижнем этаже столовую, обшитую деревянными панелями, Казанова увидел за уставленным кушаньями столом, кроме супругов и их трех дочерей, грациозную девушку в простом сером, мягко ниспадающем платье, посмотревшую на него безо всякого стеснения, как будто он был одним из домочадцев или, по крайней мере, сто раз бывал здесь в гостях. Что взгляд ее не зажегся тем огнем, которым его так часто встречали прежде женщины, когда он впервые являлся им в пленительном блеске юности или

в опасной красоте зрелых лет, конечно, давно уже было не ново для Казановы. Но и в последнее время достаточно было упомянуть его имя, чтобы вызвать на устах у женщин слова запоздалого восхищения или хотя бы безмолвный трепет сожаления, как признание того, сколь приятна была бы встреча с ним несколькими годами раньше. А теперь, когда Оливо представил своей племяннице господина Казанову, шеваляе де Сенгаль, она улыбнулась совершенно так же, как улыбнулась бы, если бы ей назвали любое, ничем не примечательное имя, не прославленное приключениями и не овеянное тайнами. И даже тогда, когда он сел рядом с ней, поцеловал ей руку и глаза его метнули на нее целый сноп искр восхищения и желаний, на лице ее не отразилось и легкого удовлетворения, которого все же можно было бы ожидать, как скромного ответа на выражение столь пылкого восторга.

После первых слов Казанова дал понять своей соседке, что осведомлен об ее учености, и спросил ее, какой науке она отдает предпочтение. Она ответила, что изучает главным образом высшую математику, в которую посвятил ее известный преподаватель Болонского университета, профессор Морганьи. Казанова выразил удивление такому и впрямь необычному интересу к столь трудному прозаическому предмету со стороны привлекательной молодой девушки, но Марколина ответила, что, по ее мнению, из всех наук высшая математика — самая фантастическая, можно сказать, поистине божественная по своей природе. Когда же Казанова попросил подробнее разъяснить ему этот совершенно новый для него взгляд, то Марколина скромно отклонила его просьбу и заявила, что всем присутствующим — и прежде всего ее дорогому дяде — будет, наверное, гораздо приятнее узнать о приключениях объездившего весь свет друга, которого он так давно не видел, чем слушать философский разговор. Амалия горячо поддержала просьбу Марколины, и Казанова, всегда готовый уступить желаниям подобного рода, заметил мимоходом, что в последние годы он преимущественно выполнял секретные дипломатические поручения, заставлявшие его скитаться — если назвать лишь большие города — между Мадридом, Парижем, Лондоном, Амстердамом и Санкт-Петербургом. Он описывал

встречи и беседы серьезного и веселого характера с мужчинами и женщинами самых различных сословий, не забыл также упомянуть о любезном приеме, оказанном ему при дворе российской императрицы Екатерины Второй, и очень забавно рассказал, как Фридрих Великий чуть было не назначил его воспитателем в кадетском корпусе для померанских дворян; от этой опасности он, впрочем, спасся поспешным бегством. Об этом и о многом другом он говорил как о событиях совсем недавних, а не отошедших в прошлое на многие годы, даже на десятки лет, как это было в действительности; кое-что он присочинял, сам не отдавая себе отчета, где правда и где вымысел, и радовался своему настроению, а также интересу, с коим его слушали. Пока он рассказывал и фантазировал, ему казалось, что он и теперь — все тот же избалованный счастьем, дерзкий и блестящий Казанова, который разъезжал по всему свету с красавицами, которого дарили своей благосклонностью светские и духовные князья, который промотал, проиграл и раздарил тысячи, а не опустившийся прихлебатель, получающий от старых друзей из Англии и Испании смехотворно малые подачки, а порой и вовсе ничего не получающий и вынужденный тогда довольствоваться несколькими жалкими золотыми, выигранными у барона Перотти и у его гостей; да, он даже забыл о том, что представлялось ему теперь заветной целью, — о стремлении закончить свою жизнь, некогда столь блистательную, самым ничтожным гражданином, писцом, нищим в своем родном городе, где его сперва заточили в тюрьму, а после побега предали анафеме и объявили изгнанником.

Марколина тоже слушала его внимательно, но с таким выражением, словно ей читают вслух занимательную книгу. Она знала, кто сидит перед ней, — человек, мужчина, сам Казанова, переживший все эти приключения и еще многие другие, о которых он не рассказывал, возлюбленный тысячи женщин, но по лицу ее нельзя было это прочесть. Совсем иное выражение светилось в глазах Амалии. Для нее Казанова остался тем же, что и прежде; для нее голос его звучал так же чарующе, как шестнадцать лет назад, и Казанова чувствовал, что стоит ему только сказать слово, а может быть, и того меньше, чтобы по первому его желанию

возобновилась прежняя интрига. Но что значила для него сейчас Амалия, если его влекло к Марколине, как никогда ни к одной женщине до нее? Ему казалось, что сквозь облегающее ее матовым блеском платье он видит ее обнаженное тело; ее юная грудь, как расцветающие бутоны, стремилась ему навстречу, а когда она наклонилась, чтобы поднять упавший на пол платочек, воспламенившееся воображение Казанова придало ее движению такой сладострастный смысл, что он чуть не упал в обморок. От Марколины не укрылось ни то, что он, рассказывая, невольно запнулся, ни то, что его взгляд зажегся странным огнем, но в ее глазах он прочел внезапное удивление, настороженность и даже промелькнувшее отвращение. Казанова быстро овладел собой и уже был готов с новым воодушевлением продолжать свой рассказ, как в комнату вошел тучный священник. Хозяин дома, здороваясь с ним, назвал его аббатом Росси, а Казанова сразу узнал в нем того человека, с которым он встретился двадцать семь лет назад на купеческом судне, направлявшемся из Венеции в Кьоджу.

— У вас была тогда повязка на глазу, — заметил Казанова, редко упускавший случай блеснуть своей превосходной памятью, — и какая-то крестьянка в желтом платке посоветовала вам воспользоваться целебной мазью, случайно оказавшейся у молодого аптекаря с очень хриплым голосом.

Аббат кивнул головой и, польщенный, улыбнулся. Но затем с лукавым видом подошел вплотную к Казанове, точно хотел сообщить ему какую-то тайну, однако сказал громко:

— А вы, господин Казанова, находились в числе участников свадебного торжества... не знаю, были ли вы случайным гостем или шафером невесты; во всяком случае, невеста бросала на вас гораздо более нежные взоры, чем на жениха... Поднялся ветер, чуть ли не буря, а вы стали читать какое-то весьма смелое стихотворение.

— Шевалье сделал это, разумеется, только для того, чтобы укротить бурю, — сказала Марколина.

— Такой волшебной силы, — возразил Казанова, — я себе никогда не приписывал, но не стану отрицать, что

когда я начал читать, никого уже больше не тревожила буря.

Девочки окружили аббата, заранее зная, что будет, а он пригоршнями вытаскивал из своих бездонных карманов всякие лакомства и толстыми пальцами клал их детям в рот. Тем временем Оливо со всеми подробностями рассказывал аббату о своей неожиданной встрече с Казановой. Амалия как замороженная не сводила сияющих глаз с властного смуглого лица дорогого гостя. Дети убежали в сад; Марколина поднялась с места и смотрела на них в открытое окно. Аббат передал поклон от маркиза Чельси: если здоровье ему позволит, он приедет вечером вместе с супругой к своему дорогому другу Оливо.

— Очень удачно, — ответил тот, — таким образом, в честь шеваляе для игры соберется приятная маленькая компания; я жду также братьев Рикарди; Лоренци тоже приедет; дети встретились с ним во время его верховой прогулки.

— Он все еще здесь? — удивился аббат. — Еще неделю назад говорили, что он должен вернуться в полк.

— Маркиза, должно быть, выхлопотала ему у полковника отпуск, — смеясь, заметил Оливо.

— Удивительно, что в такое время мантуанским офицерам разрешают отпуск, — вставил Казанова. — Два моих знакомых офицера — один из Мантуи, другой из Кремоны, — стал он придумывать дальше, — выступили ночью со своими полками по направлению к Милану.

— Разве начинается война? — спросила Марколина, стоя у окна. Она обернулась, черты ее лица, на которые падала тень, были неразличимы, и легкую дрожь в ее голосе уловил один лишь Казанова.

— Все, может быть, уладится, — сказал он небрежно. — Но поскольку испанцы ведут себя угрожающе, надо быть готовыми.

— Известно ли вообще, — важно спросил Оливо, наморщив лоб, — на какой стороне мы будем драться — на стороне испанцев или французов?

— Лейтенанту Лоренци это должно быть безразлично, — вмешался аббат. — Лишь бы ему наконец удалось проявить свою храбрость.

— Он уже ее проявил, — возразила Амалия. — Три года назад он сражался под Павией.

Марколина молчала.

Казанова узнал достаточно. Он подошел к Марколине и окинул сад внимательным взглядом. Ничего не было видно, кроме широкой лужайки, где играли дети; она замыкалась рядом высоких и густых деревьев, росших вдоль каменной ограды.

— Какое прекрасное имение! — обратился он к Оливо. — Мне хотелось бы осмотреть его получше.

— А мне, — отвечал Оливо, — ничто не могло бы доставить большего удовольствия, как показать вам свои виноградники и поля, шевадье! Да, сказать вам правду, с тех пор как это маленькое имение принадлежит мне — спросите Амалию, — я все годы ничего так не желал, как принять вас наконец в собственных владениях. Десятки раз я собирался вам написать и пригласить вас. Но разве мог я когда-нибудь рассчитывать на то, что письмо вас застанет? Если передавали, что недавно вас видели в Лиссабоне, то можно было не сомневаться, что вы уже успели уехать в Варшаву или в Вену. А теперь, когда я каким-то чудом встретил вас как раз в тот час, когда вы собирались покинуть Мантую, и мне удалось — а это было нелегко, Амалия! — привезти вас к себе, то вы так дорожите своим временем, что — подумайте только, господин аббат! — соглашаетесь подарить нам не более двух дней!

— Может быть, удастся уговорить шевадье, чтобы он продлил свое пребывание у вас, — ответил аббат, смакуя во рту кусочек персика, и бросил на Амалию быстрый взгляд, из которого Казанова заключил, что она оказала аббату больше доверия, чем своему супругу.

— К сожалению, это невозможно, — твердо сказал Казанова, — я не могу скрыть от друзей, выказывающих такое участие к моей судьбе, что мои венецианские сограждане собираются — хотя и с некоторым опозданием, но с тем большим почетом для меня — загладить несправедливость, которую совершили по отношению ко мне много лет назад, и я не могу дольше отказывать им в их настоятельных просьбах, не желая прослыть неблагодарным или даже злопамятным.

Легким движением руки он отклонил вопрос, готовый сорваться с языка благоговевшего перед ним, но любопытного Оливо, и быстро проговорил:

— Итак, Оливо, я готов. Покажите мне свое маленькое королевство.

— Не лучше ли, — заметила Амалия, — дожидаться, пока станет прохладнее? Шевалье будет теперь, наверное, приятнее немного отдохнуть или прогуляться в тени?

И глаза ее засветились такой робкой мольбой, обращенной к Казанове, как будто во время этой прогулки по саду вторично должна была решиться ее судьба. Никто не возражал против предложения Амалии, и все направились в сад. Марколина, которая шла впереди, побежала по залитой солнцем лужайке к детям, игравшим в волан, и немедленно приняла участие в игре. Она была чуть выше ростом старшей из трех девочек, и теперь, когда упавшие ей на плечи волосы развеялись на ветру, сама казалась ребенком. Оливо и аббат сели на каменную скамью в аллее неподалеку от дома. Амалия пошла дальше рядом с Казановой. Когда уже никто не мог их услышать, она заговорила с ним так, как говорила когда-то, словно никогда и не говорила иначе:

— Ты опять со мной, Казанова! С каким нетерпением ждала я этого дня! Я знала, что он когда-нибудь наступит.

— Я оказался здесь случайно, — холодно ответил Казанова. Амалия только улыbnулась.

— Объясняй это как хочешь. Ты здесь! В течение этих шестнадцати лет я только и мечтала об этом дне.

— Надо полагать, что за эти годы ты мечтала еще и о другом, и не только мечтала, — возразил Казанова. Амалия покачала головой.

— Ты знаешь, что это не так, Казанова. И ты тоже меня не забыл, иначе ты не принял бы приглашения Оливо, когда ты так торопишься в Венецию!

— Ты что вообразила, Амалия? По-твоему, я приехал сюда из желания сделать рогоносцем твоего доброго мужа?

— Зачем ты так говоришь, Казанова? Если я снова буду твоей, то это не обман и не грех!

Казанова громко рассмеялся.

— Не грех? Почему не грех? Не потому ли, что я старик?

— Ты не стар. Для меня ты никогда не состаришься. В твоих объятиях я впервые вкусила блаженство, и мне, видимо, суждено испытать его и в последний раз с тобой.

— В последний раз? — насмешливо повторил Казанова, хотя и был слегка растроган. — Против этого, пожалуй, найдутся возражения у моего друга Оливо.

— С ним, — ответила Амалия, краснея, — с ним — это долг, пожалуй, даже удовольствие, но не блаженство... и никогда блаженством не было.

Они не дошли до конца аллеи, словно боялись приблизиться к лужайке, где играли Марколина и дети, повернули, как бы по уговору, обратно и вскоре молча подошли к дому. На его торцовой стороне одно окно нижнего этажа было открыто настежь, Казанова разглядел в темной глубине комнаты наполовину отодвинутую занавесь, за которой виднелось изножье кровати. Рядом на стуле висело платье, светлое и легкое, как вуаль.

— Комната Марколины? — спросил Казанова.

Амалия кивнула головой и как будто без всякого подозрения весело спросила:

— Она тебе нравится?

— Да, она хороша.

— Хороша и добродетельна.

Казанова пожал плечами, как бы желая сказать, что не спрашивал об этом. Потом проговорил:

— Если бы сегодня ты увидела меня впервые, мог бы я понравиться тебе, Амалия?

— Не знаю, изменился ли ты с тех пор. Я вижу тебя таким, каким ты был тогда. Каким я видела тебя всегда, даже во сне.

— Взгляни на меня, Амалия! Эти морщины на лбу... Складки на шее. Глубокие борозды, идущие от глаз к вискам. А вот здесь, в глубине, у меня не хватает зуба, — и он ослабил. — А эти руки, Амалия! Посмотри на них! Пальцы, как когти... мелкие желтые пятнышки на ногтях... И жилы — синие и вздувшиеся. Руки старика, Амалия!

Она взяла обе руки его, протянутые к ней, и в тени аллеи с благоговением поцеловала их одну за другой.

— А сегодня ночью я хочу целовать твои губы, — сказала она с покорным и нежным видом, который его рассердил.

Невдалеке от них, на краю лужайки, в траве лежала Марколина, закинув руки за голову и устремив взгляд вверх; над нею пролетали мячи, которые бросали дети. Вдруг она вытянула руку, чтобы схватить мяч. Поймав его, она звонко расхохоталась, дети накинулись на нее, и она не могла от них отбиться, кудри ее развевались. Казанова весь задрожал.

— Ты не будешь целовать ни моих губ, ни рук, — сказал он Амалии, — и тщетным окажется твоё ожидание и тщетными твои мечты, если только я прежде не буду обладать Марколиной.

— Ты обезумел, Казанова! — горестно воскликнула Амалия.

— Нам не в чем упрекать друг друга, — продолжал Казанова. — Ты обезумела, думая, что видишь опять во мне, старике, возлюбленного времен своей юности, я — вбив себе в голову, что должен обладать Марколиной. Но, быть может, обоим нам суждено образумиться. Пусть Марколина сделает меня вновь молодым — для тебя. Так помоги мне, Амалия!

— Ты не в своем уме, Казанова. Это невозможно. Она и знать не хочет мужчин.

Казанова расхохотался.

— А лейтенант Лоренци?

— При чем тут Лоренци?

— Он ее любовник, я это знаю.

— Ты глубоко ошибаешься, Казанова. Он просил ее руки, но она ему отказала. А он молод и красив, он даже кажется мне красивее, чем когда-то был ты, Казанова!

— Он к ней сватался?

— Спроси Оливо, если не веришь мне.

— Что ж, мне это безразлично. Какое мне дело, девица ли она или девка, невеста или вдова; я хочу обладать ею, я хочу ее!

— Я не могу тебе ее дать, мой друг! — И по звуку ее голоса Казанова почувствовал, что ей жаль его.

— Вот видишь, — сказал он, — каким никчемным человеком я стал, Амалия. Еще десять, еще пять лет назад мне не понадобилась бы ничья помощь или заступничество, будь Марколина даже богиней добродетели. А теперь я хочу сделать тебя сводней. Иное дело, будь

я богат... Да, с десятью тысячами дукатов... Но у меня нет и десяти. Я нищий, Амалия.

— И за сто тысяч ты не добился бы Марколины. К чему ей богатство? Она любит книги, небо, луга, бабочек и игры с детьми... Ей с избытком хватает ее маленького наследства.

— О, будь я князем! — воскликнул Казанова, впадая в напыщенный тон, что бывало с ним, когда его обурежала подлинная страсть. — Будь у меня власть бросать людей в тюрьму, казнить их... Но я — ничто. Я попрошайка и к тому же лгун. Я выпрашиваю у венецианских вельмож должность, кусок хлеба, родину! Что со мной стало? Я не внушаю тебе отвращения, Амалия?

— Я люблю тебя, Казанова!

— Так добудь мне ее, Амалия! Ты можешь, я знаю. Говори ей что угодно. Скажи, что я вам угрожал, что ты считаешь меня способным поджечь ваш дом. Скажи ей, что я безумец, опасный безумец, убежавший из сумасшедшего дома, но что девичьи объятия могли бы меня исцелить. Да, скажи ей это.

— Она не верит в чудеса.

— Как? Не верит в чудеса? Значит, она не верит и в бога? Тем лучше! Я на хорошем счету у миланского архиепископа! Скажи ей это. Я могу погубить ее. Могу погубить всех вас. Это правда, Амалия! Что за книги она читает? Среди них, без сомнения, есть запрещенные церковью? Дай мне на них взглянуть. Я составляю список. Одно моего слова...

— Молчи, Казанова! Вот она идет. Не выдай себя. Как бы тебя не выдали твои глаза! Никогда, Казанова, никогда, — слушай меня внимательно, — никогда не знала я более чистого существа. Если бы она подозревала, что мне сейчас пришлось услышать, она сочла бы себя оскверненной, и, сколько бы ты ни жил здесь, ты бы больше ее не увидел. Поговори с нею. Да, да, поговори с нею, и ты будешь просить у меня, ты будешь просить у нее прощения.

Подошла Марколина с детьми. Девочки убежали в дом, а она, как бы желая оказать гостю любезность, остановилась перед ним. Амалия, по-видимому, нарочно удалилась. И тут на Казанову в самом деле как бы повеяло суровой чистотой от этих бледных полуоткрытых губ, от этого гладкого лба, обрамленного темно-русы-

ми, теперь подобранными волосами. Чувство какого-то умиления, смирения, лишенное малейшего плотского желания, чувство, какого Казанова почти никогда не испытывал к женщине и даже к самой Марколине, когда видел ее в замке, овладело его душой. И сдержанным, почтительным тоном, каким принято разговаривать с людьми более высокого происхождения и какой должен был польстить Марколине, Казанова обратился к ней с вопросом, намерена ли она опять посвятить научным занятиям наступающие вечерние часы. Она ответила, что в деревне у нее нет вообще расписания для занятий, но она ничего не может поделать с тем, что некоторые математические проблемы, о которых она недавно размышляла, преследуют ее даже на досуге, как это было сейчас, когда она лежала на лугу и смотрела в небо. Однако когда Казанова, ободренный ее приветливостью, шуточно осведомился, что же это за высокая и вдобавок столь навязчивая проблема, она с легкой насмешкой ответила ему, что эта проблема, во всяком случае, не имеет ничего общего с той знаменитой кабалой, в которой, по рассказам, весьма сведущ ше-валье де Сенгаль, и поэтому ему едва ли удастся в ней разобраться. Казанову задело, что она отзывается о кабале с нескрываемым пренебрежением, и, вопреки собственному внутреннему убеждению, он попытался защитить перед Марколиной кабалу, как полноценную и подлинную науку, хотя в часы откровенности с самим собой, правда редкие, и признавал, что своеобразная мистика чисел, именуемая кабалой, не имеет ни смысла, ни оправдания и ее вовсе нет в природе, она лишь используется мошенниками и шутами — а эту роль он играл попеременно, но всегда превосходно, — как средство водить за нос легковверных и глупых людей. Он говорил о божественной природе числа семь, о чем даже упоминается в Священном писании, о глубоко-мысленно-пророческом значении числовых пирамид, которые он научился строить по новой системе, и о том, как часто сбывались его предсказания, основанные на этой системе. Разве он еще несколько лет тому назад, в Амстердаме, построив такую пирамиду чисел, не побудил банкира Гоппе взять на себя страховку купеческого корабля, который уже считался погибшим, и разве тот не заработал на этом двести тысяч золотых гуль-

денов? Он все еще так ловко умел излагать свои шарлатански-остроумные теории, что, как с ним часто случалось, и на этот раз начал верить сам во всю эту бессмыслицу и даже дерзнул заключить свою речь утверждением, что кабала представляет собой не столько одну из отраслей математики, сколько ее метафизическое завершение. Марколина, слушавшая его вначале очень внимательно и, по-видимому, вполне серьезно, вдруг бросила на него сострадательный и в то же время лукавый взгляд и сказала:

— Вам, по-видимому, захотелось, высокочтимый синьор Казанова (казалось, она умышленно не назвала его «шевалье»), показать мне изысканный образец вашего всемирно прославленного красноречия, за что я вам искренне благодарна. Но вы, конечно, знаете не хуже меня, что кабала не только не имеет ничего общего с математикой, но как раз грешит против подлинной сущности математики и по отношению к ней занимает такое же положение, какое путаная или лживая болтовня софистов занимает по отношению к ясным и возвышенным учениям Платона и Аристотеля.

— Все же,— поспешно возразил Казанова,— вы должны будете со мною согласиться, прекрасная и ученая Марколина, что софистов отнюдь нельзя считать столь презренными глупцами, как можно было бы заключить из вашего не в меру сурового приговора. Так,— приведем пример из современной жизни,— господина Вольтера, по всему его образу мыслей и способу их излагать, несомненно, можно назвать образцом софиста, и, несмотря на это, никому не придет в голову, даже мне, объявившему себя его решительным противником,— не стану отрицать, что я именно теперь пишу против него памфлет,— даже мне не придет в голову отказать ему в исключительном даровании. Замечу кстати, что меня нисколько не подкупила подчеркнутая предупредительность, которую господин Вольтер любезно проявил ко мне во время моего визита в Ферне десять лет назад.

Марколина усмехнулась.

— Очень мило с вашей стороны, шевалье, что вы изволите так мягко судить о величайшем уме нашего века.

— О великом, даже величайшем? — воскликнул Казанова. — Называть его так мне кажется непозволительным уже потому, что, при всей своей гениальности, он безбожник, — вернее, даже богоотступник. А богоотступник никак не может быть великим умом.

— На мой взгляд, шевалье, в этом нет никакого противоречия. Но вы прежде всего должны доказать, что Вольтера можно назвать богоотступником.

Тут Казанова очутился в своей стихии. В первой главе своего памфлета он привел множество выдержек из произведений Вольтера, главным образом из пресловутой «Девственницы», которые казались ему особенно вескими доказательствами неверия Вольтера; благодаря своей превосходной памяти, Казанова теперь цитировал их слово в слово наряду со своими контраргументами. Но в лице Марколины он нашел противницу, мало уступавшую ему в знаниях и остроте ума и, кроме того, намного превосходившую его, если не в велеречивости, то в подлинном искусстве и ясности речи. Места, которые Казанова пытался представить как доказательства иронии, скептицизма и безбожия Вольтера, Марколина умело и находчиво истолковывала как столь же многочисленные свидетельства научного и писательского гения этого француза, а также его неутомимого и пылкого стремления к правде и, не смущаясь, высказала мысль, что сомнение, ирония и даже неверие, если им сопутствуют столь обширные познания, столь безусловная честность и столь высокое мужество, должны быть более угодны богу, чем смирение верующих, за которым большей частью кроется не что иное, как неспособность логически мыслить и даже нередко — чему есть немало примеров — трусость и лицемерие.

Казанова слушал ее с возрастающим изумлением. Он видел свое бессилие переубедить Марколину и все яснее и яснее понимал, что душевным порывам, которые он чувствовал в последние годы и привык считать религиозностью, грозила опасность исчезнуть без следа, и потому поспешил воспользоваться общепринятым мнением, что высказанные Марколиной взгляды не только угрожают власти церкви, но и могут подорвать самые основы государства, и тут же ловко перескочил на область политики, где благодаря своему опыту и знакомству со светом скорее мог доказать Марколине

свое несомненное превосходство. Но если она и уступала ему в знании людей и понимании придворно-дипломатических интриг и не могла опровергнуть отдельных доводов Казановы даже тогда, когда была склонна не доверять его словам,— то из ее замечаний с неоспоримой ясностью вытекало, что она не питает особого почтения ни к земным владыкам, ни к существующим формам государственной власти и убеждена, что корыстолюбие и властолюбие и в малых и в великих делах не столько управляют миром, сколько вносят в него сумятицу. Казанове до сего времени редко приходилось наблюдать такое свободомыслие у женщины, а у девушки, которой не было еще и двадцати лет, он вообще никогда его не встречал; и он не без грусти вспомнил, что в минувшие дни, которые были лучше нынешних, его собственная мысль, с несколько самодовольной и сознательной смелостью, шла теми же путями, на которые, как он видел, вступила теперь Марколина, казалось, даже не сознавая своей смелости. И, увлеченный своеобычностью ее образа мыслей и их выражения, Казанова почти забыл, что идет рядом с молодым, прекрасным и пленительным созданием, и это было тем более удивительно, что он находился с нею совершенно один в тенистой аллее, довольно далеко от дома. И вдруг, прервав себя на полуслове, Марколина с живостью, как будто даже с радостью, воскликнула:

— А вот и дядя!..

И Казанова, словно желая наверстать упущенное, прошептал:

— Как жаль! С каким удовольствием я бы еще часами беседовал с вами, Марколина!

Он сам почувствовал, как при этих словах глаза его вновь загораются желанием, и Марколина, которая, не смотря на всю свою насмешливость, держала себя с ним почти доверчиво во время всего разговора, приняла замкнутый вид, и ее взгляд выразил прежнюю настороженность, даже прежнее отвращение, уже однажды так глубоко уязвившее Казанову сегодня.

«Неужели я и впрямь могу внушать такое отвращение? — со страхом спросил он себя. И тут же ответил: — Нет, дело не в этом; просто Марколина — не женщина. Она ученый, философ, пожалуй, даже чудо природы, только не женщина».

Однако при этом он знал, что лишь старается сам себя обмануть, утешить, спасти и что все его старания напрасны.

Перед ними стоял Оливо.

— Ну, разве это не была счастливая мысль, — обратился он к Марколине, — пригласить наконец к нам в дом гостя, с которым можно поговорить о таких высоких предметах, к каким тебя, вероятно, приохотили твои болонские профессора?

— Вряд ли даже среди них, дорогой дядя, найдется хоть один, — отвечала Марколина, — который бы осмелился вызвать на поединок самого Вольтера!

— Вот как, Вольтера? А шевалье вызвал его? — воскликнул Оливо, не поняв.

— Ваша остроумная племянница, Оливо, имеет в виду памфлет, которым я занят в последнее время. Так, любительский опыт в часы досуга. Прежде меня поглощали более важные дела.

Пропустив мимо ушей это замечание, Марколина сказала:

— Стало прохладно, и вам будет приятно прогуляться. До свидания!

Она слегка кивнула им и побежала по лужайке к дому.

Казанова удержался и не посмотрел ей вслед; он спросил:

— Синьора Амалия пойдет с нами?

— Нет, милейший шевалье, у нее много всяких дел по дому, и в этот час она обычно дает урок девочкам.

— Какая хорошая хозяйка и добрая мать! Вам можно позавидовать, Оливо!

— Да, я и сам каждый день себе это повторяю, — ответил Оливо, и на глазах у него показались слезы.

Они пошли вдоль торцовой стены дома. Окно Марколины было по-прежнему открыто. В глубине комнаты, погруженной в полумрак, белело легкое, как вуаль, платье. Они вышли по широкой каштановой аллее на дорогу, которая уже совсем погрузилась в тень, и стали медленно подниматься в гору вдоль садовой ограды. Там, где она поворачивала под прямым углом, начинались виноградники. Между высокими лозами, на которых висели тяжелые гроздья черно-синих ягод, Оливо повел своего гостя к вершине холма и с видом глубо-

кого удовлетворения указал на свой дом, лежавший теперь довольно глубоко внизу. Казанове померещилось, будто в окне башни то мелькает, то вновь исчезает силуэт женщины.

Солнце клонилось к закату, но было еще очень жарко. По щекам Оливо градом катился пот, а у Казановы лоб оставался совершенно сухим. Постепенно удаляясь, они стали теперь спускаться и вышли на тучное поле. От одного оливкового дерева к другому тянулись виноградные лозы, между рядами деревьев покачивались высокие желтые колосья.

— Дары солнца в тысячеликом образе, — проникновенно произнес Казанова.

Оливо с еще большими подробностями, чем прежде, принялся рассказывать о том, как мало-помалу ему удалось приобрести это прекрасное имение и как обильный урожай плодов и злаков в течение нескольких лет сделал его зажиточным, даже богатым человеком. Но Казанова был занят своими мыслями и, лишь изредка подхватывая слово, сказанное Оливо, вставлял какой-нибудь вежливый вопрос, чтобы доказать ему свое внимание. Только когда Оливо, болтая о всевозможных вещах, заговорил о своей семье и, наконец, о Марколине, Казанова насторожился. Но он узнал немногим более того, что было ему уже известно. Еще ребенком, живя в доме отца, врача в Болонье, который приходился Оливо сводным братом и рано овдовел, она изумляла родных своими способностями, пробудившись в самом юном возрасте, поэтому все давно привыкли к ее необычным наклонностям. Несколько лет назад умер ее отец, и с тех пор она живет в семье известного профессора Болонского университета, того самого Морганьи, который возымел дерзкое намерение сделать из своей ученицы крупного ученого. Летом она всегда гостит у дяди. Она отказала нескольким претендентам на ее руку — болонскому купцу, живущему по соседству землевладельцу, а совсем недавно — лейтенанту Лоренци и, по-видимому, действительно хочет посвятить себя только служению науке. Пока Оливо рассказывал обо всем этом, Казанова чувствовал, как безмерно растет в нем желание, и, сознавая, насколько оно безнадежно и безрассудно, был близок к отчаянию.

Едва они вышли с поля на проезжую дорогу, как из катящегося им навстречу облака пыли раздались приветственные возгласы. Показалась карета, где сидели хорошо одетый пожилой господин с более молодой пышной и накрашенной дамой.

— Маркиз, — шепнул Оливо своему спутнику. — Он едет ко мне.

Карета остановилась.

— Добрый вечер, дорогой Оливо! — воскликнул маркиз. — Не познакомите ли вы меня с шевалье де Сенгаль? Не сомневаюсь, что имею удовольствие видеть его перед собой.

Казанова слегка поклонился:

— Да, это я.

— А я — маркиз Чельси, а это — маркиза, моя супруга.

Дама протянула Казанове кончики пальцев; он прикоснулся к ним губами.

— Нам с вами по пути, дражайший Оливо, мы направляемся к вам, — сказал маркиз; его колючие зеленоватые глаза под густыми сросшимися рыжими бровями придавали всему его желтому, как воск, узкому лицу не весьма приветливое выражение. — Отсюда каких-нибудь четверть часа ходьбы до вашего дома, поэтому я выйду из кареты и пройду с вами пешком. Надеюсь, дорогая, ты согласишься проехать это небольшое расстояние одна? — обратился он к маркизе, все время не сводившей жадных глаз с Казановы; не дожидаясь ответа супруги, он махнул рукой кучеру, и тот сразу, как бешеный, стегнул лошадей, точно по какой-то неведомой причине хотел возможно быстрее увезти отсюда свою госпожу; карета тотчас же исчезла в облаке пыли.

— В наших местах уже распространилась весть, — сказал маркиз, бывший еще выше ростом, чем Казанова, и отличавшийся неестественной худобой, — что сюда прибыл шевалье де Сенгаль и остановился у своего друга Оливо. Должно быть, отрадно чувствовать, что носишь такое прославленное имя.

— Вы очень любезны, синьор маркиз, — ответил Казанова. — Во всяком случае, я еще не отказался от надежды приобрести такое имя, но покамест очень далек от этого. Труд, предпринятый мною как раз теперь, надеюсь, несколько приблизит меня к этой цели.

— Здесь можно сократить путь,— заметил Оливо и свернул на тропинку, которая шла полем прямо к садовой ограде.

— Труд? — повторил маркиз несколько недоуменно.— Позвольте спросить, какого рода труд вы имеете в виду, шевадье?

— Уж если вы меня об этом спрашиваете, синьор маркиз, то я, со своей стороны, принужден обратиться к вам с вопросом: о какого рода славе вы сейчас говорили?

При этом Казанова высокомерно посмотрел в колючие глаза маркиза. Ибо хотя он хорошо знал, что ни его фантастический роман «Икосамерон», ни его трехтомное «Опровержение истории венецианского правительства, написанной Амелотом» не принесли ему большой литературной славы, ему во что бы то ни стало хотелось показать, что ни к какой другой славе он не стремится, и он делал вид, будто не понимает никаких осторожно-пытливых замечаний и намеков маркиза, который, видимо, мог представить себе Казанову лишь знаменитым соблазнителем женщин, игроком, дельцом, политическим эмиссаром — кем угодно, только не писателем, тем более что ему никогда не приходилось слышать ни об «Опровержении сочинения Амелота», ни об «Икосамероне». Поэтому маркиз, слегка сбитый с толку, в конце концов вежливо заметил с некоторым смущением:

— Во всяком случае, есть только один Казанова.

— Вы опять-таки в заблуждении, синьор маркиз,— холодно возразил Казанова.— Я не единственный сын в семье, и имя одного из моих братьев — художника Франческо Казановы — не пустой звук для знатока.

Обнаружилось, что и в этой области маркиз не принадлежал к числу знатоков, и он перевел разговор на своих знакомых в Неаполе, Риме, Милане и Мантуе, с которыми, как он предполагал, Казанове приходилось встречаться. Среди них он назвал,— правда, с оттенком пренебрежения,— также имя барона Перотти, и Казанове пришлось признать, что в доме барона он иногда играл в карты — для развлечения, прибавил он, полчасика перед отходом ко сну. «Но от такого рода времяпрепровождения я, можно сказать, уже почти отказался».

— Весьма сожалею, — ответил маркиз, — ибо не стану от вас скрывать, шевалье, что мечтой моей жизни было померяться силами с вами — и в игре, а в более молодые годы — и на ином поприще. Подумайте только, я прибыл в Спа — сколько могло пройти лет с тех пор? — в тот самый день, даже в тот же час, когда вы оттуда отбыли. Наши кареты, встретившись, проехали одна мимо другой. Такая же неудача постигла меня и в Регенсбурге. Там я даже поселился в комнате, которую вы оставили часом раньше.

— Действительно несчастье, — сказал Казанова, все же немного польщенный, — что в жизни иногда слишком поздно встречаешь друг друга.

— Еще не поздно, — с живостью откликнулся маркиз. — Кое в чем я заранее готов признать себя побежденным, и это меня мало трогает, но что касается карт, милейший шевалье, то, пожалуй, мы оба достигли именно подходящего возраста...

— Возраста — возможно, — перебил его Казанова. — Но, к сожалению, как раз в этой области я не могу больше притязать на удовольствие сразиться с таким достойным партнером; ибо я, — сказал он тоном низложенного государя, — ибо я, высокочтимый маркиз, не смотря на всю мою славу, как был, так и остался нищим.

Под гордым взглядом Казановы маркиз невольно опустил глаза и только недоверчиво покачал головой, словно услышав странную шутку, Оливо же, который с напряженным вниманием прислушивался ко всему разговору и сопровождал одобрительными кивками находчивые ответы своего выдающегося друга, с трудом удержался от жеста ужаса. Все они стояли уже у задней стены сада, перед узкой деревянной калиткой, и Оливо, открыв ее заскрежетавшим в замке ключом и пропустив маркиза вперед, прошептал Казанове, схватив его за руку:

— Шевалье, последние свои слова вы возьмете обратно прежде, чем переступите порог моего дома. Деньги, которые я должен вам уже шестнадцать лет, ждут вас. Я только не осмеливался... Спросите Амалию... Они приготовлены и ждут вас. Я хотел, расставаясь с вами, взять на себя смелость...

— Ничего вы мне не должны, Оливо, — мягко прервал его Казанова. — Несколько золотых — вы же прекрасно знаете — были свадебным подарком, который я, будучи другом матери Амалии... Впрочем, к чему вообще говорить об этом? Что значат для меня эти несколько дукатов? В моей судьбе вскоре произойдут большие перемены, — прибавил он нарочито громко, чтобы его мог услышать маркиз, остановившийся в нескольких шагах от них.

Оливо обменялся взглядом с Казановой, как бы желая удостовериться в его согласии, после чего заметил маркизу:

— Дело в том, что шевалье отзывают в Венецию, и он через несколько дней уезжает в родной город.

— Вернее, — вставил Казанова, когда они уже приближались к дому, — меня зовут уже давно и все более настойчиво. Но я нахожу, что господа сенаторы не слишком торопились. Пусть же теперь запасутся терпением.

— Вы имеете полное право проявлять такую гордость, шевалье! — сказал маркиз.

Когда аллея кончилась и они вышли на лужайку, где теперь лежала уже глубокая тень, они увидели перед домом ожидавшее их маленькое общество. Все встали и пошли им навстречу: впереди аббат между Марколиной и Амалией; за ними следовала маркиза рядом с рослым безбородым молодым офицером в красном мундире с серебряными шнурами и в блестящих ботфортах, — это мог быть только Лоренци. По тому, как он разговаривал с маркизой, скользя взглядом по ее белым напудренным плечам, точно по хорошо знакомому залогу других ее прелестей, тоже ему знакомых; а главное, по тому, как маркиза, прищурившись и улыбаясь, смотрела на него, — даже у менее опытного человека, чем Казанова, не могло остаться сомнений в характере отношений между ними, а также в том, что они вовсе не стремятся от кого-либо их скрыть. Они прервали свой тихий, но оживленный разговор, только оказавшись лицом к лицу со вновь пришедшими.

Оливо представил друг другу Лоренци и Казанову. Они измерили один другого коротким холодным взглядом, как бы удостоверясь в своей взаимной неприязни, затем, слегка улыбнувшись, поклонились без рукопо-

жания, ибо для этого каждый из них должен был бы сделать шаг к другому. Лоренци был красив, черты его удлиненного лица были для такого молодого человека необычайно резкими. В глубине его глаз мерцало что-то неуловимое, что заставляло людей искушенных быть настороже. Казанова всего лишь секунду раздумывал, кого напоминает ему Лоренци. Он тут же понял — перед ним его собственный портрет, каким он был тридцать лет назад. «Неужели я снова ожил в его образе? — спросил он себя. — Но ведь тогда я должен был прежде умереть...» И он содрогнулся: «Да разве я не умер давно? Что осталось во мне от когда-то молодого, ослепительного и счастливого Казановы?»

Он услышал голос Амалии. Она спрашивала его, словно издали, хотя и стояла рядом, — была ли приятна ему прогулка, и он громко, чтобы все слышали, стал расхваливать плодородные и прекрасно обработанные земли, которые он обошел вместе с Оливо. Тем временем служанка накрывала на лужайке длинный стол, ей помогали две старшие дочери Оливо, которые, смеясь и суетясь, приносили из дома посуду, стаканы и все прочее. Постепенно спустились сумерки; тихий освежающий ветерок повеял над садом. Марколина поспешила к столу, чтобы завершить работу, начатую детьми вместе со служанкой, и исправить их упущения. Остальные гости непринужденно прогуливались по лужайке и аллеям. Маркиза удостоила Казанову самого любезного внимания и пожелала, между прочим, услышать от него знаменитую историю его побега из венецианских свинцовых казематов, хотя, — прибавила она с многозначительной улыбкой, — ей отнюдь небезызвестно, что он испытал гораздо более опасные приключения, о которых, конечно, несколько рискованно рассказывать. Казанова возразил: хотя ему и пришлось пройти сквозь всякого рода испытания — серьезные и более забавные, все же ему так и не довелось узнать ту жизнь, весь смысл и подлинную сущность которой составляет опасность; правда, в тревожные времена, много лет назад, он был несколько месяцев солдатом на острове Корфу, — да есть ли на земле занятие, к которому его не принуждала судьба?! — но на его долю ни разу не выпало счастье участвовать в настоящем походе,

какой предстоит теперь синьору лейтенанту Лоренци и в чем он готов почти завидовать ему.

— В таком случае вам известно больше, чем мне, синьор Казанова, — громко и дерзко произнес Лоренци, — и даже больше, чем моему полковнику, ибо я только что получил разрешение продлить свой отпуск на неопределенное время.

— В самом деле? — воскликнул маркиз, не сдержав своей злобы, и язвительно добавил: — Вообразите только, Лоренци, мы... вернее, моя супруга была так уверена в вашем отъезде, что с начала будущей недели пригласила к нам в замок одного из наших друзей — певца Бальди.

— Вот и прекрасно, — ответил Лоренци, несколько не смутясь. — Мы — добрые друзья и поладим друг с другом. Не правда ли? — обратился он к маркизе и усмехнулся.

— Я бы посоветовала это вам обоим, — заметила маркиза, весело улыбнувшись, и первая села за стол.

Место по одну сторону от нее занял Оливо, по другую — Лоренци. Амалия села напротив, между маркизом и Казановой; подле него — в конце стола — Марколина, а против нее — аббат, по соседству с Оливо. Ужин, как и обед, был простой, но необыкновенно вкусный. Две старшие дочери хозяев дома, Терезина и Нанетта, подавали блюда и разливали превосходное вино, изготовленное из винограда с холмов Оливо. Маркиз и аббат благодарили девочек, позволяя себе шуточные, но довольно грубые ласки, которые отцу, более строгому, чем Оливо, быть может, пришлось бы не по нраву. Амалия, казалось, ничего не замечала; она была бледна, смотрела печально и всем своим видом изображала женщину, решившую состариться, ибо сохранять молодость утратило для нее всякий смысл. «Неужели только на нее простирается моя власть?» — с горечью подумал Казанова, искоса глядя на Амалию. Но, может быть, ее лицу придавало такую печаль освещение? Свечей не зажигали, довольствуясь отблеском заката, и только из дома падала на гостей широкая полоса света. Верхушки деревьев, сливаясь в сплошную темную массу с резко очерченными краями, закрывали все вокруг, и Казанове вспомнился

другой таинственный сад, где он много лет назад ждал в ночной час возлюбленную.

— Мурано, — с трепетом прошептал он, затем вслух проговорил: — Есть сад на острове близ Венеции, монастырский сад, который я посетил в последний раз много, много лет назад, ночью там все так же благоухало, как сегодня здесь.

— Разве вы были когда-нибудь монахом? — шутливо спросила маркиза.

— Почти что, — ответил, улыбаясь, Казанова и рассказал правдивую историю о том, как он, будучи еще пятнадцатилетним мальчиком, был принят в послушники венецианским патриархом, но уже юношей предпочел снять одежду священника. Аббат упомянул о находящемся поблизости женском монастыре, усиленно советуя Казанове посетить его, если он там еще не бывал. Оливо пылко поддержал аббата; он превозносил красоту мрачного старинного здания и местности, где оно расположено, а также ведущей туда живописной дороги.

— Кроме того, — продолжал аббат, — настоятельница, сестра Серафима, весьма ученая женщина, герцогиня по рождению, выразила в письме ко мне (в письме, потому что в этом монастыре соблюдается обет вечного молчания) желание встретиться с Марколиной, о чьей учености до нее дошли слухи.

— Надеюсь, Марколина, — заговорил Лоренци, впервые обратившись прямо к ней, — вы не дадите уговорить себя и не станете во всем ревностно следовать примеру герцогини-настоятельницы.

— К чему мне это? — весело возразила Марколина. — Сохранить свободу можно и не давая обета, и притом гораздо лучше, так как обет есть принуждение.

Казанова сидел подле нее. Он даже не смел потихоньку коснуться ногой ее ноги или прижаться коленом к ее колену; если бы он еще в третий раз увидел выражение ужаса и отвращения в ее взоре, а он не сомневался, что увидел бы, то это неминуемо толкнуло бы его на какой-нибудь безумный поступок. Между тем ужин продолжался, росло число осушенных бокалов, разговор становился все более оживленным и общим, и Казанова снова как бы издалека услышал голос Амалии:

— Я говорила с Марколиной.

— Ты ей... — Безумная надежда вспыхнула в его душе.

— Тише, Казанова! Речь шла не о тебе, а только о ней и об ее планах на будущее. И я повторяю тебе еще раз: никогда не будет она принадлежать ни одному мужчине.

Тут Оливо, уже изрядно нагрузившийся, неожиданно встал и, со стаканом в руке, запинаясь, сказал несколько слов о высокой чести, оказанной его бедному дому посещением дорогого друга шевалье де Сенгаль.

— А где шевалье де Сенгаль, о котором вы говорите, дорогой Оливо? — спросил Лоренци своим звонким и дерзким голосом.

Первым желанием Казановы было швырнуть свой полный стакан в лицо наглецу; но Амалия слегка прикоснулась к его руке и сказала:

— Многим людям вы и поныне известны, шевалье, только под своим прежним и более прославленным именем Казановы.

— Я не знал, — с оскорбительной серьезностью сказал Лоренци, — что французский король пожаловал синьору Казанове дворянство.

— Я не стал утруждать этим короля, — спокойно ответил Казанова. — Надеюсь, лейтенант Лоренци, вы удовлетворитесь объяснением, против которого не нашлось никаких возражений у нюрнбергского бургомистра, когда я имел честь привести его в связи с одним, впрочем, незначительным случаем.

Все молчали, с напряженным вниманием слушая его.

— Алфавит, — сказал он, — как известно, достояние всеобщее. Так вот, я выбрал несколько букв по своему желанию и возвел себя в дворянство, не будучи обязан этим никакому государю, который едва ли мог бы оценить по достоинству мои притязания. Я — Казанова, шевалье де Сенгаль. Очень сожалею, лейтенант Лоренци, если это имя вам не нравится.

— Сенгаль — превосходное имя, — сказал аббат и повторил его несколько раз, будто пробуя на вкус.

— И никто в целом свете, — воскликнул Оливо, — не имеет большего права именоваться шевалье, чем благородный друг мой Казанова!

— А когда ваша слава, Лоренци, — прибавил маркиз, — прогремит так же далеко, как слава синьора Ка-

зановы, шевадье де Сенгаль, мы, если вы пожелаете, не замедлим назвать и вас шевадье.

Казанова, обозленный непрошеной поддержкой, оказанной ему со всех сторон, только собирался ее отклонить, чтобы самому постоять за себя, как из темной глубины сада появились двое пожилых, довольно прилично одетых мужчин и подошли к столу. Оливо приветливо и шумно поздоровался с ними, очень обрадовавшись возможности прекратить размовку, которая грозила стать опасной и испортить все веселье этого вечера. Вновь прибывшие, холостяки — братья Рикарди, как Казанова узнал от Оливо, — повидали раньше свет, но им не везло с различными предприятиями, которые они затевали, и они в конце концов вернулись в родные места и поселились в соседней деревне, в снятом там жалком домике. Чудаковатые, но безобидные люди. Оба Рикарди выразили восхищение представившимся им случаем возобновить знакомство с шевадье, с которым они много лет назад встречались в Париже. Казанова этого не помнил. А может быть, это было в Мадриде?..

— Возможно, — сказал Казанова, хотя и знал, что никогда не видел ни одного из них. В разговоре участвовал только один из братьев, по-видимому, младший; другой, на вид девяностолетний старик, слушая брата, беспрестанно кивал головой и растерянно улыбался.

Все встали из-за стола. Дети удалились еще раньше. Лоренци с маркизой прогуливались по темной лужайке, Марколина и Амалия появились вскоре в зале, где они, по-видимому, были заняты приготовлениями к игре в карты.

«Что бы все это могло значить? — спросил себя Казанова, очутившись один в саду. — Неужели они считают меня богатым? И собираются меня обобрать?» Все эти приготовления, а также предупредительность маркиза, обходительность аббата и даже появление братьев Рикарди показались ему несколько подозрительными; не замешан ли в интригу и Лоренци? Или Марколина? Или даже Амалия? «Неужели все это, — мелькнула у него мысль, — происки моих врагов, которые в последнюю минуту стараются помешать моему возвращению в Венецию?» Но он тут же спохватился, что это совершенно нелепое предположение — прежде всего потому, что у него ведь больше не было даже врагов. Он был

неопасным, опустившимся старым горемыкой. Кого могло вообще тревожить его возвращение в Венецию? И когда он увидел через открытые окна, как мужчины деловито усаживаются за стол, на котором уже лежали карты и стояли наполненные вином бокалы, все его сомнения рассеялись: ясно, что здесь затевается лишь обычная безобидная игра, в которой новый партнер всегда является желанным. Мимо него проскользнула Марколина и пожелала ему счастья.

— Вы не останетесь? Посмотрели бы на игру?

— К чему мне это? Спокойной ночи, шевалье де Сенгаль, до завтра!

В сад донеслись из комнаты голоса:

— Лоренци! Шевалье! Мы вас ждем!

Скрытый тенью дома, Казанова видел, как маркиза увлекла Лоренци с лужайки под деревья во мрак. Там она крепко прижалась к нему, но Лоренци резко вырвался и поспешил к дому. В дверях он столкнулся с Казановой и с насмешливой учтивостью пропустил его вперед; Казанова прошел мимо него, не поблагодарив.

Первый банк держал маркиз. Оливо, братья Рикарди и аббат делали такие ничтожные ставки, что вся игра — даже теперь, когда все состояние Казановы равнялось нескольким дукатам, — произвела на него впечатление пустой забавы. Она казалась ему особенно смешной потому, что маркиз с таким важным видом принимал и выплачивал деньги, точно это были огромные суммы. Вдруг Лоренци, до сих пор не игравший, бросил на стол дукат, выиграл, удвоил ставку, опять выиграл, потом в третий раз и с небольшими перерывами продолжал выигрывать. Остальные игроки ставили по-прежнему мелкие монеты, а братья Рикарди особенно возмущались, когда им казалось, что маркиз относится к ним не так почтительно, как к лейтенанту Лоренци. Братья играли сообща, делая ставку на одну карту. У старшего, державшего карты, выступили на лбу капельки пота, младший стоял у него за спиной, беспрестанно что-то ему говорил, словно давал важные и непогрешимые советы. Когда он видел, что его молчаливый брат выигрывает, глаза его загорались, когда же происходило обратное, он в отчаянии устремлял их к небу. Аббат, вообще довольно безучастный, время от

времени изрекал фразы, звучавшие как поговорки, вроде: «Удачу и женщин не приневолишь!», или: «Земля кругла, а небо необъятно». Изредка он бросал лукавые и ободряющие взгляды на Казанову и тут же переводил глаза на Амалию, сидевшую возле мужа против Казановы, словно хотел вновь соединить прежних любовников. Но Казанова думал только о том, что Марколина теперь медленно раздевается в своей комнате и, если окно открыто, в ночной темноте светится ее белоснежное тело. Теряя голову от охватившего его желания, он хотел подняться со своего места — рядом с маркизом — и выйти из комнаты; но маркиз заключил по его движению, что он решил принять участие в игре, и сказал:

— Наконец-то! Мы ведь знали, что вы не останетесь безучастным зрителем, шевалье.

Он протянул Казанове карту. Тот поставил на нее все, что имел при себе, — почти все, что он имел вообще, — около десяти дукатов, которые он, не пересчитав, высыпал из кошелька на стол, — желая проиграть их разом: это должно было послужить предзнаменованием, счастливым предзнаменованием — он и сам хорошо не знал чего, скорого ли возвращения в Венецию или ожидавшей его возможности увидеть раздетую Марколину, но не успел он еще решить чего, как маркиз уже проиграл ему. Казанова, как и Лоренци, удвоил ставку, и ему, как и лейтенанту, счастье не изменило. Маркиз не обращал больше никакого внимания на остальных игроков. Молчаливый Рикарди встал из-за стола, оскорбленный, брат его ломал руки; потом, расстроенные, они оба удалились в угол залы. Аббат и Оливо легче примирились с таким ходом игры: первый ел сладости и повторял свои присказки, второй с волнением следил за тем, как ложатся карты. Наконец, маркиз проиграл пятьсот дукатов, которые поделили между собой Казанова и Лоренци. Маркиза встала и, выходя из комнаты, подала лейтенанту знак глазами, Амалия ее сопровождала. Маркиза покачивала бедрами, и это внушало Казанове отвращение; Амалия плелась рядом, как жалкая пожилая женщина. Маркиз проиграл все наличные деньги, и потому банк перешел к Казанове, который, к неудовольствию маркиза, настоял на том, чтобы в игре опять приняли участие все присутствующие. Алч-

ные и возбужденные братья Рикарди тотчас же заняли свои места; аббат покачал головой — с него довольно, а Оливо присоединился к игре только из желания угождать своему знатному гостю. Счастье и дальше не оставило Лоренци; выиграв, в общем, четыреста дукатов, он встал со словами:

— Завтра я охотно дам вам возможность отыграть-ся. А теперь позвольте мне уехать домой.

— Домой! — язвительно засмеявшись, воскликнул маркиз, впрочем, уже отыгравший несколько дукатов. — Это недурно! Ведь лейтенант живет у меня! — обратился он к присутствующим. — И моя супруга укатила первая. Приятного развлечения, Лоренци!

— Вам превосходно известно, — возразил Лоренци, не моргнув глазом, — что я отправлюсь верхом прямо в Мантую, а не к вам в замок, где вы столь любезно меня вчера приютили.

— Отправляйтесь, куда хотите, хотя бы к дьяволу! Лоренци учтивейшим образом простился со всеми и вышел, не дав маркизу надлежащего ответа, что крайне удивило Казанову. Он продолжал метать карты, выиграл, и вскоре оказалось, что маркиз задолжал ему несколько сот дукатов. «К чему все это? — спрашивал себя вначале Казанова. Но постепенно игра его захватила. — Дело идет недурно, — подумал он, — скоро будет тысяча... может быть, даже две. Маркиз уплатит свой долг. Было бы совсем неплохо прибыть в Венецию с небольшим состоянием. Но почему в Венецию? Снова разбогатеть, снова помолодеть. Богатство — это все. По крайней мере, тогда я смогу покупать их. Кого? Другой я не хочу... Обнаженная стоит она у окна, можно не сомневаться... все-таки... предчувствует, что я приду... Стоит у окна, чтобы свести меня с ума. И вот я у нее».

Тем временем он с непроницаемым лицом продолжал сдавать карты не только маркизу, но и Оливо и братьям Рикарди, которым порой подсовывал золотой, по праву им не принадлежавший. Они не протестовали. В ночной тишине раздались какие-то звуки, словно конский топот на дороге. «Лоренци», — подумал Казанова. Вот топот послышался снова, точно эхо, отраженное стеною сада, затем все звуки и отзвуки посте-

пенно смолкли. Но теперь счастье отвернулось от Казановы. Маркиз все увеличивал ставки, и к полуночи Казанова оказался так же беден, как прежде, даже беднее, ибо он проиграл и те несколько золотых монет, что у него были до начала игры. Отодвинув карты, он поднялся, улыбаясь:

— Благодарю вас, господа!

Оливо простер к нему руки:

— Друг мой, будемте продолжать игру... Сто пятьдесят дукатов, разве вы о них забыли... Нет, что там сто пятьдесят! Все, что я имею, и я сам, все, все! — У него заплетался язык, так как он, не переставая, пил весь вечер. Казанова остановил его подчеркнуто величественным движением.

— Удачу и женщин не приневолишь! — проговорил он с поклоном в сторону аббата. Тот с довольным видом кивнул головой и захлопал в ладоши.

— Итак, до завтра, высокочтимый шевалье, — сказал маркиз. — Общими усилиями мы с вами отнимем деньги у лейтенанта Лоренци.

Братья Рикарди настояли на продолжении игры. Маркиз, придя в веселое настроение, начал метать банк. Они поставили золотые, которые Казанова дал им выиграть. Маркиз забрал их за две минуты и наотрез отказался продолжать игру, если братья не предъявят наличных денег. Они ломали руки. Старший заплакался как ребенок. Младший, желая его успокоить, стал его целовать. Маркиз спросил, вернулась ли уже его карета. Аббат ответил утвердительно, он слышал, как она проехала с полчаса назад. Маркиз пригласил аббата и братьев Рикарди в свою карету, чтобы отвезти их домой, и все вышли из дома.

После отъезда гостей Оливо взял Казанову под руку и со слезами в голосе стал его опять уверять, что все в этом доме принадлежит ему, Казанове, пусть он всем распоряжается по своему желанию. Они прошли мимо окна Марколины. Оно было не только закрыто, но и задвинуто решеткой и завешено изнутри. «Были времена, — подумал Казанова, — когда все это не помогало или совершенно ничего не значило». Они вошли в дом. Оливо настоял на том, чтобы проводить гостя по довольно скрипучей лестнице в его комнату в башне, где на прощанье обнял его.

— Итак, завтра вы увидите монастырь, — сказал он. — Спите спокойно, мы тронемся в путь не слишком рано и, во всяком случае, будем стараться, чтобы вам было удобнее. Спокойной ночи! — Он вышел, тихо притворив за собою дверь, но скрип его шагов по лестнице раздался по всему дому.

Казанова остался один в своей комнате, тускло освещенной двумя свечами, взгляд его блуждал от одного из четырех окон, выходявших на все стороны света, к другому. Вокруг раскинулся залитый голубоватым светом пейзаж; повсюду открывался почти один и тот же вид: широкие равнины с невысокими холмами, только на севере расплывчатые очертания гор, разбросанные тут и там дома, усадьбы и более обширные строения; в одном из них, расположенном на некотором возвышении — как предполагал Казанова, замке маркиза, — мерцал огонек. В комнате, посреди которой стояла отодвинутая от стены широкая кровать, был еще только длинный стол с двумя зажженными свечами, несколько стульев и комод с висевшим над ним зеркалом в золотой раме; чьи-то заботливые руки привели там все в порядок и разложили по местам вещи, вынутые из чемодана Казановы. На столе лежала запертая на замок, потрепанная кожаная сумка с его бумагами и несколько книг, нужных ему для работы и поэтому взятых с собой; тут же был приготовлен письменный прибор. Спать Казанове совсем не хотелось, он вынул из сумки свою рукопись и при мерцающих свечах прочел то, что написал в последний раз. Поскольку он прервал фразу на середине, теперь ему было нетрудно продолжить начатую мысль. Взяв перо, он торопливо написал несколько строк и вдруг опять остановился. «К чему? — задал он себе вопрос, как бы внутренне прозрев и ужаснувшись. — Даже если б я знал, что все написанное мною прежде, и все, что я еще напишу, прекрасно и несравненно, даже если бы мне действительно удалось уничтожить Вольтера и затмить своей славой его славу, — разве, несмотря на все это, я не согласился бы с радостью сжечь все свои рукописи, если бы мне было суждено сейчас, в этот миг, держать в объятиях Марколину? Да, разве ради такой награды я не согласился бы дать обет никогда не возвращаться в Венецию, даже если бы они встретили меня там как

триумфатора? Венеция!..» Он повторил это слово, и оно прозвучало для него во всем своем величии и сразу обрело над ним прежнюю власть. Город его юности, овеянный очарованием воспоминаний, предстал перед ним, и сердце его преисполнилось такой щемящей и беспредельной тоской, какой он поистине не испытывал еще никогда. Отказаться от возвращения в Венецию — представилось Казанове самой невыносимой из всех жертв, которых еще могла бы потребовать от него судьба. Что делать ему в этом жалком, померкшем мире без надежды, без уверенности, что он вновь увидит любимый город? После долгих лет, даже десятилетний скитаний и приключений, после всех пережитых им удач и неудач, после всех почестей и позора, после триумфов и унижений, испытанных им, должен же он наконец обрести место отдохновения, родину. А может ли быть у него другая родина, кроме Венеции? И иное счастье, кроме сознания, что у него вновь есть родина? На чужбине ему давно уже не удастся надолго подчинить себе счастье. Порою у него еще хватало сил уцепиться за него, но не было сил удержать. Его власть над людьми — над женщинами и мужчинами — кончилась. Лишь тех, для кого он воплощает прошлое, еще очаровывают его слово, его взгляд, его голос. Настоящее не принесет ему ничего. Прошло его время! И он сознался себе в том, что до сих пор всемерно пытался скрывать от себя: его литературным творениям, даже его памфлету против Вольтера, на который он возлагал последнюю надежду, никогда не дожидаться широкого признания. И для этого уже слишком поздно. Да, если бы в молодые годы у него хватило досуга и терпения серьезнее заняться подобными работами, то — он был твердо уверен в этом — он не уступал бы теперь лучшим из тех, кто избрал подобное поприще — писателям и философам; как финансист или дипломат он тоже мог бы достигнуть самого высокого положения, если бы проявлял больше упорства и осторожности, чем ему было свойственно. Но куда исчезали все его терпение и вся его осторожность, куда улечивались все его житейские планы, когда его манило новое любовное приключение? Женщины... Женщины всюду! Ради них он в любую минуту бросал все; ради знатных и простых, ради страстных и холодных, ради

невинных девушек и беспутных девок; одна ночь на новом ложе любви всегда казалась ему дороже всех земных почестей и всего загробного блаженства. Но сожалел ли он теперь о том, что упустил в жизни ради этой вечной погони за тем, чего не было нигде и что находилось везде, ради этого земного и неземного метания от желания к наслаждению и от наслаждения к желанию? Нет, он не сожалел ни о чем. Он прожил свою жизнь, как никто, да и теперь разве он не живет, как хочет? На своем пути он еще всюду находит женщин, даже если они и не безумствуют от любви к нему, как когда-то Амалия. Он может обладать ею, когда пожелает, хоть сейчас, в постели ее пьяного супруга. А хозяйка в Мантуе? Разве она не влюблена в него, как в прекрасного юношу, нежно и ревниво? А вся в оспинах, но стройная возлюбленная Перотти? Зачарованная именем Казановы, от которого, казалось, на нее веяло сладострастьем тысячи ночей, разве она не молила его подарить ей хоть одну ночь, а он отверг ее с презрением, как человек, который может еще выбирать женщин по своему вкусу? Разумеется, Марколина... такие, как Марколина, теперь уже не для него. А может быть, она и раньше была бы ему недоступна? Наверное, бывали и такие женщины. Он, пожалуй, даже встретил одну в былые годы; но к его услугам тут же оказалась другая, более податливая, и он не стал попусту терять время и понапрасну вздыхать хотя бы один день. Если уж Лоренци не удалось победить Марколину,— она отвергла даже руку этого человека, столь же красивого и дерзкого, каким в молодости был он сам, Казанова,— то, пожалуй, Марколина и впрямь есть то самое чудо, в существовании которого на земле он доселе сомневался,— добродетельная женщина. Но тут Казанова громко расхохотался на всю комнату. «Увалень, дуралей! — сказал он вслух, разговаривая по своей привычке сам с собой.— Он просто не сумел воспользоваться случаем. А может быть, его держит в плену маркиза? Или он стал ее любовником лишь после того, как не сумел овладеть Марколиной, ученой, философкой?!» И вдруг Казанову осенила мысль: «Я прочитаю ей завтра свой памфлет против Вольтера! Она здесь — единственный человек, у которого хватит для этого ума. Мне удастся ее убедить...

Она будет мною восхищаться. Разумеется, будет... «Замечательно, синьор Казанова! У вас блестящий стиль, престарелый синьор! Клянусь богом... Вы уничтожили Вольтера... Гениальный старик!» Так глухо бормотал и шипел Казанова, бегая взад и вперед по комнате, как в клетке. Его душила бешеная злоба против Марколины, против Вольтера, против самого себя, против всего света. Он еле сдерживался, чтобы не зарычать, как зверь. Наконец он, не раздеваясь, бросился на кровать и широко открытыми глазами стал смотреть на балки потолка, среди которых в отблеске свечей там и сям серебрилась паутина. Он уже засыпал, и, как иногда после игры в карты, перед ним с фантастической быстротой замелькали карточные фигуры, и он погрузился в сон без сновидений, но очень скоро проснулся и лежал, вслушиваясь в окружающую его таинственную тишину. Окна комнаты, выходявшие на восток и на юг, были раскрыты. Из сада и с полей доносились нежные и сладкие ароматы, повсюду, вдалеке и вблизи, слышались неясные шорохи, которые обычно приносит с собой наступающее утро. Казанова не мог больше лежать спокойно, властная потребность перемены влекла его на простор. Из сада его звало щебетанье птиц, прохладный утренний ветерок касался его лба. Казанова бесшумно отворил дверь и осторожно спустился по лестнице, — благодаря его многократно испытанной ловкости, ему удалось пройти так, что деревянные ступени даже не скрипнули под ногами; затем, сойдя по каменной лестнице в нижний этаж, он через залу, где на столе еще стояли недопитые бокалы, вышел в сад. Шаги его по гравии производили шум, поэтому он сразу перешел на лужайку, которая в предрассветных сумерках казалась гораздо больше, чем была на самом деле. Затем Казанова проскользнул в аллею и пошел в ту сторону, откуда было видно окно Марколины. Оно было по-прежнему забрано решеткой, закрыто и завешено. Отойдя от дома на полсотни шагов, Казанова опустился на каменную скамью. Он услышал, как за оградой сада проехала повозка, потом опять наступила тишина. Над лужайкой плыл легкий серый туман, словно там расстилался опалово-прозрачный пруд с едва различимыми берегами. Казанове снова вспомнилась ночь, пережитая им в молодости в монастырском

саду Мурано... или в каком-то другом парке — другая ночь... он уже не помнил какая... возможно, то были сотни ночей, слившихся в его воспоминаниях в одну, подобно тому как сотни женщин, которых он любил, превращались иногда в его воспоминаниях в одну, чей загадочный образ он стремился уловить всеми чувствами. Да разве в конце концов одна ночь не была похожа на другую? И одна женщина — на другую? Особенно теперь, когда все уже позади. И это слово «позади» беспрестанно стучало в его висках, как будто отныне оно должно было стать пульсом его загубленной жизни.

Казанове послышался какой-то шорох у стены за его спиной, или это было только эхо? Нет, шум донесся из дома. Окно Марколины вдруг оказалось настежь открытым, решетка отодвинутой, занавесь отдернутой в сторону. Из сумрака комнаты показался призрачный силуэт; Марколина в белом, доверху закрытом ночном одеянии подошла к окну, словно для того, чтобы вдохнуть живительный утренний воздух. Казанова быстро соскользнул на землю; спрятавшись под скамью, он, не сводя глаз, следил сквозь ветки деревьев за Марколиной, чей взор, казалось, бесцельно и бездумно погрузился в утреннюю мглу. Лишь через несколько секунд она как бы стряхнула с себя дремоту, взгляд ее стал сосредоточенным, и она, медленно повернув голову, посмотрела направо и налево; затем высунулась из окна и взглянула вниз, точно что-то искала на земле, потом подняла голову с распущенными волосами, как бы обратив взор к окну верхнего этажа. С минуту она постояла неподвижно, упираясь раскинутыми руками в косяки окна, словно пригвожденная к невидимому кресту. Неясные черты ее лица вдруг как бы озарились изнутри, и Казанова увидел их более отчетливо. На ее лице мелькнула улыбка, руки ее упали, губы неслышно зашевелились, словно шептали молитву; она опять медленно и пытливо оглядела сад, быстро кивнула головой, и в то же мгновение кто-то, должно быть, притаившийся у ее ног, выскочил из окна. Это был Лоренци. Он не шел, а летел по гравию к аллее, пересек ее чуть ли не в десяти шагах от Казановы, лежавшего, затаив дыхание, под скамьей; поспешно повернул по ту сторону аллеи на узкую полосу

газона, идущую вдоль стены, и исчез из вида. Скрипнули петли калитки — той самой, через которую Казанова вчера вечером пришел в сад вместе с Оливо и маркизом. Потом все стихло. Марколина все это время стояла совершенно неподвижно, но, как только она убедилась, что Лоренци в безопасности, вздохнула с облегчением, закрыла окно и задвинула его решеткой; занавесь упала как бы сама собой, и все стало как прежде; только над домом и садом уже взошел день, словно у него больше не было причины медлить.

Казанова по-прежнему лежал под скамейкой, вытянув вперед руки. Через некоторое время он выполз на середину аллеи и стал пробираться на четвереньках дальше, до такого места, где его уже нельзя было увидеть ни из комнаты Марколины, ни из какого-нибудь другого окна. Только теперь он поднялся на ноги и выпрямился во весь рост; спина у него ныла; он размялся и, наконец, пришел в себя, снова стал самим собой, точно из побитой собаки превратился опять в человека, который осужден долго помнить побои не как физическую боль, а как глубокое унижение. «Почему, — спрашивал он себя, — не кинулся я к этому окну, пока оно было еще открыто? И не перемахнул через подоконник к ней? Разве могла бы, разве посмела бы она оказать мне сопротивление — лицемерка, лгунья, девка?» И он продолжал ее поносить, словно имел на это право, словно был ее возлюбленным, которого она, дав клятву верности, обманула. Он клялся, что, увидев ее, потребует у нее объяснения, что в присутствии Оливо, Амалии, маркиза, аббата, в присутствии служанки и всех домочадцев швырнет ей в лицо, что она просто низкая, дрянная потаскушка. Как бы репетируя, он со всеми подробностями рассказал сам себе все, что совершилось у него на глазах, и не отказал себе в удовольствии еще многое присочинить, чтобы еще более унижить ее; что она стояла нагая у окна и под дуновением утреннего ветра требовала от своего любовника непристойных ласк. Кое-как утолив свою первую ярость, Казанова задумался, не сможет ли он извлечь какую-нибудь пользу из того, что стало ему отныне известно. Разве теперь она не в его власти? Может быть, теперь угрозами ему удастся добиться от нее благосклонности, которой она не ока-

зала ему добровольно? Но этот подлый замысел сразу рухнул не столько потому, что Казанова понял его подлость, сколько потому, что он увидел его бесплодность и бессмысленность именно в данном случае. Что за дело до его угроз Марколине, которая никому не обязана отчетом в своих поступках, и если это покажется ей важным, у нее достанет смелости, чтобы выгнать его вон, как клеветника и вымогателя. Но если бы даже она по какой-либо причине решилась купить тайну своей любовной связи с Лоренци, отдавшись ему, Казанове (он, конечно, знал, что это совершенно невысказано), то разве наслаждение, которого он добьется таким способом, не превратится в невыразимую муку для него, — любя, он в тысячу раз сильнее стремился дарить счастье, чем его получать, — и разве это не толкнет его на какое-нибудь безумство или даже на самоубийство? Он, неожиданно для себя, оказался перед калиткой. Она была заперта. Значит, у Лоренци есть второй ключ. «Но кто же, — подумал он, — проскакал ночью верхом, когда Лоренци ушел после карт? Очевидно, нанятый для этого слуга». Невольно Казанова одобрительно усмехнулся... Они друг друга стоят — Марколине и Лоренци, философка и офицер. И у обоих впереди блестящее будущее. «Кто будет следующим любовником Марколины? — спросил он себя. — Болонский профессор, в доме которого она живет? Ох, какой же я глупец! Да он давно уже был им... Кто еще? Оливо? Аббат? Почему бы нет?! Или тот молодой слуга, который вчера стоял у ворот и глазел на нас, когда мы подъехали? Все! Я это знаю. Но Лоренци не знает. Тут у меня есть перед ним преимущество».

В глубине души он, разумеется, не только был убежден в том, что Лоренци — первый любовник Марколины, но и предполагал, что минувшая ночь была первой, которую она ему подарила; однако это не остановило потока злобно-сладострастных мыслей, продолжавших тесниться в его голове, пока он шел вдоль ограды, которая окружала сад. Он очутился вновь у двери в залу, оставленной им открытой, и понял, что ему пока ничего не остается, как только неслышно и незримо пробраться обратно в свою комнату в башне. С великой осторожностью прокрался он наверх и опу-

стился в кресло, в котором сидел прежде перед столом, где, как бы ожидая его возвращения, лежали ничем не скрепленные листы рукописи. Невольно взгляд его упал на прерванную им посередине фразу; и он прочитал: «Вольтер будет бессмертен, это несомненно, но он купит бессмертие своего имени ценою бессмертия своей души; страсть к острословию изгрызла его сердце, как сомнения — его душу, и поэтому...» В это мгновение комнату залили красноватые лучи утренней зари, лист, который он держал в руках, запылал, и Казанова, точно побежденный, уронил его на стол на другие листы. Вдруг он почувствовал, что у него пересохло во рту, и налил себе воды из стоявшего на столе графина; вода была теплая и сладковатая. Казанова с отвращением отвернулся; со стены, из висевшего над комодом зеркала, глянуло на него бледное старческое лицо с упавшими на лоб спутанными волосами. Наслаждаясь самоистязанием, Казанова еще бессильнее опустил углы рта и, словно собираясь выступить на сцене в какой-то шутовской роли, еще больше взъерошил волосы, так что пряди их совсем спутались, показал язык своему отражению, выкрикнул нарочито хриплым голосом несколько грубых ругательств по своему же адресу и, наконец, точно избалованный мальчик, сдул на пол листы рукописи. Потом стал опять поносить Марколину и, осыпав ее самой грубой и непристойной бранью, прошипел сквозь зубы:

— Ты думаешь, радость долговечна? Ты растолстеешь, станешь морщинистой и старой, как другие женщины, сейчас такие же молодые; ты сделаешься старухой с дряблыми грудями, с сухими седыми волосами, беззубой и вонючей... и, наконец, умрешь! Ты можешь умереть и молодой! И сгниешь! И тебя съедят черви.

В виде последнего отмщения он попытался вообразить ее себе мертвой: увидел ее в открытом гробу во всем белом, но не в состоянии был представить себе у нее никаких признаков тления; напротив, ее поистине неземная красота привела его опять в бешенство. Перед его закрытыми глазами гроб превратился в брачное ложе; Марколина лежала на нем, улыбаясь, смежив веки, и узкими бледными руками, как бы в насмешку, разорвала на своей нежной груди белое платье. Но как

только он простер к ней руки, хотел броситься к ней, обнять ее, видение рассеялось без следа.

Кто-то постучал в дверь; Казанова очнулся от тяжелого сна, перед ним стоял Оливо.

— Как, уже за письменным столом?

— Я привык раннее утро посвящать работе, — сразу овладев собой, ответил Казанова. — Который час?

— Восемь, — ответил Оливо. — Завтрак уже подан в саду; как только вы прикажете, шевадье, мы отправимся в монастырь. Но, я вижу, вашу рукопись развеял ветер!

И он принялся подбирать с полу бумаги. Казанова ему не мешал; подойдя к окну, он увидел Амалию, Марколину и трех девочек, в белых платьях — они сидели за столом, накрытым к завтраку на лужайке в тени дома. Они весело пожелали ему доброго утра. Он видел одну Марколину, она с приветливой улыбкой подняла на него свои ясные глаза; на коленях она держала тарелку скороспелого винограда и клала в рот одну ягоду за другой. Все презрение, вся злоба, вся ненависть растаяли в сердце Казановы; он знал только, что любит ее. Словно опьянев от одного ее вида, он отошел от окна в глубину комнаты, где Оливо, все еще ползая на коленях по полу, вытаскивал разбросанные листы из-под стола и комода; Казанова попросил его не трудиться и выразил желание остаться одному, чтобы подготовиться к прогулке.

— Торопиться нечего, — сказал Оливо, стряхивая пыль с панталон, — к обеду мы вполне успеем вернуться. Впрочем, маркиз просил начать сегодня игру пораньше, сразу после обеда; по-видимому, ему важно вернуться домой к заходу солнца.

— Мне совершенно безразлично, когда начнется игра, — сказал Казанова, вкладывая листы рукописи в сумку, — я ни под каким видом не буду в ней участвовать.

— Нет, будете, — заявил Оливо с несвойственной ему решительностью и положил на стол сверток золотых монет. — Мой долг, шевадье, хоть и поздно, но с благодарностью.

Казанова отказался взять деньги.

— Вы должны их принять, — уговаривал его Оливо, — если не хотите меня глубоко обидеть; к тому же

Амалия видела этой ночью сон, который побудит вас... нет, об этом она вам сама расскажет.

И он поспешно вышел. Казанова все же пересчитал золотые; их было сто пятьдесят — ровно столько, сколько он пятнадцать лет назад подарил жениху, или невесте, или ее матери, — он и сам теперь не помнил. «Разумнее всего было бы, — сказал он себе, — взять деньги, проститься и покинуть этот дом, постаравшись не видеть больше Марколины. Но разве я поступал когда-нибудь разумно? А может быть, тем временем из Венеции пришло письмо?.. Правда, моя милейшая хозяйка обещала сразу же мне его переслать...»

Служанка принесла между тем большой глиняный кувшин холодной родниковой воды, и Казанова вымылся весь, что очень его освежило; затем он надел свое парадное платье, в которое он нарядился бы еще накануне вечером, если бы у него нашлось время переодеться; но теперь он был очень доволен тем, что может явиться перед Марколиной в более достойном виде, чем вчера, и как бы предстать перед нею в новом облике.

В камзоле из серого блестящего шелка с вышивкой и широкими испанскими серебряными кружевами, в желтом жилете и в шелковых вишневого цвета панталонах, с благородной, но отнюдь не надменной осанкой, со снисходительной, но любезной улыбкой на устах и с огнем неугасимой молодости в глазах, спустился он в сад, где, к своему разочарованию, встретил сперва одного только Оливо, который предложил ему сесть рядом за стол и не обессудить за скромный завтрак. Казанова отдал должное молоку, маслу, яйцам и белому хлебу, а потом еще персикам и винограду, вкуснее которого он, казалось, никогда не едал.

Прибежали с лужайки три девочки, Казанова расцеловал их всех, позволив себе по отношению к тринадцатилетней такие же нежности, какие она вчера с готовностью принимала от аббата; но он сразу увидел, что искорки в ее глазах зажглись от совсем иного удовольствия, чем то, которое доставляет детски невинная игра. А Оливо не мог нарадоваться тому, как хорошо шевалье умеет обращаться с детьми.

— И вы действительно хотите уже завтра утром покинуть нас? — спросил он с робкой нежностью.

— Сегодня вечером, — ответил Казанова и при этом шуточно подмигнул: — Вы же знаете, дорогой Оливо, венецианские сенаторы...

— Давно у вас в долгу, — с горячностью перебил его Оливо, — пусть подождут! Оставайтесь у нас до послезавтра, нет, еще неделку.

Казанова медленно покачал головой и, схватив за руки маленькую Терезину, держал ее между коленями, словно пленницу. С улыбкой, в которой уже не было ничего детского, она мягко ускользнула от него как раз в ту минуту, когда из дому вышли Амалия и Марколина, первая — в черной, вторая в белой шали, накинутой поверх светлого платья. Оливо предложил им обоим присоединиться к его просьбе.

— Это невозможно, — подчеркнуто резко произнес Казанова, так как ни Амалия, ни Марколина ни одним словом не поддержали приглашения Оливо.

Когда они шли по каштановой аллее к воротам, Марколина спросила Казанову, далеко ли подвинулась за ночь его работа, за которой Оливо, как он им тотчас же рассказал, еще ранним утром застал его. У Казановы едва не сорвался с языка двусмысленный и злобный ответ, который, не выдав его, поставил бы ее в тупик; но он обуздал свою страсть к остроумию, сообразив, что поспешность может ему только повредить, и вежливо ответил, что он внес лишь кое-какие изменения, которыми обязан вчерашнему разговору с ней.

Они сели в карету, неуклюжую и с жесткой обивкой, но все же удобную. Казанова поместился против Марколины, Оливо — против жены; но экипаж был настолько просторен, что, несмотря на толчки, всякое случайное соприкосновение между седоками было невозможно. Казанова попросил Амалию рассказать ему свой сон. Она приветливо, почти добродушно улыбнулась. Ни малейших следов обиды или негодования не было больше на ее лице.

— Я видела, Казанова, — начала она, — как вы подъехали в роскошной карете, запряженной шестеркой вороных, к какому-то светлому зданию. Вернее, карета остановилась, но я еще не знала, кто в ней сидит, и вот из нее вышли вы в великолепном белом, шитом золотом парадном камзоле, еще более роскошном, чем надетый вами сегодня (при этом лицо ее приняло вы-

ражение дружеской насмешки), и на вас, подумать только, была точно такая же тонкая золотая цепь, как сегодня, прежде я никогда не видела ее у вас! (Эта цепочка с золотыми часами, как и усыпанная полудрагоценными камнями табакерка, которую Казанова держал в руке, как бы играя ею, были последними недорогими украшениями, которые ему удалось сохранить.) Старик, похожий на нищего, открыл дверцы кареты — это был Лоренци; но вы, Казанова, вы были молоды, совсем молоды, еще моложе, чем тогда. (Она сказала «тогда», не опасаясь того, что из этого слова, шелестя крыльями, выпорхнули все ее воспоминания.)

Вы раскланялись во все стороны, хотя вокруг не было ни души, и прошли в ворота; они закрылись за вами с громким стуком, — не знаю, ветер ли захлопнул их или же Лоренци, — с таким стуком, что лошади испугались и ускакали с каретой прочь. Тут я услышала из соседних переулков крики, точно кто-то взывал о помощи, но вскоре все опять смолкло. Вы показались в одном из окон дома, я уже знала, что это игорный дом, и раскланялись во все стороны, но вокруг по-прежнему никого не было. Потом вы оглянулись, как будто позади вас в комнате кто-то стоял; но я знала, что и там никого не было. И вдруг я увидела вас в окне следующего этажа, где произошло в точности то же, и еще выше и выше, словно дом рос ввысь до бесконечности; и у каждого окна вы кланялись и разговаривали со стоящими позади людьми, которых на самом деле там не было. А Лоренци все время бежал вслед за вами по лестнице, но не мог вас догнать. Вы ведь не догадались подать ему милостыню...

— Что же дальше? — спросил Казанова, когда Амалия замолчала.

— Что-то было еще, но я уже забыла, — ответила Амалия.

Казанова был разочарован; будь он на ее месте, он, как всегда в подобных случаях — шла ли речь о снах или о подлинных происшествиях, — постарался бы придать рассказу законченную форму, вложить в него некий смысл, и поэтому он с легким неудовольствием заметил:

— Во сне все бывает наоборот. Я — богач, а Лоренци нищий и старый.

— Лоренци не больно-то богат,— вмешался Оливо.— Его отец, правда, довольно состоятельный человек, но не ладит с сыном.

И, нимало не утруждая себя расспросами, Казанова узнал, что знакомством с лейтенантом все были обязаны маркизу, который несколько недель назад запросто привез его однажды в дом Оливо. В каких отношениях находится юный офицер с маркизой, такому опытному человеку, как шевалье, объяснять не приходится; впрочем, если это не встречает никаких возражений у супруга, то и посторонним нечего об этом беспокоиться.

— Сомневаюсь, так ли равнодушен маркиз, как вам кажется, Оливо,— сказал Казанова.— Разве вы не заметили, с каким злобным презрением обращается он с этим молодым человеком? Не поручусь, что все это кончится благополучно.

И теперь ничто не дрогнуло в лице Марколины. Казалось, весь разговор о Лоренци не вызывал в ней ни малейшего интереса, и она безмолвно любовалась открывшимся перед ней видом. Извилистая дорога шла лесом, где росли оливы вперемежку с каменными дубами, и полого поднималась в гору; когда в одном месте лошади пошли шагом, Казанова предпочел выйти из кареты и идти пешком. Марколина рассказывала о живописных окрестностях Болоньи и о вечерних прогулках, которые она обычно совершала с дочерью профессора Морганьи. Она упомянула также и о своем намерении совершить в будущем году путешествие во Францию, чтобы лично познакомиться с известным математиком, профессором Парижского университета, Согреню, с которым она состояла в переписке.

— Может быть, я доставлю себе удовольствие и по пути заеду в Ферне,— сказала она с улыбкой,— чтобы узнать из уст самого Вольтера, как отнесся он к памфлету своего опаснейшего противника, шевалье де Сенгаль.

Положив ладонь на подлокотник кареты так близко к руке Марколины, что ее пышный рукав, раздуваясь, слегка касался его пальцев, Казанова холодно ответил:

— Важно не столько отношение господина Вольтера к моему труду, сколько отношение потомства; ибо

только ему будет принадлежать право произнести окончательный приговор.

— И вы полагаете, — проговорила Марколина серьезно, — что в таких вопросах, о которых здесь идет речь, вообще возможен окончательный приговор?

— В ваших устах меня удивляют подобные речи, Марколина, ваши философские и, если здесь уместно это слово, религиозные воззрения казались мне, правда, отнюдь не бесспорными сами по себе, но все же пустившими прочные корни в вашей душе — если только вы вообще признаете ее существование.

Не обращая никакого внимания на колкость Казановы, Марколина спокойно взглянула на небо, раскинувшееся ярко-синим шатром над вершинами деревьев, и ответила:

— Иногда, особенно в такие дни, как сегодня, — и в этом слове для Казановы, который знал о ее любви, прозвучало трепетное благоговение, исходившее из глубины ее проснувшегося женского сердца, — мне кажется, что все, именуемое философией и религией, — не более чем игра словами, разумеется, благородная, но еще более бессмысленная, чем всякая иная. Нам никогда не будет дано постигнуть бесконечность и вечность; наш путь ведет от рождения к смерти; что же нам остается, как не жить по закону, заложенному в сердце каждого из нас или вопреки ему?.. Ибо и непокорство и смирение одинаково ниспосланы богом.

Оливо с робким восхищением посмотрел на племянницу, потом перевел боязливый взгляд на Казанову, искавшего возражение, которым он мог бы разъяснить Марколине, что она, так сказать, одновременно и доказывает и отрицает существование бога или что бог и дьявол для нее одно и то же; но он понимал, что не может противопоставить ее чувству ничего, кроме пустых слов, да и тех сегодня не мог найти. Однако его странно исказившееся лицо, по-видимому, опять пробудило в Амалии воспоминание о его вчерашних смутных угрозах, и она поторопилась заметить:

— И все же Марколина благочестива, верьте мне, шевалье!

Марколина растерянно улыбнулась.

— Все мы благочестивы, каждый по-своему, — вежливо ответил Казанова и стал смотреть вдаль.

Крутой поворот дороги — и они увидели монастырь. Над высокой наружной стеной вырисовывались тонкие верхушки кипарисов. На стук колес подъезжающей кареты ворота открылись, привратник с длинной белой бородой с достоинством поклонился и впустил гостей. Через аркаду, между колоннами которой по обе стороны виднелась темная зелень запущенного сада, они подошли к зданию самого монастыря; от его серых стен, лишенных каких-либо украшений и похожих на тюремные, на них неприветливо пахло холодом. Оливо дернул шнурок колокольчика, раздался дребезжащий звон и сразу умолк, монахиня в покрывале до самых глаз молча открыла дверь и повела гостей в просторную приемную с голыми стенами, где стояло только несколько простых деревянных стульев. В глубине часть комнаты отделяла железная решетка из толстых прутьев, за ней все тонуло во мраке. Казанова с горечью в сердце вспомнил о приключении, которое и теперь еще казалось ему одним из самых чудесных в его жизни, оно началось в совершенно такой же обстановке: в его душе воскресли образы двух монахинь из Мурано, которые, из любви к нему, стали подругами и подарили ему часы ни с чем не сравнимого наслаждения. И когда Оливо шепотом заговорил о здешнем строгом уставе, запрещающем сестрам, после пострига, без покрывала показываться перед мужчиной и, кроме того, обрекающем их на вечное молчание, на губах у Казановы промелькнула усмешка.

Перед ними, точно вынырнув из мрака, стояла настоятельница. Безмолвно приветствовала она гостей: особенно благосклонно наклонила она закутанную покрывалом голову в ответ на благодарность Казановы за данное также и ему позволение посетить монастырь; Марколину, которая хотела поцеловать ей руку, она заключила в объятия. Потом жестом пригласила всех следовать за ней и вывела гостей через небольшую смежную комнату на галерею, замыкавшуюся четырехугольником вокруг пышного цветника. В отличие от запущенного сада снаружи, за этим цветником, казалось, ухаживали особенно заботливо, и освещенные солнцем роскошные грядки играли чудесными, ярко рдеющими и нежными красками. Но к жаркому, почти одуряющему благоуханию, струившемуся из чашечек

цветов, казалось, примешивался еще какой-то, совсем особенный и таинственный аромат, которому Казанова не мог найти подобного в своей памяти. Он хотел сказать об этом Марколине, но вдруг почувствовал, что этот таинственный, пьянящий и волнующий аромат исходил от нее: она сбросила шаль, перекинула ее через руку, и сквозь вырез ее открывающегося взглядам платья стал распространяться аромат ее тела, как бы родственный благоуханию сотен тысяч цветов, но все же совсем особенный. Настоятельница все так же безмолвно вела посетителей между клумбами по узким извилистым дорожкам, как сквозь затейливый лабиринт; по ее быстрой и легкой походке было заметно, что она сама испытывает радость, показывая другим пестрое великолепие своего сада; и словно задавшись целью довести их до головокружения, она точно в веселом хороводе все быстрее и быстрее устремлялась вперед. И вдруг — Казанове показалось, будто он пробудился от смутного сна, — все они снова очутились в приемной. По ту сторону решетки двигались какие-то темные фигуры; невозможно было разобрать, было ли там три, пять или двадцать закутанных покрывалами женщин, которые, словно вспугнутые призраки, блуждали за частыми прутьями решетки; и только кошачьи глаза Казановы могли различить человеческие фигуры в густых потемках. Настоятельница проводила посетителей до двери, молча, знаком дала им понять, что визит окончен, и мгновенно исчезла, прежде чем они успели ее должным образом поблагодарить. Вдруг, когда они уже хотели покинуть приемную, из-за решетки раздался женский возглас: «Казанова!» — только имя, но произнесенное с таким выражением, которого, казалось Казанове, он еще никогда не слышал. Женщина ли, когда-то им любимая или ни разу не виденная, нарушила только что святой обет, чтобы в последний — или, быть может, в первый — раз вслух произнести его имя; звучало ли в нем счастье нечаянного свидания, или боль безвозвратной утраты, или скорбная жалоба на то, что жгучее желание далеких дней сбылось слишком поздно и не принесет ничего, — этого Казанова не мог понять; он знал только одно: имя его, как ни часто шептала его нежность, бормотала страсть, в упоении восклицало счастье, ныне прозвучало впер-

вые с любовью, проникающей в самое сердце. Но именно поэтому всякое дальнейшее любопытство показалось ему неуместным и бессмысленным; и за тайной, которую ему не было суждено разгадать, навсегда затворилась дверь. Если бы не робкие и быстрые взгляды, которыми все обменялись, давая понять, что и они слышали мгновенно смолкший зов, то каждый из них мог бы предположить, что его обманул слух; ибо никто не вымолвил ни слова, пока они проходили через аркаду к воротам. Казанова шел последний, низко опустив голову, как после тяжелого расставания.

Привратник стоял у ворот, посетители подали ему милостыню и сели в карету, которая, нигде больше не задерживаясь, повезла их домой. Оливо казался смущенным, Амалия рассеянной, одна Марколина несколько не была растрогана и, как думал Казанова, нарочно пыталась затеять с Амалией разговор обо всяких хозяйственных делах, поддерживать который вместо супруги пришлось Оливо. Вскоре в беседе принял участие также и Казанова, прекрасно разбиравшийся во всем, что касалось кухни и винного погреба и не видевший причины, почему бы ему, в доказательство своих многосторонних познаний, не поделиться опытом и сведениями также и в этой области. Амалия тоже очнулась от задумчивости; после только что пережитого, почти сказочного, но тягостного приключения все они — и особенно Казанова — от души радовались возвращению в земную повседневность, и когда карета остановилась перед домом Оливо, откуда к ним доносился заманчивый запах жаркого и всевозможных пряностей, Казанова как раз был занят донельзя возбуждающим аппетит описанием польского паштета, и даже Марколина слушала его с любезным вниманием молодой хозяйки, что весьма льстило Казанове.

В необыкновенно спокойном, почти довольном расположении духа, удивлявшем его самого, Казанова сидел потом вместе со всеми за столом и говорил Марколине шутливо-веселые любезности, как это приличествует знатному пожилому господину по отношению к благовоспитанной девушке из хорошего дома. Она охотно их принимала и необыкновенно мило на них отвечала. Ему так же трудно было представить себе, что его благодневная соседка — та самая Марколина, из

окна которой, у него на глазах, прошлой ночью выпрыгнул молодой офицер, минутой раньше лежавший в ее объятьях, — как и допустить, что эта нежная девушка, которая еще любит возиться в траве с другими девочками-подростками, ведет ученую переписку с живущим в Париже знаменитым Согреню; и он сам же бранил себя за такую смехотворную скудость воображения. Разве не убеждался он уже много раз в том, что в душе каждого действительно живого человека самым мирным образом уживаются не только различные, но и, казалось бы, враждебные свойства? Да, разве он сам, еще недавно глубоко потрясенный, отчаявшийся, готовый даже на злое дело человек, разве сейчас он не мягок, не добр, не отпускает таких веселых шуточек, что юные дочери Оливо всякий раз покатываются со смеху? Только по своему необычайному, почти звериному голоду, который всегда появлялся у него после сильных волнений, он понимал, что еще далеко не обрел душевного покоя.

Вместе с последним блюдом служанка принесла письмо на имя шеваляе, только что доставленное для него нарочным из Мантуи. Оливо, заметивший, как Казанова поблелел от волнения, приказал накормить и напоить посланца, а затем обратился к своему гостю:

— Не стесняйтесь, шеваляе, прочтите спокойно письмо.

— С вашего позволения, — ответил Казанова, с легким поклоном встал из-за стола, подошел к окну и с хорошо разыгранным равнодушием вскрыл письмо. Оно было от синьора Брагадино, сверстника и друга его отца, старого холостяка, которому было теперь за восемьдесят; лет десять назад, став членом Высшего Совета, он, по-видимому, с ббльшим рвением, чем другие покровители Казановы, хлопотал за него в Венеции. Письмо, написанное необыкновенно изящным почерком, но слегка дрожащей рукой, гласило:

«Дорогой Казанова!

Сегодня я наконец получил приятную возможность послать вам весть, коя, надеюсь, в главном отвечает вашим желаньям. В своем последнем заседании, состоявшемся вчера вечером, Высший Совет не только выразил готовность дозволить вам вернуться в Вене-

цию, но и высказал пожелание, чтобы вы, по возможности, ускорили свое возвращение, ибо в самом недалеком будущем намерен воспользоваться вашей благодарностью, доказать каковую на деле вы обещали во множестве писем. Вероятно, вам неизвестно, дорогой Казанова (ибо мы были так долго лишены вашего присутствия), что за последнее время внутреннее положение нашего родного города, любимого всеми нами, начало внушать некоторые опасения — как касательно политики, так и нравов. Существуют тайные общества, направленные против нашего государственного строя и, по-видимому, даже замышляющие насильственный переворот; естественно, что в этих замыслах, которые можно было бы назвать более резким словом — заговоры, главным образом принимают участие некоторые свободомыслящие люди, враждебные религии и во всех отношениях безнравственные. Нам известно, что на площадях, в кофейнях, не говоря уже о частных домах, ведутся самые чудовищные, даже просто изменнические разговоры, но поймать виновных на месте преступления или неопровержимо доказать их вину удастся лишь в самых редких случаях, ибо признания, сделанные под пыткой, оказались столь недостоверными, что некоторые члены нашего Совета высказались за то, чтобы воздержаться впредь от подобных жестоких и притом подчас ненадежных способов следствия. Правда, нет недостатка в людях, готовых для поддержания общественного порядка и ради блага государства оказать услугу правительству, но почти все эти люди слишком хорошо известны, как благонамеренные сторонники существующего строя, чтобы в их присутствии кто-нибудь позволил себе неосторожное замечание или — тем более — изменнические речи. И вот один из сенаторов, имени которого я пока не хочу называть, высказал во вчерашнем заседании мнение, что некто, пользующийся репутацией человека без нравственных устоев и, кроме того, вольнодумца, — короче говоря, такой человек, как вы, Казанова, — появившись опять в Венеции, несомненно сразу же снискал бы расположение, а при известной ловкости вскоре и неограниченное доверие именно в тех подозрительных кругах, о которых здесь идет речь. На мой взгляд, вокруг вас неизбежно, словно по закону природы, собрались бы

именно те люди, обезвредить и примерно наказать которых столь важно для Высшего Совета, неустанно радеющего о благе государства; итак, дорогой Казанова, если бы вы согласились тотчас же по возвращении на родину завязать для упомянутой цели знакомства в ныне уже достаточно известных кругах, поддерживать с ними дружеские отношения, как человек таких же взглядов, и обо всем, что покажется вам подозрительным или достойным внимания, незамедлительно представлять Сенату обстоятельные донесения — то мы бы сочли это не только доказательством вашего патриотического рвения, но и несомненным свидетельством вашего полного отказа от того образа мыслей, за который в свое время вы понесли хотя и жестокую, но, как вы теперь признаете (если мы можем положиться на ваши письменные уверения), не совсем несправедливую кару под свинцовыми крышами. За эти услуги вам на первых порах предполагается назначить месячное жалованье в двести пятьдесят лир, помимо отдельного вознаграждения в особенно важных случаях, а также немедленного и щедрого возмещения расходов, которые, естественно, могут возникнуть у вас при выполнении этих обязанностей (как-то: на угощение того или иного лица, на небольшие подарки особам женского пола и т. п.). Для меня отнюдь не составляет тайны, что вам придется побороть кое-какие колебания, прежде чем принять решение в желательном для нас смысле; но позвольте мне, вашему старому и искреннему другу (который когда-то тоже был молод), заметить вам, что ни в коем случае нельзя считать бесчестным оказание возлюбленному отечеству услуг, необходимых для его дальнейшего благополучия, даже если характер их показался бы поверхностно и непатриотически мыслящему гражданину малодостойным. Мне хотелось бы еще прибавить, что вы, Казанова, достаточно хороший знаток людей, чтобы отличить вертопраха от преступника или насмешника — от еретика; поэтому в вашей власти будет миловать тех, кто заслуживает снисхождения, и только тех подвергать каре, кто, по вашему убеждению, должен ее понести. Но прежде всего подумайте, что исполнение вашего самого заветного желания — возвращение ваше в родной город, — если бы вы отвергли милостивое

предложение Высшего Совета, оказалось бы отложенным надолго, боюсь и сказать — насколько, и, если уместно упомянуть здесь и об этом, мне, старику восьмидесяти одного года, по всем людским подсчетам, пришлось бы отказаться от удовольствия когда-либо свидеться с вами. Ввиду того, что предлагаемая вам должность, по понятным причинам, должна носить не столько официальный, сколько тайный характер, прошу вас адресовать свой ответ, о котором я обещал уведомить Совет в его ближайшем заседании, назначенном через неделю, именно мне. Прошу Вас, по возможности, поторопиться, ибо, как я уже упоминал выше, к нам ежедневно обращаются с просьбами очень многие люди, достойные полного доверия и готовые из любви к отечеству добровольно служить Совету. Разумеется, среди них едва ли найдется хоть один, кто мог бы сравниться с вами опытом и умом, дорогой Казанова; и если ко всему прочему вы еще хоть немного примете во внимание симпатию, которую я питаю к вам, то вряд ли я могу сомневаться в том, что вы с радостью последуете призыву, обращенному к вам столь высоким и благосклонным собранием. В ожидании ответа, с неизменными дружескими чувствами,
преданный вам *Брагадино*.

Приписка: Немедленно по получении вашего ответа я с удовольствием выдам на банкирский дом Валори в Мантуе вексель на сумму в двести лир в покрытие ваших дорожных расходов.

Вышеподписавшийся».

Казанова давно уже дочитал письмо до конца, но все еще держал перед собой листок, чтобы никто не заметил мертвенной бледности его искажившегося лица. Между тем обед продолжался, как всегда сопровождаемый стуком тарелок и звоном бокалов, но никто не произносил ни слова. Наконец Амалия робко проговорила:

— Кушанье стынет, шевалье, не желаете ли сесть к столу?

— Благодарствую, — ответил Казанова и повернулся к присутствующим лицом, которому он успел придать спокойное выражение лишь благодаря своему необыкновенному умению притворяться. — Я получил из Ве-

неции превосходные известия и должен тотчас же отослать ответ. Поэтому прошу меня извинить и позволить мне удалиться к себе.

— Как вам будет угодно, шевадье, — сказал Оливо. — Но не забудьте, что через час начнется игра.

Очутившись в своей комнате, Казанова упал на стул, весь обливаясь холодным потом; его бил озноб, и к самому горлу подступала тошнота, которая, казалось, сейчас его задушит. Он не мог сразу собраться с мыслями и прилагал все свои силы к тому, чтобы удержаться — от чего, он и сам не знал. Ибо здесь в доме ведь не было никого, на ком можно было бы сорвать свой неистовый гнев, а смутную мысль, что Марколина каким-то образом причастна к выпавшему на его долю неопишумому унижению, он все же нашел в себе силу признать несуразной. Едва он немного опомнился, как сразу подумал о мщении этим негодьям, которым кажется, что им удастся его нанять, сделать из него полицейского шпиона. Он проберется в Венецию переодетым и какой-нибудь хитростью изведет всех этих злодеев или хотя бы одного из них — того, кому принадлежит весь этот гнусный замысел. Уж не сам ли это Брагадино? Почему бы нет? Старик, настолько бесстыдный, что посмел написать такое письмо Казанове, настолько слабоумный, что счел Казанову — Казанову, которого ведь когда-то знал! — годным для роли шпиона. О, в том-то и дело, что он теперь не знает Казановы! Никто его теперь не знает, ни в Венеции, ни где бы то ни было. Он еще себя покажет. Конечно, он уже не так молод и красив, чтобы соблазнить добродетельную девушку, и уже не так ловок и гибок, чтобы совершать побег из тюрем и ходить по скатам крыш, но он по-прежнему умнее всех! И очутись он только в Венеции, он сможет предпринять все, что захочет, лишь бы ему наконец туда попасть! И тогда, быть может, и не понадобится никого убивать; есть другие способы мести, более хитроумные и более изощренные, чем обыкновенное убийство; а если сделать вид, будто он принимает предложение господ сенаторов, — тогда ничего не может быть легче, чем погубить именно тех, кого захочет погубить он, а не тех, кого имеет в виду Высший Совет, — несомненно, лучших и достойнейших венециан-

цев! Как? Только потому, что они — враги этого подлого правительства, только потому, что они считаются еретиками, им придется сидеть в тех самых камерах под свинцовой крышей где он томился двадцать пять лет тому назад, или даже сложить голову на плахе? Он еще во сто крат сильнее ненавидит это правительство и с гораздо большими основаниями, а еретиком — еще более убежденным, чем все эти люди, — он был всю свою жизнь, остался им и сейчас. От скуки и омерзения он в последние годы разыгрывал сам перед собой дурацкую комедию. Ему верить в бога? Да что это за бог, если он милостив к молодым и оставляет стариков? Ну и бог, который, когда ему заблагорассудится, оборачивается дьяволом, бог, который превращает богатство в нищету, счастье в несчастье, радость в горе? Мы для тебя забава и должны еще тебе молиться? Сомневаться в твоём существовании — единственное остающееся у нас средство, чтобы тебя не хулить! Да не будет тебя! Ибо если ты существуешь, то я должен тебя проклинать! Он сжал кулаки и, выпрямившись, грозил ими небу. Его губы невольно прошептали ненавистное имя — Вольтер! Да, теперь он был в должном расположении духа, чтобы закончить свой памфлет против старого фернейского мудреца. Закончить? Нет, он его только теперь начнет. Новый! Другой, в котором этот смешной старик получит по заслугам... за свою осторожность, за свою половинчатость, за свое раболепие. Он безбожник? Он, о котором в последнее время все чаще и чаще слышишь, что он отлично ладит с попами и церковью, а по праздникам даже исповедуется? Еретик? Он? Болтун, веле-речивый трус — и только! Но близко уже время жестокой расплаты, и тогда вместо великого философа людям предстанет ничтожный остряк, писака. И до чего же он важничал, этот добрейший господин Вольтер... «Ах, милейший синьор Казанова, я не на шутку на вас сердит. Разве могут меня интересовать сочинения господина Мерлина? Вы виноваты в том, что я потратил на глупости целых четыре часа». Дело вкуса, дражайший господин Вольтер! Сочинения Мерлина будут читать еще тогда, когда «Девственница» будет давно забыта... и, может быть, тогда оценят и мои сонеты, которые вы мне вернули с такой наглой усмеш-

кой, не сказав о них ни слова. Но все это мелочи. Не будем затемнять главного авторскими обидами. Речь идет о философии — о боге!.. Мы скрестим клинки, господин Вольтер, только сделайте одолжение, до времени не умрите.

Казанова хотел было сразу же засесть за работу, но вдруг вспомнил, что нарочный ждет ответа. Он быстро набросал письмо этому старому дуралею Брагадино — письмо, преисполненное лицемерного смирения и живого восхищения: он с радостью и благодарностью принимает милость Высшего Совета и ожидает обратной почтой векселя, чтобы, по возможности скорее, припасть к стопам своих благодетелей — и прежде всего к стопам высокочтимого друга своего отца, Брагадино.

Когда Казанова запечатывал письмо, в дверь тихо постучали; вошла старшая, тринадцатилетняя дочурка Оливо: ей поручено передать, что все общество уже в сборе и с нетерпением ждет шеваляе, чтобы начать игру. Глаза ее странно блеснули, щеки горели, густые, по-женски причесанные волосы отливали у висков синевой; детский рот был полуоткрыт.

— Ты пила вино, Терезина? — спросил Казанова, подойдя к ней.

— Правда! А вы сразу заметили, шеваляе? — Она еще пуще покраснела и, смутясь, провела кончиком языка по нижней губе.

Казанова схватил ее за плечи, дохнул ей прямо в лицо, привлек к себе и бросил на кровать; она смотрела на него широко раскрытыми беспомощными глазами, в которых погас блеск; но когда она открыла рот, чтобы закричать, Казанова взглянул на нее так свирепо, что она почти замерла и во всем ему уступила. Он целовал ее нежно и страстно и шептал:

— Ты не должна рассказывать об этом аббату, Терезина, даже на исповеди; и когда потом у тебя будет любовник, или жених, или даже муж, ему тоже ни к чему это знать. Ты вообще должна всегда лгать; даже отцу с матерью и сестрам, чтобы тебе хорошо жилось на свете. Запомни это.

Он кощунствовал, а Терезина, должно быть, приняла его слова за благословение, ибо взяла его руку и благоговейно ее поцеловала, как руку священника. Он громко рассмеялся.

— Пойдем,— сказал он потом,— пойдем, моя малютка-жена, мы явимся в залу рука об руку!

Она, правда, немного жеманилась, но улыбалась, не выражая неудовольствия. Они вовремя вышли из комнаты, так как по лестнице, запыхавшись и нахмутив брови, поднимался Оливо, и Казанова тотчас понял, что его могли смутить грубоватые шутки маркиза или аббата насчет долгого отсутствия дочки. Оливо сразу повеселел при виде Казановы, который стоял на пороге, держа как бы в шутку под руку девочку.

— Извините, дорогой Оливо, что я заставил себя ждать. Мне нужно было закончить письмо.— Как бы в доказательство он протянул письмо Оливо.

— Возьми его,— приказал Оливо Терезине, приглаживая ее слегка растрепавшиеся волосы,— и отнеси посылному.

— А вот,— прибавил Казанова,— два золотых, передай их ему и скажи, чтобы поторопился: письмо еще сегодня должно непременно уйти из Мантуи в Венецию, а мою хозяйку пусть предупредит, что я... вернусь сегодня вечером.

— Сегодня вечером? — воскликнул Оливо.— Это невозможно!

— Ну, посмотрим,— снисходительно проговорил Казанова.— А вот и тебе золотой, Терезина...— И, не слушая возражений Оливо, продолжал: — Положи его в свою копилку, Терезина; письмо, которое ты держишь в руках, стоит не одну тысячу дукатов.

Терезина убежала, а Казанова с довольным видом кивнул головой; его особенно забавляло, что на глазах у отца он платит за благосклонность девочке, чья мать и бабушка тоже принадлежали ему.

Когда Казанова вошел с Оливо в залу, игра уже началась. Он весело, но с достоинством ответил на всеобщие радостные приветствия и сел против маркиза, державшего банк. Окна в сад были открыты. Казанова услышал приближающиеся голоса. Мимо окна прошли Марколина с Амалией, заглянули мельком в залу и исчезли. Пока маркиз сдавал карты, Лоренци с величайшей учтивостью обратился к Казанове:

— Воздаю вам должное, шевалье, вы были осведом-

лены лучше меня: наш полк в самом деле уже завтра перед вечером выступает в поход.

Маркиз казался удивленным.

— И вы только сейчас нам об этом сообщаете, Лоренци?

— Не так уж это важно!

— Для меня — нет, — проговорил маркиз, — но для моей супруги — весьма! Вы не находите? — И он засмеялся хриплым отгалкивающим смехом. — Впрочем, это не лишено важности и для меня! Я ведь проиграл вам вчера четыреста дукатов, а отыграть, пожалуй, уже не будет времени.

— Лейтенант обыграл также и нас, — заметил младший Рикарди, а старший, молчаливый, посмотрел через плечо на брата, стоявшего, как и вчера, у него за спиной.

— Удачу и женщин... — начал аббат.

— Кто умеет, приневолит, — кончил вместо него маркиз.

Лоренци небрежно высыпал перед собой золотые монеты.

— Вот они. Если желаете — все на одну карту, чтобы вам не пришлось долго гнаться за своими деньгами, маркиз!

Казанова почувствовал вдруг к Лоренци какую-то безотчетную жалость; будучи довольно высокого мнения о своем даре предвидения, он был убежден в том, что лейтенант будет убит в первом же предстоящем ему сражении. Маркиз не согласился на такую высокую ставку; Лоренци не настаивал; игра, в которой, как и накануне, участвовали скромными суммами все присутствующие, продолжалась вначале при умеренных ставках. Но спустя четверть часа они повысились; а в течение следующих пятнадцати минут Лоренци проиграл маркизу свои четыреста дукатов. К Казанове счастье, казалось, было равнодушно; он выигрывал, проигрывал и опять выигрывал, с до смешного правильным чередованием.

Лоренци вздохнул с облегчением, когда его последний золотой перешел к маркизу, и встал из-за стола.

— Благодарю вас, господа. Сегодняшняя игра, — он запнулся, — надолго будет для меня последней в этом гостеприимном доме. А теперь, многоуважаемый господин Оливо, позвольте мне проститься с дамами, прежде

чем отправиться верхом в город, куда мне хотелось бы попасть еще до захода солнца, чтобы снарядиться в завтрашний поход.

«Наглый лжец! — подумал Казанова. — Ночью ты будешь опять здесь, у Марколины!» В нем снова вспыхнула ярость.

— Как? — воскликнул маркиз с неудовольствием. — До вечера еще далеко, а игра прекращается? Если желаете, Лоренци, можно послать моего кучера домой, он передаст маркизе, что вы опоздаете.

— Я еду в Мантую, — нетерпеливо возразил Лоренци.

Не обратив на его слова никакого внимания, маркиз продолжал:

— Времени еще достаточно, выкладывайте собственные свои золотые, как у вас их ни мало. — И он бросил Лоренци карту.

— У меня нет больше ни одного, — устало ответил тот.

— Невероятно!

— Ни одного, — повторил Лоренци с видимым отвращением.

— Пустяки! — воскликнул маркиз с неожиданной любезностью, производившей довольно неприятное впечатление. — Вот вам десять дукатов в долг, а если понадобится, то могу дать и больше.

— В таком случае я ставлю дукат, — сказал Лоренци и взял карту. Она была бита картой маркиза.

Лоренци продолжал игру, словно это само собой разумелось, и вскоре задолжал маркизу сто дукатов. Банк перешел к Казанове, которому везло еще больше, чем маркизу. Игра опять превратилась в схватку между тремя партнерами, но сегодня этому покорились даже братья Рикарди; наравне с аббатом и Оливо они оставались изумленными зрителями. Никто не произносил ни слова, говорили только карты, но говорили достаточно ясно. По воле случая, все наличные деньги стеклись к Казанове, и спустя час он выиграл у Лоренци две тысячи дукатов, которые полностью уплатил из своего кармана маркиз, оставшийся без единого сольдо. Казанова предложил ему займы любую сумму. Но маркиз покачал головой.

— Благодарю вас, — сказал он, — теперь довольно. Для меня игра закончена.

Из сада доносились возгласы и смех детей. Казанова различил голос Терезины; он сидел спиной к окну и не обернулся. Еще раз, ради Лоренци, сам не зная почему, он попытался уговорить маркиза продолжать игру. Но тот только еще более решительно покачал головой. Лоренци встал.

— Я позволю себе, синьор маркиз, завтра до полудня вручить вам в собственные руки деньги, которые я вам задолжал.

Маркиз отрывисто рассмеялся.

— Любопытно, где вы их раздобудете, синьор лейтенант Лоренци. Ни в Мантуе, ни где-либо в другом месте не найдется человека, который ссудил бы вас и десятью дукатами, не говоря уже о двух тысячах, в особенности сегодня, коль скоро вы завтра выступаете в поход; неизвестно еще, вернетесь ли вы.

— Вы получите свои деньги завтра в восемь утра, синьор маркиз... Честное слово!

— Ваше честное слово, — холодно проговорил маркиз, — не стоит в моих глазах и одного дуката, тем более двух тысяч.

Все затаили дыхание. Однако Лоренци ответил, по видимому, без большого волнения:

— Вы дадите мне удовлетворение, синьор маркиз!

— С удовольствием, синьор лейтенант, — ответил маркиз, — как только вы уплатите долг.

Оливо, крайне расстроенный, проговорил, слегка запынаясь:

— Я ручаюсь за уплату, синьор маркиз. К несчастью, у меня нет такой суммы наличными, чтобы немедленно... но мой дом, мои владения... — И он неловким движением обвел вокруг себя рукой.

— Я не принимаю вашего поручительства, — сказал маркиз, — так как желаю вам добра, вы потеряли бы свои деньги.

Казанова видел, что все взоры устремлены на золото, лежащее перед ним. «Не поручиться ли мне за Лоренци? — подумал он. — Что, если я уплачу за него... Маркиз не мог бы этого отвергнуть. Пожалуй, это даже моя обязанность. Золото ведь — маркиза». Но он молчал. Он чувствовал, как у него зарождается какой-то

смутный план, но для того, чтобы он стал вполне ясным, нужно было время.

— Вы получите свои деньги еще сегодня до наступления ночи, — сказал Лоренци. — Через час я буду в Мантуе.

— Но ваша лошадь может сломать себе шею, — возразил маркиз. — Вы тоже... Может быть, даже нарочно.

— Однако, — с досадой проговорил аббат, — не может же лейтенант чудом раздобыть вам деньги.

Оба брата Рикарди засмеялись, но сразу оборвали смех.

— Несомненно, — обратился к маркизу Оливо, — что прежде всего вы должны разрешить лейтенанту Лоренци удалиться.

— Только под залог! — воскликнул маркиз с загоревшимися глазами, словно осенившая его мысль доставила ему особенное удовольствие.

— Недурная идея, — немного рассеянно отозвался Казанова, план которого уже почти созрел.

Лоренци снял с пальца перстень, и он покатился по столу. Маркиз его подхватил:

— Тысячу он, пожалуй стоит.

— А этот? — И Лоренци швырнул маркизу второй перстень.

Тот, кивнув головой, сказал:

— Столько же.

— Теперь вы удовлетворены, синьор маркиз? — спросил Лоренци, собираясь выйти.

— Удовлетворен, — усмехаясь, ответил маркиз, — тем более что оба кольца — краденые.

Лоренци быстро повернулся и занес над столом кулак, чтобы обрушить его на маркиза. Оливо и аббат схватили его за руку.

— Мне знакомы оба эти камня, — сказал маркиз, не трогаясь с места, — хотя они и в новой оправе. Смотрите, господа, смарагд с небольшим изъяном, не то он стоил бы в десять раз дороже. Рубин — без порока, но мал. Оба эти камня вынуты из драгоценного убора, который я когда-то подарил своей жене. И так как я, конечно, не могу допустить мысли, что маркиза дала оправить эти камни в кольца для лейтенанта Лоренци, то они, по-видимому, вместе со всем убором могли быть

только украдены. Итак, залогом я пока что удовлетворен, господин лейтенант.

— Лоренци! — воскликнул Оливо.— Все мы даем вам слово, что ни одна душа никогда не узнает о том, что здесь произошло.

— И что бы ни совершил синьор Лоренци,— сказал Казанова,— вы большой подлец, господин маркиз.

— Хочу надеяться! В наши с вами годы, шевалье де Сенгаль, хотя бы в подлости никому нельзя уступать первенства. Доброй ночи, господа!

Маркиз встал, никто не ответил на его поклон, и он вышел из комнаты. На одно мгновение стало так тихо, что из сада вновь донесся смех детей, показавшийся неестественно громким. И кто мог бы найти слова, которые в эту минуту проникли бы в душу Лоренци, все еще стоявшего с простертой над столом рукой? Казанова один сидел по-прежнему на своем месте, и невольно залюбовался юношей, который, казалось, превратился в изваяние, застыв в своей грозной и благородной позе, теперь, правда, уже утратившей смысл. Наконец, Оливо приблизился к нему, как бы с намерением успокоить его; подошли также и братья Рикарди, по-видимому, решил заговорить и аббат; но Лоренци, вздрогнув всем телом, повелительным и негодующим жестом пресек всякую попытку выразить ему участие и с вежливым поклоном, неторопливо вышел из залы. В ту же секунду Казанова, успевший тем временем собрать в шелковый платок лежавшее перед ним золото, поднялся и последовал за Лоренци. Он чувствовал, не видя лиц присутствующих, что никто из них не усомнился в его намерении немедля сделать то, чего они все время от него ждали,— отдать свой выигрыш Лоренци.

Он догнал Лоренци в каштановой аллее, которая вела от дома к воротам, и сказал ему непринужденно:

— Не позволите ли вы мне сопровождать вас в вашей прогулке, синьор лейтенант Лоренци?

Лоренци, не глядя на Казанову, ответил надменным тоном, вряд ли уместным в его положении:

— Как вам будет угодно, шевалье; но боюсь, что вы не найдете во мне разговорчивого собеседника.

— Тем более разговорчивого собеседника вы, быть может, найдете во мне, лейтенант Лоренци,— сказал

Казанова, — и если вы не возражаете, пройдемся среди виноградников, где мы сможем побеседовать без помехи.

Они свернули с проезжей дороги на ту самую узкую тропинку вдоль садовой ограды, по которой Казанова накануне проходил вместе с Оливо.

— Вы совершенно справедливо предполагаете, — начал Казанова, — что я намерен предложить вам сумму, которую вы задолжали маркизу, но не займы, ибо, — надеюсь, вы простите меня, — это было бы слишком рискованно, а как возмещение, разумеется ничтожное, за услугу, которую, быть может, вы в состоянии оказать мне.

— Я слушаю вас, — холодно произнес Лоренци.

— Прежде чем говорить дальше, — ответил таким же тоном Казанова, — я принужден поставить одно условие, — продолжение этого разговора я ставлю в зависимость от вашего согласия на него.

— Назовите свое условие.

— Вы должны дать честное слово, что выслушаете меня не перебивая, даже если бы сказанное мною вызвало у вас недоумение, неудовольствие или, может быть, гнев. От вас всецело зависит, синьор лейтенант Лоренци, пожелаете ли вы потом принять или отвергнуть мое предложение, в необычности которого я вполне отдаю себе отчет; но я жду от вас только ответа «да» или «нет», и, каков бы он ни был, никогда ни одна живая душа не узнает, о чем здесь шла речь между двумя людьми чести, которые, может быть, одновременно люди погибшие.

— Я готов выслушать ваше предложение.

— И принимаете мое предварительное условие?

— Я вас не буду прерывать.

— И не произнесете в ответ ни одного слова, кроме «да» или «нет»?

— Ничего, кроме «да» или «нет».

— Хорошо, — сказал Казанова. И в то время, как они медленно поднимались по холму между виноградниками в зное клонившегося к закату дня, Казанова начал: — Мы лучше пойдем друг друга, если рассмотрим дело с точки зрения законов логики. Совершенно ясно, что у вас нет никакой возможности достать деньги, которые вы должны маркизу, к назначенному им сроку; а в случае если бы вы их ему не уплатили, он

твердо решил вас погубить,— в этом тоже не может быть сомнения. Ввиду того, что он знает о вас больше (тут Казанова осмелился зайти дальше, чем следовало, но он любил подобные небольшие, но вполне безопасные отклонения от заранее начертанного пути), чем обнаружил перед нами сегодня, вы действительно целиком находитесь во власти этого негодяя, и ваша репутация, как офицера и дворянина, погибла. Это одна сторона дела. Но вы спасены, если только уплатите долг, и в ваших руках опять окажутся кольца, неведомыми путями к вам попавшие; а быть спасенным означает для вас при данных обстоятельствах не более и не менее, как вернуться к жизни, с которой вы, можно сказать, как бы свели счеты,— притом к жизни, полной блеска, счастья и славы, ибо вы молоды, прекрасны и отважны. Такое будущее кажется мне достаточно радужным,— в особенности, когда в противном случае все сулит лишь бесславную, даже позорную гибель,— чтобы поступиться ради него предрассудком, коего лично у вас, в сущности, никогда и не было. Ведь я знаю, Лоренци,— поспешно прибавил он, точно желая предупредить возражение, которого ожидал,— у вас нет никаких предрассудков так же, как их нет и никогда не было у меня; и я намерен потребовать от вас не более того, на что я, ни минуты не раздумывая, решился бы на вашем месте при подобных обстоятельствах,— ибо я действительно никогда не останавливался перед подлостью, или, вернее, тем, что именуют так дураки на нашей земле, когда этого требовал рок или просто моя прихоть. Но зато я, подобно вам, Лоренци, был готов в любую минуту поставить на карту свою жизнь и таким образом расквитаться. Я готов на это и сейчас... в случае если бы мое предложение пришлось вам не по душе. Мы с вами из одного теста, Лоренци, мы братья по духу и можем без ложного стыда гордо обнажить друг перед другом свою душу. Вот мои две тысячи дукатов,— вернее, ваши,— если вы дадите мне возможность провести, вместо вас, нынешнюю ночь с Марколиной. Не будем останавливаться, Лоренци, продолжим нашу прогулку.

Они шли полями под низкорослыми фруктовыми деревьями, между которыми вились отягченные тяже-

лыми гроздьями виноградные лозы; и Казанова безо всякого перерыва продолжал:

— Не отвечайте мне пока, Лоренци, я еще не кончил. Мой замысел, если бы вы имели намерение взять Марколину в жены или если бы сама Марколина поощряла с вашей стороны подобные надежды или мечты, был бы, конечно, не столь дерзким, сколь безнадежным и потому бессмысленным. Но, точно так же, как прошлая ночь была первой ночью любви, подаренной вам Марколиной (это свое предположение Казанова тоже высказал, как не подлежащую сомнению истину), так и наступающая ночь, по всем людским расчетам и по предположению самой Марколины и вашему собственному, должна стать вашей последней ночью перед разлукой на очень долго, — может быть, навсегда. И я совершенно убежден, что, ради спасения своего возлюбленного от верной гибели, Марколина — стоило бы ему пожелать — без колебаний согласилась бы подарить эту последнюю ночь его спасителю. Ведь она тоже философка и так же свободна от предрассудков, как мы с вами. Однако, несмотря на всю мою уверенность в том, что Марколина выдержала бы такое испытание, в мои намерения отнюдь не входит подвергать ему Марколину, ибо обладание женщиной безвольной и внутренне противящейся как раз в этом случае не отвечает моим стремлениям. Не только как любящий, но и как любимый, хочу вкусить я счастье, которое кажется мне таким безмерным, что потом я был бы готов заплатить за него жизнью. Поймите меня правильно, Лоренци! Марколина не должна заподозрить, что прижимает к своей божественной груди меня, — напротив, она должна быть твердо уверена, что в ее объятиях не кто иной, как вы. Ваше дело — подготовить этот обман, мое — его поддержать. Вам не будет стоить особого труда убедить ее в том, что вы принуждены покинуть ее еще до зари; повод к тому, что на этот раз она будет наслаждаться одними безмолвными ласками, у вас тоже найдется. Притом, во избежание малейшей опасности последующего разоблачения, я вовремя пристворюсь, будто слышу под окном подозрительный шорох, накину свой — или, вернее, ваш — плащ, который вам, конечно, придется мне для этой цели одолжить, и исчезну через окно — навсегда. Ибо я, разумеется,

для видимости уеду еще сегодня вечером, а затем, под предлогом того, что забыл важные бумаги, верну кучера с полдороги и через заднюю калитку — ключ вы мне дадите, Лоренци! — проникну в сад к окну Марколины, которое откроется в полночь. Свое платье, башмаки и чулки я сниму в карете, на мне будет только плащ, так что после моего смахивающего на бегство ухода не останется ничего, что могло бы выдать меня или вас. Свой плащ и две тысячи дукатов вы получите у меня в гостинице, в Мантуе завтра в пять часов утра, так что сможете швырнуть в лицо маркизу его деньги еще до установленного часа. В этом я вам торжественно клянусь. Теперь я кончил.

Казанова внезапно остановился. Солнце клонилось к закату, легкий ветерок пробежал по желтым колосьям, красноватый отблеск падал на башню над домом Оливо. Молча остановился и Лоренци. Ни один мускул не двигался на его бледном лице, он неподвижно смотрел вдаль поверх плеча Казановы. Руки его вяло повисли, между тем как пальцы Казановы, готового ко всему, как бы случайно сжимали рукоять шпаги. Прошло несколько секунд, но Лоренци все еще стоял молча и неподвижно. Он казался погруженным в спокойное раздумье; но Казанова был по-прежнему настороже и, левой рукой держа платок с дукатами и стиснув рукоять шпаги правой, проговорил:

— Мое предварительное условие вы соблюли, как человек чести. Знаю — вам это было нелегко. Ибо, хотя мы и лишены предрассудков, вся обстановка, в которой мы живем, настолько ими отравлена, что мы не можем полностью от них освободиться. И так же как вы, Лоренци, в течение этой четверти часа были не раз близки к тому, чтобы схватить меня за горло, так и я, — должен вам признаться, — некоторое время помышлял подарить вам две тысячи дукатов, как человеку... нет, как своему другу; ведь мне редко приходилось с первого же мгновения испытывать к кому-нибудь такую загадочную приязнь, как к вам, Лоренци! Но если бы я поддался этому великодушному порыву, то уже через секунду глубоко бы раскаялся в нем, — точно так же, как вы, Лоренци, за секунду до того, как пустить себе пулю в лоб, пришли бы к горестному сознанию, что вы — глупец, которому нет равного, ибо вы пренебрегли

тысячами ночей любви, каждый раз с новыми женщинами, ради одной ночи, за которой более не последует ничего — ни ночи, ни дня.

Лоренци все еще молчал; его молчание длилось секунды, оно длилось минуты, и Казанова задавался вопросом, как долго ему еще это сносить. Только он собирався отойти с коротким поклоном и таким образом дать понять, что считает свое предложение отвергнутым, как Лоренци, по-прежнему безмолвно, неторопливым движением опустил правую руку в задний карман мундира и протянул ключ от садовой калитки Казанове, который, как и прежде, готовый к любой неожиданности, отступил на шаг, как бы с намерением пригнуться. Некоторое проявление испуга, обнаружившееся в движении Казановы, вызвало на губах у Лоренци мимолетную язвительную усмешку. Казанова сумел подавить и даже скрыть нарастающую в нем ярость, взрыв которой мог бы все погубить, и, взяв с легким поклоном ключ, заметил только:

— По-видимому, я должен принять это за согласие. Через час — тем временем вы успеете сговориться с Марколиной — я жду вас в башне, где позволю себе тотчас же вручить вам две тысячи дукатов в обмен на ваш плащ: во-первых, в знак моего доверия и, во-вторых, потому, что я действительно не знаю, куда ночью спрятать золото.

Они расстались, не поклонившись. Лоренци вернулся назад прежней дорогой, Казанова пошел другой в деревню, где, не покупившись на задаток, нанял на постоялом дворе экипаж, который должен был ждать его в десять часов вечера перед домом Оливо, чтобы доставить в Мантую.

Вскоре после этого Казанова, предварительно спрятав золото в надежное место у себя в комнате, вышел в сад, где взору его представилась картина, сама по себе ничуть не примечательная, но странно его растрогавшая в том душевном состоянии, в каком он в ту минуту находился. У края лужайки на скамье рядом с Амалией сидел Оливо, обняв ее рукой за плечи; у их ног расположились, словно устав от игр, три девочки; младшая, Мария, казалось, дремала, положив головку на колени матери, около нее лежала, вытянувшись на траве и закинув руки за голову, Нанетта; Терезина

прислонилась к коленям отца, который нежно перебирал пальцами ее локоны; когда Казанова подошел, она встретила его не похотливым и понимающим взглядом, какого он невольно ждал, а открытым и по-детски доверчивым, словно то, что произошло между ними всего несколько часов назад, было лишь ничего не значащей игрой. Лицо Оливо просияло радостью, Амалия сердечно и благодарно кивнула Казанове. Оба они встретили его, как человека, — это было для него несомненно, — который совершил только что благородный поступок, но в то же время ждет, что из чувства деликатности никто не обмолвится об этом ни словом.

— И вы в самом деле уже завтра намерены покинуть нас, дорогой шевадье? — спросил Оливо.

— Не завтра, — ответил Казанова, — а, как я уже говорил, сегодня вечером.

И когда Оливо хотел ему возразить, он продолжал, пожав с сожалением плечами:

— Письмо, полученное мною сегодня из Венеции, не оставляет мне иного решения. Присланное мне приглашение настолько почетно со всех сторон, что отложить приезд — значило бы проявить величайшую, даже непростительную неучтивость к моим высоким покровителям.

И он тут же попросил позволения удалиться в свою комнату, чтобы сейчас же приготовиться к отъезду, после чего сможет спокойно провести последние часы своего пребывания здесь в кругу гостеприимных друзей.

Не поддаваясь ни на какие уговоры, Казанова направился в дом, поднялся по лестнице в башню и прежде всего сменил свое парадное платье на более простое, удобное для путешествия. Затем он уложил вещи в чемодан и, с возраставшим с каждой минутой нетерпением, стал прислушиваться, не раздадутся ли наконец шаги Лоренци. Еще до назначенного часа в дверь отрывисто постучали, и в широком синем кавалерийском плаще вошел Лоренци. Не говоря ни слова, он слегка повел плечами, и плащ, скользя, упал между обоими мужчинами на пол в виде бесформенного куса материи. Казанова вытащил из-под лежавшего на кровати тюфяка золото и рассыпал монеты по столу. Тщательно их пересчитав на глазах у Лоренци, что было сделано

довольно быстро, так как многие монеты были большего достоинства, чем один дукат, Казанова вручил Лоренци условленную сумму, предварительно вложив ее в два кошелька, после чего у него осталось еще около ста дукатов. Лоренци сунул кошельки в карманы мундира и хотел уже безмолвно удалиться, но Казанова его остановил:

— Подождите, Лоренци. Нам, может быть, еще случится когда-нибудь встретиться в жизни. Пусть же встреча наша будет без злобы. Это была такая же сделка, как и всякая другая; мы с вами квиты.

Он протянул Лоренци руку. Тот не взял ее и только теперь произнес первое слово.

— Не припоминаю, — сказал он, — чтобы и это входило в наш договор. — Он повернулся и вышел.

«Вот мы как точны, друг мой! — подумал Казанова. — Тем более я могу быть уверен, что не окажусь в конце концов в дураках». Правда, он ни на минуту всерьез не допускал такой возможности; он знал по опыту, что такие люди, как Лоренци, обладают своеобразной честью, законы которой нельзя расписать по статьям, хотя в соблюдении их в каждом отдельном случае вряд ли можно сомневаться.

Казанова положил плащ Лоренци сверху в чемодан и закрыл его; оставшиеся золотые монеты сунул в карман, осмотрелся вокруг в комнате, порога которой он, конечно, никогда больше не переступит, и, готовый к отъезду, при шпаге и в шляпе, спустился в залу, где Оливо с женой и детьми уже сидели за накрытым столом. Одновременно с Казановой из сада в противоположную дверь вошла Марколина, что показалось ему добрым предзнаменованием, и ответила на его поклон непринужденным кивком головы. Подали кушанье. Разговор вначале не клеился, словно ему мешали мысли о предстоящей разлуке. Амалия казалась слишком поглощенной детьми и все время следила за тем, как бы у них на тарелках не было слишком много или слишком мало еды. Оливо, без всякой надобности, принялся рассказывать о какой-то незначительной, решенной в его пользу тяжбе с соседом, а также о своей предполагаемой деловой поездке в Мантую и Кремону. Казанова выразил надежду на то, что в недалеком будущем он сможет приветствовать своего друга в Венеции. По

странной случайности, Оливо там еще никогда не бывал. Амалия видела этот чудесный город много лет назад, в детстве; как она туда попала, она уже не помнит. Запомнился ей только какой-то старик в ярко-красном плаще, который вышел из длинной черной гондолы и, споткнувшись, растянулся во весь рост.

— Вы тоже не бывали в Венеции? — спросил Казанова Марколину, сидевшую как раз против него и смотревшую поверх его плеча в густую темноту сада. Она молча покачала головой. И Казанова подумал: «Если бы только я мог показать тебе город, где я был молод! О, если бы ты была молода в одно время со мной...»

И у него родилась еще одна мысль, еще более безрассудная: «Не взять ли мне тебя сейчас с собой?» И в то время как все эти невысказанные мысли пронеслись в голове Казановы, он заговорил о городе своей молодости с легкостью, свойственной ему даже в минуты сильнейшего душевного волнения, — сначала так искусно и холодно, словно писал картину, но вскоре, непроизвольно взяв более теплый тон, обратился к истории своей собственной жизни и вдруг сам занял главное место в картине, и она только теперь ожила и засияла. Он рассказывал о своей матери, знаменитой актрисе, для которой великий Гольдони, ее поклонник, написал свою замечательную комедию «Воспитанница»; об унылых годах своего пребывания в пансионе скупого доктора Гоцци, о своей детской любви к маленькой дочери садовника, потом спутавшейся с лакеем, о своей первой проповеди, когда он стал молодым аббатом, после которой он нашел в сумке ризничего, кроме пожертвованных денег, еще несколько нежных записочек, о дерзких проказах в масках и без масок, совершенных им, вместе с другими такими же озорниками-товарищами, в переулках, в кабачках, в танцевальных и игорных залах Венеции в бытность его скрипачом в театре Сан-Самуэле. Но об этих дерзких, а порой и предосудительных проделках Казанова повествовал, не произнося ни единого непристойного слова, — напротив, даже как-то поэтически-просветленно, точно считаясь с присутствием детей, которые, как и все остальные, не исключая и Марколины, слушали его затаив дыхание. Но время шло, и Амалия отправила дочерей спать. На прощание Казанова нежно расцеловал всех троих, Тере-

зину — так же, как и двух младших, и взял с них обещание, что вскоре они приедут к нему в Венецию вместе с родителями. Когда дети ушли, он, разумеется, стал меньше стесняться в выражениях, но обо всем рассказывал без малейшей двусмысленности, а главное, без малейшего тщеславия, и можно было скорее подумать, что слушаешь повесть о любви сентиментального простака, нежели опасного и необузданного соблазнителя и искателя приключений. Он рассказывал о чудесной незнакомке, которая целыми неделями разъезжала с ним, переодетая офицером, и однажды внезапно исчезла; о дочери занимавшегося сапожным ремеслом дворянина в Мадриде, которая — между двумя объятиями — всякий раз старалась обратить его в набожного католика; о прекрасной еврейке Лии в Турине, которая сидела на лошади лучше любой княгини; о невинной и прелестной Манон Баллетти, единственной женщине, на которой он чуть было не женился; о той безголосой певице в Варшаве, которую он освистал, после чего ему пришлось драться на дуэли с ее любовником, генералом Браницким, и бежать из Варшавы; о злой Шарпийон, так подло надсмеявшейся над ним в Лондоне; о поездке в бурную ночь, чуть было не стоившей ему жизни, по лагунам в Мурано к боготворимой им монахине; об игроке Кроче, который, проиграв в Спа целое состояние, со слезами на глазах простился с ним на большой дороге и пустился в путь в Петербург, как был — в шелковых чулках и в яблочного цвета бархатном камзоле, с бамбуковой тростью в руке. Он рассказывал об актрисах, певицах, модистках, графинях, танцовщицах, камеристках; об игроках, офицерах, князьях, посланниках, финансистах, музыкантах и авантюристах; и таким чудесным показалось ему охватившее его вновь очарование прошлого, таким полным было торжество блистательно прожитого, но безвозвратно минувшего, над жалким и призрачным настоящим, хвастливо выставляющим себя напоказ, что он уже собирался рассказать историю миловидной бледной девушки, поведавшей ему в сумраке церкви в Мантуе о своей несчастной любви, совсем не думая о том, что эта девушка, состарившаяся на шестнадцать лет и ставшая женой его друга Оливо, сидит против него здесь за столом; но тут грузными шагами в комнату вошла служанка и доложила,

что карета стоит у ворот. Казанова немедленно поднялся и стал прощаться. Наделенный несравненным даром и во сне и наяву немедленно найтись, он обнял Оливо, который так растрогался, что не мог вымолвить ни слова, и еще раз сердечно пригласил навестить его в Венеции вместе с женой и детьми. Когда Казанова с таким же намерением приблизился к Амалии, она слегка отстранилась и лишь подала ему руку, которую он почтительно поцеловал. Когда он затем повернулся к Марколине, она сказала:

— Все, что вы нам рассказали сегодня вечером, и еще многое другое,— вы должны были бы записать, шеваље, так же, как вы описали свой побег из-под свинцовых крыш.

— Вы серьезно это думаете, Марколина? — спросил он с робостью молодого автора. Она улыбнулась с легкой насмешкой.

— Мне кажется, что такая книга могла бы оказаться гораздо занимательнее, чем ваш памфлет против Вольтера.

«Это, быть может, верно,— подумал Казанова, но ничего не сказал.— Как знать, не последую ли я когда-нибудь твоему совету? И тебе, Марколина, будет посвящена последняя глава». Эта внезапная мысль и — еще более — мысль о том, что наступающей ночью он переживет эту последнюю главу, зажгли его взгляд таким странным огнем, что Марколина отняла у него руку, поданную ему на прощание, еще прежде, чем он, склонившись, успел ее поцеловать. Ничем не проявив своего разочарования или, может быть, досады, Казанова двинулся к выходу, дав понять ему одному свойственным ясным и простым жестом, чтобы никто, даже Оливо, его не провожал.

Быстрым шагом прошел он каштановую аллею, дал золотой служанке, поставившей в карету его чемодан, сел и уехал.

Небо заволокло тучами. Когда деревня, где в маленьких оконцах там и сям еще мерцал огонек, осталась позади и в ночной тьме светил только подвешенный спереди к дышлу желтый фонарь, Казанова открыл стоявший у него в ногах чемодан, вынул плащ Лоренци и, накинув его на себя, осторожно разделся. Снятую одежду, башмаки и чулки он запер в чемодан

и плотнее завернулся в плащ. Потом окликнул возницу:

— Эй, нам придется вернуться!

Кучер досадливо обернулся.

— Я забыл в доме свои бумаги. Слышишь? Поворачивай обратно.— И, видя, что тот — худой, ворчливый старик с седой бородой — как будто колеблется, добавил: — Разумеется, я не требую этого бесплатно. Вот, возьми! — И Казанова сунул ему в руку дукат.

Возница кивнул головой, что-то проворчал и, без всякой надобности ударив кнутом по лошадям, повернул карету. Когда они опять проезжали через деревню, все дома были погружены в безмолвие и темноту. Проехав еще часть пути по большой дороге, кучер хотел свернуть на узкую, слегка поднимающуюся в гору дорогу к поместью Оливо.

— Стой! — крикнул Казанова.— Лучше не подъезжать так близко к дому, не то мы всех разбудим. Подожди здесь на углу. Я скоро вернусь... А если немного задержусь, то за каждый лишний час — дукат!

Теперь кучер уже смекнул, в чем дело; Казанова понял это по тому, как он кивнул головой. Казанова вышел из кареты и, вскоре скрывшись из виду, быстро прошел мимо запертых ворот вдоль стены до того места, где она поворачивала под прямым углом наверх, и там свернул на тропинку через виноградник, которую легко отыскал, так как дважды проходил по ней при свете дня. Он держался стены, не отклоняясь от нее даже тогда, когда она приблизительно на середине холма опять повернула под прямым углом. Теперь он шел по мягкому лугу в непроглядном мраке ночи, пристально всматриваясь в потемки, чтобы не пройти мимо садовой калитки. Он все время нащупывал рукой гладкую каменную ограду, пока не коснулся пальцами шершавого дерева калитки, после чего ему удалось различить очертания узкой двери. Быстро найдя замочную скважину, он всунул в нее ключ, отпер дверь, вошел в сад и запер ее за собой. По ту сторону лужайки перед ним в неправдоподобной дали стоял неправдоподобно высокий дом с башней. Он ненадолго остановился, чтобы осмотреться; ибо мрак, непроницаемый для всякого другого, был для Казановы лишь густыми сумерками. Вместо того чтобы идти дальше

по аллее, где его босым ногам было больно ступать по гравию, он отважился свернуть на траву, заглушавшую звук его шагов. Ему казалось, будто он летит, так легка была его походка.

«Когда в былые времена — в тридцать лет — я пробирался такими путями, разве чувства мои были иными? — подумал он. — Разве по жилам моим бежит не тот же огонь желания и не те же соки юности? Разве я и теперь не тот же Казанова, каким был тогда?.. А если я — Казанова, то мною должен быть посрамлен жалкий закон, именуемый старостью, которому подчинены другие! — И, становясь все смелее, он спросил себя: — Зачем я крадусь к Марколине под маской? Разве Казанова не лучше Лоренци, даже если он на тридцать лет старше? И разве она не женщина, способная постигнуть непостижимое?.. К чему мне было совершать эту мелкую подлость и подбивать другого на большую? Разве, проявив немного терпения, я не достиг бы той же цели? Завтра Лоренци уезжает, а я был остался... Пять дней... три дня — и она была бы моей, была б моей — зная об этом».

Он стоял, прижавшись к стене, под окном Марколины, которое было еще наглухо закрыто, а мысли его неслись дальше. «Но ведь и теперь еще не поздно! Я мог бы возвратиться, — завтра, послезавтра... и приступить к делу оболъщения, — так сказать, как честный человек. Нынешняя ночь была бы залогом будущих. Никогда бы Марколина не узнала, что это я сегодня был у нее... разве что позже, много позже».

Окно все еще было наглухо заперто. Из комнаты не доносилось ни звука. До полуночи, по-видимому, оставалось еще несколько минут. «Не дать ли как-нибудь знать о своем приходе? Тихонько стукнуть в окно? Такого уговора не было, и это может только возбудить у Марколины подозрение. Остается ждать. Теперь уже недолго». Мысль, что она может сразу его узнать и раскрыть обман прежде, чем он совершится, уже не раз приходила ему в голову, но, как и раньше, бегло, как естественное и разумное предположение маловероятной возможности, а не как серьезное опасение. Ему припомнилось одно несколько комическое приключение двадцатилетней давности — восхитительная ночь, которую он провел в Золотурне с уродливой

старухой, будучи уверен, что ему принадлежит боготворимая прекрасная и молодая женщина; и на следующий день она еще вдобавок высмеяла в бессознательном письме его весьма приятное для нее заблуждение, подстроенное ею с мерзкой хитростью. При воспоминании об этом он содрогнулся от отвращения. Как раз об этом лучше сейчас не думать, и он прогнал всплывшую перед ним гнусную картину. Неужели еще не наступила полночь? Сколько он тут еще простоит, прижавшись к стене и дрожа от ночной прохлады? И не тщетно ли? Не надуют ли его — несмотря ни на что? Выбросить зря две тысячи дукатов! Не стоит ли за занавесью вместе с нею Лоренци? И потешается над ним? Казанова невольно крепче стиснул рукою шпагу, которую держал под плащом, прижав к нагому телу. «От такого молодца, как Лоренци, в конце концов можно ждать самого скверного сюрприза. Но тогда...» В это мгновение он услышал легкий шум и понял, что на окне Марколины отодвигается решетка, после чего сразу широко распахнулись обе его створки, но занавесь еще оставалась задернутой. Еще несколько секунд Казанова не шевелился, пока отодвинутая невидимой рукой занавесь не поднялась с одного края; по этому знаку Казанова перемахнул через подоконник в комнату и сразу закрыл за собой окно и задвинул его решеткою. Приподнятая занавесь упала, окутав его плечи, так что ему пришлось из-под нее выбиратья, и он очутился бы в полной тьме, если бы из глубины комнаты, в непостижимой дали, не показало ему путь тусклое мерцание, словно пробужденное его взглядом. Всего три шага — страстно ищущие руки простерлись к нему; он выпустил из рук шпагу, уронил с плеч плащ и отдался своему счастью.

По стонам Марколины, по слезам блаженства, которые он осушал поцелуями на ее щеках, по жару, с каким она принимала его ласки, он вскоре понял, что она делит его восторги, казавшиеся ему более высокими, даже совсем иными, чем те, которые он когда-либо изведал. Наслаждение стало молитвой, глубокое упоение — ни с чем не сравнимой просветленностью. Здесь, на груди Марколины, наконец сбылось то, что он так часто в безрассудстве своем считал пережитым, но чего в действительности никогда не пережил, — воплощение

мечты. Держа в своих объятиях эту женщину, он, расточая себя, чувствовал свою неисчерпаемость; мгновения последних ласк и нового желания сливались на ее груди в единое мгновение никогда не изведанного блаженства. Жизнь и смерть, время и вечность — не сплетаются ли они воедино на этих устах? Не бог ли он? Не басня ли юность и старость, придуманная людьми? А родина и чужбина, блеск и нищета, слава и безвестность? Не пустые ли это различия на потребу беспокойных, одиноких, тщеславных людей, теряющие смысл, когда ты — Казанова и нашел Марколину? С каждой минутой ему казалось все более недостойным, даже смешным, остаться верным своему малодушно принятому решению — безмолвно, как вор, бежать неузнанным от очарования этой ночи. Безошибочно чувствуя, что он в той же мере дарит счастье, как и дарим счастьем, он уже решил назвать свое имя, хотя все еще сознавал, что в этой крупной игре, которую он может и проиграть, ставит на карту жизнь. Вокруг все было еще погружено в непроницаемую тьму, и пока сквозь плотную занавесь не пробьется первый луч расвета, он может еще медлить с признанием, которое — в зависимости от того, как Марколина примет его, — решит его судьбу, даже жизнь. Но разве это немое, самозабвенно-сладостное свидание с каждым поцелуем не связывает Марколину с ним все более и более неразрывно? Разве то, что было сперва обманом, не стало правдой в неизъяснимых восторгах этой ночи? Да разве ее, обманутую, любимую, единственную, уже не охватило предчувствие, что с нею не Лоренци, не юноша, не повеса, а мужчина, что это Казанова сжигает ее своим божественным жаром? Ему уже начинало казаться, что его вообще минет желанное, но все еще страшное мгновенье признания; он мечтал, что Марколина сама, дрожащая, плененная, освобожденная, шепнет ему его имя. И после того, как она тем самым его простит... нет, получит его прощение... тогда он возьмет ее с собой, немедленно, еще в этот час; в сером сумраке рассвета покинет вместе с нею этот дом, сядет с нею в карету, ожидающую у поворота... уедет с нею, удержит ее навсегда, увенчает дело своей жизни тем, что в годы, когда другие готовятся к хмурой старости, покорит безмерной властью своей неугасимой души

самую юную, самую прелестную, самую умную и навеки сделает ее своей. Ибо она принадлежала ему, как ни одна женщина до нее. Он уже скользил вместе с нею по таинственным узким каналам среди дворцов, под сенью которых чувствовал себя опять дома, под арками мостов, по которым в тумане сновали темные фигуры людей; некоторые из них кланялись им оттуда через перила и опять исчезали, прежде чем он успевал их рассмотреть. Но вот гондола причалила; мраморные ступени ведут в роскошный дом сенатора Брагадино; один только этот дом празднично освещен; гости в маскарадных костюмах спускаются вниз и вверх по лестнице, многие с любопытством останавливаются. Но кто может узнать под масками Казанову и Марколину? Он входит с нею в зал. Здесь идет крупная игра. Все сенаторы, среди них и Брагадино, в красных мантиях, сидят у стола. Когда вошел Казанова, все они, точно в испуге, прошептали его имя; они узнали его по молниям его глаз, сверкнувшим из-под маски. Он не сел за стол, не взял карт, но принял участие в игре. И выигрывал, выиграл все лежавшее на столе золото, но этого мало; сенаторы должны были выдать ему векселя; они проиграли свои состояния — свои дворцы, свои пурпурные мантии, они стали нищими и в лохмотьях ползали у его ног, целуя ему руки, а рядом в темно-красном зале играла музыка, там танцевали. Казанова хотел танцевать с Марколиной, но она исчезла. Сенаторы в своих пурпурных мантиях, как прежде, сидели за столом; но Казанова знал, что это не карты, а люди, обвиняемые, преступники и невинные, судьба которых должна решиться. Но где Марколина? Ведь он все время сжимал ее запястье? Он бросился вниз по лестнице, гондола ждала его... Скорее, скорее сквозь путаницу каналов, гребец, конечно, знал, где Марколина; но почему также и он в маске? Раньше это не было принято в Венеции. Казанова хотел потребовать у него объяснений, но не смел. Неужели, старея, делаешься таким трусом? Все дальше и дальше... Каким гигантским городом стала Венеция за эти двадцать пять лет! Дома наконец расступаются, каналы расширяются, они скользят между островов, вот высятся стены монастыря Мурано, куда скрылась Марколина. Гондола исчезла, теперь надо плыть, — как это приятно! Дети, наверное, играют теперь

в Венеции его золотыми монетами; но что ему золото?.. Вода то теплая, то прохладная; она каплет с его одежды, когда он взбирается на стену. «Где Марколина?» — спрашивает он в приемной громко, во весь голос, как вправе спросить только государь. «Я позову ее», — отвечает герцогиня-настоятельница и исчезает. Казанова ходит, летает, порхает у прутьев решетки, как летучая мышь. «Если бы я только знал раньше, что умею летать! Я научу Марколину летать!» За решеткой скользят женские фигуры. Монахини... но все в мирском платье. Он это знает, хотя совсем не видит их, и знает также, кто они. Вот Генриетта, незнакомка, и танцовщица Кортичелли, и Кристина, невеста, и красавица Дюбуа, и проклятая старуха из Золотурна, и Манон Баллетти... и сотни других, только Марколины нет среди них! «Ты меня обманул!» — кричит он гребцу, ожидающему внизу в гондоле; он чувствует к этому человеку такую ненависть, какой не испытывал ни к кому, и клянется утонченно ему отомстить. Но не глупо ли было искать Марколину в монастыре Мурано? Ведь она уехала к Вольтеру. Как хорошо, что он умеет летать, ему уже нечем уплатить за карету. И он уплывает прочь; но это теперь вовсе не так приятно, как ему казалось раньше; холодно, и становится все холоднее, его носит в открытом море, далеко от Мурано, далеко от Венеции — вокруг ни одного корабля, тяжелое, шитое золотом платье тянет его ко дну; он пытается освободиться, но это невозможно, потому что в руке у него рукопись, которую он хочет передать господину Вольтеру. Вода попадает ему в рот, в нос, его охватывает смертельный страх; он старается ухватиться за что-нибудь руками, храпит, вскрикивает и с трудом открывает глаза.

Сквозь узкую щель между занавесью и краем окна пробивался луч рассвета. Марколина в своем белом ночном платье, придерживая его обеими руками на груди, стояла в ногах кровати, устремив на Казанову взгляд, полный невыразимого отвращения, который сразу прогнал его сон. Невольно, точно с мольбой, он простер к ней руки. Марколина в ответ подняла левую руку, как бы его отталкивая, правой еще судорожнее сжимая на груди платье. Казанова слегка приподнялся, опираясь обеими руками о постель, и смотрел на Марколину. Он не мог отвести от нее глаз, так же как она

от него. В его взоре были ярость и стыд, в ее — стыд и ужас. И Казанова знал, каким она видит его, ибо видел себя как бы в воображаемом зеркале, как вчера у себя в комнате: желтое злое лицо, изборожденное глубокими морщинами, с тонкими губами, колючими глазами, вдобавок измученное излишествами минувшей ночи, предутренним кошмаром, сознанием ужасной действительности при пробуждении. И он прочел во взгляде Марколины совсем не то, что тысячу раз предпочел бы в нем прочесть: вор, развратник, негодяй; нет, он прочел в нем только одно слово, сразившее его большим позором, чем могли бы сразить любые оскорбления, — он прочел слово, из всех слов самое страшное... это был его окончательный приговор: «Старик!» Будь он в это мгновение в силах каким-нибудь волшебством себя уничтожить, он бы это сделал, чтобы только не быть вынужденным на глазах у Марколины выбираться из-под одеяла в своей наготе, которая должна была показаться ей отвратительнее, чем вид какого-нибудь мерзкого животного. Но она, постепенно приходя в себя и, по-видимому, чувствуя, что ему надо поскорее дать возможность совершить неизбежное, отвернулась лицом к стене, и он воспользовался этой минутой, чтобы встать с постели, поднять с пола плащ и закутаться в него. Он немедленно подобрал также и свою шпагу, и тут ему показалось, что он, по крайней мере, уже избежал худшего позора — быть смешным, и он подумал о том, как бы удачным словом, в которых никогда не испытывал недостатка, изобразить в другом свете все это, столь печальное для него, приключение и даже как-нибудь попытаться обратить его в благоприятную для себя сторону. В том, что Лоренци продал ее Казанове, у Марколины — если судить по положению вещей — сомнения быть не могло; но какую глубокую ненависть ни внушал ей сейчас этот презренный негодяй, Казанова чувствовал, что сам он, трусливый вор, был ей в тысячу раз ненавистнее. Быть может, его могло бы удовлетворить нечто другое: унижить Марколину пересыпанной намеками язвительно-бесстыдной речью; но и этот злобный замысел рухнул под взглядом Марколины, в котором выражение ужаса постепенно превратилось в выражение безмерной печали, словно Казанова не только надругался над жен-

ским достоинством Марколины, нет, — словно этой ночью было совершено преступление, которому нет имени и искупления: преступление хитрости против доверчивости, похоти против любви, старости против молодости. Казанова отвернулся под этим взглядом, который, причиняя ему величайшую муку, вновь оживил на мгновение все то, что было еще в нем доброго; ни разу больше не оглянувшись на Марколину, он подошел к окну, отдернул занавесь, открыл окно и решетку, окинул взглядом сад, еще спящий в предрассветных сумерках, и выпрыгнул наружу. Опасаясь, что в доме кто-нибудь уже проснулся и может заметить его, Казанова не пошел по лужайке, а углубился в темноту аллеи. Он вышел через калитку из сада и едва успел запереть ее за собой, как кто-то двинулся ему навстречу и преградил путь. Гребец... было первой его мыслью. Ибо теперь он вдруг понял, что гондольером его сновидения был не кто иной, как Лоренци. И вот Лоренци стоял перед ним. Его красный мундир с серебряными шнурами ярко горел при свете брезжущего утра. «Какая великолепная форма! — пронеслось в расстроенном и усталом мозгу Казановы. — На вид она новая. И за нее, конечно, не заплачено...» Эти трезвые размышления заставили его окончательно опомниться, и, отдав себе отчет в положении, он почувствовал радость. Приняв гордую позу, он крепче сжал под плащом рукоять шпаги и сказал самым любезным тоном:

— Не находите ли вы, синьор лейтенант Лоренци, что эта мысль явилась у вас несколько поздно?

— Нисколько, — возразил Лоренци, в эту минуту он был прекраснее всех виденных когда-нибудь Казановой людей, — ибо только один из нас уйдет отсюда живым.

— Вы слишком торопитесь, Лоренци, — сказал Казанова почти мягко. — Не отложить ли нам этого, по крайней мере, до Мантуи? Для меня будет честью доставить вас туда в своей карете. Она ждет у поворота. И не лучше ли было бы соблюсти правила... Именно в нашем случае.

— Это не требуется. Вы или я, Казанова, и незамедлительно. — Он обнажил шпагу. Казанова пожал плечами.

— Как вам угодно, Лоренци. Но мне хотелось бы напомнить вам, что я, к сожалению, принужден драться

в совершенно неподобающем платье. — Он распахнул плащ и стоял обнаженный, играя шпагой. Волна ненависти поднялась в глазах Лоренци.

— Я не воспользуюсь своим преимуществом, — сказал он и начал поспешно сбрасывать с себя одежду.

Казанова отвернулся и в ожидании опять закутался в плащ, ибо, несмотря на солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь утренний туман, ощущал резкую прохладу. На траве лежали длинные тени деревьев, росших кое-где на вершине холма. У Казановы мелькнула мысль — вдруг кто-нибудь пройдет мимо? Но тропинкой, которая шла вдоль стены к садовой калитке, пользовались только Оливо и его домочадцы. Казанове пришло в голову, что, быть может, это последние минуты его жизни, и он изумился своему полному спокойствию. Господину Вольтеру везет, подумал он мельком; но, в сущности, Вольтер был ему совершенно безразличен, и в этот час ему бы хотелось вызвать в своей душе более милые образы, чем противное птичье лицо старого писаки. Не странно ли, что по ту сторону ограды на вершинах деревьев не поют птицы? Должно быть, погода переменится. Но что ему до погоды? Лучше вспоминать Марколину, блаженство, которое он вкусил в ее объятиях и за которое теперь должен дорого заплатить. Дорого? Ничуть! Несколькими годами прозябания старика в нищете и унижении... Что оставалось ему еще совершить в жизни?.. Отравить синьора Брагадино? Стоит ли это труда? Ничто не стоит труда... Как редко растут деревья там наверху! Он начал их считать. Пять... семь... десять — неужели нет ничего поважнее, о чем следовало бы подумать?..

— Я готов, шевадье!

Казанова быстро обернулся. Перед ним стоял Лоренци, прекрасный в своей наготе, как молодой бог. Все низменное погасло в его лице, он казался одинаково готовым и убить и умереть. «Не бросить ли шпагу? — подумал Казанова. — Не обнять ли его?» Плащ соскользнул с его плеч, и, подобно Лоренци, он стоял нагой и тонкий. Лоренци, салютуя по правилам фехтовального искусства, опустил шпагу. Казанова ответил таким же салютом; еще мгновение — и клинки скрестились и на стали заиграл, сверкая, серебряный утренний свет. «Когда, — подумал Казанова, — стоял я в послед-

ний раз перед противником со шпагой в руке?» Но не мог припомнить ни одной из своих серьезных дуэлей, а только упражнения в фехтовании, которыми он еще десять лет назад часто занимался со своим камердинером Костой, мошенником, удравшим от него впоследствии со ста пятьюдесятью тысячами лир. «А все же он был превосходным фехтовальщиком; да и я несколько не разучился! У меня верная и легкая рука, и такой же острый глаз, как прежде. Молодость и старость — какая выдумка! — подумал он. — Не бог ли я? Не боги ли мы оба? Если бы кто-нибудь мог нас сейчас увидеть! Нашлись бы дамы, которые дорого бы дали, чтобы взглянуть на это». Сгибались лезвия, мелькали острия; каждый раз, при соприкосании клинков, в утреннем воздухе раздавался тихий певучий звон. Бой? Нет, турнир... Почему такое отчаяние во взоре, Марколина? Разве мы оба не достойны твоей любви? Он молод, но ведь я — Казанова!.. И тут Лоренци упал, пронзенный прямо в сердце. Шпага выпала из его руки, он, словно в изумлении, широко открыл глаза, приподнял еще раз голову, губы его болезненно искривились, голова поникла, ноздри затрепетали, раздался тихий хрип, и он умер. Казанова наклонился к нему, стал около него на колени, увидел несколько капель крови, сочившейся из раны, и поднес руку ко рту сраженного; дыхание жизни ее не коснулось. Холодная дрожь пробежала по телу Казановы. Он встал и накинул на себя плащ. Затем подошел опять к трупу и взглянул на тело юноши, в несравненной красоте распростертое на траве. В тишине послышался легкий шелест, это утренний ветерок пронесся в верхних деревьях по ту сторону садовой ограды. «Что делать? — спросил себя Казанова. — Позвать людей? Оливо? Амалию? Марколину? Зачем? Его уж не оживит никто!» Он размышлял с хладнокровной рассудительностью, которая всегда была ему свойственна в опаснейшие минуты жизни.

«Пока его найдут, может пройти несколько часов, пожалуй, до вечера, даже дольше. До тех пор я выиграю время, а это важнее всего». Он все еще держал в руке шпагу, увидел блеснувшую на ней кровь и обтер ее травой. У него явилась мысль одеть труп, но это заставило бы его потерять невозвратимые, драгоценные минуты. Слово принося мертвецу последнюю жертву,

он еще раз нагнулся и закрыл ему глаза. «Счастливец», — проговорил он про себя и, словно в мечтательном оцепенении, поцеловал убитого в лоб. Потом, быстро поднявшись, поспешно пошел вдоль стены, завернул за угол и спустился на дорогу. Карета стояла на перекрестке, там, где он ее оставил, кучер крепко спал на козлах. Казанова постарался не будить его, сел с необычайной осторожностью в карету и только тогда крикнул, толкнув его в спину:

— Эй! Поедем ли мы наконец?

Возница вздрогнул, осмотрелся вокруг, удивился, что стало уже совсем светло, ударил по лошадям, и карета покатила прочь. Казанова откинулся глубоко назад, завернутый в плащ, принадлежавший когда-то Лоренци. На деревенской улице они увидели только детей; все мужчины и женщины, по-видимому, были уже в поле, на работе. Когда деревня осталась позади, Казанова облегченно вздохнул, открыл чемодан, вынул свое платье и стал одеваться под плащом, не без опасения, как бы кучер, оглянувшись, не заметил странного поведения седока. Но ничего подобного не случилось. Казанове удалось без помехи одеться, спрятать в чемодан плащ Лоренци и накинуть свой. Он взглянул на небо, которое тем временем заволокли тучи. Казанова не чувствовал никакого утомления; наоборот, он был как-то особенно напряжен и бодр. Обдумав свое положение и взвесив его со всех сторон, он пришел к выводу, что, хотя оно и внушает некоторую тревогу, но не так уж опасно, как могло бы показаться более робким людям. Что в убийстве Лоренци могут сразу заподозрить его, конечно, вполне вероятно, но ни для кого не может быть сомнения, что это произошло в честном поединке, более того: Лоренци напал на него и принудил его к дуэли, а то, что он защищался, никто не может вменить ему в вину. Но почему он оставил его на траве, как мертвую собаку? Однако в этом тоже никто не вправе его упрекать: быстрое бегство было его законным правом, даже долгом. Лоренци поступил бы точно так же. Но не выдаст ли его Венеция? Тотчас же по приезде станет он под защиту своего покровителя, Брагадино. Но не сознается ли он тем самым в деянии, которое в конце концов могло бы остаться нераскрытым или быть приписанным другому? Есть ли вообще

против него какие-нибудь улики? Разве его не отозвали в Венецию? Кто вправе говорить, что это — бегство? Уж не возница ли, полночи прождавший его на дороге? Такие мысли кружились в голове Казановы. Вдруг ему послышался конский топот за спиной. «Уже?» — было его первой мыслью. Он высунул голову в окно кареты и посмотрел назад — дорога пуста. Они проезжали мимо какой-то усадьбы; это был отзвук топота их лошадей. Эта ошибка на некоторое время настолько его успокоила, точно для него навсегда миновала всякая опасность. Вот уже высятся башни Мантуи... «Скорее, скорее», — пробормотал про себя Казанова, совсем не желая, чтобы кучер слышал его. Но тот, приближаясь к цели, по собственному побуждению, стал погонять лошадей; вот они уже у ворот, через которые Казанова вместе с Оливо покинул город менее двух суток назад. Он назвал вознице гостиницу, где надо было остановиться; через несколько минут показалась вывеска с золотым львом, и Казанова выскочил из кареты. В дверях стояла хозяйка; свежая, со смеющимся лицом, она, казалось, была вполне расположена оказать Казанове такой прием, какой оказывают возлюбленному, когда с нетерпением ждут его возвращения после огорчительной отлучки, но он указал сердитым взглядом на кучера, как на докучливого свидетеля, а затем радушно предложил ему подкрепиться вволю едой и питьем.

— Вчера вечером для вас пришло письмо из Венеции, шевалье, — сказала хозяйка.

— Еще одно? — удивился Казанова и кинулся вверх по лестнице в свою комнату. Хозяйка последовала за ним. На столе лежало запечатанное письмо. Казанова вскрыл его в крайнем волнении.

«Неужели отмена?» — со страхом подумал он. Но когда он прочел письмо, лицо его просветлело. Там было всего несколько строк от Брагадино с приложением векселя на двести пятьдесят лир, дабы Казанове не пришлось отложить свой приезд хотя бы на один день, раз он принял такое решение. Казанова обратился к хозяйке и с притворно огорченным видом сообщил ей, что принужден, не медля ни часу, ехать дальше, не то ему грозит опасность потерять должность, которую выхлопотал ему в Венеции его друг Брагадино,

несмотря на то что ее добиваются еще сотни людей. Но, сразу добавил он, увидев грозные тучи на челе хозяйки, он хочет только обеспечить себе эту должность секретаря Венецианского Высшего Совета, получить на нее патент; затем, заняв ее и приобретя положение, он немедленно потребует отпуска для устройства своих дел в Мантуе, в чем ему, разумеется, не откажут; он ведь оставляет здесь большую часть своих пожитков... тогда, тогда только от его дорогой, от его восхитительной подруги будет зависеть, пожелает ли она передать свою гостиницу кому-нибудь другому и последовать за ним в Венецию, как его супруга... Она бросилась к нему на шею с затуманившимися глазами и спросила, можно ли, по крайней мере, принести ему перед отъездом плотный завтрак. Понимая ее намерение устроить на прощание пиршество, которое ничуть его не привлекало, он все же согласился, чтобы наконец от нее отделаться; как только она спустилась по лестнице, он сунул в сумку самое необходимое — немного белья и несколько книг, — направился в общую залу, где застал кучера за обильной трапезой, и спросил, согласен ли он выехать немедленно на тех же лошадях по направлению к Венеции и довести его до ближайшей почтовой станции за плату, вдвое против обычной. Кучер сразу согласился, и таким образом Казанова избавился от главной своей заботы. Вошла хозяйка, побагровевшая от ярости, и спросила его, не забыл ли он, что его ждет в комнате завтрак. Казанова самым непринужденным тоном ответил, что несколько этого не забыл и, так как у него нет времени, просит ее сходить в банк, на который выдан его вексель, — он ей тут же его передал, — и получить двести пятьдесят лир. Пока она бегала за деньгами, Казанова отправился к себе в комнату и с поистине звериной жадностью набросился на приготовленную еду. Продолжая есть и после появления хозяйки, он быстро сунул в карман принесенные деньги; покончив с завтраком, он повернулся к женщине, которая придвинулась к нему, считая, что наконец пришел ее час, и самым недвусмысленным образом раскрыла ему объятия, крепко ее обхватил, поцеловал в обе щеки, прижал к себе, а когда она была уже готова все ему позволить, вырвался от нее со словами: «Я должен ехать... до свидания!» — с такой силой, что она упала навзничь в угол

софы. Выражение ее лица — смесь разочарования, гнева и бессилия — было до того умиротворительным, что Казанова, закрывая за собой дверь, не в состоянии был удержаться и громко расхохотался.

От кучера не могло укрыться, что седок его очень спешит; размышлять о причинах такой торопливости он не был обязан; во всяком случае, когда Казанова вышел из дверей гостиницы, он сидел на козлах, готовый тронуться в путь, и сильно стегнул лошадей, как только тот сел в карету. Кучер счел также более разумным ехать не по главным улицам, а обогнуть их, чтобы выбраться опять на большую дорогу в противоположном конце города.

Солнце стояло еще не высоко, до полудня оставалось три часа. Казанова думал: «Вполне возможно, что мертвого Лоренци еще не нашли». Что Лоренци убил он, почти не доходило до его сознания; его лишь радовало, что расстояние, отделяющее его от Мантуи, непрерывно растет и что на некоторое время он наконец обретет покой... Он погрузился в самый глубокий в его жизни сон, который, можно сказать, продолжался два дня и две ночи; ибо краткие перерывы, которые поневоле вызывались необходимостью сменить лошадей, когда он сидел в залах постоялых дворов, прохаживался перед почтовыми станциями, обменивался ничем не значащими, случайными замечаниями с почтовыми смотрителями, трактирщиками, таможенными сторожами, путешественниками, — не удержались в его памяти, как отдельные события. И впоследствии воспоминание об этих двух днях и ночах слилось с приснившимся ему в постели Марколины сном, и поединок двух нагих противников на зеленом лугу при свете раннего утра как бы стал частью этого сна, в котором порою он каким-то загадочным образом был не Казановой, а Лоренци, не победителем, а сраженным, не беглецом, а умершим, чьим бледным юношеским телом одиноко играл утренний ветер; и оба они — и он сам, и Лоренци — были не более реальны, чем сенаторы в пурпурных мантиях, ползавшие перед ним, как нищие, на коленях, и не менее реальны, чем тот опиравшийся о перила моста старик, которому он в вечерних сумерках бросил из кареты милостыню. Если бы Казанова не умел отличать с помощью рассудка пережитое от при-

грезившегося, то мог бы вообразить, будто погрузился в объятиях Марколины в странный сон, от которого пробудился только при виде венецианской кампанилы.

На третье утро своего путешествия, из Местре, после двадцати лет тоски, Казанова впервые увидел колокольню: серое каменное строение, одиноко вырисовываясь во мгле, как бы поднялось перед ним из бесконечной дали. Но он знал, что теперь всего лишь два часа пути отделяют его от любимого города, где он когда-то был молод. Он расплатился с кучером, не помня, был ли то четвертый, или пятый, или шестой, с которым ему приходилось рассчитывать по выезде из Мантуи, и в сопровождении мальчика, тащившего его вещи, поспешил по убогим улицам в гавань, чтобы успеть на отправлявшееся к рынку судно, как и двадцать пять лет назад, отходившее в шесть часов утра в Венецию. Казалось, оно только его и ждало; едва он успел усесться на узкую скамейку между женщинами, которые везли в город свой товар, мелким торговым людом и ремесленниками, как оно отвалило; небо было пасмурное; над лагунами стоял туман; пахло затхлой водой, сырым деревом, рыбой и свежими плодами. Кампанила вздымалась все выше и выше, в воздухе вырисовывались и другие башни, виднелись церковные купола. Навстречу Казанове блеснул луч утреннего солнца, сначала с одной крыши, потом с другой, со многих; дома раздвигались, росли ввысь; из тумана выплывали большие и малые корабли, обменивались приветствиями; разговоры вокруг него стали громче; какая-то девочка предложила ему купить у нее виноград; он ел синие ягоды, выплевывая через борт кожицу, по примеру своих земляков, и вступил в разговор с каким-то человеком, который выразил радость по поводу того, что наконец, видимо, устанавливается хорошая погода. Как, здесь три дня шел дождь? Он этого не знал. Он приехал с юга — из Неаполя, из Рима... Судно плыло уже по каналам предместья, грязные дома глядели на Казанову своими мутными окнами, точно близорукими холодными глазами, два или три раза судно причаливало, на берег сходили какие-то молодые люди — один с большой папкой под мышкой, женщины с корзинами; теперь пошли более приветливые места. Не та ли это

церковь, куда ходила к исповеди Мартина? И не тот ли это дом, где Казанова на свой манер постарался вернуть румянец и здоровье бледной, смертельно больной Агате? А вот в том он, кажется, отколотил до синяков плута, брата прелестной Сильвии? А там в боковом канале — маленький желтоватый домик, на его омываемых водой ступенях стоит босиком толстая женщина... Но не успел Казанова решить, какое ему отнести сюда событие далеких дней его молодости, как судно вошло в Канале Гранде и медленно поплыло дальше по широкому водному пути между дворцами. Сон Казановы вызвал в нем такое чувство, будто он всего лишь днем раньше уже совершил этот же путь. У моста Риальто он вышел на сушу, ибо прежде чем отправиться к синьору Брагадино, он хотел оставить свой чемодан и снять комнату в находящейся неподалеку небольшой дешевой гостинице, местоположение которой он помнил, а название забыл. Дом показался ему более ветхим или, по крайней мере, более запущенным, чем он представлял себе по памяти; угрюмый небритый слуга отвел ему неприветливую комнату с свидом на глухую стену соседнего здания. Но Казанова не хотел терять времени; кроме того, его прельстила дешевая цена комнаты, так как в дороге он истратил почти все свои наличные деньги; поэтому он решил остановиться временно здесь, смыл с себя пыль и грязь, накопившуюся за долгий путь, секунду подумал, не надеть ли ему парадное платье, но счел все же более уместным остаться в прежнем, скромном и, наконец, вышел из гостиницы. До красивого небольшого дворца, где жил Брагадино, было всего сто шагов по узкому переулку и через мост. Казанова назвал себя молодому, довольно наглому слуге, который сделал вид, будто никогда не слышал его прославленного имени, но потом вышел из покоев своего господина с несколько более приветливым лицом и пригласил гостя в комнаты. Брагадино сидел за завтраком у стола, пододвинутого к открытому окну; он хотел встать, но Казанова этого не допустил.

— Дорогой Казанова! — воскликнул Брагадино. — Как я счастлив, что вижу вас вновь! Да, кто бы мог подумать, что мы с вами еще когда-нибудь свидимся?

И он протянул ему обе руки. Казанова схватил их, как будто собираясь поцеловать, но не сделал этого и ответил на сердечное приветствие словами горячей благодарности, не лишенными высокопарности, от которой не была свободна его речь при подобных обстоятельствах. Брагадино предложил ему сесть и прежде всего осведомился, завтракал ли он. Получив отрицательный ответ, Брагадино позвонил слуге и дал ему нужные распоряжения. Когда слуга вышел, Брагадино выразил свое удовлетворение по поводу решения Казановы безоговорочно принять предложение Высшего Совета: он не останется внакладе, потрудившись на пользу отечества. Казанова ответил, что он почтет за счастье, если Совет будет им доволен. Он говорил так, но думал совсем иное. Правда, он не чувствовал больше к Брагадино никакой ненависти, даже, скорее, был несколько растроган видом ставшего чудаковатым древнего старика с поредевшей белой бородой и воспаленными веками, сидевшего против него с чашкой, дрожавшей в худой руке. Когда он видел Брагадино в последний раз, ему могло быть столько лет, сколько Казанове сейчас; впрочем, Брагадино уже и тогда казался ему стариком.

Слуга подал завтрак, за который Казанова, не ставшая себя упрашивать, принялся с отменным аппетитом, так как в дороге лишь кое-как закусывал второпях. Да, день и ночь ехал он из Мантуи, так спешил он доказать Высшему Совету свое усердие и принести своему благородному покровителю неизмеримую благодарность. Он говорил это в оправдание почти неприличной жадности, с какой глотал дымящийся шоколад. В окно врывался тысячеголосый шум жизни, кипевшей на больших и малых каналах; однообразные выкрики гондольеров преобладали над всеми остальными звуками; где-то неподалеку, может быть, во дворце напротив, — не во дворце ли Фогаццари? — пел красивый высокий женский голос; по-видимому, он принадлежал совсем молодой женщине, ее даже не было еще на свете в те времена, когда Казанова бежал из свинцовых казематов. Казанова ел печенье, масло, яйца, холодное мясо и беспрестанно оправдывался в своей ненасытности перед Брагадино, смотревшим на него с довольным видом.

— Люблю,— воскликнул тот,— когда у молодых людей хороший аппетит! Насколько я помню, дорогой Казанова, отсутствием аппетита вы никогда не страдали! — И он вспомнил, как однажды, в первые дни их знакомства, обедал вместе с Казановой, вернее сказать, изумлялся, как и сегодня, своему молодому другу, ибо ему и тогда было до него далеко, это было ведь вскоре после того, как Казанова вышвырнул из дома врача, который вечными кровопусканиями едва не вогнал в гроб бедного Брагадино. Они заговорили о былых временах. Да, тогда жизнь была в Венеции лучше, чем теперь.

— Не везде,— сказал Казанова с тонкой усмешкой, намекая на свинцовые крыши.

Брагадино сделал движение рукой, как бы в знак того, что теперь не время вспоминать мелкие невзгоды. Впрочем, он и тогда пытался, к сожалению тщетно, спасти Казанову от кары. Да, если бы он уже тогда был членом Совета Десяти!..

Так разговор перешел на политику, и старик, воспламенившись своей темой, с остроумием и живостью своих молодых лет рассказал Казанове очень много интересного о нежелательном направлении умов части нынешней венецианской молодежи и об опасной крамоле, несомненные признаки которой замечаются в последнее время. И Казанова был совсем не плохо подготовлен, когда он вечером того же дня, который провел, запершись в своей мрачной гостиничной комнате и лишь для успокоения своей встревоженной души разбирая и отчасти сжигая бумаги, отправился в кафе Кадри, находившееся на площади святого Марка и слышшее главным местом встречи всех вольнодумцев и ниспровергателей основ. Старый музыкант, бывший некогда капельмейстером в театре Сан-Самуэле, том самом, где тридцать лет назад Казанова играл на скрипке, сразу узнал его и самым непринужденным образом ввел в кружок, состоявший преимущественно из молодых людей, чьи имена, как особенно подозрительные, остались у него в памяти после утренней беседы с Брагадино. Но его собственное имя, по-видимому, совсем не произвело на других того впечатления, которого он мог бы ожидать; большинство присутствующих, очевидно, не знало о Казанове ничего, кроме того, что

когда-то, давным-давно, он по какой-то причине, а может быть, и совсем безвинно, был заключен в свинцовую камеру, откуда бежал, подвергаясь многочисленным опасностям. Книжонка, в которой он много лет назад так живо описал свой побег, правда, была известна, но, по-видимому, никто не прочитал ее с должным вниманием. Казанову несколько забавляла мысль, что он может содействовать тому, чтобы каждый из этих молодых господ поскорее узнал по личному опыту, каковы условия жизни под свинцовыми крышами Венеции и насколько труден побег оттуда; но, не выдав ничем своей коварной мысли и не дав повода к тому, чтобы кто-нибудь мог о ней догадаться, он также и здесь сумел разыграть из себя безобидного и любезного человека и вскоре на свой манер занял общество рассказами о разных веселых случаях, приключившихся с ним по пути из Рима; эти истории, в общем довольно правдивые, все же были пятнадцати- или двадцатилетней давности. Его еще с увлечением слушали, как вдруг кто-то, вместе с другими новостями, принес весть о том, что какой-то мантуанский офицер убит поблизости от имения своего друга, где он гостил, и тело его ограблено разбойниками вплоть до рубашки. Так как подобные нападения и убийства в ту пору были нередки, этот случай не возбудил у присутствующих особого интереса, и Казанова продолжал свой рассказ с того самого места, на котором его прервали, точно это происшествие имело к нему так же мало отношения, как ко всем остальным; более того, освобождаясь от тревоги, в которой он сам себе вполне не признавался, Казанова стал рассказывать еще забавнее и смелее.

Полночь уже миновала, когда, быстро простившись со своими новыми знакомыми, Казанова, никем не сопровождаемый, вышел на широкую пустынную площадь; над нею тяжело нависло облачное беззвездное небо с беспокойно полыхающими зарницами. С уверенностью лунатика, даже не сознавая, что он совершает сейчас этот путь после перерыва в четверть века, Казанова глухими переулками, между темными стенами домов, через узкие мостики над черными каналами, которые тянулись к вечным водам, нашел дорогу в свою жалкую гостиницу, и ее ворота неохотно и негосте-

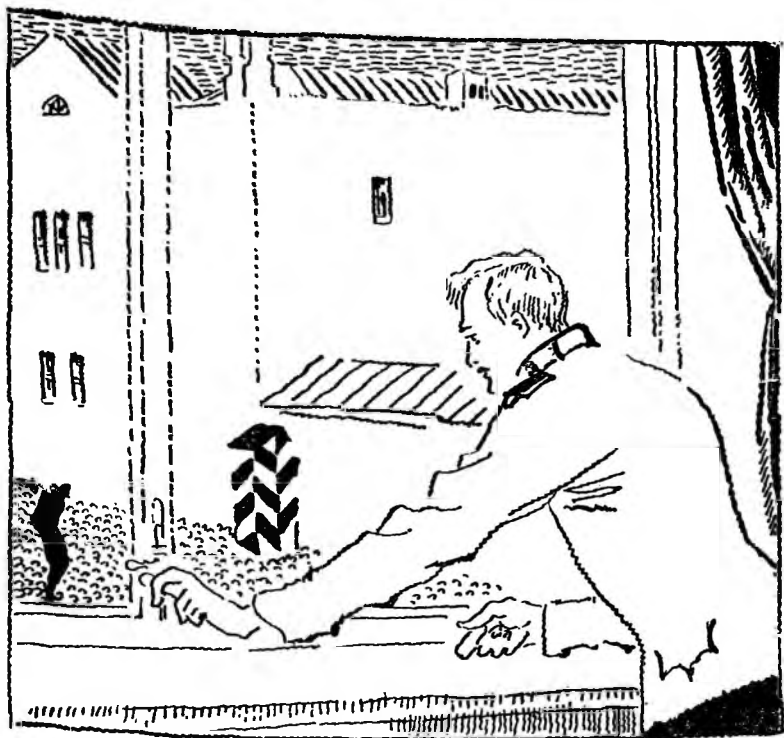
принимно открылись только после долгого стука. Через несколько минут, разбитый усталостью, сковывавшей его тело и не отпускавшей его, с привкусом горечи на губах, словно идущей из самой глубины души, он, полураздетый, бросился на жесткую кровать, чтобы после двадцати пяти лет изгнания уснуть столь долгожданным первым сном на родине, который под утро, тяжелый и без сновидений, сжалился наконец над старым авантюристом.

П Р И М Е Ч А Н И Е

Казанова действительно посетил Вольтера в Ферне, но все остальные происшествия, описанные в настоящей новелле, и, в частности то, что Казанова будто бы писал памфлет, направленный против Вольтера, не имеют ничего общего с исторической правдой. Далее, исторически верно, что в возрасте от пятидесяти и до шестидесяти лет Казанова был вынужден заниматься сыском в своем родном городе Венеции; о некоторых других событиях в жизни знаменитого искателя приключений, вскользь упоминаемых в новелле, можно найти более подробные и более верные сведения в его «Мемуарах». В остальном рассказ «Возвращение Казановы» представляет собой свободный вымысел.

А. Ш.

1918



ИГРА НА РАССВЕТЕ

I

— Господин лейтенант!.. Господин лейтенант!.. Господин лейтенант!

Лишь при третьем окрике молодой офицер зашевелился, потянулся и повернул голову к двери. Спросонья, не поднимаясь с подушек, он пробормотал:

— В чем дело?.. — Затем, очнувшись от сна, увидел в полумраке денщика, стоящего в дверях, и закричал: — Черт побери! Да что там случилось в такую рань?

— Господин лейтенант, во дворе дожидается один человек, он хочет говорить с господином лейтенантом.

— Какой там еще человек? В такой-то час? Я же велел не будить меня по воскресеньям!

Денщик подошел к кровати и протянул Вильгельму визитную карточку.

— Ты что, дурья голова, думаешь, я филин, что могу читать в темноте? Открой окно!

Но не успел лейтенант договорить, как Йозеф уже распахнул окно и поднял грязновато-белые шторы. Офицер, приподнявшись на подушках, прочитал имя, стоявшее на карточке, затем опустил ее на одеяло, рассмотрел еще раз, пригладил свои белокурые, коротко остриженные и растрепанные после сна волосы и стал быстро соображать: «Не принять? Невозможно! К тому же для этого нет никаких оснований. И разве принять человека значит встречаться с ним? Да и в отставку-то он вынужден был подать только из-за долгов. Другим просто больше повезло. Но что ему от меня нужно?» Он снова обратился к денщику:

— Как он выглядит, этот господин обер... господин фон Богнер?

Денщик, грустно улыбнувшись, ответил:

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, мундир был больше к лицу господину обер-лейтенанту.

Вильгельм помолчал секунду, затем сел на постели.

— Ну что ж, проси. И пусть господин... обер-лейтенант великодушно извинит, если я буду не совсем одет. И еще... Кто бы меня ни спрашивал, обер-лейтенант Гёхстер или лейтенант Венглер, господин капитан или кто-нибудь другой — меня дома нет, понятно?

Когда Йозеф закрыл за собой дверь, Вильгельм быстро натянул китель, причесался, подошел к окну и взглянул вниз на еще безлюдный казарменный двор. Он увидел, как его бывший товарищ в черном, надвинутом на глаза котелке, в распахнутом желтом пальто, в коричневых, немного пыльных штиблетах понуро расхаживал там, внизу, взад и вперед, и сердце у него сжалось. Он открыл окно и хотел было помахать ему и громко поздороваться, но в это мгновение к гостю подошел денщик, и Вильгельм заметил, каким боязливым волнением напряглось лицо его старого товарища в ожидании ответа. Но так как ответ был благоприятен,

лицо Богнера прояснилось, и он вместе с денщиком скрылся в воротах под окном, которое Вильгельм тотчас же закрыл, словно предстоящий разговор требовал особых предосторожностей. И для него сразу исчез аромат весны и леса, который в этот утренний воскресный час проник даже на казарменный двор, где всю неделю его не было и в помине.

«Что бы ни случилось... — подумал Вильгельм. — А что, собственно, может случиться?.. Сегодня я непременно поеду в Баден и пообедаю там в «Вене», если, конечно, меня, как в прошлый раз, не оставят обедать Кесснеры».

— Войдите! — Вильгельм с наигранной живостью протянул руку вошедшему. — Здравствуй, Богнер. Искренне рад тебя видеть. Почему ты не раздеваешься? Взгляни, здесь все, как и раньше. Больше комната не стала. Но «в каждой маленькой лачуге для влюбленных место есть».

Отто вежливо улыбнулся и, словно заметив смущение Вильгельма, решил помочь ему.

— Надеюсь, бывают случаи, когда эти слова больше подходят к твоей лачуге, чем в данную минуту, — сказал он.

Вильгельм рассмеялся громче, чем требовалось.

— К сожалению, не часто. Я живу как затворник. Смею тебя уверить, что за последние месяц-полтора по меньшей мере ни одна женщина не переступала этот порог. Платон — развратник в сравнении со мной. Но садись. — Он переложил одежду с кресла на кровать. — Могу тебе предложить чашечку кофе?

— Спасибо, Касда, не беспокойся. Я уже завтракал... Вот папиросу, если позволишь...

Отто полез в карман за портсигаром, но Вильгельм жестом остановил его и указал на курительный столик, где стоял открытый ящичек с папиросами. Вильгельм подал огня, Отто молча сделал несколько затяжек, и взгляд его упал на хорошо знакомую картину, висевшую на стене над черным кожаным диваном. На ней были изображены офицерские скачки стародавних времен.

— Ну, рассказывай, как поживаешь, — сказал Вильгельм. — Почему ты не даешь о себе знать? Ведь когда мы расстались... два-три года назад... ты обещал мне, что время от времени...

— Может быть, оно и лучше, — перебил его Отто, — что я не давал о себе знать, и уж наверняка было бы лучше, если бы я не пришел и сегодня. — И неожиданно для Вильгельма он пересел в угол дивана, на другом конце которого валялось несколько зачитанных до дыр книг. — Ты же понимаешь, Вилли, — он говорил быстро и в то же время отчетливо, — что мой сегодняшний визит в такой необычный час... я знаю, ты любишь поспать по воскресеньям... этот визит имеет определенную цель, иначе я бы, конечно, не позволил себе... Одним словом, я пришел к тебе, как к старому другу, — к сожалению, я не могу больше сказать — коллеге. Не бледней, Вилли, тебе ничто не грозит: речь идет всего лишь о нескольких гульденах, которые я должен раздобыть до завтрашнего утра; в противном случае мне остается лишь... — Он по-военному повысил голос: — Впрочем, разумнее всего было сделать это еще два года назад.

— Какие глупости! — возразил Вильгельм наигранно дружеским тоном.

Денщик принес завтрак и скрылся. Вилли разлил кофе. Он ощущал во рту горьковатый вкус, и ему было неприятно, что он не успел совершить утреннего туалета. Но не беда — по дороге на вокзал он завернет в душ. Все равно раньше полудня ему нечего делать в Бадене. Он ни с кем ни о чем не уславливался; и если он опоздает или даже совсем не приедет, этого никто и не заметит — ни господа в кафе Шопф, ни фрейлейн Кесснер; разве что ее мать, которая, впрочем, тоже весьма недурна.

— Чего же ты не пьешь? — спросил он у Отто, который даже не пригубил кофе. Тот быстро отхлебнул из чашки и тотчас же заговорил:

— Буду краток. Ты, верно, знаешь, что я вот уже три месяца служу кассиром в одной электротехнической фирме. Впрочем, откуда тебе это знать? Ты ведь даже не знаешь, что я женат и у меня есть сын. Ему уже почти четыре года. Он родился еще тогда, когда я был с вами. Но об этом никто не знал. Так вот, ты догадываешься, что все это время дела мои шли не слишком блестяще. Особенно этой зимой... Мальчик болел... Впрочем, не стоит вдаваться в подробности. Словом, иногда я был вынужден залезать в кассу. Я всегда

во-время возвращал деньги, но сейчас взял, к сожалению, немного больше, чем обычно, и... — он выждал, пока Вильгельм размешает ложечкой сахар, — и, на мое несчастье, в понедельник, то есть завтра, как я случайно узнал, приезжает с завода ревизия. Мы, понимаешь ли, филиал, и через мою кассу проходят лишь очень очень небольшие суммы. Должен я, в сущности, пустяки — девятьсот шестьдесят гульденов. Для ровного счета скажем — тысячу. И деньги должны быть в кассе завтра, до половины девятого утра, иначе... Словом... ты оказал бы мне истинно дружескую услугу, Вилли, если бы...

Дальше он говорить не мог. Вилли было немного стыдно за старого товарища — не потому, что тот совершил растрату, а потому, что бывший обер-лейтенант Отто фон Богнер, еще несколько лет тому назад жизнерадостный, ловкий, блестящий офицер, сидел сейчас, забившись в угол дивана, бледный, беспомощный, глотал слезы и не мог говорить.

Он положил ему на плечо руку.

— Брось, Отто, нельзя же так сразу падать духом.

В ответ на это не слишком обнадеживающее вступление гость впился в него унылым и слегка испуганным взглядом.

— Собственно говоря, — продолжал Вильгельм, — я сам сейчас на мели. Все мое состояние — сто гульденов с небольшим. Сто двадцать, если быть таким же точным, как и ты. Разумеется, все они до последнего крейцера в твоём распоряжении. Но если мы немного пораскинем мозгами, выход из положения обязательно найдется.

— Ты понимаешь, — прервал его Отто, — что все остальные... выходы уже испробованы. Не будем поэтому зря ломать голову, тем более что я пришел с определенным предложением.

Вильгельм тревожно уставился на него.

— Представь себе на минуту, Вилли, что ты сам очутился в таком же затруднительном положении. Как бы ты поступил?

— Не совсем понимаю тебя, — уклончиво заметил Вильгельм.

— Я знаю, конечно, ты никогда еще не запускал руку в чужую кассу — такое может случиться только на штатской службе. Да. Но все-таки предположи, что

по какой-либо... менее... криминальной причине срочно потребовалась определенная сумма. К кому бы ты обратился при таких обстоятельствах?

— Прости, Отто, я до сих пор еще не думал об этом и надеюсь... Не отрицаю, у меня тоже бывали долги: еще в прошлом месяце Гёхстер выручил меня пятьюдесятью гульденами... Разумеется, я их вернул ему первого числа — потому мне сейчас и трудно с деньгами. Но тысячу гульденов... тысячу... не представляю, где их достать.

— Правда? — переспросил Отто, пристально посмотрев на него.

— Конечно.

— А твой дядя?

— Какой дядя?

— Твой дядя Роберт.

— Как ты до этого додумался?

— Нетрудно догадаться: он много раз выручал тебя. К тому же ты регулярно получаешь от него пособие.

— С пособием давно покончено, — возразил Вилли, рассердившись на едва ли уместный в такой момент тон своего бывшего товарища. — И не только с пособием. Дядя Роберт ведет себя как-то странно. Во всяком случае, мы с ним не виделись уже больше года. В последний раз, когда я, в виде исключения, попросил у него ничтожную сумму, он чуть не вышвырнул меня за дверь.

— Вот как? — потер себе лоб Богнер. — Значит, ты уверен, что о нем нечего и думать?

— Надеюсь, ты в этом не сомневаешься, — несколько резко отозвался Вильгельм.

Внезапно Богнер вскочил с дивана, отодвинул стол и подошел к окну.

— Мы должны попытаться, — сказал он решительно. — Прости меня, но мы должны. Самое худшее, что может с тобой случиться, — это отказ и, вероятно, в не очень вежливой форме. Пусть так — и все же по сравнению с тем, что ожидает меня, если я до завтрашнего утра не достану этих паршивых гульденов, это просто мелкая неприятность.

— Может быть, — согласился Вильгельм, — но неприятность совершенно бесполезная. Будь у меня хоть малейший шанс... Надеюсь, ты не сомневаешься в моем желании помочь тебе? Но, черт побери, должны же

быть и другие возможности! Что ты скажешь, например, — только не сердись, это мне сейчас пришло в голову, — о своем кузене Гвидо, у которого имение около Амштеттена?

— Поверь, Вилли, — спокойно возразил Богнер, — что с ним тоже ничего не выйдет. Иначе меня бы не было здесь. Короче говоря, во всем мире нет человека...

Вдруг Вилли поднял палец, словно давая понять, что в голову ему пришла какая-то идея.

Богнер выжидательно посмотрел на него.

— Руди Гёхстер! Поговори-ка с ним. Несколько месяцев тому назад он как раз получил наследство — двадцать — двадцать пять тысяч гульденов. Должно же от них что-нибудь остаться.

Богнер нахмурил брови и несколько нерешительно сказал:

— Три недели назад, когда мне еще не было так худо, я написал Гёхстеру... Я просил много меньше, чем тысячу, но он мне даже не ответил. Итак, ты видишь, остается один-единственный выход: твой дядя. — И когда Вилли пожал плечами, Отто добавил: — Я же знаю его, Вилли: он такой милый, обаятельный старик. Мы с ним несколько раз были вместе в театре и в Ридхофе — он, конечно, этого не забыл! Ей-богу, не мог же он ни с того ни с сего так перемениться!

— Тем не менее, кажется, это так, — нетерпеливо прервал его Вилли. — Я тоже не понимаю, что с ним, собственно, случилось. Впрочем, в возрасте от пятидесяти до шестидесяти у людей нередко появляются странности. Короче говоря, вот уже больше года я не бываю у него в доме и не появляюсь там вновь ни при каких обстоятельствах. Это все, что я могу тебе сказать.

Богнер молча смотрел в пространство. Затем он поднял голову, окинул Вилли отсутствующим взглядом и сказал:

— Хорошо, извини меня и будь здоров.

С этими словами он взял шляпу и направился к выходу.

— Отто! — воскликнул Вилли. — У меня есть еще одна идея.

— Еще одна — это хорошо.

— Послушай, Богнер. Сегодня я как раз еду за город, в Баден. Там в кафе Шопф по воскресеньям

после обеда часто собирается небольшая компания: играют в очко, в баккара, во что придется. Я, конечно, принимаю в этом самое скромное участие или даже не играю вовсе. Ставил всего раза три-четыре по маленькой, а больше так, сижу для забавы. Заправляет там всем полковой врач Тугут; ему всегда чертовски везет; затем обычно бывают обер-лейтенант Виммер, Грейзинг из семьдесят седьмого... ты его не знаешь, он лечится там от какой-то застарелой болезни... и несколько штатских; местный адвокат, секретарь из театральной дирекции, какой-то актер и некий консул Шнабель, довольно пожилой господин. У него там интрижка с опереточной певичкой, вернее сказать, хористкой. Это постоянные игроки. Две недели назад Тугут за один присест сорвал банк ни больше, ни меньше как в три тысячи гульденов. Мы играли до шести утра на открытой веранде, птицы уже запели. Теми ста двадцатью гульденами, что у меня остались, я обязан исключительно моей выдержке, иначе бы меня раздели догола. Так вот, Отто: сотней из этих ста двадцати я сегодня рискну ради тебя. Я понимаю, шансы невелики, но Тугут прошлый раз сел играть всего с полсотней, а встал с тремя тысячами. Сверх того, вот уже несколько месяцев мне чертовски не везет в любви. Может быть, на пословицу можно скорее положиться, чем на людей.

Богнер молчал.

— Ну, как ты находишь мою идею? — спросил Вилли.

Богнер пожал плечами.

— Во всяком случае, я тебе очень благодарен. Конечно, я не отказываюсь... хотя...

— Я тебе, разумеется, не гарантирую успеха, — прервал его Вилли с нарочитой живостью, — но ведь и риск не велик. Если я выиграю, сколько — неважно, тебе достанется тысяча, по меньшей мере тысяча гульденов. А если я случайно сорву большой куш...

— Не обещай слишком много, — сказал Отто с грустной улыбкой. — Больше я тебя не буду задерживать. Теперь это уже не в моих интересах. А завтра утром я позволю себе... нет... Завтра утром я буду ждать тебя ровно в половине восьмого у Альзеркирхе. — И, горько усмехнувшись, добавил: — Мы ведь можем встретиться

и случайно. — Он отклонил протестующий жест Вилли и торопливо продолжал: — Во всяком случае, я тоже не собираюсь сидеть сложа руки. Семьдесят гульденов у меня еще есть. Я рискну ими сегодня днем на скачках, взяв, разумеется, билет за десять крейцеров. — Он быстро подошел к окну и глянул вниз на казарменный двор. — Какой чистый воздух! — сказал он, саркастически скривив губы, затем поднял воротник, пожал Вилли руку и вышел.

Вильгельм облегченно вздохнул, на мгновение задумался и поспешно начал одеваться. Состоянием своего мундира он остался не очень доволен. Если он сегодня выиграет, то, по крайней мере, закажет себе новый. Заезжать в душ было уже поздно, но на вокзал он, во всяком случае, поедет на извозчике: два гульдена сегодня не имеют ровным счетом никакого значения.

II

Когда Вильгельм в полдень вышел в Бадене из поезда, он был в весьма недурном настроении. На вокзале в Вене с ним очень любезно побеседовал подполковник Возицки — на службе очень неприятная личность, — а в купе с ним так живо кокетничали две девушки, что он почти обрадовался, когда они не вышли вместе с ним, — иначе весь его распорядок дня был бы нарушен. Но, даже пребывая в благодушном настроении, он не мог внутренне не упрекать своего бывшего товарища Богнера — не за то, конечно, что бедняга залез в кассу; это ввиду злополучного стечения обстоятельств было в известной мере простительно, — а за ту глупую историю с картами, которая три года назад разом прервала его карьеру. В конце концов офицер обязан уметь вовремя остановиться. Он сам, например, три недели назад, увидев, что ему подряд не везет, встал без всяких околичностей из-за карточного стола, хотя консул Шнабель любезно предоставил в его распоряжение свой кошелек. Вообще он всегда умел противостоять искушению и обходиться скудным жалованьем и ничтожным пособием, которое он получал сперва от отца, подполковника, служившего в Темшваре, а после его смерти — от дяди Роберта. С тех

пор же как это пособие перестало поступать, он сумел соответственно перестроить свой бюджет: стал реже ходить в кафе, отказался от новых костюмов, начал экономить на папиросах, а на женщин больше вообще не тратил деньги. Маленькую, но многообещающую интрижку, завязанную три месяца назад, тоже пришлось оставить: как-то вечером Вилли оказался буквально не в состоянии заплатить за ужин на две персоны.

«Собственно говоря, все это очень грустно», — думал он. Никогда еще свою стесненность в средствах он не ощущал так остро, как сегодня — в этот прекрасный весенний день, когда в мундире, к сожалению, далеко не с иголки, в суконных залоснившихся на коленях брюках и в фуражке с тульей, значительно более низкой, чем требовала последняя офицерская мода, он шел по благоухающим аллеям парка к даче, которую сняли на лето Кесснеры. Возможно даже, это была их собственная вилла. Сегодня Вилли впервые было стыдно сознавать, что он ждет приглашения к обеду или, вернее, надеется на него.

Тем не менее он все же был рад, когда эта надежда осуществилась, и не столько из-за того, что у Кесснеров вкусно готовят и подают чудесные вина, сколько из-за фрейлейн Эмилии, которая, как обычно, сидела справа от него и была весьма приятной соседкой — она приветливо поглядывала на Вилли и то и дело доверчиво дотрагивалась до него; впрочем, прикосновения ее казались совершенно случайными. Лейтенант был не единственным гостем. За столом сидел еще молодой адвокат, которого хозяин дома привез с собой из Вены и который умел вести беседу весело, легко, иногда чуть-чуть иронически. Хозяин был с Вилли вежлив, но несколько холоден: его, как видно, не приводили в особый восторг воскресные визиты господина лейтенанта, который был представлен его жене и дочери на прошлой масленице и, пожалуй, слишком буквально воспринял приглашение заходить при случае на чашку чая. Все еще хорошенькая хозяйка дома, казалось, тоже совсем забыла, как две недели тому назад на отдаленной садовой скамейке она выскользнула из неожиданно смелых объятий лейтенанта лишь тогда, когда песок зашуршал под чьими-то приближающимися шагами. Сначала за столом в не совсем понятных для лейте-

нанта выражениях говорили о процессе, на котором адвокат должен был представлять интересы хозяина дома и его фабрики. Затем разговор зашел о летнем отдыхе и путешествиях, и тут уже Вилли получил возможность принять в нем участие. Два года назад он был на имперских маневрах в Доломитах, и ему было что порассказать о ночевках под открытым небом, о двух чернокудрых дочках хозяина гостиницы в Кастельруте, которых за их неприступность прозвали двумя медузами, и о фельдмаршал-лейтенанте, который однажды из-за неудачной кавалерийской атаки буквально на глазах у Вилли впал в немилость. Как это всегда бывало с ним после третьего или четвертого бокала вина, он становился все непринужденней, веселей и даже остроумнее. Вилли чувствовал, как постепенно завоевывает внимание хозяина дома, как все менее ироническим становится голос адвоката, как в хозяйке начинают пробуждаться некоторые воспоминания, а выразительное прикосновение колена Эмилии к его колену уже не кажется больше случайным.

Когда подали кофе, появилась еще одна солидная пожилая дама с двумя дочерьми, которым Вилли был представлен как «наш партнер по балу в промышленном клубе». Вскоре выяснилось, что три новоприбывшие дамы года два назад тоже были в Южном Тироле. Уж не господин ли лейтенант в одно прекрасное летнее утро промчался мимо их отеля в Зайсе на вороном коне? Вилли не стал этого отрицать, хотя совершенно точно знал, что он, скромный лейтенант девяносто восьмого пехотного полка, никак уж не мог скакать на гордом коне ни по Тиролю, ни где бы то ни было.

Обе молодые дамы были в прелестных белых платьях; фрейлейн Кесснер — в светло-розовом. Она подхватила их под руки, и они втроем весело побежали по лужайке.

— Три грации, не правда ли? — заметил адвокат.

В голосе его зазвучала ирония, и у лейтенанта уже вертелось на языке: «Что вы хотите этим сказать, господин доктор?» — но он промолчал, тем более что фрейлейн Эмилия оглянулась и весело помахала ему с лужайки.

Она была белокура, немного выше его ростом и, как нетрудно было догадаться, могла рассчитывать на поря-

дочное приданое. Но до этого было еще далеко, — если вообще отважиться мечтать об этаких возможностях, — далеко, очень далеко, а тысячу гульденов для попавшего в беду товарища нужно раздобыть не позже завтрашнего утра.

Таким образом, ради бывшего обер-лейтенанта Богнера Вилли пришлось отклоняться как раз в то самое время, когда беседа была в полном разгаре. Все сделали вид, будто хотят его задержать; он высказал сожаление, что не может остаться, — к несчастью, он занят: обещал навестить в гарнизонном госпитале товарища, который лечится здесь от застарелого ревматизма. Адвокат опять иронически усмехнулся. Неужели этот визит отнимет у лейтенанта все остальное время до ночи, многообещающе улыбаясь, осведомилась фрау Кесснер. Вилли неопределенно пожал плечами. Ну, во всяком случае, им будет очень приятно увидеть его еще и вечером, если ему удастся освободиться.

Когда он выходил, к даче подъехали на извозчике два элегантных молодых человека, и Вилли это было неприятно. Мало ли что может произойти в этом доме, пока он вынужден зарабатывать в кафе тысячу гульденов для сбившегося с пути Богнера! Может быть, гораздо умнее вовсе не ввязываться в это дело и примерно через полчаса, — этого достаточно, чтобы якобы навестить больного, возвратиться к трем грациям в прекрасный сад Кесснеров? Тем более, подумал он самодовольно, что его шансы на карточный выигрыш за это время сильно понизились.

III

С афишной тумбы на него уставился большой желтый плакат — объявление о скачках, и ему пришло в голову, что как раз в эту минуту Богнер уже находится во Фрейденау на скачках и, может быть, самолично выигрывает там спасительную сумму. Ну, а вдруг Богнер умолчит о своей удаче, чтобы обеспечить себе еще тысячу гульденов, которую Вилли тем временем выиграет у консула Шнабеля или полкового врача Тугута? Ведь если он уж пал так низко, что залез в чужую кассу... А вдруг через несколько месяцев или даже недель Бог-

нер снова окажется в таком же положении, как сегодня? Что тогда?

До него донеслись звуки музыки. Это была какая-то полузабытая итальянская увертюра, одна из тех, которые обычно исполняются лишь курортными оркестрами. Но Вилли хорошо знал ее. Много лет назад, еще в Темешваре, он слышал, как его мать играла ее в четыре руки с кем-то из дальних родственников. Сам он так и не преуспел в музыке настолько, чтобы стать для матери партнером, а когда восемь лет назад она умерла, то прекратились и уроки музыки, которые раньше он брал на каникулах, приезжая домой из кадетского корпуса. Звуки тихо и как-то трогательно разносились в трепещущем весеннем воздухе.

Он перешел по миниатюрному мостику через мутный Швехат и, сделав еще несколько шагов, очутился перед просторной, по-воскресному переполненной террасой кафе Шопф. У самого барьера за маленьким столиком сидел лейтенант Грейзинг, вечно больной и язвительный, рядом с ним — Вайс, толстый секретарь дирекции театра, в плохо отутюженном фланелевом костюме канареечного цвета, с неизменным цветком в петлице. Лавируя между столиками и стульями, Вилли не без труда протиснулся к ним.

— Немного же нас сегодня, — сказал он, протягивая им руку, и с облегчением подумал, что игра, возможно, не состоится.

Но Грейзинг растолковал ему, что они оба, он и секретарь, потому и сидят здесь на воздухе, что хотят набраться сил для «работы». А остальные уже внутри, за картонным столом; господин консул Шнабель тоже — он, как обычно, приехал из Вены в фиакре.

Вилли заказал себе холодный лимонад. Грейзинг спросил его, где это он так разгорячился, что ему уже понадобились прохладительные напитки, и тут же, безо всякого перехода, заметил, что баденские девушки вообще очень хороши собой и весьма темпераментны. После этого он, не особенно стесняясь в выражениях, рассказал о маленьком приключении, которое вчера вечером произошло с ним в курортном парке и в ту же ночь завершилось желанным успехом. Вилли медленно и молча потягивал свой лимонад, и Грейзинг, угадав,

о чем думает собеседник, сказал, словно в ответ, с коротким смешком:

— Так уж ведется на свете, что там ни говори!

Внезапно перед ними вырос обер-лейтенант Виммер фон Трайн, которого люди непосвященные часто принимали за кавалериста.

— Что же вы это, господа, уж не думаете ли, что мы будем одни сражаться с консулом?

И он протянул руку Вилли, который, по обыкновению, вытянулся и отдал честь старшему в чине товарищу, хотя они были сейчас и вне службы.

— Ну, как там? — спросил Грейзинг подозрительно и сердито.

— Потихоньку, потихоньку, — ответил Виммер. — Консул сидит над своими деньгами, как дракон, и над моими, к сожалению, тоже. И так, смелее в бой, господа тореадоры.

Все встали.

— Я сегодня приглашен в гости, — заметил Вилли, с наигранным равнодушием закуривая папиросу. — Я лишь понаблюдаю за игрой минут пятнадцать.

— Ха-ха-ха, — засмеялся Виммер. — Дорога в ад вымощена благими намерениями.

— А в рай — дурными, — вставил секретарь Вайс.

— Хорошо сказано! — одобрил Виммер, хлопнув его по плечу.

Они вошли в кафе. Вилли бросил еще один взгляд назад, на улицу, на крыши домов, на холмы за ними, и поклялся себе, что не позже, чем через полчаса, будет сидеть в саду у Кесснеров.

Вместе с другими он углубился в полуосвещенный угол зала, где ничто не напоминало о том, что на улице яркий весенний день. Он отодвинул подальше кресло, ясно давая понять, что ни в коем случае не намерен принимать участия в игре. Консул, худощавый господин неопределенного возраста с подстриженными на английский манер усиками и рыжеватой, уже седеющей шевелюрой, одетый в изящный светло-серый костюм, с присущей ему обстоятельностью, медленно открыл карту, которую сдал ему банкومت доктор Флегман. Он выиграл, и доктор Флегман достал из бумажника несколько новых ассигнаций.

— И глазом не моргнув! — с ироническим почтением бросил Виммер.

— А моргание в таких делах мало помогает, — холодно ответил Флегман, полузакрыв глаза.

Полковой врач Тугут, начальник отделения в баденском гарнизонном госпитале, поставил в банк двести гульденов.

«Игра сегодня действительно не про меня», — подумал Вилли и отодвинул кресло еще дальше.

Актер Эльриф, молодой человек из хорошей семьи, более известный своею ограниченностью, чем талантом, показал Вилли свои карты. Он делал маленькие ставки и беспомощно покачивал головой, когда проигрывал. Тугут вскоре удвоил банк. Секретарь Вайс занял деньги у Эльрифа, а доктор Флегман достал новые ассигнации из бумажника. Тугут хотел было выйти из игры, но консул, не считая денег, бросил: «Ва-банк!» — и проиграл. Одним движением он выхватил из кармана триста гульденов — сумму проигрыша, швырнул их на стол и объявил:

— Еще раз ва-банк!

Полковой врач вышел из игры, доктор Флегман взял банк на себя и роздал карты. Вилли в игру не вступал. Лишь шутки ради, поддавшись на уговоры Эльрифа, он поставил «ему на счастье» один гульден на его карту — и выиграл. При следующей сдаче доктор Флегман бросил ему карту, и он не отказался. Он снова выиграл, проиграл, придвинул свое кресло поближе к столу — остальные с готовностью освободили ему место. И он выигрывал... проигрывал... выигрывал... проигрывал, словно судьба все еще не решалась назначить ему определенную участь. Секретарь ушел в театр, забыв вернуть долг господину Эльрифу, хотя уже давно с лихвой его отыграл. Вилли был в небольшом выигрыше, но до тысячи гульденов все еще не хватало около девятисот пятидесяти.

— Ничего не получается, — недовольно проворчал Грейзинг.

Теперь банк снова держал консул, и все почувствовали, что наконец начинается серьезная игра.

О консуле Шнабеле было известно лишь, что он был консулом какой-то небольшой южноамерикан-

ской республики и крупным коммерсантом. В офицерское общество его ввел секретарь Вайс, а знакомство их началось с того, что консул устроил ангажемент одной маленькой актрисе, которая тотчас же после вступления в труппу сошлась с господином Эльрифом. Многие были бы не прочь по старому доброму обычаю посмеяться над обманутым любовником, но когда он недавно, с сигарой в зубах, сдавая карты и не поднимая глаз, прямо спросил Эльрифа: «Ну, как там поживает наша общая приятельница?» — всем стало ясно, что с этим человеком шутки плохи. Это впечатление еще более укрепилось, когда однажды поздно ночью лейтенант Грейзинг между двумя рюмками коньяку отпустил язвительный намек насчет таинственных доходов консула, и консул с вызывающим видом ответил ему: «Зачем вы дразните меня, господин лейтенант? Вам следовало бы предварительно убедиться, насколько я дуэляспособен».

Ответом на его слова была настроженная тишина. Все, словно по тайному соглашению, постарались забыть этот инцидент и, не сговариваясь, но единодушно, решили вести себя по отношению к консулу осторожней.

Консул проиграл и, вопреки обычаю, тут же заложил новый банк, опять проиграл и опять стал держать следующий, третий по счету банк. Остальные не возражали, потому что выигрывали, и Вилли больше всех. Свой первоначальный капитал, сто двадцать гульденов, он спрятал, решив ни в коем случае ими больше не рисковать. Затем он сам заложил банк, вскоре удвоил его, снял, и в дальнейшем счастье уже почти не изменяло ему и при других, часто менявшихся банкометах. Сумма в тысячу гульденов, которую он должен был выиграть для другого, уже была превышена на несколько сотен, и когда господин Эльриф поднялся, чтобы идти в театр исполнять роль, о которой он в ответ на иронические вопросы Грейзинга так и не мог ничего рассказать, Вилли воспользовался случаем и тоже распрощался. Остальные же тотчас углубились в игру; и когда, в дверях, Вилли еще раз оглянулся, он увидел, что взгляд одного только консула, холодный и быстрый, следит за ним поверх карт.

Лишь очутившись снова на улице и подставив лицо мягкому вечернему ветерку, Вилли осознал свою удачу, вернее, тут же поправил он себя, удачу Богнера. Но и на его долю от выигрыша оставалось столько, что он мог, как и мечтал, заказать себе новый мундир, новую фуражку и новую португую. Да и на несколько ужинов в приятном обществе, которое теперь ему нетрудно будет найти, у него кое-что останется. Но и без этого, с каким удовольствием, завтра утром, в половине восьмого, у Альзеркирхе, он вручит старому товарищу спасительную сумму — тысячу гульденов, тот пресловутый хрустящий кредитный билет в тысячу гульденов, о котором он до сих пор только читал в книгах и который сейчас покоился у него в бумажнике вместе с несколькими другими ассигнациями.

«Вот возьми, милый Богнер. Я выиграл ровно тысячу. Точнее — тысячу сто пятьдесят пять. Затем я вышел из игры. Вот самообладание, а? И надеюсь, милый Богнер, что отныне ты...» Нет, нет, он не станет читать мораль бывшему товарищу. Тот сам извлечет урок из случившегося и, наверно, окажется настолько тактичен, что не использует этот столь благополучно закончившийся для него инцидент для возобновления в дальнейшем приятельских отношений. Впрочем, быть может, будет осторожнее или даже правильнее послать с деньгами к Альзеркирхе денщика.

По дороге к Кесснерам Вилли спрашивал себя, оставят ли его там и ужинать. К счастью, теперь ему это было безразлично! Теперь он был и сам достаточно богат, чтобы пригласить на ужин все общество. Жаль только, сейчас нигде не купишь цветов. Впрочем, кондитерская, мимо которой он проходил, была открыта. Он купил коробку конфет, затем, уже выходя, вернулся и купил вторую, побольше, и начал обдумывать, какую из них поднести матери и какую дочери.

Когда он вошел в сад к Кесснерам, горничная доложила ему, что господа и все общество отправились в Гелененталь, по-видимому, в «Крайнерхютте». Там они, наверно, и поужинают, как всегда по воскресеньям.

Лицо Вилли изобразило легкое разочарование, а горничная усмехнулась при виде двух коробок, которые лейтенант держал в руках. В самом деле, что с ними делать?

— Что ж, передайте им, пожалуйста, поклон и... вот что... — Он протянул коробки горничной. — Большую для фрау Кесснер, другую для фрейлейн. Очень сожалею, что их не застал.

— Может быть, если господин лейтенант поедет туда на извозчике... сейчас господа наверняка еще в «Крайнерхютте».

Вилли важно и задумчиво взглянул на часы.

— Посмотрю, — бросил он небрежно, с шутивно преувеличенной вежливостью отдал горничной честь и ушел.

И вот он стоял один, в вечерующем переулке. Мимо него прошла небольшая веселая компания туристов, мужчин и женщин в запыленной обуви. Перед одной из дач в соломенном кресле сидел старик и читал газету. Чуть поодаль на балконе второго этажа сидела пожилая дама, она вязала и переговаривалась с другой, что стояла у распахнутого окна в доме напротив, опершись скрещенными руками о подоконник.

Вилли подумалось, что эти несколько человек — единственные жители Бадена, которые в этот час не уехали никуда за город. Кесснеры могли бы все же передать ему с горничной хоть несколько слов. Ладно, он не станет им навязываться. В сущности, ему это и ни к чему. Но что же делать? Не возвратиться ли в Вену? Может быть, это самое благоразумное! А что, если предоставить решение судьбе?

Перед курзалом стояли две извозчицы пролетки.

— Сколько возьмете до Гелененталя?

Один извозчик был занят, другой заломил несусветную цену, и Вилли решил просто погулять по парку.

В этот вечерний час здесь еще было довольно много народу. Супружеские и влюбленные пары, — Вилли казалось, что он безошибочно отличает одних от других, — девушки и молодые женщины, поодиночке, по двое, по трое, прогуливались мимо него, и он то и дело ловил их смеющиеся, обнадеживающие взгляды. Но в таких случаях никогда не знаешь, не идет ли сзади отец, брат

или жених, а ведь офицер обязан быть вдвойне — нет, втройне осторожен. Вилли немного прошелся вслед за изящной темноглазой женщиной, которая вела за руку мальчика. Она поднялась по ступеням на веранду курзала и, казалось, начала кого-то искать глазами. Сначала попытки ее были безуспешны, но потом ей оживленно замахали с отдаленного столика, и она, насмешливо оглядев Вилли, уселась там посреди довольно многочисленного общества. Вилли тоже сделал вид, что кого-то ищет, перешел с веранды в еще довольно пустой ресторан, спустился оттуда в вестибюль и заглянул затем в ярко освещенный читальный зал, где за длинным зеленым столом одиноко сидел какой-то отставной генерал в мундире. Вилли щелкнул каблуками и отдал честь, генерал раздраженно кивнул, и Вилли быстро вышел. На улице, перед курзалом, все еще стоял один из фиакров, и кучер сам услужливо предложил за небольшую сумму отвезти господина лейтенанта в Геленталь.

— Нет, теперь уже не стоит, — ответил Вилли и быстрыми шагами направился в кафе Шопф.

V

Игроки сидели на тех же местах и в тех же позах, словно после ухода Вилли не прошло еще и минуты. Из-под зеленого абажура струился бледный электрический свет. Консул первый заметил появление Вилли и, как тому показалось, насмешливо улыбнулся. Никто не выразил ни малейшего удивления, когда Вилли снова придвинул к столу свое незанятое кресло. Доктор Флегман, державший банк, сдал ему карту, словно иначе и быть не могло. В спешке Вилли поставил более крупную ассигнацию, чем собирался, выиграл, затем осторожно сделал следующую ставку. Счастье, однако, отвернулось от него, и вскоре настал момент, когда банкноту в тысячу гульденов начала угрожать серьезная опасность. «Ну и пусть, — подумал Вилли, — все равно он не мой». Но тут он выиграл снова, так что кредитный билет остался неразменным, счастье вновь улыбнулось ему, и к девяти часам, когда игра закончилась, Вилли принадлежало уже больше двух ты-

ся гильденов. «Тысячу — Богнеру, тысячу — мне, — решил он. — Половину своей доли я отложу на игру в следующее воскресенье». Однако он не чувствовал себя таким счастливым, каким, казалось, должен был быть.

Ужинать все отправились в «Город Вену», где уеслись в саду под развесистым дубом и завели разговор об азартных играх, в частности, о шумевших битвах за карточным столом и огромных ставках в «Жокей-клубе».

— Все-таки игра порок и всегда останется пороком, — совершенно серьезно объявил доктор Флегман, Все рассмеялись, но обер-лейтенанта Виммера это замечание задело за живое.

— То, что считается пороком у адвокатов, отнюдь не является таковым для офицеров, — возразил он.

Доктор Флегман вежливо разъяснил, что порок не мешает быть порядочным человеком, что подтверждают многочисленные примеры: взять хотя бы Дон-Жуана или герцога Ришелье. Консул заметил, что игра — порок лишь тогда, когда человек не в состоянии уплатить свои карточные долги. Но в таком случае это, собственно, уже не порок, а просто надувательство, к тому же самое подлое. Все замолчали. К счастью, в этот момент появился господин Эльриф, с цветком в петлице и с победоносно сияющими глазами.

— Вы уже здесь? А как же овации? — спросил Грейзинг.

— В четвертом акте я не занят, — ответил актер и небрежно снял перчатки жестом, каким он, видимо, намеревался надеть какого-нибудь виконта или маркиза в одной из следующих премьер. Грейзинг закурил сигару.

— Лучше бы тебе не курить, — сказал Тугут.

— Но, господин полковой врач, у меня же горло совсем прошло, — возразил Грейзинг.

Консул заказал несколько бутылок венгерского. Их распили за здоровье каждого из присутствующих. Вилли взглянул на часы.

— К сожалению, я должен откланяться. В десять сорок уходит последний поезд.

— Допивайте спокойно, — сказал консул. — Мой экипаж доставит вас на вокзал.

— О, господин консул, — я не смею...

— Смеешь, — прервал его обер-лейтенант Виммер.

— Ну что? — спросил полковой врач Тугут. — Побалуемся сегодня еще немного?

Никто не сомневался в том, что после ужина игра возобновится. Так повторялось каждое воскресенье.

— Только не долго, — сказал консул.

«Хорошо им», — подумал Вилли и позавидовал: сейчас они снова усядутся за карточный стол, будут испытывать счастье и, может, выигрывать тысячи. Актер Эльриф, которому вино немедленно ударило в голову, с несколько глупым и нахальным выражением лица передал консулу привет от фрейлейн Ригошек — так звали их общую приятельницу.

— А почему вы не привезли фрейлейн с собой, господин комедиант? — спросил Грейзинг.

— Она зайдет в кафе чуть попозже, посмотреть на игру, если господин консул не возражает, — ответил Эльриф.

Консул и бровью не повел.

Вилли допил вино и встал.

— До следующего воскресенья, — сказал Виммер. — Тогда мы малость вытряхнем тебе карманы.

«Не обольщайтесь! — подумал Вилли. — Если играть осторожно, можно вообще ничего не потерять».

— Будьте любезны, господин лейтенант, скажите кучеру, чтобы с вокзала он снова ехал к кафе, — попросил консул и, обращаясь к остальным, добавил: — Сегодня мы не будем, господа, засиживаться до темноты, вернее, до рассвета, как в прошлый раз.

Вилли еще раз попрощался со всеми и направился к выходу. Каково же было его радостное удивление, когда за одним из соседних столиков он увидел семейство Кесснеров и их гостью с двумя ее дочками. Ни иронического адвоката, ни элегантных молодых людей, подъехавших к даче на извозчике, с ними не было. Его любезно окликнули, он остановился около столика, был весел, непринужден. Еще бы! Он блестящий молодой офицер с приятной наружностью и видами на будущее, к тому же он выпил крепкого венгерского вина и соперников у него сейчас нет. Ему предложили сесть, он поблагодарил, но отказался, небрежно указав на выход, перед которым его ждал фиакр. Тем не менее его забросали вопросами: кто этот кра-

сивый молодой человек в штатском? Ах, актер? Эльриф? Не слышали. Здесь довольно убогий театр — там можно смотреть разве что оперетты, заявила фрау Кесснер. И, многообещающе взглянув на Вилли, предложила: когда господин лейтенант придет в следующий раз, он, может быть, сходит в театр вместе с ними.

— Это было бы чудесно! Мы бы взяли две смежные ложи! — воскликнула фрейлейн Кесснер и улыбнулась господину Эльрифу, который, весь засияв, улыбнулся в ответ.

Вилли поцеловал дамам руки, еще раз откозырял офицерам, сидевшим за столом, и минуту спустя уже устраивался в фиакре консула.

— Живо! — бросил он кучеру. — Получите хорошие чаевые.

В равнодушии, с которым кучер воспринял это обещание, Вилли усмотрел обидную непочтительность. Тем не менее лошади бежали резво, и через пять минут он уже был на вокзале. Но в тот же самый момент поезд, прибывший на минуту раньше, стошел от станции. Вилли выскочил из экипажа, увидел, как освещенные вагоны медленно и тяжело прогрохотали по виадуку, услышал свисток паровоза, растаявший в ночном воздухе, и покачал головой, сам не зная, разозлен он или обрадован. Кучер равнодушно сидел на козлах, поглаживая кнутовищем одну из лошадей.

— Ничего не поделаешь! — промолвил наконец Вилли и scomандовал кучеру: — Ну что ж, едем назад в кафе Шопф.

VI

Мчаться в фиакре по улицам было очень приятно, но еще приятнее будет как-нибудь теплым летним вечером прокатиться с какой-либо милой особой за город — в Родаун или в Ротен Штадль и поужинать там на свежем воздухе. Ах, какое блаженство не дрожать над каждым гульденом, а тратить, не задумываясь! «Осторожно, Вилли, осторожно!» — сказал себе лейтенант и твердо решил ни в коем случае не рисковать больше, чем половиной выигрыша. Кроме того, он испробует систему Флегмана: начнет с ничтожной ставки,

не будет увеличивать ее до первого выигрыша, но и тогда пустит в игру не всю сумму, а лишь три четверти — и так далее. Доктор Флегман всегда начинал по этой системе, но у него не хватало выдержки следовать ей до конца. Поэтому он, естественно, и не добивался успеха.

Подъехав к кафе, Вилли еще на ходу выпрыгнул из экипажа и щедро дал кучеру на чай: найми он экипаж — и поездка не обошлась бы ему дороже. Кучер поблагодарил сдержанно, но все же достаточно любезно.

Играли по-прежнему те же, только появилась еще приятельница консула фрейлейн Мицци Ригошек. Стройная, с иссиня-черными бровями, но в остальном не слишком накрашенная, в светлом летнем платье, в широкополой соломенной шляпе с красной лентой на темных, высоко зачесанных волосах, она сидела рядом с консулом, положив руку на спинку его стула, и смотрела в его карты. Он не поднял головы, когда вошел Вилли, тем не менее лейтенант почувствовал, что консул сразу же заметил его появление.

— А-а, опоздали на поезд, — сказал Грейзинг.

— Да, на полминуты, — отозвался Вилли.

— Бывает, — заключил Виммер и сдал карты.

Флегман вскоре отклонялся: он три раза подряд проиграл, делая маленькие ставки при очень крупном банке. Господин Эльриф еще терпеливо сидел, но у него уже не было больше ни гроша. Перед консулом лежала груда ассигнаций.

— Ого, здесь играют по крупной! — заметил Вилли и тотчас же поставил десять гульденов вместо пяти, как собирался. Его смелость была вознаграждена: он выиграл и продолжал выигрывать дальше.

На соседнем маленьком столике стояла бутылка коньяка. Фрейлейн Ригошек налила рюмку и, затрепетав ресницами, подала ее лейтенанту. Эльриф попросил у него взаймы пятьдесят гульденов, обещав их вернуть завтра до полудня. Вилли протянул ему ассигнацию, но через мгновение она уже перекочевала к консулу. Эльриф встал, на лбу у него выступили капли пота. В это время подошел секретарь театральной дирекции Вайс в желтом фланелевом костюме, пошептался с Эльрифом и вернул ему деньги, которые брал

взаймы до вечера. Эльриф их тоже проиграл, яростно отодвинул кресло, встал, выругался и покинул помещение, поступив совсем не так, как поступил бы тот виконт, роль которого он собирался когда-нибудь сыграть. Прошло несколько минут, а он все не возвращался; тогда поднялась и фрейлейн Ригошек. С рассеянным видом она ласково погладила консула по голове и тоже исчезла.

Виммер, Грейзинг и даже Тугут стали играть осторожнее: талия близилась к концу. Только секретарь дирекции проявлял еще некоторую смелость. Постепенно игра свелась к поединку между лейтенантом Касда и консулом Шнабелем. Счастье изменило Вилли; кроме тысячи, отложенной для старого товарища Богнера, у него едва ли осталась сотня гульденов. «Проиграю эту сотню и встану, обязательно встану», — поклялся он про себя. Однако он и сам не верил в это. «Какое мне, собственно, дело до этого Богнера? — думал он. — Я ведь ему ничего не обещал».

Снова появилась фрейлейн Ригошек. Напевая, она поправила перед зеркалом прическу, закурила папиросу, взяла бильярдный кий, пустила несколько шаров, опять поставила кий в угол и принялась прямо руками гонять белые и красные шары по зеленому сукну. Консул холодным взглядом подозвал ее к себе, она, напевая, вновь заняла место рядом с ним и положила руку на спинку его кресла. Внезапно с улицы, где уже давно воцарилась полная тишина, донеслась многоголосая студенческая песня. «Как же они вернутся сегодня в Вену?» — подумал Вилли. Затем ему пришло в голову, что это, вероятно, пели баденские гимназисты. С тех пор как фрейлейн Ригошек села напротив него, счастье начало медленно возвращаться к нему. Пение удалилось и смолкло. На церкви пробили башенные часы.

— Без четверти час, — сказал Грейзинг.

— Это последний банк, — объявил полковой врач.

— Нет, заложим еще — каждый по одному, — предложил обер-лейтенант Виммер.

Консул кивком выразил согласие.

Вилли не сказал ни слова. Он выиграл, проиграл, выпил коньяку, выиграл, проиграл, закурил папиросу, выиграл и проиграл. Тугут держал банк довольно долго. Наконец, консул объявил высокую ставку и со-

рвал банк. Как ни странно, после почти часового отсутствия снова появился господин Эльриф, и, что еще более странно, у него опять были деньги. Аристократически небрежно, как будто ничего и не произошло, он подсел к столу, совсем как тот виконт, которого ему, надо думать, не суждено было сыграть; только теперь его аристократизм обогатился еще одним нюансом, явно заимствованным у доктора Флегмана, — устало полузакрытыми глазами. Он поставил в банк триста гульденов, словно это само собой разумелось, и выиграл. Консул проиграл ему, проиграл полковому врачу и особенно много — Вилли, который вскоре стал обладателем суммы не меньше чем в три тысячи гульденов. Это означало новый мундир, новую португепю, новое белье, лакированные ботинки, папиросы, ужины вдвоем или втроем, прогулки по Венскому лесу, двухмесячный отпуск без сохранения оклада. К двум часам он выиграл уже четыре тысячи двести гульденов. Нет, это был не сон! Вот они перед ним — четыре тысячи двести гульденов с лишком. Все остальные практически вышли из игры.

— Довольно! — внезапно объявил консул Шнабель. Вилли испытывал противоречивое чувство. Если закончить игру сейчас, то больше с ним уже ничего не случится, и это хорошо. Но в то же время он сгорал от неукротимого, поистине дьявольского желания продолжать игру, переложить еще несколько — нет, все блестящие кредитные билеты по тысяче гульденов из бумажника консула в свой. Вот это был бы капитал! С такими деньгами можно не сомневаться в удаче. И не обязательно всегда играть только в баккара: есть еще скачки во Фрейденау, есть бега, есть другие игорные дома — например, Монте-Карло на берегу моря, с роскошными женщинами из Парижа...

Пока эти мысли проносились у него в голове, полковой врач пытался уговорить консула метнуть еще один, последний банк.

Эльриф, словно он был хозяином за столом, разливал коньяк. Сам он пил уже восьмую рюмку. Фрейлейн Мицци Ригошек, раскачиваясь в кресле, что-то напевала себе под нос. Тугут собрал рассыпанные карты и стал их тасовать. Консул молчал. Затем неожиданно подошел кельнера и попросил принести две новые, запе-

чатанные колоды. Глаза у всех засверкали. Консул взглянул на часы и сказал:

— Закончим ровно в половине третьего, бесповоротно.

Было пять минут третьего.

VII

Консул объявил такой банк, какого в этой компании еще не метали — три тысячи гульденов.

За исключением игроков и одного кельнера, в кафе не осталось больше ни души. Сквозь открытые двери с улицы доносился предутренний птичий щебет. Консул проиграл, но банк у него еще не был сорван. Эльриф наконец опомнился и, повинувшись предостерегающему взгляду фрейлейн Ригошек, вышел из игры. Остальные, бывшие в небольшом выигрыше, продолжали осторожно делать умеренные ставки. В банке еще стояла половина первоначальной суммы.

— Ва-банк! — вдруг объявил Вилли и тут же испугался своих слов, даже собственного голоса.

«Уж не сошел ли я с ума?» — подумал он. Консул открыл девятку, и Вилли стал на тысячу пятьсот гульденов беднее. Тогда, памятуя о системе Флегмана, Вилли поставил до смешного маленькую сумму — пятьдесят гульденов и выиграл. «Вот глупо! — подумал он. — Одним ударом я бы сразу все отыграл. Почему я струсил?..»

— Опять ва-банк.

Он проиграл.

— Еще раз ва-банк.

Консул, казалось, колебался.

— Что с тобой, Касда? — воскликнул полковой врач.

Вилли рассмеялся и почувствовал, что у него начинает кружиться голова. Неужели коньяк так замутил ему сознание? Несомненно. Он, конечно, ошибся, ему и во сне не снилось поставить сразу тысячу или две тысячи.

— Простите, господин консул, я, собственно, имел в виду...

Консул не дал ему договорить и дружески заметил:

— Если вы не знали, какая сумма в банке, я, разумеется, приму ваш отказ к сведению.

— О каком отказе идет речь, господин консул? — сказал Вилли. — Ва-банк значит ва-банк.

Он ли это говорит? Неужели это его слова? Его голос? Если он проиграет, прощай новый мундир, новая португеза и ужины в приятном женском обществе. У него останется лишь тысяча для этого растратчика Богнера — а сам он станет таким же нищим, как два часа назад.

Консул молча открыл свою карту. Девятка? Никто не назвал ее, и все-таки эта цифра таинственно разнеслась по залу.

Вилли почувствовал, как лоб у него покрылся испариной.

Черт побери, как быстро все произошло! Но ведь у него в запасе еще тысяча, даже больше. Нет, не стоит пересчитывать деньги — это приносит несчастье. Насколько же он сейчас богаче, чем был днем, выходя из поезда. Да, днем... Его же никто не заставляет ставить сразу всю тысячу! Можно начать снова с сотни или двух. По системе Флегмана. Только вот, к сожалению, остается так мало времени — всего минут двадцать.

Вокруг царило молчание.

— Господин лейтенант? — вопросительно произнес консул.

— Ах да, — засмеялся Вилли, сложил кредитный билет в тысячу гульденов пополам и объявил: — Половину, господин консул.

— Пятьсот?..

Вилли кивнул. Другие из приличия тоже поставили. Хотя все уже собирались прекратить игру. Обер-лейтенант Виммер стоял, накинув плащ. Тугут облокотился на бильярдный стол. Консул открыл свою карту. Восьмерка! Половина оставшейся у Вилли тысячи проиграна. Он покачал головой, словно не соглашаясь с этим.

— Остальное! — бросил он и подумал: «А ведь я, собственно говоря, совершенно спокоен».

Он медленно открыл карту. Восьмерка. Консул купил. Девятка. Вот ушли и пятьсот гульденов, от тысячи ничего не осталось. Все ушло. Все ли? Нет. У него оставалось еще сто двадцать гульденов — те самые, с которыми он приехал сюда днем, даже чуть больше. Смешно! Он теперь и в самом деле такой же нищий, как раньше. А на улице поют птицы... Как тогда... когда

он еще мечтал поехать в Монте-Карло. Теперь он вынужден, к сожалению, прекратить игру — нельзя же рисковать последними гульденами... Да, прекратить, хотя еще только четверть третьего. Ну до чего не везет! За четверть часа можно с таким же успехом выиграть пять тысяч гульденов, как и проиграть.

— Господин лейтенант? — осведомился консул.

— Весьма сожалею, — звенящим голосом ответил Вилли, указывая на несколько лежавших перед ним жалких ассигнаций.

Он улыбнулся глазами и, словно шутки ради, поставил на карту десять гульденов. Он выиграл. Поставил двадцать и выиграл снова. Пятьдесят — снова выиграл. Кровь ударила ему в голову, он готов был заплакать от злости. Вот теперь ему везет — но слишком поздно. Внезапно его осенила смелая мысль. Он обратился к актеру, стоявшему позади него, рядом с фрейлейн Ригошек:

— Господин фон Эльриф, не будете ли вы так любезны одолжить мне двести гульденов?

— Мне бесконечно жаль, — аристократически пожимая плечами, ответил Эльриф. — Вы же видели, господин лейтенант, я проиграл все, до последнего крейцера.

Он лгал, и все это знали, но, казалось, находили вполне нормальным, что актер Эльриф солгал господину лейтенанту.

Тогда консул, не считая, небрежно подвинул ему несколько ассигнаций.

— Одолжайтесь, прошу вас, — сказал он.

Полковой врач Тугут громко кашлянул.

— На твоём месте я бы сейчас прекратил, Касда, — промолвил Виммер, и это звучало как предостережение.

Вилли медлил.

— Я отнюдь не уговариваю вас, господин лейтенант, — сказал Шнабель и протянул руку к деньгам. Вилли поспешно схватил ассигнации и сделал вид, что хочет их сосчитать.

— Здесь полторы тысячи, — сказал консул. — Можете не сомневаться, господин лейтенант. Угодно карту?

— Почему же нет? — рассмеялся Вилли.

— Сколько ставите, господин лейтенант?

— О, не все сразу! — возбужденно воскликнул Вилли. — Бедняки должны экономить. Для начала — тысячу.

Он взял карту, консул со своей обычной преувеличенной медлительностью — тоже. Вилли прикупил и получил к своей четверке бубен тройку пик. Консул открыл свою, у него тоже было семь.

— Я бы уже прекратил, — еще раз предостерег обер-лейтенант Виммер, и слова его прозвучали как приказ. А полковой врач добавил:

— Ведь ты уже почти при своих.

«При своих! — подумал Вилли. — И это называется «при своих!» Четверть часа тому назад здесь сидел состоятельный молодой человек, сейчас он — нищий, и это они называют «при своих!» Не рассказать ли им о Богнере? Быть может, тогда они поймут.

Перед ним лежали новые карты. Семерка. Нет, он не собирается прикупать. Но консул и не спросил его об этом, он просто открыл восьмерку. «Тысяча проиграна, — пронеслось в голове Вилли. — Но я ее отыграю. А если и нет, то теперь уже все равно. Тысячу я так же не смогу заплатить, как и две. Теперь уже совершенно все равно. Но еще есть время — целых десять минут. Я могу еще выиграть четыре-пять тысяч».

— Господин лейтенант? — спросил консул.

Негромкий вопрос разнесся по всему залу. Остальные молчали. Подчеркнуто молчали. Не скажет ли еще кто-нибудь: «Я бы прекратил на твоём месте»? «Нет, — подумал Вилли, — теперь никто не осмелится. Все понимают, что было бы идиотством бросить игру сейчас. Ну, так сколько же мне поставить?» У него осталось всего несколько сот гульденов. Неожиданно их стало больше — консул подвинул к нему еще две тысячи.

— Возьмите, господин лейтенант, прошу вас.

Ну, конечно, он возьмет. Он поставил полторы тысячи и выиграл. Теперь он может вернуть долг, и у него еще даже останется немного.

Он почувствовал, как кто-то положил ему руку на плечо.

— Касда, — сказал обер-лейтенант Виммер. — Довольно.

Голос его звучал твердо, почти строго. «Но я не на службе, — подумал Вилли. — Я могу распоряжаться своими деньгами и жизнью, как мне угодно». И он поста-

вил снова, поставил немного, всего лишь тысячу гульденов, и раскрыл карту. Восьмерка. Шнабель все еще рассматривал свою, рассматривал убийственно медленно, словно у них впереди было бесконечно много времени. Время действительно было, — разве их кто-нибудь заставляет прекращать в половине третьего? Прошлый раз они закончили в половине шестого. Прошлый раз... Прекрасное далекое время. Почему все столпились вокруг? Это как во сне. Ха, да они, кажется, волнуются больше, чем он! Даже у фрейлейн Ригошек, стоящей напротив него в соломенной шляпке с красной лентой на высокой прическе, странно блестят глаза. Он улыбнулся ей. Лицо у нее словно у знатной дамы из трагедии, а ведь она всего-навсего хористка.

Консул открыл свою карту. Дама! Ха-ха, ведь эта дама — Ригошек! И девятка пик. Проклятые пики, они всегда приносят ему несчастье. И тысяча передвинутась к консулу. Ну ничего, у него еще что-то осталось. Или он уже совсем разорен? О, ничего подобного... Перед ним опять лежит несколько тысяч. Благороднейший человек этот консул! Еще бы! Он ведь уверен, что получит деньги обратно. Офицер обязан платить карточные долги. Какой-нибудь господин Эльриф во всех случаях останется всего лишь господином Эльрифом, но офицер, если только его зовут не Богнер...

— Две тысячи, господин консул.

— Две тысячи?

— Конечно, господин консул.

Он ничего не прикупал, у него была семерка. А консул был вынужден прикупить. На этот раз он так спешил, что едва взглянул на карты, и сразу прикупил к своей двойке семерку пик. Итак, у него ровно девять очков. Впрочем, достаточно было бы и восьми. Две тысячи снова перекочевали к консулу и обратно. Или даже больше? Три или четыре? Не стоит считать — это приносит несчастье. Нет, консул его не обманет, к тому же остальные стоят вокруг и наблюдают за ними. И так как Вилли уже не знал, сколько он, собственно, должен, он снова поставил две тысячи. Четверка пик. Да, к ней нужно, пожалуй, прикупить. Шестерка, шестерка пик. Перебор на одно очко. А консул, оказывается, преспокойненько ждал всего лишь с тройкой... и вновь две тысячи перекочевали через стол, и вновь

вернулись обратно. Это просто смешно. Туда-сюда, сюда-туда. Ха-ха-ха! В эту минуту церковные часы пробили снова. Половина третьего. Но этого, кажется, никто не слышит. Консул невозмутимо сдает карты. Все вокруг стоят, не двигаясь, только полковой врач исчез. Да, Вилли еще раньше заметил, как яростно он качал головой и что-то бормотал сквозь зубы. Он был не в силах видеть, как лейтенант Касда ставит на карту свою жизнь. И как только у доктора могут быть такие слабые нервы!

И опять карты лежали перед ним. Он поставил... Сколько, он точно не знал. Целую пригоршню ассигнаций. Это был новый способ сражаться со своей судьбой. Восьмерка. Теперь все изменится.

Но ничто не изменилось. Консул открыл девятку, огляделся по сторонам и отодвинул от себя карты. Вилли широко раскрыл глаза.

— Я жду, господин консул?

Но тот поднял палец и указал на улицу.

— Только что пробило половину третьего, господин лейтенант.

— Неужели? — воскликнул Вилли с деланным удивлением. — Но ведь можно добавить еще четверть часика?

Словно ища поддержки, он посмотрел вокруг. Все молчали. Господин Эльриф отвел глаза и аристократическим жестом закурил папиросу, Виммер прикусил губу, Грейзинг нервно, чуть слышно посвистывал, и только секретарь грубовато, словно речь шла о каком-то пустяке, заметил:

— Господину лейтенанту сегодня поистине не повезло.

Консул встал и подозвал кельнера — как будто эта ночь была такой же, как и любые другие. На его счете значились лишь две бутылки коньяка, но для упрощения дела он предложил уплатить и за всех остальных. Грейзинг отклонил такую любезность и сам заплатил за свой кофе и папирасы. Остальные равнодушно согласились. Затем консул обратился к Вилли, все еще сидевшему на месте, и снова, как и раньше, когда он говорил о часах, указав на улицу, произнес:

— Если вам угодно, господин лейтенант, я отвезу вас в Вену в своем экипаже.

— Вы чрезвычайно любезны, — ответил Вилли.

И в этот момент ему показалось, будто последней четверти часа, равно как и всей этой ночи, равно как и всего, что произошло, на самом деле вовсе и не было. Наверно, именно так воспринимал это и консул. Иначе он не стал бы приглашать его в свой экипаж.

— Ваш долг, господин лейтенант, — дружелюбно добавил консул, — составляет ровно одиннадцать тысяч гульденов.

— Так точно, господин консул, — по-военному ответил Вилли.

— Расписка, я думаю, не нужна? — заметил консул.

— Нет, — резко оборвал его обер-лейтенант Виммер. — Мы все здесь свидетели.

Консул не обратил внимания ни на него, ни на его тон. Вилли все еще продолжал сидеть, ноги у него словно налились свинцом. Одиннадцать тысяч гульденов! Недурно! Жалование примерно за три или четыре года, вместе со всеми надбавками. Виммер и Грейзинг тихо и взволнованно разговаривали друг с другом. Эльриф рассказывал секретарю дирекции что-то смешное, потому что тот громко смеялся. Фрейлейн Ригошек стояла рядом с консулом и тихо спрашивала его о чем-то, он отрицательно качал головой. Кельнер подал консулу плащ, широкий черный плащ без рукавов с бархатным воротником, который незадолго до этого показался Вилли очень элегантным, хотя и несколько экзотичным. Актер Эльриф поспешно налил себе остатки коньяка из почти пустой бутылки. Вилли казалось, что все избегают смотреть на него. Рывком он поднялся с места. Неожиданно рядом с ним очутился неизвестно откуда взявшийся полковой врач Тугут. Он, по-видимому, не сразу нашел нужные слова, но, наконец, выдал:

— Надеюсь, ты достанешь их до завтра?

— Разумеется, господин полковой врач, — ответил Вилли с широкой и нелепой улыбкой. Затем подошел к Виммеру и Грейзингу, протянул им руку и небрежно бросил: — До следующего воскресенья.

Они не ответили, даже не кивнули ему.

— Вы готовы, господин лейтенант? — спросил консул.

— К вашим услугам.

Вилли любезно и весело простился с остальными, а фрейлейн Ригошек — это ничему не мешает — даже галантно поцеловал руку.

Все вышли. Столы и кресла на веранде призрачно белели в темноте. Ночь еще окутывала город и окрестности, но звезды уже погасли. В стороне вокзала край неба медленно начинал светлеть. На улице ждал экипаж консула. Кучер спал, опустив ноги на подножку. Шнабель тронул его за плечо, тот проснулся, приподнял шляпу, слез, подошел к лошадям и снял с них попоны. Офицеры еще раз приложили руки к козырькам и разошлись. Секретарь, Эльриф и фрейлейн Ригошек подождали, пока кучер не закончит приготовления. Вилли думал: «Почему же консул не остается в Бадене у фрейлейн Ригошек? И зачем она вообще ему нужна, если он у нее не остается?» Вдруг он вспомнил про одного пожилого господина: кто-то рассказывал, что его хватил удар в постели любовницы, — и искоса взглянул на консула. Однако у того был вполне свежий вид и прекрасное настроение; он ни в коей мере не собирался умирать и, явно желая позлить Эльрифа, прощался с фрейлейн Ригошек с откровенной нежностью, едва ли соответствовавшей его обычной манере держаться. Затем он пригласил лейтенанта в коляску, указал ему на место с правой стороны, набросил на его и свои колени светло-желтый плед, подбитый коричневым плюшем, и экипаж тронулся. Господин Эльриф еще раз не без юмора приподнял шляпу широким жестом, на испанский манер, как он собирался это делать в следующем сезоне в Германии, на сцене какого-нибудь маленького придворного театра, играя роль гранда. Когда экипаж переехал через мост, консул оглянулся и помахал всем троим. Они удалялись, взяв под руки фрейлейн Ригошек, и так оживленно беседовали, что даже не заметили жеста Шнабеля.

VIII

Они ехали по спящему городу. В полной тишине раздавалось лишь мерное постукивание конских копыт.

— Немного прохладно, — заметил консул.

У Вилли не было ни малейшего желания поддерживать разговор, но он все-таки счел необходимым что-то ответить, хоть для того, чтобы расположить консула к себе.

— Да, — согласился он. — К утру всегда становится холоднее. Наш брат это знает по маневрам.

— Что касается двадцати четырех часов, — любезно продолжал консул после некоторой паузы, — то мы не будем выдерживать их слишком уж точно.

Вилли перевел дух и воспользовался случаем.

— Я как раз хотел просить вас об этом, господин консул, поскольку в настоящий момент у меня, разумеется, нет всей суммы.

— Разумеется, — прервал его консул, сделав ободряющий жест.

Копыта цокали по-прежнему, только теперь им вторило эхо — экипаж проехал под виадуком и очутился на шоссе.

— Если бы я настаивал на обычных двадцати четырех часах, — продолжал консул, — вы должны были бы заплатить мне ваш долг самое позднее завтра ночью, в половине третьего, что неудобно для нас обоих. Поэтому, если это вас устроит, мы назначим иной срок. — Он задумался. — Ну, скажем, вторник, в двенадцать дня.

Шнабель вытащил из бумажника визитную карточку и протянул ее Вилли. Тот пристально посмотрел на нее. Стало уже так светло, что ему удалось прочесть адрес. Гельферсдорферштрассе, пять. «Не больше чем пять минут ходьбы от казармы», — подумал он.

— Итак, завтра в двенадцать, господин консул? — Вилли почувствовал, как сердце его забилось быстрее.

— Да, господин лейтенант, полагаю, что так. Во вторник — ровно в двенадцать. С девяти я уже в конторе.

— А если я не сумею к этому часу, господин консул... Если я, например, лишь к полуночи или в среду...

— Конечно, сумеете, господин лейтенант, — прервал его консул. — Когда вы сядите за игорный стол, вы, естественно, были готовы и к проигрышу, точно так же как был к этому готов и я, и, если вы сами не располагаете необходимыми средствами, вы, во всяком случае, можете предполагать, что ваши родители не оставят вас в беде.

— У меня нет родителей, — торопливо вставил Вилли, на что Шнабель отозвался сочувственным «о!». — Моя мать умерла восемь лет назад, а отец — пять; он был подполковник и служил в Венгрии.

— Ах, вот как? Значит, отец ваш был тоже офицером?

Это звучало участливо, почти сердечно.

— Так точно, господин консул. При других обстоятельствах я, пожалуй, не рискнул бы избрать военную карьеру.

— Очень любопытно! — кивнул консул. — Как подумаешь, что жизнь иных людей, так сказать, предначертана им заранее, в то время как другим приходится из года в год, а порой и изо дня в день...

Он покачал головой и умолк. Эта банальная, не высказанная до конца фраза произвела на Вилли странно успокоительное впечатление. Чтобы как-то наладить отношения с консулом, он тоже стал припоминать какую-нибудь общеизвестную философскую истину. И несколько необдуманно — это ему стало ясно тотчас же — он заметил, что бывают и офицеры, которые вынуждены менять профессию.

— Да, — возразил консул, — вы правы, но чаще всего это происходит не по доброй воле — более того, такие люди становятся смешными и деклассированными, вернее, они себя чувствуют такими; и для них вряд ли возможен возврат к былой профессии. Что же касается нашего брата — я имею в виду людей, которым не мешают никакие сословные, кастовые и другие предрассудки... Вот я, например, по меньшей мере раз шесть поднимался наверх и вновь падал. Да еще как низко падал! Если бы все эти господа — ваши коллеги — знали, как низко, они вряд ли сели бы со мной за игорный стол, уж поверьте мне. Поэтому-то они, ваши коллеги, и предпочитают не наводить слишком тщательных справок обо мне.

Вилли молчал, он чувствовал себя ужасно нелепо и не знал, как вести себя дальше. Да, будь на его месте Виммер или Грейзинг, они бы, конечно, нашли правильный ход, не могли бы не найти... А он, Вилли, вынужден молчать. Он не имеет даже права спросить: «То есть как это «низко падали», господин консул, и что вы имеете в виду под словом «справки»?» Ах, он-то

мог себе представить, что имел в виду консул. Ведь он и сам пал так низко, так низко, как только можно, гораздо ниже, чем он считал это возможным всего лишь несколько часов назад.

Теперь он зависел от любезности, от уступчивости, от милосердия этого господина консула, как бы низко тот ни падал когда-то. Да и захочет ли тот проявить милосердие? Это еще вопрос. Согласится ли он на уплату долга в течение года или... в течение пяти лет... или на реванш в следующее воскресенье? По его виду трудно угадать... Нет, просто совершенно ничего не угадаешь. А если он не будет милосерден, тогда... гм... тогда остается лишь одно — идти на поклон к дяде Роберту. Да, все-таки к дяде Роберту! Это мучительно, просто ужасно, но попытаться надо. Обязательно надо... Не может же он отказать ему в помощи, когда на карте стоит карьера, будущее, вся жизнь, да, да, сама жизнь племянника, единственного сына его покойной сестры! Ведь он человек, живущий на ренту, — правда, довольно скромно, но все же занимающий положение капиталиста, человек, которому достаточно просто вынуть деньги из кассы! Одиннадцать тысяч гульденов! Ведь это даже не десятая — нет, даже не двадцатая часть его состояния. Собственно, он может попросить не одиннадцать, а двенадцать тысяч сразу — разница невелика. А заодно будет спасен и Богнер. Эта мысль вдохнула в Вилли надежду, словно небо было обязано немедленно вознаградить его за такое благородное намерение. Но все эти планы — на тот случай, если консул окажется неумолим. А это еще неизвестно.

Вилли осторожно и быстро глянул на своего спутника. Тот, казалось, погрузился в воспоминания. Он опустил шляпу на плед, губы его были полураскрыты, словно в улыбке, он выглядел старше и добрее, чем раньше.

Не настал ли подходящий момент?.. Но как начать? Честно сознаться, что он не в состоянии... что попал в эту историю необдуманно, что потерял голову, — да, да, ведь в эти четверть часа он был просто невменяем! Разве он отважился бы на такое, разве он позволил бы себе так забыться, если бы господин консул, — о, об этом упомянуть можно! — если бы господин консул, без малейшего намека с его стороны, сам не предоста-

вил в его распоряжение свои деньги, придвинув их к нему, и тем самым в известной мере, хотя и в высшей степени любезно, принудил его продолжать игру?

— Такие прогулки ранним утром просто чудесны, не правда ли? — заметил консул.

— Великолепны, — торопливо согласился лейтенант.

— Жаль только, — добавил консул, — что за такое удовольствие всегда расплачиваешься бессонной ночью, проведенной за игорным столом или какой-нибудь еще большей глупостью.

— О, что касается меня, — живо заметил лейтенант, — то я нередко оказываюсь на свежем воздухе в столь ранний час и не проведя ночи без сна. Например, позавчера я уже в половине четвертого вместе со своей ротой стоял на плацу. Мы проводили занятия в Пратере. Правда, туда я ехал не в коляске.

Консул сердечно рассмеялся, что обрадовало Вилли, хотя смех и прозвучал несколько неестественно.

— Да, такие вещи я тоже проделывал не раз, правда, не будучи ни офицером, ни даже вольноопределяющимся, — сказал консул. — Так далеко я не продвинулся. Подумайте только, господин лейтенант, я в свое время отслужил три года и дослужился лишь до капрала. Такой уж я необразованный человек — или, по крайней мере, был таким. Правда, кое-что я впоследствии наверстал; путешествуя, часто имеешь такую возможность.

— Господин консул, наверно, немало поездили по свету, — предупредительно вставил Вилли.

— Да, этим я, конечно, могу похвастаться, — ответил консул. — Я побывал почти везде, только в одной стране никогда не был — и как раз в той, которую представляю как консул, — в Эквадоре. Но я собираюсь вскоре отказаться от места консула и поехать туда.

Он рассмеялся, и Вилли, хотя и с некоторым усилием, присоединился к нему.

Они ехали по длинному, жалкому поселку, мимо одинаковых, серых, запущенных домиков. В одном палисаднике старик в фуфайке с засученными рукавами поливал кусты. Из только что открывшейся молочной лавки на улицу вышла молодая женщина в поношенном платье, с полным кувшином. Вилли испытывал страшную зависть к ним обоим — и к старику, поливавшему свой садик, и к женщине, купившей молока для мужа и де-

тей. Он знал, что у них на душе спокойнее, чем у него. Экипаж проехал мимо высокого холодного здания, перед которым расхаживал часовой. Он взял «на караул», и лейтенант ответил вежливее, чем обычно отвечал на приветствия рядовых. Консул бросил на это здание взгляд, полный презрения и — воспоминаний. Вилли задумался. Какая ему в эту минуту польза от того, что прошлое консула, по всей вероятности, далеко не безупречно? Карточный долг есть карточный долг: его вправе требовать даже самый закоренелый преступник. Время идет, лошади бегут все быстрее, через час, быть может через полчаса, они будут в Вене, — а дальше что?

— А такие типы, как, например, этот лейтенант Грейзинг, спокойно разгуливают на свободе, — сказал консул, словно завершая ход своих мыслей.

«Так и есть, — подумал Вилли. — Этот человек когда-то сидел в тюрьме». В этот момент ему пришло в голову, что замечание консула весьма недвусмысленно оскорбляет его отсутствующего товарища. Должен ли он пропустить его мимо ушей, словно не расслышав, или же молча согласиться с ним?

— Я попросил бы вас, господин консул, не затрагивать моего товарища Грейзинга.

Консул ответил на это лишь пренебрежительным жестом.

— Странно, — сказал он, — как офицеры, так строго относящиеся к корпоративной чести, могут терпеть в своей среде человека, который сознательно угрожает здоровью другого человека, например глупой, неопытной девушки, и, возможно, убивает ее...

— Это нам не известно, — хрипло возразил Вилли. — Во всяком случае, мне не известно.

— Что вы, господин лейтенант! Я вовсе не собираюсь упрекать вас. Вы же лично не ответственны за подобные вещи и, значит, не в силах их изменить.

Вилли тщетно искал возражений. Он подумал, не обязан ли он довести до сведения товарищей высказывания консула. Быть может, он должен сначала переговорить об этом с полковым врачом Тугутом? Или посоветоваться с обер-лейтенантом Виммером? Но какое ему дело до всего этого?! Речь идет о нем, о нем самом, о его собственном положении, о его карьере, его жизни! Вдалеке, в первых лучах солнца, уже виднелась «Пря-

дильщица на кресте». А он еще не сказал ни слова об отсрочке, пусть самой короткой отсрочке. Вдруг он почувствовал, как сосед тихо притронулся к его руке.

— Простите, господин лейтенант, лучше оставим эту тему, меня совершенно не волнует вопрос, господин ли лейтенант Грейзинг или кто другой... тем более что я едва ли буду иметь удовольствие сидеть еще раз за одним столом с этими господами.

Вилли словно что-то толкнуло.

— Как это понимать, господин консул?

— Я, видите ли, уезжаю, — холодно ответил консул.

— И скоро?

— Да. Послезавтра, вернее, уже завтра — во вторник.

— Надолго, господин консул?

— Пожалуй, да... от трех до тридцати лет.

На улице уже появилось довольно много подвод и тележек. Вилли, опустив голову, увидел, как позолоченные пуговицы его мундира сверкают в лучах восходящего солнца.

— Ваш отъезд — следствие внезапного решения, господин консул? — осведомился он.

— Отнюдь, господин лейтенант. Это уже давно известно. Я уезжаю в Америку, но пока не в Эквадор, а в Балтимору, где живет моя семья и где у меня дело. Правда, я вот уже лет восемь не могу заняться им лично там на месте.

«У него семья, — подумал Вилли. — А что же у него с фрейлейн Ригошек? И знает ли она, что он уезжает? Впрочем, мне-то какое дело? Времени больше терять нельзя. Для меня это вопрос жизни или смерти». И он невольно провел рукой по горлу.

— Это очень печально, что господин консул уезжает уже завтра, — сказал он растерянно. — А я думал, больше того, я на это просто рассчитывал, — голос его зазвучал легко, даже шутливо, — что господин консул даст мне в следующее воскресенье маленький реванш.

Консул пожал плечами, словно не допуская и мысли об этом.

«Что же мне делать? — думал Вилли. — Что делать? Прямо попросить его? Ну что ему какие-то несколько тысяч гульденов? У него семья в Америке... и фрейлейн Ригошек... Там у него целое дело... Что значат для него

несколько тысяч гульденов?! А для меня это вопрос жизни или смерти».

Они ехали под мостом по направлению к городу. Со стороны Южного вокзала с грохотом вылетел поезд.

«Там люди едут в Баден,— думал Вилли,— и дальше, в Клагенфурт, в Триест, а оттуда, может быть, за океан, в другие части света...» И он завидовал им всем.

— Где прикажете высадить вас, господин лейтенант?

— О, не беспокойтесь,— ответил Вилли.— Где вам будет удобно. Я живу в Альзерских казармах.

— Я доведу вас до самых ворот, господин лейтенант.

Консул дал кучеру соответствующее распоряжение.

— Благодарю вас, господин консул, но, право же, в этом нет нужды...

Домá спали. Трамвайные рельсы, еще не тронутые дневным движением, гладкие и сверкающие, бежали рядом с ними.

Консул взглянул на часы:

— Хорошо доехали! Час десять минут. У вас сегодня выходной, господин лейтенант?

— Нет,— ответил Вилли,— сегодня у меня занятия на плацу.

— Ну тогда вы еще успеете немного вздремнуть.

— Разумеется, господин консул. Но я, пожалуй, устройю себе свободный день — скажу, что нездоров.

Консул кивнул и замолчал.

— Значит, в среду вы уезжаете, господин консул?

— Нет, господин лейтенант,— отвечал консул, подчеркивая каждое слово,— завтра, во вторник, вечером.

— Господин консул, хочу вам сознаться... Мне это чрезвычайно мучительно, но я очень боюсь, что никак не смогу в такой короткий срок... до двенадцати часов завтрашнего дня...

Консул по-прежнему молчал. Казалось, он не слушает.

— Не будет ли господин консул так добр назначить мне другой срок?

Консул покачал головой.

— О, не очень долгий,— продолжал Вилли,— я мог бы выдать господину консулу расписку или вексель и заверил бы честным словом, что в течение двух недель... я, конечно, найду способ...

Консул по-прежнему лишь покачивал головой, бесстрастно, механически.

— Господин консул, — снова начал Вилли, и, помимо его воли, голос его зазвучал умоляюще, — господин консул, мой дядя — Роберт Вильрам... Быть может, господину консулу известно это имя?

Тот продолжал покачивать головой.

— Я не совсем убежден, что у моего дяди, на которого я в остальном всецело могу положиться, имеется сейчас такая сумма наличными. Но, разумеется, в течение нескольких дней он сможет... Он состоятельный человек, единственный брат моей матери, рантие.

И вдруг, комично сорвавшимся голосом, так что тон его напомнил смех, он добавил:

— Поистине фатально, что господин консул уезжает сейчас в Америку.

— То, куда я еду, господин лейтенант, — спокойно отвечал консул, — вам должно быть совершенно безразлично. Долг чести, как известно, подлежит уплате в течение суток.

— Знаю, господин консул, знаю. Но, несмотря на это, иногда ведь случается... У меня даже есть приятели, которые в подобном положении... Ведь только от вас зависит, господин консул, временно удовлетвориться векселем или же моим честным словом — по крайней мере, до следующего воскресенья.

— Я не удовлетворюсь этим, господин лейтенант. Завтра, во вторник, в полдень, — последний срок... В противном случае я буду вынужден обратиться к вашему полковому командиру.

Экипаж катил по Рингу, мимо Народного сада, над позолоченной решеткой которого высились пышные зеленые кроны деревьев. Было чудесное весеннее утро, на улице еще не было почти ни души, лишь одна молодая, элегантная дама, в наглухо застегнутом сером пальто, торопливо, словно выполняя долг, прохаживалась с собачкой вдоль решетки. Она окинула консула равнодушным взглядом, и он оглянулся — оглянулся, несмотря на жену в Америке и фрейлейн Ригошек в Бадене. Нет, последняя принадлежит не столько ему, сколько актеру Эльрифу. А какое мне, собственно, дело до господина Эльрифа, какое мне дело до фрейлейн Ригошек? Впрочем, кто знает, будь я с ней немного по-

ласковее, она, быть может, и замолвила бы за меня словечко.

Несколько секунд Вилли всерьез размышлял о том, не вернуться ли ему быстренько в Баден, чтобы просить ее о заступничестве. О заступничестве перед консулом?

Она рассмеялась бы ему в лицо. Она же знает его, этого господина консула, она должна его знать... Единственная надежда на спасение — дядя Роберт. Это ясно. В противном случае остается лишь пустить себе пулю в лоб. Это надо понять.

Вдруг он услышал размеренный шум, похожий на топот марширующей колонны. Разве в девяносто восьмом полку сегодня не строевые занятия в Бизамберге? Было бы очень неприятно, сидя в экипаже, встретить товарищей, идущих перед своими ротами. Но оказалось, что маршировали не военные, а просто мальчишки, видимо школьники, отправлявшиеся на экскурсию за город вместе с учителем. Учитель, бледный молодой человек, с невольным уважением взглянул на обоих мужчин, в такой ранний час проезжающих мимо него в экипаже. Вилли никогда не предполагал, что будет когда-нибудь так завидовать даже бедному школьному учителю. Коляска обогнала первый трамвай, в котором сидело несколько пассажиров — мужчины в рабочей одежде и старуха. Затем им навстречу попалась цистерна для поливки улиц; растрепанный парень в рубашке с закатанными рукавами ритмично, как скакалку, встряхивал резиновый шланг, из которого на мостовую брызгала вода. Две монашки, опустив глаза, пересекли улицу и направились к Вотивкирхе, вздымающей в небо свои стройные светло-серые башенки. На скамейке под белой цветущей яблоней сидела молоденькая девушка. Ботинки у нее были запылены, на коленях лежала соломенная шляпа, девушка улыбалась, словно вспоминая о чем-то приятном. Мимо промчалась карета с опущенными шторками. Толстая старуха протирала щеткой и полотенцем высокие окна кафе. Все эти люди и предметы, которых в иное время Вилли просто не заметил бы, представляли сейчас перед его обостренным зрением в каких-то болезненно резких очертаниях. О человеке, сидевшем рядом с ним в коляске, он, казалось, вовсе забыл. Наконец он боязливо взглянул на него. Консул

сидел, откинувшись назад, закрыв глаза, положив шляпу перед собой на плед. Каким милым и добрым он выглядел! И он... он обрекает его на смерть? Он в самом деле спит или только притворяется? О, можете не беспокоиться, господин консул, я не буду вам больше надоедать. Во вторник, в двенадцать часов, вы получите ваши деньги. А может быть, и нет. Но во всяком случае... Экипаж остановился перед воротами казармы, и консул тотчас же проснулся или, по крайней мере, сделал вид, что спал, а теперь проснулся. Он даже протер глаза — жест несколько преувеличенный после двухминутного сна. Часовой у ворот отдал честь. Вилли проворно, даже не коснувшись подножки, выпрыгнул из экипажа и улыбнулся консулу. Более того, он дал кучеру на чай — не много, но и не мало, как подобает джентльмену, которому совершенно все равно, выиграл он в карты или проиграл.

— Благодарю вас, господин консул, всего хорошего.

Консул из коляски подал руку и тихо притянул его к себе, словно хотел доверить ему нечто, что не всякому можно было слышать.

— Я вам советую, господин лейтенант, — сказал он почти отеческим тоном, — не относитесь ко всей этой истории легкомысленно, если вы и впредь собираетесь... оставаться офицером. Помните — завтра, во вторник, в двенадцать часов дня. — И затем громко добавил: — Итак, до свидания, господин лейтенант.

Вилли любезно улыбнулся, приложил руку к козырьку, экипаж развернулся и уехал.

IX

На Альзеркирхе пробило три четверти пятого. Большие ворота распахнулись, и мимо Вилли, держа равнение на него, промаршировала рота 98-го полка. Вилли, отдавая честь, несколько раз поднес руку к козырьку.

— Далеко, Визельтир? — снисходительно спросил он кадету, замыкавшего колонну.

— На пожарный плац, господин лейтенант.

Вилли как бы в знак согласия кивнул ему и некоторое время невидящими глазами провожал роту. Часовой

все еще держал «на караул», когда Вилли вошел в ворота, тотчас же закрывшиеся за ним.

С другого конца двора доносилась громкая команда. Капрал обучал ружейным приемам отделение новобранцев. Двор был освещен солнцем и гол, лишь там и тут к небу тянулось несколько деревьев. Вилли пошел вдоль ограды; он посмотрел на свое окно, в нем показался его денщик, выглянул вниз, на секунду вытянулся и снова исчез. Вилли быстро поднялся по лестнице. Еще в передней, как раз в тот момент, когда денщик собирался зажечь спиртовку, он снял воротничок, растегнул мундир.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, кофе готов.

— Хорошо, — сказал Вилли, вошел в комнату, закрыл за собой дверь, снял мундир и прямо в брюках и ботинках бросился на кровать.

«До девяти я обязательно должен сходить к дяде Роберту, — думал он. — Я попрошу у него на всякий случай сразу двенадцать тысяч, тогда и Богнер получит свою тысячу, если он за это время еще не застрелился. Впрочем, кто знает, быть может, он и впрямь выиграл на скачках — и даже способен выручить *меня*. Нет, одиннадцать — двенадцать тысяч — такие деньги на тотализаторе запросто не выиграешь».

Глаза у него смежились. Девятка пик... туз бубен... король червей... восьмерка пик... туз пик.. трефовый валет... четверка бубен — заплясали перед ним карты. Денщик принес кофе, пододвинул столик поближе к кровати, налил. Вилли приподнялся на руке и стал пить.

— Не снять ли с господина лейтенанта сапоги?

Вилли замотал головой:

— Не стоит.

— Не разбудить ли господина лейтенанта попозже?

Вилли смотрел на него, не понимая.

— Осмелюсь доложить, в семь часов — занятия.

Вилли снова замотал головой.

— Я плохо себя чувствую, пойду к врачу. Вы доложите господину капитану, что я болен, понятно? Рапорт я пошлю потом. Я записался к профессору, окулисту, на девять часов. А занятия я прошу провести господина кадета Бриля. Можете идти... Нет, постойте!

— Слушаю, господин лейтенант?

— В четверть восьмого сходите к Альзеркирхе. Там будет ждать господин, который был здесь вчера утром, — да, обер-лейтенант Богнер. Передайте ему, пусть извинит меня, к сожалению, мне еще ничего не удалось сделать. Понятно?

— Так точно, господин лейтенант.

— Повторите.

— Господин лейтенант просит его извинить, потому что господину лейтенанту еще ничего не удалось сделать.

— К сожалению, ничего не удалось сделать... Пойдите. Если бы он дал мне время до сегодняшнего вечера или до завтрашнего утра... — внезапно он замолчал. — Нет, больше ничего. К сожалению, я ничего не сделал, и на этом конец. Понятно?

— Так точно, господин лейтенант.

— А когда вы вернетесь из Альзеркирхе, в любом случае постучите ко мне. А теперь закройте окно.

Денщик сделал, что было велено; громкая команда во дворе заглушила его шаги. Когда Йозеф закрыл за собой дверь, Вилли снова вытянулся на кровати и сомкнул глаза. Бубновый туз... семерка трэф... король червей... восьмерка бубен... девятка пик... десятка пик... дама червей... «Мерзавка, — подумал Вилли. Потому что дама червей была, собственно говоря, фрейлейн Кеснер. — Если бы я не остановился около стола, со мною не произошло бы несчастья». Девятка трэф... шестерка пик... пятерка пик... король пик... король червей... король трэф... Не относитесь ко всей этой истории легкомысленно, господин лейтенант. «Черт его возьми, деньги он получит, но потом я пошлю ему двух секундантов... нет, не годится... он же не дуэлеспособен». Король червей... валет пик... дама бубен... девятка бубен... туз пик... — и все они плясали, плясали у него перед глазами... туз бубен, туз червей... бессмысленно, безостановочно, так что под веками заболели глаза. Наверное, во всем мире не было столько карточных колод, сколько промелькнуло перед ним за этот час.

В дверь постучали, он очнулся, но и перед открытыми глазами у него все еще мелькали карты. Вошел денщик.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, господин обер-лейтенант просит премного благодарить гос-

подина лейтенанта за беспокойство и шлет нижайший поклон.

— Так. А больше... больше он ничего не сказал?

— Нет, господин лейтенант. Господин старший лейтенант сразу же повернулся и ушел.

— Так. Значит, он сразу же повернулся... А вы доложили, что я болен?

— Так точно, господин лейтенант.— И, увидев, как денщик ухмыляется, Вилли спросил: — А чему вы так глупо смеетесь?

— Осмелюсь доложить, это из-за господина капитана.

— Почему? Что сказал господин капитан?

Все еще ухмыляясь, денщик доложил:

— Господин капитан говорит, что господину лейтенанту к главному врачу нужно потому, что он, наверное, окосел, заглядевшись на какую-нибудь девушку.

И поскольку Вилли даже не улыбнулся в ответ, денщик испуганно добавил:

— Осмелюсь доложить, это господин капитан пошутил.

— Можете идти, — сказал Вилли.

Одеваясь, Вилли обдумывал все фразы, мысленно репетировал интонации, которыми надеялся тронуть сердце дяди. Он не видел его два года. Сейчас он с трудом мог представить себе не только характер Вильрама, но даже черты его лица. Каждый раз перед ним возникал разный облик, с разным выражением лица, разными привычками, разной манерой разговаривать, и он не мог предвидеть, с каким из них он столкнется сегодня.

С детства он помнил дядю стройным, всегда тщательно одетым, еще молодым человеком, хотя и в то время он казался ему уже достаточно зрелым — дядя был старше Вильгельма на двадцать пять лет. Роберт Вильрам всегда наезжал лишь на несколько дней в венгерский городок, где стоял гарнизоном полк его шурина, тогда еще майора Касда. Отец и дядя не очень любили друг друга, и Вилли смутно вспоминал один разговор о дяде между родителями, закончившийся тем, что мать, плача, выбежала из комнаты. О профессии дяди речь в те времена едва ли заходила, но Вилли припоминал, что Роберт Вильрам был чиновником, рано

овдовел и подал в отставку. От своей покойной жены он унаследовал небольшое состояние и с тех пор зажил на ренту и много путешествовал по свету. Весть о смерти сестры застала его в Италии, он приехал уже после похорон, и в памяти Вилли навсегда запечатлелось, как дядя, стоя рядом с ним у могилы, без слез, но с мрачным и серьезным лицом смотрел на еще не успевшие увянуть венки. Вскоре после этого они вместе уехали из маленького городка: Роберт Вильрам — в Вену, а Вилли — назад в кадетский корпус в Винер-Нейштадт. С тех пор он нередко навещал дядю по воскресеньям и праздничным дням, и тот брал его с собой в театр или ресторан. Затем, после внезапной смерти отца, когда Вилли в чине лейтенанта получил назначение в один из полков, расквартированных в Вене, дядя выделил ему из свободных средств ежемесячное пособие, которое, даже во время частых путешествий Вильрама, аккуратно выплачивалось молодому офицеру через банк. Из одного такого путешествия, в котором он опасно заболел, Роберт Вильрам вернулся заметно постаревшим, и хотя ежемесячное пособие продолжало по-прежнему регулярно поступать в адрес Вилли, в личном общении между дядей и племянником стали происходить то короткие, то длинные перерывы, да и вообще в жизни Роберта Вильрама, по-видимому, не раз случалась некая смена настроений. Бывали дни, когда он казался веселым и общительным и, как прежде, ходил с племянником по ресторанам, театрам и даже иным довольно легкомысленным увеселительным заведениям, причем в большинстве случаев их сопровождала какая-нибудь веселая молодая дама, которую Вилли обычно видел в первый и последний раз. Затем снова наступали недели, когда дядя как бы полностью отрешался от мира и, казалось, сторонился всякого общества. И если Вилли вообще удавалось проникнуть к нему, он видел серьезного, молчаливого, рано состарившегося человека, закутанного в широкий темно-коричневый халат, со скорбным лицом актера, который расхаживал по комнате с высоким потолком, где всегда не хватало света, или читал и писал при лампе за письменным столом. Разговор у них тогда не клеился, словно они были совсем чужие. Лишь один раз, когда речь случайно зашла об одном из товарищей Вилли, только что покон-

чившем с собой из-за несчастной любви, Роберт Вильрам открыл ящик письменного стола, достал оттуда, к удивлению Вилли, множество исписанных листков и прочитал свои философские заметки о смерти и бессмертии, а также некоторые мрачные меланхолические отзывы о женщинах вообще; при этом он словно совершенно забыл о присутствии молодого человека, который слушал его с некоторым смущением и скукой. Именно в тот момент, когда Вилли безуспешно пытался подавить зевоту, дядя случайно оторвал глаза от рукописи; губы его скривила усмешка, он собрал листки, запер их снова в ящик и сразу же, без перехода, заговорил о других, куда более понятных и интересных для молодого офицера вещах. Но и после этого, мало удачного свидания, они как и раньше, провели немало приятных вечеров, иногда совершали вдвоем небольшие прогулки, особенно в праздники, если была хорошая погода. Но однажды, когда Вилли собирался зайти за дядей, Вильрам отказался от встречи, а вслед за тем написал племяннику, что с некоторых пор он чрезвычайно занят и, к сожалению, вынужден просить Вилли больше не навещать его, впредь до нового уведомления. Вскоре прекратилось и денежное пособие. Вежливое письменное напоминание осталось без ответа, второе — также; а после третьего последовало извещение, что Роберт Вильрам, «ввиду резко изменившихся обстоятельств», вынужден, к прискорбию своему, прекратить дальнейшую помощь «даже самым близким людям». Вилли попытался лично переговорить с дядей. Дважды его не приняли вовсе, а на третий раз он увидел, как дядя велел сказать, что его нет дома, и быстро скрылся за дверь. Тогда он убедился в бесполезности дальнейших попыток, и ему не осталось ничего иного, как ограничить себя самым необходимым. Маленькое наследство, полученное им от матери, за счет которого он до сих пор держался, было уже исчерпано, но Вилли, по складу характера, был не склонен серьезно задумываться о будущем и не задумывался о нем до этой минуты, когда угрожающий призрак нищеты встал на его пути.

В подавленном, но далеко не безнадежном настроении он наконец спустился по спиральной, всегда погруженной в полумрак лестнице для офицеров и не

сразу узнал человека, который, расставив руки, преградил ему дорогу.

— Вилли!

Его окликнул Богнер.

— Ты? — «Что ему нужно?» — Разве ты не знаешь? Йозеф же передал тебе?..

— Знаю, знаю, я хочу только сказать... так... на всякий случай... что ревизию перенесли на завтра.

Вилли пожал плечами. Право, это его не очень интересовало.

— Перенесли, понимаешь?

— Это не трудно понять. — И он шагнул на одну ступеньку ниже.

Богнер не пустил его дальше.

— Ведь это же сама судьба! — воскликнул он. — Быть может, это спасение. Не сердись, Касда, что я еще раз... Правда, я знаю, что вчера тебе не повезло...

— Да уж, действительно, — вырвалось у Вилли, — действительно, не повезло. — Он рассмеялся. — Я проиграл все... и даже немного больше.

И невольно, словно Богнер был непосредственной и единственной причиной его несчастья, он добавил:

— Одиннадцать тысяч, старина, одиннадцать тысяч!

— Черт возьми, это, конечно... Ну и что же ты собираешься?.. — Он умолк. Взгляды их встретились, и лицо Богнера просветлело. — Ты, наверное, пойдешь к своему дяде?

Вилли закусил губы. «Как он назойлив! Бессовестный!» — думал он про себя, еще немного — и он бы сказал это вслух.

— Прости, это меня не касается... Более того, я даже не имею права заговаривать об этом: ведь я в известной степени виноват... да, конечно... Но если бы ты попытался, Касда... Двенадцать тысяч или одиннадцать — твоему дяде совершенно все равно.

— Ты с ума сошел, Богнер. Я не получу ни одиннадцати тысяч, ни двенадцати.

— Но ты же пойдешь к нему, Касда!

— Не знаю...

— Вилли...

— Не знаю, — нетерпеливо повторил он. — Может быть, да. А может быть, и нет... Прощай!

Он отстранил его и побежал вниз по лестнице.

Двенадцать или одиннадцать — совсем это не все равно. Как раз из-за одной тысячи все и может сорваться! А в голове у него гудело и гудело: одиннадцать — двенадцать, одиннадцать — двенадцать, одиннадцать — двенадцать! Впрочем, он решит этот вопрос не раньше, чем предстанет перед дядей. Его решат сами обстоятельства. Во всяком случае, он поступил глупо, что вообще позволил Богнеру задержать себя на лестнице и назвал ему сумму. Какое ему дело до этого человека? Он — его товарищ, да, но настоящими друзьями они никогда не были! Неужели теперь его судьба неразрывно связана с судьбой Богнера? Какая чепуха! Одиннадцать — двенадцать, одиннадцать — двенадцать. Двенадцать, быть может, звучит лучше, чем одиннадцать, быть может, эта цифра принесет ему счастье... Быть может, именно потому, что он попросит двенадцать, произойдет чудо. И всю дорогу от Альзерских казарм до старинного дома в узком переулке позади собора святого Стефана он раздумывал над тем, попросить у дяди одиннадцать или двенадцать тысяч гульденов — как будто от этого зависела удача, как будто от этого в конце концов зависела его жизнь.

Он позвонил, дверь открыла пожилая женщина, которой он не знал. Вилли назвал свое имя.

Пусть дядя — а он племянник господина Вильрама — простит его, речь идет о чрезвычайных обстоятельствах, и он ни в коем случае не задержит его надолго.

Женщина, сначала весьма сдержанная, удалилась, но вернулась удивительно быстро с более приветливым видом, и Вилли — он глубоко вздохнул — был тотчас же пропущен к дяде.

Х

Дядя стоял у одного из двух высоких окон. На нем был не халат, похожий на хламиду, в котором Вилли ожидал его увидеть, а хорошо сшитый, но несколько поношенный, светлый летний костюм и лакированные полуботинки, утратившие свой глянец. Он приветствовал племянника широким, хотя немного усталым жестом.

— Здравствуй, Вилли. Очень приятно, что ты наконец снова вспомнил о своем старом дяде. Я думал, ты меня уж совсем забыл.

Ответ напрашивался сам собой, и Вилли хотел было сказать, что последнее время дядя не принимал его и не отвечал на его письма, но он предпочел выразиться осторожнее:

— Ты живешь так замкнуто, что я не знал, приятно ли тебе будет меня видеть.

Комната несколько не изменилась. На письменном столе лежали книги и бумаги, зеленый занавес, закрывавший книжные полки, был наполовину раздвинут, и из-за него виднелось несколько старых кожаных переплетов. Над диваном, как и раньше, висел персидский ковер, на диване лежали маленькие вышитые подушечки. На стене висели две пожелтевшие гравюры, изображавшие итальянские пейзажи, и фамильные портреты в тусклых позолоченных рамах. Портрет сестры по-прежнему стоял на своем месте на письменном столе обратной стороной к Вилли, — он узнал его по контурам и рамке.

— Ты не присядешь? — спросил Роберт Вильрам.

Вилли стоял с фуражкой в руке, при сабле, вытянувшись, словно на рапорте. Однако начал он тоном, не слишком соответствовавшим его выправке:

— По правде говоря, милый дядя, я, быть может, не пришел бы и сегодня, если бы не... Одним словом, речь идет об одном очень, очень важном обстоятельстве.

— Что ты говоришь? — заметил Роберт Вильрам дружески, но без особого участия.

— Во всяком случае, очень важном для меня. Одним словом, сразу же скажу начистоту, я сделал глупость, страшную глупость. Я... играл и проиграл больше, чем у меня было.

— Гм, видимо, это даже больше, чем глупость, — сказал дядя.

— Это легкомыслие, — подтвердил Вилли, — непростительное легкомыслие. Я не хочу ничего приукрашивать. Но дело обстоит так: если сегодня к семи часам вечера я не выплачу свой долг, я... я просто... — Он пожал плечами и замолчал, как упрямый ребенок.

Роберт Вильрам сочувственно покачал головой, но не сказал ни слова. Тишина в комнате становилась не-

выносимой, поэтому Вилли заговорил опять. Он торопливо рассказал о всем пережитом вчера. Он поехал в Баден, чтобы навестить больного товарища, но встретился там с другими офицерами, добрыми знакомыми, они и уговорили его сыграть партию в карты. Сначала все было вполне добропорядочно, а потом постепенно начался дикий азарт, и он уже ничего не мог поделать. Партнеров он лучше называть не будет, за исключением одного, того, кому он задолжал. Это некий господин Шнабель, крупный коммерсант, южноамериканский консул, который, к несчастью, завтра утром отправляется в Америку. В случае если долг не будет уплачен до вечера, он грозитя сообщить полковому командиру.

— Ты понимаешь, дядя, что это значит, — заключил Вилли и вдруг бессильно опустился на диван.

Дядя, глядя на стену поверх Вилли, по-прежнему ласково спросил:

— О какой же сумме, в сущности, идет речь?

Вилли снова заколебался. Сначала он все-таки хотел прибавить тысячу гульденов для Богнера, но потом вдруг подумал, что именно этот маленький привесок может погубить все дело, и поэтому назвал лишь ту сумму, которую был должен сам.

— Одиннадцать тысяч гульденов, — повторил Роберт Вильрам, покачав головой, и в голосе его прозвучало чуть ли не восхищение.

— Я знаю, — быстро заговорил Вилли, — это целое небольшое состояние. И я вовсе не собираюсь оправдываться. Это было низкое легкомыслие, но, мне кажется, первое в моей жизни и, уж конечно, последнее. И я не могу сделать ничего другого, как поклясться тебе, дядя, что я до смерти больше никогда не притронусь к картам, что суровой и примерной жизнью я постараюсь доказать тебе свою вечную благодарность, что я готов... что я торжественно обещаю раз и навсегда отказаться от всех претензий, которые могли бы возникнуть из нашего родства, если только ты на этот раз... ты на этот раз, дядя...

Если до сих пор Роберт Вильрам не проявлял видимого беспокойства, то теперь он заметно заволновался. Сначала, как бы обороняясь, он поднял одну руку, затем другую, словно этим выразительным жестом хотел

принудить племянника замолчать, и вдруг необычно высоким, почти пронзительным голосом прервал его:

— Очень сожалею, искренне сожалею, но я, при всем желании, не могу тебе помочь.

И не успел Вилли раскрыть рот, чтобы возразить ему, как он добавил:

— Совершенно не могу помочь; все дальнейшие слова излишни, поэтому больше не трудись.

И он отвернулся к окну.

Вилли сначала был словно громом поражен, но потом сообразил, что он ни в коем случае не мог надеяться на успех с первой попытки, и поэтому начал снова:

— Я ведь не строю себе никаких иллюзий, дядя, моя просьба — бесстыдство, беспримерное бесстыдство. Да я никогда и не отважился бы обратиться к тебе, будь у меня малейшая возможность достать деньги иным путем. Но ты только поставь себя на мое место, дядя. У меня на карте все, все, а не только моя военная карьера. Что мне еще делать, на что еще я могу рассчитывать? Я больше ничему не учился, ничего больше не умею. Да я и не смогу вообще жить, если меня уволят... Как раз только вчера я случайно встретился с одним бывшим товарищем, который тоже... Нет, нет, лучше пулю в лоб! Не сердись на меня, дядя. Ты только представь себе все это. Отец был офицер, дед умер в чине фельдмаршал-лейтенанта. Боже мой, я не могу так кончить! Это было бы слишком жестоком наказанием за легкомысленный поступок. Ты же знаешь, я не игрок. И у меня никогда не было долгов — даже за последний год, когда мне частенько приходилось туго. И я никогда не поддавался, хотя ко мне не раз приставали. Я понимаю — сумма огромная! Наверно, даже у ростовщика я не раздобыл бы столько денег. А если бы и раздобыл, что бы из этого вышло? Через полгода я должен был бы в два раза больше, через год вдесятеро и...

— Довольно, Вилли, — прервал его Вильрам еще более пронзительным голосом, чем раньше. — Довольно! Я не могу тебе помочь; и хотел бы, да не могу, понимаешь? У меня самого ничего нет, нет даже сотни гульденов. Вот, убедись... — Он принялся открывать один за другим ящики письменного стола, комода, словно доказательством его слов могло служить то, что там действительно не было видно ни ассигнаций, ни монет, а ва-

лялись лишь бумаги, коробки, белье и всякий хлам. Затем он бросил на стол и свой кошелек.— Взгляни сам, Вилли, и если найдешь там больше ста гульденов, считай меня... кем хочешь.

И вдруг рухнул в кресло и так тяжело опустил руки на письменный стол, что несколько листов бумаги слетело на пол.

Вилли бросился поднимать их и обвел взглядом комнату, словно пытаясь где-нибудь обнаружить изменения, подтверждавшие такую непостижимую перемену в жизни дяди. Но все выглядело точно так же, как два-три года тому назад. И он спрашивал себя, действительно ли положение вещей такое, каким его изобразил дядя. Ведь если два года назад старый чудак так неожиданно, так внезапно бросил его в нужде, так, может быть, и сейчас он всей этой ложью, всей этой комедией тоже хочет оградить себя от дальнейших настояний и просьб племянника? Как! Это все та же комфортабельная квартира в центре города, все та же прислуга; в шкафу, как и раньше, красуются книги в красивых кожаных переплетах; на стенах по-прежнему висят картины в тусклых золоченых рамах, а владелец всего этого между тем превратился в нищего? Куда же делось его состояние за последние несколько лет? Вилли не верил дяде. У него не было ни малейших оснований верить ему и еще меньше оснований — признать себя побежденным, да и в любом случае терять было больше нечего. Он рискнул на последнюю попытку, но не проявил той смелости, которую за собой предполагал: к своему удивлению и стыду, он вдруг сложил руки, встал перед дядей и начал умолять его:

— Речь идет о моей жизни, дядя. Поверь мне, речь идет о моей жизни. Я прошу тебя, я...

Голос отказал ему, и, повинуясь внезапному порыву, он схватил портрет матери и, словно заклиная, протянул его дяде. Но тот, слегка нахмурившись, бережно взял портрет у него из рук, спокойно поставил его на место и тихо, без тени недовольства заметил:

— Вовсе незачем впутывать в эту историю мать. Она тебе не поможет... так же как и мне. Если бы я *не хотел* тебе помочь, Вилли, мне не потребовались бы отговорки. Я не признаю обязательств, особенно в подобных случаях. Мне кажется, порядочным человеком

можно быть... и стать всегда, в штатском костюме тоже. Честь люди теряют иначе. Но сегодня ты еще не способен это понять. И потому я говорю тебе еще раз: если бы у меня были деньги, я бы отдал их тебе, можешь поверить. Но у меня их нет. У меня *нет ничего*. У меня нет больше никакого состояния. Я располагаю лишь пожизненной личной рентой. Да, каждого первого и пятнадцатого мне выплачивают столько-то и столько-то, а сегодня, — с мрачной улыбкой он показал на бумажник, — сегодня двадцать седьмое. — И, заметив в глазах Вилли внезапно вспыхнувший луч надежды, он тотчас же добавил: — Ах, ты полагаешь, я мог бы сделать заем под ренту? Но это, мой дорогой Вилли, зависит от того, *кто и на каких условиях* ее мне выплачивает.

— Но, может быть, дядя, это все-таки осуществимо, может быть, нам удалось бы вместе...

— Нет, это безнадежно, совершенно безнадежно, — стремительно перебил его Роберт Вильрам. И как бы в тупом отчаянии добавил: — Я не могу тебе помочь, поверь мне, не могу.

Он отвернулся.

— Итак, — сказал Вилли, помолчав, — мне остается лишь попросить у тебя извинения за то, что я... Прощай, дядя.

Он был уже у дверей, когда голос Роберта снова остановил его.

— Вилли, пойди сюда. Я не хочу, чтобы ты меня... Тебе я могу сказать об этом. Так вот, все свое состояние, — кстати, оно было не так уж велико, — я перевел на имя жены.

— Ты женат! — удивленно воскликнул Вилли, и глаза его засветились новой надеждой. — Но, если деньги у твоей супруги, то ведь можно же найти какой-нибудь способ... Мне кажется, если ты скажешь своей жене, что...

— Ничего я ей не скажу, — нетерпеливым жестом прервал его Роберт Вильрам. — Не настаивай больше. Все это напрасно.

Он замолчал.

Но Вилли, не желая расстаться с последней, только что забрезжившей надеждой, попытался возобновить разговор:

— Твоя... супруга живет, наверное, не в Вене?

— Нет, она живет в Вене, но, как видишь, не вместе со мной.

Он несколько раз прошелся по комнате, затем горько рассмеялся:

— Я потерял кое-что побольше, чем эполеты, и все-таки продолжаю жить. Да, Вилли.— Он внезапно умолк, но чуть погодя начал снова:— Свое состояние я перевел на ее имя полтора года назад... добровольно. И сделал я это, собственно говоря, больше ради себя, чем ради нее... Я ведь не очень разбираюсь в делах, а она... Нужно отдать ей должное, она очень экономна и очень деловита, так что она и деньгами распорядилась разумнее, чем я когда-либо мог это сделать. Она вложила их в какие-то предприятия,— не знаю точно в какие, да ведь я ничего бы в этом и не понял. Рента, которую я получаю, составляет двенадцать с половиной процентов; это немало, так что жаловаться мне не приходится... Двенадцать с половиной процентов. Но и ни крейцера больше. Вначале я время от времени делал попытки получить аванс, но они оказались тщетны. Впрочем, после второй же попытки я благоразумно от этого отказался, потому что жена полтора месяца отказывалась видеться со мной и поклялась, что я вообще ее никогда в глаза не увижу, если еще хоть раз заикнусь о чем-либо подобном. И тогда... тогда я не захотел рисковать. Она нужна мне, Вилли, я не могу жить без нее. Теперь я вижу ее раз в неделю, раз в неделю она приезжает ко мне. Да, она выполняет наш договор, она вообще самое аккуратное существо на свете. Она еще ни одного дня не пропустила, да и деньги поступают точно — первого и пятнадцатого числа. А летом мы каждый год куда-нибудь уезжаем вместе на две недели. Это тоже обусловлено нашим договором. Но остальное время принадлежит ей.

— А ты, дядя, сам никогда не ходишь к ней? — несколько смущенно спросил Вилли.

— Конечно, хожу, Вилли. В первый день рождества, в пасхальное воскресенье и на троицу. В нынешнем году троица будет восьмого июня.

— А если ты... прости, дядя... если бы тебе пришлось в голову в какой-нибудь другой день... В конце концов, дядя, ты ее муж, и кто знает, может быть, ей даже польстило бы, если бы ты как-нибудь...

— Я не могу рисковать,— прервал его Роберт Вильрам.— Однажды,— раз уж я тебе все рассказал,— однажды вечером я ходил возле ее дома взад и вперед по улице битых два часа...

— И что же?

— Она не показалась. А на следующий день я получил от нее письмо, в котором было сказано только, что я больше никогда в жизни не увижу ее, если еще хоть раз позволю себе торчать у ее дома. Вот как обстоит дело, Вилли. И я знаю, если бы даже от этого зависела моя собственная жизнь, она скорее дала бы мне погибнуть, чем выплатила бы раньше срока хоть десятую часть того, что ты просишь. Легче тебе уговорить господина консула, чем мне смягчить сердце «госпожи супруги».

— А что... она всегда была такая? — спросил Вилли.

— Не все ли равно,— нетерпеливо ответил Роберт Вильрам.— Если бы я даже все предвидел заранее, мне это ничем бы не помогло. Я покорился ей с первой же минуты, вернее, с первой же ночи, и эта ночь стала нашей брачной ночью.

— Разумеется,— сказал Вилли, словно про себя.

Роберт Вильрам расхохотался.

— Ах, ты думаешь, она была порядочной девушкой из приличной буржуазной семьи? Ты ошибаешься, мой милый Вилли, она была проститутка. И кто знает, не осталась ли она ею и до сих пор... для других.

Вилли счел своим долгом выразить жестом сомнение; и оно у него действительно было, ибо после всего, что рассказал дядя, ему было трудно представить себе эту женщину молодым и очаровательным созданием. Она упорно рисовалась ему тощей, желтой, безвкусно одетой, востроносой пожилой особой, и на мгновение он даже подумал, не хочет ли дядя, заведомо несправедливо понося ее, просто высказать свое возмущение ее недостойным обращением с ним. Но Роберт Вильрам, не дав ему сказать ни слова, продолжал:

— Впрочем, проститутка — это, быть может, слишком громко сказано. Она была в то время цветочницей. Первый раз я увидел ее у Хорнига года четыре с лишним тому назад. Впрочем, и ты тоже. Да, возможно, ты ее даже помнишь.— И в ответ на вопрошающий взгляд Вилли добавил: — Мы еще тогда были там большой ком-

панией; праздновали юбилей певца Крибаума. На ней было ярко-бордовое платье, голубой шарф на шее и белокурые взъерошенные волосы.— И с некоторым злорадством он добавил: — Вид у нее был довольно вульгарный. А на следующий год у Ронахера она выглядела уже совсем иначе и могла сама выбирать себе мужчин. Я, к сожалению, у нее успехом не пользовался. Иными словами: я казался ей недостаточно состоятельным для своего возраста. Ну, а затем произошло то, что часто бывает, когда старый осел дает молодой бабенке вскружить себе голову. Так два с половиной года тому назад я и женился на фрейлейн Леопольдине Лебус.

«Значит, ее фамилия Лебус», — подумал Вилли. Впрочем, девушка, о которой рассказывал дядя, и не могла быть не кем иным, как Леопольдиной, хотя Вилли уже давно забыл это имя, — ему это стало ясно сразу же, едва дядя упомянул Хорнига, бордовое платье, белокурые взъерошенные волосы. Разумеется, он поостерегся выдать себя, потому что, как бы мало иллюзий ни питал дядя относительно прошлого фрейлейн Леопольдины Лебус, ему все же вряд ли было бы приятно узнать, чем кончился тот вечер у Хорнига, когда Вилли, проводив дядю домой, в три часа ночи опять потихоньку встретился с Леопольдиной и пробыл с нею до утра. Поэтому на всякий случай он сделал вид, словно никак не может припомнить тот вечер, и, чтобы сказать дяде что-нибудь утешительное, заметил, что как раз из таких взъерошенных блондинок часто получают очень славные жены и хозяйки, в то время как девушки из хороших семейств с безупречной репутацией сильно разочаровывают своих мужей. Он даже привел в пример одну баронессу, которая вышла замуж за его товарища; это была молодая женщина из утонченнейшей аристократической семьи, а не прошло и двух лет после свадьбы, как она уже была представлена другому товарищу в одном из заведений, где можно получить «порядочную женщину» по твердой цене. Холостой товарищ счел своим долгом довести это до сведения женатого; в результате: суд чести, дуэль, тяжелое ранение мужа, самоубийство жены! Дядя, по-видимому, читал об этом в газетах? Этот случай наделал тогда немало шуму. Вилли говорил так оживленно, словно эта история вдруг

заинтересовала его больше, чем его собственная, и наступил момент, когда Роберт Вильбрам взглянул на него с некоторым отчуждением. Вилли опомнился, и хотя дядя отнюдь не мог угадать, какой план возник и созревал у Вилли, он все же счел за благо умерить свой пыл и оставить тему, в сущности, не имевшую к нему никакого отношения. Затем несколько неожиданно он объявил, что теперь, после разъяснений дяди, он, конечно, больше настаивать не будет, и даже согласился с тем, что уж лучше попытаться договориться с консулом Шнабелем, чем с бывшей фрейлейн Леопольдиной Лебус. К тому же не исключено, что обер-лейтенант Гёхстер, получивший небольшое наследство, или же тот военный врач, который также принимал вчера участие в игре, не откажутся общими усилиями выручить его из столь опасной ситуации. Да, прежде всего ему надо найти Гёхстера: тот сегодня дежурный по полку.

Земля горела у Вилли под ногами. Он взглянул на часы, сделал вид, что торопится еще больше, чем на самом деле, пожал дяде руку, поправил саблю и ушел.

XI

Прежде всего нужно было узнать адрес Леопольдины, и Вилли немедленно отправился в справочное бюро. В этот момент он не допускал мысли, что она не выполнит его просьбу, если только он убедит ее, что жизнь его — на карте. Облик ее, едва ли когда-нибудь возникавший с тех пор перед ним, и весь тот вечер ожили в его памяти. Он увидел белокурую растрепанную головку на белой наволочке из грубого полотна, сквозь которую просвечивала красная подушка, бледное, по-детски трогательное личико, освещенное тусклым светом летнего утра, пробивавшимся сквозь щели поломанных зеленых деревянных жалюзи, увидел узкое золотое колечко с поддельным камушком на указательном пальце правой руки, лежавшей поверх красного одеяла, узкий серебряный браслет на запястье левой руки, которой она помахала ему, когда он с нею прощался. Она так ему тогда понравилась, что, уходя от нее, он твердо решил вновь встретиться с нею. Но случайно именно в это время на него имела более старые права другая

женщина, любовница одного банкира, которая не стоила ему ни гроша, что в его положении было далеко не маловажно; и случилось так, что он больше не зашел к Хорнигу и не воспользовался адресом ее замужней сестры, у которой она жила и куда он мог хотя бы написать ей. После той единственной ночи он больше никогда не видел ее. Но что бы с тех пор ни случилось в ее жизни, не могла же она так измениться, чтобы спокойно дать произойти тому... что должно произойти, если она откажет ему в его просьбе, выполнить которую ей так легко.

Ему пришлось целый час прождать в справочном бюро, прежде чем он получил бумажку с адресом Леопольдины. Затем он нанял карету, доехал до угла переулка, в котором она жила, и вышел.

Дом — сравнительно новый, пятиэтажный, выглядевший не слишком приветливо — находился против дровяного склада, огороженного забором.

На третьем этаже ему открыла кокетливо одетая горничная. В ответ на его вопрос, может ли он поговорить с фрау Вильрам, она не спеша осмотрела его; тогда он протянул ей свою визитную карточку: «Вильгельм Касда, лейтенант 98-го пехотного его имп. и кор. величества полка, Альзерские казармы». Девушка сразу же вернулась, доложив, что фрау Вильрам очень занята; что, собственно, угодно господину лейтенанту? Только теперь он понял, что Леопольдина, вероятно, не знает, как его зовут. Он задумался: назваться ему просто старым другом или же, шутки ради, выдать себя за кузена господина фон Хорнига; но тут дверь открылась, из нее вышел пожилой, плохо одетый мужчина с черным портфелем и направился к выходу. Затем раздался женский голос: «Господин Красны!» — но мужчина, вышедший уже на лестничную площадку, не услышал оклика, и тогда дама, звавшая его, сама вышла в переднюю, еще раз позвала господина Красны, и тот оглянулся. Но Леопольдина уже увидела лейтенанта и, судя по ее взгляду и улыбке, сразу узнала его. Она нисколько не была похожа на ту девчонку, которая сохранилась в его памяти: это была статная и полная женщина, даже как будто выше ростом; у нее была простая, гладкая, почти строгая прическа и — что особенно странно — пенсне со шнурком, закинутым за ухо.

— Пожалуйста, господин лейтенант,— сказала она. Только теперь он заметил, что черты лица ее, собственно говоря, нисколько не изменились.— Пожалуйста, проходите, я сейчас буду к вашим услугам.

Она указала на дверь, из которой вышла, повернулась к господину Красны и тихо, так что Вилли ничего не расслышал, но настойчиво стала давать ему какое-то поручение. Тем временем Вилли вошел в большую светлую комнату, посреди которой стоял длинный стол с письменным прибором, линейками, карандашами, конторскими книгами. У стены справа и слева возвышались два высоких книжных шкафа, над столиком с газетами и проспектами висела большая карта Европы, и Вилли невольно вспомнил о бюро путешествий в одном провинциальном городе, куда он ездил однажды по делам. Но тут же мысленно он увидел нищенский номер гостиницы, с поломанными жалюзи и подушкой, просвечивающей сквозь наволочку... и на душе у него стало странно, словно наяву ему снился сон...

Леопольдина вошла, закрыла за собой дверь, повертела пальцами пенсне, затем приветливо, но без заметного волнения протянула лейтенанту руку. Он склонился, словно собираясь поцеловать ее, однако Леопольдина тотчас же отдернула руку.

— Садитесь, господин лейтенант. Чему я обязана удовольствием видеть вас?

Она указала ему на удобный стул, сама же села напротив, на стул попроще, стоявший у длинного стола, заваленного конторскими книгами, как видно, на свое обычное место. Вилли показалось, что он находится на приеме у адвоката или врача.

— Сударыня,— слегка откашлявшись, начал Вилли,— прежде всего я хочу предупредить вас, что ваш адрес я получил не от дяди.

Она удивленно взглянула на него.

— От дяди?

— Мой дядя — Роберт Вильрам,— с ударением произнес Вилли.

— Ах да,— рассмеялась она, не глядя на него.

— Разумеется, он ничего не знает об этом визите,— несколько живее продолжал Вилли.— Это я должен отметить особо.— Она снова удивленно посмотрела на него.— Я вообще давно с ним не вижусь, но это не моя

вина. Только сегодня, по ходу разговора, он сообщил мне, что за это время... женился.

Леопольдина весело кивнула.

— Папироску, господин лейтенант?

Она указала на открытую коробку, он взял папиросу, она поднесла ему спичку и закурила сама.

— Итак, могу ли я наконец узнать, каким обстоятельствам я обязана удовольствию...

— Сударыня, меня привело к вам то же самое дело, с которым... я приходил и к дяде. Дело это... весьма затруднительное, в этом я, к сожалению, должен сознаться сразу. — Взгляд ее тотчас же заметно помрачнел. — Я не хочу отнимать у вас много времени, сударыня. Словом, без обиняков: я бы вас очень просил... одолжить мне месяца на три некоторую сумму.

Как ни странно, взгляд ее снова просветлел.

— Ваше доверие мне очень льстит, господин лейтенант, — сказала она, стряхивая пепел, — хотя я, собственно, и не знаю, чем заслужила такую честь. Во всяком случае, могу ли я узнать, о какой сумме идет речь?

Она слегка постучала своим пенсне по столу.

— Об одиннадцати тысячах гульденов, сударыня.

Он пожалел, что не сказал — о двенадцати, хотел было поправиться, но вдруг ему пришло в голову, что консул, быть может, удовлетворится десятью тысячами, — и тогда он так и остановился на одиннадцати.

— Да, — сказала Леопольдина, — одиннадцать тысяч — это действительно уже можно назвать «некоторой суммой». — Она провела кончиком языка между зубов. — А какое обеспечение вы предложили бы мне, господин лейтенант?

— Я офицер, сударыня.

Она улыбнулась — почти добродушно.

— Простите меня, господин лейтенант, но в деловых кругах это еще не означает гарантии. Кто мог бы поручиться за вас?

Вилли замолчал и уставился в пол. Грубый отказ и тот смутил бы его меньше, чем эта ледяная учтивость.

— Простите, сударыня, — сказал он. — Формальную сторону дела я, право, еще недостаточно продумал. Я нахожусь в совершенно отчаянном положении. Речь идет о долге чести, который я должен уплатить до

завтра, до восьми часов утра. Иначе погибла моя честь и... все, что связано с нею для нашего брата.

Ему почудилось в ее глазах нечто вроде участия, и тогда он рассказал ей, точно так же как час назад дяде, но живее и искуснее, все злоключения прошлой ночи. Она слушала его со все более явными признаками сочувствия, даже сострадания. И когда он закончил, спросила, многообещающе прищутив глаза:

— И я... я — единственный человек в мире, к которому ты бы мог обратиться в такой момент, Вилли?

Эти слова, особенно ее «ты», сделали его счастливым. Он уже считал себя спасенным.

— Разве я иначе был бы здесь? — спросил он. — У меня действительно больше никого нет.

Она участливо покачала головой.

— Тем более мне тяжело, — сказала она и медленно притушила свою тлеющую папиросу, — что я, к сожалению, не могу быть тебе полезной. Мое состояние вложено в различные предприятия. Я никогда практически не располагаю наличными. Мне действительно очень жаль.

И она поднялась с кресла, словно заканчивая аудиенцию. Вилли, глубоко испуганный, продолжал сидеть. И медленно, беспомощно, почти заикаясь, он стал просить ее, нельзя ли, ввиду благополучного состояния ее дел, все же устроить ему заем за счет кассовой наличности или помочь найти кредит.

Губы ее сложились в ироническую улыбку, и,нисходительно усмехнувшись над его наивностью в делах, она сказала:

— Ты представляешь себе вещи несколько проще, чем они есть на деле, и, очевидно, считаешь само собой разумеющимся, что ради твоих интересов я пушусь в финансовые операции, которых для себя лично никогда и ни за что не предприняла бы. И к тому же еще безо всяких гарантий! Да разве я могу пойти на это?

Но эти последние слова опять прозвучали так любезно, даже шутливо, словно в глубине души она уже была готова сдаться и только ждала от него заклинающих слов мольбы. Он решил, что нашел такие слова, и сказал:

— Сударыня... Леопольдина... На карте стоят мое существование, моя жизнь.

Она слегка вздрогнула; он почувствовал, что зашел слишком далеко, и тихо добавил:

— Простите, пожалуйста.

Взгляд ее стал непроницаем, и, немного помолчав, она холодно заметила:

— Во всяком случае, я ничего не могу решить, не посоветовавшись с моим адвокатом.— И, увидев, как глаза его снова засветились надеждой, сделала предупреждающий жест.— У меня все равно назначено с ним совещание сегодня, в пять часов, у него в конторе. Я посмотрю, не удастся ли что-нибудь предпринять. Тем не менее советую тебе никак не рассчитывать, потому что так называемой принципиальной проблемы я из этого, конечно, не сделаю.— И со внезапной суровостью она добавила: — Да и зачем? — Потом снова улыбнулась, протянула ему руку и на этот раз позволила ее поцеловать.

— И когда же я могу получить ответ?

На секунду она задумалась.

— Где ты живешь?

— В Альзерских казармах,— поспешно ответил он.— Офицерский корпус, третий подъезд, комната четыре.

Она еле заметно улыбнулась. Затем медленно произнесла:

— В семь, в половине восьмого я уже буду точно знать, смогу ли я или нет...— Она снова задумалась и решительно закончила: — Я сообщу тебе об этом между семью и восемью через доверенное лицо.

Она открыла дверь и проводила его в переднюю:

— До свидания, господин лейтенант.

— До свидания,— ответил он смущенно.

Взгляд у нее был холодный и чужой. И когда горничная распахнула перед господином лейтенантом дверь на лестницу, фрау Леопольдина Вильрам уже скрылась в своей комнате.

XII

За то короткое время, которое Вилли провел у Леопольдины, он прошел через такую смену настроений — разочарование, надежду, радость и вновь разочарование, что спускался по лестнице, как в тумане. Только на

свежем воздухе к нему вернулась некоторая ясность мысли, и теперь его положение в целом показалось ему вовсе не таким уж плохим. Сомнений не было, если только Леопольдина захочет, она достанет для него деньги: в ее власти уговорить своего адвоката на что угодно, это доказывает весь ее облик; наконец, в ее сердце остается еще местечко и для него — эта уверенность была в Вилли так сильна, что он, мысленно перепрыгнув через много лет, внезапно увидел себя мужем овдовевшей фрау Леопольдины Вильрам, ставшей теперь майоршей Касда.

Однако эта иллюзия быстро рассеялась, пока он, бесцельно прогуливаясь по не очень людным переулкам, разомлевшим от знойного дня, выходил к Рингу. Он снова вспомнил неприглядную контору, где его принял Леопольдина, и ее лицо, которое то дышало женской привлекательностью, то снова приобретало твердое, почти суровое выражение, минутами пугавшее Вилли. Но что бы ни произошло дальше, его ожидало еще много часов неизвестности, и надо было их как-то провести. Ему пришло в голову устроить себе в этот день, что называется, «веселую жизнь», даже если это... *последний* день его жизни, а может быть, именно поэтому. Он решил пообедать в одном из лучших ресторанов, где когда-то несколько раз ужинал с дядей. Усевшись в темном, прохладном углу ресторана, он превосходно поел, выпил бутылку терпко-сладкого вина, и мало-помалу его охватила такая приятная истома, которую он никак не мог побороть. В ресторане, кроме него, посетителей не было. Он закурил дорогую сигару и, забравшись в угол бархатного дивана, подремал там немного, а когда официант предложил ему настоящие египетские папиросы, он купил сразу целую коробку: теперь все равно; если даже произойдет самое худшее, он завещает их своему денщику.

Когда он опять вышел на улицу, у него было такое чувство, словно ему предстояло какое-то опасное, но тем не менее интересное приключение, нечто вроде дуэли. И он вспомнил вечер, вернее, половину ночи, проведенную два года назад с одним приятелем, который на следующее утро должен был стреляться на пистолетах; сначала с ними было несколько женщин, потом они остались вдвоем и вели серьезную, даже фило-

софскую беседу. Да, этот приятель чувствовал себя, наверное, так же, как он сейчас; но тогда все окончилось благополучно, и Вилли видел в этом что-то вроде счастливого предзнаменования.

Он прогуливался по Рингу, молодой, не слишком элегантный, но стройный, довольно красивый офицер; он видел по множеству взглядов, что проходившие мимо женщины из самых разных слоев общества с удовольствием смотрели на него. Перед каким-то кафе на свежем воздухе он выпил черного кофе, выкурил папиросу, полистал иллюстрированные журналы; невидящими глазами он разглядывал прохожих, и лишь постепенно, как бы помимо его воли, реальная действительность ясно встала перед ним. Было пять часов. День неотвратимо, хотя и слишком медленно, двигался вперед. Разумнее всего было сейчас пойти домой и постараться чуть-чуть отдохнуть. Он сел в конку, вышел у казармы и, удачно избежав нежелательных встреч, прошел через двор к себе.

Йозеф, чистивший в передней гардероб господина лейтенанта, доложил, что ничего нового не произошло, вот только... господин фон Богнер еще раз заходил утром и оставил свою визитную карточку.

— К чему мне его карточка? — зло бросил Вилли.

Карточка лежала на столе, Богнер написал на ней свой домашний адрес: Пиаристенгассе, двадцать. «Два шага отсюда, — подумал Вилли. — А впрочем, не все ли мне равно, далеко или близко живет этот дурак».

Этот назойливый субъект преследовал его, словно кредитор. Вилли хотел было разорвать карточку, потом передумал, небрежно закинул ее на комод и снова обратился к денщику: вечером, часов в семь-восемь, к нему придут и спросят господина лейтенанта Касду: это будет мужчина или женщина вместе с дамой, а возможно, и одна дама.

— Понятно?

— Так точно, господин лейтенант.

Вилли закрыл за собою дверь, вытянулся на диване, до того коротком, что ноги его свешивались ниже подлокотников, и, словно упал в пропасть, погрузился в сон.

Проснулся он от какого-то шороха, когда уже смеркалось; он открыл глаза и увидел, что перед ним стоит молодая женщина, одетая в летнее платье в белую и синюю горошину. Еще не совсем очнувшись, он приподнялся, увидел, что за спиной женщины с робким, словно виноватым видом стоит его денщик, и тотчас же услышал голос Леопольдины:

— Извините, господин лейтенант, что я не разрешила вашему... господину денщику доложить обо мне, но я хотела дождаться, пока вы проснетесь сами.

«Давно ли она уже здесь? — думал Вилли. — И что это за голос? И как она выглядит? Да она совсем другая, чем была утром. Наверняка принесла деньги».

Он сделал денщику знак, и тот сейчас же скрылся.

— Итак, сударыня, — обратился он к Леопольдине, — вы взяли на себя труд... Я бесконечно счастлив... Прошу вас, сударыня...

И предложил ей сесть.

Она оглядела комнату ясным, почти веселым взглядом и, видимо, осталась ею вполне довольна. В руках она держала зонтик в белую и синюю полоску, великолепно гармонировавший с ее фуляровым платьем в синих и белых горошинах. Соломенная шляпа на ней была не самой последней моды, с широкими полями, с ниспадающими на флорентинский манер искусственными вишнями.

— У вас здесь очень мило, господин лейтенант, — сказала она, и вишни закачались над ее ухом. — Я никогда не думала, что комнаты в казарме выглядят так уютно и симпатично.

— Они не все такие, — отозвался Вилли не без некоторого самодовольства.

— Смотря по тому, кто в них живет, — с улыбкой добавила она.

Смущенный и радостный, Вилли прибрал книги на столе, плотно прикрыл дверцы узкого шкафа и неожиданно предложил Леопольдине папиросу из той коробки, купленной в ресторане. Она отказалась и присела на уголок дивана.

«Выглядит она изумительно, — думал Вилли. — Настоящая женщина из хорошего, состоятельного круга.

Не похожа ни на ту деловую даму, какую я видел сегодня утром, ни на прежнюю лохматую девчонку. Только где же у нее одиннадцать тысяч гульденов?»

Словно угадывая его мысли, она весело, почти игриво, взглянула на него и затем спросила, по-видимому, совершенно бесхитростно:

— А как вы поживаете, господин лейтенант?

Вилли не нашелся, что ответить на такой общий вопрос, и тогда она стала расспрашивать, какая у него служба — легка или тяжела, скоро ли его повысят в чине, какое у него начальство и часто ли он совершает поездки за город, как, например, в это воскресенье. Вилли отвечал, что служба ни легка, ни трудна, начальство у него хорошее, особенно хорошо к нему относится обер-лейтенант Возицки, в чине его повысят, видимо, не раньше, чем через три года, для поездок за город у него, конечно, слишком мало времени, разве что по воскресеньям — мадам это понимает... При этих словах он вздохнул. Леопольдина, ласково подняв на него глаза, так как он все еще продолжал стоять перед нею по другую сторону стола, сказала, что он, надо надеяться, умеет проводить свои вечера разумнее, чем за карточным столом. И казалось бы, в этот момент ей было так легко перейти к делу: «Да, кстати, господин лейтенант, я чуть не забыла — вот та мелочь, о которой вы меня просили сегодня утром...» Но она не произнесла ни одного слова, не сделала ни одного жеста, которые можно было бы так понять. Она лишь смотрела на него с благодушной улыбкой, и ему оставалось по мере возможности поддерживать с ней разговор. Поэтому он рассказал о милом семействе Кесснеров и о красивой даче, на которой они жили, о глупом актере Эльрифе и накрашенной фрейлейн Ригошек и о том, как ночью он в коляске возвращался в Вену.

— Надеюсь, в приятном обществе? — вставила она.

Нет, напротив, с ним вместе ехал один из его вчерашних партнеров. Затем она шутливо спросила его, блондинка, брюнетка или шатенка фрейлейн Кесснер. Он ответил, что и сам точно этого не знает. И в голосе его прозвучал нарочитый намек на то, что сердечные дела не играют в его жизни никакой роли.

— Я думаю, вы, сударыня, представляете себе мою жизнь совсем иначе, чем она есть на самом деле.

Леопольдина смотрела на него участливо, чуть приоткрыв рот.

— Если бы человек не был так одинок, с ним вряд ли бы случались такие роковые истории, — добавил он.

Глаза ее приняли наивно-вопросительное выражение, как будто она не понимала, о чем идет речь, затем она серьезно кивнула, но, вместо того чтобы и теперь к слову заговорить о деньгах (они ведь были при ней) или (еще проще) сразу же безо всяких разговоров выложить ассигнации на стол, заметила:

— Есть одиночество — и одиночество.

— Да, это так, — сказал он.

И так как она, со всем соглашаясь, продолжала кивать, а у него всякий раз, когда беседа прерывалась, все сильнее сжималось сердце, он решил спросить ее, как она провела эти годы и много ли приятного было в ее жизни; но при этом он не рискнул упомянуть о пожилом человеке, за которым она была замужем и который приходился ему дядей, тем более о Хорниге и, уж давно, — о номере в гостинице с поломанными жалюзи и красной подушкой, просвечивавшей сквозь наволочку. Это была беседа не слишком находчивого лейтенанта с красивой молодой женщиной из буржуазного общества, которые, правда, знали друг о друге немало щекотливых подробностей, но оба имели достаточно оснований не касаться их, хотя бы для того, чтобы не разрушить ту атмосферу, которая не лишена была очарования и перспективы. Леопольдина сняла свою флорентинскую шляпу и положила ее около себя на стол. Волосы у нее были причесаны так же гладко, как утром, но несколько локонов по бокам выбились и колечками спадали на виски, и это отдаленно напоминало прежнюю лохматую девчонку.

Становилось все темнее. Вилли уже собирался зажечь лампу, стоявшую в нише белой кафельной печи; но в это мгновение Леопольдина снова взялась за шляпу. Поначалу жест этот, казалось, ничего не означал, ибо при этом она рассказывала об одной прошлогодней поездке за город, когда она через Медлинг, Лиленфельд, Хайлигенкройц попала как раз в Баден, но вдруг она надела флорентинскую шляпу, крепко приколола ее шпильками и с вежливой улыбкой объявила,

что ей пора. Вилли улыбнулся тоже, но это была неуверенная, почти испуганная улыбка. Издевается она над ним, что ли? Или просто хочет насладиться его волнением, его страхом, чтобы в последний момент осчастливить его, сказав, что она принесла деньги! Или она пришла лишь выразить сожаление по поводу того, что ей не удалось достать для него необходимую сумму, и сейчас она не находит слов, чтобы сказать ему это? Во всяком случае — и в этом сомнения не было, — уходить она собиралась всерьез; и ему в его беспомощности оставалось лишь постараться сохранить выдержку и держать себя так, как подобает галантному молодому человеку, осчастливленному посещением молодой, красивой женщины и просто неспособному отпустить ее в самый разгар беседы.

— Почему вы уже уходите? — спросил он тоном разочарованного поклонника и несколько решительнее добавил: — Неужели вы и в самом деле хотите уйти, Леопольдина?

— Уже пора, — ответила она и так же шутливо продолжала: — У тебя на такой чудесный летний вечер, наверно, назначена встреча поинтереснее?

Он облегченно вздохнул, ведь она вдруг снова обратилась к нему с доверчивым «ты», и едва не выдал опять вспыхнувшей в нем надежды. Нет, у него не назначено никакой встречи, уверил он, и не часто в жизни ему приходилось что-либо утверждать с более чистой совестью. Она, не снимая шляпы с головы, немного покочетничала, затем подошла к открытому окну и с внешне запно пробудившимся интересом осмотрела казарменный двор. Впрочем, интересного там было очень мало: перед буфетом за длинным столом сидели солдаты; по двору быстро шел денщик с пакетом под мышкой, другой подкатывал к буфету бочку пива на тачке; два офицера, беседуя, направлялись к воротам. Вилли стоял чуть позади Леопольдины, ее фуляровое платье в белых и синих горошинах едва слышно шуршало, левая рука была опущена, и когда он прикоснулся к ней своей рукой, некоторое время оставалась неподвижной; но постепенно пальцы их сплелись. Из широко раскрытых окон казармы напротив доносились меланхолические звуки: там кто-то упражнялся на трубе.

Молчание.

— Здесь немного грустно, — сказала наконец Леопольдина.

— Ты находишь?

И так как она кивнула, он сказал:

— А ведь могло бы быть и совсем не грустно.

Она медленно повернула к нему голову. Он думал, что она улыбнется, но выражение лица у нее было нежное, почти печальное. Вдруг она выпрямилась и сказала:

— Вот теперь действительно пора; моя Мари ждет меня с ужином.

— Разве вы, сударыня, еще никогда не заставляли Мари ждать?

Он осмелел, увидев, что она улыбнулась, и спросил, не хочет ли она порадовать его и поужинать вместе с ним. Денщик сбегает в Ридгоф, и она не позже десяти успеет вернуться домой. Ее возражения звучали так несерьезно, что Вилли тотчас же выбежал в переднюю, быстро отдал денщику соответствующие распоряжения и опять вернулся к Леопольдине, которая, все еще стоя у окна, широким жестом швырнула через стол на кровать свою флорентинскую шляпу. Начиная с этой минуты, ее словно подменили. Она, смеясь, погладила Вилли по гладко зачесанным волосам, а он обнял ее за талию и посадил рядом с собой на диван. Однако когда он хотел ее поцеловать, она решительно отстранилась; тогда он, отказавшись от дальнейших попыток, спросил, как же она проводит обычно свои вечера. Она серьезно посмотрела ему в глаза.

— Я ведь так занята целый день, — сказала она, — что вечером бываю счастлива отдохнуть и никого не видеть.

Он признался ей, что никак не может понять, чем она, собственно, занимается и, что ему кажется весьма загадочным, как она вообще перешла к такому образу жизни.

Она отвечала уклончиво. Все равно он в таких вещах не смыслит. Он уступил не сразу, попросил ее рассказать, по крайней мере, что-нибудь о своей жизни, не все, разумеется, на это он претендовать не может, но все-таки ему интересно хоть вкратце узнать, как жила она с того дня, когда... когда... они встречались в последний раз. У него на языке вертелось еще много всяких слов, и среди них имя дяди, но что-то мешало ему про-

изнести это имя вслух. И он лишь спросил ее, безо всякого перехода и едва ли кстати, счастлива ли она.

Она помолчала, не глядя на него.

— Разумеется, — тихо сказала она затем. — Прежде всего, я свободный человек — об этом я всегда мечтала больше всего; я ни от кого не завишу... как мужчина.

— Слава богу, ты похожа на мужчину только этим, — сказал Вилли.

Он подсел к ней ближе, стал нежен. Она не сопротивлялась, хотя и была как-то рассеянна. Но когда в передней скрипнула дверь, Леопольдина быстро отодвинулась от него, встала, взяла лампу из ниши камина и зажгла ее. Вошел Йозеф с ужином. Леопольдина окинула взглядом, что тот принес, и одобрительно кивнула.

— У господина лейтенанта, я вижу, есть некоторый опыт, — заметила она, улыбаясь.

Потом она помогла Йозефу накрыть на стол, не позволив Вилли заниматься этим; он сидел на диване и курил папиросу, — как паша, заметил он про себя. Когда все было готово и ужин стоял на столе, Йозеф был отпущен из дому на весь вечер. Перед его уходом Леопольдина сунула ему в руку на чай такую монету, что от изумления он растерялся и стал перед ней во фронт, как перед генералом.

— За твое здоровье! — сказал Вилли и чокнулся с Леопольдиной.

Они выпили до дна, она со звоном поставила рюмку на стол и крепко поцеловала Вилли в губы. Когда же он стал настойчивее, она отстранила его и сказала:

— Сначала — поужинаем! — и переменяла тарелки.

Ела она, как обычно едят здоровые люди, хорошо потрудившиеся за день, ела белыми, крепкими зубами, но в то же время по-светски воспитанно, с хорошими манерами, как едят дамы, которым приходилось не раз ужинать с изысканными господами в роскошных ресторанах. Бутылка вина была скоро выпита, и господин лейтенант весьма кстати вспомнил, что у него в шкафу стоит еще бутылка французского коньяка, приобретенная неизвестно по какому поводу. После второй рюмки Леопольдину стало клонить ко сну. Она откинулась на угол дивана, и когда Вилли наклонился над нею и стал целовать ее в глаза, в губы, в шею, она безвольно, уже словно сквозь сон, пролепетала его имя.

Когда Вилли проснулся, только рассветало и свежий утренний ветерок веял в окно. Однако Леопольдина стояла посреди комнаты, совсем одетая, в своей флорентинской шляпе и с зонтиком в руке. «Боже мой, до чего же крепко я спал!» — было первой мыслью Вилли, и второй: «А где же деньги?» Вот она стоит, в шляпе, с зонтиком, готовая в следующее же мгновение покинуть комнату. Она приветливо кивнула пробудившемуся. Тогда он, словно в тоске, протянул к ней руки. Она подошла ближе и присела на кровать, с ласковым, но серьезным выражением лица. И когда он обнял ее и хотел привлечь к себе, она показала на свою шляпу, на свой зонтик, который она крепко, почти как оружие, держала в руках, и покачала головой:

— Больше никаких глупостей, — и попыталась встать. Он не отпускал ее.

— Не собираешься же ты уйти? — спросил он хрипло.

— Конечно, собираюсь, — сказала она и как-то по-сестрински провела рукой по его волосам. — Мне бы надо отдохнуть как следует несколько часов: в девять у меня важное совещание.

Ему пришло в голову, что, быть может, это совещание — как странно звучит это слово! — посвящено его делу, это консультация с адвокатом, для которой она вчера, вероятно, не нашла времени. И он нетерпеливо спросил ее в упор:

— Совещание с твоим адвокатом?

— Нет, — ответила она просто, — я жду одного делового знакомого из Праги.

Она наклонилась над ним, пригладила его усики, словно приоткрывая губы, небрежно поцеловала их, прошептала: «До свиданья», и поднялась. В следующую секунду она могла уже оказаться за дверью. Сердце у Вилли остановилось. Она уходит? Она уходит так?! И все-таки новая надежда проснулась в нем. Быть может, она из тактичности положила деньги куда-нибудь незаметно? Взгляд его боязливо, беспокойно забегал туда и сюда по комнате — над столом, по каминной нише. Не сунула ли она их под подушку, пока он спал?

Невольно он полез туда рукой. Ничего. Или спрятала в кошелек, лежавший рядом с его карманными часами? Если бы только он мог посмотреть! И в то же время он чувствовал, знал, видел, что она следит за его взглядом, его движениями, следит с насмешливостью, а то и со злорадством. На долю секунды взгляды их встретились. Он отвел свой в сторону, словно его поймали на месте преступления. Она была уже у двери и держалась рукой за щеколду. Он хотел выкрикнуть ее имя, но голос отказал ему, будто сдавило горло, он хотел выпрыгнуть из кровати, броситься к ней, удержать ее. Да, да, он готов был бежать за ней по лестнице в одной рубашке... точно так же... как... — перед его глазами встала картина, виденная им много лет назад в одном провинциальном публичном доме... — как бежала проститутка вслед за мужчиной, не заплатившим ей за любовь... А она, словно услышав на его устах свое имя, которое он так и не произнес, и не снимая руки со щеколды двери, другой рукой полезла вдруг в вырез платья.

— Чуть не забыла, — сказала она небрежно, приблизилась, положила на стол одну ассигнацию. — Вот... — И снова уже была у двери.

Вилли рывком поднялся, сел на край постели и воззрился на ассигнацию. Это была только *одна* бумажка, одна тысяча. Купюр крупнее не бывает, значит, только тысяча.

— Леопольдина! — воскликнул он чужим голосом.

Когда же она, все еще держа руку на щеколде, обернулась и слегка удивленным, холодным, как лед, взглядом посмотрела на него, его охватил стыд, такой глубокий, такой мучительный стыд, какого он не испытывал еще никогда в жизни. Но теперь было уже слишком поздно, нужно было действовать дальше, дальше, как бы стыдно ни было. И с его губ неудержимо сорвалось:

— Этого же мало, Леопольдина! Я просил у тебя не тысячу, а одиннадцать! Ты меня вчера, наверно, не поняла.

И, под ее все более леденеющим взглядом, он невольно натянул одеяло на свои голые ноги.

Она смотрела на него, словно не понимая. Затем несколько раз кивнула, как будто только теперь ей все стало ясно.

— Ах, так, — сказала она, — ты думал... — И быстрым презрительным движением головы указала на ассигнацию. — Она не имеет к этому ровно никакого отношения. Эту тысячу гульденов я даю тебе не в долг. Она твоя... за прошедшую ночь.

И между полуоткрытыми губами Леопольдины, среди сверкающих зубов, забегал ее влажный язык.

Одеяло соскользнуло с ног Вилли. Он встал во весь рост, кровь, пылая, ударила ему в глаза и в голову. Леопольдина, не двигаясь с места, не без любопытства смотрела на него. И так как он не в силах был выдавить ни слова, она спросила:

— Разве этого мало? Что ты, собственно, вообразил? Тысяча гульденов! Тогда я получила от тебя всего лишь десять, помнишь?

Он сделал по направлению к ней несколько шагов. Леопольдина спокойно стояла у двери. Вдруг он схватил ассигнацию, смял ее, пальцы у него дрожали, казалось, он хотел бросить деньги к ее ногам. Тогда она отпустила щеколду, подошла к нему и в упор посмотрела ему в глаза.

— Это совсем не упрек, — сказала она. — На большее я тогда и не претендовала. Десяти гульденов было вполне достаточно, даже слишком много. — И, погрузив свой взгляд еще глубже в его глаза, повторила: — Слишком много... Если быть точным — ровно на десять гульденов больше, чем следовало.

Он пристально посмотрел на нее, опустил глаза, начал кое-что понимать.

— Ведь я же не мог этого знать, — почти беззвучно слетело с его губ.

— Мог, — сказала она в ответ, — догадаться было не так уж трудно.

Он снова медленно поднял голову. И теперь, в глубине ее глаз, он увидел странное мерцание: они светились каким-то милым детским светом, который видел он и тогда, в ту давно прошедшую ночь. И воспоминание вновь ожило в нем — воспоминание не только о той страсти, которую она ему дарила, как многие другие до и после нее, не только о тех нежных, вкрадчивых словах — их он слышал и от других, — но и об удивительной, никогда больше не испытанной им самозабвенности, с которой она обвивала ему шею своими тонкими

детскими руками; и он вновь услышал прозвучавшие тогда слова — таких слов и такого голоса он никогда не слышал больше: «Не оставляй меня, я тебя люблю».

Все забытое им вспомнилось ему снова. И точно так же, как сегодня поступила она, — он это тоже вспомнил, — беспечно, бездумно, пока она еще покоилась в сладкой истоме, он встал тогда с постели и, секунду поколебавшись — нельзя ли обойтись меньшей суммой, щедро положил на ее ночной столик ассигнацию в десять гульденов; и затем, уже в дверях, почувствовав на себе заспанный и тем не менее испуганный взгляд медленно пробуждавшейся женщины, быстро ушел, чтобы еще несколько часов вздремнуть у себя в казарме; а утром, когда он отправлялся на занятия, маленькая цветочница от Хорнига была уже забыта.

Пока та, давно прошедшая ночь так непостижимо оживала перед ним, милый детский свет в глазах Леопольдины постепенно угасал. И вот уже она смотрела на него холодно, отчужденно, и, по мере того как образ той ночи бледнел в нем, Вилли охватывало чувство протеста, ожесточения, гнева. Как она смела? Что это она себе позволила? Зачем прикидываться, словно она и впрямь верит, что он принадлежал ей за деньги? Обращаться с ним, как с сутенером, который заставляет оплачивать свою любовь? И он мысленно обрушивал на нее неслыханные издевательства и гнуснейшую брань за то, что она, как сластолюбец, разочарованный в любовном искусстве проститутки, снижала назначенную цену. Да разве она смеет сомневаться в том, что он швырнул бы ей под ноги все одиннадцать тысяч гульденов, если бы она дерзнула предложить их ему в уплату за любовь!

Оскорбление было уже готово слететь с его губ, он поднял кулак, словно хотел обрушить его на презренную, но слова замерли у него на языке и рука медленно опустилась: он вдруг понял, — как он не догадался об этом раньше? — что он был уже готов *продать* себя. И не только ей, а любой другой, *каждой*, кто мог предложить ему сумму, которая могла его спасти. И — при всей жестокости и коварстве обиды, причиненной ему злобной бабой, — в глубине души, как он ни сопротивлялся, он начал постигать скрытую и тем не менее неизбежную справедливость, которая глубоко потрясла

его, несмотря на всю мрачность и запутанность его положения.

Он очнулся, огляделся по сторонам, словно проснувшись после тяжелого сна. Леопольдины не было. Он не успел открыть рта, как она уже ушла. Он не в состоянии был понять, как она могла исчезнуть из комнаты так внезапно, так незаметно. Он почувствовал во все еще сжатой руке скомканную ассигнацию, бросился к окну и распахнул его, словно собирался швырнуть деньги ей вдогонку. Она шла по двору. Он хотел крикнуть, но она была уже далеко. Она шла вдоль стены бодрой, самодовольной походкой, с зонтиком в руке, в своей покачивавшейся флорентинской шляпе, шла, словно после обычного любовного свидания, как шла после них уже сотни раз. Вот она у самых ворот. Часовой взял перед ней «на караул», будто перед большим начальством, и она скрылась.

Вилли закрыл окно и вернулся в комнату. Взгляд его упал на смятую постель, на стол с остатками ужина, на опустошенные рюмки и бутылки. Невольно он разжал руку, и оттуда выпала ассигнация. В зеркале над комодом он увидел свое лицо — всклокоченные волосы, темные круги вокруг глаз; он содрогнулся, ему стало невыразимо противно, что он еще в рубашке; он схватил шинель, висевшую на вешалке, надел ее в рукава, застегнул, поднял воротник. Несколько раз бесцельно прошелся взад и вперед по комнатке. Наконец, словно зачарованный остановился перед комодом. Там, в среднем ящике, между носовыми платками, лежал револьвер, — он знал это. Да, теперь пора. Так же пора, как и тому, другому, для которого, быть может, это уже позади. Или он все еще ждет чуда? И все-таки он, Вилли, сотворил для него это чудо, даже больше, чем чудо. В эту минуту ему и в самом деле казалось, что он сел за карточный стол только ради Богнера, только ради Богнера он так долго испытывал судьбу, пока сам не стал ее жертвой.

На тарелке рядом с начатыми кусками торта лежала ассигнация, которую он минуту назад бросил туда, и — странное дело! — эта ассигнация даже не выглядела особенно смятой. Она сама по себе расправилась — это заняло совсем немного времени; теперь она была уже гладкой, совсем гладкой, словно чистый лист бумаги,

и никто больше не догадался бы, что это, собственно говоря, не что иное, как плата за позор и грех. И вот эти деньги принадлежали ему, это было его, так сказать, наследство. Горькая усмешка заиграла на его губах. Он может их завещать, если захочет и если на них найдется претендент. Богнер, пожалуй, — скорее чем кто-либо другой. Вилли невольно рассмеялся. Превосходно! О нем-то уж он, во всяком случае, позаботится. Надо надеяться, Богнер за это время еще не покончил с собой. Итак, для него чудо свершилось! Ему остается только подождать.

Где Йозеф? Он же знает, что сегодня выход в поле. Вилли должен был быть готов ровно в три, а сейчас уже половина пятого. Во всяком случае, полк давно ушел. Он спал так крепко, что ничего не слышал. Он открыл дверь в переднюю — там сидел денщик, сидел на табуретке около маленькой железной печки.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — вытянулся он, — я сказал, что господин лейтенант нездоров.

— Нездоров? Кто вам приказал?.. Ах да...

Леопольдина!.. С таким же успехом она могла сказать, что он мертв, — это было бы проще.

— Хорошо. Приготовьте мне кофе, — сказал он и закрыл дверь.

Куда девалась визитная карточка? Он стал искать ее, он искал ее во всех ящиках, на полу, во всех углах... искал так, словно от этого зависела его собственная жизнь. Напрасно. Ее не было... Значит, не суждено. Вот и Богнеру тоже не повезло, — видно, их судьбы неразрывно связаны... Внезапно он увидел ее: она белела в нише камина. Итак, карточка на месте, адрес на ней указан: Пиаристенгассе, двадцать. Совсем близко... А хоть бы и далеко!.. Значит, этому Богнеру все-таки повезло! Ведь, не найди Вилли визитной карточки...

Он взял ассигнацию, долго рассматривал ее, ничего, впрочем, не видя, потом сложил ее пополам, завернул в белый лист бумаги, хотел было написать несколько сопроводительных слов, но пожал плечами: «Зачем?», и написал только адрес на конверте: «Господину оберлейтенанту Отто фон Богнеру». Обер-лейтенанту... Да!.. Он возвращал ему этот чин собственной властью. Все-таки офицер всегда остается офицером, что бы он ни

сделал, или снова становится им... если выплачивает свой долг.

Он позвал денщика, дал ему письмо и велел отнести.

— Поторопитесь.

— Ответ нужен, господин лейтенант?

— Нет. Передадите письмо ему в собственные руки и... ответа не нужно. Когда вернетесь, меня не будите ни в коем случае. Я буду спать, пока сам не проснусь.

— Слушаюсь, господин лейтенант.

Денщик щелкнул каблуками, повернулся и ушел. На пороге он услышал, как позади него в двери повернулся ключ.

XV

Три часа спустя в парадном позвонили. Йозеф, давно уже вернувшийся и мирно дремавший на своем месте, вздрогнул и открыл дверь. За нею стоял Богнер, которому он согласно распоряжению три часа назад передал письмо своего хозяина.

— Господин лейтенант дома?

— Извиняюсь, господин лейтенант еще спит.

Богнер взглянул на часы. Желая немедленно поблагодарить своего спасителя, он сразу же после ревизии отпросился на час и не мог задерживаться дольше. Нетерпеливо он прошелся взад и вперед по маленькой передней.

— Разве господин лейтенант сегодня свободен от службы?

— Господин лейтенант нездоров.

В открытую дверь вошел полковой врач Тугут.

— Господин лейтенант Касда живет здесь?

— Так точно, господин полковой врач.

— Могу я говорить с ним?

— Осмелюсь доложить, господин полковой врач, господин лейтенант нездоров. Сейчас он спит.

— Доложите ему, что пришел полковой врач Тугут.

— Покорнейше прошу простить, господин полковой врач, господин лейтенант приказали его не будить.

— Это срочно. Будите господина лейтенанта под мою ответственность.

Йозеф, чуточку поколебавшись, начал стучать в дверь, а Тугут подозрительно оглядел штатского, стояв-

шего в передней. Богнер представился. Имя офицера, вышедшего в отставку при весьма неприятных обстоятельствах, было знакомо полковому врачу, однако он, не подав вида, назвал в ответ свое имя. Руки они друг другу не подали.

В комнате лейтенанта Касды было по-прежнему тихо. Йозеф постучал сильнее, приложил ухо к двери, пожал плечами и, словно успокаивая присутствующих, сказал:

— Господин лейтенант всегда спят очень крепко.

Богнер и Тугут посмотрели друг на друга, и между ними словно рухнула преграда. Полковой врач сам подошел к двери и громко окликнул Касду по имени. Ответа не было.

— Странно, — нахмурился Тугут и подергал за ручку, но безуспешно.

Йозеф стоял весь бледный, широко раскрыв глаза.

— Позовите полкового слесаря, да поживей, — приказал Тугут.

— Слушаюсь, господин полковой врач.

Богнер и Тугут остались одни.

— Непостижимо, — заметил Богнер.

— Вы в курсе дела, господин... фон Богнер? — спросил Тугут.

— Господин полковой врач имеет в виду проигрыш?

Тугут кивнул.

— Разумеется.

— Я хотел узнать, как у него обстоят дела, — нерешительно начал Тугут. — Удалось ли ему эту сумму... Может быть, вы знаете, господин фон Богнер?

— Мне ничего не известно, — сказал Богнер.

Тугут снова подошел к двери, потряс ее, окликнул Касду по имени. Ответа не было.

Богнер стоял у окна.

— Вон уже Йозеф идет со слесарем.

— Вы были его товарищем? — спросил Тугут.

У Богнера дрогнули уголки рта:

— Я и *сейчас* его товарищ.

Тугут словно и не заметил этой поправки.

— Да, бывает, что после больших волнений... — снова начал он. — Понятно, что он не спал и прошлую ночь.

— Во всяком случае, вчера днем денег у него еще не было, — деловито заметил Богнер.

Тугут, словно предположив, что Богнер, возможно, принес часть требуемой суммы, вопросительно взглянул на него, и тот, как бы отвечая, сказал:

— Мне, к сожалению, не удалось достать ничего.

Появился Йозеф, а с ним и полковой слесарь, упитанный, краснощекий, совсем еще молодой человек в форме полка; необходимый инструмент он принес. Тугут еще раз изо всех сил постучал в дверь — последняя попытка; несколько секунд все стояли, затаив дыхание, — в комнате ничто не шевельнулось.

— Ну-с, — с повелительным жестом повернулся Тугут к слесарю, который тотчас же принялся за работу.

Особенных усилий не потребовалось: через несколько секунд дверь распахнулась.

Лейтенант Вилли Касда, в шинели с поднятым воротником, сидел на черном кожаном диване, в углу, обращенном к окну; веки его были полузакрыты, голова упала на грудь, правая рука бессильно свисала вдоль туловища; на полу лежал револьвер, с виска по щеке струилась узкая полоска темно-красной крови, исчезающая между шеей и воротником. Как ни подготовлены были к этому присутствующие, зрелище потрясло их. Полковой врач приблизился первым. Он взял повисшую руку, поднял ее и опустил, и она снова бессильно упала вдоль тела. Затем Тугут расстегнул на лейтенанте шинель: под ней оказалась лишь широко распахнутая на груди, помятая рубашка.

Богнер невольно наклонился, чтобы поднять револьвер.

— Назад! — крикнул Тугут, прикладывая ухо к обнаженной груди покойного. — Все должно оставаться, как было.

Йозеф и слесарь все еще неподвижно стояли в открытых дверях; слесарь боязливо пожимал плечами и смущенно смотрел на Йозефа, словно чувствуя себя ответственным за то зрелище, которое предстало за вскрытой им дверью.

Внизу послышались чьи-то шаги. Сначала они приближались медленно, затем все быстрее, быстрее, пока не остановились. Богнер невольно перевел глаза на распахнутую дверь. В ней появился пожилой мужчина в светлом, немного поношенном летнем костюме, со

скорбным лицом актера; глаза его беспокойно бегали по сторонам.

— Господин Вильрам! — воскликнул Богнер. — Его дядя, — шепнул он полковому врачу, поднявшемуся от тела покойного.

Роберт Вильрам не сразу осознал, что произошло. Он увидел своего племянника, поникшего в углу дивана с бессильно опущенной рукой, и хотел подойти к нему. Он уже почувствовал, что случилось, но еще не хотел этому верить. Полковой врач удержал его, положив ему руку на плечо.

— К сожалению, случилось несчастье. Ничего сделать нельзя. — И когда Вильрам, словно не понимая, уставился на него, добавил: — Я полковой врач Тугут. Смерть, видимо, наступила уже часа два тому назад.

Внезапно Роберт Вильрам — и это движение всем показалось в высшей степени странным — сунул правую руку в карман пиджака, достал оттуда конверт и помахал им в воздухе.

— Но ведь я же принес их, Вилли! — вскричал он, словно в самом деле веря, что может его этим оживить. — Вот деньги, Вилли! Она дала их мне сегодня утром. Все одиннадцать тысяч, Вилли. Вот они! — И, как бы заклиная, обратился к остальным: — Господа, это же вся сумма, одиннадцать тысяч гульденов! — словно теперь, когда деньги были добыты, следовало, по крайней мере, попытаться разбудить умершего.

— К сожалению, слишком поздно, — сказал полковой врач. Он повернулся к Богнеру. — Пойду напишу рапорт. — И, наконец, строго глянув на денщика, добавил: — Вы отвечаете за то, чтобы все осталось как есть.

И прежде чем уйти, он еще раз оглянулся и пожал Богнеру руку.

«Откуда же он взял эту тысячу... для меня?» — думал Богнер. Взгляд его вдруг упал на стол, отодвинутый от дивана. Он увидел тарелки, рюмки, опустошенные бутылки. Две рюмки!.. Не привел ли он к себе женщину на последнюю ночь?

Йозеф подошел к дивану, где сидел его мертвый хозяин, и застыл рядом с ним, как часовой. Несмотря на это, он не стал возражать, когда Роберт Вильрам неожиданно подошел к покойному с поднятыми, словно

умоляющими руками, в одной из которых все еще был зажат конверт с деньгами.

— Вилли!

Он словно в отчаянии покачал головой. Затем опустился перед мертвым на колени и придвинулся к нему так, что ощутил на его обнаженной груди и смятой рубашке запах духов, показавшийся ему странно знакомым. Он потянул носом и перевел взгляд на лицо покойного, словно пытаясь спросить его о чем-то.

Во дворе раздавался мерный топот — полк возвращался в казармы. Богнеру захотелось уйти раньше, чем в комнате, возможно, появятся его бывшие товарищи. Во всяком случае, его присутствие здесь было лишним. Он бросил последний, прощальный взгляд на покойного, неподвижно поникшего в углу дивана, и, сопровождаемый слесарем, быстро спустился по лестнице. Он подождал у ворот, пока полк не промарширует мимо, затем ушел — медленно, крадучись вдоль стены.

Роберт Вильрам, все еще стоя на коленях перед мертвым племянником, снова скользнул взглядом по комнате. Только теперь он заметил стол с остатками ужина, тарелки, бутылки, рюмки. На дне одной из них еще тускло светилось нечто золотистое. Он спросил денщика:

— Разве у господина лейтенанта вчера вечером кто-то был?

Шаги на лестнице. Гул голосов. Роберт Вильрам поднялся с колен.

— Так точно, — ответил Йозеф, по-прежнему стоя навытяжку, как часовой. — До поздней ночи... один его товарищ.

И ужасное подозрение, на мгновение охватившее старика, тотчас же рассеялось.

Голоса и шаги все приближались.

Йозеф вытянулся еще больше, чем прежде. Вошла комиссия.

ПРИМЕЧАНИЯ

Цветы («Blumen»).— Первая новелла из цикла «Жена мудреца». Написана в 1894 г.

Весь цикл, состоящий из пяти новелл, был впервые опубликован в Германии отдельной книгой в 1898 г. издательством С. Фишера. На русский язык переводилась много раз (изд. Одесса, 1901; СПб. 1902; и др.).

Стр. 20. *Пратер* — район Вены, расположенный между Дунаем и Дунайским каналом, где находится знаменитый парк, излюбленное место отдыха и гуляния венцев. В Пратере расположены рестораны и кафе, дороги для верховой езды и ипподромы, цирк и кинотеатр, качели, карусели, тир и другие аттракционы.

Прощание («Ein Abschied»).— Новелла из цикла «Жена мудреца». Написана в 1895 г. Публиковалась вместе с другими новеллами этого цикла. На русский язык переводилась под названием «Последнее свидание».

Жена мудреца («Die Frau des Weisen»).— По этой новелле назван цикл из пяти новелл. Написана в 1896 г.

Публиковалась много раз вместе с другими новеллами этого цикла. Принадлежит к числу наиболее значительных и популярных произведений А. Шницлера. После прочтения новеллы современник писателя, известный австрийский поэт и драматург Гуго фон Гофмансталь, писал: «...хотел сказать Вам, что «Жена мудреца» — превосходная новелла. Я был просто потрясен финалом,

совершенно неожиданным и вместе с тем бесконечно простым; в математике такое решение арифметической задачи называют «прекрасным решением». Все внешнее, что поддерживает развитие сюжета, изумительно скупое и прозрачное. Пейзажа не видишь, кажется, что живешь посреди него и чувствуешь непосредственное его воздействие на настроения персонажей».

Мертвые молчат («Die Toten schweigen»).— Последняя новелла из цикла «Жена мудреца».

Впервые была опубликована в «Интернационале ревю», 1897, № 2, октябрь.

На русском языке публиковалась вместе с другими новеллами цикла.

Известный немецкий литературовед Георг Брандес писал в своей книге «Образы и мысли» («Gestalten und Gedanken», Мюнхен, 1903, стр. 37): «Жена мудреца» состоит из хороших живых рассказов, и среди них — одно поистине мастерское произведение, которое называется «Мертвые молчат». Это анализ женского сердца, сделанный верной рукой и верным глазом».

Стр. 61. *Пратерштрассе* — аллея, пересекающая Пратер от Дунайского канала до центральной площади Пратерштерн.

Стр. 63. *Люстхауз* — ресторан в Пратере.

Монумент адмирала Тегетгофа — памятник на центральной площади Пратера, воздвигнутый в память о победе Австрии над Италией в морской битве при Лиссе (1866 г.).

Стр. 64. *Большой Дунай*.— Так венцы называют реку Дунай, в отличие от Дунайского канала, также пересекающего город в его восточной части.

Стр. 75. *Внутренний город* — центр Вены, состоящий из старинных узеньких и коротких улиц и площадей, причудливо переплетенных.

Ринг — главная магистраль Вены, охватывающая полукольцом широких улиц (протяженностью 4 км.) центр города. На Ринге находятся парламент, ратуша, музеи, оперный театр, Бургтеатр, университет, Академия наук, Национальная библиотека, банки, биржа и торговые фирмы.

Бенефис («Der Ehrentag»).— Новелла из цикла «Жена мудреца». Написана в 1897 г.

Публиковалась вместе с другими новеллами этого цикла. На русском языке иногда переводилась под названием «Триумф».

Лейтенант Густль («Leutnant Gustl»).— Новелла написана в 1900 г.

Впервые опубликована в 1900 г. в рождественском приложении к «Нойе фрейе прессе» (Вена, 25 декабря 1900 г.).

Неоднократно переводилась на русский язык под названием «Поручик Густль» (СПб. 1902; собрания сочинений Шницлера 1903 и 1906 гг. и т. д.).

Эту новеллу Шницлер написал за пять дней, с 12 по 17 июля 1900 г., когда он жил в Рейхенау. Первая публикация ее в Австрии вызвала скандал, ибо военное министерство усмотрело в новелле выпад против австрийского офицерства. Поскольку сам Шницлер в это время имел чин старшего военного врача, в Вене состоялось расследование по этому поводу. «Из-за этой новеллы,— писал Шницлер Г. Брандесу,— я нахожусь под судом чести (ведь я еще состою «на учете» как военный врач) и, вероятно, потеряю свой чин. Если Вы еще не знаете новеллы, то, когда начнете ее читать, вспомните об этом, и Вам многое «австрийское» станет ясным. Мне, разумеется, вся эта история глубоко безразлична, ибо у меня с этими людьми нет больше ничего общего, и мой чин имел бы значение только в случае войны. Однако это так характерно для так называемого наивного лицемерия тех кругов, от которых в известном смысле всегда зависишь; если бы только у них не было никакой власти ни над кем!..»

Шницлер не согласился с предъявленным ему обвинением и «за оскорбление чести австро-венгерской армии» был лишен офицерского звания. Серьезные нападки новелла вызвала и со стороны реакционной литературной критики Австрии. По этому поводу Шницлер писал Герману Бару: «Поистине, они не заслужили моего «Лейтенанта Густля». Я это понимаю. Читал ли ты недавно статью в «Райхсвер» (газета, в которой были сделаны первые выпады против «Лейтенанта Густля». — Т. П.)? Мне кажется, что в ней выразилась вся грандиозность той глупости, которая была проявлена в этой истории».

Помимо общественного резонанса, новелла эта породила обширную полемику и своей художественной манерой. Гуго фон Гофмансталь говорит о ней, как о новом самостоятельном жанре немецкой литературы, который открыл Шницлер. Действительно, новелла построена на несколько необычайном в то время приеме, когда все действие раскрывается через размышления самого героя,— позже этот прием получил в литературе название «внутреннего монслога». Сам же Шницлер признавался, что при написании «Лейтенанта Густля» он использовал литературный опыт своих

современников — Эдуарда Дюжардена, автора книги «Лавры срезаны» («Les lauriers sont coupés», 1887), рассказывающей о шести часах из жизни одного французского студента, и Ф. М. Достоевского.

Гульден — золотая (с XVII в. — серебряная) монета, имевшая хождение в Австрии, Германии и других странах Европы. В Австро-Венгрии существовала до денежной реформы 1892 г.

Стр. 102. «*Мадам Сан-Жен*» — пьеса французских драматургов В. Сарду (1831—1908) и Э. Моро (1852—1922).

Стр. 112. *Аспернский мост* — мост в Вене, ведущий от Ринга через Дунайский канал на Пратер.

Кагран — небольшой город около Вены на левом берегу Дуная.

Стр. 124. «*Среди льда и ночи*» — роман известного норвежского полярного исследователя Фритьофа Нансена, посвященный его путешествию на «Фраме». Первое издание романа на немецком языке появилось в 1897 г.

Стр. 126. *Народный сад* — парк, расположенный в самом центре Вены, вдоль Ринга.

Стр. 130. «*Трабукко*» — сорт дорогих сигар.

Фрау Берта Гарлан («Frau Berta Garlan»). — Написана в 1900 г.

Впервые опубликована в «Нойе дойче рундшау», XVII, 1—3, 1901, январь — март.

На русском языке напечатана в собраниях сочинений А. Шницлера в 1903, в 1907 и в 1910 гг.

Сам Шницлер называл эту новеллу «маленьким романом».

Гуго фон Гофмансталь писал: «В этой «Берте Гарлан» скрывается столько силы и теплоты, ума, такта и знания. Она прекрасно написана и при этом так добра и целомудренна».

Стр. 133. *Вахау* — живописная местность на Дунае недалеко от Вены.

Стр. 140. ...*в пользу жителей Форарльберга, пострадавших от недавнего наводнения...* — Форарльберг — одна из девяти провинций Австрии, расположенная в западной части страны, в Альпах.

Стр. 141. *Бургтеатр* — ведущий драматический театр Вены, существующий с 1776 г. Новое здание театра построено в 1874—1888 гг. и находится в центре города на Ринге, против ратуши.

Стр. 147. «*Ярмарка Тенирса*». — Давид Тенирс (1610—1690) — фламандский живописец, автор многочисленных картин из крестьянского быта. В Венском музее истории искусств хранятся картины «Крестьянская изба», «Колбасница» и др.

Стр. 148. *Остаде, «Курильщик с трубкой».*— Адриан ван Остаде (1610—1685) — известный голландский живописец и офортист. Представлял демократическое направление в искусстве, изображал сцены из крестьянской жизни.

Стр. 156. *Кольмаркт* — одна из старинных улиц Вены, известная своими художественными салонами.

Стр. 161. *Елизаветинский мост* — самый большой мост через Дунай.

Стр. 162. *...из русла Вены...*— Вена — река, протекающая через город.

Карлскирхе — церковь святого Карла — выдающийся памятник архитектуры в стиле венского барокко (архитектор — Фишер фон Эрлах). Построена в 1737 г. в честь избавления венцев от эпидемии чумы, чему посвящены барельефы на фронтоне.

Стр. 185. *Герштекер* Фридрих (1816—1872) — немецкий путешественник и романист. Автор многих повестей, романов и очерков из жизни Калифорнии, Египта, Южной Америки.

Стр. 194. *Клостернейбург* — город, расположенный недалеко от Вены у северного края Венского леса, над Дунаем.

Храм Тезея — живописное строение в центре Народного сада, маленький храм в дорийском стиле, один из немногих памятников венского классицизма. В свое время был построен для группы «Тезей и Минотавр» (автор — Антонио Канова, 1757—1822), установленной теперь на лестничной площадке Венского музея истории искусств.

Стр. 205. *Памятник Марии-Терезии* — расположен в центре Вены, на Ринге, против бывшей резиденции Габсбургов — дворца Хофбург.

Стр. 207. *Вотивкирхе* — церковь в готическом стиле, построенная в Вене в 70-х годах XIX в. венским архитектором Ферстелем на месте, где в 1853 г. было произведено покушение на австрийского императора Франца-Иосифа.

Площадь святого Стефана — центральная площадь Вены, на которой высятся знаменитый собор святого Стефана, построенный в начале XII в.

Стр. 208. *Кертнерштрассе* — центральная торговая улица в Вене.

Стр. 221. *Лерхенфельдеркирхе* — одна из самых старинных церквей Вены, расположенная недалеко от центральной части города.

Слепой Джеронимо и его брат («Der blinde Geronimo und sein Bruder»).— Новелла написана в 1900 г.

Впервые опубликована в венском журнале «Ди цайт» в декабре 1900 г.— январе 1901 г.

Стр. 262. *Перевал Стельвио* — один из небольших горных перевалов на пути из Австрии в Италию.

Стр. 278. ...на юг, в Бормио, потом дальше через Вальтеллину... потом в Тирано... в Эдоле... в Брено... на озеро Изео — путь из Тироля в Италию на озеро, расположенное на севере Италии, в Ломбардских Альпах.

Греческая танцовщица («Die griechische Tänzerin»).— Написана в 1902 г.

Впервые опубликована в венском журнале «Ди цайт» в сентябре 1902 г. На русском языке издана в 1904 г. в сборнике под названием «Греческая танцовщица».

Стр. 288. «*Сецессион*» — объединение австрийских художников-модернистов, открывшее в 1897 г. свой выставочный зал под тем же названием.

Судьба барона фон Лейзенбог («Das Schicksal des Freiherrn von Leisenbohg»).— Написана в 1903 г. и включена в сборник «Сумеречные души». Впервые опубликована в «Ди ноие рундшау», 1904, № 7, июль, затем — в издательстве С. Фишера в 1907 г. На русском языке напечатана в изданиях 1903 и 1909 г.

Гуго фон Гофмансталь писал об этой новелле: «Лейзенбог весьма хорош, приятен и изящен, в нем только следовало бы усилить гротеск».

Стр. 298. *Царица ночи* — партия в опере Моцарта «Волшебная флейта».

Стр. 299. *Марияхильфский квартал* — один из наиболее оживленных торговых районов Вены.

Миньон — героиня одноименной оперы (1866) французского композитора Тома, написанной по мотивам Гете.

Филина — вторая женская партия оперы «Миньон».

Стр. 305. *Ковент-Гарденский театр* — крупнейший оперный театр Англии, основанный в 1732 г.

Стр. 307. *Звезда* (Пратерштерн) — центральная площадь Прага.

Стр. 311. *Ишль* — курорт в Верхней Австрии, известный своими лечебными ваннами.

Энгадин — долина реки Инн в Швейцарии, известная своим лечебным климатом.

Стр. 312. *Ставангер* — порт в Норвегии, расположенный на берегу залива Буккефьорд.

Новая песня («Das neue Lied»).— Последняя новелла из цикла «Сумеречные души». Написана в 1905 г. Впервые опубликована в «Нойе фрейе прессе», Вена, 23 апреля 1905 г., затем в издании Фишера в 1907 г.

На русском языке издана в собраниях сочинений Шницлера 1907 и 1910 гг.

Сам Шницлер называл «Новую песню» «новеллетой» и написал ее за один день.

Стр. 320. *Тарок* — карточная игра.

Смерть холостяка («Der Tod des Junggesellen»).— Новелла из цикла «Маски и чудеса», датированного 1912 г. Написана в 1907 г. На русском языке была опубликована под названием «Смерть друга детства» в 1912 и 1923 гг.

Стр. 338. *Сантос-Дюмон* Альберто (1873—1932) — один из основоположников воздухоплавания и авиации. В 1901 г. совершил полет вокруг Эйфелевой башни на аэростате собственного изобретения. В дальнейшем принимал участие в проектировании первых самолетов.

Дневник Редегонды («Das Tagebuch der Redegonda»).— Написана в 1909 г., опубликована в цикле «Маски и чудеса».

Убийца («Der Mörder»).— Новелла написана в 1910 г., вошла в цикл «Маски и чудеса». На русском языке опубликована в сборнике «Маски и чудеса» в 1923 г.

Пастушья свирель («Die Hirtenflöte»).— Новелла написана в 1911 г., включена в цикл «Маски и чудеса».

Доктор Греслер, курортный врач («Doktor Grässler, Badearzt»).— Впервые была напечатана издательством Фишера в Берлине в 1917 г. На русском языке опубликована отдельной книгой в 1922 г. издательством Лажечникова в Берлине.

Возвращение Казановы («Casanovas Heimfahrt»).— Новелла написана в 1918 г. и впервые опубликована в «Ди нойе рундшау», 1918, №№ 7—9, июль — сентябрь.

На русском языке опубликована в 1921 г. издательством Эрвина Бергера в Берлине и в 1921 г. в Петрограде.

Стр. 510. *Казанова* Джованни Джакомо (1725—1798) — итальянский авантюрист, родом из Венеции, прославившийся своими «Ме-

муарами» (в 12-ти томах, 1791—1798), которые содержат много ценных культурных и исторических сведений и раскрывают закулисную жизнь аристократического и придворного общества многих государств Западной Европы накануне Французской буржуазной революции XVIII в.

...Фридрих Великий чужь было не назначил его воспитателем...— Свою встречу с Фридрихом Великим в Берлине Казанова очень подробно описал в своих «Мемуарах».

Стр. 525. ...на какой стороне мы будем драться — на стороне испанцев или французов? — В первой половине XVIII в. Италия была ареной военных действий между испанскими Бурбонами и австрийскими Габсбургами. Вместе с тем и Франция предъявляла свои притязания на некоторые территории Италии и в 1793 г. объявила войну Пьемонту и Неаполю.

Стр. 533. «Девственница». — Имеется в виду поэма Вольтера «Орлеанская девственница» (1755), являющаяся пародией на легенду о Жанне д'Арк как о «святой» спасительнице Франции.

Стр. 538. Франческо Казанова (1727—1808) — брат Казановы, художник-баталист и пейзажист. Его работы выставлены в картинных галереях Парижа, Лондона, в Государственном Эрмитаже.

Стр. 572. Мерлин — бенедиктинский монах Теофил Фоленго (1491—1544), родоначальник «макаронического» жанра в поэзии. Под псевдонимом «Мерлину» выпустил сборник поэм под названием «Макароне», написанных по-латыни с добавлением итальянских народных слов. Фоленго имел многочисленных подражателей в разных странах.

Стр. 604. ...при виде венецианской кампанилы. — Кампанила — колокольня (чаще всего четырехгранная), стоящая отдельно от храма, получила распространение в итальянской архитектуре средних веков и эпохи Возрождения. Кампанила собора святого Марка в Венеции (начало постройки — 1329 г.) относится к лучшим образцам этого вида архитектуры.

Стр. 607. Совет Десяти — учрежден в Венеции в 1310 г. и обладал обширными государственными полномочиями.

Стр. 609. Казанова действительно посетил Вольтера в Ферне... — Будучи выслан из Франции, Вольтер в 1758—1778 гг. находился в своем швейцарском поместье Ферне, где занимался особенно активно общественной деятельностью — сотрудничал в Энциклопедии, написал множество брошюр, памфлетов и трактатов.

Игра на рассвете («Das Spiel im Morgengrauen»). — Написана в 1926 г. и опубликована впервые в «Берлинер иллюстрирте цайтунг» 5 декабря 1926 г.— 9 января 1927 г.

На русском языке напечатана отдельной книгой издательством «Время» в Ленинграде, в 1927 г.

Стр. 616. *Баден* — старинный курортный городок близ Вены, славящийся своими серными источниками.

Стр. 620. *Фельдмаршал-лейтенант* — чин в австрийской армии, соответствовал генерал-майору в прусской армии.

Стр. 647—648. *«Прядильщица на кресте»* — часовня на южной окраине Вены.

Стр. 656. *Винер-Нейштадт* — город в Австрии в 50 км. к югу от Вены. Основанный в 1190 г., служил резиденцией многих правителей Австрии.

Стр. 659. *Собор святого Стефана*. — См. прим. к стр. 207. Кварталы около собора относятся к самому фешенебельному и самому старинному району Вены.

А Р Т У Р Ш Н И Ц Л Е Р

Ж е н а м у д р е ц а

Редактор С. Шлапоберская

**Художественный редактор
Л. Калитовская**

**Технический редактор
М. Фридкина**

Корректор Г. Асланянц

Сдано в набор 15/IX 1966 г.
Подписано в печать 2/XII 1966 г.
Бумага типогр. № 1. Формат
 $84 \times 108^{1/32}$ — 22 печ. л. = 36,9 усл.
печ. л. 37,35 уч.-изд. л.
Тираж 100 000 Заказ 826.
Цена 1 р. 31 к.

**Издательство
«Художественная литература»
Москва, Ново-Басманная, 19**

**Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по
печати при Совете Министров СССР
Москва, Ж-54, Валовая, 28**